АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Русская литература

№ 2 ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ 1990

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

И. Я. Фроянов, Ю. И. Юдин. Исторические реалии в былине о Дюке 3
А. М. Панченко. Пушкин и русское православие (статья первая) 32
В. А. Викторович. Всеволод Крестовский: Легенды и факты 44
В. А. Мысляков. Щедрин и Михайловский: проблема «героев» и «толпы» 59

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В. Г. Короленко. Торжество победителей (подготовка текста, вступительная заметка и примечания Б. В. Аверина и Е. В. Павловой) 77
Н. А. Бердяев. Русская идея (вступительная заметка и примечания В. А. Котельникова) . . 85
П. М. Бицилли. Статьи: История. Культура. Литература (вступительная статья В. А. Туниманова) 134
Г. П. Федотов. Святой Филипп, митрополит московский 138
Трагедия русской культуры 140
Возрождение аллегории 147

УЧИТЕЛЮ-СЛОВЕСНИКУ

О. В. Творогов. Рюриковичи 155

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Е. М. Юхименко. Новые данные к биографии Семена Денисова 168
Г. Н. Моисеева. Из истории архива М. В. Ломоносова 171

«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

О. Н. Трубецкая. Отрывки из семейной хроники (публикация И. С. Чистовой) 176
Ж. Зельдхейи-Деак (*Венгрия*). «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева. К проблеме жанра 188
Мишель Никё (*Франция*). Поэма С. Есенина «Черный человек» в свете аггелизма 194
Письма А. М. Ремизова к В. В. Перемиловскому (подготовка текста Т. С. Царьковой, вступительная статья и примечания А. М. Грачевой) 197
Письмо Ромена Роллана И. С. Ремезову (публикация Д. В. Базановой) 235

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Ю. В. Стенник, А. И. Николаев. Жанр «диалога в царстве мертвых» в русской литературе XVIII века 240
Ю. Д. Левин. Английские исследования деятельности и творчества Герцена 244
Б. Ф. Егоров. Книга об эстетике русских шестидесятников 250
Б. В. Аверин. Исследование М. П. Громова о Чехове 252

ХРОНИКА

М. Г. Соколянский. Третьи Алексеевские чтения в Одессе 256
Е. И. Колесникова. Научная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Андрея Платонова 258

Редакционная коллегия:

Н. Н. СКАТОВ (и. о. главного редактора),
В. Н. БАСКАКОВ, Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора), *А. А. ГОРЕЛОВ, Г. А. ГОРЫШИН, В. Я. ГРЕЧНЕВ, Н. А. ГРОЗНОВА, Л. А. ДМИТРИЕВ, Б. Ф. ЕГОРОВ, А. И. ПАВЛОВСКИЙ, А. М. ПАНЧЕНКО, В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР*

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199034, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

© Издательство «Наука», «Русская литература», 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

И. Я. ФРОЯНОВ, Ю. И. ЮДИН

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В БЫЛИНЕ О ДЮКЕ

Былина о Дюке принадлежит к числу наиболее популярных и распространенных в русском былинном эпосе. Вместе с тем она является одной из самых сложных в плане научного изучения. Трудности возникают перед исследователями уже при рассмотрении вопроса о ее национальной самобытности. Тут полной ясности нет, и поэтому высказываются противоречивые мнения. Существует точка зрения, согласно которой сюжет о Дюке и сам образ героя заимствованы со стороны. При этом указываются различные иноземные сюжеты, к которым якобы обращались наши песнотворцы. Так, И. Н. Жданов называл в качестве источника былины о Дюке византийскую поэму о Дигенисе, а А. Н. Веселовский и В. М. Истрин — другой византийский памятник, именуемый «Эпистолией пресвитера Иоанна греческому царю Мануилу».[1] Н. Баталин видел в ней отражение «книжных сказаний о богатствах Индии».[2] Орест Миллер считал Дюка западноевропейским герцогом, поборником народных идеалов, посрамившим Чурилу, олицетворявшего социально враждебное трудовому люду богатство.[3] М. Халанский, хотя и отмечал в былине «поразительное обилие туземных, русских черт», все же полагал невозможным признать ее «произведением самостоятельным русским».[4]

Убедительной критике теорию заимствования былины о Дюке подверг В. Я. Пропп.[5] Он с полным основанием утверждал, что былина о Дюке Степановиче — «совершенно русское создание и ниоткуда не заимствована».[6] Самобытность былины подчеркивали В. Б. Вилинбахов и Н. Б. Энговатов, полагая, что в данном случае нет оснований говорить о каком-то иноземном источнике.[7]

Разные соображения содержатся в литературе и относительно исторических реалий, запечатленных песней. Еще Всеволод Миллер связывал былину о Дюке Степановиче с событиями из истории Галицкой земли XII—XIII веков, датируя сложение старины именно этим временем.[8] Вслед за В. Миллером шли Г. Н. Парилова и А. Д. Соймонов, которые усматривали социально-историческую основу былины в соперничестве «галицких бояр с князьями в эпоху пышного расцвета Галицкой земли и ослабления Киева (XII—XIII вв.)».[9] Аналогичным образом рассуждал Д. С. Лихачев. «Отчетливое отражение в былевом эпосе, — писал он, — получила Галицко-Волынская земля XII—XIII веков. К ней несомненно восходит былина о Дюке Степановиче». Однако в отличие от Г. Н. Париловой и А. Д. Соймонова ученый находит в былине не столько соперничество галицких бояр с местными князьями, сколько соперничество Галича с Киевом, галицко-волынских князей с киевскими. Устанавливая время появления названной темы соперничества в былинной поэзии, Д. С. Лихачев замечает: «Во второй половине XIII века богатства и могущество Галицко-Волынской земли явно идут на убыль, а с конца XIII века Галицко-Волынская земля сходит с русского политического горизонта вовсе. Отсюда ясно, что тема соперничества в богатствах Галича-Волынца с Киевом могла возникнуть не позднее конца XIII века и вероятнее всего относится ко второй половине XII — первой половине XIII века».[10] В самом общем плане плодотворной, на наш взгляд, является мысль Д. С. Лихачева об изменчивости конкретного содержания темы соперничества на протяжении длительного времени существования былины: «По-видимому, первоначально тема эта развертывалась как тема соперничества в богатствах двух князей — киевского и галицко-волынского. Однако впоследствии, в пору утверждения в былевом эпосе представлений о единодержавии Владимира, былина о Дюке, успевшая перенестись в „эпическое время“ — во времена княжения Владимира, — перевела неизвестного нам

© Фроянов И. Я., Юдин Ю. И., 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

галицко-волынского князя на положение боярина. Еще позднее, в пору резко отрицательного отношения к княжеской власти вообще, тема соперничества в богатстве Дюка и Владимира получила оттенок соперничества с Владимиром представителя народа. Дюк перестает считаться боярином, и его победа над Владимиром принимается в былине с удовлетворением. Так постепенно тема областного соперничества переходит в тему классовой борьбы. В образе Дюка на первый план выступает мечта народа о богатой жизни и стремление унизить княжескую власть».[11]

Точка зрения Д. С. Лихачева на время возникновения и главный смысл былины о Дюке показалась В. Я. Проппу ошибочной.[12] Создание песни В. Я. Пропп относил к XVI—XVII векам. В ней, по словам В. Я. Проппа, «изображена боярская Москва XVI—XVII веков. Но былина не просто изображает боярский быт, а изображает его сатирически, смотрит на него глазами народа, то есть прежде всего крестьянства».[13] Заключая свое исследование былины о Дюке, В. Я. Пропп подчеркивает, что «она представляет собой сатиру на московское боярство XVII века».[14]

Следует, наконец, упомянуть В. Б. Вилинбахова и Н. Б. Энговатова, которые в былине о Дюке обнаружили отражение многолетних и разнообразных связей между Русью и славянским Поморьем, между западными и восточными славянами в древнейший период их истории.[15]

Мы, однако, полагаем и в дальнейшем постараемся это показать, что былина о Дюке, будучи самобытной, а не заимствованной, посвящена истории восточных славян и Киевской Руси, явлениям восточнославянской и древнерусской жизни. Отсюда понятно, что датировать ее возникновение одним или двумя веками едва ли правильно. Былинный сюжет в том виде, в каком он дошел до нас, создавался в рамках сравнительно большого хронологического периода, охватывающего IX—XII века. Поэтому на нем лежит печать, как мы покажем, двух эпох в ранней истории Руси: племенного и общинно-городского строя.[16] В некоторых же мотивах, связанных с темой женитьбы, но отошедших на задний план, сохранились и еще более ранние отголоски эпохи установления межродовых и межплеменных контактов, о чем речь пойдет ниже.

Надо сказать, что среди русских былин сюжет о Дюке занимает особое место. Дюк приезжает в Киев не для того, чтобы служить ему, как многие другие герои эпоса, а чтобы поспорить с Киевом, кто богаче, и вступить в состязание с киевским щеголем и любимцем женщин Чурилою. Проделав это, Дюк иногда возвращается домой. Во всяком случае, он не становится киевлянином, оставаясь в стольном городе гостем. Это не похоже на Добрыню, который, выезжая на свой первый подвиг из Рязани, возвращается домой в Киев, на Алешу Поповича и Илью Муромца, которые, приезжая в Киев, навсегда оставляют первый — свой Ростов, второй — родное село под городом Муромом. Отсюда возникает вопрос, что связывает Дюка с Киевом и почему он туда стремится, какие исторические явления запечатлены в его споре с Киевом и состязаниях с Чурилою. Речь идет, следовательно, об историческом содержании былинного сюжета.

Обычно он открывается мотивом выезда Дюка. Откуда выезжает Дюк? Картина по вариантам очень разнообразна и прихотливо изменчива. Но в ней есть и нечто общее, поднимающее завесу над сутью происходящих в былине событий. Дюк приезжает из разных земель, но все они противопоставлены Руси и Киеву как земли в определенном смысле нерусские.[17]

А сряжался молодой боярин Дюк Степанович
Да повыехать на матушку святую Русь,
Посмотреть-то он хотит на славный стольне-Киев град, —

поет о Дюке Т. Г. Рябинин.[18] То же самое и у И. В. Фофанова:

Молодой боярин был Дюк Степанович,
Поежжал ён из города из Галича
Во матушку да во Русиюшку
А во город ён стольне-киевской. . .
(Пар. и Сойм., 25)

lib.pushkinskijdom.ru

Противопоставленная русскому Киеву земля Дюка часто называется Индией богатой, Карелой упрямой:

Из славного города из Галича,
Из Волынь земли из богатыя,
Из той Корелы из упрямыя,
Из тоя Индии богатыя
Не ясен сокол перелетывал...[19]

В эпической традиции Индия бывает обозначением иноплеменной, некиевской территории. В. Я. Пропп, по-видимому, прав, усматривая в былинном походе Вольги на Индию или другую нерусскую землю хищнический набег на поселения иного племени: «На пять самостоятельных вариантов мы имеем три разные страны и трех разных врагов, против которых он воюет: это Индия, Золотая Орда и Турция. Былина отражает не те исторические войны, которые вела Древняя Русь, а межплеменные схватки, набеги, которые в позднейшее время получили неустойчивое историческое приурочение».[20] Характерно, что и Дюк может жить

Ай во Волынь земли да в Золотой орды.
(Гильф., 218)

Относительно Карелы можно предположить вместе с В. Ф. Миллером, что «при переработке, и, по-видимому, весьма существенной, старинной былины о Дюке Степановиче, происшедшей в пределах северной России, старинный, неизвестный уже никому на Руси город Галич-Волынский был помещен в Кореле поганой, с которою в течение нескольких веков имели дело новгородцы».[21]

Следует заметить, что у одного и того же певца (И. П. Сивцева-Поромского с Кенозера), пропевшего П. Н. Рыбникову вариант, цитированный выше (Рыбн., 181), хранилась в творческой памяти и другая картина выезда Дюка:

Да из той Карелы из упрямые,
Да из той Сарачины из широки,
Из той Индеи богатые...
(Гильф., 225)

Эпосоведы, по словам В. Я. Проппа, «ломали себе голову над тем, как примирить противоречия в упоминании о родине, месте рождения Дюка».[22] Немало копий сломано ими и по поводу географического определения земли, откуда он приехал в Киев. Мы не станем участвовать в этом ученом турнире, поскольку для нас важно лишь то, что Русь, как явствует из былины, не является родиной Дюка. Значит ли это, что наш герой этнически чужд киевлянам, что в Киеве он — иноземец, иностранец? Думается, нет.

В одной из записей А. Ф. Гильфердинга былины о Дюке говорится, что «молодой боярин Дюк Степанович» выезжает «на далече чисто поле» поохотиться на «чорна ворона». И вот ворон этот молит охотника:

Ай же молодой боярин Дюк Степанович!
Не збей моей туши о сыру́ землю,
Ай не рушай моих перьев по чисту́ полю,
Не пролей-ко крови по сыру́ дубу!
Слава тая по Ру́си носится:
Старца убить не спасе́ньё добыть,
Ворона убить не корысть получить.
(Гильф., 20)

Дюк послушался ворона, и ему убить его «не захотелоси». Он, следовательно, поступил в согласии с молвой («славой»), распространенной на Руси, чем засвидетельствовал приверженность русским обычаям и указал тем самым на свое русское происхождение. Еще более прозрачна в данном отношении песня, вошедшая в сборник

lib.pushkinskijdom.ru

Кирши Данилова. Восхищаясь военным снаряжением Дюка, певец, в частности, упоминает стрелы, оперенные «перьицами сиза орла». Добыты же эти «перьица» следующим образом:

А летал орел над синем морем,
А ронил он перьица во сине море,
А бежали гости-карабельщики,
Собирали перья на синём морé,
Вывозили перья на светую Русь,
Продавали душам красным девицам,
Покупала Дюкова матушка
Перо во сто рублев, во тысячу.[23]

Данный текст не оставляет сомнений в том, что «Дюкова матушка» жила на Руси. Значит, то же самое надо сказать и о самом Дюке.

Вникая в хитросплетения былины, В. Я. Пропп верно и тонко заметил: «Дюк изображается как русский, который одновременно не является русским».[24] Как это понять? Ясность здесь вносит историческое содержание понятия «Русская земля».

Как показывают исторические исследования, в Среднем Поднепровье во времена, предшествующие образованию Киевского государства (Киевской Руси), сложилось межплеменное территориально-политическое объединение, именуемое Русью, Русской землей. В состав Русской земли входили такие крупные центры, как Киев, Чернигов и Переяславль.[25] Главным из них был Киев — столица полян, утвердивших свое господство над другими восточнославянскими племенами, которые обитали на территории Русской земли. В результате завоеваний, осуществленных Киевом в конце IX—X веке, на просторах Восточной Европы возник огромный союз племен, включивший практически все восточнославянские племена. Киев приобрел господствующее в восточнославянском мире положение, выражавшееся прежде всего в даннической зависимости побежденных племен от поднепровской столицы, объявленной киевскими правителями «матерью градов русских».[26] Распространение власти Русской земли, возглавляемой Киевом, на соседние восточнославянские племена привело к тому, что Русью, Русской землей стало называться все восточное славянство. Понятия «Русь», «Русская земля» приобретают смысловую двойственность. Они теперь обозначают Русь в узком и широком смысле: область Среднего Поднепровья и все восточнославянские земли, попавшие в сферу влияния Киева.

В конце X — начале XI столетия рушились на Руси родоплеменные отношения. Старый строй, базировавшийся на родственных связях, безвозвратно уходил в прошлое. Рассыпался, как песок, общевосточнославянский племенной союз, с таким усердием собиравшийся Киевом на протяжении IX—X веков. Вместо племен на местах вырастали объединения мелких и крупных общин территориального типа, конституировавшиеся в городские волости, земли, похожие на города-государства древних обществ.[27] Распад охватил и Русскую землю, возникшую некогда в Среднем Поднепровье. Из нее постепенно выделились и обрели самостоятельность Чернигов и Переяславль. Первые симптомы отделения Чернигова от Киева прослеживаются в первой половине XI века. Но добиться полностью освобождения от киевского господства черниговской общине удалось лишь к исходу XI века. Княжеский съезд в Любече 1097 года констатировал независимость Чернигова как отдельной от Киева волости.[28]

Несмотря на происшедшие глубокие перемены в Древней Руси, понятия «Русь», «Русская земля» сохраняли прежнюю двузначность. Они относились к Киевской земле в узком смысле этого слова и ко всем остальным древнерусским землям.[29] Поэтому исследователь, встречая в тех или иных памятниках эти термины, должен определять их значение, исходя из контекста изучаемых им источников.

Что касается непосредственно Галицкой земли, т. е. родины Дюка Степановича, то она, с одной стороны, не считалась Русью,[30] а с другой — являлась русской землей. Вот почему Дюк выступает в былине как нерусский и русский одновременно. По смыслу былины нерусский — это некиевский, и только.

lib.pushkinskijdom.ru

Итак, Дюк представляет некиевское племенное объединение и едет в Киев как представитель иного племени, а не из Киева в иноплеменную землю, как, скажем, Вольга. Так былина переносит нас в эпоху межплеменной борьбы, когда Киев, возглавлявший Русь, возникшую в Среднем Поднепровье, «примучивал» окольные восточнославянские племена, в том числе прикарпатские и волынские. Зависимость последних от Киева видна уже в конце IX — начале X века.[31] Этот исторический слой былины о Дюке наглядно вырисовывается и на фоне некоторых других былинных фрагментов.

В ряде вариантов Киев упоминается вместе с Черниговом. Так, Дюкова матушка говорит «мужикам-оценщикам», явившимся из Киева описывать ее богатства:

Вы скажите-ка солнышку Владимиру,
Пускай продаст на бумагу весь Киев-град,
На чернила продаст весь Чернигов-град,
Тожно пусть приедет животишечков описывать.
(Рыбн., 29)

А вот аналогичный пример:

Ещё скажите князю Владимиру —
На бумагу пусть продаст стольно-Киев-град,
На чернила продаст да Чернигов-град,
Потом приедет животов сиротских описывать.
(Пар. и Сойм., 10)

Иногда города в песне меняются местами, но и тогда приоритет Киева над Черниговом очевиден, ибо отличие первого от второго заключается в том, что Киев является стольным городом, чем и превосходит Чернигов:

На бумагу надь продать Чернигов-град,
А на цернила столицю стольне-киевску.
(Пар. и Сойм., 37)

В отдельных вариантах былины о Дюке в качестве поручителей Чурилы фигурируют Киев и Чернигов:

А по Чурилушки по Плёнкови
А ручались Киевом Черниговом.
(Гильф., 9)

Источник силы Чурилушки в поддержке именно Киева и Чернигова:

Молодой Чурилушко сын Пленкович
Стал же свою славушку показывать,
Стал же он тут плеточкой поваживать,
Он от пуговки да стал было до пуговки,
Ай от петелки до петелки;
Тут от пуговки до пуговки
Ай пошли враны́, стали прогуркивать,
Ай от петелки до петелки
Поплыла змея, стала просвистывать.
Киевом было Черниговом
Вси оны да приужахнулись.
(Гильф., 9)

Таким образом, былина о Дюке возвращает нас ко времени единства Киева с Черниговом, находившимся в подчинении у полянской общины. Это время датируется концом IX—X веком.

Былина о Дюке приподнимает завесу не только над системой связей внутри Русской земли, но и высвечивает суть внешних межплеменных отношений между Киевом и «примученными» им землями, в нашем случае между поднепровской столицей

lib.pushkinskijdom.ru

и Волынью. И тут прежде всего обращает на себя внимание недружественный и даже враждебный характер этих отношений. Отсюда понятно, отчего матушка Дюка очень встревожена намерением сына побывать в Киеве. Она предостерегает его:

Не езди ты во Киев-град:
Живут там люди лукавые,
Изведут тебя доброго молодца.
(Рыбн., 181)

А во Киеве люди все лукавыи,
Изведут тебя Дюка не за денежку.
(Гильф., 230)

А много во Киеве людей живет,
Пропадет твоя головка вместо камешка.
(Пар. и Сойм., 60)

Приехав в Киев, Дюк, согласно некоторым вариантам былины, проявляет осторожность, ставя коня своего «непривязана да неприкована» (Гильф., 230). Штрих довольно любопытный. Ведь эпический герой и принадлежащий ему конь представляли собой нечто целое и неразрывное.[32] Добавим к этому, что богатырский конь в эпосе несет на себе явную печать сакрализации. Овладеть конем героя означает в сущности победу над ним. В Киеве такая попытка предпринимается. Правда, осуществление ее облечено позднейшими певцами в форму, утратившую, как нам думается, первозданный вид и приспособленную к их понятиям. На Дюкова коня посягают голи кабацкие:

Приступили голи тут кабацкие,
Да ладя с коня они попону снять,
А доброй конь голям не дается,
Со голями конь да отдирается,
Не давае конь с себя попоны снять.
(Гильф., 230)

Можно с большой степенью вероятия предположить, что стремление жителей Киева захватить богатырского коня с целью обессилить Дюка со временем было переосмыслено, переведено певцами в бытовую плоскость и стало подаваться как заурядный случай грабежа голытьбой богатого конского снаряжения. Подобное переиначиванье и затемнение первоначального смысла эпических сцен — обычный прием былинотворцев. Покушение на коня Дюка — акт по отношению к герою безусловно враждебный. Да и сам Дюк ведет себя в Киеве, как в стане врага:

А молодой боярин Дюк Степанович
На святые иконы не молится,
Князю солнышку да он не клонится,
А князьям-боярам только рукой махнул.
(Пар. и Сойм., 10)

Это пренебрежение приезжего богатыря к киевским святыням хотя и не типично в массе других записей былины, но исполнено глубокого смысла, вскрыть который без учета языческих нравов и обычаев невозможно. Язычники жили в убеждении, что «боги принимают участие в сражении; воины защищали богов, и боги защищали воинов. Сражаясь против неприятеля, каждый был убежден, что вместе с тем он сражается против богов враждебной гражданской общины. Боги эти были чужими, их разрешалось ненавидеть, оскорблять, побивать, их можно было брать в плен».[33] Наши предки не были здесь исключением. Они также думали, что боги деятельно участвовали во внешних и внутренних войнах, помогая тем, кто им поклонялся.[34] Вот почему воюющие стороны, чтобы пресечь действия богов из враждебного лагеря, старались разрушить алтари и святилища противника. В эпосе за подобного рода действиями мы застаем Илью

lib.pushkinskijdom.ru

Муромца.[35] Что касается Дюка, то его нежелание поклониться «святым иконам», воплощавшим местных киевских богов, лежит в русле тех же представлений. Следовательно, приехав в Киев, Дюк вступил во враждебный ему мир, и Дюкова матушка, как видно, не зря тревожилась за жизнь своего сына. Но ее волновали и более прозаические вещи. Она страшится огласки своего богатства.

Если случит бог во гради Киеви,
Ты не хвастай животинками сиротскими,
Сиротскими животинками, вдовиными, —

наставляет мать сына (Рыбн., 29). И вот «то, чего так опасалась Дюкова матушка... действительно случилось: Владимир узнал о ее богатстве».[36] В чем причина этих опасений? «Как истая русская купчиха или боярыня, она скрывает размеры своего состояния»,[37] — пишет В. Я. Пропп. Нам кажется, что ответ следует искать в более глубоких пластах исторического сознания. Ситуацию проясняет тот строй отношений IX—X веков, который сложился у Киева с завоеванными племенами. Характерными для него были эпизодические грабежи, сопровождавшие военные походы киевских князей в земли соседних племен, и регулярные дани, являвшиеся результатом завоеваний. И то и другое запомнила былина о Дюке.

Поезжайте-ка вы да ко Дюковой родимой матушке,
Отнимити вы все имение богатство, —

говорит Владимир киевским богатырям Илье Муромцу и Алеше Поповичу.[38] Наложение дани имело несколько более организованный характер. Ее собирали с определенной окладной единицы: дыма, рала, плуга. Она была фиксированной, т. е. взималась в четко обозначенных размерах.[39] Произвольные поборы порождали возмущение и сопротивление данников. Примером тут может служить кровавая драма, разыгравшаяся в древлянских лесах и описанная древним книжником под 945 годом. Киевский князь Игорь, произведя сбор дани у древлян, решил еще «походить» у них, чтобы получить «больша именья». Озлобленные древляне говорили ему: «Почто идеши опять? Поимал еси всю дань». Но князь их «не послуша». Тогда древляне убили его.[40] Вдова Игоря княгиня Ольга, отомстив древлянам за смерть мужа своего, вынуждена была, однако, учредить «уставы» и «уроки», т. е. вернуться к нормированной дани.[41] Эти «уставы» и «уроки» должны были исходить из учета (или описи) материальных ресурсов побежденного племени. Отзвуки подобных исторических реалий сохранила былина о Дюке:

Приехали к Дюку ко Степанову
Описывать Дюково имень⟨и⟩це,
Описали у Дюка на три тысяци,
Нецёму не могли они оценки дать
И наложили на Дюка дань платить великую.[42]

Даннические отношения — это отношения враждующих сторон. Мы уже видели, какую угрозу Дюку таит его пребывание в Киеве. Но и сам Дюк небезопасен для жителей полянской столицы. «Скуплю и продам ваш город Киев», — хвастливо заявляет Дюк князю Владимиру. Такие речи, разумеется, солнышку-князю «не прилюбилися» (Рыбн., 131). Владимир перед Дюком порой выглядит растерянным, даже жалким:

Ах ты гой еси, удалый добрый молодец,
Молодой боярин Дюк Степанович,
Тебе нечего да меня срамить,
Верно нет у меня да заступников,
Тебе молодцу да поединщиков.

(Пар. и Сойм., 10)

lib.pushkinskijdom.ru

Ах ты мóлодой боярин Дюк Степанович!
Ай уйми-тко ты же птиценек певучиих,
Да уйми-тко всих же зверюшков крыкучиих,
Ты оставь-ко нам людей да хоть на сúмена.

(Гильф., 9)

На этом фоне соревнование Дюка с Чурилой выходит за рамки простого состязания двух героев, превращаясь в межплеменное столкновение и соперничество. Недаром за Чурилушку, взявшегося «щапить-басить» с Дюком «по три года», ручаются всем Киевом (Гильф., 230), стоят всем Киевом (Пар. и Сойм., 37). Чурилу также снаряжают и «справляют» всем Киевом (Гильф., 230; Пар. и Сойм., 57). Нас не должно вводить в заблуждение то, что Дюк, в противоположность Чуриле, все необходимое для соревнования берет из хозяйства и кладовых, принадлежащих ему или его матушке. За Дюком, хотя и в некотором тумане, но все же маячит Галич. Так, собираясь в дальнюю дорогу, в Киев, он прощается «со всем Галичем» (Гильф., 230). Но главное состоит в том, что именно Волынь и Галич противопоставляются Киеву, где, по сравнению с родным городом Дюка, все плохо и убого. Это противопоставление приобретает смысл глубокого конфликта между общественными союзами, представленными Киевом и Галичем. Состязание Дюка и Чурилы является, следовательно, лишь художественным средством, с помощью которого изображается в былине конфликтная ситуация.

Было бы верхом наивности толковать стремление героев превзойти друг друга богатством и красотой одежды как заурядное щегольство. Правда, к такому пониманию подводят сами исполнители былин. «Перефорсовал да Дюк Степановичь», — поет Н. А. Ремизов (Пар. и Сойм., 37). Здесь, на наш взгляд, дают о себе знать элементы, привнесенные в былину извне, в процессе исполнительского творчества поздних поколений певцов. Вероятно, прав В. Я. Пропп, говоря, что одежды Дюка и Чурилы соответствуют мужским модам XVII века.[43] Однако, завороженный описанием одежды героев, наслоившимся со временем благодаря подновлениям сказителей, он увидел в этом ключ к познанию сути характеров Дюка и Чурилы. В. Я. Пропп пишет: «Основное качество Дюка состоит в том, что он „щап“, щеголь. Таким же щапом в эпосе изображается Чурила. Все содержание былины состоит в том, что Дюк вступит в состязание с таким же, как он, „щапом“ и щеголем и приведет его к полному посрамлению».[44] Это слишком поверхностное объяснение. Оно обедняет содержание былины. Переодевание Дюка и Чурилы, их соревнование в одежде надо рассматривать под углом языческих воззрений. И тогда состязание героев приобретет истинный смысл, связанный с магическими и ритуальными действами, в конечном счете — с древним комплексом сакральных представлений. В том, что платья Дюка и Чурилы не столько «форсоватыи» (Пар. и Сойм., 37), сколько ритуально-магические, нетрудно убедиться, обратившись к тексту былины:

Надел Дюк шубу соблинную,
Под дóрогим под зéленым под знáметом.
А пуговки были вольячные,
А лит-то вольяг да красна золота,
Петельки да из семи шелков,
Да и в пуговках были левы́-звери,
А в петельках были люты́ змеи.
Накладывал он шляпу семигрянчату
Пошол-то Дюк да во божью церковь.
Зарыкали у Дюка тут левы́-звери,
Засвистали у Дюка тут люты́-змеи,
Да все тут в Киеви заслушались,
А все тут-то Дюку поклонилися.

(Гильф., 230)

В отдельных былинных вариантах птицы и звери, управляемые Дюком, вселяют ужас в киевлян:

lib.pushkinskijdom.ru

Налетели тут птицы клевучии,
Наскакали тут звери рыкучии,
А тут в церкви все да о зень пали,
О зень пали, да ины обмерли.

(Гильф., 159)

Необходимо также заметить, что в некоторых случаях Дюковы птицы и звери угрожают самому существованию жителей Киева:

Вдруг запели тыи птицушки певучии,
Закрычали вдруг же звери вси крыкучии.
Вси во церквы пали, обмерли.
Говорил же тут Владимир стольё-киевской:
«Ах ты молодой боярин Дюк Степанович!
Ай уйми-тко ты же птиценек певучиих,
Да уйми-тко всих же зверюшков крыкучиих,
Ты оставь-ко нам людей да хоть на сймена.

(Гильф., 9)

Все эти «птицы певучие» и «звери крикучие» не орнаментальные украшения происходящих событий, а существенный их компонент. Языческая суть его очевидна. Они представляют Дюков мир как сверхъестественные существа, принимающие непосредственное участие в разгоревшейся борьбе на стороне героя, помогая ему одержать победу.[45] Важно, что столкновение имеет место в церковном храме, где собралось христианское население Киева. Церковь, таким образом, выступает как своеобразная арена борьбы, где сталкиваются не только герои былины, но и «боги», стоящие за ними. Знаменательно, что здесь язычество, «подпирающее» Дюка, одерживает верх над христианством. В данном случае былина отражает явления, свойственные эпохе появления и распространения христианства на Руси, когда язычество было еще достаточно сильно, нередко одерживало верх над христианством, а последнее воспринимало языческие черты, удаляясь от своего первоначального облика. Конкретно речь идет о конце X — первой половине XI века. Это было время насильственного распространения христианства из Киева на другие восточнославянские земли. Язычники упорно сопротивлялись этому, и порой небезуспешно. В этих условиях преимущество язычества Дюка над киевским христианством исторически мотивировано.

Но не только к этому сводится содержание былинных эпизодов. Помимо религиозной Дюк одерживает над Киевом и военно-политическую победу:

Ай побил молодца Чурилушку Щаплёнкова,
Завоевал он двух братцев двух Любовичёв,
Ай покорил он стольняго князя Владимира.

(Гильф., 20)

Эта победа выводит нас в последующую историческую эпоху XII — начала XIII века с ее общинно-городским строем, существованием самостоятельных городов-государств и их взаимной борьбой. Положение Киева было тогда иным, чем ранее. Он потерял былое господство над восточнославянским миром. На местах выросли мощные государственные образования, успешно конкурировавшие с «матерью градов русских». В основе этого лежал распад родоплеменных отношений. Что касается Юго-Западной Руси, то здесь смена эпох нашла внешнее выражение в смене городских центров: вместо родоплеменного центра Волыни на историческую сцену выходят Владимир, Теребовль, Перемышль, Галич. Со временем Галич оттесняет своих собратьев и к середине XII века начинает играть ведущую роль в Юго-Западной Руси.[46] Вот почему былина запомнила Волынь и Галич как две крайние точки длительного исторического процесса, соединив воедино две разные исторические эпохи. Внешне это выглядит как смешение Волыни и Галича в одно городское целое. Вообще обозначение и объединение эпох обостренных исторических коллизий — типичная черта былинной поэтики.

lib.pushkinskijdom.ru

Таким образом, коллизии разных исторических эпох былинный сюжет о Дюке объединяет в рамках единого эпического времени и одной «эпической эпохи».

Но, указав на главные конфликты былинного сюжета, в котором отразились исторические процессы IX — начала XIII века, и ограничившись только этим, мы обеднили бы былину. Ее сюжет вырастает на более древней основе, следы и отголоски которой сохраняются достаточно явственно и требуют пристального внимания. В сюжетных линиях, образующих цепочки мотивов, различимы также конфликты периода установления межродовых, межплеменных контактов по типу дуальной организации взаимобрачующихся фратрий.

Следует сразу заметить, что былина не дает последовательной исторической хроники каких бы то ни было событий, не рисует «плавной» смены эпох. Она воспроизводит в фантастической форме исторические явления переходного характера, захватывая их кульминационные моменты. То, что в сюжете слито, в ходе историко-этнографической интерпретации, предлагаемой нами, необходимо разъединить, расслоить и рассмотреть отдельно. Задача более общей интерпретации былинного сюжета заставляет обратиться к наиболее древнему ее слою.

Герой былины назван боярским сыном, молодым боярином, он неженатый «удалый добрый молодец» (Рыбн., 184). Название героя княженецким сыном можно признать случайным за его редкостью и незакрепленностью за Дюком. Так, если П. Н. Рыбников в варианте Т. Г. Рябинина (Рыбн., 16) приводит это название, то в записи А. Ф. Гильфердинга от того же певца Дюк назван молодым боярином (Гильф., 85). Это не рядовой горожанин, что позволило О. Ф. Миллеру согласиться с П. А. Бессоновым в сближении имени Дюка с западноевропейским Dux (герцог),[47] И. Н. Жданову возводить род Дюка к византийскому роду Дуков,[48] А. И. Лященко сделать на основании работ А. Н. Веселовского и В. Ф. Миллера общий вывод о том, что титул «дук» давался византийскими императорами пограничным наместникам. От Византии, как считает А. И. Лященко, он перешел к венграм и сербам, а потом и к русским.[49] Что Дюк не простолюдин, отмечается в подобных случаях правильно, но нельзя согласиться с тенденцией, которая в названных работах намечается. Нельзя идти к пониманию сюжета от имени или от самого по себе обозначения социального положения героя. Герой, а также, если это вообще возможно, его имя и социальное положение должны объясняться в связи с сюжетом и его исторической интерпретацией. Предварительно можно выделить в образе героя две черты: он из боярской среды и неженатый молодец.

В экспозиционной части былины, где называется родина и социальное положение Дюка, вполне различимо намечается несколько разновременных исторических слоев. Постараемся теперь проследить их в сюжетных событиях и описании Дюкова дома. Каждый исторический слой рассмотрим отдельно, пытаясь реконструировать его на протяжении всей песни.

Дюк живет с матерью (но без отца) в необычно богатом доме. Сюжет часто начинается с того, что однажды он берет лук и необыкновенные стрелы, оперенные редким орлиным пером, украшенные золотом и драгоценными камнями, которые ночью испускают лучи, позволяющие отыскивать стрелы во тьме. Снарядившись таким образом, Дюк отправляется «по заводям да ведь по зарекам» (Рыбн., 63), на море стрелять белых лебедей, гусей и уток. Это главная цель его охоты. И хотя он может отправиться также «за куницами, лисицами и утками» (Рыбн., 106), общим местом обычно остаются гуси, утки и лебеди: он «стреляет гусей, белых лебедей, перелетных серых малых утачак» (К. Д., 3), «стрелял серыих гусей и стрелял лебедей» (Рыбн., 29), «на гуся ехал Дюк, на лебедя, на серу пернату малу утицу» (Гильф., 225), он хочет «пострелят-то там гусей, белых лебедей, а-сь как серыих маленьких ютёнышов».[50]

Стреляние гусей-лебедей на заводях, море, в заречье — общеэпический мотив. В былине о Дюке его смысл неясен, с другими мотивами сюжета он не связан и как бы повисает в воздухе, кажется привнесенным извне. На самом деле это идет, по-видимому, от того, что перед нами элемент древнейшего и уже полустертого слоя эпических мотивов.

lib.pushkinskijdom.ru

Первоначальный смысл его становится понятен из сопоставлений со сходными былинными эпизодами. Так, в былине о Михайле Потыке лебедь — это девушка, невеста, будущая жена героя, принявшая иной облик:

Ходил Потык сын Иванович,
Ходил на охотушку.
Подходит он да к морю синёму,
К морю синёму — крутому бережку,
Видит, плавает да лебедь белая.
Он берё в руки ружье калиново,
Натягивает курок стрелочкой.
Лебедь белая из куста в куст перелетела,
Говорит ему языком человеческим:
«Ты уже здравствуй, здравствуй, Потык сын Иванович!
Ты не лебедь стрелять заводишь —
Стрелять девицу красную.
Уж как буду я тебе да молодой женой. . .» [51]

В варианте Кирши Данилова Потык, настреляв гусей-лебедей, встречает «белую лебедушку», непохожую на других:

Она через перо было вся золота,
А головушка у ней увивана красным золотом
И скатным жемчугом усажена.

Потык собирается подстрелить и ее, но слышит человеческую речь, обращенную к нему:

«А и ты, Потык Михайла Иванович!
Не стреляй ты мене, лебедь белую,
Не в кое время пригожуся тебе!»
Выходила она на крутой бережок,
Обернулася душой красной девицей.
(К. Д., 23)

Мотив: лебедь оборачивается девушкой, невестой героя — не только эпический, но и общефольклорный. А. М. Лобода находит, что девушки — уточки, горлицы, голубки, лебеди и т. п. — не известны в былинах, кроме как в упомянутых им двух сюжетах: о Михайле Потыке и королевичах из Крякова.[52] Тут он, как видим, не прав. Но он прав, указывая на образ лебеди-девушки в сказках.[53] Находит он образ белой лебеди и в свадебной лирике, как и образ жениха — стрельца, охотника за нею.[54]

Такие общефольклорные образы, по-видимому, независимы и суверенны в различных жанрах, но имеют общий, выходящий за пределы отдельных жанров источник. Таким источником является, скорее всего, обрядово-мифологический комплекс. Рассмотрение этого явления могло бы быть темой специальной работы. Здесь же мы ограничимся указанием на выводы, обращенные к обрядово-мифологическим корням и относящиеся только к волшебной сказке. В. Я. Пропп специально касается сказочного мотива поимки героем девушки-утки. После просьб и освобождения пойманной девушки-утицы следуют трудные задачи, которые предлагает герою царь-отец. Среди них — узнать девушку среди схожих с ней лицом сестер. Такую и другие задачи задает герою Водяной [55] в силу его связи с водной и птичьей природой дочери. «Здесь сказочник не знает, что заставляет Водяного задавать задачи. Он от себя придумывает причину. За этими задачами, однако, всегда следует брак с дочерью Водяного, и здесь мы просто имеем отражение сказочного канона: сватовство плюс трудные задачи плюс брак»,[56] — пишет В. Я. Пропп. Тут важно, что стреляние, поимка лебеди, утки связаны с женщиной, невестой, на которой герой женится.

В былине о Дюке мотив стреляния на заводи обрывается и продолжения не имеет, но женщина появляется, как увидим, позже, в другой исторической связи и уже в составе

lib.pushkinskijdom.ru

другого исторического слоя мотивов, куда она, вероятно, перешла. Женитьба на лебеди связана с древней формой брака, при которой, по наблюдению над его фольклорными отражениями В. Я. Проппа, «жених посвящается в тайны не своего рода или племени, а в тайны рода своей жены».[57] Мир жены здесь — иной мир, а в былине о Михайле Потыке не только иной, но и враждебный герою. Это объясняет необыкновенные стрелы Дюка, которые светятся ночью золотом и драгоценными камнями:[58]

Где стрела лежит, дак будто жар горит.
(Гильф., 230)

Где стрэла стоит, тут швеча горыт воску ярово.[59]

Из наблюдений В. Я. Проппа на материале волшебной сказки следует, что в обрядово-мифологических представлениях на скотоводческой и земледельческой стадиях развития «золото идет не от металла, а от огня».[60] Что же касается последнего, то распространенным является представление об огне как посреднике между двумя мирами: миром обычной жизни и потусторонним.[61] В связи со всем сказанным можно предполагать, что и в былине о Сухмане гнев князя Владимира на богатыря, который не привез ему с заводей обещанную лебедь некровавленую, так как невольно отвлекся от охоты, встретив на Днепре татарское войско, в его исконной и уже неузнаваемой форме вызван не тем, что богатырь, как кажется князю, обманывает его, а тем, что он не справился со сватовством для Владимира. Видимо, и эта былина стоит «в ряду эпических песен, где охотничья поездка героя символизирует сватовство».[62]

Мотиву стреляния гусей-лебедей на заводях сопутствует несколько иных мотивов, стоящих с ним в одном или сближенном историческом ряду. Они, так же как и мотив стреляния, не имеют сюжетного продолжения и завершения, но, сцепленные с мотивом стреляния, представляют собою остров, отколовшийся от былого былинного целого и занесенный в иной сюжетный архипелаг. Это рассказ о Дюковом доме, в котором есть черты как ранние, связанные с матримониальным мотивом стреляния, так и более поздние. К ранним относится описание Дюкова двора как стоящего на золоченых или серебряных столбах с золоченой или из особой меди крышей. Причем медь эта «дороже красна золота» (Тих. и Милл., 51):

Ай у Дюка-то было у Степановича,
Ише был у его да все широкой двор,
Ай ведь был-то у ево да все широкой двор,
Как широкой ево двор да на семи верстах,
На семи-то верстах был, да семидесяти был семи столбах,
Эти столбички-ти были столбы то́чоны,
Столбы точоны, были позоло́чоны,
Да у кажного столба все был-то по золотому по колечушку;
Ишше крышоцька была на доми золоченая.[63]

Иногда столбы поставлены во дворе, но не для коновязи, что делает непонятным и таинственным их назначение. Тут столбы уже теряют роль подпирающего элемента древней свайной постройки,[64] но и не вполне перешли на роль коновязи:

А-й да у Дюка-то было в шыроком дворе,
Ишша триста столбов было да серебреных,
Да цетыреста столбов было позолоценых,
Ишша медны(м), зеленны(м) да цисла-смету нет.
(Григ., II, 18)

Дом окружен необычною оградою:

lib.pushkinskijdom.ru

Кругом нашего двора булатный тын,
Наведено медью яровицкою,
Столбики были точеные,
А маковки были золоченые.
(Рыбн., 202)

Поселение Дюка еще нельзя называть городом:

Городом назвать — так мал добре,
А теремом назвать — так велик добре.[65]

Во ихной во деревеньки во Галичи

Во деревеньке у нас да во Галичи
(Гильф., 20)

В тереме над матерью Дюка сияют нарисованные солнце, луна и звезды; ей не дают ступать по земле, а стелют под ноги суконную дорожку, от небесных светил ее защищают зонтами:

Несут над ней надсолнечники,
Позаде им надмесячники,
По бокам-то несут от частых звездочек.
(Милл., 55)

Перед нами — целый комплекс древних общефольклорных и общеэпических мотивов. Строение, обнесенное частоколом, оградой, где на каждом из выступающих вверх концов — «по маковке», встречается в колядках и волшебной сказке. О. Ф. Миллер прав, замечая в связи с описанием двора героя в былине о молодости Чурилы, описанием, совпадающим с тем, что мы встречаем в былине о Дюке: «Таким образом обыкновенно описывается просторный двор при трех злотоверховатых теремах — в колядках».[66] Еще более отчетливо сходство Дюкова двора с большим домом волшебной сказки, в котором отразились традиционные черты мужских домов родовой эпохи. По наблюдениям В. Я. Проппа над сказочно-этнографическими параллелями, «мужские дома именно отличались своей иногда поразительной величиной». «Другая особенность дома та, что он обнесен оградой». «Кругом всего дворца стоит частокол высокий, на целые на десять верст, и на каждой спице по голове воткнуто».[67] Здесь перед нами исконное навершие частокола, которое в былинах и колядках смягчено и эстетизировано. Впрочем, в одном варианте былины о молодости Чурилы [68] мы встречаем и это древнее обрамление. «Все остальные особенности этого дома могут быть объяснены стремлением оградить себя от мира. Этот дом стоит на столбах».[69] «Эти дома иногда имели великолепный вид, украшались резьбой, раскрашивались. Неудивительно, что они превращались в „мраморные дворцы“».[70] Характерно, что поселение Дюка имеет черты культового характера, связанного с местожительством хозяина, наделенного свойствами предводителя, вождя (боярский сын). Культовый характер особенно ярко сказывается в стремлении во внутреннем убранстве повторить окружающий мир, небесные светила и тем самым овладеть этим миром путем его имитации в подвластных формах домашнего быта. Это особенно интересно в свете представлений о древнейшем восточнославянском родоплеменном центре как административно-культовом. Изоляция от мира при его «одомашненной» имитации играла здесь заметную роль. Что касается изоляции самого человека, то бросаются в глаза заботливые стремления оградить мать Дюка от соприкосновений с внешним миром, что в этнографическом отношении напоминает широко отраженную волшебной сказкой изоляцию родоплеменных вождей (царей) и их детей, когда, например, «царь не должен показывать своего лица солнцу, поэтому он находится в постоянной темноте. Далее, он не должен касаться земли» [71] и т. п. Что касается золотых, серебряных, медных атрибутов Дюкова двора, то о связи их с иным миром речь уже шла. В волшебной сказке такая связь широко прослежена В. Я. Проппом в главе VII его «Исторических корней волшебной сказки».[72]

lib.pushkinskijdom.ru

Большой дом связан с обрядом посвящения. Такая связь есть и в былине о Дюке. Выделим пока лишь один элемент. Иногда перед выездом в Киев Дюк заезжает на какую-то гору, где собираются добрые молодцы. Мать произносит запрет бывать там, так как на гору эту много молодцев «заезживает», но мало «выезживает» (Рыбн., 139). Но Дюк едет туда и тешится там (Рыбн., 131). И это заканчивается для него благополучно, хотя по фольклорным канонам нарушение запрета должно вести к беде. Беда могла стереться в ходе исторических изменений сюжета. Гора былины о Дюке находится, по-видимому, в какой-то перекличке с горой, на которую поднимается Василий Буслаев и где находит свою гибель. Использование отдельным певцом того или иного мотива из общеэпического фонда бывает очень показательно, так как обнаруживает его творческие намерения, пристрастия и выбор, в котором сказываются личное певческое не рациональное, а именно поэтическое, художественное понимание сюжета и его творческая интерпретация.

Другой исторический ряд мотивов былины о Дюке открывается выездом героя из Индии богатой, Корелы упрямой (Рыбн., 63), т. е. из чужого Киеву, иноплеменного мира. Мотивировки выезда разнообразны. Но среди них встречаются и такие, что выдают одну из наиболее архаических целей поездки — предстоящую женитьбу.[73] Дюк, неженатый молодец, просит мать отпустить его:

Не довольно ль мне молодцу ребятиться,
Пора-время показаться во добры люди.
(Пар. и Сойм., 10)

Характерно, что Дюк выезжает в Киев после охоты на гусей-лебедей, удачной (см., например: К. Д., 20; Рыбн., 63) или неудачной, что бывает чаще. Охота оказывается как-то связанной с целью поездки, связь эта уже затемнена, но остается. Дюк, к примеру, может выезжать после того, как видит вдали Киев и «моря синие»:

Там плавают гуси лебеди,
На тихих вёшних заводях.[74]

Иногда Дюк прямо говорит после охоты о том, чего он хочет от поездки в Киев:

Не бувал я во стольном граде во Киеве,
Не видал я солнушка Владимира,
Не видал я душечку королевишну!
(Милл., 55)

Матримониальные цели переносятся теперь с охоты на поездку в Киев, и в тесной связи с ними оказываются соревнования с киевским щапом и любимцем женщин Чурилою.

Чурила — такой же неженатый и молодой, как и Дюк. Как и Дюк, он не киевлянин, но человек, стремящийся в Киев и служащий ему, о чем повествует былина о молодости Чурилы («Чурила и князь»), сюжет которой находится в тесной связи с сюжетом о поездке Дюка в Киев.

В отличие от Дюка Чурила прославился своими успехами у женщин. На него засматривается княгиня Евпраксия, его увлекает своей безоглядной страстью жена Бермяты (былина о Чуриле и чужой жене), когда он идет мимо, на него любуются девки, молодухи, и даже старухи с досады, от неутоленной страсти, грызут свои костыли. Спор Дюка и Чурилы — это спор двух неженатых добрых молодцев, в котором Чурила представляет Киев, но выступает наряду с Дюком в матримониальной роли как некоренной киевлянин, приезжий, претендующий на свое законное место в межфратриальных и межплеменных отношениях. К приезду Дюка Чурила уже освоился в Киеве и стал в нем своим человеком. Но для их соперничества это не имеет решающего значения. В споре Дюк и Чурила равны, а сам спор носит настолько ожесточенный характер, что проигравшему по уговору он часто сулит быструю и позорную казнь. Такую казнь

lib.pushkinskijdom.ru

и пытается совершить Дюк. Его никто не вправе остановить, но его можно уговорить смягчиться и помиловать Чурилу, что он и делает, говоря своему сопернику:

Ты князем да Владимиром упрошенный,
Киевскима да Черниговскима,
Ай Черниговскима бабами умоленный.
Ты не езди-тко нунь с нами со бурлаками,
А ты езди-тко нунь в Киеви,
В Киеви в Чернигови меж бабамы,
А век же там ты езди по веку!

(Гильф., 9)

Подобный конец спора показывает, что певцы отделяют Дюка от Чурилы и готовы представить его не бабьим угодником, но богатырем, хотя ничего собственно богатырского в Дюке нет. Сам сюжет о нем небогатырский или добогатырский, хотя и героический. Его героика заключается в том, как складывается у Дюка борьба с Чурилою. Первоначальный смысл спора в дошедшем до нас составе сюжета уже затемнен. Он открывается, если рассмотреть условия спора-соревнования.

По вариантам Дюк с Чурилою обычно берутся, во-первых, в течение длительного времени — от года до трех лет — каждый день надевать новое платье и, во-вторых, состязаться в конных прыжках через Днепр (Пучай-реку и т. п.). Это наиболее характерная форма соревнования героев. Перед нами состязания неженатых молодых героев, которым нужно отыскать эпические и историко-этнографические типовые соответствия. На этом пути можно попытаться найти исконную причину спора. Причина же, лежащая на поверхности, заключается в том, что Чурила видит в Дюке соперника своей упрочившейся в Киеве роли первого щеголя и удальца.

Состязания эпических героев — распространенная тема мирового эпоса. Б. Н. Путилов справедливо отмечает: «В эпосе состязаются соперники, представляющие „свой" и „чужой" социумы либо разделенные сословными, социальными границами».[75] Исследователь выделяет в этом ряду богатырское соперничество в связи со сватовством, когда герой, например, должен одержать победу «над главным претендентом».[76] Мировой и, в частности, славянский эпос дает многочисленные подтверждения распространенности подобной коллизии. Какое отношение имеют к ней состязания Дюка с Чурилою?

Они, с одной стороны, представляют добогатырскую стадию, а с другой — стадию изживания соперничества ради женщины. Казалось бы, Дюк вообще отвергает подобное соперничество. Так, после своей победы он с презрением говорит о Чуриле как о женском угоднике, подразумевая, что сам он вступил в соревнование с ним совсем из других соображений, нежели его противник:

Ай ты, Чурило сухоногое!
Поди щапи ты с девками да с бабами,
А не с нами, с добрыми молодцами.

(Рыбн., 181)

Между тем женщина как цель состязания героев, женитьба как итог приключений Дюка исчезли из эпического сюжета не совсем. В сибирском варианте, например, где Дюк собирается в Киев, потому что не видел князя Владимира и «душечку королевишну», Чурила после хвастовства Дюка своим богатством, как бы вступая с ним в спор, говорит:

Не бувать вам во стольном граде, во Киеве,
Не видать вам душечку королевишну! . .

(Милл., 55)

После победы над Чурилою Дюк может жениться на племяннице князя, будто само соперничество разгорелось из-за нее:

lib.pushkinskijdom.ru

Как стал, со стыда со великого,
Уехал ведь Цюрила ведь безызвестно ведь,
А тот ли ведь боярин Дюк Степанович
Женился ведь у князя у Владимира,
Как взял то ён любиму племянницю.
Стали жить оны, добра наживать,
Теперь оны ещё хорошо живут.

(Сок.; Чич., 21)

По поводу сватовства Дюка к племяннице князя Владимира в варианте А. В. Маркова, А. Л. Маслова и Б. А. Богословского[77] А. И. Лященко замечает: «Сватовство Дюка сразу же встречает полное сочувствие и согласие со стороны князя и невесты»,[78] хотя мотивы сватовства, женитьбы и увоза Дюком жены сам А. И. Лященко считает поздними и вставными в сюжет.[79] Наконец, в лодейнопольском варианте П. Н. Рыбникова весь сюжет может сводиться к борьбе Дюка с Чурилою (названным здесь Гусинко Пленкович) за киевскую царевну (Рыбн., 216). Вариант отличается сильными отступлениями от традиционной сюжетной канвы и резкими индивидуальными особенностями, но такое отступление не означает в данном случае разрыва с традицией. Узнав о его хвастовстве своим богатством, женить Дюка может рассерженная мать:

Не пустым ле, детинушка, захвасталса,
А не зря ле, детина, распромолвилса?
А не пора ле детинушки женитисе.

(Григ., II, 83)

Впервые увидев Дюка, князь Владимир сразу же высказывает догадку:

Это не посол ли чуждой земли,
Не сватух на моёй племянницы?[80]

Среди русских былин Киевского цикла о сватовстве известно два сюжета, в которых жених прибывает в Киев из другой земли: это сюжет о Дюке и о Соловье Будимировиче. Все остальные сюжеты рассказывают о женитьбе героев, выезжающих из Киева или ищущих невесту в самом городе («Добрыня и Маринка»). Последний случай — особый.

Женитьба Дюка и Соловья Будимировича носит ненасильственный характер по отношению к Киеву и невесте. Насильственная женитьба — явление более позднее, как, например, в былине о Дунае-свате, где Дунай силой завоевывает для князя Владимира Евпраксию у литовского короля. Женитьба здесь выступает одним из элементов «межгосударственных отношений» дофеодального периода. Но насилие над женщиной может быть явлением и более ранним, когда Змей или другое чудовище змеиного типа покушается на представительницу княжеского рода («Добрыня и Змей», «Алеша Попович и Тугарин» в ее киевской версии, былина о рождении и походе Вольги). Здесь чудовище представляет мир княжеских предков, а его отношение к княжне и княгине связано с идеей непрерывности и чистоты замкнутого и самовоспроизводящегося княжеского рода.[81] Как считает Н. А. Бутинов, такое явление характерно для гетерогенной общины, в которой выделяется агнатная группа господствующей родовой аристократии.[82] Н. А. Бутинов замечает о подобных явлениях: «Родовые деления начинают постепенно принимать сословно-кастовый характер... У коньяк (Ассам) род вождя (анг) настолько обособился от всех остальных родов, что даже исключил браки с ними и тем самым приобрел один из признаков касты — эндогамию».[83] Добрыня, Алеша, Илья Муромец, победивший Соловья-разбойника, разрушают в былине связь между чудовищем и княжеским родом. Былина об Илье Муромце и Соловье-разбойнике показывает, что речь может идти о периоде установления межплеменных контактов на восточнославянской почве.

lib.pushkinskijdom.ru

Дюк не чудовище, он представитель некиевского племенного единства. Сюжет мог возникнуть в период установления межплеменных связей в матримониальных целях, когда устройство семьи в пределах племени в процессе межфратриальных родовых отношений сменяется межплеменными контактами. Такие контакты принимают характер соперничества, перерастающего позднее в военные конфликты. В предвидении таких конфликтов сватовство осуществляется теперь наподобие военного похода, в котором наряду с женихом или сватами выступает дружина. Одним из сюжетов, отразивших эту стадию из истории сватовства, является былина о Дунае и женитьбе князя Владимира. Сюжет о Дюке рисует картину более раннюю, из которой не ушла еще праздничная состязательная сторона межфратриальных отношений.[84] Мировой эпос знает множество однотипных сюжетов, примером которых может быть узбекский Алпамыш.

Характерная для былины о Дюке форма сватовства, сохранившаяся, правда, в рудиментарном виде, нашла выражение в целом ряде мотивов, которые и объясняются включением в матримониальную эпическую тему. Среди них — преодоление Дюком трех застав на пути в Киев. Это толкучие горы, Змей и хищные птицы (звери):

Первая застава великая:
Стоят тут горы толкучии;
Тыи ж как горы врозь растолкнутся,
Врозь растолкнутся, вместе столкнутся,
Тут тебе молодому живу не бывати.
Есть другая великая там застава:
Сидя там птицы клевуции;
Тые птицы тебя с конем склюют;
Тут тебе Дюку не проехати,
Тут тебе молодому живу не бывать.
Есть третья великая тут застава:
Лежит Змеище-Горынище,
О двенадцати змия о хоботах;
Тоя змия тебя с конем сожрет.

(Рыбн., 29)

Толкучие горы относятся к числу общефольклорных образов. В мифологических представлениях, отраженных волшебной сказкой, вход в царство смерти «идет через пасть животных. Эта пасть все время закрывается и открывается... В этом случае совершенно ясно, что пасть — это ворота. Отсюда, с одной стороны, идут захлопывающиеся двери, иногда отхватывающие герою пятку, а также двери с зубами и кусающиеся двери, с другой стороны, отсюда же идут и толкучие горы, грозящие раздавить пришельца».[85] На то же значение эпических вообще и былинных образов в частности обратил внимание Н. И. Коробка. Приведя международные материалы, он заключает: «Все эти данные достаточно указывают на значение толкучих гор как ворот двух миров».[86] То же значение имеют и другие препятствия на пути Дюка: «заставы» — это врата между двумя мирами, и в числе стражей этих врат находим птиц поклевучих или страшную птицу (Соловья, Симурга) на дереве.[87] Прохождение застав Дюком сопоставлено с прохождением Ильей Муромцем заставы Соловья-разбойника: «...несомненно сходство битвы Ильи с Соловьем с заставами Дюка и Егория».[88] Это глубоко оправданно хотя бы потому, что сами певцы охотно объединяют мотивы двух сюжетов (Дюк, отстояв дома заутреню, стремится попасть в Киев к обедне, ему не верят, как Илье, называя мужиком-обманщиком, Владимир просит его унять зверей и птиц с его платья, как просил он Илью унять Соловья, и т. п.), видя в них родство.

Особенность былины о Дюке в отличие от волшебной сказки в том, что герой проделывает путь не из «своего» мира в «иной», а наоборот: из мира некиевского, который для киевлян выглядит как необычный, своеобразное инобытие, в мир, где разворачиваются основные события песни. Так же проплывает из иного, негреческого мира между Сциллой и Харибдой Одиссей на пути к своему дому и своей Пенелопе. Мотив преодоления толкучих гор — международный эпический мотив. Толкучие горы находятся,

lib.pushkinskijdom.ru

в частности, и на пути героя, ищущего женщину, жену. «Локус ,,сходящиеся-расходящиеся скалы" чаще всего связан с мотивами женитьбы богатыря (Курман Таасы), похищения жены (Тоймон Коо) и борьбы с завоевателями»,[89] — пишет, например, об алтайском эпосе Е. Е. Ямаева. «Иной» мир Дюкова дома — это мир, окрашенный в золотой цвет, что связано не только с его богатством, где золото, серебро, драгоценные камни играют первостепенную роль, но и с представлением об ином мире как мире золота и огня. Оценщики, посланные Владимиром описать Дюково богатство, видят его землю с горы и ужасаются увиденному:

Подъехали под Индею под богатую,
Повыстали на гору на высокую,
Увидели Индею тую богатую,
Сами говорят да таково слово:
«Знать, что молодой боярин Дюк Степанович
Он послал, знать, туды весточку на родину,
Чтобы зажгли Индею ту богатую:
Ай, горит Индея та богатая!»
Как подъехали они поближе де:
У них крышечки в домах золоченые,
У них маковки на церквах самоцветные,
Мостовые рудожелтыми песочками призасыпаны,
Сорочинские суконца приразостланы.

(Рыбн., 29)

Не доезжая до города и увидев крыши Дюкова дома, Добрыня и Алеша восклицают:

Как горит, верно, Корелушка богатая!

(Марк., 15)

К тому же за оградой у Дюка «текет река медовая, рассыпаитьце у речиньки все золота руда» (Марк., 15); «течет-то струйка золоченая» (Гильф., 159). Тут интересно замечание Н. И. Коробки: «Если путь, на котором находятся ,,заставы", — путь в страну мертвых, как это определенно видно из мексиканского сказания и Калевалы, то он может быть в то же время и путем в страну солнца».[90] Важно заметить, что в данном случае речь идет о пути не в Киев, а из Киева в Дюкову землю. И в ней действительно фигурирует солнце во внутренних росписях, как и золотой цвет. Но застав на обратном пути уже нет, или они сохранились лишь в смутных отголосках, о чем речь пойдет ниже.

Если путь Дюка в Киев выводит на полустершиеся матримониальные мотивы, то тем большая связь с былой темой женитьбы обнаруживается в деталях состязаний Дюка с Чурилою. Иногда Чурила прямо предлагает Дюку:

Не угодно ли тебе со мной походить,
Перед девками пощапить
И каждый день платье цветное сменить?

(Рыбн., 63)

Правда, Дюк с гневом отвергает предложение пощеголять перед девками, но охотно принимает вызов каждый день сменять одежду. Мотивировка меняется, сами поступки остаются. И хотя события в былине происходят в пору охоты, весной [91] или ранним летом, когда Дюк выезжает на заводи, он тем не менее в состязаниях с Чурилою может надевать шубу (см., например: Рыбн., 131, 172; Аст., 71). Надевание верхней одежды независимо от времени года и погоды характерно для свадебного обряда, в котором шуба, мех связаны, в частности, с пожеланием и магическим посылом богатства.[92] В эпосе смена дорогой и красивой одежды накануне женитьбы героя, соревновательность в щегольстве просматриваются как черта международная, хотя и достаточно архаическая. В былине об Иване Годиновиче, например, князь Владимир спрашивает героя, задумавшего жениться на иноплеменнице, иноземке из Золотой Орды:

lib.pushkinskijdom.ru

Что же будешь брать с собой —
Силу (армию) великую,
Али будешь брать бессчетну золоту казну,
Али будешь брать одежи драгоценные?
(Рыбн., 10)

Во время сватовства Иван Годинович встречает соперника в лице литовского царя. Соперничества в богатстве сменяемой одежды в сюжете уже нет, но такое соперничество здесь намечено и возможно. В «Песни о Нибелунгах» Гунтер, собираясь сватать Брюнхильду, говорит сестре о необходимости трижды в день в течение четырех дней менять одежду по прибытии к избраннице:

Мы едем вчетверо́м:
Я, Зигфрид, Хаген с Данквартом, лихим богатырем.
Всем четверым придется, — запомни королевна! —
Менять свою одежду три раза ежедневно,
И так мы будем делать подряд четыре дня,
Чтоб двор Брюнхильды в скупости не укорил меня.[93]

Объяснение, которое дает Гунтер, предполагает не знание того, что принято у Брюнхильды, незнакомой королю, а какой-то обычай, о котором после высадки как будто забывают, тем более что и само пребывание у Брюнхильды оказалось короче. Русский герой иногда тоже

Одевае в кажный день-то платьица он сменныи,
Да не то боярин и по трижды в день.
(Гильф., 9)

Отраженный в «Песни о Нибелунгах» эпический мотив можно рассматривать как одностадиальный с соответствующими былинами о Дюке. Известно, что Брюнхильда германо-скандинавской мифологии и эпоса — валькирия. Снорри Стурлусон называет ее именно так в своем обобщающем сочинении.[94] Один из признаков валькирии — лебяжье оперение, «атрибут стремительного полета валькирий».[95] А. М. Лобода сопоставляет русскую лебедь белую с соответствующим лебединым обликом немецких валькирий, упоминая в этой связи о встрече Хагена с «морскими женщинами» во время его поездки к Этцелю.[96] А. Н. Веселовский в «Разысканиях в области русского духовного стиха» и в некоторых других работах, в которых трактуется история развития народного представления о судьбе-доле, устанавливает связь образов валькирии с лебединым образом судьбы русского фольклора, славянской мифологии и древней литературы. «Я полагаю, — писал он, — что лебединый образ валькирий развился в связи с древнейшим зооморфическим представлением прирожденной судьбы и удержался кое-где в ее последующем развитии и образах — как переживания. Рядом с валькирией-лебедем, с ирландской badbcatha — богиней (военной) судьбы, являющейся в образе ворона... мы поставим и деву Обиду («Слово о полку Игореве») с ее лебедиными крылами...»[97] Как мы пытались показать, развитие сюжета о Дюке начинается со стреляния на заводи в гусей-лебедей, мотива, скрыто выражающего прерванную сюжетную линию о женитьбе героя на девушке-лебеди. Дальнейшее историческое развитие сюжета о Дюке уводит нас в восточнославянскую и древнерусскую историю XI—XIII веков. Развитие сюжета «Песни о Нибелунгах» идет до некоторой степени параллельным путем переработки древнейших народных мифологических образов на базе средневековых представлений и средневековой истории XII—XIII веков.

В многолетних переодеваниях героев решающим оказывается последний день, который и определяет, кто победит. В этот день Чурила облачается в замысловатый эротический наряд, поражающий всех своей необыкновенной фантастической выдумкой:

lib.pushkinskijdom.ru

В пуговки воплетано по доброму по молодцу,
В петельки воплетано по красной по девушке:
Как застегнутся, так обоймутся,
А расстегнутся, и поцелуются.

(Рыбн., 16)

Одежда Дюка тоже необычна, но совсем по-другому. Это одежда, двояко выдающая связь с иным миром: своей огненной природой и звериными атрибутами, напоминающими преодоленную заставу и Соловьиную заставу Ильи Муромца:

Как раздевается да Дюк Степановиць,
Скидает ён одежду верхнюю,
Будто вдруг в церкви загорелося,
Пошло по церкви сияние.

(Пар. и Сойм., 37)

Провел плеточкой шелковой по белой груди,
Еще петельки-ты свищут по соло́вьему,
Ай то пуговки крычат-то по звериному.
Молодой боярин Дюк Степанович
По белой груди стал плеточкой поваживать,
А й народ стал падать на кирпичный мост
От того от посвисту соловьяго,
От того от покрыку звериного.

(Гильф., 85)

Реакция собравшихся напоминает реакцию на свист Соловья-разбойника. Но свист и крик чудовищ может исходить не от хитрой механики пуговиц, в пуговицах могут скрываться настоящие чудовища:

А и провел по пуговкам своёй рукой,
А и кажна пуговка распоялася,
Ай-я из каждной пуговки вылетала змея,
Вылетали тут змеи, право, разныи,
А закричали-запели разным голосом.
Ай-я божья церковь да пошатилася,
А и все тут ле народ упал.

(Аст., 71)

Попытка объяснить необычный характер пуговиц «звериным стилем», своим или иноземного происхождения, на древнерусской одежде и предметах прикладного искусства[98] малоубедительна, так же как и попытка увидеть в доме Дюка и его обитателях Москву XVI—XVII веков.[99] Быт дает детали и орнамент былинным реалиям, но содержание их не сводится в подобных случаях к бытовой фотографии. В нашем случае это доказывается и такими неожиданными диковинками: угрожающе свистеть могут не только пуговицы на одежде Дюка, но и его необыкновенные лапти, которые он достает и надевает в последний день (Гильф., 213). Главное тут не пуговицы и не лапти, а сам чудовищный свист и рев. Нельзя признать удачными попытки некоторых певцов приписать Чуриле атрибуты костюма Дюка и наоборот.

Миновав таящую смертельную опасность змеиную, птичью и звериную заставу, сам Дюк несет в себе мифологические змеиные, птичьи и звериные черты. Он связан с иным миром, и показателем этой связи в былине являются атрибуты, роднящие его с чудовищами. «Перед нами довольно определенно вырисовывается представление об одежде какого-то мифологического существа. У Дюка эти мифологические подробности могут быть результатом величания при помощи приписывания ему одежды мифического существа, но если принять во внимание характер застав, проходимых Дюком, отсутствие в этом образе черт исторических, то может возникнуть предположение, что былина о Дюке — обломок, эпизод мифологического эпоса, вовлеченный в Владимиров цикл»,[100] — писал Н. И. Коробка.

lib.pushkinskijdom.ru

Дюк отчасти напоминает таких богатырей, как Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, сражающихся с Соловьем и Змеем. Но он и значительно отличается от них. Богатыри, побеждая чудовищ, освобождают от их угрозы Киев, они разрушают отношения, которые подразумевались до этого между древним княжеским родом и мифологическими силами. И Илья, и Добрыня, и Алеша, совершив подвиг, становятся киевскими богатырями и с тех пор представляют киевское богатырство. В былинах о них господствует киевская точка зрения. Дюк же представляет иной племенной мир, некиевскую и в этом смысле «нерусскую» землю и остается таковым до конца сюжета. Поэтому в Киеве он сохраняет некиевские черты, выступает в роли героя, не только преодолевающего змеиную и прочую угрозу, но и сохраняющего отпечаток иной земли, из которой он прибыл.

Косвенно с матримониальной темой могут быть связаны и состязания с Чурилою, когда соперники берутся перепрыгнуть на своих конях Днепр (Пучай-реку и т. п.). Чурила падает с конем в воду. Дюк же перепрыгивает реку не только в одну сторону, но и обратно, вытаскивая за волосы Чурилу.

Пучай-река здесь появляется недаром. Если, говоря о свистящих, поющих и ревущих змеях, птицах и зверях на пуговицах Дюка, а иногда и о его поездке прямоезжею дорогой в Киев и т. п., певцы интерпретируют сюжет, сближая его образы с образами былины об Илье Муромце и Соловье-разбойнике, то с Пучай-рекой они вольно или невольно вносят в сюжет о Дюке отголосок сюжета о поездке и смерти Василия Буслаева. В этом последнем тоже встречаются прыжки — это прыжки через надмогильный камень. Необычность выдает их обрядово-мифологическое происхождение. В былине о Дюке исконный источник таких прыжков, в которых участвует неженатая молодежь, менее отчетлив, более предположителен и завуалирован выдвинутым на первый план бытовым характером конских ристалищ. Но это не до конца скрывает испытательный и соревновательный характер прыжков, берущих начало в тех обрядах инициации, которыми заканчивается период добрачной жизни и добрачных отношений молодежи. Как и в былине о поездке и смерти Василия Буслаева, прыжки в былине о Дюке связаны с рекой, действительным или мнимым купанием, купанием, которого избегает Дюк, но которое невольно совершает Чурила. Связь купания с обрядовыми прыжками прослеживается и во время инициации.[101]

Интересно, что соревнования Дюка с Чурилою происходят на виду у всего народа и всенародно обсуждаются. Город Киев не фон этих соревнований, а их заинтересованный участник, заканчиваются ли они в церкви, где герой появляется в своих лучших нарядах в последний день назначенного срока, или на берегу реки. Это чрезвычайно интересная черта, возможно указывающая на первоначальный общинно-родовой межфратриальный или межплеменной характер подобных состязаний. Тем более что достать необходимую смену платья для Дюка оказывается трудной задачей. Если эта трудная задача была когда-то связана со сватовством, то она выглядит аналогичной трудной задаче волшебной сказки, которая вызвана теми же поводами.[102] «Дюк хотел взять замуж сестру Владимира. Солнышко Владимир дал Дюку задание», — сообщает певица прозой забытые в напеве строки (Карел. Поморье, 193). И в параллель волшебной сказке мы находим в былине наделенного особыми свойствами помощника героя — его коня, а также площадной, общенародный способ выявления победителя. Позднее эти же состязания наполняются новым историческим смыслом соперничества русских городов-государств, где Чурила представляет Киев против Волыни-Галича Дюка.

Но как бы то ни было, а тема женитьбы в дошедших до нас вариантах былины о Дюке уже отодвинута на второй план и полустерта. На переднем плане оказывается соперничество Дюка с Киевом, представителем которого выступает Чурила. Вызывать на соревнования с Чурилою может сам Владимир, и тут Чурила выступает уже от имени Киева. С другой стороны, и Чурила может выразить недоверие к Дюкову богатству и тем самым спровоцировать киевское посольство в его дом. Но главное здесь, как уже отмечалось, не спор с Чурилою, а вызов князю Владимиру и Киеву, который бросает Дюк.

lib.pushkinskijdom.ru

В Киеве все оказывается не так: мостовые здесь грязные, калачи невкусные, дома и церкви бедные, вина затхлые, одежды невзрачные и т. п. Дома же у Дюка все изобилует роскошью, довольством и необыкновенной красотой. В ответ на такое хвастовство Владимир и его окружение часто обвиняют Дюка во лжи. В нем подозревают засельщину-деревенщину, холопину дворянскую, грабителя, снявшего платье с боярина или обокравшего своего господина. Владимир в конце концов приказывает сковать Дюка и засадить в темницу, а тем временем посылает к нему домой «описать» его богатство. «Поражение Чурилы является и посрамлением князя Владимира. Вообще же в ряде прионежских вариантов эпизод состязания с Чурилой заслонен эпизодом оценки Дюкова имения. Оценка эта предпринимается обычно не вследствие вызова Чурилы, а в силу недоверия к похвальбам Дюка. Поэтому характерным моментом является выражение недоверия князей-бояр при первом же появлении Дюка: „мужичище-деревенщина", убил кого-то, украл платье, коня и т. п.»,[103] — замечает А. М. Астахова.

Опорочение киевского богатства и возвеличивание роскоши Волыни-Галича носят в былине вполне самостоятельный сюжетный характер. Это подтверждается и тем, что эпизоды похвальбы Дюка, осуждения Киева, «описания» Дюковых богатств могут предшествовать соревнованиям с Чурилою, следовать за ними и даже быть «вставленными внутрь» соревнований (см., например: Гильф., 9, 213). Певцы могут и вовсе опускать эпизоды состязаний Дюка с Чурилою, оставляя лишь мотивы похвальбы богатством и поездки киевлян на родину Дюка (К. Д., З., некоторые кулойские, терские и золотицкие варианты).[104] Такая неустойчивость может свидетельствовать о наиболее позднем характере эпизодов, связанных со столкновением Дюковой Волыни-Галича с Владимировым Киевом, вызванным соперничеством в богатстве.

В мотивировках выезда Дюка отразились разные грани отношений юго-восточных земель периода господства родовой общины и возвышения Волыни и периода борьбы Галича с другими городами-государствами и со стольным Киевом. С одной стороны, Киев притягивает к себе Дюка так же, как он притягивает других богатырей. Такое тяготение к Киеву разных славянских и неславянских земель относится к длительному периоду преодоления родовой и племенной замкнутости, установления межплеменных контактов, в том числе и брачных, и создания позднее суперсоюза «примученных» Киевом племен и племенных объединений. В былине Дюк стремится в Киев «князю объявиться» (Рыбн., 63), посмотреть на князя Владимира и русских богатырей (Рыбн., 16), людей посмотреть — себя показать (Григ., II, 83), потому что

У стольного города не бывано,
Владимира князя не видано.
Владимир князь скажут ласков есть,
А княгиня Апраксия оченно приветлива.

(Рыбн., 106)

Мать советует Дюку ехать в Киев, так как Владимир устраивает для таких, как он, добрых молодцев почестный пир, а на отъезде жалует золотой казной (Рыбн., 13). В Киеве Дюка не знают и по прибытии расспрашивают, кто он и откуда.

Но, с другой стороны, в мотивировках выезда видно желание «испытать» Киев, сравнить его с Волынью-Галичем, узнать, так ли уж он хорош, как говорят. «Скажут, Киев град на красы стоит», — обращается Дюк к матери перед выездом (Рыбн., 63). Мать не хочет благословлять Дюка на эту поездку, а когда сын настойчивостью своей вынуждает ее на согласие, она произносит запрет:

Как будешь у царя на гостебищи,
Дак своим-то именьем не захвастывай.

(Пар. и Сойм., 37)

Иногда мать предвидит, что получится из этой поездки, и произносит предсказание:

lib.pushkinskijdom.ru

Ты напьешься, Дюк, зелена вина,
Во хмелю мое чадо неустройное,
На речах мое чадышко зашибисто,
Похвастаешь, Дюк, широким двором,
Похвастаешь, Дюк, золотой казной.
. . . . . .
Ты похвастаешь родной матушкой.
(Тих. и Милл., 49)

Запрет в фольклоре нарушается, как известно, а предсказание сбывается, и, следовательно, слова матери приоткрывают завесу над подлинными намерениями сына. Иногда он и сам прямо говорит в ответ:

На меня-то как найдет, я все не уступлю тут им.
(Марк., 15)

Особенно опасно хвастовство на пиру, так как хмельное молчание неизменно вызывает подозрение, не пить же вина на пиру нельзя. Обязательность праздничного опьянения долго сохранялась в общинном русском быту как норма.[105] Но навеселе Дюк непременно обнаружит свои подлинные намерения относительно Киева. Поэтому мать и предупреждает сына:

Молодой ты боярский сын Дюк Степанович!
Не езди ты во Киев град:
Живут там люди лукавые,
Изведут тебя, доброго молодца,
Быв хорошего наливного яблока.
(Рыбн., 181)

Соответственно двойственным оказывается и отношение к Дюку в Киеве, соперничество его со стольным городом тоже оканчивается двояко: Владимир может потерпеть поражение и даже попасть в зависимость от героя, но может, несмотря ни на что, оказаться в силе диктовать свои условия. С одной стороны, Дюка встречают ласково, расспрашивают, приглашают на пир, его победа над Чурилой встречает сочувствие. Сюжет, подключаясь к Киевскому циклу, вбирает в себя иногда киевский взгляд, встает на киевскую точку зрения. Об этом говорит поздний, по-видимому, ряд вставных мотивов, связанных с Ильей Муромцем: Дюк на пути в Киев, натолкнувшись на богатырскую заставу, встречает Илью. Он не решается вступить с ним в бой из страха и преклонения перед его славой непобедимого воина. За это Илья берет Дюка под свое покровительство. Но Дюка же за «хвастовство» сажают по приказу Владимира в темницу. Да и сам Дюк недвусмысленно бросает вызов Киеву, ещё раз нарочито и с обдуманным намерением:

А молодой боярин Дюк Степанович
На святые иконы не молится,
Князю солнышку да он не клонится,
А князьям-боярам только рукой махнул.
(Пар. и Сойм., 10)

В данном случае пренебрежение к иконам возникает не потому, что они христианские, а потому что они киевские, святыни враждебного города.[106]

Здесь имеет место языческий взгляд, представленный и в других былинных вариациях. Мы узнаем, например, что в Киеве и Галиче на воротах висят иконы (Гильф., 225, 243). Это говорит о том, что священную черту, проводимую городской стеной,[107] ворота как бы разрывали. Они, как и стена, подвергшись сакрализации, превратились в священные места, имевшие собственных покровителей среди божеств. Это языческое осмысление городских ворот нашло преломление в распространенной в Древней Руси практике строительства надвратных церквушек. В качестве примера можно назвать Золотые Ворота в Киеве, построенные при Ярославе Мудром, на которых была поставлена

lib.pushkinskijdom.ru

церковь Богородицы. Святой, которому посвящалась церковь, являлся охранителем ворот. Образа, развешанные, согласно былине, на воротах в Киеве и Галиче, аналогичным образом выполняли роль городских стражей. Так языческая суть воззрений подается сказителями в христианской упаковке. То же самое можно сказать и о домовой церкви, где молится Дюкова матушка. Практика строительства домовых церквей была распространена в Древней Руси. Христианство, входя в жизнь древнерусского человека, не вытесняло язычество, а как бы соединялось с ним. Склонность к обзаведению домовыми церквами, наблюдаемая на Руси XI—XII веков, означала стремление приблизить христианского бога к культу семейного родового очага.[108]

Для того чтобы характер соперничества городов и героев был яснее, нужно коснуться того, как оно разворачивается. В былине это, собственно, не воинское столкновение, а спор по поводу того, кто богаче. Богатству городов здесь придается решающая роль. Каков исторический смысл такого соперничества? Выше уже упоминалось описание Дюкова двора. Для Киева большое значение имеет также роскошная одежда Дюка. «„Цветное платье" могло служить мерилом богатства»,[109] — справедливо замечает в связи с Дюком Р. С. Липец. Соперничество городов по поводу богатства превращает само богатство в показатель городского могущества и власти. Истоки подобного явления можно усмотреть в чертах престижной экономики, с которой «связано возникновение категории „богатство"».[110] «Избыточная продукция, как правило, запасалась и шла на устройство пышных пиров и церемоний социально-престижного и религиозного значения».[111] Связанные с этими явлениями «престижно-социальные отношения получили в науке название престижной экономики».[112] Расцвет церемониальной культуры наблюдается в земледельческо-скотоводческих обществах. «С развитием скотоводства именно скот стал главным средством социально-престижных церемоний. . .» [113] Европейское средневековье не утрачивает стремления к выставляемой напоказ роскоши, к соревнованию богатств, дарений, вкуса к пиршествам и пышной церемониальной жизни. В этом сказывается древняя традиция, с точки зрения которой «высший момент наслаждения богатством — его расточение в присутствии максимального количества людей».[114] «В состязаниях в расточительности типа потлача, присущих архаическим обществам, и в пирах „на манер Гаргантюа", устраивавшихся средневековыми феодалами, есть нечто общее: и здесь и там нетрудно увидеть агрессивную щедрость, стремление подавить приглашенных своею широтой и победить в своеобразной социальной „игре", ставкой в которой служит престиж и влияние».[115]

Вместе с тем надо иметь в виду, что богатство у древних народов имело кроме престижного еще и сакральный характер. Не случайно сокровища сопровождают захоронения древних людей, перемещаясь вместе с умершим на тот свет. Не случайно и то, что само слово «богатство» в русском языке содержит корень «бог». Поэтому богатый — это человек, как бы пользующийся расположением богов, и соревнование в богатстве в конечном счете оказывается состязанием стоящих за соревнующимися божеств. Эти представления отражены не только в былине о Дюке, но и в сюжете о Садко. Связь сокровищ и золота с потусторонним миром засвидетельствована, например, в договоре Святослава с греками, где русские среди прочих клятв произносят и такую: «Аще ли от тех самых прежереченыхъ не съхранимъ, азъ же и со мною и подо мною, да имеемъ клятву от бога, в его же веруемъ в Перуна и въ Волоса, скотья бога, и да будем золоти, яко золото, и своимъ оружьемъ да исечени будемъ».[116]

В былине богатство Дюковой матушки и Дюка мало чем отличается от богатства древнерусской знати. Мы знаем, что главной формой такого богатства являлась не земля, а движимое имущество: сокровища, скот, кони, рабы.[117] На дворе Дюка находятся, например, кузницы, бани (Григ., II, 18), но нет богатых амбаров. Правда, у Дюка, с другой стороны, пекут вкусные калачи, которые несравненно ароматнее киевских, так как пекутся в более дорогих и искусно сделанных печах. Несравненно шире у Дюка применяется мед и доземледельческие медовые напитки. Иногда Дюк противопоставляет свои виноградные вина киевским хлебным (Рыбн., 63; Гильф., 115). На дворе Дюка

lib.pushkinskijdom.ru

поражает обилие серебряных «столбов», в которые продернуты позолоченные кольца для привязывания коней. Тут же для коней поставлена «сыта медвяная», насыпана «белоярая» пшеница (Гильф., 225). Кони играют особую роль в Дюковом богатстве. У самого Дюка конь крылатый, что позволяет ему благополучно пронести богатыря мимо трех застав, а позже выиграть соревнование с Чурилою в прыжках через реку. Но и этого мало. Иногда по условию соревнования Дюку и Чуриле нужно каждый день выезжать на коне другой масти. Чурила гонит целый табун лошадей, а Дюк каждый раз купает коня в утренней росе, и тот меняет свою масть (Рыбн., 29). Конь Дюка разговаривает, выполняет поручение хозяина и привозит ему из дома смену платья. На дворе у Дюка не только много столбов для коновязи. Оценщики, посланные Владимиром, нередко начинают описывать богатство Дюка с конной упряжи, но только три года и три дня описывают сбрую лошадиную (Гильф., 159) и не могут ее оценить (Рыбн., 29).

Другая необычная черта Дюкова дома — в особом положении его матери, ее женской прислуги и работниц. В первобытном обществе возрастание роли престижного богатства связано с возрастанием роли лидерства. Богатство определяет социальный вклад личности в общинную церемониальную жизнь. При этом выделяется роль женщины. «Женщины не только заботились о запасах пищи, но принимали живейшее участие в организации пиров и церемоний».[118] Не только мать, но и ее дворовые люди занимают в доме Дюка привилегированное положение по сравнению с киевлянами. «Дворовые люди у Дюка, — замечает В. Я. Пропп об этой стороне былины, — лучше одеты, чем Апраксия в Киеве. В Киеве Дюк принимает ее за портомойницу и тем вызывает ее гнев. В Галиче или Индии происходит обратное: Добрыня принимает портомойницу или другую работницу за Дюкову матушку. . .» [119]

Наконец, богатство Дюка в былине — это богатство иного мира, о чем речь шла выше. Но, с другой стороны, богатство Дюка — вполне реальное, историческое богатство Волыни-Галича, который предстает городом, окруженным сельскою округою с хозяйственными дворами и пашнею:

И приехале оне на пашню к нему,
Ко тем крестьянским дворам.
(К. Д., 3)

Любопытно, что в некоторых вариантах Галич вообще не отличается от деревни («Во ихной деревеньки во Галичи» — Гильф., 20). Столь же примечательно и отсутствие в былине разграничения понятий «земля» и «город» применительно к Киеву и Галичу:

— Да ты здравствуй, удалой добрый молодец!
Ты коей земли, да коей орды,
Коего отца да чьеи матери?
Говорил Добрыня таково слово:
— Я из славнаго города из Киева. . .
(Гильф., 20)

— Какой же ты орды да какой земли,
Какого ты роду, какого племени,
Какого ты отча, какой матери?
. . . . . .
— А естя я из города из Галича. . .
(Пар. и Сойм., 25)

Это отличительные признаки древнерусской общинно-городской истории, в которой город и сельская округа составляли неразрывное органическое единство, покрываемое наименованиями «волость», «земля», за которыми, с нашей точки зрения, скрывалось понятие города-государства.[120]

Противостояние Дюкова богатства киевскому есть, с одной стороны, противостояние утопического фольклорного мира реальному, но, с другой стороны, это и противостояние

lib.pushkinskijdom.ru

богатого исторического Галича XII—XIII веков ослабевшему Киеву. В свете всего сказанного очень правдоподобно выглядит предположение М. Г. Халанского о происхождении имени героя: «Дюк — богач (ср. мрус. дука)».[121]

Былина о Дюке не единственная, где противостояние славянских земель и городов выступает в форме борьбы их богатств. Подобное находим и в былине о Садко, где пришлый, неновгородец Садко противопоставляет новгородскому богатству свое, дарованное ему из иного мира за его чудесную игру. В споре-соревновании с Новгородом о том, кто богаче, побеждает то герой, то господин Великий Новгород. Как и в былине о Дюке, сватовство в былине о Садко отходит на второй план, уступая место отношениям героя с новгородцами.

Есть в былине о Дюке соотнесенность с целым рядом иных эпических сюжетов. Добрыня, Алеша, Илья Муромец приезжают в Киев из других земель и других городов. Вступая по-разному в конфликт с князем Владимиром, они способствуют преодолению родоплеменной замкнутости и отъединенности Киева, его княжеской ориентации на змеиное или соловьиное историческое наследие. Богатыри становятся киевлянами и принимают киевскую историческую точку зрения. Дюк, приезжая в Киев, тоже может представлять некиевскую родовую общину Волыни. Но, являясь в Киев со сватовством, он не становится киевлянином и не намеревается разорвать киевскую родовую общинную обособленность. У него нет намерения включать Волынь в орбиту киевского влияния. Это происходит или может произойти как бы помимо его воли, хотя бы потому, что он преодолевает заставы, отделяющие его землю от Киева. Но Дюк может представлять и Галич эпохи его обостренной конфронтации с Киевом, когда уже в далекое прошлое отошла общинно-родовая основа городских социумов. Показательно, что на пути из Киева в Галич посланные Владимиром оценщики Дюкова богатства уже не встречают застав, которые преодолевал по дороге в Киев сам Дюк. В лучшем случае от застав остаются лишь бледные рудименты. Иногда, стремясь в Киев, Дюк не просто минует заставы, но, подобно Илье Муромцу, пленяющему Соловья и очищающему дорогу на Киев, разрушает их:

Принабрался он да силы-храбрости,
А своей ли силы богатырской,
Передвинул горушки столкучие,
Проложил дорожку прямоезжею
Ко тому ко городу ко Киеву,
Сослужил народу службу верную.[122]

Время установления межплеменных контактов, время эпической и исторической Волыни, связанное с преодолением застав, — в прошлом. Наступает эпоха Галича, несущая новые исторические коллизии. И здесь заставам уже нет места.

Итак, мы рассмотрели былину о Дюке. Произведенный анализ убеждает в том, что эта былина в дошедшем до нас виде создавалась длительное время, на протяжении IX — начала XIII века, вобрав в себя, кроме того, древние формы и мотивы как свою подоснову и исходный строительный материал. В ней отразились две эпохи восточнославянской и древнерусской истории: родоплеменная на поздней стадии ее существования и непосредственно примыкающая к ней общинно-территориальная. В первом случае мы наблюдаем развертывание конфликта между Волынью и Киевом, когда преимущество остается за Киевом. А во втором — противоборство с Киевом Галича, в котором второй не оказывается побежденным, выступая на равных с днепровской столицей, утратившей былое могущество. Можно предполагать, что былина о Дюке родилась именно на Галицко-Волынской земле.

Соперничество Галича с Киевом — завершающая страница в долгой истории эпического сюжета. В дальнейшем продолжается уже не историческое, а внутриэпическое, традиционно-художественное развитие былины. Появляются новые и проясняются старые переклички между разносюжетными, но типологически сходными мотивами. Иногда такие сближения бывают удачны, иногда нет. От этого зависит успех или неуспех

lib.pushkinskijdom.ru

певческой интерпретации сюжета в том или ином варианте. Новая историческая действительность, бытовые отношения дают сказителям новые детали и краски. Но историческое развитие сюжета приостанавливается. Начиная, видимо, с XIII века он составляет теперь поэтическое наследие как памятник старины и песенно-эпической народной культуры.

В былине о Дюке с особой наглядностью проявляется то, что характерно для былинной поэтики вообще: историческая многозначность одних и тех же образов и сюжетных ситуаций. Такая многозначность — яркое подтверждение того, что былинное творчество строилось не на отражении отдельных событий и фактов, а на обобщении смысла исторических явлений и коллизий крупного масштаба.

---

[1] *Жданов И. Н.* Былина о Дюке Степановиче и сказание о Дигенисе-Акрите // К литературной истории русской былевой поэзии. Киев, 1881. С. 232—239; *Веселовский А. Н.* Южнорусские былины. СПб., 1884. Вып. III—XI. С. 172; *Истрин В. М.* Сказание об Индийском царстве // Древности. М., 1895. Т. I. С. 11. См. также: *Миллер В. Ф.* Очерки русской народной словесности: Былины. I—XVI. М., 1897. С. 97—142.

[2] *Баталин Н.* Сказание об Индийском царстве. Воронеж, 1876. С. 115.

[3] *Миллер О. Ф.* Илья Муромец и богатырство киевское. СПб., 1869. С. 587—616.

[4] *Халанский М. Г.* Великорусские былины Киевского цикла. Варшава, 1885. С. 187—210.

[5] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. М., 1958. С. 593—595.

[6] Там же. С. 478.

[7] *Вилинбахов В. Б.* Балтийские славяне в русском эпосе и фольклоре // Slavia occidentalis. 1965. Т. 25. С. 160; *Вилинбахов В. Б., Энговатов Н. Б.* Где была Индия русских былин? // Славянский фольклор и историческая действительность. М., 1965. С. 101.

[8] *Миллер В. Ф.* Очерки... С. 118—119, 142.

[9] Былины Пудожского края / Подг. текстов Г. Н. Париловой и А. Д. Соймонова. Петрозаводск, 1941. С. 470. Далее сокращенно: Пар. и Сойм.

[10] В кн.: Русское народное поэтическое творчество. М.; Л., 1953. Т. I. С. 235—236.

[11] Там же. С. 236.

[12] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. С. 595.

[13] Там же. С. 491.

[14] Там же. С. 507.

[15] *Вилинбахов В. Б.* Указ. соч. С. 158—167; *Вилинбахов В. Б., Энговатов Н. Б.* Указ. соч. С. 99—108.

[16] Заметен на ней и некоторый налет более позднего времени, что вполне естественно, поскольку песня исполнялась много веков и после ее создания, окрашиваясь новыми бытовыми тонами, но не меняя своей древней основы.

[17] См.: *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. С. 478.

[18] Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. 2-е изд. М.; Л., 1949. Т. 1. № 85. Далее сокращенно: Гильф.

[19] Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. 2-е изд. М., 1909—1910. Т. 1—3. № 181. Далее сокращенно: Рыбн.

[20] См.: *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. С. 74.

[21] *Миллер В. Ф.* Очерки... С. 98.

[22] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. С. 478.

[23] Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. 2-е изд., доп. М., 1977. № 3. Далее сокращенно: К. Д., 3.

[24] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. С. 479.

[25] См.: *Насонов А. Н.* «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М., 1951. С. 28—46; *Рыбаков Б. А.* Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М., 1982. С. 55—90.

[26] *Фроянов И. Я.* Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 1980. С. 21—24.

[27] Там же. С. 216—243; *Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю.* Города-государства Древней Руси. Л., 1988.

[28] *Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю.* Указ. соч. С. 84—92.

[29] *Тихомиров М. Н.* Русское летописание. М., 1979. С. 24, 30; *Рыбаков Б. А.* Указ. соч. С. 66; *Робинсон А. Н.* Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья XI—XIII вв. М., 1980. С. 219—241.

[30] *Тихомиров М. Н.* Указ. соч. С. 24.

[31] *Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю.* Указ. соч. С. 104—105; *Исаевич Я. Д.* «Грады червенские» и Перемышльская земля в политических взаимоотношениях между восточными и западными славянами: (Конец IX — начало XI в.) // Исследования по истории славянских и балканских народов: Эпоха средневековья: Киевская Русь и ее славянские соседи / Отв. ред. В. Д. Королюк. М., 1972. С. 117—118.

[32] Ср.: *Липец Р. С.* Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М., 1984.

[33] *Куланж Фюстель де.* Гражданская община древнего мира. СПб., 1906. С. 226—227.

[34] *Фроянов И. Я.* Начало христианства на Руси // Курбатов Г. Л., Фроянов И. Я., Фролов Э. Д. Христианство: Античность; Византия; Древняя Русь. Л., 1988. С. 295—296.

[35] *Фроянов И. Я., Юдин Ю. И.* Отражение социальной борьбы в русских героических

lib.pushkinskijdom.ru

былинах // Генезис и развитие феодализма в России: Проблемы социальной и классовой борьбы. Л., 1985. С. 9—10.

[36] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. С. 501.

[37] Там же. С. 481.

[38] Русские былины старой и новой записи / Под ред. Н. С. Тихонравова и В. Ф. Миллера. М., 1894. С. 51. Далее сокращенно: Тих. и Милл.

[39] *Фроянов И. Я.* Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. Л., 1974. С. 114—116.

[40] ПВЛ. М.; Л., 1950. Ч. I. С. 39—40.

[41] *Фроянов И. Я.* Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. С. 115—116.

[42] Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1889—1901 годах. Прага, 1939. Т. II. С. 45. Далее сокращенно: Григ., II.

[43] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. С. 503—506.

[44] Там же. С. 479.

[45] Как мы видели ранее, птицы и чудовища встречаются и на одежде Чурилы, но для него они не столь органичны, хотя находят, вероятно, объяснение в том, что в былине о молодости героя он, как и Дюк, рисуется прибывающим в Киев из иной земли.

[46] Подробнее см.: *Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю.* Указ. соч. С. 103—156.

[47] *Миллер О. Ф.* Указ. соч. С. 587.

[48] *Жданов И. Н.* Соч. СПб., 1904. Т. I. С. 731—737.

[49] *Лященко А. И.* Былина о Дюке Степановиче // Изв. ОРЯС. 1925. Т. XXX. С. 66.

[50] *Астахова А. М.* Былины Севера. М.; Л., 1938. Т. I. № 71. Далее сокращенно: Аст.

[51] Русские народные песни Карельского Поморья. Л., 1971. № 180. Далее сокращенно: Карел. Поморье.

[52] *Лобода А. М.* Русские былины о сватовстве. Киев, 1904. С. 87.

[53] Там же. С. 87—90.

[54] Там же. С. 90—95.

[55] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 306—307.

[56] Там же. С. 306.

[57] Там же. С. 331—332.

[58] Лебедь, утка — двойники невесты; орел, сокол, возможно, сохраняют черты двойника жениха. Это соответствует символике свадебной лирики. Отсюда, вероятно, орлиное оперение стрел Дюка. См.: *Миллер В. Ф.* Былины новой и недавней записи. М., 1908. С. 58 (Далее сокращенно: Милл.):

А перья на стрелах-то заморские:
Не здешних орлов, ясных соколов.

[59] Русский фольклор: Материалы и исследования. М.; Л., 1956. Вып. 1. С. 228.

[60] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. С. 160.

[61] Там же. С. 178.

[62] *Путилов Б. Н.* Эпос и обряд: Фольклор и этнография: Обряды и обрядовый фольклор. Л., 1974. С. 80.

[63] *Марков А. В.* Беломорские былины. М., 1901. С. 15. Далее сокращенно: Марк.

[64] Ср. о древнеславянских жилищах VI—VII веков в Среднем Поднепровье и Поднестровье: «Стены домов облицованы деревом и имеют столбовую или срубную конструкцию» (*Русанова И. П.* Славянские древности VI—VII вв.: Культура Пражского типа. М., 1976. С. 99).

[65] Былины Печоры и Зимнего берега: (Новые записи). М.; Л., 1961. С. 24.

[66] *Миллер О. Ф.* Указ. соч. С. 563.

[67] Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. М., 1985. Т. II. № 222.

[68] Онежские былины / Подбор и науч. ред. Ю. М. Соколова. Подг. текстов и прим. В. И. Чичерова. М., 1948. № 243. (Летописи гос. лит. музея; Кн. 13). Далее сокращенно: Сок.; Чич.

[69] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. С. 114.

[70] Там же. С. 116.

[71] Там же. С. 38.

[72] Там же. С. 281—297.

[73] С точки зрения сюжетной композиции былина о Дюке относится к одному из древнейших типов: типу поездки в иную землю с какой-то целью. Подробнее см.: *Юдин Ю. И.* Героические былины: (Поэтическое искусство). М., 1975. С. 19—21.

[74] *Ончуков Н. Е.* Печорские былины. СПб., 1904. № 24.

[75] *Путилов Б. Н.* Героический эпос и действительность. Л., 1988. С. 83.

[76] Там же. С. 87.

[77] Материалы, собранные в Архангельской губ. летом 1901 года А. В. Марковым, А. Л. Масловым и Б. А. Богословским // Труды музыкально-этнографической комиссии. М., 1906. Т. I. № 7.

[78] *Лященко А. И.* Указ. соч. С. 49.

[79] Там же. С. 50.

[80] Русские эпические песни Карелии. Петрозаводск, 1981. № 8.

[81] Подробнее см.: 1) *Фроянов И. Я., Юдин Ю. И.* Исторические реальности и былинная фантазия // Духовная культура славянских народов: Литература; Фольклор; История. Л., 1983. С. 49—53; 2) Об исторических основах русского былевого эпоса // Русская литература. 1983. № 2. С. 96—98.

[82] *Бутинов Н. А.* Первобытнообщинный строй: (Основные этапы и локальные варианты) // Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1968. Кн. 1. С. 143—155.

[83] Там же. С. 154.

[84] *Абрамян Л. А.* Первобытный праздник и мифология. Ереван, 1983.

[85] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. С. 288—289.

[86] *Коробка Н. И.* Чудесное дерево и вещая птица // Живая старина. 1910. Вып. III. С. 200.

[87] Там же. С. 198.

[88] Там же. С. 195.

[89] *Ямаева Е. Е.* О мифологических связях алтайского героического эпоса: (Мотив «препят-

lib.pushkinskijdom.ru

ствий в стране врагов») // Фольклор народов РСФСР: Эпические жанры, их межэтнические связи и национальное своеобразие: Межвуз. сб. Уфа, 1986. С. 13.

[90] *Коробка Н. И.* Указ. соч. С. 199.

[91] А. И. Лященко замечает, что приезд Дюка в Киев в большинстве случаев совпадает с Пасхой, что тоже напоминает выезд в Киев Ильи Муромца (*Лященко А. И.* Указ. соч. С. 106).

[92] *Маслова Г. С.* Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX — начала XX века. М., 1984. С. 62—65.

[93] Песнь о Нибелунгах / Перевод со средневерхненемецкого Ю. Б. Корнеева. Л., 1972. С. 45.

[94] Младшая Эдда. Л., 1970. С. 75.

[95] *Чекалов И. И.* Композиция «Песни о Вёлюнде» и проблема фабульного двоения // Скандинавский сборник, XXXI. Таллинн, 1988. С. 174.

[96] *Лобода А. М.* Указ. соч. С. 108—109.

[97] *Веселовский А. Н.* Разыскания в области русского духовного стиха. XI—XVII // Сборник ОРЯС Академии наук. СПб., 1889. Т. XLVI. № 6. Вып. 5. С. 303—304.

[98] Там же. 1881. Т. XXVIII. № 2. С. 47—50; *Халанский М. Г.* К былине про Дюка Степановича // Русский филологический вестник. 1981. № 4. С. 165—172; *Лященко А. И.* Указ. соч. С. 120—123.

[99] *Халанский М. Г.* Великорусские былины Киевского цикла. С. 187—209; *Шамбинаго С. К.* Древнерусское жилище по былинам: (К материалам для исследования бытовой стороны русского эпоса) // Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера, изданный его учениками и почитателями. М., 1900. С. 129—149.

[100] *Коробка Н. И.* Указ. соч. С. 202—203.

[101] О прыжках героя былины и его дружины см. подробнее: *Фроянов И. Я., Юдин Ю. И.* Исторические реальности и былинная фантазия. С. 46—49.

[102] *Колесницкая И. М.* Загадка в сказке // Учен. зап. ЛГУ. 1941. № 81. Сер. филол. Вып. 12. С. 98—142.

[103] *Астахова А. М.* Указ. соч. 1951. Т. II. С. 742.

[104] О группе кулойских, терских и золотицких вариантов см.: Там же. С. 742—743.

[105] См.: *Бернштам Т. А.* Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX—XX вв.: Половозрастной аспект традиционной культуры. Л., 1988. С. 228.

[106] Подробнее о языческом отношении к предметам христианского культа в былине см.: *Фроянов И. Я., Юдин Ю. И.* Отражение социальной борьбы в русских героических былинах. С. 9—10.

[107] *Курбатов Г. Л., Фроянов И. Я., Фролов Э. Д.* Указ. соч. С. 295.

[108] Там же. С. 290—293.

[109] *Липец Р. С.* Эпос и Древняя Русь. М., 1969. С. 263.

[110] В кн.: История первобытного общества: Эпоха первобытной родовой общины. М., 1986. С. 348. (Глава 4; автор В. А. Шнирельман).

[111] Там же. С. 347.

[112] Там же. С. 348.

[113] Там же. С. 347.

[114] *Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 227.

[115] Там же.

[116] ПВЛ. Ч. I. С. 52. Ср. толкование этого места: *Истрин В. М.* Договоры русских с греками X века // Изв. ОРЯС. 1924. Т. XXIV. С. 390.

[117] *Фроянов И. Я.* Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. С. 60—65.

[118] В кн.: История первобытного общества. . . С. 400. (Глава 5; автор В. А. Шнирельман).

[119] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. С. 498.

[120] См.: *Фроянов И. Я.* Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. С. 236—237; *Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю.* Указ. соч.

[121] *Халанский М. Г.* Великорусские былины Киевского цикла. С. 208.

[122] Русские эпические песни Карелии. С. 23.

lib.pushkinskijdom.ru

А. М. ПАНЧЕНКО

ПУШКИН И РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Обозначенная в заглавии тема затрагивается в пушкинистике крайне редко, от случая к случаю.[1] Причина этого ясна: долгое время считалось, что Пушкин был плохим христианином и соответственно плохим православным; значит, о его религиозности и толковать нечего. Таков «общий глас», и нельзя не признать за ним известных резонов. Это и кощунственная «Гавриилиада», и масонство (ложа «Овидий»), притом радикальное,[2] это (в первую очередь) пресловутые «уроки чистого афеизма» (XIII, 92), за что Пушкин и пострадал. Хотя впоследствии он «Гавриилиады» стыдился, в масонах не состоял, атеизма не обнаруживал, — грехи юности и молодости ему никогда не были отпущены. «Мы насилу довели его до смерти христианской», — изрек Николай I,[3] и эти слова определяли конфессиональную репутацию Пушкина в советское время, когда атеизм стал вменяться в заслугу. Императору угодно было подозревать Пушкина в безбожии; П. Е. Щеголев постарался эти подозрения всячески подкрепить, уличая в разноречиях и неточностях людей, присутствовавших у смертного одра поэта и описавших его кончину.

Вся эта схема так или иначе действенна до сих пор. Теперь, впрочем, признают, что царский посмертный приговор — на деле оговор, что Пушкин послал за священником вскоре после того, как его привезли с Черной речки, — до получения высочайшей записки с советом «умереть по-христиански», исповедавшись и причастившись. Несовпадения, которые есть у мемуаристов, Я. Л. Левкович объясняет так: «Неточность показаний свидетельствует только об одном — христианскому обряду они не придавали того значения, которое вложил в него Щеголев. В пушкинскую пору исповедь и причащение умирающего так же обязательны, как крещение или венчание, и, независимо от религиозных чувств Пушкина, он должен был обряд исполнить. . . »[4]

Это верно, и аналогий сколько угодно. Ограничимся одной. Когда через девять лет в Москве умирал закоренелый вольтерьянец И. А. Яковлев, отец Герцена, ни в грош не ставивший православную обрядность, он все же допустил к себе священника, хотя и не преминул предварить «церемонию» капризными, неблагочестивыми речами. И похороны этого вольнодумца были торжественными, с участием архимандритов и архиерея, словно праведник упокоился.[5]

Итак, схема изменилась, но изменилась незначительно. Поведение Пушкина православно, однако это дань обычаю, «независимо от религиозных чувств». Прежде Пушкин считался *плохим* христианином, теперь он считается *никаким* христианином. Православие Пушкину, так сказать, нерелевантно.

Что до Николая I, его действия заслуживают дополнительного комментария. Если в словах его звучит личное предубеждение и раздражение, то в записке ничего подобного нет. По-человечески это понятно — она послана умирающему. Но необходимо учесть, что автор записки — не только монарх, это и глава русской церкви. Так повелось с 1721 года, с упразднения патриаршества и учреждения Синода, члены которого вплоть до начала нашего столетия приносили присягу императору, «крайнему Судии Духовной коллегии». Синодское «окормление», т. е. руководство душами пасомых, — это лишь императорская «делегация», поручение, что в пушкинское время наглядно выразилось в усилении роли статского обер-прокурора, которая из наблюдательной стала распорядительной: в 1824 году он был уравнен с министрами, а двенадцать лет спустя введен в кабинет

© Панченко А. М., 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

и в Государственный совет.[6] Архипастырские претензии монарха были четко, даже барабанно закреплены в николаевском законодательстве: «Император яко христианский государь есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в церкви святой благочиния».[7]

Сообщая Пушкину о прощении, Николай имел в виду не только нарушение закона (дуэли в России были запрещены со времен «Воинского регламента» Петра I), не только нарушение честного слова, данного 23 ноября 1836 года в Аничковом дворце, — обязательства не стреляться с Дантесом.[8] «Блюститель правоверия» тем самым закрыл глаза на смертный грех, санкционировал его отпущение, — ибо дуэлянты с церковной точки зрения приравнивались к самоубийцам, которые заведомо губили душу и которых запрещалось погребать в освященной земле. Такая судьба вскоре постигла Лермонтова, чье тело не сподобилось отпевания, несмотря на то что следственная комиссия об этом просила, ссылаясь на погребение Пушкина (!): «...в подобном случае камер-юнкер Александр Сергеев Пушкин отпет был в церкви конюшень Императорского двора в присутствии всего города».[9] Из пушкинских героев такая судьба постигла Ленского:

Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать,
И жницы в волны погружать
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.
(VI, 134)

Правда, в шестой и седьмой главах «Евгения Онегина» по этому поводу рефлексии нет. Но тогда автор был молод, а теперь — теперь он уже выбрал место последнего своего приюта (странная предусмотрительность для *никакого* христианина!). Получив высочайшее помилование, Пушкин мог быть уверен, что чаша сия его минует и что он будет почивать в Святогорском монастыре.

Любой вере, как и безбожию, присущи национальные и эпохальные черты. Это не только мировоззрение, доктрина, догматика, — это еще и культура. Пушкинский атеизм, например, уживался с суеверностью. Обычно в этой связи вспоминают о предсказаниях гадалки Кирхгоф, но есть и другие факты, когда Пушкин воспринимал какие-то события как проявления злых сил. Так, петербургское наводнение он трактовал в качестве «потопа», зловещего знамения (XIII, 127). Все это признаки «отрицательного религиозного мировоззрения».[10] Наука им пренебрегает, церковь его не одобряет. Но это, во всяком случае, не религиозное безразличие, т. е. не «чистый афеизм».

Весьма важно отметить, что одесские уроки не вызвали у Пушкина энтузиазма: «Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастию более всего правдоподобная» (XIII, 92). Почему «к несчастию»? Психологические следствия атеизма двояки. Нигилистам, отрицателям и разрушителям он придает силы, поскольку избавляет их от страха загробного воздаяния. О таких атеистах сказал Достоевский: «Бога нет, все позволено». Их всегда боялись самые толерантные мыслители, начиная с Джона Локка. Пушкин принадлежит к другому типу. Когда его собеседник-англичанин (Гутчинсон) «мимоходом уничтожил слабые доказательства бессмертия души», это нисколько не поколебало нравственные правила ученика. Он опечалился оттого, что приходилось расставаться с обетованием вечной жизни, приходилось смириться с тем, что смерть — не рубеж, не веха, означающая конец земного странствия и переход в иной, быть может лучший мир, а конец абсолютный и бесповоротный. В такой перспективе, действительно, мало радости, особенно для молодого человека, который еще не устал от жизни и не знает, что есть вещи похуже смерти. Если бы все это сообразили власти и родные Пушкина, вряд

lib.pushkinskijdom.ru

ли их испугал бы его атеизм. Но им почудился в нем бунт и потрясение основ, поскольку традиция предписывала отождествлять его с безнравственностью и вседозволенностью.

В псковской ссылке Пушкин рассудил, что необходимо соблюдать лояльность, хотя бы внешне, что в этом нет бесчестья. 7 марта 1826 года он писал из Михайловского своему ходатаю Жуковскому (конечно, в расчете на то, что новому царю это будет сообщено): «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» (XIII, 265—266). В этом же он письменно обязался перед императором.

Такие заверения — не ренегатство и даже не благоразумие. Их подоплекой была мизантропия, то и дело охватывавшая Пушкина.[11]

На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.
(XIII, 290)

«Не мечите бисер перед свиньями» — вот что имел в виду поэт.

Однако попытаемся описать и общепринятый порядок, и образ мыслей Пушкина, имея в виду церковно-религиозную ситуацию Александровского и Николаевского царствований.

* * *

При Николае она резко меняется. Когда мы судим о людях, подвизавшихся в русской культуре в годы его правления, то очень часто в этих суждениях присутствует конфессиональный аспект. Он особенно отчетлив, если дело касается тех, кто оставил отчетливые же свидетельства собственной религиозной активности, словесные или поведенческие. Таковы Чаадаев, поздний Гоголь, Александр Иванов, епископ Игнатий Брянчанинов, Хомяков, князь Иван Гагарин. Притом интерес к религиозно-ангажированным деятелям мало зависит от их вероисповедания. Они как бы уравниваются в том, что *слишком* озабочены конфессиональными проблемами. Объявили сумасшедшим Чаадаева — за историософский пессимизм в оценке русского пути, за прокатолические симпатии. Но вызывал недовольство и православнейший из православных Хомяков — его высылали из первопрестольной. В этом, разумеется, повинно самодержавие, но и свободолюбивые борцы с самодержавием поступали сходным образом: вспомним, как резко и запальчиво обрушился Белинский на Гоголя, стоило тому обратиться к Богу и выпустить «Выбранные места».

Значит, такая ангажированность исключала человека из общего ряда, расценивалась как дерзость или как исступление ума. Герцен был прав, назвав православие Николая показным (царь оканчивал свои рескрипты словами «с нами Бог»), «холодным, ледяным, как петербургский климат».[12] При Николае и от священников требовали не служения, а службы, для чего надлежало затвердить катехизис, церковный устав, нотное пение — и довольно. Что уж говорить о мирянах. . . «Веротерпимость составляла одну из славных основ империи, созданной Петром I; Николай издал суровый закон *против лиц, переменивших религию*».[13] В этом духовном холоде дорога́ была хоть толика тепла, и вера становилась для многих прибежищем и укрытием.

Духовная физиономия Александровской эпохи иная. Бывало, конечно, что и тогда кого-нибудь объявляли повредившимся в уме, но за вольнодумство «гражданское». Так в 1817 году Александр поступил с графом М. А. Дмитриевым-Мамоновым, участником первых тайных обществ (в пользу царя говорит то, что у Дмитриева-Мамонова помрачение рассудка действительно воспоследовало: страдая манией величия, он вообразил себя Владимиром Мономахом). Что до вольнодумства религиозного, им во времена «сугубого» министерства, в 1817—1824 годах, считалась как раз твердость в православии, национально-православный консерватизм. Это удостоверяется одной

lib.pushkinskijdom.ru

громкой историей, случившейся в северной столице в конце 1818 года, когда здесь блистал «возмутительными» стихами Пушкин.

Канва этого дела проста:[14] архимандрит Иннокентий Смирнов, ректор Петербургской семинарии, в качестве духовного цензора допустил к печати книжку, об уровне и содержании которой можно судить по заглавию: «Разговор о бессмертии души над гробом младенца». Князь А. Н. Голицын, уже год исполнявший должность министра духовных дел и народного просвещения, отреагировал без промедления. Было испрошено высочайшее повеление, книга арестована, автор выслан в двадцать четыре часа. Пострадал также Иннокентий. Его перевели в Пензу. Потрясенный случившимся, он вскоре умер.

Суть конфликта заключается в том, что и духовный цензор, и автор, Евстафий Станевич, отважились заступиться за русскую церковь. Оба они — люди консервативные. Иннокентий, например, ценил старинный православный обиход, понимал толк в юродстве и странничестве. Станевич был шишковистом и членом «Беседы». Обоим казалось, что «наружная» церковь в опасности, что князь Голицын и царь жертвуют ею ради церкви «внутренней». Этот конфликт возник не на пустом месте.

Известные «странности» Александра I, его побратимство с прусским королем у гроба Фридриха Великого, склонность к мистицизму, дружба с баронессой Крюднер — не только личные его прихоти. Это эпохальные страхи: просветительские чаяния оказались иллюзией, их развеяла революция, окончательный приговор им вынес Наполеон; коль скоро на разум положиться нельзя, надлежит обратиться к душе. Это эпохальные надежды: все-таки Наполеона удалось сокрушить и появилась возможность создать новую Европу. Чаяния о ней воплотились в идее Священного союза. Он потому и Священный, что представляет собою не только межгосударственное установление, не только альянс решивших воздвигнуть преграду революциям монархов, но и некую теократическую утопию.

«Акт „Братского Христианского Союза“» подписан был «в лето Благодати 1815-е», 14/26 сентября. И, конечно, вряд ли случайно был для этого избран день Воздвижения, по восточному календарю. Акт Священного союза от Синода было предложено выставить всюду на стенах, в храмах градских и сельских. И ежегодно в день Воздвижения надлежало его вновь перечитывать с амвона, вместе с данным тогда же манифестом, «дабы всем и каждому исполнить обет служения Единому Господу Спасителю, изреченный в лице Государеве за весь народ». . . Именно во исполнение этого обета и было устроено особое соединенное министерство. . . — «„величайший государственный акт, какой только от самого введения христианской веры был постановлен“ (Сперанский). Строго говоря, это было министерство религиозно-утопической пропаганды».[15] Кстати, указом Александра победу над Наполеоном было предписано праздновать в день Рождества Христова. Апокалиптический Зверь повержен, и теперь можно уповать на тем же Апокалипсисом предсказанное тысячелетнее царство Христово на земле.

Утопия, конечно, притом наивная. . . Но Александровская эпоха — вообще эпоха мечтаний и мечтателей. Не зря же Лев Толстой ее эпонимом сделал Пьера Безухова, который из масонства и мистики, из расшифровки «числа Зверя» пришел к республиканизму, т. е. к утопии гражданской. Людям же того национально-консервативного типа, который был воплощен в адмирале Шишкове или в архимандрите Иннокентии, эта утопия казалась ересью. Попробуем их понять.

Идее Священного союза прямо-таки противопоказано национальное либо конфессиональное самодовольство. Без толеранции, без терпимости в самом широком смысле эта идея пуста и нелепа (она и стала такой при Николае, «отставившем» толеранцию). Веротерпимость — принцип и девиз «сугубого» министерства. Это, конечно, касается только христианских конфессий, но в их круге принцип выдерживался строжайшим образом. В цензурном уставе решительно запрещалось порицать какую-либо из христианских церквей: в противном случае инославные могли бы обидеться, счесть «главу царей» лицемером, а Священный союз — троянским конем. Именно поэтому Витберг

lib.pushkinskijdom.ru

в проект храма Христа Спасителя *архитектурно* заложил мысль о толеранции. Храм предполагалось выстроить трехчастным, дабы в каждой из частей, но под одним сводом возносили бы молитвы и православные, и католики, и те, кто исповедует евангелическое учение.

Между тем основополагающий признак «высоких», т. е. монотеистических, религий, включая иудаизм и мусульманство, заключается в том, что каждая из них считает и провозглашает себя единственно истинной. Православие — не исключение; потому-то и восстали архимандрит Иннокентий со Станевичем против князя Голицына, что не хотели согласиться и смириться с его «всеобщей» религией, с неслыханным отсечением от православия части истины, которая будто бы (также частично) принадлежит тем католикам и протестантам, тем «двунадесяти языкам», каковые сожгли Москву.

Отразилась ли эта исключительная в истории новой русской культуры толерантная ситуация на Пушкине? Нет никакого сомнения, что отразилась. Его «всемирная отзывчивость» — не только свойство его гения, но и плод воспитания. Пушкин был (и остался после 1825 года) человеком Александровской эпохи, которая на знамени своем начертала лозунг веротерпимости, в каких бы крайних и даже насильственных формах она ни проявлялась. Впрочем, и сам Пушкин к таким формам прибегал.

7 апреля 1825 года он писал князю П. А. Вяземскому из Михайловского: «Нынче день смерти Байрона — я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба божия боярина Георгия. Отсылаю ее тебе» (XIII, 160). Пушкин, разумеется, понимал, что с канонической точки зрения его поступок сомнителен, отчего и сопоставил его с мессой Фридриха II (протестанта) за упокой души Вольтера (безбожника) (XIII, 162). Но поступок этот — в духе времени, и не случайно А. Н. Вульф последовала примеру своего соседа, так что «в обеих церквах Триг.〈орского〉 и Вор.〈онича〉 происходили молебствия». Это сделано прямо-таки «по Голицыну».

Однако Пушкин всегда стоял вне и выше групповых пристрастий. Он и вышучивал «Беседу», и отдавал ей должное, он же не жаловал «сугубое» министерство и в 1824 году радовался его падению. «С переменою министерства, ожидаю и перемены цензуры. . . На каком основании начал свои действия дедушка Шишков? . . Шутки в сторону, ожидаю добра для литературы вообще и посылаю ему лобзание не яко Иуда-Арзамасец, но яко Разбойник-Романтик» (XIII, 97—98, из письма брату). Почему перемена министерства Пушкина «обрадовала» (XIII, 103), почему он приветствовал удаление Голицына? Дело, конечно, не в крушении «всеобщей» религии, а в том, что потерпело крах официальное ханжество, которое всегда вызывало у Пушкина отвращение. Правда, на смену ему шло новое ханжество, но человеку свойственно надеяться на лучшее.

Отважимся на культурологическое допущение; сочтем Пушкина неким эталоном интеллектуальной и духовной оппозиции, прежде всего Голицыну, потому что в его руках долгое время была власть по духовной части, а потом и Шишкову, в чьи руки эта власть перешла. Быть может, такое допущение корректно, ибо сказано поэтом: «Оппозиция русская, составившаяся, благодаря русского бога, из наших писателей, каких бы то ни было. . .» (XIII, 99). «Русский бог», «русская оппозиция». . . Каков же этот русский оппозиционер в плане религиозном? Поищем ответ у Пушкина, в его стихотворениях.

* * *

Естественно, первой в череде должна стоять «Гавриилиада», поскольку она написана на сюжет Благовещения и религиозная ее ангажированность очевидна. Сочинение это безусловно богопротивное. Но это прискорбное обстоятельство не препятствует поискам импульсов искушения. Пушкин сочинял «Гавриилиаду» в южной ссылке, будучи до крайности раздражен против царя. Это оппозиция монарху,[16] что самим поэтом удостоверено в письме Вяземскому: «Посылаю тебе поэму в мистическом роде — я стал

lib.pushkinskijdom.ru

придворным» (XIII, 44). Этот постскриптум ироничен: мистики при дворе, Пушкин в Кишиневе — и Пушкин не мистик. Но кто же он?

Обращение к «Войне богов» Парни в данном случае не поможет. Это источник — и не более того. Смысл «Гавриилиады» проясняет национально-культурный контекст, та же церковная и богословская ситуация рубежа 1810—1820-х годов. «Гавриилиада» принадлежит не только эротическому вольнодумству. Поэму, в прямом соответствии с ее темой, можно ввести в рамки русской библеистики, а в ту пору Библия действительно была проблемой, притом насущной и животрепещущей.

Как известно, русское средневековье обходилось без полного текста Писания. Свод библейских книг был составлен иждивением новгородского архиепископа Геннадия только в 1499 году. Что до печатной Библии, она появилась в 1581 году в Остроге; ее издал Иван Федоров. На Московском печатном дворе она вышла в 1663 году. При императрице Елизавете было подготовлено новое издание, которое и стало образцом для дальнейших перепечаток. Такова в самом кратком изложении скудная история Библии в России, но это история *церковнославянской* Библии. Мысль о русском переводе возникла только при Александре I, когда в Петербурге обосновалось Библейское общество (президентом его стал все тот же Голицын).[17] Новый Завет по-русски вышел в 1820 году.

Это было поистине грандиозное событие. На протяжении многих столетий христианство разделяло языки на сакральные и профанные, находя формальную опору в той же Библии. До вавиловского столпотворения существовал один язык; господь «размесил» языки за грех гордыни; значит, множество языков — не благо, а божье наказание. Хвалить господа позволительно только на трех наречиях — на древнееврейском, греческом и латыни, т. е. на тех языках, на которых Понтий Пилат повелел сделать надпись на крестном древе. К IX веку, когда Кирилл и Мефодий создали славянскую грамоту, древнееврейский в качестве сакрального языка уже отошел в область предания, как иудео-христиане апостольских времен. Но триада сохранилась, пополнившись за счет церковнославянского, и господствовала в культуре Европы вплоть до Реформации, открывшей эру богослужения на национальных языках. Ни католицизма, ни русского православия этот переворот, естественно, не коснулся и коснуться не мог: Рим остался при латыни, мы же — при «своей латыни», т. е. церковнославянском. И вот настал февраль 1816 года, когда князь Голицын сообщил Синоду «искреннее и точное желание Его Величества доставить и россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке, яко вразумительнейшем для них славянского наречия, на коем книги Священного Писания у нас издаются».[18]

В России спорить с самодержцем отучились еще при Петре Великом, отменившем старую формулу «царь указал, и бояре приговорили». В данном случае Синод тоже спорить не стал, хотя и уклонился от участия в переводческих трудах, возложив их на Библейское общество и Комиссию духовных училищ. Однако оппозиция этому новшеству была очень сильной, хотя русский текст не предназначался для церковного употребления. До 1824 года главе «сугубого» министерства удавалось ее обуздывать, но в конце концов Фотий, Шишков и Аракчеев победили. К этому времени уже был готов том Пятокнижия Моисеева; тираж его был сожжен в печах кирпичных заводов Александро-Невской лавры. Понадобились «великие реформы» Александра II, чтобы русские получили Библию на родном языке. В полном виде она вышла из печати только в 1876 году.

В интриге против Голицына, а значит, и против русской Библии была обыкновенная карьерная корысть, прежде всего у Аракчеева. Для нашей темы важны мнения Шишкова, от корысти свободные. Его, конечно, не устраивало само разделение языков на славянский и «природный». Но в переводе он видел и «умаление» церкви, низведение веры до уровня театра. Аргументы Шишкова сводятся к следующему: простонародье, получив для домашнего чтения русскую Библию, наверное унизит ее; она будет измарана, изодрана, будет валяться под лавками. Простонародье не сумеет понять смысла Писания без надлежащих толкований. От перевода не приходится ждать ничего иного, кроме как ересей и расколов.

lib.pushkinskijdom.ru

Это, в сущности, боязнь непрофессионального богословствования, а также и боязнь богословствования вообще. Это тоже связано с некоторыми александровскими нововведениями — по части просвещения. Стоит напомнить, что учреждение Лицея было предварено учреждением Петербургской духовной академии (ее первый выпуск обучался в 1809—1814 годах). Новой фигурой в столице был не один лицеист, но и студент академии.

«Гавриилиада» — это и есть простонародное, «похабное» богословствование, наглядное подтверждение резонности опасений Шишкова. Евангельский сюжет изложен здесь по-русски, на «природном» языке. «Искреннее и точное желание» царя исполнено, а результат плачевен.

Царю небес и господу Христу
Пою стихи на лире богомольной.
(IV, 121)

Два эти стиха проясняют авторские интенции. Лира не «вдохновенная», а «богомольная». Ясно, что имеется в виду не языческий бард, но лирник из народа, бродячий певец, — из тех, кто на паперти «тянет Лазаря». В их репертуар входят духовные стихи на ветхозаветные и евангельские темы (разумеется, стихи благочестивые). По жанру это апокрифы, т. е. дополненные собственными измышлениями сочинения о библейских персонажах. Лирники были известны не одной Малороссии, но и Петербургу; здесь они носили прозвание «рыльники».[19] Пушкин и надел маску «рыльника», «харю», которая, как он сам впоследствии признал, отнюдь его не украсила. Прошло время, и он стал разыскивать и жечь списки богопротивной своей поэмы. Таким образом, по капризу судьбы «Гавриилиада» разделила участь русского перевода Пятокнижия Моисеева.

Современники Пушкина при чтении «Гавриилиады» не могли не видеть, что автор метит прямо в царя. Древний спор александрийской и антиохийской школ по поводу того, как правильно толковать Писание — аллегорически либо исторически, был решен Александром (разумеется, и наперсником его Голицыным) в пользу аллегорического толкования. Для царя богодухновенный текст — таинственный знак, иероглиф, который познаваем лишь сердцем, лишь посредством мистического общения с Всевышним. Свидетельств более чем достаточно; например, в составленной императором записке «О мистической словесности» есть такое рассуждение: «И ныне, как некогда, есть Церковь внешняя и есть Церковь внутренняя. Основание учения в обеих Церквах есть одно и то же: Библия, но в первой известна одна *буква*, а во второй преподносится ее *разум*».[20] Пушкин же — в пику царю и рекомендациям «сугубого» министерства — читает Евангелие как историю, переводя ее во фривольный и даже скабрезный план.

Этот исторический взгляд Пушкин никогда не переменял. «Библия для христианина то же, что история для народа, — пишет он сестре и брату в 1824 году. — Этой фразой (наоборот) начиналось прежде предисловие Ист.⟨ории⟩ Кар.⟨амзина⟩. При мне он ее и переменил» (XIII, 127).

В скрытой пикировке с царем есть еще один немаловажный нюанс. Он также остался «за текстом», но был ясен каждому, кто принадлежал к петербургскому свету. «Гавриилиадой» Пушкин упрекал и уличал Александра в лицемерии. Поэма — это изложенный русскими стихами ветхозаветный апокриф, притом открыто ориентированный на француза Парни. Что до царя, ратовавшего за русский перевод Писания, — ему этот перевод, в сущности, не был нужен. В обществе знали, что Александр всегда читал Новый Завет во французской версии де Саси, не переменив этого обыкновения и после выхода издания 1820 года.[21]

Итак, «Гавриилиада» направлена не против царя небесного, а против царя земного (что, повторяю, поэта не оправдывает). Судить по ней о религиозных чувствах Пушкина было бы опрометчиво. Для этой цели гораздо больше подходят те его сочинения, в которых он специально о предметах веры не задумывался. Это, например, «Евгений Онегин», свободный от конфессиональной ангажированности. Быть может, Белинский

lib.pushkinskijdom.ru

выразился слишком сильно, назвав его энциклопедией русской жизни. Но уж во всяком случае это «карманное зеркало петербургской молодежи» (XIII, 133), как сказал о заглавном герое романа П. А. Плетнев. Мы вправе полагать, что в зеркале этом отразился и Пушкин, и вообще люди его поколения, его состояния и воспитания.

* * *

Евгений Онегин в первой главе гуляет в Летнем саду, учится, влюбляется, становится театральным завсегдатаем, ездит к Talon, танцует на балах, вообще делает разные разности, — но ни разу не заглядывает в церковь и лба не крестит. Между тем «в жизни» он с детства твердил молитвы, был у первого причастия, а повзрослев, каждый год говел, исповедовался и причащался (это мы знаем твердо: так было принято, так поступал и Пушкин, хотя бы для удостоверения лояльности).

Потом Онегиным овладела хандра, он заперся, но ему и в голову не пришло отправиться в божий храм за духовным утешением, дабы избыть смертный грех отчаяния.

Со строфы LIII герой в деревне, и здесь впервые звучит церковная тема:

Покойника похоронили,
Попы и гости ели, пили,
И после важно разошлись,
Как будто делом занялись.
(VI, 27)

Но это всего лишь бытовая, обрядовая деталь. На похоронах, крестинах, при венчании (ср. в седьмой главе сцену, где Ольга стоит с уланом «пред алтарем») без священника не обойтись. Но в романе он — всего лишь статист.

Обозревая поэтические ландшафты и поэтические интерьеры романа, петербургские или деревенские, мы не найдем ни храма, ни иконы. Вот дом дяди, где покойник прожил сорок лет и где поселился Евгений:

Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах. . .
Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
(VI, 31—32)

Но где образа и где лампады? Разумеется, и образа в доме висели, и лампады теплились (тем более что после похорон прошло мало времени), но взгляд Онегина (и Пушкина) скользит мимо них. У Лариных тоже нет икон, хотя это семейство изображено в старосветских тонах:

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на маслянице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели. . .
В день Троицын, когда народ
Зевая слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три. . .
(VI, 47)

Здесь и ирония, и почтительность — почтительность человека, который говеет раз в Великом посту, и то без всякого «умиления души». Об этом говорит хотя бы

lib.pushkinskijdom.ru

деепричастие «зевая», которое характеризует не столько крестьян, сколько Онегина.

Нет в романе ни теплой веры, ни даже православной церковности. Мечтательный Ленский, посетив кладбище и прослезившись над прахом родителей и несостоявшегося тестя, в церковь — ни ногой (по крайней мере, от Пушкина мы об этом ничего не узнаем), хотя «в жизни» он ее обязан был посетить и, конечно, посетил, подал поминание и заказал положенную службу. Когда Ленский думает о браке с Ольгой, он рисует «храм Киприды», а не православный храм. Если к нему равнодушен Ленский, то тем более равнодушен Онегин; в его времяпрепровождении церкви места нет:

Его вседневные занятья
Я вам подробно опишу.
Онегин жил анахоретом;
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался. . .

Прогулки, чтенье, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина;
Вот жизнь Онегина святая. . .

(VI, 88—89)

Впрочем, довольно. Все они одинаковы — и Ленский, и Онегин, и даже Татьяна: прощаясь с родиной, она с церковью (где ее крестили и где отпевали ее отца) проститься не удосужилась; точнее говоря, Пушкин это прощание не удосужился описать. Только в седьмой главе, у ворот Москвы, в поэтическом ландшафте наконец-то появляются маковки, обители и кресты:

Но вот уж близко. Перед нами
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг! . .

Мелькают мимо бутки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

(IV, 154—156)

Но все это — топика первопрестольной, где «сорок сороков», где твердыня православия — Успенский собор, в котором венчаются на царство русские цари. . . Даже акустическая примета Москвы, так сказать, православна: это колокольный звон. Для

lib.pushkinskijdom.ru

Петербурга же характерны гром пушек и цокот копыт по торцам, «тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой». Только попав в Москву, мы узнаем, что русский человек, кроме всего прочего, еще и прихожанин («У Харитонья в переулке», «живет у Симеона»). Впрочем, это и адресный принцип старой столицы, скорее всего только его имеет в виду Пушкин, ибо героиня и родня ее в храме не показаны. В Петербурге иная, регулярная организация городского пространства, соответственно иной адресный принцип, поэтому в восьмой главе петербуржцы уже не выглядят прихожанами.

Итак, судя по «Евгению Онегину», человек пушкинского круга предстает перед нами в плаценте религиозного и церковного равнодушия. Нелояльности к православию он не выказывает, усердия не выказывает тоже. Это характерно и для других сочинений поэта, если их персонажи принадлежат к тому же кругу. Вот героиня «Графа Нулина» сидит у окна с сентиментальным романом в руках:

Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась...
Казалось, снег идти хотел...
Вдруг колокольчик зазвенел...

Наталья Павловна к балкону
Бежит, обрадована звону,
Глядит и видит: за рекой
У мельницы коляска скачет,
Вот на мосту — к нам точно... нет,
Поворотила влево. Вслед
Она глядит и чуть не плачет.

(V, 5)

Выходит, барский дом стоял на горе — иначе с балкона не видно было бы так далеко. Но церкви нет в этом просторе, хотя на Руси храмы испокон веку ставили на высоких местах.

Этот обедненный ландшафт не для одного Пушкина характерен. Ни один из героев «Мертвых душ» тоже порога храма не переступил. Это было уже при Николае, лет через семь-восемь после Адрианопольского мира (судя по именам детей Манилова), в другой церковно-религиозной ситуации, когда набожность, пусть показная, пригодилась бы для житейских успехов. Если даже лицемерный Чичиков ею не воспользовался, то, надо полагать, потому, что не рассчитывал на нее в неправедном стяжании. Чичиков — дворянин, хоть и плохонький, коллежский советник, и он ведет себя в соответствии с русской эпической традицией, подобно Онегину, Ленскому, Сильвио и героям «Пиковой дамы», которые никогда не ходят в церковь.

Таково литературное правило. Но из него есть исключения. Они возникают, когда Пушкин выходит за пределы своего круга и оказывается на заметном от него расстоянии. Это может быть дистанция временна́я, как в «Борисе Годунове», а может быть и социальная, как в «Домике в Коломне».

...Жила-была вдова,
Тому лет восемь, бедная старушка,
С одною дочерью. У Покрова
Стояла их смиренная лачужка
За самой буткой. Вижу как теперь
Светелку, три окна, крыльцо и дверь.

(V, 85)

lib.pushkinskijdom.ru

Оказывается, и петербургское пространство можно членить «по-московски», но только на окраине, в сонном царстве вдов и отставных чиновников, влачащих утлое существование. «У Покрова» — не адрес, а приход.

По воскресеньям, летом и зимою,
Вдова ходила с нею к Покрову
И становилася перед толпою
У крылоса налево. Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

(V, 88)

Конечно, Пушкина с рассказчиком отождествлять не обязательно, однако нет сомнения, что оба они — из того же самого круга, что и Онегин. Стоило им очутиться в храме, и тотчас выяснилось, что они все знают, все умеют и все понимают по-православному, разбираются и в церковной службе, и в церковно-народном календаре. Пушкин приурочил действие поэмы к святкам, и как искусно приурочил![22]

Кухарка отдала богу душу «в ночь пред Рождеством»; назавтра гроб свезли на Охту. Параша привела новую кухарку два-три дня спустя, и в ближайшее воскресенье мать и дочь пошли к обедне. В воскресенье все и кончилось. Значит, все действие поэмы укладывается, притом с лихвой, в двенадцатидневье между Рождеством и Богоявлением, в промежутке от 25 декабря до 6 января (по юлианскому календарю). Это радостное, игровое время, особенно до 1 января, дня Василия Великого, когда заканчиваются «святые вечера» и начинаются «страшные вечера» (они «страшные» из-за гаданий, которые не обходятся без нечистой силы; о гаданиях мы знаем от пушкинской Татьяны). На святках в храме не преклоняют колена. На святках рядятся и маскируются, устраивают эротические забавы, инсценируют жениханье,[23] — иначе говоря, ведут себя так, как персонажи «Домика в Коломне». Это уже сложившаяся литературная традиция. Пушкин мог знать ее по рассказу «Новгородских девушек святочный вечер, сыгранный в Москве свадебным»,[24] который, в свою очередь, восходит к Повести о Фроле Скобееве, первой русской святочной новелле. События, в ней описанные, датированы 1680-ми годами. О том, что автор новеллы верно передавал действительность, свидетельствует указ патриарха Иоакима 1684 года: «Мужи с женами и девками ходят по улицам и переулкам, к беснованным и бесовским песням, сложенным ими, многия сквернословия присовокупляют и плясания творят на разжение блудных нечистот и прочих грехопадений».[25]

Грехопадение, «девству растление» произошло и на страницах «Домика в Коломне». Но автор по этому поводу не сетует:

Параша закраснелась или нет,
Сказать вам не умею; но Маврушки
С тех пор как не было, — простыл и след!
Ушла, не взяв в уплату ни полушки
И не успев наделать важных бед.
У красной девушки и у старушки
Кто заступил Маврушку? признаюсь,
Не ведаю и кончить тороплюсь.

(V, 93)

Веселость и шутливость этой октавы тоже, так сказать, святочны. На святках позволялось очень многое. Во-первых, это все же игра, а играющие люди не подлежат суду. Во-вторых, по народно-православным представлениям в календаре бывают дни, когда грехи как бы не вменяются. Главные из таких дней — Богоявление и Рождество. В эти (и только эти) дни даже грешников в аду не мучают; черти устраивают им что-то вроде каникул.

lib.pushkinskijdom.ru

Итак, в дворянском окружении, особенно столичном и светском, Пушкин и его герои являются религиозно-равнодушными и нецерковными. В простонародной среде, мещанской и крестьянской, они преображаются и выглядят вполне православными. Из этого ясно, что предметом анализа должно стать сословие священнослужителей, его статус, его взаимоотношения с другими сословиями, прежде всего с дворянством. Об этом пойдет речь во второй статье.

---

[1] См. доклад С. С. Давыдова «Puškin and Christianity», прочитанный в июне 1988 года в Беркли (Калифорния) на конференции, посвященной 1000-летию крещения Руси (в печати). У С. С. Давыдова указана и скудная «литература предмета», в частности работы Вл. Соловьева («Судьба Пушкина»), С. Франка, Е. Кисильцыной, Вл. Гиппиуса, о. Сергия Булгакова, о. Иоанна Черявина, митрополита Анастасия и др. К этому перечню следует прибавить книгу Ариадны Тырковой-Вильямс «Жизнь Пушкина» (Париж, 1948. Т. 2. С. 392—397).

[2] «Я был массон в Киш.〈иневской〉 ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи» (XIII, 257).

[3] См.: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина: Исследования и материалы. М., 1987. С. 147.

[4] Там же. С. 17.

[5] См.: *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 174—176.

[6] См.: *Милюков П. Н.* Очерки по истории русской культуры. 5-е изд. Пгр., 1916. Ч. 2. С. 158.

[7] Статьи 42—43 «Основных законов Российской империи».

[8] См.: *Абрамович С. Л.* Пушкин в 1936 году: (Предыстория последней дуэли). Л., 1984. С. 164.

[9] Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 153.

[10] *Флоренский П. А.* О суеверии // Символ, Париж. 1988. Декабрь. № 20. С. 252.

[11] См. об этом: *Скатов Н. Н.* Русский гений. М., 1988. С. 205 и след.

[12] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 12. С. 196.

[13] Там же.

[14] См.: *Надеждин А.* История С.-Петербургской православной духовной семинарии. 1801—1884. СПб., 1885; *Лащенков П. Е. И.* Станевич // Сборник Харьковского историко-филологического общества. 1897. Т. IX; *Флоровский Г. В.* Пути русского богословия. 3-е изд. Париж, 1983. С. 150—152.

[15] *Флоровский Г. В.* Указ. соч. С. 131—132.

[16] См.: *Скатов Н. Н.* Указ. соч. С. 201—202.

[17] См. об этом: *Чистович И. А.* История перевода Библии на русский язык. СПб., 1899.

[18] Там же. С. 25.

[19] См.: *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. II. С. 254.

[20] *Николай Михайлович, вел. кн.* Переписка императора Александра I с сестрой, вел. кн. Екатериной Павловной. СПб., 1910. Приложение V. С. 286—290.

[21] Пушкин и сам пользовался французским текстом («Библию, библию! и французскую непременно» — XIII, 123), хотя и славянский знал превосходно.

[22] См.: *Фомичев С. А.* Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986. С. 213.

[23] См.: *Понырко Н. В.* Святочный смех // Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 154 и след.

[24] *Новиков Ив.* Похождения Ивана Гостинного сына и другие повести и сказки. СПб., 1785. Ч. I.

[25] Полн. собр. законов Российской империи. СПб., 1830. Т. II (1676—1698). № 1101. С. 647.

lib.pushkinskijdom.ru

В. А. ВИКТОРОВИЧ

ВСЕВОЛОД КРЕСТОВСКИЙ: ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ

1

Когда-то один из самых популярных писателей, «наш Эжен Сю», Всеволод Владимирович Крестовский (1839[1]—1895) ныне почти забыт. Изредка его имя всплывает в «обойме» антинигилистических писателей. Не могут обойти его биографы Достоевского, Лескова, Писарева. Лучшие его стихи напечатаны в сборнике «Поэты 1860-х годов» (Л., 1968), подготовленном И. Г. Ямпольским. Единственный раз после революции вышли «Петербургские трущобы» (т. 1—3. М.; Л., 1935—1937, издание подготовлено И. Н. Кубиковым), да и то в урезанном виде.* Всерьез исследовать творчество Крестовского, весьма объемное и разнородное, считалось почти неприличным: [2] слишком много нелестных для писателя историй связалось с его именем. Прозванный современниками «Всеволодом Клубничкиным», «русским маркизом де Садом», Крестовский скандально прославился как автор эротических «испанских» стихов. Начав свою литературную деятельность чуть ли не крайним радикалом, республиканцем, он резко изменил свои взгляды и стал столь же крайним охранителем, монархистом. Бывший товарищ Крестовского, Д. И. Писарев бросил ему публичное обвинение в продажности,[3] которое многократно повторялось в русской демократической печати. После смерти Крестовского еще одно обвинение — в плагиате — легло пятном на его и без того небезупречную репутацию. Если к этому добавить серию скандалов (в том числе семейный), сделавших его героем газетных хроник, да еще славу шовиниста, то портрет будет уж слишком монструозным. Едва ли другой такой найдется в русской литературе.

Рассматривая материалы биографии и творчества Крестовского,[4] убеждаешься, что столь одиозное представление о нем далеко не всегда портрет с натуры, а подчас что-то вроде фоторобота, собранного по свидетельствам современников, весьма субъективным, иногда прямо тенденциозным. Не доверяемся же мы всецело и слепо инвективам того же Писарева в адрес Лескова. Лесков и Писемский, не говоря уже о Достоевском и Тургеневе, выстояли под убийственным огнем радикальной критики. Сломились и были раздавлены уничижительными ярлыками таланты менее значительные и самостоятельные, как, например, автор знаменитого когда-то «Марева» В. П. Клюшников. Может быть, и Всеволод Крестовский из числа несправедливо опороченных?

Автор данной статьи не ставит перед собой цели во что бы то ни стало «отмыть добела» литературную репутацию своего героя, но акт исторической справедливости, отделивший Стебницкого от Лескова, Безрылова от Писемского, должен быть проявлен даже к таким малосимпатичным нам людям, как Всеволод Крестовский. Наша задача — расчленить легенду и факт там, где это возможно.

2

Всеволод Крестовский был избалован ранним признанием. Дарование девятнадцатилетнего поэта оценили в кружке Л. А. Мея, где он сразу же стал своим, ему покровительствовал Аполлон Григорьев, он вошел в кружок почвенников, где стихи его читал наизусть вернувшийся из ссылки Достоевский, приятельские отношения сложились у него и с кружком «Искры». Обличительная, гражданская лирика своею дерзостью и звучностью быстро принесла ему популярность в студенческой среде (с 1857 года Крестовский учился в Петербургском университете). Наделенный немалым тщеславием и вместе с тем

* Настоящая статья была уже подготовлена к печати, когда в «Художественной литературе» вышло новое издание романа.

© Викторович В. А., 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

реактивной, впечатлительной натурой, он быстро усвоил правила литературного тона. Легко, будто играючи писал он изящные стихи в духе Фета, антологические и фольклорные стилизации под Мея, мгновенно перенял некрасовские интонации в стихах о страданиях народных. Поначалу такая всеотзывчивость казалась естественным качеством молодости, еще не окрепшего таланта, ищущего свою дорогу.

Широта поэтического диапазона Крестовского была к тому же сознательной творческой установкой. В программной своей статье «Стихотворения А. Н. Плещеева» он писал: «Поэзия должна служить жизни, а жизнь проявляется в бесчисленном множестве фактов и форм». В связи с этим Крестовский приемлет и «примиряющее чувство» Фета, и «желчное слово» Некрасова.[5] Заявленная программа была в духе почвеннической партии с ее синтезирующими устремлениями, но Крестовскому не суждено было органически воплотить ее в собственном поэтическом творчестве.

Гибкостью, пластичностью стихотворной формы молодой поэт овладел достаточно быстро; Чернышевский, например, считал, что его «Солимская гетера» «нимало не уступает лучшим стихотворениям в подобном роде г. Майкова».[6] Похвала, правда, несколько двусмысленная. Чуть позже с большей определенностью выскажется другой критик «Современника», отнесший Крестовского к «литераторам второго сорта», способным «раздражаться» лишь «чужою мыслью». Салтыков-Щедрин в рецензии на книгу стихов Крестовского 1862 года признавал талантливость писателя, но безжалостно обнажил «технологию» его творчества: «. . .человек овладевает чужою мыслью, чужим типом, рабски придерживается их, но не хочет сознаться в этом, а хочет показать, что он сам первого сорта деятель. . . Для достижения этой цели он к чужой мысли, к чужому типу подмешивает собственного естества, сдабривает их своим собственным запахом».[7] Одновременно с Щедриным о несамостоятельности Крестовского заявил Д. Д. Минаев в рецензии с характерным названием «На все отозвался, ни до чего не договорился». Минаев назвал даже Крестовского «бессознательным пародистом».[8] Еще раньше свой диагноз поставил А. А. Григорьев, разочаровавшийся в недавнем протеже. «. . .Натуры в нем нет», — писал он Н. Н. Страхову 12 августа 1861 года.[9]

В цитированной уже статье о Плещееве Крестовский и сам, еще раньше своих критиков, задумался о судьбе поэта, которому не хватает оригинальности, чьи «произведения настолько общи и легки, настолько не отмечены индивидуальностью, что они не существуют для памяти общества».[10] По-видимому, эти слова, сказанные о Плещееве, косвенно отражают и сомнение их автора в собственном призвании, очень скоро приведшее к угасанию его стихотворчества.

«Творческому поведению» Крестовского мы без труда найдем соответствие в его поведении в так называемом «литературном быту». Отмеченные многими современниками Крестовского его нарочитая развязность и даже фатовство были, думается, прикрытием неуверенности, мнительности. Он никак не мог сделать выбор среди тех ролевых масок, которые примеривал на себя. Странным казался он иногда своим товарищам: «. . .то вдруг фанфаронил, напускал на себя серьезность, твердил о том, что писателю, как бы он ни был молод, необходимо быть солидным, корректным, стоять на высоте своего призвания, — то неожиданно мальчишески паясничал, откидывал шутки».[11]

Широта натуры была, вероятно, программной, установочной, в духе того же почвенничества (ср. рассуждения Крестовского о «широкости натур, которыми обильна наша русская земля»),[12] но в Крестовском — и чем дальше, тем больше — она оборачивалась неустойчивостью духовного мира, отсутствием прочных ориентиров. Что же касается поэзии Крестовского, ее идейная и стилевая экстенсивность вела к размыванию поэтической индивидуальности.

В этом достаточно драматическом контексте творческой судьбы так называемая эротическая лирика Крестовского выглядит не более как отчаянная попытка обозначить «свою» территорию, выделиться в потоке вторичной поэзии. С сентября 1860 года в «Русском мире» Крестовский начинает печатать стихи из цикла «Испанские мотивы», принесшие ему шумную, но двусмысленную славу «нового Баркова».

lib.pushkinskijdom.ru

Созданию этой славы немало способствовала яркая, хлесткая рецензия Щедрина, уже упоминавшаяся. Крестовский был провозглашен певцом «плотского вожделения», «откровенной клубнички». Щедрину вторил Минаев в бесчисленных своих пародиях на Крестовского, иногда остроумных. Самый главный поэтический мотив Крестовского, писал анонимный критик респектабельной либеральной газеты, это «напев человеческой похоти».[13]

Однако существует и другая, более умеренная точка зрения. П. В. Быков, писавший свои воспоминания (см. выше) уже в начале нашего века и имевший возможность сопоставить Крестовского с новомодными «обнажениями телес», уже с некоторым недоумением отнесся к строгости прежней критики. Напомню, к слову, что «клубничными» Щедрин считал даже стихи Полонского.

В защиту Крестовского, точнее, его первого «испанского» стихотворения «Гитана» (Русский мир. 1860. 21 сент. № 73) несколько слов сказал в своей статье «Искусство и нравственность» (1861) А. А. Григорьев: «Пусть тайком все это и читается, и с жадностью даже читается поборниками нравственности: признать же законными таких явлений мы не посмеем, лгать-то уж мы очень привыкли».[14]

Поддержал поэта радикально-демократический журнал «Русское слово», напечатавший несколько его эротических стихотворений. Впоследствии тот же Григорьев, уже изменивший свое отношение к этим стихам Крестовского, поставил даже в укор «нигилистам», что они «портили и растлевали потворством натуру несомненно даровитую, — довели ее до утопленницы. . .».[15] Критик имел в виду стихотворение «Я лежал на прибрежном песке» (Русское слово. 1861. № 5), прочтенное не только им, но и многими современниками как некрофильское (любовь к утопленнице). Не думаем, что именно этот смысл был субъективно задан самим поэтом, но возможность такого прочтения существует: Крестовскому в данном случае явно отказало чувство такта, да и художественного вкуса тоже. Безосновность его художнической натуры, своеобразная флюгерность «заносили» его за пределы эстетического, а отчасти уже и этического.

Есть множество свидетельств, что эротические «испанские» стихи Крестовского не только не шокировали молодого демократического читателя, но с удовольствием читались и даже заучивались наизусть.[16] Мемуарист, близкий к радикальным кругам начала шестидесятых годов, вспоминал, что «Испанские мотивы» «были тогда очень популярны и симпатичны для многих читателей. В них чуялся поэт, стихи выливались из души».[17] Покровительствовавший тогда Крестовскому Д. И. Писарев, будучи редактором поэтического отдела «Русского слова», напечатал одно из самых вызывающих его произведений — поэму «Фрина» (Русское слово. 1862. № 2), совмещавшую в себе антидеспотические и фривольные мотивы.

Следует заметить, что и в пресловутом цикле «Испанские мотивы» Крестовский соединил эротические стихи с гражданственной, свободолюбивой лирикой. Факт примечательный: и то и другое направления в лирике шестидесятников выражали общий освободительный пафос. Эмансипационный дух шестидесятых годов в русском обществе, вообще говоря, не может быть понят без осознания этой особенности: эмансипация плоти была такой же частью общественной эмансипации, как и требование политических свобод. Будучи реакцией на «теологическое миросозерцание» и «аскетическое подавление плоти», писал однокашник Крестовского по университету А. М. Скабичевский, «эпикуреизм этот. . разделялся всеми моими однокурсниками».[18]

Это же настроение выразил Н. П. Огарев в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература» (1860), объединившему «поэзию гражданских устремлений» и «поэзию неприличную»: «. . .они ветви одного дерева, и в каждой неприличной эпиграмме вы найдете политическую пощечину».[19] Огарев же выдвинул и критерий оценки такого рода лирики — ее «изящество»: «. . .с отсутствием изящности форм в жизни на долю стихотворений неприличного содержания остается только неприличность».[20] Применяя этот критерий к соответствующим стихам Крестовского, мы должны признаться, что лучшие из них его выдерживают. Поэт прошел хорошую школу антологического жанра,

lib.pushkinskijdom.ru

переводов древнегреческой лирики, откуда, очевидно, и идут некоторые традиции (например, шокировавшие строгих критиков лесбиянские мотивы).

Итак, пресловутые «испанские» стихи Крестовского не только не эпатировали радикальную молодежь шестидесятых годов (а прежде всего она — адресат этих стихов), но явились выражением происходивших в ней эмансипационных процессов. Легенда же о «Всеволоде Клубничкине», чьи стихи «могут взбунтовать всякое чувство русской порядочности и стыда»,[21] чуть более позднего происхождения. Она, как нам представляется, обозначила своеобразный перелом в общественных настроениях. Эмансипация плоти грозила перерасти, да и уже перерастала в нравственную распущенность, ярым обличителем которой станет антинигилистическая литература.[22] (В ее рядах окажется и сам Крестовский.) Симптоматична и резкая смена отношения Писарева, «Русского слова» к данным стихам Крестовского, еще недавно занимавшим почетное место на страницах журнала.

Легенда об «эротизме» Крестовского, как видим, имевшая под собою серьезные, хотя исторически объяснимые основания, непомерно сузила представление о нем как о лирике. Его фольклорные стилизации, гражданские, библейские стихи, романсы и песни (долго еще певшиеся и утратившие в этом своем бытовании память об авторе) как-то сникли под влиянием сокрушительной легенды. Не обошлось без действия дурных ассоциаций, сопровождавших имя поэта, и в издательской практике. Мы уверены, что Крестовский заслужил томик хотя бы избранной лирики.

Право на место в отечественной поэзии Крестовскому дает уже его стихотворение «Париж, июль 1848», аккумулировавшее в себе некоторые идеи, которыми интересовалась в то время русская общественная мысль и искусство. Мы имеем в виду некий предлагавшийся параллелизм мотивов социальной революции и духовного переворота, совершенного Христом, тему страдальческого креста (см. более позднее стихотворение Некрасова «Пророк», картину Ге «Тайная вечеря»). Этот христианско-социалистический миф, волновавший еще Белинского и Герцена и впервые соприкоснувшийся с русской поэзией в стихах петрашевцев, дошел до Крестовского, как мы полагаем, через Достоевского. Именно в период, проходивший у поэта под знаком Достоевского, написано это стихотворение. Позднее, в черновых набросках к «Преступлению и наказанию», Достоевский несколько раз запишет: «Христос, баррикада». Запись эту, до сих пор не расшифрованную, следовало бы связать с центральным образом приводимого нами стихотворения Крестовского. Возможно, именно такое видение должно было явиться Раскольникову (глава «Христос» осталась ненаписанной) и как бы благословить, историософски и поэтически, его «идею».

ПАРИЖ, ИЮЛЬ 1848

Мне снился восторженный сон:
Гас вечер на небе багровом,
И в воздухе грохот и стон
Носились в величьи суровом.
Вся улица кровью полна,
Весь город в смятеньи от страха —
И вон уж позорно видна
На площади черная плаха.
Под ядрами рушится дом,
Визжит и взвивается пламя —
И веет во пламени том
Кровавое красное знамя.
Работают дружно штыки,
Гремят вдалеке барабаны —
И ломятся массой полки
К завалам в народные станы.
А там уж последний упал —
Конец их безумной надежде;
Но кто-то над павшими встал
В сияющей белой одежде:
Над облаком дыма, во мгле,
Стоял он на той баррикаде
С терновым венком на челе
И с мукой предсмертной во взгляде.
Он руки свои простирал,
Гвоздями пробитые руки,
И лик его кроткий дышал
Блаженством божественной муки.
Ветвь мира для мира всего
Держал он средь павшего стана,
И в правом боку у него
Сочилася новая рана.
Но тихо народ умирал,
Лобзая священные раны —
А вечер во мраке вставал
И били вдали барабаны. . .

1860

lib.pushkinskijdom.ru

Стихотворение Крестовского, как нетрудно увидеть, отозвалось через полстолетия в «Двенадцати» Блока.

3

Роман «Петербургские трущобы» доставил громкую славу его автору и стал одним из самых читаемых в прошлом веке. Развратные похождения светских негодяев и горькие злоключения их внебрачных детей, брошенных на дно общества, составляют авантюрную раму в духе «Парижских тайн» Эжена Сю, в которую вставлены грандиозные натуралистические фрески люмпенского и уголовного Петербурга. Создание этого романа, особенно сбор материала для него окружены множеством рассказов о переодеваниях и актерстве Крестовского, его опасных приключениях в злачных местах столицы. Источником этих рассказов, как правило, был сам писатель, но в данном случае перед нами все-таки не легенда. Среди свидетелей, удостоверивших этот не совсем обычный метод писательской работы, был Н. С. Лесков, самолично совершивший такую вылазку вместе с Крестовским, а также... безымянный агент III Отделения, доносивший в 1863 году, что Крестовский проник «в самые тайные притоны мошенников и сошелся со многими из них хорошо... он для подобного путешествия одевается в отрепья и между мошенниками слывет за беспаспортного».[23]

Итак, сопровождавшие роман и поражавшие воображение современников рассказы о «шпионских» хитростях писателя (он, надо полагать, немало перенял у помогавшего ему талантливого и впоследствии прославившегося своими мемуарами сыщика И. Д. Путилина, фактически создателя петербургского уголовного сыска) далеко не всегда легендарны. Совокупность различных свидетельств заставляет признать их фактическую достоверность.

Совсем иного рода другая легенда, доныне преследующая имя автора «Петербургских трущоб», — о якобы имевшем место плагиате. Несмотря на то что многие «доказательства» были аргументированно опровергнуты полвека назад И. Г. Ямпольским,[24] версия эта и по сей день продолжает находить своих сторонников в литературных и научных кругах. Наиболее откровенным ее защитником является М. М. Орлов. В 1959 году на основании лингво-стилистического анализа «Петербургских трущоб» он заявил, что неизвестная нам и использованная Крестовским «рукопись Помяловского может составить примерно три четверти всего текста».[25] Подвергнутый резкой и справедливой критике,[26] М. М. Орлов впоследствии несколько смягчил свой вывод, но обвинения в адрес Крестовского не снял.[27]

Думается, есть необходимость проследить историю возникновения легенды и выявить некоторые обстоятельства этого дела, не учтенные исследователями.

Первое обвинение в плагиате было обнародовано сразу же после смерти Крестовского в анонимной заметке «Сына отечества» (1895. № 27), перепечатанной затем в февральском номере журнала «Северный вестник» за 1895 год: «Кто не зачитывался этим романом и кто, вместе с тем, не слыхал в той или иной версии... предположения, будто „Петербургские трущобы“... написаны другим лицом — Помяловским или Решетниковым». Далее, склоняясь к версии об авторстве Помяловского, действительно планировавшего трущобные эпизоды в незаконченном романе «Брат и сестра», анонимный автор приводит два аргумента в пользу этой версии: 1) Крестовский не первоклассный писатель и лишь варьировал уже известные темы; 2) он позднее никогда не возвращался к типам, изображенным в «Петербургских трущобах». Заметка вызвала целую бурю протестующих откликов родственников, друзей и знакомых Крестовского.[28] Существенных подтверждений в пользу легенды тогда не последовало, но семя сомнения было брошено, и взошло оно через восемнадцать лет, когда уже не осталось живых свидетелей, способных ее опровергнуть. В газете «Русское слово» (1913. 25 окт. № 246) была напечатана статья А. Измайлова «Быль, а не легенда», возвращавшая к новой

lib.pushkinskijdom.ru

жизни старый миф. Помимо аргументов, уже выдвигавшихся в указанной заметке «Сына отечества», Измайлов ввел в оборот свидетельства близких родственников Помяловского, «твердо уверенных» в его авторстве на том основании, что он часто рассказывал о своих хождениях по трущобам и читал подобные же отрывки из задуманного романа «Брат и сестра». Ссылаясь на очевидца, Измайлов утверждал, что у сестры Помяловского видели черновик главы «Чуха» из того же романа (такую кличку носит и одна из героинь «Петербургских трущоб»). Кроме того, Измайлов привел некоторые «филологические соображения»: стилевая чересполосица романа, верность и художественная сила некоторых физиологических описаний дна и его типов, на которые талант Крестовского претендовать не может. Состоявшийся по инициативе сына писателя Владимира Крестовского и поддержавшего его И. К. Маркузе, бывшего стенографа Крестовского, третейский суд, не вдаваясь в анализ представленных ими новых доказательств в пользу Крестовского (его записная книжка и стенограмма), признал «недостаточность оснований для. . . категорических выводов» Измайлова.[29]

Презумпция невиновности Крестовского поддерживается прежде всего отсутствием обвинений со стороны *современников* его и Помяловского. Особенно странным, если принимать легенду за истину, выглядит молчание демократической русской прессы, не простившей «предательства» и неутомимо преследовавшей Крестовского, использовавшей для обличения каждый, даже незначительный его промах. Могла ли она упустить такой «козырь»? Молчали и тем самым признавали «Петербургские трущобы» романом Крестовского не только люди близкие Помяловскому (на что первый указал И. Г. Ямпольский) — Благовещенский, Салтыков-Щедрин, Решетников, В. и Н. Курочкины, Воронов, Левитов и др. (последние четверо были хорошо знакомы и с Крестовским). Авторство Крестовского было вне сомнений и для знакомых с ним Ф. М. Достоевского (он хорошо знал и Помяловского) и Н. С. Лескова. Позднейшие безнравственные поступки Крестовского они оценили резко и принципиально. Кроме того, они обладали безошибочным стилевым чутьем (и тот и другой способны были точно «атрибутировать» анонимные произведения своих современников).

Единственное, пожалуй, свидетельство современника, вполне определенное и не в пользу Крестовского, — статья Ф. Гриднина «Литературный вор» (Московская газета. 1913. № 281). В подтверждение того, что у большинства шестидесятников была уверенность в похищении Крестовским рукописи Помяловского,[30] Гриднин приводит личные воспоминания о редакционных собраниях «Искры». Но эти воспоминания более чем сомнительны. «Искра» многократно высмеивала «Петербургские трущобы» и напечатала даже злой пародийный роман в карикатурах «Петербургские трущобы. . . значительно сокращенные, исправленные и изображенные в лицах А. Волковым» (отд. изд.: СПб., 1867). Ни одного, даже самого отдаленного намека на плагиат мы не найдем в этих выступлениях журнала. Более того, сама мысль о близости романа Крестовского к творчеству Помяловского выглядит кощунством в контексте этих выступлений.

Сопоставление «Петербургских трущоб» с незаконченным романом Помяловского «Брат и сестра» между тем имело место в журналистике шестидесятых годов. Его провел в своей статье «Библиографические и журнальные заметки» (Русский инвалид. 1864. 28 ноября. № 264) далеко не симпатизировавший тогда Крестовскому А. С. Суворин. Отдав предпочтение замыслу Помяловского, Суворин философически рассудил, что приходится «довольствоваться» Крестовским. За Крестовского горячо вступился Н. Зарудный. (По поводу статьи «Русского инвалида» о новом романе Всеволода Крестовского // Петербургский листок. 1864. 17 дек. № 155), высказав при этом одно весьма резонное замечание: «. . .сколько можно судить из очерков, опубликованных после смерти автора г. Н. Благовещенским, Помяловский и не касался того слоя, который предпочтительно является в романе г. Крестовского, т. е. слоя мошенников. . . отребьев падшего общества». Полемика Суворина и Зарудного, затронувшая такой больной, казалось бы, вопрос (если верить легенде), тем не менее продолжения не имела. Современники не возражали.

lib.pushkinskijdom.ru

В статье Суворина содержится намек на факт, очевидно, хорошо известный тогдашним читателям. Критик пишет, что молва о «Петербургских трущобах» шла «с год тому, если не более» и даже «перешла в печать». Если так, то о замысле романа Крестовского было известно еще при жизни Помяловского (умер 5 октября 1863 года). Попробуем отыскать эти свидетельства, «перешедшие в печать».

В упоминавшейся рецензии Минаева на сборник стихов Крестовского, полной личных выпадов и намеков, автор, весьма осведомленный о жизни критикуемого писателя, сделал предположение: «Еще один шаг — да и нужно ли его делать? — и г. Крестовский дойдет до „Петербургской клубнички“».[31] Вскоре в очередном «Дневнике темного человека» Минаев, составляя пародийный «Проект чрезвычайного литературно-музыкального вечера», включил в него следующий номер: «Отрывок из романа „Петербургские язвы“ — г. В. Крестовский».[32]

Прямые отголоски замысла «Петербургских трущоб» находим мы в фельетоне самого Крестовского в журнале «Якорь» (№ 13 от 1 июня 1863 года). Современный роман, утверждает фельетонист, ограничивает себя тесным семейным кругом и не видит жизни общественной. «Спуститесь в темные сферы подвалов и чердаков, мастерских и фабрик, — советует он романистам, — там вы тоже отыщете немало материалов для изучения этой нашей жизни. Войдите, наконец, в следственные камеры. . .» (С. 249). Крестовский не ограничивается призывом и предлагает «на выдержку» сцену допроса двух мужиков. С небольшими изменениями эта весьма колоритная сцена войдет в будущий роман «Петербургские трущобы» (глава XII «В следственной камере» 4-й части).

В журнале «Оса», сатирическом приложении к «Якорю» (№ 24 от 12 октября 1863 года), Крестовский напечатал физиологический очерк «Адам Адамыч», который позднее также войдет в «Петербургские трущобы» (ч. 5, гл. I).

Сразу же после смерти Помяловского Крестовский напечатал в «Осе» (9 ноября, № 28) еще один физиологический очерк «Ночные совы», впоследствии вошедший в «Петербургские трущобы» (ч. 6, гл. I—II).

К лучшим страницам «Петербургских трущоб» следует, конечно, отнести I главу 4-й части — «История Рамзи». Это история крестьянина, эдакого современного богатыря и одновременно святого, ушедшего в разбойники, чтобы восстановить справедливость на русской земле. В архиве цензурного ведомства мы нашли корректуру рассказа «Рамзя», подготовленного Крестовским для журнала «Светоч» и запрещенного цензором 9 марта 1862 года.[33] Текст рассказа с небольшими изменениями вошел в указанную главу «Петербургских трущоб».

Итак, лучшие страницы романа «Петербургские трущобы», с несомненностью относимые сторонниками легенды к перу Помяловского (см. статью Измайлова), были, оказывается, написаны Крестовским и отданы им в печать еще при жизни Помяловского.[34]

Мы не исчерпали всех доводов против легенды, но полагаем, что сказанного достаточно, чтобы снять с Крестовского столь долго тяготевшее над его памятью обвинение. Зададимся несколько иным вопросом: были ли, а если были, то какие, основания для возникновения самой этой легенды?

Завесу приоткрывает статья П. К. Мартьянова «Кто виноват: В. В. Крестовский, Д. Д. Минаев или Н. С. Лесков?».[35] Не сомневаясь в авторстве Крестовского, мемуарист пытается лишь отвести упрек Н. С. Лескова, что сплетня была пущена Д. Д. Минаевым (см.: Новости. 1895. № 60, интервью Лескова). Мартьянов вспоминает при этом: Н. Успенский говорил ему в 1865 году, что «Петербургские трущобы» понравились Панаевой и Некрасов сказал ей, что мысль романа принадлежит Помяловскому. Слова эти подтвердил впоследствии Мартьянову В. А. Слепцов.

Итак, не готовый текст, не какая-то таинственная рукопись, то ли украденная, то ли купленная за сорок копеек (!) Крестовским у Помяловского,[36] а «мысль романа», *подсказанная* автором «Очерков бурсы». С такой версией можно согласиться, тем более что она подтверждается рядом других косвенных фактов и наблюдений.

lib.pushkinskijdom.ru

Крестовский, судя по всему, познакомился с Н. Г. Помяловским в Петербургском университете, куда он поступил в 1857 году на юридический факультет и где в том же году Помяловский слушал лекции. Оба они стали достаточно хорошо известны в среде революционно настроенного студенчества. О своем общении с Помяловским Крестовский рассказал в повести «Не первый и не последний. Неоконченные записки студента» (Русский мир. 1861. № 30—44). Кстати, выражение «не первый и не последний» Крестовский позаимствовал из повести Помяловского «Мещанское счастье» (Современник. 1861. № 2): этими словами Негодящев характеризует нелегкую судьбу Молотова.[37] В повести Крестовского это выражение отнесено к главному герою Николаю Чебанову. В его истории угадываются довольно отчетливо некоторые обстоятельства личной драмы Помяловского (несчастная любовь к А. А. Комаровой, мучительная слабость к спиртному).

На близость этого героя Помяловскому указывает не только имя его, но и фамилия. Автобиографический герой отрывка из романа «Брат и сестра» Андрей Федорович Чебанов стал известен русскому читателю лишь в 1863 году, но не исключено, что замысел этого отрывка сформировался у Помяловского давно. Благовещенский сообщал, что Помяловский записал его накануне литературного чтения, состоявшегося 10 апреля 1863 года, всего за три часа — столь выношенным и отточенным до деталей был этот отрывок в памяти писателя. Крестовский мог слышать его устное наговаривание (характерное для Помяловского!) значительно раньше.[38]

«След» Помяловского в повести «Не первый и не последний» обнаруживается также в подробном и довольно колоритном описании гимназического быта, многие подробности которого заставляют вспомнить ранний очерк Помяловского «Долбня. Воспоминание из училищной жизни» (1860) — этот первый набросок широко известного очерка «Зимний вечер в бурсе» (1862).

Анализ подобного рода «влияний» позволяет сделать предположение о характере отношений Помяловского и Крестовского. Первый, по всей видимости, выступал в роли учителя; обладая талантом куда более самостоятельным, оригинальным, будучи личностью более значительной, самобытной, он подчинял себе колеблющегося, неустойчивого сотоварища (кстати, Помяловский был старше всего на четыре года, но зато прошел другую, не тепличную школу жизни). Подтверждают это предположение слова Чебанова, т. е. скорее всего самого Помяловского (Крестовский имел такую слабость — стенографировать слова прототипа): «...не лишний я, пожалуй, для питейного откупа, все же маломальский доход ему есть с меня... да разве еще для К-вского не лишний: к экзамену с ним готовился; он хоть и хороший малый, а голова все-таки беспутная — сам по себе никогда ничего не делает».[39] Нетрудно догадаться, что К-вский это и есть Крестовский (так он подписывал некоторые свои статьи).

С благодарностью и пиететом отзывается Крестовский о своем литературном наставнике в «Петербургских трущобах». Формулируя задачу этого произведения, он цитирует предисловие Помяловского к роману «Брат и сестра»: «Позвольте же и писателю... обратить внимание общества на ту массу разврата, безнадежной бедности и невежества, которая накопилась в недрах его».[40] Защищаясь от обвинений в натурализме, он повторяет мысль Помяловского, что цинизм предмета изображения не означает, что сам автор — циник. Сторонники легенды могут, конечно, это странное обращение «вора» за поддержкой к им же «обворованному» объяснить стремлением замести следы. Столь изощренному объяснению мы предпочтем более простое и естественное.

Замысел «Петербургских трущоб» складывался при непосредственном воздействии на автора Н. Г. Помяловского. Именно в это время тот вынашивал планы не только собственного панорамного романа «Брат и сестра», но и *коллективного* описания жизни

lib.pushkinskijdom.ru

и быта беднейших классов общества наподобие некрасовской «Физиологии Петербурга». «Я, например, — писал Помяловский в одном из набросков, — возьму на свою долю всех петербургских нищих, буду изучать их быт, привычки, язык, побуждения к ремеслу и все это описывать в точных картинах; другой возьмет, положим, мелочные лавки для таких же изучений, третий — пожарную команду и т. д.».[41] Замысел Помяловского характерен для шестидесятников с их идеями артельности, в том числе и в литературе.[42] Вне сомнений, что и Крестовский, близкий в это время к Помяловскому, был посвящен в эти планы. Вполне вероятно, что по инициативе того же Помяловского Крестовский начал систематическое, продолжавшееся около девяти месяцев обследование «трущобного мира» Петербурга,[43] отголоски которого мы находим в указанных выше его статьях для «Якоря», «Осы», «Светоча», писавшихся еще при жизни Помяловского.

Думается, что в том давнем споре начала века ближе всех к истине был А. В. Амфитеатров: «. . .плагиата не было, но очень могло быть преемство темы, отчасти канвы и, главное, бытовых заметок и записей».[44] Такого рода «преемство» действительно имело место, но отыскать его можно также между «Петербургскими трущобами» и той же книгой Воронова и Левитова или романом Достоевского «Униженные и оскорбленные».[45]

Всеволод Крестовский как писатель — натура женственно-впечатлительная, крайне неустойчивая, способная всецело и горячо отдаваться влиянию сильного и самостоятельного таланта. Так, он прошел через «полосы» Мея, Григорьева, Некрасова, Писарева, Достоевского, иногда совмещая в себе разнородные влияния. Крестовский и сам, когда еще способен был к самокритическому анализу, признавался в этом качестве своей натуры.[46] Отпечаталась на нем — правда, опять же ненадолго[47] — и «школа» Помяловского. К близким сюжетным построениям (скажем, фабульная схема «Петербургских трущоб» — страдания и горестный финал брата и сестры — идентична сюжетному плану романа Помяловского «Брат и сестра»),[48] к «физиологическим» зарисовкам (например, сходные описания мук голода, ведущих к преступлению, и в том и в другом романе) следует прибавить и заметное воздействие стилевой системы Помяловского на автора «Петербургских трущоб», так смутившее и в конечном итоге объясняющее заблуждение М. М. Орлова. Его стилистический анализ может подтвердить лишь факт влияния одного писателя на другого (к тому же есть общие, характерные для эпохи лексические, стилистические обороты), но никак не может служить достаточным обоснованием версии о плагиате.

Переимчивость художественной натуры Крестовского — вот, пожалуй, единственное основание для возникновения легенды.[49] Автор «Петербургских трущоб», очевидно, «загорелся» идеями Помяловского (насколько идентично замыслу оригинала он их воплотил — вопрос особый), его пафосом и, возможно, отдельными наблюдениями более талантливого и зоркого писателя. Все это ничуть не противоречило тем артельным законам литературного творчества, которые сам же Помяловский пытался внедрить в русскую литературу. В меру своего понимания и таланта Крестовский донес до нас хотя бы отзвук тех идей, образов, наблюдений значительного русского художника, которые безвозвратно поглощены его ранней могилой.

Думаю, что нам следует быть благодарными за это Всеволоду Крестовскому, а не пятнать его память прилипчивым подозрением.

4

Судьба «Петербургских трущоб» сложилась драматически. Может быть, самый популярный у массового читателя вплоть до начала нашего века,[50] вызвавший волну подражаний (так называемая «трущобомания»), роман свысока третировался в «большой» литературе. Умная, объективная статья Н. И. Соловьева, лучшая в прижизненной критике,[51] к сожалению, погоды не сделала. Победили оценки размашистые, безапелляционные, экстремистские, в которых тон задавала радикальная критика[52] (некрасовские журналы просто промолчали). В конечном счете побеждены, а точнее, подавлены были

lib.pushkinskijdom.ru

и читательские симпатии (кто ныне читает этот роман, ставший библиографической редкостью?). Шлейф тогдашних ярлыков («цинизм», «смакование», «десадовское направление» и т. п.) обратился сегодня в густое облако легенды вокруг романа. Конечно, социальная критика в нем ослаблена и банальным морализаторством автора, и непомерно разросшимся авантюрно-бульварным сюжетом, и мелодраматическими эффектами в духе Эжена Сю... Но в то же время гуманистический пафос, сострадание к париям, отбросам общества достигают немалой силы в лучших главах и эпизодах.

Как прогрессивная русская критика «не заметила» тех достоинств, которые заставили, например, Лескова считать «Петербургские трущобы» «самым социалистическим романом на русском языке»?[53] Любопытно, что и тогдашнее цензурное ведомство, всячески преследовавшее и обрезавшее роман во время печатания в «Отечественных записках» (с октября 1864 года по декабрь 1866 года), резко разошлось с мнением критики, утверждая, что «тенденции и направление автора „Петербургских трущоб" не отличается благонамеренностью».[54] Член Совета Главного управления по делам печати ординарный академик А. В. Никитенко, правда, не соглашался с такой оценкой и полагал, что автор романа «скорее против них (социалистических учений), чем за них», но и он советовал цензуре ужесточить отношение к тем эпизодам романа, которые возбуждают в читателе «чувство озлобления к существующему порядку вещей».[55] В этой ситуации редактор «Искры» В. Курочкин, «проталкивая» через цензуру названные выше пародийные карикатуры А. Волкова, своей заслугой перед официальными кругами выставлял тот факт, что он делает все, чтобы «уронить литературное значение» романа Крестовского,[56] — ситуация парадоксальная, но весьма показательная для тогдашней борьбы вокруг «Петербургских трущоб». Логика этой борьбы, интересы общественных группировок подчас заслоняли собою объективную историческую истину. Разобраться в перипетиях тогдашних событий, в их подоплеке значит во многом уяснить ту почву, на которой пышно расцвела легенда о «цинизме» романа и его автора.

Решающую роль в той напряженной и сложной ситуации сыграло то, как повел себя Крестовский, на чью сторону встал во время резко обострившейся после 1861 года дифференциации общественных сил. Многих недавних глашатаев прогресса отрезвило подавление крестьянских и студенческих волнений, наступление правительства на демократическую журналистику (закрытие на восемь месяцев «Современника» и «Русского слова»). Подавленность и растерянность Крестовского отражает автобиографический герой его очерка «Два вечера на даче» (1862), поначалу не пропущенного цензурой.[57] Ему нечего возразить своему старорежимному дядюшке, злорадно торжествующему по поводу закрытия «вредных» журналов и послепожарного «прояснения» в обществе, нечем ободрить и поддержать кузину, свою единомышленницу. «„Вот куда идет дело!.. — подумал с горечью и грустью молодой человек. — Видно, все мы бессильны..." И подойдя к кузине, он молча и крепко пожал ее руку».

Бойцовским характером, твердостью убеждений Крестовский не отличался и прежде, в пору наивысшей своей левизны (1860—1861). Пожалуй, само время (если только не мода) сделало его воинственным, «ультра-радикальным»[58] стихотворцем, да еще воодушевление, горячая поддержка молодых слушателей и читателей.

Ограниченный, неглубокий смысл этой охватившей тогда многих горячки гласности лишь позднее открылся отрезвевшему современнику и участнику: «Стоило произвести правительству следствие, уволить какого-нибудь пристава или разрешить курить на улицах, и общество ликовало, вполне удовлетворенное».[59] Крестовский и был выразителем, вполне адекватным, этой неглубокой, но шумной «либерализации». Он был достаточно искренним и честным ее выразителем, но за всем этим, может быть незаметно для него самого, проглядывало и нечто иное, искажающее чистоту и цельность мотивов.

Сошлемся на свидетельства хорошо знавших его тогда современников.

«Он отталкивал от себя своею заносчивостью, задиранием головы кверху на том основании, что он уже печатался и на его стихотворения успели обратить внимание. Вместе с тем, он поражал крайней поверхностностью и легкомыслием, с какими судил обо всем».[60]

lib.pushkinskijdom.ru

По свидетельству другого мемуариста, Крестовский еще с университета был, «можно сказать, другом Писарева», который «с ним нянчился», хотя самому Крестовскому, как оказалось, «было не до нравственного самосовершенствования», сам он, влекомый богемным образом жизни, «жаждал милостей Мамоны: денег и денег!».[61]

Третий мемуарист считал, что свойственное Крестовскому «легкомыслие... превратило его из либерала в ярого консерватора».[62]

Многие из современников Крестовского (Скабичевский, Лесков, Благосветлов) считали, что его разрыв с радикальным лагерем объясняется личной обидой на резкую критику его стихов (см. об этом выше). В этом есть, как нам представляется, значительная доля истины, позволяющая понять процесс идейного самоопределения писателя. Следует при этом уяснить, почему «Искра» и «Русское слово» так внезапно, на первый взгляд, обрушились на недавнего своего сотрудника.

Первым толчком к размежеванию послужил, вероятно, так называемый «безрыловский инцидент». Не только для Крестовского, но и вообще для русской журналистики он сыграл роль первого звонка. Фельетон Никиты Безрылова — А. Ф. Писемского (Библиотека для чтения. 1861. № 12) был, объективно говоря, выступлением против крайностей, «нигилистических» тенденций в русском общественном движении, но при этом и сам содержал полемические перехлесты, нигилизм с обратным знаком. Последовал ответный удар «Искры» (1862. 2 февр. № 5), не менее хлесткий и бесцеремонный. Литературные «нравы» портились на глазах, и готовившийся протест группы литераторов в защиту Писемского (его кроме Крестовского подписали А. Майков, А. Краевский, А. Потехин, С. Максимов, П. Анненков, А. Дружинин, И. Гончаров, Г. Благосветлов, Д. Писарев...)[63] был, в сущности, направлен против наметившейся в «искровской» реплике тенденции «наших бьют!», т. е. против узкой партийности, групповщины.

Поддержав Писемского, Крестовский на короткое время сблизился с ним. В октябре 1862 года в фельетонной рубрике «Где что делается», которую он вел в журнале «Модный магазин» (1862. № 20. С. 458), он рекламирует будущий роман Писемского «Взбаламученное море», коротко говорит о его содержании («...Это будет вернейший портрет нашей современной жизни») со ссылкой на автора. Влияние Писемского позднее проявится в первом антинигилистическом романе самого Крестовского «Панургово стадо».

После «безрыловского инцидента» начинается вышучивание эротической лирики Крестовского в «Искре» (см., например: 1862. № 10, 13, 15, 37, 46 и др.), довольно злое и едкое по сравнению с былыми дружескими пародиями Н. Л. Ломана. Настоящую литературную войну повел против Крестовского Д. Минаев в редактируемом им «Гудке» (1862. № 3, 7, 8, 11, 13; с № 14 Минаев оставил журнал), в «Искре» и в «Дневнике темного человека» в начавшемся вновь издаваться с 1863 года «Русском слове». Не только, да, может быть, и не столько идейные разногласия привели к этому литературному «побоищу» (Крестовский даже вызвал Минаева на дуэль, но тот отмахнулся ядовитой эпиграммой),[64] сколько столкновение авторских самолюбий, соперничество, природа которого проявилась в «кухонном» уровне объявленной войны.

В 1862 году до закрытия журнала Крестовский еще активно печатался в «Русском слове». Разрыв наступил, вероятно, лишь после разгромной статьи Минаева в январском номере 1863 года. Этот год стал для Крестовского переломным. В первые месяцы его он еще выступал на литературных вечерах с чтением самых «левых» своих стихов, ставших песнями, популярными в революционной среде («Стон земли», «Полоса», «Сан-Яго»).[65] Один из слушателей чтений 10 апреля 1863 года в зале Благородного собрания свидетельствовал, что наиболее шумный успех выпал на долю В. Курочкина и Крестовского (а участвовали и Помяловский, и Достоевский, и Полонский, и Благовещенский...). «Потчеванье публики мнимо-либеральными тартинками, — предупреждал анонимный автор «Записки для памяти», посланной учредителям вечера, Литературному фонду, — вряд ли может пройти безвредно и во всяком случае поддерживает искусственное волнение умов».[66]

Продолжая еще как бы по инерции получать дивиденды с уже поблекшей популярно-

lib.pushkinskijdom.ru

сти, Крестовский, однако, уже в феврале 1863 года, т. е. сразу после выступления «Русского слова», заявил, что он излечился от недавних своих «теоретических» увлечений и вернулся к «непосредственной жизни».[67] Заявив о своем «прозрении», он вступил вскоре в должность фельетониста «Якоря», возглавленного Ап. Григорьевым (начиналась новая, «григорьевская» полоса жизни). Основываясь на многих приведенных в них подробностях биографического характера, можно с уверенностью атрибутировать фельетоны «Заметки постороннего» именно Вс. Крестовскому (Якорь. 1863. 13 июля. № 19; 10 авг. № 23). Это первые известные нам антинигилистические выступления Крестовского против «Современника» и «Русского слова». Со знанием дела фельетонист «Якоря», недавно еще сам бывший представителем «ситниковщины», с энтузиазмом неофита обрушился на современных ситниковых и кукшиных. Подробно и язвительно рассказывается о попытке создать в Петербурге коммуну наподобие описанной в романе «Что делать?». Достается и самому автору романа за «неосновательность теории», но более всего — некоему приятелю, «пустозвону», организатору коммуны и проповеднику свободной любви. Перед нами — первый абрис позднейшего «Панургова стада», где в романтических картинах читатели без труда узнают злую пародию на Знаменскую коммуну В. А. Слепцова. В своем романе Крестовский последует, вплоть до копирования отдельных образов, за Лесковым и его «Некуда» (начнется недолгая «лесковская» полоса), однако приоритет в нападении на коммуну, очевидно, все же принадлежит Крестовскому (тогда, в «Якоре», он, вероятно, сблизился и с самим Лесковым, также одним из авторов журнала).

Одновременно сотрудничая в сатирических журнальчиках «Заноза» и «Оса»,[68] Крестовский помещает там стихи и карикатуры против недавних своих единомышленников Г. Благосветлова, В. Зайцева, В. Курочкина, правда, в основном, анонимные.[69] С открытым забралом Крестовский выступит лишь в стихотворении «Нет, не в пылу пожаров мир и счастье»,[70] отражавшем позицию почвенников в польском вопросе. События польского восстания 1863 года способствовали окончательной идеологической переориентации Крестовского.

Отметим, однако, что, несмотря на эти очевидные факты, издатель «Русского слова» Г. Е. Благосветлов даже и в 1865 году не терял надежды на возвращение в журнал Крестовского, теперь уже автора знаменитых «Петербургских трущоб», по поводу которых Благосветлов публично не согласился с В. Зайцевым, назвавшим роман «сыщиковским и обличительно-циничным».[71] Возможно, что в этих надеждах Благосветлова, опытного журнального деятеля, не последнюю роль сыграл шумный читательский успех романа, поднявший акции хиреющих «Отечественных записок».

В 1867 году, предлагая себя в сотрудники Каткову, Крестовский напомнит будущему своему шефу об этих журнальных баталиях как о своей большой заслуге и на том основании даже попытается выдать себя, вопреки очевидности, за ветерана катковской партии: «Что касается до моего литературного направления, то полагаю и Вы знаете, что я постоянно в течение всей моей литературной деятельности служил мишенью руготни и самых неблагопристойных выходок со стороны людей того направления, которое Вам враждебно».[72] Вот так вот — как будто и не было стихов «под Некрасова», антимонархических стихов, гимна декабристам и Герцену («Памяти пятерых»)... Такая чересчур явная, по-хлестаковски легкомысленная ложь, вероятно, смутила даже видавшего виды Каткова. В сотрудничестве Крестовскому было отказано (как оказалось потом, лишь временно), что поставило его, литературного пролетария, отныне лишенного «своего» журнала (с 1868 года «Отечественные записки» перешли в руки некрасовской редакции), а значит, и надежды на гарантированный заработок, в сложное положение между двух лагерей. Эта ситуация, как нам представляется, несколько проясняет последовавший вскоре и всех удививший поступок Крестовского — вступление в юнкеры.[73]

Старые дрожжи иногда давали себя знать совершенно неожиданно. Новый его роман, политическая хроника России 1861—1863 годов, где в целом Крестовский следовал за общественной концепцией М. Н. Каткова (русское революционное движение — явление беспочвенное, следствие «польской интриги»), «Две силы» (так поначалу

lib.pushkinskijdom.ru

называлось «Панургово стадо»), уже объявленный на 1868 год журналом «Литературная библиотека», был запрещен цензурой за объективированное изображение расстрела крестьян в с. Бездна (в романе — село Высокие Снежки) и при этом «представление в отвратительном виде дворянского общества»,[74] его бездушия и паразитизма.

Крестовского, очевидно, еще по инерции воспринимали в неповоротливом цензурном ведомстве как «красного». Присматривался и не спешил Катков. Надо было еще заработать себе новое, свободное от ассоциаций с прошлым, имя.[75] Юнкерство Крестовского было его крестной купелью. Только после нее оказались возможными и публикация романа, и сотрудничество у Каткова, и повышения по службе, и, наконец, высочайшее монаршее покровительство...

Однако остановимся: утверждая удачливость Крестовского-консерватора, купленную ценою отречения от прежних идеалов, мы попадаем в плен новой легенды, созданной идейными противниками писателя. Не все так просто было в поздней его судьбе. Буквально преследуемый по пятам общественным мнением, своеобразным либеральным террором, он, не обладая сильным нравственным началом, не один раз оступался и совершал поступки, не красящие русского писателя. Пережил он и оскудение своего литературного таланта (не слишком большого, но все-таки...): творчество мстило больнее, чем внешние враги. Рамки статьи не позволяют нам остановиться на перипетиях судьбы позднего Крестовского, этой весьма характерной и показательной для эпохи драмы охранительного писателя.

Известны две фотографии Крестовского, поразительно отличающиеся друг от друга, как будто изображены два разных человека. Один — молодой, чувственный, подвижный, несколько театрально красующийся собою. Другой — брезгливо-равнодушный и как-то опустившийся, здесь представительствуют ордена и полковничьи эполеты, все живое будто стерто с этого лица. Мемуаристы, встречавшие Крестовского в его поздние годы, составили его портрет: «...высокий, плотно сложенный брюнет... с маленькими глазками, смотревшими как-то устало... это был очень веселый человек, но особенной живости не обнаруживал, так что можно было думать, что эта его веселость больше напускная; даже скорее он был неподвижен».[76] «Подергивая лицом и плечами, изредка раздражался он нападками на все современное, восхвалял прежние времена и призывал на помощь грозную тень Николая I».[77]

* * *

Реальная судьба Всеволода Крестовского намного сложнее и драматичнее тех легенд, что окружают по сей день его имя. Для историка литературы важно проникнуть в подлинное содержание этой судьбы, ее скрытые мотивы, но не менее важно, полагаем, понять механизм зарождения и функционирования в литературе подобного рода легенд и мифов.

---

[1] Дата рождения (иногда называется 1840 год) уточнена по документам: ЦГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 8802. Л. 29.

[2] Могу назвать за последние пятьдесят лет лишь одного «крестовсковеда» — Г. Н. Кудрявцеву, защитившую кандидатскую диссертацию по «Петербургским трущобам» в 1977 году.

[3] *Писарев Д. И.* Соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 338—339.

[4] Для «Словаря русских писателей XIX века».

[5] Русское слово. 1861. № 3, отд. II. С. 71—72.

[6] *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1950. Т. 7. С. 951. (Современник. 1861. № 1).

[7] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1966. Т. 5. С. 327.

[8] Русское слово. 1863. № 1, отд. II. С. 46.

[9] *Григорьев А. А.* Материалы для биографии. Пг., 1917. С. 272.

[10] Русское слово. 1861. № 3, отд. II. С. 73—74.

lib.pushkinskijdom.ru

[11] *Быков П. В.* Фигуры литературной колоды. Странички из дневника воспоминаний // Новая жизнь. 1914. Февраль. С. 111.

[12] В—д К—й. Жизнь Ваньки Каина, им самим рассказанная. Новое издание Григория Книжника. СПб., 1859 // Русское слово. 1861. № 5, отд. 2. С. 65.

[13] Голос. 1863. 25 янв. № 22. С. 85.

[14] *Григорьев А.* Литературная критика. М., 1967. С. 410.

[15] Якорь. 1863. 11 мая. № 10. С. 184.

[16] См.: Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке. СПб., 1907. С. 127.

[17] *Фирсов Н. Н.* В редакции журнала «Русское слово» // Исторический вестник. 1914. № 5. С. 494.

[18] *Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М.; Л., 1928. С. 111.

[19] *Огарев Н. П.* Избр. произв.: В 2 т. М., 1956. Т. 2. С. 475—476.

[20] Там же. С. 476.

[21] Оса. 1864. 25 янв. № 4. С. 31.

[22] Что эти обвинения в адрес «нигилистов» не были сплошной клеветой и имели серьезное основание, свидетельствуют позднейшие мемуары самих «нигилистов». См., например: Одна из многих. Из записок нигилистки. СПб., 1881.

[23] ЦГАОР. Ф. 109. Секретный архив. Оп. I. Д. 1992. Л. 8.

[24] См. в кн.: *Помяловский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1935. Т. 2. С. 336—341.

[25] *Орлов М. М.* Язык Н. Г. Помяловского. Ростов-на-Дону, 1959, ч. II. С. 248.

[26] *Ямпольский И. Г.* Помяловский. Личность и творчество. М.; Л., 1968. С. 223.

[27] *Орлов М. М.* Разыскания в области словарного состава сочинений Н. Г. Помяловского. Автореф. докт. дисс. Л., 1974. С. 5—6.

[28] См.: наиболее авторитетные свидетельства С. Шубинского, М. Шевлякова и Ф. Берга, В. Азанчевского (Новое время. 1895. № 6802, 6803, 6826), Н. Лескова, М. Микешина (Петербургская газета. 1895. № 38, 40).

[29] Новое время. 1914. 18 мая. № 13714. См. также материалы третейского суда в личных фондах В. В. Крестовского и А. Ф. Кони в рукописном отделе Пушкинского Дома. Там же хранится записная книжка Крестовского, содержащая подготовительные материалы к «Петербургским трущобам» — достаточно весомый аргумент в пользу его авторства. Вероятность их фальсификации (если уж допустить такой «детективный» сюжет) чрезвычайно ничтожна.

[30] Один из шестидесятников, автор достоверных мемуаров «В редакции журнала „Русское слово“» Н. Н. Фирсов опровергал эту легенду (Исторический вестник. 1914. № 5. С. 496).

[31] Русское слово. 1863. № 1, отд. II. С. 52.

[32] Там же. № 3, отд. III. С. 24.

[33] ЦГИА. Ф. 777. Оп. 26. Ед. хр. 88.

[34] На подобного же рода факт указано было в решении третейского суда 1914 года: Измайлов полагал, что рассказ Фомушки о старце и враче не мог быть написан Крестовским и принадлежит Помяловскому, знатоку церковнославянской речи, между тем весь этот рассказ входил в раннюю повесть Крестовского «Не первый и не последний» (1861). См.: ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 4. № 669. Л. 5.

[35] В кн.: *Мартьянов П. К.* Дела и люди века. Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. СПб., 1896. Т. 3.

[36] Нет дыма без огня. До родственников Помяловского, выдвинувших эту версию, возможно, дошли сведения о том, что Крестовский купил за гроши какую-то рукопись и использовал ее в романе. Такой факт действительно имел место, и Крестовский в своем романе назвал эту рукопись: «Дом позора. Панорама без картин и стекол. Тайные записки арестанта. Соч. Г. Сущовского. Тюремный замок. 1863. СПб.» (*Крестовский В. В.* Петербургские трущобы: В 3 т. М.; Л., 1935. Т. 1. С. 730). Крестовский процитировал несколько раз этот сборник, как бы теперь сказали, блатной поэзии. Ныне рукопись хранится: ЦГАОР. Ф. 95. Оп. 2. Д. 231.

[37] *Помяловский Н. Г.* Соч. Л., 1980. С. 156.

[38] Не исключена и обратная версия — что Помяловский позаимствовал это имя у Крестовского. Так или иначе, но этот эпизод с «общими именами» проливает косвенный свет на столь смутившее сторонников легенды совпадение имени Чуха в романе Крестовского и в не дошедшей до нас главе «Брата и сестры» (см. выше). Данный прецедент указывает, что в глазах Помяловского подобного рода заимствование было вполне нормальным.

[39] Русский мир. 1861. № 30. С. 542.

[40] *Помяловский Н. Г.* Соч. С. 495. Ср.: *Крестовский В. В.* Петербургские трущобы: В 3 т. Т. 1. С. 13.

[41] Цит. по: *Ямпольский И. Г.* Помяловский. Личность и творчество. С. 142.

[42] В какой-то мере замысел этот осуществили А. Левитов и М. Воронов в книге «Московские норы и трущобы» (СПб., 1866), опередив Крестовского.

[43] См. об этом в письме Крестовского к А. В. Жиркевичу от 25 февраля 1892 года (Исторический вестник. 1895. № 3. С. 880).

[44] Киевская мысль. 1914. № 164.

[45] Подробнее об этом см. в нашей статье «Достоевский и Вс. Крестовский» в сборнике «Достоевский. Материалы и исследования. 9» (в печати).

[46] См. его автобиографический «этюд» «Любовь в двух часах» (Модный магазин. 1863. № 4).

[47] Последующие романы Крестовского утрачивают следы воздействия Помяловского, что послужило Измайлову для «филологического» обоснования легенды.

[48] «Оба эти лица, — писал о «Брате и сестре» Н. А. Благовещенский в 1864 году в «Современнике», — служили нитями, связывающими длинный ряд отдельных типов и сцен, начиная с салонов аристократии и кончая развратными притонами Сенной» (*Помяловский Н. Г.* Соч. С. 495). Сказано как будто о «Петербургских трущобах», хотя задолго до начала их печатания.

lib.pushkinskijdom.ru

[49] Если, разумеется, не принимать в учет обстоятельств чисто внешнего характера, в частности «партийных» интересов (задача дискредитации писателя, закончившего жизнь в лагере крайне консервативном).

[50] Чему есть множество мемуарных свидетельств. См., например: *Посадский Я.* Из местных литературных воспоминаний. Приезд в Казань Вс. Крестовского // Литературный сборник. Казань, 1898.

[51] Два романиста (Лесков и Крестовский) // Всемирный труд. 1867. № 12.

[52] К ней присоединилась и почвенническая в лице Д. Аверкиева (Эпоха. 1865. № 2), о сложных мотивах которой см. в указанной выше нашей статье «Достоевский и Вс. Крестовский».

[53] Письмо М. О. Меньшикову 27 мая 1893 года // ИРЛИ. 22574. Л. 1, об.

[54] ЦГИА. Ф. 776. Оп. 2. Ед. хр. 1 (1865). Л. 277, об.

[55] Там же. Ф. 777. Оп. 2. Ед. хр. 23 (1865). Л. 36, об. — 37.

[56] Там же. Ф. 776. Оп. 3. Ед. хр. 112. Л. 20—21; Оп. 2. Ед. хр. 4 (1867). Л. 68.

[57] Корректура очерка, предназначавшегося для сатирического журнала «Гудок», сохранилась в цензурном архиве: Там же. Ф. 777. Оп. 26 (1862). Д. 5. Напечатан в «Занозе» (1864. № 20—21).

[58] *Скабичевский А. М.* Указ. соч. С. 93.

[59] Там же. С. 100.

[60] Там же. С. 93.

[61] *Фирсов Н. Н.* Ук. соч. С. 494—495.

[62] *Быков П. В.* Силуэты далекого прошлого. М.; Л., 1930. С. 27.

[63] См.: Русский мир. 1862. 17 марта. № 11. С. 255.

[64] Рифмачу-дуэлисту // Гудок. 1862. № 7. С. 55. Ср. также: Погудки // Там же. № 11. С. 86.

[65] См.: Голос. 1863. 16 янв. № 14 (о вечере, назначенном на 20 января); *Гроссман Л.* Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.; Л., 1935. С. 122 (вечер 6 марта).

[66] ГПБ. Ф. 438. № 12. Л. 195, об. — 196.

[67] *Крестовский Всеволод.* Любовь в двух часах (Психологический этюд) // Модный магазин. 1863. № 4. С. 46.

[68] См.: *Ямпольский И. Г.* Сатирические и юмористические журналы 1860-х годов. Л., 1973. С. 67, 73, 82—83.

[69] В одном из таких стихотворений, «Бес нашего времени» (Оса. 1863. 30 ноября. № 31) Крестовский находит прозвище Благосветлову — «практик нигилизма Благоприобретов», под которым тот и войдет позднее в роман «Панургово стадо».

[70] Заноза. 1863. 11 авг. № 30.

[71] Русское слово. 1865. № 7, отд. II. С. 68—69. Ср.: *Крестовский В.* Письмо в редакцию // Отечественные записки. 1865. Окт., кн. 2; *Благосветлов Гр.* Ответ разогорченному г. Вс. Крестовскому // Русское слово. 1865. № 9. К слову сказать, в «Панурговом стаде» Благосветлов (Благоприобретов) нарисован с некоторой долей симпатии к его честному, хотя и фанатическому практицизму, энергии, что противоречит легенде о Благосветлове, распространенной в русской печати.

[72] ГБЛ. Ф. 120. Ед. хр. 23. Л. 200—200, об.

[73] Были причины и иного свойства — назревший семейный конфликт, позднее приведший к публичному скандалу, немало опорочившему репутацию Крестовского.

[74] ЦГИА. Ф. 777. Оп. 2. № 92 (1866). Л. 10.

[75] Отчаяние Крестовского накануне его юнкерства рисует в своих воспоминаниях С. С. Окрейц. Крестовский признавался ему, что «не любит литературы» и пишет, потому что «нужда заставляет». «И вообще ремесло литература скверное... романы — это лганье... я думаю заняться чем-нибудь более серьезным» (Исторический вестник. 1907. № 5. С. 415).

[76] *Якимов В.* В. В. Крестовский в Нахичевани // Исторический вестник. 1902. № 3. С. 952.

[77] *Опочинин Е. Н.* Воспоминания о Всеволоде Крестовском // ЦГАЛИ. Ф. 361. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 69.

lib.pushkinskijdom.ru

В. А. МЫСЛЯКОВ

ЩЕДРИН И МИХАЙЛОВСКИЙ: ПРОБЛЕМА «ГЕРОЕВ» И «ТОЛПЫ»

К выводу, что в России «нет общества, а есть только народонаселение», могли «увлекать» не те лишь причины, на которые указывал в «Фонвизине» П. А. Вяземский.

Вывод этот, иначе акцентированный, обращенный к неблагополучию именно в общественном, а не литературном развитии, пришелся впору не одному периоду, не одной «эпохе» отечественной истории. По крайней мере, в век Щедрина и Михайловского он во многом сохранял свой горький, говоря радищевским языком, «уязвляющий» душу смысл. Передовым современникам страстно желалось видеть осознанно и активно действующий на поприще социальной истории *народ*, а на практике приходилось наблюдать неорганизованную, бессознательно повинующуюся воле единиц *толпу*.

Погруженные в мир социологических интересов, напряженно искавшие ответы на вопросы «что делать?», «как делать?» и «кому делать?», Щедрин и Михайловский вполне закономерно подошли — каждый по-своему — к проблеме отдельно взятого человека и массы в качестве участников общественно-исторического процесса.

Попробуем определить опорные моменты этих подходов, а также возможность их соотнесения между собой как составных частей общих мировоззренческих систем двух ведущих деятелей русской крестьянской демократии.

* * *

За последние полвека на долю Михайловского выпало немало упреков, проистекавших от нарочитой схематизации, спрямления его позиций, а иногда и от элементарной неосведомленности в том, что он писал. Среди этих упреков стало поистине сакраментальным порицание публициста за культ «героя» и умаление «роли народа» в историческом процессе. Умозрительность такой критики, отталкивающейся, по-видимому, исключительно от «подозрительной» терминологии («герои»—«толпа») и «известного» *субъективизма* народнического мыслителя, становится очевидной при сколько-нибудь внимательном и беспристрастном чтении его статей. И термины, надо признать, употребляются Михайловским в специальном значении, и проблема развернута в особую сторону... Вначале о терминах. «*Героем* мы будем называть человека, увлекающего своим примером массу на хорошее или дурное, благороднейшее или подлейшее, разумное или бессмысленное дело. *Толпой* будем называть массу, способную увлекаться примером, опять-таки высоко-благородным или низким, или нравственно-безразличным. Не в похвалу, значит, и не в поругание выбраны термины „герой“ и „толпа“».[1] А теперь о «стороне», аспекте. «...Читатель не найдет у нас так называемого культа героев, но не найдет он и отрицательного отношения к героям в смысле великих людей. Без сомнения, великие люди не с неба сваливаются на землю, а из земли растут к небесам. Их создает та же среда, которая выдвигает и толпу, только концентрируя и воплощая в них разрозненно бродящие в толпе силы, чувства, инстинкты, мысли, желания» (2, 97). Уже из этих высказываний видно, что у Михайловского иная, чем, положим, у Т. Карлейля или его оппонентов, задача. В чем же она состоит? В изучении механизма связей между ведущим и ведомыми. Разумеется, говорит Михайловский, «героя» можно изучать с точки зрения общих исторических законов, «орудием» которых, по распространенному мнению, он

© Мысляков В. А., 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

является. Но помимо этих общих законов есть еще и «частные», определяющие его отношения с «толпой». Они-то, по признанию публициста, и составляют первоочередной интерес для него, готового видеть «героя» и в поистине великом историческом деятеле, многие века влияющем на массы своими идеями, и в случайной личности, увлекающей «толпу» на минутный порыв; и в коронованной особе (Бланка Кастильская, личным примером побудившая свиту разбить тюремные двери), и в дворовом человеке (Василий Андреев, жестокой выходкой подтолкнувший толпу на расправу с архиереем Амвросием). Итак, «механика массового увлечения под влиянием одиночной воли» (2, 99) — вот объект основного внимания Михайловского, намеренно отвлекающегося не только от масштаба личности «героя», но и от мотивов «геройства» (чувство долга, жажда добра и правды, глубокая ненависть, горячая любовь и т. д.). В то же время, выдвигая в центр изучения «взаимные отношения двух факторов: героя и толпы», публицист высказывает намерение «определить условия их возникновения, будут ли эти условия заключаться в характере данного исторического момента, данного общественного строя, личных свойств героя, психического настроения массы или каких иных элементов» (2, 103—104).

Одной из заметных пружин в изучаемой «механике» отношений, по мысли Михайловского, являются *пример* и *подражание*. В качестве иллюстраций этого положения он ссылается на факты «обезьянничанья» в житейском поведении людей, на известные случаи эпидемий самоубийства и других массовых психозов (самобичевание, участие в коллективных расправах, погромах и т. д.). Даже в крестовых походах, где несомненно сказалось действие общей идеи, было бы ошибкой, говорит Михайловский, не различать фактор подражания.

Непреодолимая сила подражания резко проступает в ряде патологических случаев, исключающих присутствие идейных причин и осознанных целей. Один из них — болезнь, заключающаяся «в подражательных и отчасти конвульсивных действиях и движениях, которые больные производят без всякого сознания, копируя действия и движения других» (2, 136). Таково, по словам публициста, встречающееся в Якутии «омеряченье» — точное, автоматическое повторение группой людей того, что было сказано или сделано перед ними кем-то. Иногда оно предстает в форме беспрекословного повиновения любому, даже самому унизительному, позорному приказанию.

Констатируя близкое родство подражания и покорности, определяя далее толпу как «податливую массу» (2, 146), Михайловский естественно задается вопросом о причинах подражательности. Его вывод, полемически отталкивающийся от положений целого ряда ученых, главным образом западноевропейских (А. Смит, Г. Спенсер, А. Уоллес, Г. Тард, С. Сигеле и др.), акцентирует момент подавленности сознания и воли человека. Правда, оговаривается Михайловский, означенная подавленность не всегда выражается через подражание; есть и другие формы ее проявления. Подражательность — это специфический случай омрачения сознания и воли, обусловленный особыми обстоятельствами. В них и содержится, по мнению Михайловского, ключ к подражательным явлениям.

В понятие обстоятельств Михайловский включает не только конкретику социально-экономических условий (обстоятельства «внешние»), но и особенности душевного состояния человека (обстоятельства «внутренние»). Даже у животных, говорит публицист, психический фактор, вероятно, играет существенную роль в подражательных явлениях, таких, например, как «мимичность», «мимикрия». Одной Дарвиновой теорией приспособления здесь далеко не все можно объяснить. Особенно же значительна роль психологических, «душевных» моментов во всевозможных подражательных акциях людей. Михайловский приводит большое количество примеров, в которых поразительные эффекты подражания достигаются именно напряжением нервно-психических сил человека. Один из этих примеров — «страсти господни», переживавшиеся по пятницам бельгийской девушкой Луизой Лато и сопровождавшиеся появлением у нее кровоточащих язв (стигматов), наподобие крестных ран Христа.

Внимание к «внутренним» обстоятельствам приводит Михайловского к явлению гипноза, в котором, по его мнению, и надлежит искать «секреты» подражания. Проблему

lib.pushkinskijdom.ru

подражающей «толпы» невозможно решить, настаивает он, ни с помощью Дарвинова принципа приспособления, применяемого Ф. Гальтоном в его концепции стадных инстинктов, ни с помощью теории единства сил, используемой Ж. Рамбоссоном в его концепции переходов психического движения в физиологическое, а затем в физическое и в обратном порядке, ни с помощью психиатро-зоологической теории Ц. Ломброзо, по которой ординарную массу может увлечь только энергия *ненормального* человека, психиатрического субъекта — «маттоида». Путь к решению задачи открывает уяснение гипнотизма, сущность которого состоит в отключении (или предельной локализации) сознания гипнотика, благодаря чему он делается «игрушкой» в руках гипнотизера, бессознательно повторяющей слова и жесты последнего, а также слепо выполняющей все его команды и приказы. Достигаются же означенные локализация и отключение посредством однообразных и постоянных воздействий на органы чувств, нервную систему гипнотика. В итоге подавляется деятельность высших мыслительных центров, индивид психологически распадается, децентрализуется (т. е. его действия освобождаются от контроля центрального сознания, будучи связаны лишь с низшими нервными центрами), лишается самоуправления и легко поддается всякому чужому управлению. «Вульгарно выражаясь, можно сказать, что гипнотик, поставленный экспериментатором в условия крайне скудных и однообразных впечатлений, начинает жить однообразною жизнью и, очень быстро исчерпав самого себя, превращается в выеденное яйцо, которое собственного содержания не имеет, а наполняется тем, что случайно вольется в него со стороны» (2, 159).

Этот вывод имеет у Михайловского характер обобщения: им обнимаются самые различные случаи (взятые не только из жизни людей, но и животных) подражания. Механизм один и тот же: самостоятельная жизнь индивида поедается скудостью и однообразием впечатлений. Он, механизм, хорошо различим в явлениях и омерзенья, и стигматизации, и экстаза. Для экстатика, в частности, характерно то, что Д. Брэд называет моноидеизмом: поглощенность внимания каким-то одним предметом, образом, идеей. Все остальное для него как бы не существует; исчезает, как при гипнозе, даже чувствительность, ощущение боли например.

Итак, резюмирует Михайловский, «для вызова и обнаружения склонности к подражанию, а следовательно, и для образования того, что мы называем толпой, нужно, по-видимому, одно из двух: или впечатление, столь сильное, чтобы оно временно задавило все другие впечатления, или постоянная, хроническая скудость впечатлений» (2, 161).

Таков в общих чертах отвлеченно-теоретический план проблемы «героев» и «толпы», развернутый, как нетрудно заметить, в сторону естествознания. Переживший в эпоху «шестидесятых годов», подобно многим передовым соотечественникам, увлечение естественными дисциплинами, Михайловский до конца дней будет отталкиваться в своих социально-публицистических построениях от данных этих наук, в особенности биологии. Ч. Дарвин, Э. Геккель, К. Бэр и многие-многие другие естествоиспытатели почти постоянно привлекают его внимание. И в рассматриваемом цикле статей о «героях» и «толпе» («Герои и толпа», 1882; «Научные письма», 1884; «Патологическая магия», 1887; «Еще о героях», 1891; «Еще о толпе», 1893) Михайловский не раз обращается к «биологическому» материалу, посвящая читателя в тонкости защитной окраски каких-нибудь Mantidae и Locustidae, каких-нибудь геликонид и лепталисов, широко опираясь на сочинения Уоллеса, Бэтса, Пуше, Гранта Аллена... Кстати, биологической по своим истокам была центральная идея всей социологической системы Михайловского — идея борьбы за индивидуальность, захватывающая в свою орбиту и «нашу» проблему «герой» — «толпа» (см. ниже). В этом нет ничего случайного. Здесь дали себя знать причины не только общие (популярность среди современников эволюционного учения Дарвина), но и частные — дружба с Н. Д. Ножиным, специально занимавшимся биологией и усиленно побуждавшим к этому Михайловского. В значительной степени под прямым влиянием названного «друга-учителя» Михайловский задался целью реформировать социологию с помощью биологии, сблизить эти науки, избегая, однако, их

lib.pushkinskijdom.ru

отождествления. Насколько это удалось Михайловскому — вопрос особый, но субъективно публицист выступал против механических сближений в данной области, против вульгаризаторских аналогий и параллелей (см. его статью «Аналогический метод в общественной науке»). Напомним, что Михайловский горячо поддержал предложенную О. Контом классификацию наук по принципу возрастающей сложности и убывающей общности. Суть этого принципа заключается в том, что каждая, так сказать, вышестоящая наука включает в себя законы нижестоящих, имея, однако, еще и свои, не встречающиеся у предыдущих. «Для последнего члена ряда — социологии обязательны законы всех предыдущих членов ряда, — притом наиболее важны законы ближайшего члена, биологии, а наименее законы отдаленнейшего члена, математики, — но она имеет также свои собственные законы, не имеющие себе никакого подобия в остальных науках» (1, 348).

Нужно сказать, что в изучении вопроса о «героях» и «толпе» Михайловский не ограничился биологическим планом. Он постарался наметить собственно социологические аспекты проблемы, обозначить ее общественный, «практический» интерес.

Михайловский настойчиво обращает наше внимание на то, что в социально-историческом процессе имеют место явления весьма сходные по своей природе с автоматизмом гипнотика. В самой жизни, а точнее, в той или иной ее конкретно-исторической форме могут возникать условия, вызывающие гипнотический эффект монодеизма — автоматическую покорность и подражание. Условия эти, по определению публициста, заключаются «в однообразии впечатлений, скудости жизни, узости интересов, односторонности духовной деятельности. Всякий раз, как обстоятельства места и времени, то есть условия исторические, географические и проч., настраивают общественные отношения в этом направлении, можно ожидать обильного урожая людей с опустошенным сознанием и обессиленной волей» (2, 300—301). А это и есть питательная почва «героя». Была бы «толпа»...

Весьма показателен в этом отношении, на взгляд Михайловского, средневековый период в жизни Европы, буквально изобилующий примерами массового «гипнотизма», эпидемических психозов-подражаний: неистовые пляски, демономания, освобождение гроба господня, самобичевание и т. д. Та или иная странность легко становилась в то время предметом подражания. Авантюрист, чудак, выскочка, больной нередко попадали в «герои». Возле каждого такого «героя» собиралась толпа и, «глядя на него, плясала или молилась, убивала людей или самобичевалась, предавалась посту и всяческому воздержанию или, напротив, крайней разнузданности страстей» (2, 173).

Говоря об узости интересов, скудости жизни масс в средние века, господстве принципа авторитарности как непосредственных причинах эпидемической подражательности, Михайловский стремится указать и на первопричину самих этих причин. По мысли публициста, в средневековом обществе с его социально-экономической дифференциацией — взять хотя бы обособленные промышленные союзы: гильдии, цехи, братства подмастерьев, в свою очередь расслаивавшиеся и обособлявшиеся, — утверждается тип *сложной* кооперации. Согласно же «кооперационной» теории Михайловского, входящей центральным пунктом в его учение о прогрессе, чем сложнее форма кооперации, чем глубже социальное (не физиологическое и не техническое!) разделение труда, чем существеннее разнородность общества, тем сильнее обезличивается человек массы, тем больше теряет он свою самостоятельность, превращаясь в своего рода марионетку. «...Подражание, будучи результатом однообразия впечатлений, наилучше питается общественным строем с резко разделенным трудом. В средние века этот эффект был особенно силен, благодаря полному отсутствию в обществе элементов, так или иначе уравновешивающих невыгоды разделения труда» (2, 190).

Дело, однако, не только в общественно-исторических условиях, но и в приобретающей значение самодеятельной силы психологии масс, добавляет Михайловский. Выше уже упоминалось об особом внимании к «внутренним», «душевным» явлениям со стороны публициста при разработке им теории подражания. Михайловский-

lib.pushkinskijdom.ru

социолог продолжает настаивать на большом значении психологического фактора в общественно-историческом процессе.

Так, в средние века, по его мнению, человек массы прочно усвоил себе нравы бездумно-покорного исполнителя чужой воли. Когда Мишле, рассматривавший причины кризиса средних веков, указал на «необеспеченность личности», при которой свободный человек мог оказаться вассалом, вассал — слугой, слуга — рабом, Михайловский нашел необходимым возразить французскому историку, считая, что он механически перенес современную европейскую «жажду личной свободы на средневековые нравы» (2, 183). Средневековый человек, полемизирует публицист, «не только не тяготился зависимостью, а даже, напротив, искал ее» (2, 184). Характерной психологической чертой большинства тогдашних людей была «какая-то странная потребность повиноваться, отдавать свою волю в чужие руки» (Там же). Их поведение было отмечено печатью какого-то «самоподчинения», какой-то «самодовлеющей покорности», проявлявшихся в разнообразных формах: «от высокого самоотвержения до пассивного, почти животного терпения» (2, 185).

Михайловский резко реагировал на попытку отдельных историков замечать только «благородные» из этих форм, выдавать их за признаки «нравственной дисциплины». Не говоря уже о том, протестует он, что помимо «благородных» существовали формы «холопские и даже почти не человеческие, а собачьи», эта «болезненная» потребность повиноваться отдавала толпу во власть случайных «героев», во власть каждого поднявшего палку капрала. При этом, восторженно шествуя сегодня за одним капралом, она назавтра могла свернуть с половины дороги и пойти за новым капралом. И именно вследствие такой необыкновенной податливости «толпы» средневековые «герои», по словам Михайловского, «весьма мало интересны, говоря вообще» (2, 189). В них зачастую отсутствовали качества подлинных вожаков, лидеров, носителей плодотворных идей и программ действия.

Податливость приводила и к другим отрицательным результатам. Случалось, что доведенные до отчаяния сверхмерным гнетом и насилием, обычно покорные массы восставали. Однако бессознательность, привычка раболепствовать оказывали им дурную услугу, обрекая на неуспех. Да, башня средневековой иерархии в конце концов рухнула, но на это ушло столько времени!

Нетрудно заметить, что многое из того, что говорил Михайловский о средневековом социальном механизме, было необычайно актуальным для современной ему русской действительности. Усиливая отечественный аспект этого сюжета, публицист непосредственно обращался к «домашним» явлениям массовой подражательности, в частности к «омеряченью» (см. выше). Последнее также возникает на почве «гипнотического» подавления личности, ее сознания и воли. Условия для этого наличествуют в самой окружающей обстановке: скудость природы, скудость интересов, «скудость жизни вообще» — экономической, общественной, духовной (2, 161).

Перечисляя некоторые подробности монотонно-убогого существования омеряченных, Михайловский заключает: «Сгустите еще немножко краски скудости и однообразия — и вы получите настоящий, только чудовищно-огромный зал, приспособленный для гипнотических опытов» (2, 164). Забегая вперед, заметим, что подобный символический зал уже возникал в творческом воображении автора «Истории одного города»...

Омеряченье в той или иной его форме, и это Михайловский считает важным подчеркнуть, не есть удел лишь обитателей Якутии. Его можно наблюдать, например, и среди петербургских солдат: казарменный режим создает весьма благоприятные условия для того, чтобы человек впадал в гипнотическое состояние, «легко и быстро отдавая свою волю в чужие руки» (2, 164—166).

Обрабатывая сознание и волю людей в направлении автоматического подражания и автоматического повиновения, *казарма* рассчитывает укрепить порядок, поднять дисциплину, привить отвагу. Она забывает о том, предупреждает публицист, что вконец обезличенные, приобретшие марионеточную психологию люди могут с таким же

lib.pushkinskijdom.ru

успехом удариться в другую, противоположную сторону (анархия, массовая паника под воздействием одиночного примера трусости и т. п.).

Именно в силу господства начал бессознательности, стадности, принципа «как все», толпа неустойчива, импульсивна; ей свойственны быстрая смена настроений, шараханье, неожиданные эксцессы в любом направлении. Такой предстает она в реальной жизни, такой запечатлена она и в реалистических художественных созданиях. В этой связи Михайловский указывает на трагедии «Борис Годунов» Пушкина, «Юлий Цезарь», «Кориолан», «Генрих VI» Шекспира, пьесы «Овечий источник» Лопе де Веги и «Жакерия» П. Мериме, роман Л. Толстого «Война и мир» (2, 403 и след.). Между прочим, обращаясь к названным произведениям Пушкина и Шекспира, Михайловский подчеркивает, что необходимо продуманно отнестись к явлению, обозначенному в них словом «народ», что художники представили в данном случае не сколько-нибудь полный анализ позиций собственно демократических низов, а лишь характеристику психологии заметно отвлеченной, социально непроясненной *массы* («толпы») — психологии, весьма сходно проявляющейся в самых различных условиях историко-хронологического, национального и сословного плана. Казалось бы, рассуждает Михайловский, «народ» у Шекспира и Пушкина должен выглядеть очень разно: римляне I и V веков до новой эры, англичане XV века, русские XVI столетия... Да и наблюдения писателей, столь отделенных друг от друга временем и пространством, над своим, современным им народом должны были привести к различным обобщениям. Между тем налицо «поразительное сходство: везде народ оказывается легко возбудимою, быстро меняющею настроение массою, в которой бесследно тонет всякая индивидуальность, которая „любит без толку и ненавидит без причины" и слепо движется в том или другом направлении, данном каким-нибудь, ей самой непонятным толчком» (2, 405—406).

В том, что у этих писателей «масса» переменчива, непоследовательна в своем поведении, нельзя усматривать их злой умысел, их недостаточное расположение к народу. Это не что иное, как следование принципам глубокой психологической правды. Л. Толстого никак не заподозришь в отсутствии народолюбия, замечает Михайловский, но в сцене расправы толпы с Верещагиным или же бунта богучаровских крестьян («Война и мир») поведение массы отмечено той же печатью непоследовательности и нелогичности. И здесь пером писателя водила неоспоримая жизненная правда.

Рассмотрев еще несколько сцен из романа «Война и мир», в частности рисующих приезд Александра I в Москву, и выявив некоторые общие психологические моменты в поведении «толпы» — будь это разночинный люд на улице перед дворцом или же местное дворянство и купечество во дворце — Михайловский дополнил свое определение «толпы» через соотнесение ее с «народом». В отличие от последнего в «толпе» «исчезает» разница общественного и национального положения людей. Весьма распространенный прием — дискредитировать «народ» («низшие слои общества») ссылками на те или иные «преступные» поступки «толпы» — неправомерен. «...Толпа — не народ, а самостоятельное общественно-психологическое явление, подлежащее специальному изучению» (2, 415).

Впрочем, уточняет публицист, и «толпа», как таковая, не всегда «преступна», если не иметь в виду заведомо криминальные группы. Тем же самым психологическим механизмом, которым «толпа» бывает подвинута к неблаговидным выходкам, она может быть подведена и к благородному порыву.

Весь трагизм в том, сокрушается Михайловский, что «толпа» *бессознательна*, что самое прекрасное ее увлечение способно по любой случайности смениться на противоположное. В «толпе» погашена воля индивида, там доминирует стадное чувство, а оно «ничего не гарантирует» (2, 463).

Чтобы массы выполнили свое жизнетворное призвание в социальной истории, необходимо расщепление их на сознательно действующие, самостоятельно мыслящие существа — личности с одновременным сочетанием последних в *общество* на принципах *простой* кооперации, социальной однородности.

lib.pushkinskijdom.ru

Отыскивая законы взаимоотношений среды и индивида, общества и личности, затрагивающие важные пружины жизненного процесса, Михайловский пришел, как известно, к теории борьбы за индивидуальность. Она имеет у публициста всеобъемлющий характер, связуя области органическую и общественную, биологическую и социологическую. Михайловский исходил из того, что индивидуальность (в широком смысле) — это нечто целое, хотя и состоящее из частей, замкнуто единичное (морфологический признак), способное к самостоятельной жизни (физиологический признак). Общетеоретический план концепции публициста основывался на тектологических тезисах известного немецкого биолога Э. Геккеля, в которых было намечено несколько, а именно шесть ступеней индивидуальности (в растительном и животном мире) по принципу возрастающей сложности: от самых простых органических элементов — *пластид* (1-я ступень), следующих за ними *органов* (2-я ступень) и до *личностей-индивидов* (5-я ступень) и *колоний* или *обществ* (6-я ступень) (2, 346—347; см. также: 3, 410—411). Высшие индивидуальности составляются из низших, включая их в себя на правах подчиненных частей. При этом последние претерпевают качественные изменения: сохраняя морфологическую индивидуальность, они утрачивают индивидуальность физиологическую, т. е. делаются исполнителями лишь каких-то отдельных функций и в силу этого могут существовать только в определенной «общественной», «колониальной» комбинации. Подчиняясь закону развития, каждая вышестоящая ступень стремится подчинить себе наибольшее количество нижестоящих ступеней, сделать их максимально зависимыми от целого и через эту централизацию обеспечить собственную независимость (3, 410—411). Этот извечный антагонизм между интересами целого и его частей Михайловский и формулирует как «борьбу за индивидуальность». «Каждое целое тем совершеннее, чем несовершеннее его части, чем они слабее, чем они более подавлены в своем индивидуальном значении, что не мешает им быть весьма совершенными в смысле приспособления к известной специальной функции» (2, 351). Нетрудно заметить, что это высказывание заключает в себе и определенный социологический смысл. Он — в объяснении того, как соотносится «высшая степень» развития разнородного (по принципу *сложной* кооперации) общества и самостоятельность личности. По Михайловскому, это обратно пропорциональные величины.

Переводя разговор в обществоведческое русло, Михайловский лишь до определенного момента выдерживает аналогию с Геккелевыми тезисами. На уровне 5-й ступени — личности он дает делу другой ход.

Целое тем совершеннее, чем специализированнее, функционально дробнее его части. Но в социальной сфере «целое» нечто иное, чем в сфере биологической. Его интересы обычно разделяются на интересы слоев, классов; наблюдается «замечательный процесс сосредоточения коллективных прав в руках немногих» (1, 485) — в руках отдельных лиц или групп.

Разумеется, каждая конкретно-историческая форма стремится выдать себя за идеальную, за наилучшее воплощение принципа общественности, объявляя своих противников врагами самого этого принципа. «Так древний Рим не только истреблял христиан тысячами, но и объявлял их врагами человечества и основных начал всякого общества... На убой идут часто лучшие силы страны, о чем иногда очень скоро приходится пожалеть той самой общественной форме, которая их истребила» (6, 896).

Дисгармоническому общественному «целому» самостоятельная личность не нужна, и естественно, что оно стремится подчинить своим интересам свободного человека, низводя его посредством разделения труда на степень придаточного органа, «пальца от ноги» (3, 422—424).

Но ведь подобное «органическое» общество не единственно возможное. Законна, этически оправданна борьба за другие социальные формы, которые бы не подавляли личность, а возвышали ее, обеспечивали ее право на самоценность. В этом выводе и заключен основной общественно-практический смысл теории «борьбы за индивидуальность», включающей в себя субъективно-творческое начало, определяющей нормы

lib.pushkinskijdom.ru

социально-нравственного поведения индивида. Михайловский провозглашает право и даже долг человека воспротивиться естественному в биологии ходу борьбы индивидуальностей, поставить свое «нет» на том месте этого процесса, где высшая индивидуальность — общественная форма (не должная, а существующая, дисгармоническая) — стремится поглотить личность (3, 423). В силу тех же внутренних законов развития, по которым общество старается «раздробить» последнюю, она борется, обязана бороться за свою самостоятельность, индивидуальность (1, 462).

«Пусть, кто хочет, смотрит на меня как на часть чего-то надо мной стоящего и на меня посягающего, я не перестал видеть в себе полного человека, цельную и нераздельную личность... И только в такое надо мной стоящее целое войду, как часть, сознательно и добровольно, которое гарантирует мне цельность, нераздельность, полноту моей жизни» (3, 336). И далее: «Теория борьбы за индивидуальность истинна, но именно стоя на точке зрения этой борьбы, я и объявляю, что буду бороться с грозящею поглотить меня высшей индивидуальностью. Мне дела нет до ее совершенства, я сам хочу совершенствоваться. Пусть она стремится побороть меня, я буду стремиться побороть ее. Чья возьмет — увидим. И, как приступ к борьбе, я ставлю nicht к теории борьбы за индивидуальность как раз на том месте, где она захватывает меня» (3, 423).

Борьба за индивидуальность обязательна для человеческой личности в двух направлениях, что определяется отведенным ей природой положением (5-я ступень). С одной стороны, личность должна подчинить себе как целому все входящие в ее состав низшие индивидуальности, должна, следуя старому правилу: divide et impera, провести разделение труда между отдельными органами, а с другой — личность должна противостоять стремлению саму ее низвести до составной, специализированной части вышестоящей, общественной индивидуальности — дисгармоничной, несправедливой, но имеющей обыкновение украшать себя «пышными» вывесками защитницы общих интересов. «В самом деле, так ведь легко наговорить хороших слов... Легко даже увлечь кое-кого этими словами и заставить людей жертвовать собою в интересах якобы целого, а в сущности, ничтожнейшей его части» (4, 450).

Как видим, Михайловский освящает борьбу не против *принципа* общественности, а против исторически конкретных, несовершенных *форм* ее. Неверно, стало быть, видеть в Михайловском безоглядного «индивидуалиста», противника социальности. То, что «общественная жизнь расширяет и обогащает наше личное существование», было для Михайловского «несомненным фактом» (1, 462).

Оппоненты Михайловского-«субъективиста» всячески подчеркивали объективный аспект исторического процесса, в частности роль классовой борьбы, возникающей на почве экономических, производственных отношений. Михайловский не отрицал значения социально-экономических, объективно-материальных факторов. Но он считал принципиально важным учет и субъективно-психологического начала в истолковании истории. Для последней имеет смысл не только борьба классов или партий между собой, но и ее преломление во внутреннем мире личности, способной как-то изменить самые обстоятельства этой борьбы. Михайловский твердо стоял на том, что личность не только продукт социальной истории, но и творец ее. Он находил, что для общественной практики очень важно признание большой роли человеческого фактора, признание «возможности влияния личных усилий на ход событий» (3, 434). Конечно, в деятельности Лютера, например, вполне сказалась историческая необходимость; он был созданием своего века, продуктом обстоятельств. Все так, «но дело в том, что если бы сам Лютер не верил, что думает *своею собственною* мыслью и действует по *своему собственному* вкусу, то реформацию поднял бы не он, а кто-нибудь другой» (3, 435). Нельзя застревать на *объяснении* причин хода вещей, должно стремиться самим стать активной причиной его. «Шестидесятники» тем и симпатичны Михайловскому, что они, исследуя причину всего и вся (даже «беспричинной» любви), не довольствовались этим, а энергично вторгались в жизнь. Концепция причинной зависимости не была для них самоцелью; она не исчерпывалась научно-теоретической стороной, а являлась еще и практическим орудием

lib.pushkinskijdom.ru

борьбы с поддерживающими данный строй предрассудками (см. 2, 387—391). Идея законосообразности плодотворна, не уставал повторять Михайловский, но не менее плодотворна и идея *«свободного выбора деятельности»* (1, 777). Без этого процесс превращения «винтика» в личность, народонаселения в общество невозможен.

Связанный с подобными представлениями «личностный» аспект в социологии крайне дорог публицисту. «. . .Все умственные, все психологические процессы совершаются в личности и только в ней; только она ощущает, мыслит, страдает, наслаждается. Это азбучная истина, но вы должны помнить и твердо держаться ее, не презирая ее азбучности, потому что на искалечении ее строится множество политических софизмов. Всякие общественные союзы, какие бы громкие или предвзято симпатичные для вас названия они ни носили, имеют относительную истину. Они должны быть дороги для вас постольку, поскольку они способствуют развитию личности, охраняют ее от страданий, расширяют сферу ее наслаждения» (4, 451).

Этот акцент на личности, упрощенно понятый или же намеренно переиначенный, и породил ходячее мнение о Михайловском как идеологе «героев», «великих личностей», а не масс. Надо признать, что свою роль сыграли здесь полемически заостренные характеристики Г. В. Плеханова, который находил возможным ставить Михайловского в положение прямого ученика Бруно Бауэра с его культом героев „критической мысли", руководимых лишь своим „самосознанием"» (в отличие от гегелевского культа «несвободных» героев как орудий всемирного духа). «Противоположение *„героев массе"* («толпе») перешло от Бруно Бауэра к его русским незаконнорожденным детям, и мы имеем теперь удовольствие созерцать его в статьях г. Михайловского».[2] Как отмечалось выше, у Михайловского рассматривается все же иной аспект проблемы, чурающийся указанного «противоположения». В другом месте Плеханов обвиняет «субъективистов» еще в одном «противоположении» — «деятельности „критически мыслящих личностей" влиянию *законов* общественно-исторического движения».[3] Если говорить о Михайловском, то и здесь заметна утрировка: личность не «противополагалась» законам, а *включалась* в их число. Наконец, Плеханов схематизировал позицию «субъективистов» и тогда, когда говорил о преувеличенной оценке ими роли личности в истории. Что до Михайловского, то он, как явствует из вышеизложенного, рассматривал вопрос не в карлейлевском плане возвеличивания «героя», а в плане необходимости принципиального — не формально-оговорочного — признания самой этой роли, причем вовсе не обязательно личности великой. *Каждый* может и должен стать личностью, и каждая личность может и должна быть в числе творческих сил истории. Это распространяется и на «великих людей», значение которых в той же степени нельзя «превозвышать», в какой неправомерно и «умалять» (2, 97).

Теории «героев» как главных факторов истории, говорит Михайловский, обычно противопоставляется теория «масс», более, впрочем, декларируемая, нежели аргументируемая (2, 383). За этой последней надлежит признать значительные заслуги: она привлекла внимание к «умственному, нравственному, экономическому и т. д. положению народных масс, а равным образом к тем социологическим законам, которые писаны и для великих людей» (2, 385). Но в ней все же остается не выясненным важный пункт, а именно сам «процесс», которым масса выдавливает, выжимает из себя «героев» (Там же). Дело ограничивается обычно указанием на зависимость «героя» от условий времени и среды. Вследствие этого место теории о массах как историческом факторе заступает учение о причинной зависимости человеческих мыслей, чувств и действий. Причем, верное и важное в своих посылках, не дающее человеку романтически заноситься путем постановки его в цепь реальных причин и следствий, оно способно при однобоком развитии сыграть негативную роль: санкционировать ослабление «личной инициативы», понижение чувства ответственности, увлечение фатализмом.

К карлейлевским мыслям о великих людях нельзя подходить сугубо нигилистически. При всей своей односторонности они (мысли) содержат важное дополнение к учению о *причинах* человеческих действий — указание на *цели* (идеалы), к которым сознательно

lib.pushkinskijdom.ru

и неудержимо влечется герой. «Пусть он не более как орудие истории, но история выбрала, однако, в свои орудия именно его из десятков и сотен тысяч. Пусть он орудие, но он орудие чувствующее, мыслящее и, главное, работающее в определенном, сознательно преследуемом направлении. Пусть он, со всеми своими исключительными силами или даже только с исключительной удачей, есть результат известных причин, но, преследуя свою цель, он сам становится активною и сознательною причиной дальнейшего хода событий. Причинная связь явлений несомненна, но в числе причин или других явлений общественной жизни есть и личная энергия, и стойкость, и убеждающая сила мысли, и сила примера, являемого героем. Причинная связь явлений несомненна, но, по ограниченности ума, вялости характера, трусости и т. п., мы можем в тех или других частных случаях ошибаться в расценке вероятных следствий известных причин, ожидая малого там, где возможно большее» (2, 386).

Признание роли человеческого фактора в социальной истории, подчеркивал Михайловский, вовсе не является игнорированием верного положения о ее, истории, закономерности: «...общие законы заведуют порядком исторического движения, личности влияют на его скорость» (6, 102).

Вопрос о роли личности в истории «сопределен» (2, 366), но не тождествен вопросу о «героях» и «толпе». Это заставило нас коснуться некоторых моментов первого из них и в то же время посчитать задачей специального исследования его полный, исчерпывающий разбор.

Подчеркнем, наконец, что «личность» никак не перекрывала интерес Михайловского к «народу», в частности к психологии массовых движений (в русле этого интереса, кстати, и его известные характеристики «вольницы» и «подвижников»). По мнению публициста, личность и народ — понятия взаимосвязанные: личность проявляет себя в *труде* (см. 6, 489—490), совокупность трудящегося люда, трудящихся классов образует *народ* (3, 277). Общая социологическая формула Михайловского триедина: личность — труд — народ.

* * *

Среди ориентиров на пути духовного развития Михайловского Щедрин может быть назван вместе с Герценом и Чернышевским.

Михайловский видел в Щедрине живое связующее звено между первоучителями — деятелями «сороковых» и «шестидесятых» годов — и учениками — «семидесятниками». Он относил писателя к числу «людей-маяков», на «общий строй мыслей» которых можно было «смело положиться как на руководящее начало». Объясняя свой приход в «Отечественные записки» Щедрина, Некрасова и Елисеева, публицист подчеркивал: «Примыкая к ним, вы чувствовали, что вступаете на какую-то, хорошую или худую, — это как кто посмотрит, но во всяком случае прочную, смею сказать, историческую дорогу. Эта дорога, с одной стороны, уходила в даль прошедшего, где была пробита не одним поколением тружеников и страстотерпцев мысли, а с другой — расстилалась в перспективу будущего...»[4]

Михайловскому не могла не импонировать кровная забота Щедрина о социально-историческом прогрессе страны, его большая любовь к народу как воплотителю идеи демократизма, его стойкая вражда к порядку вещей, основанному на оскорбительно четком разделении функций в обществе: управлять и быть управляемыми, иметь, не производя, и производить, не имея. Общим оказывался не только интерес к социологической материи, но и многие подходы, решения, взгляды. Идейное родство, по воле некоторых исследователей превращенное в рознь и «борьбу», было осознано и отмечено обеими сторонами. Сошлемся в данном случае на не допускающее никаких кривотолков свидетельство Щедрина: «Я сам полагаю, что не одна случайность соединила нас с Вами в одном журнале, но и общность воззрений».[5]

lib.pushkinskijdom.ru

Не было, пожалуй, в русской литературе другого писателя, которого бы «стадная» психология неорганизованных, непросвещенных масс задевала за живое в большей степени, чем Щедрина. Никто, кажется, столь отчетливо не ощущал весь трагизм русской жизни, связанный с «бессознательностью» ее «хранителя» — крестьянина, как автор «Писем о провинции» и сказки об одном мужике и двух генералах. Никто, наконец, так последовательно и взволнованно не ратовал за превращение «толпы» в «народ», как создатель «Истории одного города».

С чем связаны тяжкие беды города Глупова? Только ли с тем, что место «героев»-градоначальников занимают недостойные люди, «злецы»? Если да, то почему же тогда у кормила города непременно оказываются они? 22 градоначальника, не считая шести градоначальниц, попеременно «володеют» глуповцами, и все они неизменно творят произвол — «секут» обывателя, только одни секут «абсолютно», другие ссылаются на «требования цивилизации», третьи — требуют во всем положиться «на их отвагу» (8, 265).

Как и все другое, деспотизм может существовать только в соответствующей, благоприятной для него обстановке. «Органчик» или Угрюм-Бурчеев невозможны в Умнове, но неизбежны в Глупове. В последнем налицо питательная почва для деспотизма — безропотно покоряющаяся, всецело полагающаяся на «батюшку»-правителя масса, «толпа». Глуповцы и есть классическая «толпа» со всеми присущими ей признаками: доведенным до автоматизма повиновением и одновременно психологической неустойчивостью, наклонностью к неожиданным эксцессам в любом направлении; засильем суеверия и косности, господством бездумности и безликости. Вот некоторые моменты поведения глуповской толпы, представленные в сатирическом зеркале «Истории...». «Глупов закипал. Не видя несколько дней сряду градоначальника, граждане волновались и, нимало не стесняясь, обвиняли помощника градоначальника и старшего квартального в растрате казенного имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия... Наконец глуповцы не вытерпели; предводительствуемые излюбленным гражданином Пузановым, они выстроились в каре перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника градоначальника, грозя в противном случае разнести и его самого, и его дом... И бог знает, чем разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика и вслед за тем не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом... исчезнувший градоначальник!..

— Разорю! — загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли.

Волнение было подавлено сразу; в этой, недавно столь грозно гудевшей, толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота подивиться на „сие нелепое и смеха достойное глуповское смятение".

— Зачинщики вперед! — скомандовал градоначальник, все более возвышая голос» (8, 290—291).

Культ особы управителя в Глупове спаян с «обратным» культом — безликости управляемых. Глуповская масса не персонифицирована, безымянна; лишь в считанных случаях промелькивают поименованные лица: вышеупомянутый «излюбленный гражданин Пузанов», «ходоки» Евсеич и Пахомыч, сбрасываемые с раската Степка, Порфишка да несколько «пронумерованных» Ивашек... Индивидуальное сознание полностью подавлено, господствует психология стада, гурта. Вследствие этого глуповцы анекдотически легко могут и присягать очередному «герою», и отрекаться от него («Сказание о шести градоначальницах»). Столь же анекдотически скоро и бессмысленно вершат они расправу над своими бессловесными согражданами — Ивашкой одним да Ивашкой другим.

Социальное устройство Глупова, характеризуемое наличием двух членов — «героя»-диктатора и бесправной «толпы», представляется Щедрину сугубо регрессивным, исключающим возможность исторического движения. Не случайно, испив

lib.pushkinskijdom.ru

из отравленной чаши угрюм-бурчеевщины, глуповская история прекращает свой ход, свое «течение» (8, 423).

Критицизм Щедрина к подобному порядку вещей заявлен с двух концов: и в отношении к «толпе» (неорганизованной и социально неоднородной массе, включающей в себя «народный» элемент, но не сводимой к нему), и в отношении к «герою». Двуадресность, «двусторонность» [6] сатиры в «Истории одного города» несомненна. О критическом счете писателя к «толпе» нами уже говорилось. Подчеркнем, что Щедрина в высшей степени удручала готовность масс отдать свою волю в чужие руки, подчиниться какому-никакому «герою». Трагической иронией окрашено повествование о том, как начавшие устройство своих внутренних дел головотяпы перво-наперво порешили «искать себе князя». «Он нам все мигом предоставит, — говорил старец Добромысл, — он и солдатов у нас наделает, и острог, какой следовает, выстроит! Ай-да, ребята!» (8, 271). Князь, разумеется, сыскался: «И прибыв собственною персоною в Глупов и возопи: „Запорю!“ С этим словом начались исторические времена» (8, 277).

Интересно, что, размышляя на подобные темы в хронике «Наша общественная жизнь» (1864, январь), Щедрин делает заход в область «борьбы за индивидуальность», когда говорит, например, о человеке как о сложнейшем из всех организмов, который подчинил себе прочие организмы, но который — и в этом вся беда — готов «с некоторым энтузиазмом» подчиниться другому. Никакого проявления «разумности», усматриваемой «философами», здесь нет. «. . .Человек, который первый сказал другому подобному себе человеку (первый вдохновился такой мыслью): „сделай милость, будь моим руководителем“, был человек рассудка слабого и неосновательного» (6, 242). Несколько лет спустя (1870, октябрь) Щедрин снова заметит: «Немыслимо, чтоб человек развитый добровольно отказался от права управлять своими действиями в пользу стороннего лица, потому что подобный отказ был бы равносилен низведению себя на степень низшего организма, а для такой прихоти не имеется никакого разумного объяснения» (7, 178).

Культ «героя» (конкретизируемого в плане самовластного, деспотического правителя), всевозможные теоретизирования относительно естественной предопределенности существования главенствующих индивидов подпадают на первых же страницах «Истории. . .» под острейшую авторскую иронию. «Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь, — и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных Ахиллов имеет, и не иметь не может. Взгляни на первую лужу — и в ней найдешь гада, который иройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет. Взгляни на древо — и там усмотришь некоторый сук больший и против других крепчайший, а следственно, и доблестнейший. Взгляни, наконец, на собственную свою персону — и там прежде всего встретишь главу, а потом уже не оставишь без приметы брюхо, и прочие части. Что же, по-твоему, доблестнее: глава ли твоя, хотя и легкою начинкою начиненная, но и за всем тем горé устремляющаяся, или же стремящееся долу брюхо, на то только и пригодное, чтобы изготовлять. . . О, подлинно же легкодумное твое вольнодумство!» (8, 268).

Сатирический протест против апологии «героя» — бесконтрольного распорядителя человеческими судьбами сказался и в явном пародировании Щедриным самого «биографического» принципа изложения истории. Не случайно, конечно, жизнеописаниям глуповских правителей, из которых и составлена в основном «История одного города», предпослана «опись» (!) «героям»-градоначальникам.

Вряд ли Щедрин имел намерение «задеть» непосредственно Т. Карлейля с его тезисом о том, что «вся история. . . в сущности есть история великих людей».[7] Ведь «биографический» подход к истории, весьма популярный в официальной науке, часто не был по своим идеологическим установкам связан с Т. Карлейлем.[8] Концепция «героического» у последнего многопланова; она включает в себя и то, что представлялось идеологам русской крестьянской демократии несостоятельным, и то, что отвечало их стремлению повысить творческую активность отдельно взятого человека, личности в общественно-историческом процессе. Так, Михайловский, например, находил по меньшей мере

lib.pushkinskijdom.ru

«утопической» положительную программу Карлейля-политика (отрицательная же сводилась к критике и легитимизма, и либерализма): «. . .найдите героя, — героя, вождя или „способнейшего" человека, „Kon-ning'a, Kan-ning'a, — человека, который знает или может"» (2, 379). Вместе с тем публицист подчеркивал, что «по основной мысли» культ героев у Карлейля, «во-первых, культ именно героев, а во-вторых, не заключает в себе ничего раболепного и принудительного» (2, 374). В самом деле, в понимании Карлейля, герой — личность наиболее развитая в интеллектуальном и нравственном отношении, натура возвышенная и деятельная. К героям он относил: 1) богов (Один), 2) пророков (Магомет), 3) поэтов (Данте), 4) духовных пастырей (Лютер), 5) писателей (Руссо), 6) вождей (Кромвель). Критерий героического у Карлейля периода 1840-х годов (лекции о героях и героическом, книга «Прошлое и настоящее») имеет в своей основе духовное: способность проникать в суть явлений и вещей, нести людям свет истины. Позднее, правда, у него произойдет заметное снижение представлений о герое: делая упор на «деятельное» начало, он предложит включить в круг героев предприимчивого буржуа («Современные памфлеты», 1850).

Как и Михайловскому, Щедрину вряд ли импонировали известная политическая консервативность Карлейля, его преувеличенные надежды на «героархию» и, в частности, на героев-вождей, нередко предстающих в реальной жизни (это признавал и сам мыслитель, указывая на Людовика XIV) в качестве «лже-героев». Но, с другой стороны, у сатирика, конечно же знакомого с сочинениями популярного в среде русской интеллигенции автора, не могли не найти понимания карлейлевская критика повального «холопства» — «корня всех бед»,[9] карлейлевский призыв к возвышению идеалов личной нравственности, к увеличению числа героев в массах, к героизации «толпы». Пока мы продолжаем оставаться «холопами», внушал мыслитель, трудно рассчитывать на появление вождя-героя. В этих условиях более возможны «лже-герои», «шарлатаны», управление которых, не учитывающее «законов природы», оборачивается настоящей «отравой» всего общества (С. 37).

Правителя-героя, настаивал Карлейль, заслуживает только общество героев. «Отбросим с своей стороны от себя всякое Холопство, Низость, Неправду; и тогда будем надеяться, что над нами будет властвовать всякое Благородство и всякая Правда, но не ранее» (С. 50).

Надо полагать, понятно было Щедрину, не стоявшему в стороне от активных этических исканий народников,[10] и карлейлевское требование нравственного самовоспитания каждого члена общества. Английский мыслитель писал, в частности: «Говоря старинным языком, „мы забыли Бога"; говоря самым современным языком, по самой сути вещей, мы приняли факт этого мира таким, каким он *не есть*. Мы спокойно закрыли глаза на самую Сущность Вещей и открыли их только для Видимости и для Лже-вещей. . . Человек потерял свою *душу* и теперь, после соответствующего промежутка времени, — начинает чувствовать потребность в ней!» (С. 193—194). Люди обязаны внутренне перестраиваться. Каждый должен стремиться исключить себя из мира холопов, «сделать из себя *по одному* не-холопу, по одному герою». В результате и сможет образоваться «целый мир героев», нация героев (С. 52).

Щедрину, как и Карлейлю, была ясна прямая связь между «шарлатанством» власти и «холопством» масс. Концепция «Истории одного города» вырастает как раз из этих представлений.

Безграничное холопство глуповцев приводит к тому, что в числе распорядителей их жизней и судеб оказывается законченный деспот Угрюм-Бурчеев, «непреклонность» которого граничила почти с «идиотством» (8, 397). Раз начертив прямую линию, «он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир, и притом с таким непременным расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни взад ни вперед, ни направо, ни налево» (8, 403).

Не встречая сопротивления своим немыслимым экспериментам, низведя подвластных ему глуповцев до положения беспрекословных исполнителей-автоматов, Угрюм-Бурчеев

lib.pushkinskijdom.ru

дерзает остановить само естественное течение жизни, «уловить» (8, 406) его запрудой казарменных предписаний и циркуляров. «Он не был ни технолог, ни инженер; но он был твердой души прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которою можно покорить мир» (8, 408). Все существование глуповцев — от одежды до образа мыслей — строго регламентировано, все подлежит беспрепятственному досмотру и контролю со стороны ближайших начальников и штатных шпионов (8, 404—405). Для «злосчастной муниципии» (8, 403) не предусмотрено ничего, кроме «страшной массы исполнительности». Здесь «нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновенье не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок» (8, 406). Жители Глупова по команде работают, по команде отдыхают («от будней. . . праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке» — 8, 405), по команде едят. . . Полное торжество «кантонистской фантазии» (8, 406) на предмет «всеобщего осчастливления» (8, 403). Казалось бы, люди должны были дать отпор этому надругательству над «естеством», «природой» человеческого бытия. Но глуповцы терпели. И очень сильно, по мнению сатирика, «помогала» им в этом жалком деле рабская психология.

В социальной философии Щедрина находилось место признанию объективной стороны исторического процесса («. . .История имеет свои повороты, которые невозможно изменить, а тем менее устранить» — 13, 389). Писателю была видна роль экономических факторов в общественном развитии, хотя специальный акцент на них и не казался ему, как и Михайловскому, полным решением задачи. Среди действенных пружин истории он числил не только «внешние», материальные, но и «внутренние», духовные силы. Как и для Михайловского, психология масс приобретает для сатирика особый интерес. Он готов рассматривать социально-психологические явления как имеющие самостоятельное значение, хотя и произрастающие на той или иной материально-экономической почве. Холопская психология глуповцев — большая отрицательная сила в судьбе их «злосчастной муниципии». В великолепной социологической преамбуле к главе «Поклонение мамоне и покаяние» Щедрин прямо говорит о том, что эта психология может весьма и весьма пагубно сказаться на всем ходе истории, вызвать «провал» в ней, «отсрочку общественного развития» (8, 370). Глуповцы покорно выносят все: и нелепое поведение пустоголового Брудастого, и не менее бессмысленные бородавкинские распоряжения вроде приказа о «повсеместном распространении горчицы» (8, 373), и не знающее границ маниакальное диктаторство Угрюм-Бурчеева. Ничто не может подорвать их послушливость, даже «недостаток продовольствия» (8, 396), вызванный системой «бездействия» — сначала «весело-буйственного», а затем «мрачного» (8, 394, 396).

Щедрина крайне удручало сознание того, что холопство «толпы» крепко спаяно с ее косностью, привязанностью к «идолам», «призракам» и враждебностью к новым, прогрессивным идеалам и начинаниям. Темная, ограниченная «толпа» зачастую не только не оказывает поддержки носителям передовых идей, сторонникам критико-аналитического отношения к жизни, но и поощряет всевозможные гонения на них со стороны предержащих властей. Расправа над учителем каллиграфии Линкиным, дерзнувшим заметить, что мир не мог быть сотворен в шесть дней и что слепота убогой Маремьянушки не от бога, а от «воспы», непосредственно инспирирована «толпой» (8, 391—393). Столь же позорно ведет себя «толпа»-«публика» в сцене «чавканья» Правды Торжествующей свиньей («. . .Публика приходит в неистовство. Слышится со всех сторон: Любо! Нажимай, свинья, нажимай! Гложи ее! чавкай! Ишь ведь, распостылая, еще разговаривать вздумала!» — 14, 201). Добавим, что сатирик и раньше касался этой крайне больной для него материи (см. очерк «К читателю» из цикла «Сатиры в прозе» — 3, 286—288).

«Самоотверженная» податливость «толпы» укореняет «самодовольную ограниченность» (7, 149 и след.) верхов. В обезличенном обществе возникает даже «спрос» на ограниченность, которая окружается ореолом «авторитетности и почета». «Существует мнение, что между фактом господства ограниченных людей и эпохами так называемой

lib.pushkinskijdom.ru

общественной реакции имеется тесная органическая связь» (7, 153—154). Особенно яркий пример в глазах Щедрина — «времена владычества Наполеона III во Франции». Эпоха общественной реакции — «это эпоха величайшего умственного утомления, эпоха прекращения частной и общественной инициативы, эпоха торжества сил, имеющих значение не столько сдерживающее и регулирующее (это только казовый конец реакций), сколько уничтожающее и мертвящее» (7, 154).

Питающий жизнь источник — самодеятельная сила масс — мелеет, иссякает. Отчетливо обозначаются два начала социального бытия: «бесстыжество» и «бессилие» (ср. встречающиеся у Михайловского в статье «Щедрин» понятия «бессовестной силы» и «бесчестной слабости» — 5, 183). «Бесстыжество отуманивает; оно на весь мир смотрит в упор и при этом лжет, хвастает, обманывает в глаза. При виде этой беззаветной наглости мнится, что за нею стоит что-то несокрушимое, что у нее есть какая-то роль в истории. Но, кроме того, бесстыжество еще обладает одним качеством: где бы оно ни появилось, около него сейчас же группируется плотная масса негодяев. Все праздное, буйное, все обуреваемое страстью легкой наживы, живущее хищничеством и набегами, — все с непреодолимою силой влечется к бесстыжеству, устроивается под сению его и в свою очередь образует оплот» (7, 167).

Перед лицом этого «оплота» глуповцы не находят ничего лучшего, как «трепетать» и надеяться на благие перемены в будущем. «Уподобив себя вечным должникам, находящимся во власти вечных кредиторов, они рассудили, что на свете бывают всякие кредиторы: и разумные, и неразумные. . . Рассудив таким образом, глуповцы стали ждать, не сделаются ли все кредиторы разумными. И ждут до сего дня» (8, 372).

Насаждая принцип «не твое дело», всемерно обезличивая человека, «оплот» ссылается при этом на необходимость укрепления внутреннего порядка, «дисциплины», «тишины», «патриотизма» (7, 176—179). Такая линия, однако, ущербна во всех отношениях, со всех точек зрения. Ведь, если судить здраво, и для самих ревнителей этой линии, для самих защитников существующего порядка вещей «не всегда выгодно окончательно обезличить человека, ибо даже в сфере самой грубой исполнительности встречается множество случаев, когда необходимы услуги не скотов, а людей» (7, 177). Бывают ситуации, остро требующие «инициативы», «энтузиазма» масс, но где им взяться в насаждаемой атмосфере «безучастности» (7, 178)? Нельзя держать человека в узде принципа «не твое дело» и ждать от него «энтузиазма», радения к общественным делам. Нельзя требовать того, чтобы в одной сфере он был индифферентен, а в другой — инициативен (7,179). «. . .Дух инициативы не с неба сваливается, а развивается воспитанием и практикою» (7, 179).

«Административная централизация» с помощью «армии чиновников», действующей «не в смысле прилаживания общих вопросов к требованиям жизни, а совершенно наоборот, в смысле прилаживания жизни к требованиям общих вопросов», формирует не *народ*, не сознательно действующие массы, а именно *толпу*, «которая не имеет ясного понятия ни об отечестве, ни о долге и способна подчиняться лишь паническим побуждениям преувеличенного страха и не менее преувеличенных надежд» (7, 178—179, 182).

Такой порядок вещей губителен для страны. Именно здесь, по мысли писателя, причины краха Франции Наполеона III (анализируемый очерк «Сила событий» написан «вслед за развязкою» (7, 162) франко-прусской войны). И это «поучительный» урок «не только для нее» (7, 182). «. . .Успех какой бы то ни было страны находится в зависимости. . . от деятельного участия в ней живых и сознательных сил» (7, 224).

В связи с этим определяется и ближайшая «домашняя» задача — повышение сознания масс, пребывающих пока и в материальном, и в духовном «убожестве» (7, 248). «Человек массы мало того что страдает: он, сверх того, имеет слабое сознание этого страдания; он смотрит на него как на прирожденный грех, с которым не остается ничего другого делать, как только нести его, насколько хватит сил» (7, 249—250). Вследствие указанной неразвитости «толпа» («масса») легко делается слепым орудием «темных сил». Хвалить ее за это не приходится, но и винить до конца трудно: слишком очевидны

lib.pushkinskijdom.ru

объективные причины (см. 7, 251—252). К тому же при всех своих недостатках «толпа» — источник жизненного развития, конечная цель деятельности всякой развитой личности (7, 254—255). «Нет никакого сомнения, что известные движения толпы могут поселять в нас чувство горечи. Но, негодуя на толпу и сознавая вполне свое право на это негодование, мы все-таки не можем скрыть от себя, что не в другом чем-нибудь, а именно в ней, в этой бессознательной толпе, заключается единственное основание нашей собственной силы (или, лучше сказать, возможность его), что без нее (без толпы), без ее участия и внимания мы хуже чем слабы — до нас никому нет и не может быть никакого дела» (7, 254).

Означает ли это, что личность должна полностью стушеваться перед «массами», «идентифицироваться» с ними? Вовсе нет, говорит Щедрин, предваряя Михайловского. Принцип «главенства масс» в высшей степени естествен и справедлив, он способен служить фундаментом для широкой передовой теории. Но нельзя не видеть того, что в исторической жизни своей массы могут подчас «самым страшным и грубым образом ошибаться насчет своих собственных интересов», являть «самое горькое неразумие» (6, 188), например в вопросе об идеалах и «ближайших» выгодах. Личность, заявляет Щедрин, правоспособна не следовать за «толпой» «в ее близоруком служении неразумию и произволу» (6, 189; см. также С. 341—342). Она обязана объяснить значение высших идеалов, которые ошибочно воспринимаются массами как утопии-призраки. Именно с позиций идеалов обнаруживается несостоятельность существующего порядка вещей; идеалы приучают «мыслить», побуждают к активному действию. «В известные эпохи жизни идеализм, несмотря на всю спорность своего содержания, есть все-таки высшая и самая пригодная форма человеческой деятельности» (6, 155). Через шесть лет Михайловский напишет: «...история жизни на земле стремится обратиться в историю человеческих идеалов» (1, 326).

Исторической жизни нужны идеалы; нужные ей и подлинные герои — не обожествленные вожди, богдыханы, повелевающие безгласной толпой, а самоотверженные борцы за истину и справедливость, за права и достоинство личности как основу общественной свободы. Такими борцами должна полниться масса, они — среди нее, а не над ней. «Толпе» надлежит героизироваться, «разложиться» на «личности» («критически мыслящие», как сказал бы Лавров) с их самостоятельностью, осознанностью действий, с их чувством ответственности за происходящее. «Обыкновенно подобных людей называют героями, но в сущности, это только личности, которые в такой степени сознали верность выработанных ими начал, что последние вошли в их жизнь и сделались составною ее стихией наравне со всеми другими инстинктивными движениями. Но на этих-то людях, собственно, и зиждется то непрестающее движение, которое мы замечаем в истории» (9, 168).

Итак, не «личность» и «толпа», а «личность» в «толпе» — так акцентируется вопрос. «Разложение» толпы (понятие, восходящее к гегелевской философии и в целом сохраняющее у Щедрина первоначальное значение — см. 7, 669, комментарий) как следствие роста ее самосознания под воздействием «цивилизующей мысли» (9, 167) — одно из необходимых условий исторического прогресса. «...История человеческих обществ есть не что иное, как история разложения масс под влиянием сознающей себя мысли» (7, 473).

Заказано ли «разложение» глуповцам, к судьбам которых всечасно возвращалась мысль Щедрина? Нет, хотя процесс его длителен и труден. В массе «существует какое-то неисповедимое тяготение к обседающему ее со всех сторон злу, какой-то непреодолимый страх ко всему, что не разом, не по манию волшебства устраняет его». Сбитая с пути разумных отношений к окружающему, она пока еще ждет своего избавления от «чуда», а не от собственных усилий (7, 335). Но обнадеживающие симптомы все же видны.

Утомленный фантастическим жизневредительством, Угрюм-Бурчеев внезапно засыпает, не успев даже распорядиться о назначении «шпионов». Исстрадавшиеся глуповцы впервые «вздохнули свободно». Их взору открылась вдруг картина острейшего

lib.pushkinskijdom.ru

неблагополучия. «Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что далее дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история, были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? — ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Урус-Кугуш-Кильдибаевы, Негодяевы, Бородавкины и, в довершение позора, этот ужасный, этот бесславный прохвост! И все это глушило, грызло, рвало зубами — во имя чего?» (8, 421).

«Толпе» еще не под силу заявить твердое и осмысленное «нет» градоначальническим притязаниям. Глуповцы еще не организованы, «разрозненны», нерешительны. «Всякая минута казалась удобною для освобождения, и всякая же минута казалась преждевременною» (8, 422). И все-таки обозначились первые проблески растущего самосознания жителей «злосчастной муниципии»: глуповцы «устыдились». «Мысль, что шагание бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы, сделалась невыносимою. Никто не задавался предположениями, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам и что при таком обороте жизнь сделается возможною и даже, пожалуй, спокойною. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унизительным, в виду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ» (8, 422).

Трезвый мыслитель, Щедрин не спешил объявить робкие искры самосознания победно занявшимся пламенем. Глуповцы лишь тогда могут рассчитывать на успех в деле собственного освобождения, когда они выработают критически-сознательное отношение к жизни, изживут стадно-рабские привычки и инстинкты. Только соответствующее общественно-политическое и духовное развитие масс способно гарантировать победу и переворота, и — самое главное — его целей: последующего утверждения прогрессивных форм жизни. Подобно Лаврову и в отличие от Ткачева Щедрин считал, что социальные революции нужно терпеливо *готовить*, а не торопливо *делать*, что мужика необходимо *просвещать*, а не *бунтовать*. Требование «разложения» толпы, ее расщепления на личности как раз и отвечало этой программе.

Симпатии к личности заявлены у Щедрина уже в начале писательского пути. Любопытно, что в отклике на «Сказание... инока Парфения» (1857) наблюдавшиеся в истории факты аскетического самоподавления личностных интересов объясняются им так, что ряд суждений и «примеров» у автора «Героев и толпы» выглядел бы как повтор, будь означенный отклик своевременно опубликован в печати (см., в частности, щедринское замечание о «неразвитости», «скудости», «необеспеченности» материальной и духовной жизни средневековых масс как питательной почве их обезличенности, «фанатизма» — 5, 39—40).

Щедрин против того, чтобы жизнь личности исчерпывалась одним жертвоприношением — семейным, общественным, религиозным (на эти темы впоследствии охотно будет писать Михайловский). «Само собою разумеется, что при таких условиях жизнь утрачивает свою цельность и делается лишь подвигом послушания; общество, в котором живет человек, перестает быть средою, представляющею наиболее споспешествующих условий к удобнейшему удовлетворению его законных потребностей; напротив того, оно является тесно замкнутым кругом, который все отдельные личности, его составляющие, порабощает своему отвлеченному эгоизму, в котором до потребностей отдельного лица никому нет надобности, где всякий должен жертвовать своими живыми интересами в пользу интересов искусственных» (5, 38).

Позднее в защите интересов личности Щедрин мог не только солидаризироваться с Михайловским, но и быть где-то бескомпромиссней последнего. Так, он с видимым скептицизмом оценивал реальные порядки в крестьянской общине, находя их скорее стесняющими личность общинника, нежели защищающими ее самостоятельность (см.: 5, 39; 7, 617; 16, кн. 2, 25).

Вслед за Герценом Щедрин стремится утвердить мысль о необходимости такого решения проблемы личности и общества, которое предусматривало бы не противопо-

lib.pushkinskijdom.ru

ставление, а гармоническое сочетание интересов обеих сторон. (На этой точке зрения затем будет стоять и Михайловский.) «Высший общественный идеал заключается совсем не в жертвах и принижениях, а в том, чтобы интересы частного лица и интересы общества шли рука об руку, не только не мешая друг другу, но взаимно друг другу помогая» (5, 372).

И Михайловский, и Щедрин, как видим, убежденно восставали против тенденции какого бы то ни было умаления человека, тенденции, понижавшей его способность поступать самостоятельно, низводившей его до положения безликого слагаемого «толпы». Они старались привить своим соотечественникам начала подлинной гражданственности, взрастить чувство человеческого достоинства и причастности каждого к происходящему в стране. В прямой связи с этим ими настойчиво выдвигались задачи выработки личных норм поведения, повышения личной нравственной культуры. Достижение общественных идеалов виделось обоим мыслителям на перекрещивающихся путях социальных преобразований и морального самовоспитания каждого человека.

Социальной структуре «герой» и «толпа» Михайловский и Щедрин предпочитают самоуправляющееся общество — объединение по принципу простой кооперации взаимодействующих *личностей*. «Личностное» общество — мир свободы, инициативы, исторического творчества. «Безличностное» общество — мир помпадурства и глуповства.

Социологические искания Щедрина и Михайловского важны и поучительны. Они приобретают особый интерес в современных условиях, когда личность неопровержимой логикой жизни снова делается проблемой проблем общественной теории и практики.

---

[1] *Михайловский Н. К.* Соч. СПб., 1896. Т. 2. С. 97; в дальнейшем том и страница этого издания указываются в тексте.

[2] *Плеханов Г. В.* Избр. философск. произв.: В 5 т. М., 1956. Т. 1. С. 735.

[3] Там же. Т. 2. С. 310.

[4] *Михайловский Н. К.* Полн. собр. соч. СПб., 1909. Т. 7. С. 54, 90.

[5] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1977. Т. 19, кн. 2. С. 273; в дальнейшем том и страница этого издания указываются в тексте.

[6] *Бушмин А. С.* Сатира Салтыкова-Щедрина. М.; Л., 1959. С. 82.

[7] *Карлейль Т.* О героях и героическом в истории // Современник. 1855. № 10, отд. II. С. 94.

[8] На это, кстати, обращал внимание и Михайловский (2, 383—384).

[9] *Карлейль Т.* Теперь и прежде. М., 1906. С. 210. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

[10] См. об этом: *Мысляков В. А.* Салтыков-Щедрин и народническая демократия. Л., 1984. Гл. 5 («Этизм народников и тема стыда в творчестве Салтыкова-Щедрина»).

lib.pushkinskijdom.ru

В. Г. КОРОЛЕНКО

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

(ПОДГОТОВКА ТЕКСТА, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА И ПРИМЕЧАНИЯ Б. В. АВЕРИНА и Е. В. ПАВЛОВОЙ)

Статья В. Г. Короленко «Торжество победителей», опубликованная в газете «Русские ведомости» 3 декабря 1917 года, — один из первых откликов этого крупного писателя на Октябрьские события. Ее можно рассматривать как своего рода пролог к широко известным полемическим письмам Короленко к А. В. Луначарскому 1919 года (см.: Новый мир. 1988. № 10) и к другим публицистическим выступлениям писателя 1917—1921 годов. Эта острая и полемичная, темпераментная статья — важный факт истории русской литературы и общественной мысли первых пооктябрьских лет. Настроения Короленко, отраженные в ней, разделялись в этот момент многими деятелями русской культуры, в том числе Горьким в «Несвоевременных мыслях».

Под библейским заглавием «Сретение» в 228-м нумере петроградских «Известий» Совета Рабочих и Солдатских Депутатов,[1] ставших теперь, как известно, своего рода большевистским «Правительственным вестником», напечатано радостное для нового строя известие, о коем министр-комиссар Луначарский доводит до всенародного сведения в стиле если не вполне официальном, то библейски-символическом.

Событие произошло в комнате Зимнего дворца. Старый писатель Иероним Иер. Ясинский явился туда, чтобы воспринять не то господина Луначарского в качестве новорожденного министра нового строя, не то самый этот строй и сказать себе: ныне отпущаеши — подобно библейскому Симеону Богоприимцу.

Как известно, библейский Симеон так страстно ожидал пришествия Мессии, так горячо вздыхал о нем, и молился, и благовествовал, что получил в награду за все это обещание от Святого Духа: не умреши, старче, дондеже не узриши пришествия. И когда Младенца Иисуса принесли в храм, — он взял его на руки и изрек:

— Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему с миром. . . Яко видеста очи мои. . .

Нечто подобное, по реляции комиссара Луначарского, произошло теперь, но не в храме, а в одной из комнат Зимнего дворца. «Большой, весь белый старик с длинной седой бородой» предстал пред г. Луначарским и говорит ему:

— Не думал, когда писал эти строки, что буду читать их в Зимнем дворце.

И старец читает стихи. . . Конечно, приветственные, так сказать, на новоселье. Гражданин Луначарский, как критик, очень их одобряет. Стихи, по его словам, «полны стальных отблесков, они мускулисты, свежи, задорны и (даже) крылаты». Они говорят о том, что «самый близкий к сверхчеловеку тип создается в России, это — большевик».[2]

И еще он говорит:

— Я стар и скоро умру. Но глаза мои видели утро нового мира («яко видеста очи мои»). . . И я умру счастливым, видя победу настоящей свободы.

Наконец (и это, может быть, самое существенное):

— Я хотел бы в последние годы служить восставшему народу в его борьбе. . .

А восставший народ, это, конечно, большевики.

© Аверин Б. В., Павлова Е. В., вступительная заметка, примечания, 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

Дело ясно: Иероним Иер. Ясинский — Симеон Богоприимец. Конечно, и ему не даром далась эта награда от великого духа свободы... Конечно, и он, как библейский Симеон, всю долгую жизнь страстно ждал этой минуты, и призывал ее, и, несмотря на гнет самодержавия, всюду, где мог, нес благовест грядущей свободы.

Однако... Нет, кажется, тут что-то не так... Этого не было. Было как будто даже обратное. В самой речи нового Симеона новым хозяевам положения прозвучало (правда, скользкое и неуловимое) признание: «Как бы ни прожил я свою жизнь... знаю одно: я умру счастливым».

Конечно, все мы грешны, и всем приходится сказать под конец: «Как бы ни прожили мы свою жизнь». Но для этого чтобы явиться в звании богоприимцев или свободоприимцев, — должны же быть и в этой грешной жизни черты служения той самой истине, которую приходится с торжеством воспринимать от купели...

Между тем и гражданин Луначарский в своих цветистых толкованиях на сие новое «Сретение» вынужден коснуться того же скользкого и охлаждающего мотива:

— Может быть, — говорит он, — раздадутся протесты. На лицах появятся гримасы: тогда-то он писал то-то... Тогда-то он писал там-то... Но тотчас же на эти скользкие сомнения следует решительная сверхчеловеческая резолюция:

— Пустое! У него были ошибки, он бывал в чужих нам лагерях, и все-таки честь ему, старому литератору, который, как древний Симеон, берет на руки новорожденную свободу и поет ей песни, глотая искренние слезы и повторяя великое «ныне отпущаеши».

Итак, «бывал в чужих лагерях»... Сказано довольно деликатно, но все-таки достаточно, чтобы нарушить библейскую идиллию. «Бывать в чужих лагерях» — для писателя это значит: писать в направлении, враждебном свободе. Представьте, однако, что библейский Симеон не только не благовествовал бы о Мессии, но проклинал и осуждал бы его, еще не рожденного, или предупреждал бы детоубийцу Ирода о грозящей ему опасности от младенца... Нет, гражданин Луначарский — плохой символист. В данном случае лучше бы подходили другие библейские сказания: о блудном сыне, о пропавшей овце, потерянной драхме, о работниках последнего часа...[3] Символический стиль — дело опасное в министерских декларациях: на этот раз он привел гражданина Луначарского к явной и бьющей в глаза нелепости.

Но пусть... Не будем слишком строги к стилю... «Бывал в чужих лагерях»... Пусть так... «Писал там-то и — что еще хуже — писал то-то». Что ж, и Чехов бывал у Суворина, и ему случалось писать в «Новом времени»... Можно считать, что само по себе это было неприятное недоразумение... Но человек — существо такое многогранное, многоцветное и сложное... Теперь, когда и жизнь, и переписка вся перед нами, — мы видим, что этот необыкновенно цельный человек, и дружески входя к Суворину вначале, и под конец уходя от него в негодовании, оставался тем же Чеховым, которого мы любим и ценим. От нововременства к нему не пристало ничего: он отряхнулся, как лебедь, и попытки использовать эту близость во вред его памяти были жалки и бессильны.

Но надо сказать при этом, что ни в «Новом времени», ни вне его Чехов не написал ни одной строки, в которой ему пришлось бы каяться, от которой пришлось бы отрекаться... Не отрекаться, не каяться — это редкая судьба, выпадающая на долю писателя. Она не далась, например, Виссариону Белинскому. Но кто кинет камень в пламенные заблуждения и пламенное раскаяние этого праведника русской литературы и общественности, которого только ранняя смерть избавила от мученичества...

Итак, пусть и новый Симеон «бывал в разных лагерях». Пусть он писал против свободы, пусть написал «Тараканий бунт»[4] и сенсационно-рекламный роман в своей «Беседе»,[5] где нет речи не только о бунтарском сверхчеловечестве, но нет и просто литературы, совершенно утонувшей в угодничестве перед тогдашней властью, — мы все же до некоторой степени понимали бы восторг большевистского министра-комиссара по поводу поднесенных ему «мускулистых и крылатых» поздравительных стишков.

У большевизма очень «дурная пресса». Материально он преуспел. В его руках сила, в его руках власть, в том числе власть над русской печатью, а сверхчеловеческая

lib.pushkinskijdom.ru

коренастая совесть позволяет ему пользоваться этой властью с такой беззастенчивостью, которой не знало даже царское правительство. Торжествующий большевизм не только закрывает «неблагонадежные» газеты, но еще сажает писателей в тюрьмы за их «противоправительственное направление»; он реквизирует типографии и бумагу независимых газет и отдает их своим официозам, он монополизировал в пользу официозов и рептилий частные объявления. . . Что ни день — под его ударами погибает какой-нибудь демократический орган печати. . . Это ли не могущество!

Да, могущество, но не морального порядка. Русская печать не идет к новой власти с признанием и поклоном; все партии, все направления общественной мысли отстраняются от нее с той оппозиционной брезгливостью, которую ничем не могло победить самодержавие. Вокруг него уже образовалась идейная пустота, насыщенная произволом и кровью.

И вот, наконец, он может отпраздновать свое «Сретение». К нему с поздравительными стихами пришел «настоящий литератор».

Да, как бы ни прошла литературная жизнь г. Ясинского, нельзя не признать, что в его лице явился с поклоном настоящий (когда-то) писатель, заметная когда-то сила русской литературы, бывший сотрудник «Отечественных записок», талант, когда-то признанный Н. Г. Чернышевским.[6] Да, Иероним Ясинский — это все-таки — хотя бы в прошлом — литература, и, значит, в его лице в пролом Зимнего дворца с радостным чириканьем впорхнула первая ласточка. За ней, быть может, последуют другие. . .

Нет, гражданин Луначарский, не обольщайтесь! К вам на «Сретение» пришла не русская литература, а только Иероним Иеронимович Ясинский, и его появление не радостно, а зловеще. . . И зловеще не только потому, что он «бывал в чужих лагерях», что он писал «Тараканьи бунты» и печатал такие романы о русском освободительном движении,[7] на которые с благословения тогдашней цензуры поднималось только его, воистину беззастенчивое, перо. . .

Многое, очевидно, могут простить большевики вообще и вы, гражданин Луначарский, в частности. . . вы, как добрый пастырь, увидя среди дыма и крови сию бедную заблудшую овечку свободы, уже готовы поднять ее на свои рамена и с торжеством принести к остальному большевистскому стаду. Но, гражданин Луначарский, берегитесь: ноша слишком грузна для ваших слабых плеч. Присмотритесь хорошенько: может быть, это — вовсе не заблудшая овечка свободы, а животное совсем другого рода, хотя и в овечьей шкуре.

Мне напоминают, что вы, гражданин Луначарский, когда были еще только критиком, а не министром, написали статью о том, «чему учит писатель Короленко».[8] Это дает мне некоторую надежду, что вы захотите и теперь выслушать под сладкое пение г. Ясинского то, что имеет сказать на новоселье большевистскому министру другой старый писатель, тоже, может быть, грешный и тоже стоящий недалеко от окончательных итогов жизни. . .

Это будет поучительный эпизод из истории многострадальной русской печати, в котором И. И. Ясинский играет хотя и второстепенную, но очень знаменательную роль. Но и помимо его личности, история эта может быть поучительна для члена нового большевистского правительства.

Это было в конце 1896 года, в те годы, когда реакция с новым царствованием достигла небывалой силы. Все было задавлено, все притихло после известного царского окрика о бессмысленных мечтаниях.[9] Одна только печать, как живой родник под снегом, напоминала, что дух общества еще жив и жива оппозиция разума и чувства торжествующему самодержавию. Это тогда Грингмут потребовал у независимой прессы верноподданнической присяги в форме деклараций, что она не стремится к ограничению самодержавия.[10] Пресса делала свое дело, может быть, слишком скромно, без блеска, без ярких призывов, без «сверхчеловечества», но неуклонно, и, — смею это сказать, — делала его успешно. Создалось такое положение, что русский протест порой выражался. . . даже в молчании. Но торжествующий враг чувствовал, что даже молчание рус-

lib.pushkinskijdom.ru

ской печати бывает красноречиво, многознаменательно. Он считал его опасным.

Для торжества реакции нужно было, чтобы печать заговорила в нужном направлении и чтобы заговорили не одни рептилии, но и та пресса, которая, оставаясь независимой, не вкушала до сих пор идоложертвенного мяса с насильниками русской свободы. . .

Нашелся человек, который взял на себя эту трудную задачу. Звали его Михаил Петрович Соловьев.[11] Он хорошо рисовал иконки на слоновой кости и потому пользовался покровительством Победоносцева. . . Поставленный неограниченным владыкой над русской печатью, он со «сверхчеловеческим дерзновением» взял на себя выполнение плана. Он говорил: «Как начальник Главного управления по делам печати, я должен управлять печатью». Мне лично и многим другим он говорил прямо, что он будет предписывать циркулярно мысли и направления.

Для этого нужно было прежде всего поставить печать под управление послушных орудий правительства, и Соловьев стал «назначать редакторов». Для начала он назначил таким образом некоего Головинского сразу в редакции трех газет.[12] В случае несогласия принять редактора по назначению Главного управления он грозил и действительно закрывал газеты.

Но Головинский был не писатель, а только маменькин сынок, нуждающийся в синекуре. Задача явно не выполнялась. Утопия оставалась утопией. А между тем живая струя протеста продолжала пробиваться из-под снега. . . Старые газеты не подчинялись указке, новые продолжали старые традиции русской печати. Консерватизм явно хирел и падал, газеты «вредного направления» росли и входили в силу. . .

Так входила в силу газета «Биржевые ведомости». В ней с некоторых пор стал работать Линев-Далин.[13] Он взял ноту, которая нашла отклик в широких слоях провинции. Это была нота резко, почти истерически обличительная. Зарвавшийся произвол то и дело переходил в уголовщину. Далин брал случаи ярких правонарушений и говорил о них нервно и громко; цензуре трудно было придираться к его призывам. Приходилось бы признать преступной апелляцию к закону. . . Газета росла, становилась силой, и вот Соловьев задался целью одержать для начала победу над этой газетой. . .

Но для этой цели Головинские явно не годились. Нужен был «настоящий писатель». . . А настоящая литература не шла к Соловьеву, как не идет теперь к вам. И вот нашелся человек, которого и тогда привлекало сверхчеловеческое дерзновение. Звали его Иероним Иеронимович Ясинский. Он пришел к начальнику Главного управления, как пришел и к большевистскому министру. Тогдашнее «сретение» произошло не в Зимнем дворце, а только в канцелярии на Театральной улице. М. П. Соловьев не владел библейским стилем и вообще не был писателем. Поэтому он не огласил, как это сделали вы, подробностей «сретения». Конечно, Иероним Иеронимович Ясинский и тогда уже знал Ницше. Быть может, даже — как знать, он прочитал М. П. Соловьеву те самые стихи, которые теперь поднес на новоселье вам.

В самом деле: разве М. П. Соловьев не был тоже сверхчеловеком реакционного насилия. Когда-то в газете Аксакова было напечатано стихотворение:

Да, наложить на разум цепи
И слово может умертвить
Лишь тот, кто властен вихрю в степи
И грому в небе запретить.[14]

А теперь человек из Главного управления брал на себя эту сверхчеловеческую задачу. . . Почему же было не воспеть его? Я, конечно, не знаю, какие именно варианты внесены теперь в те приветственные вирши, которые подносил тогда «высокий седой старик» его превосходительству господину Соловьеву. Может быть, это были те самые стихи, «мускулистые, свежие, задорные и крылатые», а может быть, и совсем не было стихов, и беседа происходила в более прозаических тонах. . . Не будем гадать об этом академическом вопросе из истории русской словесности. Перед нами — факты,

lib.pushkinskijdom.ru

вырубленные навсегда, точно топором, на тяжких скрижалях истории русской прессы, которых ничем не выскоблишь и из биографии господина Ясинского... Это не слухи и не толки в неопределенной форме («бывал в чужих лагерях»). Это — факты, засвидетельствованные печатными документами: на страницах «Биржевых ведомостей» Далин исчез, воцарился по распоряжению начальства Ясинский. Одновременно с этим стали появляться фельетоны некоего псевдонима Кифы, который в форме смиренного ответа на бешеные нападки одного московского мракобесного листка по поводу далинских фельетонов сделал форменную декларацию о перемене фронта...

Но и Соловьев, и Ясинский сделали расчет без хозяина. Издатель газеты покорно подчинился и принял Кифу... Он смиренно напечатал его декларацию. Он перенес унизительную утрату влиятельного сотрудника... Но и он не мог вынести докладов кассира об отношении к перевороту того массового провинциального подписчика, чающего движения воды, который ловил обличения Далина и не желал воспринимать змеиной мудрости Кифы. Газета с Далиным издавалась для этого читателя. С господином Ясинским пришлось бы издавать ее для одного Главного управления... Это было красноречиво и убедительно даже для Соловьева. Он понял, что всякому дерзновению есть пределы. Было бы чрезвычайно поучительно, если бы удалось восстановить новые разговоры «назначенного редактора» с мудрым начальником... Как бы то ни было, тактику пришлось изменить. С соизволения начальства ретроградный Кифа стыдливо стушевался. Появился «Независимый». Надо отдать справедливость Иер. Иер. Ясинскому: он — стилист получше Луначарского. Он стал писать так ловко «под Далина», что вначале многие провинциальные подписчики сочли перемену псевдонима только хитростью «для цензуры». «Правда, бледнее, не так смело, но это тот же Далин»... Газета была спасена... Вскоре М. П. Соловьев исчез со сцены. Ретроградная утопия оказалась фарсом, но И. И. Ясинский один выиграл от этого фарса.

Итак, гражданин Луначарский, вам не следует обольщаться. С именинным стишком в Зимний дворец явилась к вам не русская литература. Она переживала много унижений и много падений, но в среднем она до сих пор рептилией не была. Даже вожделения капитала она умела обращать на пользу служению свободе... Один и тот же кулак Краевский издавал и консервативно-либеральный «Голос», и радикально-социалистические «Отечественные записки». Но даже «Голос» был закрыт в конце концов в разгар реакции,[15] а в «Отечественных записках» горели огнями перед русским обществом сначала призывы Белинского, потом Щедрина, Михайловского, Успенского. Дух, гражданин комиссар, по библейскому выражению, «веет иде же хощет». Не капитал подчинил дух русской литературы, а она подчинила себе стихийную силу капитала. Теперь она не идет к вам. Это не первая ласточка независимой русской литературы впорхнула к вам... Поверьте, гражданин Луначарский (мне, старому писателю, тяжело говорить это о другом старом писателе): в лице И. И. Ясинского в окровавленный пролом Зимнего дворца вползла к вам только старая рептилия, привыкшая извиваться перед всякой восходящей силой, хотя бы и грубой, и также готовая ужалить ее в пяту в момент падения.

Дело Соловьевых и Горемыкиных [16] пало со зловещим шумом. Теперь торжествуете вы, и вот уже к вам пришел «высокий белый старик с большой седой бородой»... Берегитесь, гражданин Луначарский, не смешивайте И. И. Ясинских, хотя бы даже их был легион, с русской литературой и с независимой общественной мыслью. Ее не задавить ничем. События теперь идут лихорадочно ускоренным темпом. Быть может, скоро вы почувствуете, что вас тоже ужалили в пяту. И тогда вы поймете, что значит среди шума материальной победы отделаться от истинного духа свободы...

Еще несколько слов... В вашей неразумно восторженной статье, восхвалив нового Симеона Богоприимца, вы кидаете горький упрек остальной литературе, которая не поторопилась с именинными стишками. Вы говорите: «А вы, безукоризненные, вы, народники, вы, марксисты...» [17] Одним словом, вы берете за одну скобку всю небольшевистскую

lib.pushkinskijdom.ru

общественную мысль и независимую литературу и упрекаете ее, что она не явилась с приветом на ваш кровавый пир и вам приходится подбирать гг. Ясинских, небезукоризненных и «бывших (и подолгу) в чуждых лагерях».

Да, это верно. Вы торжествуете победу, но эта победа гибельная для победившей с вами части народа, гибельная, быть может, и для всего русского народа в целом. Бывают ведь и пирровы победы. У Якубовича, искреннего революционера и пламенного поэта каторги, есть два стиха, которые должны звучать набатным предостережением всякому торжествующему насилию. Из глубины своего каземата он говорил самодержавию: «Да, вы нас подавили, заковали, заперли в тюрьмы, но физическая победа — не всегда окончательная победа. . .»:

Порой
Не тот, кто повержен во прах,
побежден,
Не тот, кто разит, — победитель.[18]

Теперь это приходится повторить и по вашему адресу. Вы задавили на время свободу, но вы не победили ее. Это — не победа, пока мысль народа, его литература вся против вас. Ваше торжество зловеще и страшно. В минуту этого торжества даже ваше сердце, гражданин Луначарский, поскольку вы тоже были русским писателем, дрогнуло от тоски, ужаса и отвращения перед тем, что сделано. В минуту этого торжества от вас поспешил отмежеваться Горький, и, быть может, еще знаменательнее, что именно в эту минуту приходит Иероним Ясинский. . . С каким новым «правительственным назначением» вышел он теперь из «вашего» Зимнего дворца над Невой? Не с тем ли, с каким ушел когда-то из Главного управления на Театральной улице: меняет по вашему приказу направление русской независимой печати.

Но это — опять утопия, гражданин комиссар! . . Конечно, может быть, нам, не приготовившим виршей для вашего именинного пира, предстоят еще тяжелые дни, когда придется вспоминать даже об египетском пленении царизма.[19] . . Что ж, русским писателям не привыкать! Мы готовы. . . Но знайте, гражданин комиссар, что настоящая русская литература по приказу направлений не меняет. Со времен Радищевых и Белинских она служит только правде. А в этом великом русском слове «правда», по хорошо и вам известному замечанию Н. К. Михайловского, сочетались два нераздельно близких понятия. В «правде», которой не за страх, а за совесть служит литература Виссариона, а не Максима Белинского, должны присутствовать вместе истина и справедливость.[20]

Есть ли они у торжествующего большевизма? В июльские дни, когда взметнулась первая вспышка большевистского кровавого безумия,[21] на одном из красных знамен, с которыми ваши солдаты вышли на улицу, можно было прочесть следующую надпись: «Капитал! Штык и пулемет тебя со свету сметет!». Эту чудовищную нелепость можно простить невежественным и фанатизированным солдатам, которые еще могут добросовестно обольщаться идеей, будто глубокие производственные отношения страны изменяются не творческой работой назревающих сил, а штыками и пулеметами. «Владыка-народ» попал во власть того же заблуждения, от которого с таким треском рухнуло самодержавие. Долг русской революционной интеллигенции состоит в том, чтобы раскрыть эту простую истину перед народом, как литература раскрывала ее относительно самодержавия с дворянским феодализмом. Вы не сделали этого. Вы этому помешали! Вы льстите гибельному предрассудку народного невежества, а восстающую против него независимую мысль подавляете. Вам нет оправдания в неведении. В ваших собственных писаниях до революции русский народ прочтет опровержение теперешним вашим подстрекательствам. К великому горю, это будет слишком поздно. . .

Такова ваша истина. Такую идею вы бросаете теперь как топливо в пожарище, от которого сгорает многострадальная Россия! Это — не истина, это — заведомая демагогическая ложь. А с заведомой ложью может ли сочетаться другая ипостась двуединой правды — справедливость.

lib.pushkinskijdom.ru

Нет. Ей не место в вашей системе. И вот почему в момент торжества вы боитесь свободного слова так же, как боялось его самодержавие в периоды наибольшего могущества. И вот почему вы стремитесь уничтожить независимую литературу. Вы закрываете газеты, вы арестуете редакторов и сотрудников «за направление», вы вводите самое ненавистное и самое глупое из орудий царского гнета — предварительную цензуру... И вот теперь я не знаю даже, куда направить эти строки моего протеста, и обращаю их ко всем, кому дорога свобода русской мысли, русского слова и русской воли. Вот вы уже цинично заносите руку насилия над всеобщим избирательным правом, разгоняете избранные всеобщим голосованием Думы и готовитесь насильственно подавить самый голос Учредительного собрания. И это понятно: власть, основанная на ложной идее, обречена на гибель от собственного произвола.

Берегитесь же! Ваша победа — не победа. Русская литература, и притом вся она, как вы сами говорите, — «безукоризненная», марксистская и народническая, социалистическая, демократически-радикальная и либеральная, — вся она, без различия партий, оттенков и направлений, — не с вами, а против вас.

Горькие уходят, приходят Ясинские... И я поздравляю вас, бывший писатель, а ныне министр-комиссар, гражданин Луначарский, с этой символической заменой!

Владимир Короленко

---

[1] См.: Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 1917. 17 ноября. С. 3.

[2] Луначарский, в частности, подчеркивал: «Эти стихи — искусная, любовная, порой вдохновенная переделка афоризмов Фридриха Ничше... Ничше пел хвалу грозной и бурной творческой силе. Потому из него легко сделать орудие пролетариата. Под его звучные, гордые марши можно побеждать».

[3] Имеется в виду притча о работниках, которые забыли долг свой, решив, что их хозяин нескоро вернется (От Матфея, 24, 48—51; От Луки, 12, 45—46).

[4] «Тараканий бунт» был опубликован в «Северном вестнике» (1897. № 1). Рецензент «Русской мысли» писал о нем: «Давно уже в нашей литературе, даже в журналах консервативных, мы не встречали ничего равного по кавалерственно-нахальному отношению к народу... Только ловкая и искусная рука такого, с позволения сказать, литератора, как М. Белинский (псевдоним И. Ясинского. — *Б. А., Е. П.*), могла святотатственно заклеймить весь русский народ, всю серую, мужицкую Русь» (1897. № 2).

[5] Скорее всего, Короленко имеет в виду роман «1 марта 1881», опубликованный Ясинским в издававшемся им журнале «Ежемесячные сочинения» (1900. № 1—12). В журнале «Русское богатство» писалось об этом произведении как о «бульварном романе, рассчитанном на заглавие и на рекламу» (1900. № 4). Возможно также, что это роман-хроника И. Ясинского «Белая горячка» (Беседа. 1906. № 3—8, 10), описывающий события революции 1905 года.

[6] По воспоминаниям Л. Ф. Пантелеева Н. Г. Чернышевский говорил ему: «...по-моему, из современных беллетристов самый крупный Максим Белинский» (*Пантелеев Л. Ф.* Воспоминания. М., 1957. С. 470).

[7] См., например, упомянутый выше роман «1 марта 1881» и «Под плащом сатаны» (СПб., 1911).

[8] См.: *Луначарский А.* Чему учит В. Г. Короленко. (По поводу 25-летия его литературной деятельности) // Образование. 1900. № 9.

[9] 17 января 1895 года, во время приема в Николаевском зале Зимнего дворца депутаций от дворянства, городов и земств, Николай II произнес речь, в которой были следующие слова: «Мне известно, что в последнее время слышались в земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что Я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его Мой незабвенный покойный Родитель» (Полн. собр. речей Николая II. СПб., 1906. С. 7).

[10] Редактор газеты «Московские ведомости» черносотенец В. А. Грингмут (1851—1907) в статье «Есть ли в России партии?» (1896), называя «Русские ведомости» и «Вестник Европы» официальными органами «наших врагов», писал: «...пусть они категорически заявят себя верноподданными русского самодержавного царя... Что же мешает им открыто заявить о своей преданности самодержавию, что же мешает им столь же открыто отречься от своих конституционных вожделений, если они действительно „переродились“ и таких вожделений у них нет» (*Грингмут В. А.* Собр. статей: В 4 вып. М., 1908. Вып. 1. С. 13).

[11] М. П. Соловьев (1842—1901) — начальник Управления по делам печати (1896—1900). Короленко писал о нем: «Соловьев человек

lib.pushkinskijdom.ru

недоброкачественный, ненавистник литературы и, кроме того, полусумасшедший» (*Короленко В. Г.* Дневник. Полтава, 1927. Т. 3. С. 242).

[12] М. В. Головинский был назначен редактором газет «Русь» и «Новь». Кроме того, издавал собственную газету «Северный курьер».

[13] Публицист и беллетрист Д. А. Линев (1853—1920) сотрудничал в «Биржевых ведомостях» в 1893—1896 годах. Рецензируя его книгу очерков «Не сказки» (СПб., 1900), Куприн писал: «Литературное имя г. Линева (больше писавшего в повременных изданиях под псевдонимом Далин) довольно широко известно в широком кругу читающей публики... Перед читателем постепенно развертывается в бесконечной веренице пестрых картин все, что есть неприглядного, печального, тяжелого и оскорбительного в русском общественном быту» (Жизнь и искусство (Киев). 1900. 21 февр.).

[14] Заключительные строки стихотворения А. А. Голенищева-Кутузова «Для битвы честной и суровой...» (см.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972. С. 249. (Библиотека поэта, большая серия)).

[15] Газета «Голос» начала издаваться в 1863 году и была закрыта после выхода первого номера за 1884 год.

[16] И. Л. Горемыкин (1839—1917) — министр внутренних дел с 1895 по 1899 год.

[17] Далее у Луначарского следовало: «...стыдно вам, отвернувшимся от народа в тяжкий час риска и недоконченной победы».

[18] Из стихотворения П. Ф. Якубовича «Пускай обвиняют, клевещут, бранят...» (1892).

[19] Метафора неправедного угнетения, восходящая к библейскому преданию о пленении и рабстве израильтян в Египте (Исход, 1, 14).

[20] В «Письмах о правде и неправде» Н. К. Михайловского сказано: «Но по-русски есть и еще более яркий пример совпадения разных понятий истины и справедливости в одном слове „правда“» (*Михайловский Н. К.* Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1909. Т. 4. С. 384).

[21] Вероятно, Короленко имеет в виду массовые стихийные демонстрации в Петрограде 3—4 июля 1917 года, во время которых были человеческие жертвы. В советской историографии эти события освещались в последнее время в следующих работах: Октябрьская революция в вопросах и ответах. М., 1987. С. 131—134; *Иоффе Г. З.* «Белое дело»: Генерал Корнилов. М., 1989. С. 69—70. Иную точку зрения, нежели Короленко, выразил участник событий князь В. А. Оболенский, писавший в своих мемуарах: «Восстание большевиков 3 июля было легко ликвидировано и почти без кровопролития» (*Оболенский В. А.* Моя жизнь, мои современники. Париж, 1988. С. 411).

lib.pushkinskijdom.ru

РУССКАЯ ИДЕЯ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА И ПРИМЕЧАНИЯ В. А. КОТЕЛЬНИКОВА)

Публикуемый труд Бердяева составляет такую философскую параллель к истории новой русской литературы, без которой духовная природа последней не может быть понята вполне. Бердяев раскрывает метафизические, религиозные, нравственные интенции русского сознания, находя это сознание пронизанным эсхатологическими ожиданиями, ибо «русский народ есть народ конца, а не середины исторического процесса». Философские экспликации Бердяева, как и все его «острые и страстные» реакции, действуют возбуждающе на историко-литературную мысль. Они требуют более глубокого вхождения в словесную художественную культуру нового времени, в которой «русская идея» нашла самое полное свое выражение. Не есть ли эта «русская идея» — «ожидание новой эпохи в христианстве, эпохи Св. Духа»? — так ставит вопрос Бердяев, обобщая главные мотивы умственного движения и поэтического творчества последних столетий.

Вероятно, современные литературоведческие реплики Бердяеву должны отвечать такой постановке вопроса. Для того, конечно, потребуются и новая эмпирическая проработка материала, и иная, дающая больший простор мировоззренческая перспектива. Во всяком случае не только оправдано, но и прямо необходимо присутствие бердяевской концепции, его иногда весьма отрывисто и резко сделанных очерков в нашем исследовательском поле.

Текст книги печатается по изданию: *Бердяев Н.* Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. YMCA-PRESS. Paris, 1971. Послесловие к публикации будет помещено в четвертом номере журнала.

Николай Бердяев

РУССКАЯ ИДЕЯ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ МЫСЛИ XIX ВЕКА И НАЧАЛА XX ВЕКА

Глава I

Историческое введение. Определение русского национального типа. Восток и Запад. Противоположности русской души. Прерывность русской истории. Русская религиозность. Москва — Третий Рим. Раскол XVII века. Реформа Петра. Масонство. Эпоха Александра I. Декабристы. Пушкин. Русская интеллигенция. Радищев. Интеллигенция и действительность. Трагическая судьба философии. Влияние немецкого идеализма.

1

Есть очень большая трудность в определении национального типа, народной индивидуальности. Тут невозможно дать строго научного определения. Тайна всякой индивидуальности узнается лишь любовью и в ней всегда есть что-то непостижимое до конца, до последней глубины. Меня будет интересовать не столько вопрос о том, чем эмпирически была Россия, сколько вопрос о том, что замыслил Творец о России,

© Котельников В. А., вступительная заметка, примечания, 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

умопостигаемый образ русского народа, его идея. Тютчев сказал: «Умом России не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить». Для постижения России нужно применить теологальные добродетели веры, надежды и любви. Эмпирически столь многое отталкивает в русской истории. Это так сильно выражено в стихотворении верующего славянофила Хомякова о грехах России.[1] Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей.* Им можно очароваться и разочароваться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен внушать к себе сильную любовь и сильную ненависть. Это народ, вызывающий беспокойство народов Запада. Всякая народная индивидуальность, как и индивидуальность человека, есть микрокосм и потому заключает в себе противоречия, но это бывает в разной степени. По поляризованности и противоречивости русский народ можно сравнить лишь с народом еврейским. И не случайно именно у этих народов сильно мессианское сознание. Противоречивость и сложность русской души может быть связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории — Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное.

Есть соответствие между необъятностью, безгранностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географией физической и географией душевной. В душе русского народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине. Поэтому русскому народу трудно было овладеть этими огромными пространствами и оформить их. У русского народа была огромная сила стихии и сравнительная слабость формы. Русский народ не был народом культуры по преимуществу, как народы Западной Европы, он был более народом откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности. У народов Западной Европы все гораздо более детерминировано и оформлено, все разделено на категории и конечно. Не так у русского народа, как менее детерминированного, как более обращенного к бесконечности и не желающего знать распределения по категориям. В России не было резких социальных граней, не было выраженных классов. Россия никогда не была в западном смысле страной аристократической, как не стала буржуазной. Два противоположных начала легли в основу формации русской души: природная, языческая дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие. Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; эсхатологически-мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт. Но никогда русское царство не было буржуазным. В определении характера русского народа и его призвания необходимо делать выбор, который я назову выбором эсхатологическим по конечной цели. Поэтому неизбежен также выбор века, как наиболее характеризующего русскую идею и русское призвание. Таким веком я буду считать XIX век, век мысли и слова и вместе с тем век острого раскола, столь для России характерного, как внутреннего освобождения и напряженных духовных и социальных исканий.

Для русской истории характерна прерывность. В противоположность мнению славянофилов, она менее всего органична. В русской истории есть уже пять периодов, которые дают разные образы. Есть Россия киевская, Россия времен татарского ига, Россия московская, Россия петровская и Россия советская. И возможно, что будет еще новая Россия. Развитие России было катастрофическим. Московский период был самым плохим периодом в русской истории, самым душным, наиболее азиатско-татарским

* Я это выразил в старом этюде «Душа России», который вошел в мою книгу «Судьба России».[2]

lib.pushkinskijdom.ru

по своему типу и по недоразумению его идеализировали свободолюбивые славянофилы. Лучше был киевский период и период татарского ига, особенно для церкви и уж, конечно, был лучше и значительнее дуалистический, раскольничий петербургский период, в котором наиболее раскрылся творческий гений русского народа. Киевская Россия не была замкнута от Запада, была восприимчивее и свободнее, чем Московское царство, в удушливой атмосфере которого угасла даже святость (менее всего святых было в этот период).* Особенное значение XIX века определяется тем, что после долгого безмыслия русский народ, наконец, высказал себя в слове и мысли и сделал это в очень тяжелой атмосфере отсутствия свободы. Я говорю о внешней свободе, потому что внутренняя свобода была у нас велика. Как объяснить это долгое отсутствие просвещения в России, у народа очень одаренного и способного к восприятию высшей культуры, как объяснить эту культурную отсталость и даже безграмотность, это отсутствие органических связей с великими культурами прошлого? Высказывалась мысль, что перевод Священного Писания Кириллом и Мефодием на славянский язык был неблагоприятен для развития русской умственной культуры, ибо произошел разрыв с греческим и латинским языком.[4] Церковнославянский язык стал единственным языком духовенства, т. е. единственной интеллигенции того времени, греческий и латинский языки не были нужны. Не думаю, чтобы этим можно было объяснить отсталость русского просвещения, безмыслие и безмолвие допетровской России. Нужно признать характерным свойством русской истории, что в ней долгое время силы русского народа оставались как бы в потенциальном, не актуализированном состоянии. Русский народ был подавлен огромной тратой сил, которой требовали размеры русского государства. Государство крепло, народ хирел, говорит Ключевский.[5] Нужно было овладеть русскими пространствами и охранять их. Русские мыслители XIX века, размышляя о судьбе и призвании России, постоянно указывали, что эта потенциальность, невыраженность, неактуализированность сил русского народа и есть залог его великого будущего. Верили, что русский народ, наконец, скажет свое слово миру и обнаружит себя. Общепринято мнение, что татарское иго имело роковое влияние на русскую историю и отбросило русский народ назад. Влияние же византийское внутренно подавило русскую мысль и делало ее традиционно-консервативной. Необычайный, взрывчатый динамизм русского народа обнаружился в его культурном слое лишь от соприкосновения с Западом и после реформы Петра. Герцен говорил, что на реформу Петра русский народ ответил явлением Пушкина.[6] Мы прибавим: не только Пушкина, но и самих славянофилов, но и Достоевского и Л. Толстого, но и искателей правды, но и возникновением оригинальной русской мысли.

История русского народа одна из самых мучительных историй: борьба с татарскими нашествиями и татарским игом, всегдашняя гипертрофия государства, тоталитарный режим Московского царства, смутная эпоха, раскол, насильственный характер петровской реформы, крепостное право, которое было самой страшной язвой русской жизни, гонения на интеллигенцию, казнь декабристов, жуткий режим прусского юнкера Николая I, безграмотность народной массы, которую держали в тьме из страха, неизбежность революции для разрешения конфликтов и противоречий и ее насильственный и кровавый характер и, наконец, самая страшная в мировой истории война. С киевской Россией, с Владимиром Святым связаны былины и богатыри. Но рыцарство не развилось на духовной почве православия. В мученичестве св. Бориса и св. Глеба нет героизма, преобладает идея жертвы. Подвиг непротивления — русский подвиг. Опрощение и уничижение — русские черты. Также характерно для русской религиозности — юродство — принятие поношения от людей, посмеяние миру, вызов миру. Характерно исчезновение святых князей после перенесения греховной власти на великих князей московских. И не случайно произошло вообще оскудение святости в Московском царстве. Самосжигание как религиозный подвиг — русское национальное явление, почти неведомое другим народам.[7] То, что называли у нас двоеверием, т. е. соединение

* См. *Г. П. Федотов.* «Святые древней Руси».[3]

lib.pushkinskijdom.ru

православной веры с языческой мифологией и народной поэзией, объясняет многие противоречия в русском народе. В русской стихии всегда сохранялся и сохраняется и доныне дионисический, экстатический элемент. Один поляк сказал мне в разгаре русской революции: Дионизос прошел по русской земле. С этим связана огромная сила русской хоровой песни и пляски. Русские люди склонны к оргиям с хороводами. То же мы видим в народных мистических сектах, например в хлыстовстве.[8] Известна склонность русского народа к разгулу и анархии при потере дисциплины. Русский народ не только был покорен власти, получившей религиозное освящение, но он также породил из своих недр Стеньку Разина, воспетого в народных песнях, и Пугачева. Русские — бегуны и разбойники. И русские — странники, ищущие Божьей правды. Странники отказываются повиноваться властям. Путь земной представлялся русскому народу путем бегства и странничества. Россия всегда была полна мистико-пророческих сект. И в них всегда была жажда преображения жизни. Это было и в жуткой, дионисической секте хлыстов. В духовных стихах была высокая оценка нищенства и бедности. Излюбленная тема их — безвинное страдание. В духовных стихах есть очень большое чувство социальной неправды. Происходит борьба правды и кривды.[9] Но в них чувствуется народный пессимизм. В народном понимании спасения милостыня имеет первостепенное значение. Очень сильна в русском народе религия земли, это заложено в очень глубоком слое русской души. Земля — последняя заступница. Основная категория — материнство. Богородица идет впереди Троицы и почти отождествляется с Троицей. Народ более чувствовал близость Богородицы-Заступницы, чем Христа. Христос — Царь Небесный, земной образ Его мало выражен. Личное воплощение получает только мать-земля.[10] Часто упоминается о Духе Св. Г. Федотов подчеркивает, что в духовных стихах недостает веры в Христа-Искупителя, Христос остается судьей, т. е. народ как бы не видит кенозиса Христа.[11] Народ сам принимает страдание, но как будто бы мало верит в милосердие Христа. Г. Федотов объясняет это роковым влиянием иосифлянства, исказившего образ Христа у русского народа. И русский народ хочет укрыться от страшного Бога Иосифа Волоцкого [12] за матерью землей, за Богородицей. Образ Христа, образ Бога был подавлен образом земной власти и представлялся по аналогии с ней. Вместе с тем в русской религиозности всегда был силен эсхатологический элемент.[13] Если, с одной стороны, русская народная религиозность связывала божественный и природный мир, то, с другой стороны, апокрифы, книги, имевшие огромное влияние, говорили о грядущем приходе Мессии. Эти разные начала русской религиозности будут сказываться и в мысли XX века.

Иосиф Волоцкой и Нил Сорский [14] являются символическими образами в истории русского христианства. Столкновение их связывают с монастырской собственностью. Иосиф Волоцкой был за собственность монастырей, Нил Сорский — за нестяжательство. Но различие их типов гораздо глубже. Иосиф Волоцкой представитель православия, обосновавшего и освящавшего Московское царство, православия государственного, потом ставшего императорским православием. Он сторонник христианства жестокого, почти садического, властолюбивого, защитник розыска и казни еретиков, враг всякой свободы. Нил Сорский сторонник более духовного, мистического понимания христианства, защитник свободы по понятиям того времени, он не связывал христианство с властью, был противник преследования и истязания еретиков. Нил Сорский — предшественник вольнолюбивого течения русской интеллигенции. Иосиф Волоцкой — роковая фигура не только в истории православия, но и в истории русского царства. Его пробовали канонизировать, но в сознании русского народа он не сохранился как образ святого. Вместе с Иоанном Грозным его нужно считать главным обоснователем русского самодержавия. Мы тут прикасаемся к двойственности русского мессианского сознания и к его главному срыву. После народа еврейского русскому народу наиболее свойственна мессианская идея, она проходит через всю русскую историю вплоть до коммунизма. Для истории русского мессианского сознания очень большое значение имеет историософическая идея инока Филофея [15] о Москве как Третьем Риме. После падения православного Византийского царства, Московское царство осталось единственным православным

lib.pushkinskijdom.ru

царством. Русский царь, говорит инок Филофей, «един-то во всей поднебесной христианский царь». «Престол вселенския и апостольския церкви имел представительницей церковь Пресв. Богородицы в богоносном граде Москве, просиявшую вместо Римской и Константинопольской, иже едина во всей вселенной паче солнца светится».[16] Люди Московского царства считали себя избранным народом. Некоторые, как, например, П. Милюков, указывают на славяно-болгарское влияние на московскую идеологию Третьего Рима.* Но если и признать болгарское происхождение идеи инока Филофея, то это не меняет значения этой идеи для судьбы русского народа. В чем была двойственность идеи Москвы — Третьего Рима? Миссия России быть носительницей и хранительницей истинного христианства, православия. Это призвание религиозное. «Русские» определяются «православием». Россия единственное православное царство и в этом смысле царство вселенское, подобно первому и второму Риму. На этой почве происходила острая национализация православной церкви. Православие оказалось русской верой. В духовных стихах Русь — вселенная, русский царь — царь над царями, Иерусалим та же Русь, Русь там, где истина веры. Русское религиозное призвание, призвание исключительное, связывается с силой и величием русского государства, с исключительным значением русского царя. Империалистический соблазн входит в мессианское сознание. Это все та же двойственность, которая была и в древнееврейском мессианизме. Московские цари считали себя преемниками византийских императоров. Преемство доводили до Августа Цезаря. Рюрик оказывался потомком Пруста, брата Цезаря, основавшего Пруссию.[18] Иоанн Грозный, производя себя от Пруста, любил называть себя немцем. Царский венец перешел на Русь. Преемство вело еще дальше, доводило до Навуходоносора. Есть легенда о пересылке Владимиру Мономаху греческим императором Мономахом царских регалий.[19] Из Вавилона регалии на царство достаются православному царю вселенной, так как в Византии было крушение веры и царства. Воображение работало в направлении укрепления воли к могуществу. Мессианско-эсхатологический элемент у инока Филофея ослабляется заботой об осуществлении земного царства. Духовный провал идеи Москвы как Третьего Рима был именно в том, что Третий Рим представлялся как проявление царского могущества, мощи государства, сложился как Московское царство, потом как империя и, наконец, как Третий Интернационал. Царь был признан наместником Бога на земле. Царю принадлежали заботы не только об интересах царства, но и о спасении душ. На этом особенно настаивает Иоанн Грозный. Соборы созывались по повелению царей. Поразительно малодушие и угодничество собора 1572 года.[20] Желание царя было законом для архиереев в церковных делах. Божье воздавалось кесарю. Церковь была подчинена государству, не только со времен Петра Великого, но и в Московской России. Понимание христианства было рабье. Трудно представить себе большее извращение христианства, чем отвратительный «Домострой». Ив. Аксаков даже отказывался понять, как такую низкую мораль, как мораль «Домостроя», мог породить русский народный характер.[21] Идеология Москвы как Третьего Рима способствовала укреплению и могуществу московского государства, царского самодержавия, а не процветанию церкви, не возрастанию духовной жизни. Христианское призвание русского народа было искажено. Впрочем, то же случилось и с первым и вторым Римом, которые очень мало осуществляли христианство в жизни. Московская Россия шла к расколу, который стал неизбежен при низком уровне просвещения. Московское царство было тоталитарным по своему принципу и стилю. Это была теократия с преобладанием царства над священством. И вместе с тем в этом тоталитарном царстве не было цельности, оно было чревато разнообразными расколами.

Раскол XVII века имел для всей русской истории гораздо большее значение, чем принято думать. Русские — раскольники, это глубокая черта нашего народного характера. Консерваторам, обращенным к прошлому, XVII век представляется органическим веком русской истории, которому они хотели бы подражать. Этим грешили

---

* См. *П. Милюков.* «Очерки по истории русской культуры», т. III, Национализм и европеизм.[17]

lib.pushkinskijdom.ru

и славянофилы. Но это историческая иллюзия. В действительности то был век смуты и раскола. Смутная эпоха, которая потрясла всю русскую жизнь, меняет народную психику. Она надорвала силы России. В ней обнаружилась глубокая социальная вражда, ненависть к боярам в народном слое, которая нашла себе выражение в народной вольнице. Казацкая вольница была очень замечательным явлением в русской истории, она наиболее обнаруживает полярность, противоречивость русского народного характера. С одной стороны, русский народ смиренно помогал образованию деспотического, самодержавного государства. Но с другой стороны, он убегал от него в вольницу, бунтовал против него. Стенька Разин, характерно русский тип, представитель «варварских казаков», голытьбы. В смутную эпоху было уже явление, сходное с явлением XX века, с эпохой революции. Колонизация была совершена в России вольным казачеством. Ермак подарил русскому государству Сибирь. Но вместе с тем казацкая вольница, в которой было несколько слоев, представляла анархический элемент в русской истории, в противовес государственному абсолютизму и деспотизму. Она показала, что может быть уход из государства, ставшего невыносимым, в вольные поля. В XIX веке русская интеллигенция ушла из государства по-иному и в других условиях, но также ушла к вольности. Щапов думает, что Стенька Разин был порождением раскола. Так же в жизни религиозной, многие секты и ереси были уходом из официальной церковности, в которой был тот же гнет, что и в государстве, и духовная жизнь омертвела. Элемент правды был в сектах и ересях в противоположность неправде государственной церковности. Та же правда была в уходе Л. Толстого. Но наибольшее значение имел наш церковный раскол. С него начинается глубокое раздвоение в русской жизни и русской истории, внутренняя расколотость, которая будет продолжаться до русской революции. И многое тут находит свое объяснение. Это кризис русской мессианской идеи.

Ошибочно думать, как это часто раньше утверждали, что религиозный раскол XVII века произошел из-за мелочных вопросов обрядоверия, из-за единогласия и многогласия, из-за двуперстия и пр. Бесспорно немалую роль в нашем расколе играл низкий уровень образования, русский обскурантизм. Обрядоверие занимало слишком большое место в русской церковной жизни. Православная религиозность исторически сложилась в тип храмового благочестия. При низком уровне просвещения это вело к обоготворению исторически относительных и временных обрядовых форм. Максим Грек, который был близок к Нилу Сорскому, обличал невежественное обрядоверие и пал жертвой.[22] Его положение было трагическим в невежественном русском обществе. В московской России была настоящая боязнь просвещения. Наука вызывала подозрение как «латинство». Москва не была центром просвещения. Центр был в Киеве. Раскольники были даже грамотнее православных. Патриарх Никон не знал, что русский церковный чин был древнегреческий и потом у греков изменился.[23] Главный герой раскола, протопоп Аввакум, несмотря на некоторые богословские познания, был, конечно, обскурантом. Но вместе с тем это был величайший русский писатель допетровской эпохи. Обскурантское обрядоверие было одним из полюсов русской религиозной жизни, но на другом полюсе было искание Божьей правды, странничество, эсхатологическая устремленность. И в расколе сказалось и то и другое. Тема раскола была темой историософической, связанной с русским мессианским призванием, темой о царстве.[24] В основу раскола легло сомнение в том, что русское царство, Третий Рим, есть истинное православное царство. Раскольники почуяли измену в церкви и государстве, они перестали верить в святость иерархической власти в русском царстве. Сознание богооставленности царства было главным движущим мотивом раскола. Раскольники начали жить в прошлом и будущем, но не в настоящем. Они вдохновлялись социально-апокалиптической утопией. Отсюда на крайних пределах раскола — «нетовщина», явление чисто русское.[25] Раскол был уходом из истории, потому что историей овладел князь этого мира, антихрист, проникший на вершины церкви и государства. Православное царство уходит под землю. Истинное царство есть Град Китеж, находящийся под озером. Левое крыло раскола, наиболее интересное, принимает резко апокалиптическую окраску. Отсюда напряженное искание

lib.pushkinskijdom.ru

царства правды, противоположного этому нынешнему царству. Так было в народе, так будет в русской революционной интеллигенции XIX века, тоже раскольничьей, тоже уверенной, что злые силы овладели церковью и государством, тоже устремленной к Граду Китежу, но при ином сознании, когда «нетовщина» распространилась на самые основы религиозной жизни. Раскольники провозгласили гибель Московского православного царства и наступление царства антихриста. Аввакум видит в царе Алексее Михайловиче слугу антихриста.[26] Когда Никон сказал: «Я русский, но вера моя греческая», он нанес страшный удар идее Москвы как Третьего Рима. Греческая вера представлялась не православной верой, только русская вера — православная, истинная вера. Истинная вера связана с истинным царством. Истинным царством должно было бы быть русское царство, но этого истинного царства больше нет на поверхности земли. С 1666 года началось в России царство антихриста. Истинное царство нужно искать в пространстве под землей, во времени — искать в грядущем, окрашенном апокалиптически. Раскол внушал русскому народу ожидание антихриста и он будет видеть явление антихриста и в Петре Великом, и в Наполеоне, и во многих других образах. Образовались раскольничьи скиты в лесах. Бежали в леса, горы и пустыни от царства антихриста. Стрельцы были раскольники. Вместе с тем раскольники обнаружили огромную способность к общинному устройству и самоуправлению. Народ требовал свободы земского дела, и земское дело начало развиваться помимо государственного дела. Это противоположение общества и государства, столь характерное для нашего XIX века, мало понятно западным людям. Очень еще характерно для русского народа появление самозванных царей из народа и пророков исцелителей. Самозванство — чисто русское явление. Пугачев мог преуспеть, только выдав себя за Петра III. Протопоп Аввакум верил в свое избранничество и обладание особой благодатью Духа Св., он считал себя святым, был целителем. Он говорил: «Небо мое и земля моя, свет мой и вся тварь — Бог мне дал».[27] Пытки и истязания, которые вынес Аввакум, превосходили человеческие силы. Раскол подорвал силы русской церкви, умалил авторитет иерархии и сделал возможной и объяснимой церковную реформу Петра. Но в расколе было два элемента — религиозный и революционный. Значение левого крыла раскола — беспоповства в том, что он сделал русскую мысль свободной и дерзновенной, отрешенной и обращенной к концу. И обнаружилось необыкновенное свойство русского народа — выносливость к страданию, устремленность к потустороннему, к конечному.

2

Реформа Петра Великого была и совершенно неизбежна, подготовлена предшествующими процессами и вместе с тем насильственна, была революцией сверху. Россия должна была выйти из замкнутого состояния, в которое ее ввергло татарское иго и весь характер Московского царства, азиатского по стилю, и выйти в мировую ширь. Без насильственной реформы Петра, столь во многом мучительной для народа, Россия не могла бы выполнить своей миссии в мировой истории и не могла бы сказать свое слово. Историки, не интересующиеся духовной стороной вопроса, достаточно выяснили, что без реформ Петра самое русское государство не могло бы себя защитить и не могло бы развиваться. Славянофильская точка зрения на реформу Петра не выдерживает критики и совершенно устарела, как и чисто западническая точка зрения, отрицавшая своеобразие русского исторического процесса. При всей замкнутости Московского царства, сношения с Западом начались еще в XV веке.* И Запад все время боялся усиления Москвы. В Москве существовала немецкая слобода и немецкое вторжение в Россию началось до Петра. Русская торговля и промышленность в XVII веке были захвачены иностранцами, в начале особенно англичанами и голландцами. Уже в допетровской России были люди, выходившие из тоталитарного строя Московского царства. Таков отщепенец кн. Хворо-

*См. книгу С. Ф. Платонова: «Москва и Запад».[28]

lib.pushkinskijdom.ru

стинин,[29] и таков денационализировавшийся В. Котошихин.[30] Ордын-Нащекин[31] был предшественник Петра. Предшественником же славянофилов был хорват Крижанич.[32] Петр Великий, ненавидевший весь стиль Московского царства и издевавшийся над московскими обычаями, был типичный русак. Только в России мог появиться такой необычайный человек. Русскими чертами в нем были: простота, грубость, нелюбовь к церемониям, условностям, этикету, своеобразный демократизм, любовь к правде и любовь к России. И вместе с тем в нем пробуждалась стихия дикого зверя. В Петре были черты сходства с большевиками. Он и был большевик на троне. Он устраивал шутовские, кощунственные церковные процессии, очень напоминающие большевицкую антирелигиозную пропаганду. Петр секуляризировал русское царство и приобщил его к типу западного просвещенного абсолютизма. Московское царство не осуществило мессианской идеи Москвы — Третьего Рима. Но дело Петра создало пропасть между полицейским абсолютизмом и священным царством. Произошел разрыв между высшими руководящими слоями русского общества и народными массами, в которых сохранились старые религиозные верования и упования. Западные влияния, приведшие к замечательной русской культуре XIX века, не были благоприятны для народа. Возросла сила дворянства, которое стало совсем чуждо народу. Самый стиль жизни дворян-помещиков был непонятен народу. Именно в Петровскую эпоху, в царствование Екатерины II русский народ окончательно подпал под власть крепостного права. Весь петровский период русской истории был борьбой Запада и Востока в русской душе. Петровская императорская Россия не имела единства, не имела своего единого стиля. Но в ней стал возможен необыкновенный динамизм. Историки сейчас признают, что уже XVII век был веком раскола и началом западного образования, началом критической эпохи. Но с Петра мы вступаем окончательно в критическую эпоху. Империя не была органической, и она легла тяжелым гнетом на русскую жизнь. От реформы Петра идет дуализм, столь характерный для судьбы России и русского народа, в такой степени неведомый народам Запада. Если уже Московское царство вызвало религиозные сомнения в русском народе, то эти сомнения очень усилились относительно петровской империи. И вместе с тем неверен распространенный взгляд, что Петр, создавший Св. Синод по немецкому лютеранскому образцу, поработил и ослабил церковь. Вернее сказать, что церковная реформа Петра была уже результатом ослабления церкви, невежества иерархии и потери ее нравственного авторитета. Св. Дмитрий Ростовский,[33] прибывший в Ростов из более культурного юга, — в Киеве образовательный уровень был несоизмеримо выше, — поражен грубостью, невежеством и одичанием. Петру приходилось работать и производить реформы в страшной тьме, в атмосфере обскурантизма, он был окружен ворами. Было бы несправедливо во всем винить Петра. Но насильнический характер Петра ранил народную душу. Создалась легенда, что Петр — антихрист. Мы увидим, что интеллигенция, образовавшаяся в результате дела Петра, примет универсализм Петра, его обращенность к Западу и отвергнет империю.

Западная культура в России XVIII века была поверхностным барским заимствованием и подражанием. Самостоятельная мысль еще не пробудилась. Сначала преобладали у нас французские влияния и была усвоена поверхностная просветительная философия. Западную культуру русские бары XVIII века усвоили себе в форме плохо переваренного вольтерианства. Этот вольтерианский налет оставался в известной части русского дворянства и весь XIX век, когда у нас появились уже более самостоятельные и глубокие направления мысли. В общем, уровень научного образования в XVIII веке был очень низок. Пропасть же между верхним слоем и народом все возрастала. Умственная опека нашего просвещенного абсолютизма очень мало делала положительного и лишь задерживала пробуждение свободной общественной мысли. Бецкий[34] сказал о помещиках, что они говорят: «Не хочу, чтобы философами были те, кто мне служить должны».* Образование народа считалось вредным и опасным. То же самое

*См. *А. Щапов.* «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа».

lib.pushkinskijdom.ru

думал Победоносцев в конце XIX века и в начале XX века.[35] Между тем как Петр Великий говорил, что русский народ способен к науке и умственной деятельности, как все народы. Только в XIX веке русские по-настоящему научились мыслить. Наши вольтерианцы не мыслили свободно. Ломоносов был гениальным ученым, предвосхитившим многие открытия XIX и XX веков в физике и химии, он создал науку физической химии. Но его одиночество среди окружавшей его тьмы было трагическим. Для интересующей нас истории русского самосознания он имел мало значения. Русская литература началась с сатиры, но ничего замечательного не дала.

Масонство было у нас в XVIII веке единственным духовно-общественным движением, значение его было огромно. Первые масонские ложи возникли еще в 1731—1732 годах. Лучшие русские люди были масонами. Первоначальная русская литература имела связь с масонством. Масонство было первой свободной самоорганизацией общества в России, только оно и не было навязано сверху властью. Масон Новиков был главным деятелем русского просвещения XVIII века.* Эта широкая просветительная деятельность внушила опасения правительству. Екатерина II была вольтерианка и относилась враждебно к мистицизму масонства. Но потом к этому присоединились политические опасения Екатерины, которая все более склонялась к реакции и даже стала националисткой. Масонские ложи были закрыты в 1783 году. Не Екатерине подобало контролировать православие Новикова. Но на запрос Екатерины митрополит Платон ответил, что он «молит Бога, чтобы во всем мире были христиане таковы, как Новиков».[37] Новиков интересовался главным образом нравственной и социальной стороной масонства. Моралистическое направление Новикова было характерно для пробуждения русской мысли. В России нравственный элемент всегда преобладал над интеллектуальным. Для Новикова масонство было исходом «на распутьи между вольтерианством и религией». В XVIII веке в масонских ложах укрывался спиритуализм от исключительного господства просветительного рационализма и материализма. Мистическое масонство было враждебно просветительной философии и энциклопедистам. Новиков относился очень подозрительно к Дидро. Он издавал не только западных мистиков и христианских теософов, но и отцов церкви.

Русские масоны искали истинного христианства. И трогательно видеть, как русские масоны все время хотели проверить, нет ли в масонстве чего-либо враждебного христианству и православию. Сам Новиков думал, что масонство и есть христианство. Он был ближе к английскому масонству. Ему было чуждо увлечение алхимией и магией, оккультными науками. Неудовлетворенность официальной церковностью, в которой ослабела духовность, была одной из причин возникновения мистического масонства в России. Недовольные видимым храмом, они хотели построить невидимый храм. Масонство было у нас стремлением к внутренней церкви, на видимую церковь смотрели как на переходное состояние. В масонстве произошла формация русской культурной души, оно давало аскетическую дисциплину души, оно вырабатывало нравственный идеал личности. Православие было, конечно, более глубоким влиянием на души русских людей, но в масонстве образовывались культурные души петровской эпохи и противопоставлялись деспотизму власти и обскурантизму. Влияние масонства подготовило у нас и пробуждение философской мысли в 30-е годы, хотя в самом масонстве оригинальных философских мыслей не было. В масонской атмосфере происходило духовное пробуждение. И нужно запомнить имена Новикова, Шварца, И. Лопухина, И. Гамалеи.[38] Наиболее философским масоном был Шварц, он был, может быть, первым в России философствующим человеком. В стороне стоял в XVIII веке украинский философ-теософ Сковорода.[39] Это был замечательный человек, народный мудрец, но он не имел прямого влияния на наши умственные течения XIX века. Шварц имел философское образование. Он в отличие от Новикова интересовался оккультными науками и считал себя розенкрейцером.[40] Русские масоны всегда были очень далеки от радикального иллюминатства

* См. *Боголюбов.* «Н. И. Новиков и его время».[36]

lib.pushkinskijdom.ru

Вейсгаупта.[41] Екатерина все путала, может быть и нарочно, она смешивала мартинистов [42] с иллюминатами. В действительности большая часть русских масонов была монархистами и противниками французской революции. Но масонов мучила социальная несправедливость, и они хотели большего социального равенства. Новиков идеи равенства выводил из Евангелия, а не из естественного права. И. Лопухин, который был сначала под влиянием энциклопедистов и переводил Гольбаха, сжег свой перевод. Он искал очищенного духовного христианства и написал книгу о внутренней церкви. В XVIII веке в русской душе, получившей прививку западной мысли, происходила борьба Сен-Мартена [43] и Вольтера. Сен-Мартен имел огромное влияние у нас в конце XVIII века и был рано переведен в масонских изданиях. Огромным авторитетом пользовался Я. Беме,[44] тоже переведенный в масонских изданиях. Интересно, что в начале XIX века, когда у нас было мистическое движение и в культурном слое и в народе, Я. Беме проник и в народный слой, охваченный духовными исканиями, и его настолько почитали, что даже называли «иже во отцех наших святой Яков Беме». Переводили у нас также английского последователя Я. Беме, Портеджа.[45] Из более второстепенных западных мистиков теософического типа переводили Штиллинга и Эккартгаузена, которые были очень популярны.[46] Трагическим моментом в истории масонства XVIII века был арест Новикова и закрытие его типографии. Новиков был приговорен к 15 годам Шлиссельбургской крепости. Он вышел из нее совершенно разбитым человеком. С гонений на Новикова и на Радищева начался мартиролог русской интеллигенции. О мистической эпохе Александра I и роли масонства нужно сказать отдельно.

Начало XIX века, александровская эпоха — одна из самых интересных в петербургском периоде русской истории. Это была эпоха мистических течений, масонских лож, интерконфессионального христианства, Библейского Общества, Священного Союза и теократических мечтаний, Отечественной войны, декабристов, Пушкина и развития русской поэзии, эпоха русского универсализма, который имел такое определяющее значение для русской духовной культуры XIX века.* Тогда формировалась русская душа XIX века, ее эмоциональная жизнь. Интересна была уже самая фигура русского царя. Александра I можно назвать русским интеллигентом на троне. Фигура сложная, раздвоенная, совмещающая противоположности, духовно взволнованная и ищущая. Александр I был связан с масонством и так же, как и масоны, искал истинного и универсального христианства. Он был под влиянием баронессы Крюднер,[48] молился с квакерами,[19] сочувствовал мистицизму интерконфессионального типа. Глубокой православной основы у него не было. Он в молодости прошел через отрицательное просвещение, ненавидел рабство, сочувствовал республике и французской революции. Лагарп [50] обучил его и внушил ему сочувствие свободе. Внутренняя драма Александра I была связана с тем, что он знал, что готовится убийство его сумасшедшего отца и не предупредил его. О конце его жизни создалась легенда о том, что он стал странником Федором Кузьмичем, легенда очень русская и очень правдоподобная.[51] Первая половина царствования Александра I была окрашена в цвет свободолюбия и стремления к реформам. Но самодержавный монарх в этот период истории уже не мог оставаться верен этим стремлениям своей молодости, это было психологически невозможно. Деспотические инстинкты, страх перед освободительным движением привели к тому, что Александр отдал Россию во власть Аракчеева, фигуре жуткой и страшной. Романтический русский царь был вдохновителем Священного Союза, который, по его идее, должен был быть союзом народов на почве христианского универсализма. Это был замысел социального христианства. Но эта идея не была осуществлена, на практике победил Метерних,[52] более реальный политик, про которого было сказано, что он превратил союз народов в союз князей против народов. Священный Союз стал реакционной силой.

* См. книгу Пыпина: «Религиозные движения при Александре», а также его книгу: «Русское масонство XVIII века и первой четверти XIX века». См. также книгу о. Г. Флоровского: «Пути русского богословия».[47]

lib.pushkinskijdom.ru

Царствование Александра I привело к восстанию декабристов. Было что-то роковое в том, что в это время отвратительные обскуранты Рунич и Магницкий были мистико-идеалистического направления. Роковой была также фигура архимандрита Фотия,[53] представителя «черносотенного» православия, для которого и министр духовных дел, кн. Голицын,[54] был революционером. Более чистым явлением был Лабзин и его «Сионский Вестник».[55] Когда Александру I испуганные реакционеры указывали на опасность масонских лож и освободительных стремлений в части гвардии, то он принужден был сказать, что сам он всему этому сочувствовал и все это подготовлял. Из александровской эпохи с ее интерконфессиональным христианством, Библейским Обществом, мистической настроенностью вышел и митрополит Филарет, очень талантливый, но двойственный по своей роли.[56]

Мистическое движение в эпоху Александра I было двойственно. С одной стороны, в масонских мистических ложах, окрашенных более или менее мистически, воспитывались декабристы. С другой стороны, мистическое движение принимало обскурантский характер. Двойственность была в самом Библейском Обществе, и эта двойственность воплотилась в фигуре кн. Голицына. Библейское Общество было навязано сверху правительством. Приказано было быть мистиками и интерконфессиональными христианами. Запрещались даже книги в защиту православной церкви. Но когда вышел обратный приказ власти, то Общество мгновенно изменилось и начало говорить то, что нужно было таким людям, как Магницкий. Действительное духовное и освободительное движение было только в очень небольшой группе. Декабристы составляли незначительное меньшинство, не имевшее опоры ни в более широких кругах верхнего слоя дворянства и чиновничества, ни в широких массах, веровавших в религиозное освящение самодержавной власти царя. И они были обречены на гибель. Чацкий был тип декабриста. Но окружен он был Фамусовыми, восклицавшими в ужасе о «франмасонах», и Молчалиными. Необыкновенную честь русскому дворянству делает то, что в своем верхнем аристократическом слое оно создало движение декабристов, первое освободительное движение в России, открывшее революционный век. XIX век будет веком революции. Высший слой русской гвардии, наиболее культурный в то время, проявил большое бескорыстие. Богатые помещики и гвардейские офицеры не могли примириться с тяжелым положением крепостных крестьян и солдат. Огромное значение в возникновении движения имело пребывание русских войск за границей после 12-го года. Многие декабристы были люди умеренные и даже монархисты, хотя и противники монархии самодержавной. Они представляли самый культурный слой русского дворянства. В восстании декабристов участвовали имена русской знати. Некоторые историки указывают, что люди 20-х годов, т. е. как раз участники движения декабристов, были более закалены, менее чувствительны, чем люди 30-х годов. В поколении декабристов было больше цельности и ясности, меньше беспокойства и взволнованности, чем в последующем поколении. Это отчасти объясняется тем, что декабристы были военные, участвовали в войне и за ними стоял положительный факт Отечественной войны. Для последующего поколения была закрыта возможность практической общественной деятельности, и за ними стоял ужас жестоко подавленного восстания декабристов Николаем I. Была огромная разница в атмосфере эпохи Александра I и эпохи Николая I. Русские души подготовлялись в александровскую эпоху. Но творческая мысль пробудилась уже в николаевскую эпоху, и она была обратной стороной, полярно противоположным полюсом политики гнета и мрака. Русская мысль засветилась во тьме. Первым культурным свободолюбивым человеком в России был масон и декабрист, но он не был еще самостоятельно мыслящим. Культурному слою русского дворянства начала XIX века свойственны были благородство и возвышенность. Декабристы прошли через масонские ложи. Пестель был масон. Н. Тургенев был масоном и даже сочувствовал иллюминатству Вейсгаупта, т. е. самой левой форме масонства.[57] Но масонство не удовлетворяло декабристов, оно казалось слишком консервативным, масоны должны были повиноваться правительству. Масоны не столько требовали уничтожения

lib.pushkinskijdom.ru

крепостного права, сколько гуманности. Кроме масонских лож, Россия была покрыта тайными обществами, подготовлявшими политический переворот. Таким первым тайным обществом был «Союз спасения». Были «Союз добродетели», «Союз благоденствия».* Влияние оказывали Радищев, стихи Рылеева. Сочувствовали французской революции и греческому восстанию. Но среди декабристов не было полного единомыслия, были разные течения, более умеренные и более радикальные. Пестель и южное общество представляли левое, радикальное крыло декабризма. Пестель был сторонник республики через диктатуру, в то время как северное общество было против диктатуры. Пестеля можно считать первым русским социалистом; социализм его был, конечно, аграрным. Он — предшественник революционных движений в русской интеллигенции. Указывали на влияние на Пестеля «идеолога» Дести де Траси.[59] Декабрист Лунин лично знал Сен-Симона.[60] Для России характерно и очень отличает ее от Запада, что у нас не было и не будет значительной и влиятельной буржуазной идеологии. Русская мысль XIX века будет социально окрашена. Неудача декабристов приведет к отвлеченному идеализму 30-х и 40-х годов. Русские люди очень мучились от невозможности деятельности. Русский романтизм был в значительной степени результатом этой невозможности активной мысли и деятельности. Развилась восторженная чувствительность. Было увлечение Шиллером, и Достоевский впоследствии будет употреблять имя «Шиллера» как символ «возвышенного и прекрасного». Роковая неудача Пестеля привела к появлению прекрасного мечтательного юноши Станкевича. Одиночество молодежи 30-х годов будет более ужасно, чем одиночество поколения декабристов, и оно приведет к меланхолии.** Масоны и декабристы подготовляют появление русской интеллигенции XIX века, которую на Западе плохо понимают, смешивая с тем, что там называют intellectuels.[62] Но сами масоны и декабристы, родовитые русские дворяне, не были еще типичными интеллигентами и имели лишь некоторые черты, предваряющие явление интеллигенции. Не был еще интеллигентом Пушкин, величайшее явление русской творческой гениальности первой трети века, создатель русского языка и русской литературы. Наиболее изумительной чертой Пушкина, определившей характер века, был его универсализм, его всемирная отзывчивость. Без Пушкина невозможны были бы Достоевский и Л. Толстой. Но в нем было что-то ренессансное и в этом на него не походит вся великая русская литература XIX века, совсем не ренессансная по духу. Элемент ренессансный у нас только и был в эпоху Александра I и в начале XX века. Великие русские писатели XIX века будут творить не от радостного творческого избытка, а от жажды спасения народа, человечества и всего мира, от печалования и страдания о неправде и рабстве человека. Темы русской литературы будут христианские и тогда, когда в сознании своем русские писатели отступят от христианства. Пушкин, единственный русский писатель ренессансного типа, свидетельствует о том, как всякий народ значительной судьбы есть целый космос и потенциально заключает в себе все. Так Гете свидетельствует об этом для германского народа. Поэзия Пушкина, в которой есть райские звуки, ставит очень глубокую тему, прежде всего тему о творчестве. Пушкин утверждал творчество человека, свободу творчества, в то время как на другом полюсе в праве творчества усомнятся Гоголь, Л. Толстой и многие другие. Но основной русской темой будет не творчество совершенной культуры, а творчество лучшей жизни. Русская литература будет носить моральный характер, более чем все литературы мира, и скрыто-религиозный характер. Моральная проблема сильна уже у Лермонтова. Его поэзия уже не ренессансная. Пушкин был певцом свободы, вольности. Но свобода его более глубокая и независимая от политической злобы дня, чем свобода, к которой будет стремиться русская интеллигенция. К свободе стремился и Лермонтов, но с большим надрывом и раздвоением. Лермонтов, быть может, был самым религиозным из русских поэтов, несмотря на свое богоборчество. Для русской христианской проблематики очень интересно, что в александровскую эпоху жил

* См. *В. Семевский*: «Политические и общественные идеи декабристов».[58]

** См. книгу М. Гершензона: «История молодой России».[61]

lib.pushkinskijdom.ru

величайший русский поэт Пушкин и величайший русский святой Серафим Саровский, которые никогда друг о друге ничего не слышали. Это и есть проблема отношений между гениальностью и святостью, между творчеством и спасением, не разрешенная старым христианским сознанием.*

3

Русская интеллигенция есть совсем особое, лишь в России существующее духовно-социальное образование. Интеллигенция не есть социальный класс, и ее существование создает затруднение для марксистских объяснений. Интеллигенция была идеалистическим классом, классом людей целиком увлеченных идеями и готовыми во имя своих идей на тюрьму, каторгу и на казнь. Интеллигенция не могла у нас жить в настоящем, она жила в будущем, а иногда в прошедшем. Невозможность политической активности вела к исповеданию самых крайних социальных учений при самодержавной монархии и крепостном праве. Интеллигенция была русским явлением и имела характерные русские черты, но она чувствовала себя беспочвенной. Беспочвенность может быть национально русской чертой. Ошибочно считать национальным лишь верность консервативным почвенным началам. Национальной может быть и революционность. Интеллигенция чувствовала свободу от тяжести истории, против которой она восставала. Нужно помнить, что пробуждение русского сознания и русской мысли было восстанием против императорской России. И это верно не только относительно западников, но и относительно славянофилов. Русская интеллигенция обнаружила исключительную способность к идейным увлечениям. Русские были так увлечены Гегелем, Шеллингом, Сен-Симоном, Фурье, Фейербахом, Марксом, как никто никогда не был увлечен на их родине. Русские не скептики, они догматики, у них все приобретает религиозный характер, они плохо понимают относительное. Дарвинизм, который на Западе был биологической гипотезой, у русской интеллигенции приобретает догматический характер, как будто речь шла о спасении для вечной жизни. Материализм был предметом религиозной веры, и противники его в известную эпоху трактовались, как враги освобождения народа. В России все расценивалось по категориям ортодоксии и ереси. Увлечение Гегелем носило характер религиозного увлечения, и от гегелевской философии ждали даже разрешения судеб православной церкви. В фаланстеры Фурье верили, как в наступление царства Божьего. Молодые люди объяснялись в любви в терминологии натурфилософии Шеллинга. Те же свойства сказывались в увлечении Гегелем и в увлечении Бюхнером.[64] Достоевский более всего интересовался судьбой русского интеллигента, которого он называет скитальцем петербургского периода русской истории. Он будет раскрывать духовные основы этого скитальчества. Раскол, отщепенство, скитальчество, невозможность примирения с настоящим, устремленность к грядущему, к лучшей, более справедливой жизни — характерные черты интеллигенции. Одиночество Чацкого, беспочвенность Онегина и Печорина — явления, упреждающие появление интеллигенции. Интеллигенция вербуется из разных социальных слоев, она была сначала по преимуществу дворянской, потом разночинной. Лишний человек, кающийся дворянин, потом активный революционер — разные моменты в существовании интеллигенции. В 30-е годы у нас происходил выход из невыносимого настоящего. Это было вместе с тем пробуждением мысли. То, что о. Г. Флоровский неверно называет выходом из истории — «просвещение», утопизм, нигилизм, революционность, есть также историческое.** История не есть только традиция, не есть только охранение. Беспочвенность имеет свою почву, революционность есть движение истории. Когда во вторую половину XIX века у нас

* Это центральная проблема моей книги «Смысл творчества. Опыт оправдания человека», в которой я привожу пример Пушкина и св. Серафима.[63]

** См. о *Г. Флоровский*: «Пути русского богословия».

lib.pushkinskijdom.ru

окончательно сформировалась левая интеллигенция, то она приобрела характер, схожий с монашеским орденом. Тут сказалась глубинная православная основа русской души: уход из мира, во зле лежащего, аскеза, способность к жертве и перенесение мученичества. Она защищала себя нетерпимостью и резким разграничением себя с остальным миром. Психологически она наследие раскола. Только потому она могла выжить при преследованиях. Она жила весь XIX век в резком конфликте с империей, с государственной властью. В этом конфликте права была интеллигенция. То был диалектический момент в судьбе России. Вынашивалась русская идея, которой империя, в своей воле к могуществу и насилию, изменяла.

Родоначальником русской интеллигенции был Радищев, он предвосхитил и определил ее основные черты. Когда Радищев в своем «Путешествии из Петербурга в Москву» написал слова: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала», русская интеллигенция родилась. Радищев — самое замечательное явление в России XVIII века. У него можно, конечно, открыть влияние Руссо и учение об естественном праве. Он замечателен не оригинальностью мысли, а оригинальностью своей чувствительности, своим стремлением к правде, к справедливости, к свободе. Он был тяжело ранен неправдой крепостного права, был первым его обличителем, был одним из первых русских народников. Он был многими головами выше окружавшей его среды. Он утверждал верховенство совести. «Если бы закон, — говорит он, — или государь, или какая бы то ни было другая власть на земле принуждали тебя к неправде, к нарушению долга совести, то будь непоколебим. Не бойся ни унижения, ни мучений, ни страданий, ни даже самой смерти». Радищев очень сочувствовал французской революции, но он протестует против отсутствия свободы мысли и печати в разгар французской революции. Он проповедует самоограничение потребностей, призывает утешать бедняков. Радищева можно считать родоначальником радикальных революционных течений в русской интеллигенции. Главное у него не благо государства, а благо народа. Судьба его предваряет судьбу революционной интеллигенции: он был приговорен к смертной казни с заменой ссылкой на 10 лет в Сибирь. Поистине необыкновенна была восприимчивость и чувствительность русской интеллигенции. Русская мысль всегда будет занята преображением действительности. Познание будет связано с изменением. Русские в своем творческом порыве ищут совершенной жизни, а не только совершенных произведений. Даже русский романтизм стремился не к отрешенности, а к лучшей действительности. Русские искали в западной мысли прежде всего сил для изменения и преображения собственной неприглядной действительности, искали прежде всего ухода из настоящего. Они находили эти силы в немецкой философской мысли и французской социальной мысли. Пушкин, прочитав «Мертвые души», воскликнул: «Боже, как грустна наша Россия». Это восклицала вся русская интеллигенция весь XIX век. И она пыталась уйти от непереносимой грусти русской действительности в идеальную действительность. Этой идеальной действительностью была или допетровская Россия, или Запад, или грядущая революция. Русская эмоциональная революционность определялась этой непереносимостью действительности, ее неправдой и уродством. При этом переоценивалось значение самих политических форм. Интеллигенция была поставлена в трагическое положение между империей и народом. Она восстала против империи во имя народа. Россия к XIX веку сложилась в огромное мужицкое царство, скованное крепостным правом, с самодержавным царем во главе, власть которого опиралась не только на военную силу, но также и на религиозные верования народа, с сильной бюрократией, отделившей стеной царя от народа, с крепостническим дворянством, в средней массе своей очень непросвещенным и самодурным, с небольшим культурным слоем, который легко мог быть разорван и раздавлен. Интеллигенция и была раздавлена между двумя силами — силой царской власти и силой народной стихии. Народная стихия представлялась интеллигенции таинственной силой. Она противополагала себя народу, чувствовала свою вину перед народом и хотела служить народу. Тема «интеллигенция и народ» — чисто русская тема, малопонятная Западу. Во вторую половину века, интеллигенции, настроенной

lib.pushkinskijdom.ru

революционно, пришлось вести почти героическое существование, и это страшно спутало ее сознание, отвернуло ее сознание от многих сторон творческой жизни человека, сделало ее более бедной. Народ безмолвствовал и ждал часа, когда он скажет свое слово. Когда этот час настал, то он оказался гонением на интеллигенцию со стороны революции, которую она почти целое столетие готовила.

Русскому народу свойственно философствовать. Русский безграмотный мужик любит ставить вопросы философского характера — о смысле жизни, о Боге, о вечной жизни, о зле и неправде, о том, как осуществить Царство Божье. Щапов, увлеченный естественными науками в соответствии со своей эпохой, особенно подчеркивал, что нашему народному мышлению свойственно реальное, а не гуманистическое направление.* Если у нас не развились естественные науки, то вследствие возражений православных. Но все же, по мнению Щапова, в силу реалистического склада русского народа в прошлом, у нас преобладало прикладное, механическое естествознание. У русского человека действительно есть реалистическая складка, есть большие способности к техническим изобретениям, но это вполне соединимо с его духовными исканиями и с любовью философствовать о жизни. Но мнение Щапова, во всяком случае, очень одностороннее. Отчасти оно связано с тем, что в России классическое образование, в отличие от Запада, стало реакционной силой. Сам Щапов был чужд философии. Судьба философии в России мучительна и трагична. Философия постоянно подвергалась гонению, она была на подозрении. Она нашла себе приют главным образом в духовных академиях. Голубинский, Кудрявцев, Юркевич с достоинством представляли философию.[65] Но в русском православии произошел перерыв единственной возможной философской традиции. Дошло даже до такого курьеза, что одно время рационалиста и просветителя Вольфа [66] считали наиболее подходящим для православной философии. Поразительно, что философия была под подозрением и подвергалась гонению сначала справа, от русского обскурантизма, а потом и слева, где ее заподозревали в спиритуализме и идеализме, считавшимися реакционными. Шеллингианец Шадо был выслан из России.[67] В николаевскую эпоху одно время профессором философии был назначен невежественный генерал. Обскуранты резко нападали на философский идеализм. В конце концов, в 1850 году министр народного просвещения, кн. Ширинский-Шихматов, совсем запретил преподавание философии в университетах.[68] Курьезно, что он считал более безопасными естественные науки. Нигилисты 60-х годов с другого конца нападали на философию, видели в ней метафизику, отводящую от реального дела и от долга служения народу. В советский период коммунисты воздвигли гонение на всякую философию, кроме диалектического материализма. Между тем как тема русского нигилизма и русского коммунизма есть также философская тема. Очень важно отметить, что русское мышление имеет склонность к тоталитарным учениям и тоталитарным миросозерцаниям. Только такого рода учения и имели у нас успех. В этом сказывался религиозный склад русского народа. Русская интеллигенция всегда стремилась выработать себе тоталитарное, целостное миросозерцание, в котором правда-истина будет соединена с правдой-справедливостью. Через тоталитарное мышление оно искало совершенной жизни, а не только совершенных произведений философии, науки, искусства. По этому тоталитарному характеру можно даже определить принадлежность к интеллигенции. Многие замечательные ученые специалисты, как, например, Лобачевский или Менделеев, не могут быть в точном смысле причислены к интеллигенции, как и, наоборот, многие, ничем не ознаменовавшие себя в интеллектуальном труде, к интеллигенции принадлежат. В XVIII веке и в начале XIX века у нас настоящей философии не было, она находилась в младенческом состоянии.** И еще долго у нас по-настоящему не возникнет философской культуры, а будут лишь одинокие мыслители. Мы увидим, что наша философия будет прежде всего философией истории, именно историософическая тема придает ей тоталитарный характер. Настоящее

* См. цитированную книгу Щапова.

** См. *Г. Шпет*: «Очерк развития русской философии».[69]

lib.pushkinskijdom.ru

пробуждение философской мысли произошло у нас под влиянием немецкой философии.

Германский идеализм, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, имели определяющее значение для русской мысли. Русская творческая мысль начала раскрываться в атмосфере германского идеализма и романтизма. Поразительна двойственность немецкого влияния в России. В русской государственности проникновение немцев было вредным и фатальным. Но влияние немецкой философии и немецкой духовной культуры было в высшей степени плодотворным. Первыми философами у нас были шеллингианцы, увлеченные натурфилософией и эстетикой. Шеллингианцами были М. Г. Павлов, И. Давыдов, Галич, Велланский.[70] Наиболее интересен и наиболее типичен для русского романтизма был кн. В. Ф. Одоевский.* Русские ездили слушать Шеллинга. Шеллинг очень любил русских и верил в русский мессианизм. Интересно, что о Сен-Мартене и Портедже Шеллинг узнал от Одоевского. Шеллинг хорошо знал Чаадаева и высоко его ценил. С Фр. Баадером, очень родственным русской мысли, встречался Шевырев и пропагандировал его в России.[72] В 1823 году в России возникло Общество любомудрия, которое было первым опытом философского общения. После декабрьского восстания Общество было закрыто.[73] Для любомудров философия была выше религии. Одоевский популяризовал идеи любомудров в беллетристике. Любомудру дорога была не политическая, а духовная свобода. А. Кошелев и И. Киреевский, впоследствии славянофилы, были любомудрами. Шеллингианство не было у нас творческим движением мысли. Самостоятельная философия еще не народилась. Более плодотворно было у нас влияние Шеллинга на религиозную философию начала XX века. Творческое претворение шеллингианства и еще более гегелианства было не у шеллингианцев в собственном смысле, а у славянофилов. В 30-х годах у нас возникло тоже увлечение социальным мистицизмом, но это уже не под влиянием немцев, а французов, главным образом Ламенэ.[74] Весь XIX век будет проникнут стремлением к свободе и социальной правде. В русской философской мысли будут преобладать мотивы религиозные, моральные и социальные. Есть два преобладающих мифа, которые могут стать динамическими в жизни народов — миф о происхождении и миф о конце. У русских преобладает второй миф — миф эсхатологический. Так можно было определить русскую тему XIX века: бурное стремление к прогрессу, к революции, к последним результатам мировой цивилизации, к социализму и вместе с тем глубокое и острое сознание пустоты, уродства, бездушия и мещанства всех результатов мирового прогресса, революции, цивилизации и пр. Закончу это историческое введение словами св. Александра Невского, которые можно считать характерными для России и русского народа: «Не в силе Бог, а в правде».[75] Трагедия русского народа в том, что русская власть не была верна этим словам.

Глава II

Проблема философии истории. Россия и Европа. Славянофилы и западники. Вопрос о судьбе России. Сороковые годы. Чаадаев. Печерин. Славянофилы. Киреевский. Аксаков. Хомяков. Письмо Фр. Баадера. Западники. Идеалисты сороковых годов. Грановский. Белинский. Герцен. Дальнейшее развитие славянофильства. Данилевский. Леонтьев. Достоевский.

1

Русская самобытная мысль пробудилась на проблеме историософической. Она глубоко задумалась над тем, что замыслил Творец о России, что есть Россия и какова ее судьба. Русским людям давно уже было свойственно чувство, скорее чувство, чем сознание, что Россия имеет особенную судьбу, что русский народ — народ особенный.

* См. *П. Сакулин*: «Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский».[71] *Г. Шпет*: «Очерк развития русской философии».

lib.pushkinskijdom.ru

Мессианизм почти так же характерен для русского народа, как и для народа еврейского. Может ли Россия пойти своим особым путем, не повторяя всех этапов европейской истории? Весь XIX век и даже XX век будут у нас споры о том, каковы пути России, могут ли они быть просто воспроизведением путей Западной Европы. И наша историософическая мысль будет протекать в атмосфере глубокого пессимизма в отношении к прошлому и особенно настоящему России и оптимистической веры и надежды в отношении к будущему. Такова была философия истории Чаадаева. Она была изложена в знаменитом философском письме к Ек. Дм. Панковой в 1829 году, напечатанном в «Телескопе».[76] Это было пробуждением самостоятельной, оригинальной русской мысли. Известны результаты этого пробуждения. Правительство Николая I ответило на эти пробуждения мысли объявлением Чаадаева сумасшедшим. К нему каждую неделю ездил доктор. Ему запрещено было писать, он принужден был умолкнуть. Он потом написал «Апологию сумасшедшего», очень замечательное произведение. Для истории русской мысли, для ее нерегулярности характерно, что первый русский философ истории Чаадаев был лейб-гусарский офицер, а первый оригинальный богослов Хомяков был конногвардейский офицер. Пушкин писал о Чаадаеве: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, у нас он офицер гусарский». И еще о нем: «Всегда мудрец, а иногда мечтатель, и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель».[77] Герцен характеризовал письмо Чаадаева «как выстрел, раздавшийся в темную ночь».[78] Вся наша философия истории будет ответом на вопросы в письме Чаадаева. Гершензон характеризовал Чаадаева как «декабриста, ставшего мистиком».* Особенно интересовала Чаадаева не личность, а общество. Он настаивает на историчности христианства. Он повторял слова молитвы «Adveniat Regnum Tuum».[80] Он ищет Царства Божьего на земле. Он передаст эту тему Вл. Соловьеву, на которого имел несомненное влияние.

Ошибочно думать, что Чаадаев перешел в католичество, как это неверно и относительно Вл. Соловьева. Но он был потрясен и пленен универсализмом католичества и его активной ролью в истории. Православие представлялось ему слишком пассивным и не историчным. Несомненно, некоторое влияние на Чаадаева имели теократические идеи Ж. де Местра и де Бональда,[81] а также философии Шеллинга. Для Западной Европы это были идеи консервативные, для России они казались революционными. Но Чаадаев мыслитель самостоятельный, он не повторяет западные идеи, он их творчески перерабатывает. Разочарование Чаадаева в России и разочарование Герцена в Западе — основные факты для русской темы XIX века. 30-е годы были у нас годами социальных утопий. И для этого десятилетия характерна некоторая экзальтированность. Как выразил Чаадаев свое восстание против русской истории? «Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине». «Не через родину, а через истину ведет путь к небу». «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами». «Теперь мы прежде всего обязаны родине истиной». «Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его».[82] Мысли Чаадаева о русской истории, о прошлом России выражены с глубокой болью, это крик отчаяния человека, любящего свою родину. Вот наиболее замечательные места из его письма: «Мы не принадлежим к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода». «Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед, прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это — естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая наша идея бесследно вытесняет старые». «Мы принадлежим к числу наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок». Чаадаев был потрясен «немотой русских лиц». «Ныне мы составляем пробел в нравственном миропорядке».

* См. *М. Гершензон*: «П. Чаадаев».[79]

lib.pushkinskijdom.ru

«Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили».[83] Русское самосознание должно было пройти через это горькое самоотрицание, это был диалектический момент в развитии русской идеи. И сам Чаадаев в «Апологии сумасшедшего» придет к утверждению великой миссии России.

Чаадаев думал, что силы русского народа не были актуализированы в его истории, они остались как бы в потенциальном состоянии. Это он думал и тогда, когда взбунтовался против русской истории. Но оказалось возможным перевернуть его тезис. Он это сделал в «Апологии сумасшедшего». Неактуализированность сил русского народа в прошлом, отсутствие величия в его истории делаются для Чаадаева залогом возможности великого будущего. И тут он высказывает некоторые основные мысли для всей русской мысли XIX века. В России есть преимущество девственности почвы. Ее отсталость дает возможность выбора. Скрытые, потенциальные силы могут себя обнаружить в будущем. «Прошлое уже нам не подвластно, — восклицает Чаадаев, — но будущее зависит от нас». «Воспользуемся же огромным преимуществом, в силу которого мы должны повиноваться только голосу просвещенного разума, сознательной воли». «Может быть, преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышла могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».[84] Чаадаев проникается верой в мистическую миссию России. Россия может еще занять высшее положение в духовной жизни Европы. Во вторую половину своей жизни Чаадаев признает также величие православия. «Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался человеческий ум на Востоке; раскидываясь во вне, излучался во все стороны, борясь со всеми препятствиями, развивался он на Западе». И, наконец, Чаадаев высказывает мысль, которая будет основной для всех наших течений XIX века: «У меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество».[85] Словом, Чаадаев проникается русской мессианской идеей. И это у него соединяется с ожиданием наступления новой эпохи Св. Духа. Характерно русское ожидание, выражающее русский пневмо-центризм. Чаадаев — одна из самых замечательных фигур русского XIX века. Лицо его не было расплывчатым, как лицо многих русских людей, у него был резко очерченный профиль. Это был человек большого ума и больших дарований. Но он, подобно русскому народу, недостаточно себя актуализировал, остался в потенциальном состоянии. Он почти ничего не написал. Западничество Чаадаева, его католические симпатии остаются характерно русскими явлениями. У него была тоска по форме, он восстал против русской неоформленности. Он очень русский человек высшего слоя петровского периода русской истории. Он искал Царства Божьего на земле, ожидая новой эпохи Св. Духа, пришел к вере, что Россия скажет новое слово миру. Все это русская проблематика. Он, правда, искал исторического величия, что не есть характерное русское свойство. Но это есть явление компенсации других русских свойств. Около Чаадаева нужно поставить фигуру Печерина.[86] Этот окончательно перешел в католичество и стал католическим монахом. Он один из первых русских эмигрантов. Он не вынес гнета николаевской эпохи. Парадоксально было то, что он перешел в католичество из либерализма и любви к свободной мысли. В восстании против окружающей действительности он написал стихотворение, в котором есть строки:

Как сладостно отчизну ненавидеть!!
И жадно ждать ее уничтоженья.[87]

Это мог написать только русский и притом русский, который, конечно, страстно любит свою родину. Долгий путь католического монашества не убьет в нем тоску по России, которая будет лишь возрастать. Духовно он вернется на родину, но Россию никогда не

lib.pushkinskijdom.ru

увидит. Герцен искал свидания с Печериным в его монастыре и рассказал об этом в «Былое и думы».[88] Ответ Печерина на письмо Герцена очень замечателен, в нем есть настоящие прозрения.[89] Он пишет, что грядущая материальная цивилизация приведет к тирании над человеческим духом и в ней некуда будет укрыться. Чаадаев и Печерин представляли у нас религиозное западничество, которое предшествовало самому возникновению западнического и славянофильского направлений. Но у этих религиозных западников были и славянофильские элементы. Печерин верил, что Россия вместе с Соединенными Штатами начнет новый цикл истории. Споры западников и славянофилов заполнят у нас большую часть века. Славянофильские мотивы были уже у Лермонтова. Но он думал, что Россия вся в будущем. Сомнения о Европе у нас возникли под влиянием событий французской революции.*

Спор славянофилов и западников был спором о судьбе России и ее призвании в мире. Оба направления в своей исторической форме устарели и могут считаться преодоленными, но самая тема остается. В новых формах она вызывает страсти и в XX веке. В кружках 40-х годов славянофилы и западники могли еще спорить в одних и тех же салонах. Хомяков, страстный спорщик и сильный диалектик, сражался с Герценом. Про Хомякова Герцен сказал: «Он как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооруженный».[91] Спорили по целым ночам. Тургенев вспоминает, что когда в разгаре спора кто-то предложил поесть, то Белинский воскликнул: «Мы еще не решили вопроса о существовании Бога, а вы хотите есть!».[92] 40-е годы были эпохой напряженной умственной жизни. Много даров было дано в то время русским. Герцен говорил о западниках и славянофилах того времени: «У нас была одна любовь, но не одинаковая». Он назвал их «двуликим Янусом».[93] И те и другие любили свободу. И те и другие любили Россию, славянофилы, как мать, западники, как дитя. Дети и внуки славянофилов и западников уже разойдутся настолько, что не смогут спорить в одном салоне. Чернышевский еще может сказать о славянофилах: «Они принадлежат к числу образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе».[94] Но его уже нельзя себе представить в споре с Хомяковым. Люди 40-х годов принадлежали к одному стилю культуры, к тому же обществу культурного дворянства. Один Белинский был исключением, был интеллигентом-разночинцем. Потом произошла резкая дифференциация. Русская философия истории должна была прежде всего решить вопрос о смысле и значении реформы Петра, разрезавшей русскую историю как бы на две части. На этом прежде всего и произошло столкновение. Есть ли исторический путь России тот же, что и Западной Европы, т. е. путь общечеловеческого прогресса и общечеловеческой цивилизации, и особенность России лишь в ее отсталости, или у России особый путь и ее цивилизация принадлежит к другому типу? Западники целиком приняли реформу Петра и будущее России видели в том, чтобы она шла западным путем. Славянофилы верили в особый тип культуры, возникающий на духовной почве православия. Реформа Петра и европеизация петровского периода были изменой России. Славянофилы усвоили себе гегелевскую идею о призвании народов, и то, что Гегель применял к германскому народу, они применяли к русскому народу. Они применяли к русской истории принципы гегелевской философии. К. Аксаков даже говорил, что русский народ специально призван понять философию Гегеля.** В то время влияние Гегеля было так велико, что, по мнению Ю. Самарина, судьба православной церкви зависела от судьбы гегелевской философии. Только Хомяков разубедил его в этой отнюдь не православной мысли, и он исправил свою диссертацию под влиянием Хомякова.*** Уже В. Одоевский резко критиковал Запад, обличал буржуазность Запада, иссякание духа. Шевырев, представлявший как бы консервативное и официальное славянофильство, писал об одряхлении и гниении Запада. Но он был близок к западному мыслителю Фр. Баадеру,

* См. книгу В. Зеньковского: «Русские мыслители и Европа».[90]
** О роли философии Гегеля см. у Чижевского: «Hegel in Russland».[95]
*** См. материалы у Колюпанова: «Биография А. Кошелева».[96]

lib.pushkinskijdom.ru

обращенному к Востоку. У классических славянофилов не было полного отрицания Запада, и они не говорили о гниении Запада, для этого они были слишком универсалисты. Хомякову принадлежат слова о Западной Европе — «страна святых чудес». Но они построили учение о своеобразии России и ее пути и хотели объяснить причины ее отличия от Запада. Они пытались раскрыть первоосновы западной истории. Построение русской истории славянофилами, главным образом К. Аксаковым, было совершенно фантастично и не выдерживает критики. Славянофилы смешали свой идеал России, свою идеальную утопию совершенного строя с историческим прошлым России. Интересно отметить, что русскую историческую науку разрабатывали главным образом западники, а не славянофилы. Но западники делали другого рода ошибку. Они смешивали свой идеал лучшего для России строя жизни с современной им Западной Европой, которая отнюдь не походила на идеальное состояние. И у славянофилов и у западников был мечтательный элемент, они противопоставили свою мечту невыносимой николаевской действительности. В оценке реформы Петра ошибочны были и славянофильская и западническая точки зрения. Славянофилы не поняли неизбежности реформы Петра для самой миссии России в мире, не хотели признать, что лишь в петровскую эпоху стали возможны в России мысль и слово, и мысль самих славянофилов стала возможна, и великая русская литература. Западники не поняли своеобразия России, не хотели признать болезненности реформы Петра, не видели особенности России. Славянофилы были у нас первыми народниками, но народниками на религиозной почве. Славянофилы, как и западники, любили свободу и одинаково не видели ее в окружающей действительности.

Славянофилы стремились к органичности и целостности. Самая идея органичности взята ими у немецких романтиков. Органичность была их идеалом совершенной жизни. Но они проецировали эту идеальную органичность в историческое прошлое, в допетровскую эпоху, в петровскую эпоху они никак не могли ее увидеть. Сейчас можно удивляться идеализации московской России славянофилами, она ведь ни в чем не походила на то, что любили славянофилы, в ней не было свободы, любви, просвещенности. У Хомякова была необычайная любовь к свободе, с которой он связывал органичность. Но где же найти свободу в московской России? Для Хомякова церковь есть сфера свободы. Была ли церковь московской России церковно свободна? Целостность и органичность России славянофилы противополагают раздвоенности и рассеченности Западной Европы. Они борются с западным рационализмом, в котором видят источник всех зол. Этот рационализм они возводят к католической схоластике. На Западе все механизировано и рационализировано. Рационалистическому рассечению противополагается целостная жизнь духа. Борьба против западного рационализма была уже свойственна немецким романтикам, Фр. Шлегель[97] говорил о Франции и Англии, Западе для Германии, то же, что славянофилы говорили о Западе, включая в него и Германию. Но все-таки Ив. Киреевскому в замечательной статье «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» удалось формулировать типичные черты различия России и Европы — и это, несмотря на ошибочность славянофильской концепции русской истории. Самое противоположение существует и внутри Западной Европы, например противоположение религиозной культуры и безбожной цивилизации. Но тип русского мышления и русской культуры все же очень отличается от западноевропейского. Русское мышление гораздо более тоталитарно и целостно, чем мышление западное, более дифференцированное, разделенное на категории. Вот как формулирует И. Киреевский различие и противоположение. На Западе все произошло от торжества формального разума. Рационалистическая рассеченность была как бы вторым грехопадением человечества. «Три элемента на Западе: Римская церковь, древнеримская образованность и возникшая из насилий завоевания государственность — были совершенно чужды Руси». «Богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлеченности, — в православии оно сохранило внутреннюю целость духа; там развитие сил разума, — здесь стремление к внутреннему, живому». «Раздвоение и целость, рассудочность и разумность будет последним выражением Западной Европы и древнерусской

lib.pushkinskijdom.ru

образованности». Центральная философская мысль, из которой исходит Ив. Киреевский, им выражена так: «Внутреннее сознание, что есть в глубине души живое общее сосредоточие для всех отдельных сил разума, и одно достойное постигать высшую истину — такое сознание постоянно возвышает самый образ мышления человека: смиряя его рассудочное самомнение, оно не стесняет свободы естественных законов его мышления; напротив, укрепляет его самобытность и вместе с тем добровольно подчиняет его вере». Славянофилы искали в истории, в обществе и культуре ту же духовную целостность, которую находили в душе. Они хотели открыть оригинальный тип культуры и общественного строя на духовной почве православия. «На Западе, — писал К. Аксаков, — *души убивают*, заменяясь усовершенствованием государственных форм, полицейским благоустройством; совесть заменяется законом, внутренние побуждения — регламентом, даже благотворительность превращается в механическое дело; на Западе вся забота о государственных формах». «В основании государства русского: добровольность, свобода и мир».[98] Последняя мысль К. Аксакова находится в вопиющем несоответствии с исторической действительностью и обнаруживает неисторический характер основных мыслей славянофилов о России и Западе. Это есть типология, характеристика духовных типов, а не характеристика действительной истории. Как объяснить с точки зрения славянофильской философии русской истории возникновение огромной империи военного типа и гипертрофии государства за счет свободной народной жизни? Русская жизнь строилась сверху государственной жизни и строилась путем насилия. Самодеятельность общественных групп можно искать лишь в домосковский период. Славянофилы стремились к органическому пониманию истории и дорожили народными традициями. Но эта органичность была лишь в их идеальном будущем, а не в действительном историческом прошлом. Когда славянофилы говорили, что община и земщина — основы русской истории, то это нужно понимать так, что община и земщина для них идеал русской жизни. Когда Ив. Киреевский противополагает тип русского богословия типу богословия западного, то это нужно понимать как программу, план русского богословия, так как никакого русского богословия не было, оно лишь начинается с Хомякова. Но славянофилы поставили перед русским сознанием задачу преодоления абстрактной мысли, перехода к конкретности, требование познания не только умом, но также чувством, волей, верой. Это остается в силе и если отвергнуть славянофильскую концепцию истории. Славянофилы не были врагами и ненавистниками Западной Европы, как были русские националисты обскурантского типа. Они были просвещенными европейцами. Они верили в великое призвание России и русского народа, в скрытую в нем правду и они пытались характеризовать некоторые оригинальные черты этого призвания. В этом было их значение и заслуга.

Друзья говорили о Хомякове, что он пишет какой-то огромный труд. Это были «Записки по всемирной истории», которые составляют три тома его собрания сочинений.* Книга так и осталась не написанной, это лишь заметки и материалы для книги. Барская лень, которую Хомяков сам в себе обличал, помешала ему написать настоящую книгу. Но по этим «Запискам» мы можем восстановить философию истории Хомякова. Она вся построена на противоречии двух типов и на борьбе двух начал в истории, т. е. посвящена все той же основной русской теме о России и Европе, о Востоке и Западе. Несмотря на устарелость, а часто и неверность взглядов Хомякова на историю, центральная мысль его замечательна и сохраняет свой интерес. Он видит противоборство двух начал в истории: свободы и необходимости, духовности и вещественности. Тут обнаруживается, что самым главным и дорогим была для него свобода. Необходимость, власть вещественности над духовностью — враг, с которым он всю жизнь боролся. Он видел эту необходимость, эту власть вещественности над духом и в языческих религиях, и в католичестве, и в западном рационализме, и в философии Гегеля. Противополагаемые им начала он выражает в условной и плодящей недоразумения терминологии — иранство и кушитство.[100] Иран-

* См. мою книгу: «А. С. Хомяков».[99]

lib.pushkinskijdom.ru

ство есть свобода и духовность. Кушитство есть необходимость и вещественность. И, конечно, оказывается, что Россия — иранство, Запад — кушитство. Только еврейская религия для Хомякова — иранство, все же языческие религии — кушитство. Греция тоже отнесена к кушитству. Для иранства характерен теизм и слово, для кушитства — магия. Особенно кушитством оказывается Рим. Хомяков поклонялся свободно творящему духу. Но был ли свободный дух, были ли свобода духа и дух свободы в московской России? Не более ли походило душное и скованное Московское царство именно на кушитство? И не больше ли свободы было на Западе, где боролись за свободу и где впервые утвердились дорогие Хомякову свобода совести и мысли? Тут с Хомяковым произошло то же, что и со славянофильским отношением к истории вообще. Высказываются очень ценные мысли, характерные для стремлений лучших русских людей XIX века, и эти мысли неверно применяются к истории. У Хомякова был настоящий пафос свободы. Но его учение о свободе, положенное в основу его философии и его богословия, возможно было только после учения об автономии, о свободе духа Канта и немецкого идеализма. На это указывали уже представители нашей реакционной и обскурантской мысли. Но они только упускали из виду, что источники свободы духа заложены в христианстве и что без христианства невозможен был бы Кант и все защитники свободы. Для философии истории Хомякова очень важно, что он веру считал движущим началом истории. Религиозная вера лежит в основе и всякой цивилизации, и всего пути истории, и философской мысли. Этим определяются и различия между Россией и Западной Европой. В первооснове России лежит православная вера. Рационализм, этот смертельный грех Запада, заложен уже в католичестве, в католической схоластике можно найти уже тот же рационализм и ту же власть необходимости, что и в европейском рационализме нового времени, в философии Гегеля, в материализме. Россия, изнемогающая от деспотизма николаевского режима, должна поведать Западу тайну свободы, она свободна от греха рационализма, заковывающего в необходимость. В своих стихах, поэтически очень посредственных, но очень интересных для мысли Хомякова, он воскликнул: «Скажи им таинство свободы», «Даруй им дар святой свободы»,[101] им, т. е. Западу. В это же время многие русские люди стремились на Запад, чтобы вздохнуть свободно. И все же у Хомякова была правда, которая не опровергается эмпирической русской действительностью. В глубине русского народа заложена свобода духа большая, чем у более свободных и просвещенных народов Запада. В глубине православия заложена большая свобода, чем в католичестве. Огромность свободы есть одно из полярных начал в русском народе, и с ней связана русская идея.

Противоречивость России отразилась и в самом Хомякове. Он менее всех идеализировал древнюю Россию и прямо говорил о ее неправдах. У него есть страницы, напоминающие Чаадаева. «Ничего доброго, — говорит он, — ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на одной светлой минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной». Такой силы обличения трудно встретить и у западников. Из всех славянофилов Хомяков, самый сильный характер в этом лагере, наименее был враждебен западной культуре. Он даже был англофилом. Более поздний славянофил, И. Аксаков, в отличие от Н. Данилевского,[102] признавал идею общечеловеческой культуры. Но все они верили, что Россия не должна повторять путь Запада, и что славяно-русский мир — мир будущего. Хомякову было в высшей степени свойственно покаяние в грехах России в прошлом. Он призывает молиться, чтобы Бог простил «за темные отцов деяния». Перечисляя грехи прошлого и призывая молиться и каяться, он произносит волнующие ныне слова: «Когда враждой упоены, вы звали чуждые дружины на гибель русской стороны».[103] Наиболее известно его стихотворение «В судах полна неправдой черной и игом рабства клеймена».[104] Обличая грехи прошлого и настоящего, он продолжает верить, что Россия, недостойная избранья, избрана.

lib.pushkinskijdom.ru

В твоей груди, моя Россия,
Есть также тихий, светлый ключ;
Он также воды льет живые,
Сокрыт, безвестен и могуч.[105]

В национальном сознании Хомякова есть противоречивость, свойственная всякому национальному мессианизму. Призвание России оказывается связанным с тем, что русский народ — самый смиренный в мире народ. Но у этого народа есть гордость смирением. Русский народ самый не воинственный, миролюбивый народ, но в то же время этот народ должен господствовать в мире. Хомяков обвиняет Россию в грехе гордости внешним успехом и славой. У детей и внуков славянофилов это противоречие еще усилится, они просто стали националистами, чего нельзя сказать про основателей славянофильства. Противоречивость была и в отношении славянофилов к Западу. И. Киреевский сначала был западником, и журнал «Европеец» был запрещен за его статью о XIX веке. Но и став славянофилом, он писал: «Я и теперь еще люблю Запад, я связан с ним многими неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему моим воспитанием, моими привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, даже сердечными моими привязанностями». «Все прекрасное, благородное, христианское нам необходимо, как свое, хотя бы оно было европейское».[106] Он говорит, что русская образованность есть лишь высшая ступень западной, а не иная. В этом чувствуется универсализм славянофилов, который потом исчезнет. И. Киреевский был наиболее романтиком из славянофилов. Ему принадлежат слова: «Лучшее, что в мире, это — мечта». Всякая активность его была парализована режимом Николая I. Он был наиболее близок к Оптиной Пустыни, духовному центру православия, и в конце жизни окончательно погрузился в восточную мистику, изучал святоотеческую литературу. Хомяков был натура более мужественная и реалистичная. И. Киреевский не хотел возвращения внешних особенностей старой России, а только духовной целостности Православной Церкви. Только один К. Аксаков, взрослый ребенок, верил в совершенство допетровских учреждений. Какие же идеальные русские начала утверждали славянофилы?

Славянофилы были богатые русские помещики, просвещенные, гуманные, свободолюбивые, но очень вкорененные в почву, очень связанные с бытом и ограниченные этим бытом. Этот бытовой характер славянофильства не мог не ослабить эсхатологической стороны их христианства. При всей вражде их к империи они еще чувствовали твердую почву под ногами и не предчувствовали грядущих катастроф. Они духовно жили еще до Достоевского, до восстания Л. Толстого, до кризиса человека, до духовной революции. В этом они очень отличаются не только от Достоевского, не только от Вл. Соловьева, более связанного со стихией воздуха, чем стихией земли, но даже от К. Леонтьева,[107] уже захваченного катастрофическим чувством жизни. В эпоху Николая I вулканичность почвы еще не обнаружилась. Хомякова и славянофилов нельзя назвать в точном смысле мессианистами. Элемент профетический у них сравнительно слаб. Они сознавали глубокую противоположность между св. Русью и империей. Но идея св. Руси не была профетической, она обращена к прошлому и к культу святости у русского народа. Славянофилы также очень мало обращали внимания на русское странничество и русское бунтарство. Для них православные христиане как будто имеют свой пребывающий град. Им свойственна была патриархально-органическая теория общества. Основа общества — семья, и общество должно было быть построено по типу семейственных отношений. Славянофилы очень семейственные, родовые люди. Но более прав К. Леонтьев, который отрицал семейственность русских и большую силу видел в самодержавном государстве. Народы Запада, французы в особенности, гораздо семейственнее русских и с большим трудом порывают с семейными традициями.

Самый наивный из славянофилов К. Аксаков говорил: «Нравственное дело должно и совершаться нравственным путем, без помощи внешней, принудительной силы. Вполне достойный путь один для человека — путь свободного убеждения, путь мира, путь, который открыл нам Божественный Спаситель и которым шли Его Апостолы».[108] Это

lib.pushkinskijdom.ru

делает честь высоте его нравственного сознания и характеризует его идеал, но отнюдь не соответствует ни русской истории, ни историческому православию. И так всегда было у славянофилов. Хомяков, например, всегда говорил об идеальном православии и противопоставлял его реальному католичеству. Он также всегда говорил об идеальной России, о России своего идеала и потому неверно понимал действительную историю. Хомяков, как и большая часть русских людей, лучших русских людей, не имел римских понятий о собственности. Он думал, что народ, который и есть единственный собственник земли, передал ему земельное богатство и поручил ему владеть землей.* Но он все же жил очень богатым помещиком и имел бытовые свойства помещика. К. Аксаков учил, что русский народ государственности не хочет, он хочет для себя не политической свободы, а свободы духа. Но он не имел ни свободы политической, ни свободы духа. И менее всего он имел свободу духа в московской России. Крестьянскую общину славянофилы считали как бы вечной основой России и гарантией ее своеобразия. Они противополагали ее западному индивидуализму. Но можно считать доказанным, что община не была исключительной особенностью России и была свойственная всем формам хозяйствования на известной ступени развития. Славянофилы имели народнические иллюзии. Община была для них не исторической, а внеисторической величиной, как бы «иным миром» в этом мире. Русскому народу действительно свойственна большая коммунитарность, чем народам Запада, ему мало свойствен западный индивидуализм. Но это есть духовное, как бы метафизическое свойство русского народа, не прикрепленное ни к каким экономическим формам. Когда славянофилы, особенно К. Аксаков, подчеркивают значение хорового начала у русского народа в отличие от самодовления и изоляции индивидуума, они были правы. Но это принадлежит к духовным чертам русского народа. «Личность в русской общине не подавлена, но только лишена своего буйства, эгоизма, исключительности... Свобода в ней, как в хоре». Это, конечно, не значит, что призвание России в мире, мессианизм русского народа связаны с отсталой формой экономической общины. Славянофилы были монархистами и даже сторонниками самодержавной монархии. Об отношении славянофильской мысли к государству и власти и об анархическом элементе в их мысли речь будет в особой главе. Но сейчас необходимо отметить, что у Хомякова не было религиозной концепции самодержавия, он демократ в понимании источника власти и противник теократического государства и цезарепапизма. Но форму монархии, противоположную западному абсолютизму, и Хомяков и все славянофилы считали необходимым началом русского своеобразия и русского призвания. Они утверждали три основы России — православие, самодержавие и народность, но понимали их иначе, чем официальная правительственная идеология, в которой православие и народность были подчинены самодержавию. На первом месте у них стояло православие. Достоевский критически относился к славянофилам и не производил себя от них. И действительно, разница была большая. Достоевский ценил западников за их новый опыт, за динамизм воли, за усложненное сознание. Для него славянофилы не понимают движения. Он стоит за трагический реализм жизни против неподвижного идеализма славянофилов.

Славянофилы имели свою утопию, которую они и считали поистине русской. Эта утопия делала возможной для них жизнь в отрицаемой ими империи Николая I. В эту утопию входили идеальное православие, идеальное самодержавие, идеальная народность. У них было органическое понимание народной жизни, органическое понимание отношения между царем и народом. Так как все должно быть органическим, то не должно быть ничего формального, юридического, не нужны никакие правовые гарантии. Органические отношения противоположны договорным. Все должно быть основано на доверии, любви и свободе. Славянофилы, в этом отношении типичные романтики, утверждают жизнь на началах, стоящих выше правовых. Но отрицание правовых начал опускает жизнь ниже правовых начал. Гарантий прав человеческой личности не нужно в отношениях любви, но отношения в человеческих обществах очень мало походят на

* См. об этом мою книгу: «А. С. Хомяков».

lib.pushkinskijdom.ru

отношения любви. В основании славянофильской социологии лежало православие и немецкий романтизм. Органическое учение об обществе родственно идеям Ф. Баадера, Шеллинга, Адама Мюллера, Герреса.[109] Но на русской почве этот род идей приобрел резко антиэтатическую окраску. Славянофилы не любили государства и власти. Мы увидим, что, в отличие от католического Запада, славянофильское богословие отрицает идею авторитета в церкви и устами Хомякова провозглашает небывалую свободу. Хомяковская идея соборности, смысл которой будет выяснен в другой главе, имеет значение и для учения об обществе. Это и есть русская коммунитарность, общинность, хоровое начало, единство любви и свободы, не имеющее никаких внешних гарантий. Идея чисто русская. Общинный, коммунитарный дух славянофилы противополагали западному рыцарству, которое обвиняли в нехристианском индивидуализме и гордости. Все славянофильское мышление было враждебно аристократизму, было проникнуто своеобразным демократизмом. Юридизм, формализм, аристократизм они относят к духу Рима, с которым более всего боролись. Они верили, что христианство было усвоено русским народом в большей чистоте, потому что почва, в которую христианская истина упала, была более девственна. Они очень преуменьшили элемент язычества в русском народном православии, так же как и влияние византизма. К. Леонтьев признает хомяковское православие не настоящим, слишком либеральным и модернизированным и будет противопоставлять ему аскетически-монашеское, суровое, византийское, афонское православие. Славянофильская социология, как и славянофильское богословие, прошли через гуманизм. Хомяков был решительный противник смертной казни и жестоких наказаний, и вряд ли он мог примириться с идеей вечных адских мук. В этом он — очень русский. Отрицание смертной казни входит в русскую идею. Если Беккария [110] и имел влияние на русское уголовное законодательство, то отвращение к смертной казни не было ни одним народом так усвоено, как народом русским, у которого нет склонности смотреть на зрелище казни. Тургенев так выразил свое впечатление от казни Тропмана в Париже: «Никто не смотрел человеком, который сознает, что присутствовал при совершении акта общественного правосудия; всякий старался сбросить с себя ответственность в этом убийстве».[111] Это русское, а не западное впечатление. В этом славянофилы сходятся с западниками, революционеры-социалисты с Л. Толстым и Достоевским. У русских, и может быть только у русских, есть сомнение в справедливости наказаний. И это, вероятно, связано с тем, что русские коммюнотарны, но не социализированы в западном смысле, т. е. не признают примата общества над человеком. Русские суждения о собственности и воровстве определяются не отношением к собственности как социальному институту, а отношением к человеку. Мы увидим, что с этим связана и русская борьба против буржуазности, русское неприятие буржуазного мира. Кающиеся дворяне — явление чисто русское. У русских нет того иерархического чувства, которое есть у западных людей, его нет ни в какой области. С этим связано и русское противоположение интеллигенции и народа, дворянства и народа. На Западе интеллигенция есть функция народной жизни и дворянство было функцией иерархизованной народной жизни. У русских же сознание себя интеллигентом или дворянином у лучших было сознанием своей вины и своего долга народу. Это как раз значит, в противоположность органической теории славянофилов, что на Западе строй жизни был более органическим, чем в России. Но эта органичность была дурной. Славянофилы как будто недостаточно понимали, что органичность есть иерархизм. Более прав, чем славянофилы, был Л. Толстой, и даже Н. Михайловский, в своей борьбе против органической теории общества во имя индивидуальности человека. Но во всяком случае, славянофилы хотели «России Христа», а не «России Ксеркса»,* как хотели наши националисты и империалисты. «Идея» России всегда обосновывалась пророчеством о будущем, а не тем, что есть, — да и не может быть иным мессианское сознание.

---

* Слова из стихотворения Вл. Соловьева: «Каким ты хочешь быть Востоком, Востоком Ксеркса иль Христа?».[112]

lib.pushkinskijdom.ru

Исключительный интерес представляет письмо Фр. Баадера к министру народного просвещения гр. Уварову. Письмо называется «Mission de l'Eglise Russe dans la décadence du christianisme de l'Occident».[113] Оно впервые опубликовано в книге E. Susini «Lettres inédites de Franz von Baader».* Ф. Баадер очень замечательный и в свое время недостаточно оцененный мыслитель, наиболее близкий русской мысли. Он свободный католик и вместе с тем христианский теософ, возродивший интерес к Я. Беме, влиявший на Шеллинга последнего периода. Он имел большую симпатию к православной церкви и хотел сближения с ней. Он видел в России посредницу между Востоком и Западом. Баадер говорит многое близкое славянофилам и Вл. Соловьеву. Он решил ехать в Россию, куда его приглашал кн. Голицын. Но с ним случился русский анекдот. Его на границе арестовали и выслали из России. Баадер очень обиделся, писал об этом Александру I и кн. Голицыну.[115] Но в Россию он так и не проник. В письме к Уварову он излагает свои замечательные мысли о миссии православной церкви в России. Письмо очень интересно нам тем, что обнаруживает на Западе мысли, близкие русской мысли. Под многим мог бы подписаться Хомяков. Русские много и часто несправедливо писали о разложении Запада, имея в виду главным образом антихристианский Запад. Но Баадер говорит о разложении и христианского Запада и ищет спасения Запада в России и православной церкви. Письмо, написанное по-французски, настолько интересно, что я приведу значительную часть его:

«S'il est un fait qui caractérise l'époque actuelle, c'est assurément ce mouvement irrésistible de l'Occident vers l'Orient. La Russie qui possède en elle l'élément européen occidental aussi bien que l'élément oriental, doit, dans ce grand rapprochement, nécessairement jouer le rôle de l'intermédiaire qui arrêtera les funestes conséquences du choc. L'Eglise Russe de son côté a maintenant, si je ne me trompe, une tâche semblable à remplir à l'occasion de la decádence alarmante et scandaleuse du christianisme dans l'Occident; placée en face de la stagnation du christianisme dans l'Eglise Romaine et de sa dissolution dans l'Eglise protestante, elle reçoit, à mon avis, une mission intermédiaire qui est plus liée qu'on ne le pense de l'ordinaire avec celle du pays auquel elle appartient. Qu'il me soit permis d'indiquer en peu de mots cette décadence du christianisme dans l'Occident et les causes pour lesquelles l'Eglise Russe s'étant maintenue à l'abri de cette décadence, est en état, par ci-même, d'exercer une influence libératrice sur l'Occident. Cette influence ne sera point polémique, elle résultera de son exemple et de sa doctrine solidement fondée sur la science religieuse dont le catholicisme romain est aussi loin par son principe destructif (par sa science hostile à la foi)... Les Français ont choisi et inoculé en eux comme principe constitutif le principe destructif de la révolution, de même que les philosophes ont adopté pour principe constituant le principe destructeur du doute cartésien, lequel dans le fond ne vaut pas mieux que le scepticisme... J'ai été le premier et je suis encore presque le seul, qui ait découvert cette erreur fondamentale de la philosophie moderne; j'ai démontré que tous les philosophes (sans en excepter Leibnitz) depuis Descartes et son successeur Spinoza, sont partis de ce principe destructeur et révolutionnaire en ce qui tient à la vie religieuse, qui dans le sphère de la politique a donné naissance au principe constitutionnel; j'ai démontré qu'une réforme fondamentale n'est possible qu'en tant qu'elle s'exercera simultanément dans les deux sphères de la philosophie et de la politique. Il se trompent à mon avis d'une manière dangereuse ces hommes d'Etat et ces meneurs qui présument que le mode de pensée des peuples (c'est-à-dire leur philosophie) est une chose indifférente, et qu'une science sans prière n'entraîne pas après elle un gouvernement sans prière — cette ruine pour gouverneur et gouvernés... La Providence a tenu jusqu'à ce jour l'Eglise Russe en dehors de ce mouvement européen, dont l'effet a été de déchristianiser aussi bien la science que la société civile; et précisément parce qu'elle a deféndu l'ancien catholicisme contre ces deux ennemis, le papisme et le protestantisme, parce qu'elle ne proscrit pas l'usage de la raison comme

* Сюсини принадлежат также два тома: «Fr. Baader et le romantisme mystique».[114] Это первая обстоятельная систематизация миросозерцания Баадера.

lib.pushkinskijdom.ru

l'Eglise Romaine, sans laisser passage, comme le protestantisme, aux abus qui en peuvent résulter, — elle seule est capable de se présenter comme médiatrice, ce qui du reste devra se faire par le seul secours de la science en Russie „par les Russes“».[116]

Баадер предлагает, чтобы несколько русских приехало в Мюнхен учиться и слушать его лекции, чтобы «combler une lacune qui existe encore en Russie comme dans l'Occident, tout en servant de modèle à l'Occident et en lui prouvant (ce qui n'a pas encore eu lieu) que la véritable science n'existe pas sans la foi, et que la véritable foi ne peut subsister sans la science».[117] Бросаются в глаза ошибочные суждения Баадера: католичество не отрицает разума и протестантизм не отрицает веру, сомнение Декарта и французская революция не только разрушали, но имели и положительный смысл. Но огромный интерес представляют надежды, которые Баадер возлагает на Россию. О славянофильской философии речь будет в другой главе. Но сейчас нужно отметить, что в России был двоякий исход философии: «у славянофилов в религию, в веру, у западников в революцию, в социализм». И в том и в другом случае было стремление к целостному, тоталитарному миросозерцанию, к соединению философии с жизнью, теории с практикой.

2

Западничество возникло у нас на той же теме о России, о ее путях и ее отношении к Европе. Западники приняли реформу Петра и петровский период, но отнеслись еще более отрицательно к империи Николая I, чем славянофилы. Западничество есть явление более восточное, чем западное. Для западных людей Запад был действительностью, и нередко действительностью постылой и ненавистной. Для русских людей Запад был идеалом, мечтой. Западники были такие же русские люди, как и славянофилы, любили Россию и страстно хотели для нее блага. Очень скоро образовалось в русском западничестве два течения: более умеренное и либеральное, интересовавшееся главным образом вопросами философии и искусства, восприявшее влияние немецкого идеализма и романтизма, и более революционное и социальное, восприявшее влияние французских социалистических течений. Впрочем, философия Гегеля влияла и на то и на другое течение. Станкевич, наиболее совершенный образ идеалиста 40-х годов, был одним из первых последователей Гегеля. Герцен, который не был близок к кружку Станкевича и представлял социально настроенное западничество, тоже прошел через увлечение Гегелем и признал философию Гегеля алгеброй революции. Революционное истолкование Гегеля упреждало марксизм. Это означало переход к Фейербаху. Высмеивая увлечение философией Шеллинга, Герцен говорит: «Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства с космосом». Герцен оставил замечательные воспоминания об идеалистах 40-х годов, которые были его друзьями. «Что же коснулось этих людей, чье дыхание пересоздало их? Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких личных выгод; одни забывают свое богатство, другие свою бедность, — идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес жизни, интерес науки, искусства, humanitas [118] поглощает все». «Где, в каком углу современного Запада найдете вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремления вечно юны?» Это и есть русская интеллигенция. Герцен прибавляет: «В современной Европе нет юности и юношей».[119] Юность и юноши были в России. Достоевский будет говорить о русских мальчиках, решающих проклятые вопросы. Тургенев занимался в Берлине философией Гегеля и по этому поводу говорит: «Мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления».[120] Идеалисты 40-х годов стремились к гармонии личного чувства. В русской мысли преобладает моральный элемент над метафизическим и за ней скрыта жажда преображения мира. Исключительный интерес в 30-е и 40-е годы к философии Шеллинга и Гегеля не привел к созданию самостоятельной русской философии. Исключение нужно сделать только для некоторых

lib.pushkinskijdom.ru

философских мыслей славянофилов, но они не были ими развиты. Философия была лишь путем или преображения души, или преображения общества. Все были в расколе с империей, и мучителен был вопрос об отношении к «действительности». Мы увидим, какую роль тут сыграла философия Гегеля. Так называемый идеализм 40-х годов сыграл огромную роль в формировании личности культурного русского человека. Лишь в 60-х годах тип «идеалиста» был заменен типом «реалиста». Но черты «идеалиста» не исчезли совсем и тогда, когда начали увлекаться не Шеллингом и Гегелем, а материализмом и позитивизмом. Не нужно придавать слишком большого значения сознательно утверждаемым идеям. Грановский был наиболее законченным типом гуманиста-идеалиста. Он был прекрасный человек, он очаровывал и влиял, как профессор, но мысль его была мало оригинальной. Очень знаменательна распря между Грановским и Герценом. Идеалист Грановский не мог перенести перехода от философии Гегеля к философии Фейербаха, который имел такое значение для Герцена. Грановский хочет остаться верен идеализму, дорожит верой в бессмертие души, он противник социализма, думая, что социализм враждебен личности, в то время как Герцен и Белинский переходят к социализму и атеизму. Центральное значение для русской судьбы имеют Герцен и Белинский. Именно они представляют левое западничество, чреватое будущим.

Белинский — одна из самых центральных фигур в истории русского сознания XIX века. Он отличается от других русских писателей 30-х и 40-х годов уже тем, что он не вышел из дворянской среды и не имел в себе барских черт, которые были сильно выражены и у анархиста Бакунина. Он первый разночинец и типичный интеллигент (в более узком смысле) второй половины XIX века, когда наша культура перестала быть исключительно дворянской. Белинский был человек больших дарований, гениальной чуткости и восприимчивости. У него было мало знаний. Он почти не знал иностранных языков, почти не знал немецкого языка. Гегелевскую философию он узнал не через чтение книг самого Гегеля, а через рассказы о Гегеле Бакунина, который читал его по-немецки. Но восприимчивость его была так необычайна, что он многое угадал в Гегеле. Он последовательно пережил Фихте, Шеллинга и Гегеля и перешел к Фейербаху и воинствующему атеизму. Белинский, как типичный русский интеллигент, во все периоды стремился к тоталитарному миросозерцанию. Для него, натуры страстной и чувствительной, понимать и страдать было одно и то же. Жил он исключительно идеями и искал правды, «упорствуя, волнуясь и спеша».[121] Он горел и рано сгорел. Он говорил, что Россия есть синтез всех элементов, сам хотел быть синтезом всех элементов, но осуществлял это не одновременно, всегда впадая в крайности, а последовательно во времени. Белинский был самым значительным русским критиком и единственным из русских критиков, обладавшим художественной восприимчивостью и эстетическим чувством. Но литературная критика была для него лишь формой выражения целостного миросозерцания, лишь борьбой за правду. Огромное значение, которое приобрела у нас публицистическая литературная критика во вторую половину XIX века, объясняется тем, что по цензурным условиям лишь в форме критики литературных произведений можно было выражать философские и политические идеи. Но Белинский первый оценил по-настоящему Пушкина и угадал многие нарождающиеся таланты. Русский до мозга костей, возможный лишь в России, он был страстным западником, веровавшим в Запад. Но во время его путешествия по Европе он разочаровался в ней. Разочарование столь же типически русское, как и очарование. Первым идейным увлечением был у нас Шеллинг, потом перешли к Гегелю. Устанавливают три периода в идейном развитии Белинского: 1) нравственный идеализм, героизм; 2) гегелевское принятие разумности действительности; 3) восстание против действительности для ее радикального изменения во имя человека. Путь Белинского указывает на то исключительное значение, которое имела у нас гегелевская философия. О двух кризисах, пережитых Белинским, по существу речь будет в следующей главе. Во все периоды Белинский, отдаваясь своей идее целиком, мог жить только этой идеей. Он был нетерпим и исключителен, как и все увлеченные идеей русские интеллигенты, и делил мир на два лагеря. Он порвал на идейной почве со своим

lib.pushkinskijdom.ru

другом К. Аксаковым, которого очень любил. Он первый потерял возможность общения с славянофилами. Он разошелся с близким ему Герценом и другими друзьями в период увлечения гегелевской идеей разумности «действительности» и пережил период мучительного одиночества. В это же время и будущий анархист Бакунин был увлечен гегелевской идеей разумности «действительности» и увлек этой идеей Белинского. Мы увидим, что Гегель был неверно понят и на этом непонимании разыгрались страсти. Лишь в последний период, под конец жизни, у Белинского выработалось совершенно определенное миросозерцание, и он стал представителем социалистических течений второй половины XIX века. Он прямой предшественник Чернышевского и в конце концов даже русского марксизма. Он был гораздо менее народником, чем Герцен. Он даже стоял за промышленное развитие. У Белинского, когда он обратился к социальности, мы уже видим то сужение сознания и вытеснение многих ценностей, которое мучительно поражает в революционной интеллигенции 60-х и 70-х годов. Наиболее русским он был в своем восстании против гегелевского мирового духа во имя реального, конкретного человека. Ту же русскую тему мы видим и у Герцена. На формирование взглядов Герцена очень повлияла казнь декабристов.

Для русской историософической темы огромное значение имеет Герцен. Это если и не самый глубокий, то самый блестящий из людей 40-х годов. Он первый представитель революционной эмиграции. Этот русский западник пережил глубокое разочарование в Западной Европе. После опыта Герцена западничество в том виде, в каком оно было в 40-е годы, стало невозможным. Русские марксисты будут западниками в другом смысле, а в марксизме коммунистов раскроются некоторые черты русского мессианизма. В лице Герцена западничество соприкасается со славянофильством. То же самое произойдет в анархизме Бакунина. Вообще левое, социалистическое западничество будет более русским, более оригинальным в понимании путей России, чем более умеренное, либеральное западничество, которое будет все более бесцветным. Русская тема об особых путях России, о миновании ею западных путей индустриального капиталистического развития будет раскрываться народническим социализмом, который произойдет из левого крыла западничества. В истоках народнического, своеобразно русского социализма станет Герцен. Идея, высказанная уже Чаадаевым, что русский народ, более свободный от тяжести всемирной истории, может создать новый мир в будущем, развивается Герценом и народническим социализмом. Герцен первый резко выразил русское восстание против мещанства Запада, он увидел опасность мещанства в самом западном социализме. Но это не было идеей лишь народнического социализма, в этой идее была большая глубина, до которой не доходила поверхностная философия самого Герцена, это была общерусская идея, связанная с русским мессианизмом. Герцен прошел через Гегеля, как и все люди 40-х годов, и один из первых пришел к Фейербаху, на котором и остановился. Это значит, что философски он был близок к материализму, хотя и не глубокому, и был атеистом. Но вернее было бы его характеризовать как гуманиста-скептика. Он не был по натуре верующим энтузиастом, как Белинский. Для него материализм и атеизм не были религией. При таком философском миросозерцании трудно было оправдать мессианскую веру в русский народ, трудно было обосновать философию истории и этику Герцена. Был момент влияния на Герцена французского социального мистицизма типа Пьера Леру.[122] Но это продолжалось недолго. Герцен так мотивировал свое неверие в высший смысл жизни, как делалось значительно позже и более утонченными формами мысли. Он говорит, что объективная наука не считается с человеческими иллюзиями и надеждами. Он требует смирения перед печальной истиной. Особенность Герцена была в том, что истина представлялась ему печальной, в его миросозерцании был пессимистический элемент. Он требует бесстрашия перед бессмыслицей мира. Он исповедовал антропоцентризм, для него выше всего и дороже всего человек. Но антропоцентризм этот не имеет никакого метафизического основания. Н. Михайловский потом будет употреблять выражение субъективный антропоцентризм, противополагая его объективному антропоцентризму. Это исходит от Фейербаха, но Фейербах был оптимистом и исповедовал

lib.pushkinskijdom.ru

религию человечества. А этика Герцена решительно персоналистическая. Для него верховная ценность, которой ни для чего нельзя пожертвовать, — человеческая личность. Философски обосновать верховную ценность личности он не мог. С его персонализмом связана была и его оригинальная философия истории. Герцен был более художник, чем философ, и от него нельзя требовать обоснования и развития философии истории. Он был очень начитанный человек, читал Гегеля, читал даже Я. Беме, знал философа польского мессианизма Чешковского.[123] Но настоящей философской культуры он не имел. С темой о личности связана у него и тема о свободе. Он один из самых свободолюбивых русских людей. Он не хочет уступать свободу и своему социализму. И остается непонятным, откуда личность возьмет силы противопоставить свою свободу власти природы и общества, власти детерминизма. Восстание Герцена против западного мещанства связано было с идеей личности. Он увидел в Европе ослабление и, в конце концов, исчезновение личности. Средневекового рыцаря заменил лавочник. Он искал в русском мужике, в сером тулупе спасения от торжествующего мещанства. Русский мужик более личность, чем западный буржуа, хотя бы он был крепостным. Он соединяет в себе личное начало с общинным. Личность противоположна эгоистической замкнутости, она возможна лишь в общинности. Разочарованный в Западной Европе, Герцен верит в русскую крестьянскую общину. Социализм Герцена народнический и вместе с тем индивидуалистический. Он еще не делает различия между индивидуумом и личностью. «Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов — все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов, мещанских». «Как рыцарь был первообразом мира феодального, так купец стал первообразом нового мира; господа заменились хозяевами». «Под влиянием мещанства все переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, гуманные нравы — нравами чинными, вежливость — чопорностью, гордость — обидчивостью, парки — огородами, дворцы — гостиницами, открытыми для всех (т. е. для всех, имеющих деньги)».[124] Все хотят «казаться вместо того, чтобы быть». Скупости имущих мещан противополагается зависть мещан неимущих. Потом реакционер К. Леонтьев будет говорить то же, что революционер Герцен. Одинаково восстают они против буржуазного мира и хотят противопоставить ему мир русский. Герцен высказывает идеи по философии истории, которые очень не походят на обычные оптимистические идеи прогрессивного левого лагеря. Он противополагает личность истории, ее фатальному ходу. Мы увидим, как бурно пережил эту тему Белинский и как гениально остро выразил ее Достоевский. Герцен провозглашает «борьбу свободного человека с освободителями человечества». Он против демократии и сочувствует анархизму. В замечательной книге «С того берега» он предупреждает, что внутренний варвар идет, и с большой прозорливостью предвидит, что образованному меньшинству жить будет хуже. «Объясните мне, пожалуйста, — говорит он, — отчего верить в Бога смешно, а верить в человека не смешно; верить в человечество не смешно, а верить в Царство Небесное — глупо, а верить в земные утопии — умно?»[125] Из западных социальных мыслителей, ему ближе всех Прудон. С Марксом он не имеет ничего общего.

Герцен не разделял оптимистического учения о прогрессе, которое стало религией XIX века. Он не верил в детерминированный прогресс человечества, в неотвержимое восходящее движение обществ к лучшему, совершенному, счастливому состоянию. Он допускал возможность движения назад и упадка. Главное, он думал, что природа совершенно равнодушна к человеку и его благу, что истина не может сказать ничего утешительного для человека. Но в противоречии со своей пессимистической философией истории он верил в будущее русского народа. В письме к Мишле, в котором Герцен защищает русский народ, он пишет, что прошлое русского народа темно, его настоящее ужасно, остается вера в будущее.[126] Это мотив, который будет повторяться на протяжении всего XIX века. В это же время Герцен, разочаровавшийся в революции 48 года, писал,

lib.pushkinskijdom.ru

что началось разложение Европы. Нет гарантий лучшего будущего для русского народа, как и для всех народов, потому что нет закона прогресса. Но остается часть свободы для будущего и остается возможность веры в будущее. Наиболее интересен в критике теории прогресса у Герцена другой мотив, очень редко встречающийся в лагере, к которому он принадлежал, это мотив персоналистический. Герцен не соглашался жертвовать личностью человеческой для истории, для ее великих якобы задач, не хотел превращать ее в орудие нечеловеческих целей. Он не соглашался жертвовать современными поколениями для поколений грядущих. Он понимал, что религия прогресса не рассматривает никого и ничего, никакой момент как самоценность. Философская культура Герцена не давала ему возможности обосновать и выразить свои мысли об отношении между настоящим и будущим. У него не было никакого определенного учения о времени. Но он чуял истину о невозможности рассматривать настоящее исключительно как средство для будущего. Он видел в настоящем самоцель. Мысли его были направлены против философии истории Гегеля, против подавления человеческой личности мировым духом истории, прогрессом. Это была борьба за личность и это очень русская проблема, которая с такой остротой была выражена в письме Белинского к Боткину,[127] о чем речь будет в следующей главе. Социализм Герцена был индивидуалистический, сейчас я бы сказал, персоналистический, и он думал, что это русский социализм. Он вышел из западнического лагеря, но защищает особые пути России.

3

Славянофильство, занятое все той же темой о России и Европе, частью меняет свой характер, частью вырождается в национализм самого дурного рода. Либеральные и гуманитарные элементы в славянофильстве начинают исчезать. Идеалисты-западники превращаются в «лишних людей», пока не появятся реалисты 60-х годов. Более мягкий тип превращается в более жесткий тип. Идеалисты-славянофилы тоже перерождаются в более жесткий тип консерваторов-националистов. Это происходит от активного соприкосновения с действительностью. Лишь немногие, как И. Аксаков, остаются верны идеалам старого славянофильства. Н. Данилевский, автор книги «Россия и Европа», уже человек совсем другой формации, чем славянофилы. Старые славянофилы были умственно воспитаны на немецком идеализме, на Гегеле и Шеллинге, они обосновывали свои идеи главным образом философски. Н. Данилевский — естественник, реалист и эмпирик. Он обосновывает свои идеи о России натуралистически. У него исчезает универсализм славянофилов. Он делит человечество на замкнутые культурно-исторические типы, человечество не имеет у него единой судьбы. Речь идет не столько о миссии России в мире, сколько об образовании из России особенного культурно-исторического типа. Данилевский является предшественником Шпенглера,[128] который отрицает единство человечества, что ему более подходит, чем христианину Данилевскому. Славянофилы основывались не только на философском универсализме, но и на универсализме христианском, в основах их миросозерцания лежало известное понимание православия, и они хотели органически применить его к своему пониманию России. Миссия России была для них христианская миссия. У Данилевского же остается полный дуализм между его личным православием и его натуралистическими взглядами на историю. Он устанавливает культурно-исторические типы, как устанавливает типы в животном царстве. Нет общечеловеческой цивилизации, нет общечеловеческой истории. Возможен только более богатый культурно-исторический тип, совмещающий в себе больше черт, а таким Данилевский признает тип славяно-русский. Он наиболее совмещает в себе четыре элемента — религиозный, культурный в тесном смысле, политический и общественно-экономический. Славянский тип четырехосновной. Самая классификация типов очень искусственная. Десятый тип называется германо-романским, или европейским. Русские очень склонны были причислять к одному типу германский и романский. Но это ошибка и недостаточное

lib.pushkinskijdom.ru

понимание Европы. В действительности между Францией и Германией разница не меньшая и даже большая, чем между Германией и Россией. Классические французы считают мир за Рейном, Германию, Востоком, почти Азией. Цельной европейской культуры не существует, это выдумки славянофилов. Данилевский совершенно прав, когда он говорит, что так называемая европейская культура не есть единственная возможная культура, что возможны другие типы культуры. Но он неверно понимает отношение родового и видового. Одинаково верно утверждение, что культура всегда национально-своеобразна и что существует общечеловеческая культура. Универсально-общечеловеческое находится в индивидуально-национальном, которое делается значительным именно своим оригинальным достижением этого универсально-общечеловеческого. Достоевский и Л. Толстой очень русские, они невозможны на Западе, но они выразили универсально-общечеловеческое по своему значению. Германская идеалистическая философия очень германская, невозможная во Франции и Англии, но величие ее в достижении и выражении универсально-общечеловеческого. Вл. Соловьев в блестящей книге «Национальный вопрос в России» подверг резкой критике идеи Данилевского и его единомышленников. Он показал, что русские идеи Данилевского заимствованы от второстепенного немецкого историка Рюккерта.[129] Но Вл. Соловьев критиковал не только Данилевского, но и славянофилов вообще. Он говорил, что нельзя подражать народной вере. Нужно верить не в народную веру, а в самые божественные предметы. Но эту бесспорно верную мысль несправедливо противополагать, например, Хомякову, который прежде всего верил в божественные предметы и был универсалистом в своей вере. Во всяком случае, верно то, что идеи Данилевского были срывом в осознании русской идеи и в эту идею не могут войти. Несостоятелен панславизм в этой форме, в которой он его утверждал, и ложна его идея русского Константинополя. Но характерно, что и Данилевский верит, что русский народ и славянство вообще лучше и раньше Западной Европы разрешат социальный вопрос.

Константин Леонтьев скромно считал себя в философии последователем Данилевского. Но он во много раз выше Данилевского, он один из самых блестящих русских умов. Если Данилевского можно считать предшественником Шпенглера, то К. Леонтьев предшественник Ницше. Неустанное размышление о расцвете и упадке обществ и культур, резкое преобладание эстетики над этикой, биологические основы философии истории и социологии, аристократизм, ненависть к либерально-эгалитарному прогрессу и демократии, amor fati [130] — все это черты, роднящие Леонтьева с Ницше. Совершенно ошибочно его причислили к славянофильскому лагерю. В действительности он имел мало общего с славянофилами и во многом им противоположен. У него другое понимание христианства, византийское, монашески-аскетическое, не допускающее никаких гуманитарных элементов, другая мораль, аристократическая мораль силы, не останавливающаяся перед насилием, натуралистическое понимание исторического процесса. Он совсем не верил в русский народ. Он думал, что Россия существует и велика исключительно благодаря навязанному сверху русскому народу византийскому православию и византийскому самодержавию. Он совершенно отрицательно относился к национализму, к племенному началу, которое, по его мнению, ведет к революции и демократическому уравнению. Он совсем не народник, славянофилы же были народниками. Он любил Петра Великого и Екатерину Великую и в екатерининской эпохе видел цветущую сложность русской государственной и культурной жизни. Он очень любил старую Европу, католическую, монархическую, аристократическую, сложную и разнообразную. Более всего любил он не средние века, а ренессанс. По оригинальной теории К. Леонтьева, человеческое общество неотвратимо проходит через периоды: 1) первоначальной простоты, 2) цветущей сложности и 3) вторичного смесительного упрощения. Процесс этот он считал фатальным. В отличие от славянофилов, он совсем не верил в свободу духа. Человеческая свобода для него не действует в истории. Высшая точка развития для него «есть высшая степень сложности, объединенная некиим внутренним деспотическим единством». Леонтьев совсем не метафизик, он натуралист и эстет, первый русский эстет.

lib.pushkinskijdom.ru

Результаты либерального и демократического прогресса вызывают в нем прежде всего эстетическое отвращение, он видит в них гибель красоты. Его социология совершенно аморальная, он не допускает моральных оценок в отношении к жизни обществ. Он проповедует жестокость в политике. Вот слова наиболее характеризующие К. Леонтьева: «Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей восходил на Синай, что эллины строили себе изящные Акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский или немецкий или русский буржуа в безобразной комической своей одежде благодушествовал бы „индивидуально" и „коллективно" на развалинах всего этого прошлого величия? . . Стыдно было бы человечеству, чтобы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки».* К. Леонтьев думал, что для Европы период цветущей сложности — в прошлом и она фатально идет к упростительному смешению. На Европу более рассчитывать нельзя. Европа разлагается, но это разложение есть фатум всех обществ. Одно время К. Леонтьев верил, что на Востоке, в России, возможны еще культуры цветущей сложности, но это не связано у него было с верой в великую миссию русского народа. В последний период жизни он окончательно теряет веру в будущее России и русского народа и пророчествует о грядущей русской революции и наступлении царства антихриста. Об этом будет еще речь. Во всяком случае, в истории русского национального сознания К. Леонтьев занимает совсем особое место, он стоит в стороне. В его мышлении есть что-то не русское. Но тема о России и Европе для него основная. Он реакционер-романтик, который не верит в возможность остановить процесс разложения и гибели красоты. Он пессимист. Он многое остро чувствовал и предвидел. После К. Леонтьева нельзя уже вернуться к прекраснодушному славянофильству. Подобно Герцену, которого он любил, он восстает против мещанства и буржуазности Запада. Это основной его мотив, и это в нем мотив русский. Он ненавидит буржуазный мир и хочет его гибели. Если он ненавидит прогресс, либерализм, демократию, социализм, то исключительно потому, что все это ведет к царству мещанства, к серому земному раю.

Национальное сознание Достоевского наиболее противоречиво и полно противоречий его отношение к Западу. С одной стороны, он решительный универсалист, для него русский человек — всечеловек, призвание России мировое, Россия не есть замкнутый и самодовлеющий мир. Достоевский наиболее яркий выразитель русского мессианского сознания. Русский народ — народ богоносец. Русскому народу свойственна всемирная отзывчивость. С другой стороны, Достоевский обнаруживает настоящую ксенофобию, он терпеть не может евреев, поляков, французов и имеет уклон к национализму. В нем отражается двойственность русского народа, совмещение в нем противоположностей. Достоевскому принадлежат самые изумительные слова о Западной Европе, равных которым не сказал ни один западник, в них обнаруживается русский универсализм. Версилов, через которого Достоевский высказывает многие свои мысли, говорит: «Они (европейцы) несвободны, а мы свободны. Только я один в Европе с моей русской тоской тогда был свободен. . . Всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем условием, что останется наиболее французом, равно — англичанин и немец. Один лишь русский, даже в наше время, т. е. гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех. . . Я во Франции — француз, с немцами — немец, с древним греком — грек и, тем самым, наиболее русский, тем самым я настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю главную ее мысль». «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия; каждый камень в ней мил и дорог.

* См. мою книгу: «Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли».[131]

lib.pushkinskijdom.ru

Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более. Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусства, вся история их — мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим... Одна Россия живет не для себя, а для мысли и знаменательный факт, что вот почти уже столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы». Иван Карамазов говорит в таком же духе: «Я хочу в Европу съездить, и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище, вот что. Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и свою науку, что я знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними — в то же время убежденный всем сердцем своим в том, что все это уже давно кладбище и никак не более». В «Дневнике писателя» написано: «Европа — но ведь это страшная и святая вещь, Европа. О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям — славянофилам, по-вашему ненавистникам Европы, — эта самая Европа, эта страна „святых чудес". Знаете ли вы, как дороги нам эти „чудеса" и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее и все великое и прекрасное, совершенное ими? Знаете ли вы, до каких слез и сжатия сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколь мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему исконные враги ее». Достоевский тут условно называет себя славянофилом. Он думал, как и большая часть мысливших на тему Россия и Европа, что в Европе начинается разложение, но что у нее есть великое прошлое и что она внесла великие ценности в историю человечества. Сам Достоевский был писателем петровского периода русской истории, он более петербургский, чем московский писатель, у него было острое чувство особенной атмосферы города Петра, самого фантастического из городов. Петербург — другой лик России, чем Москва, но он не менее Россия. Достоевский более всего свидетельствует о том, что славянофильство и западничество одинаково подлежат преодолению, но оба направления войдут в русскую идею, как и всегда бывает в творческом преодолении (Aufhebung [132] у Гегеля). Из русских мыслителей XIX века наиболее универсален был Вл. Соловьев. Мысль его имела славянофильские истоки. Но он постепенно отходил от славянофилов и, когда в 80-е годы у нас была оргия национализма, он стал острым критиком славянофильства. Он увидел миссию России в соединении церквей, т. е. в утверждении христианского универсализма. О Вл. Соловьеве будет речь в другой связи. Русские размышления над историософической темой привели к сознанию, что путь России — особый. Россия есть Великий Востоко-Запад, она есть целый огромный мир, и в русском народе заключены великие силы. Русский народ есть народ будущего. Он разрешит вопросы, которые Запад уже не в силах разрешить, которые он даже не ставит во всей их глубине. Но это сознание всегда сопровождается пессимистическим чувством русских грехов и русской тьмы, иногда сознанием, что Россия летит в бездну. И всегда ставится проблема конечная, не серединная. Русское сознание соприкасается с сознанием эсхатологическим. Какие же проблемы ставит русское сознание?

lib.pushkinskijdom.ru

Глава III

Проблема столкновения личности и мировой гармонии. Отношение к действительности. Значение Гегеля в истории русской мысли. Бунт Белинского. Предвосхищение Достоевского. Проблема теодицеи. Подпольный человек. Гоголь и Белинский. Индивидуалистический социализм Белинского. Религиозная драма Гоголя. Письмо Белинского Гоголю. Мессианство русской поэзии: Тютчев. Лермонтов

1

Гегель сделал небывалую карьеру в России.* Огромное значение философии Гегеля сохранилось и до русского коммунизма. Советы издают полное собрание сочинений Гегеля, и это несмотря на то, что для него философия была учением о Боге. Гегель был для русских вершиной человеческой мысли, и у него искали разрешения всех мировых вопросов. Он влиял на русскую философскую, религиозную и социальную мысль. Он имел такое же значение, какое имел Платон для патристики и Аристотель для схоластики. Ю. Самарин одно время ставил будущее православной церкви в зависимость от судьбы философии Гегеля, и только Хомяков убедил его в недопустимости такого рода сопоставления. Гегель совсем не был у нас предметом философского исследования, но в увлечение его философией русские вложили всю свою способность к страстным идейным увлечениям. В Шеллинге увлекали философия природы и философия искусства. Но в Гегеле речь шла о решении вопроса о смысле жизни. Станкевич восклицает: «Не хочу жить на свете, если не найду счастья в Гегеле». Бакунин принимает Гегеля как религию.

Русских интеллигентов-идеалистов, лишенных возможности активной деятельности, мучит вопрос об отношении к «действительности». Этот вопрос о «действительности» приобретает непомерное значение, вероятно мало понятное западным людям. Русская «действительность», окружавшая идеалистов 30-х и 40-х годов, была ужасна, это была империя Николая I, крепостное право, отсутствие свободы, невежество. Умеренно-консервативный Никитенко писал в своем «Дневнике»: «Печальное зрелище представляет наше современное общество. В нем ни великодушных стремлений, ни правосудия, ни простоты, ни чести в нравах — словом, ничего, свидетельствующего о здравом, естественном и энергичном развитии нравственных сил... Общественный разврат так велик, что понятия о чести, о справедливости считается или слабодушием, или признаком романтической восторженности... Образованность наша — одно лицемерие... Зачем заботиться о приобретении познаний, когда наша жизнь и общество в противоборстве со всеми великими идеями и истинами, когда всякое покушение осуществить какую-нибудь мысль о справедливости, о добре, о пользе общей клеймится и преследуется, как преступление?» «Везде насилия и насилия, стеснения и ограничения, — нигде простора бедному русскому духу. Когда же этому конец?» «Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования?» В последней записи «Дневника» написано: «Страшная эпоха для России, в которой мы живем и не видим никакого выхода». Это написано в эпоху «идеалистов» 40-х годов, эпоху блестящую по своим дарованиям. Но замечательные люди 40-х годов составляли небольшую группу, окруженную тьмой. Это привело в конце концов к «лишним людям», к беспрютному скитальцу Рудину и к Обломову. Более сильным людям нужно было идейно примириться с «действительностью», найдя для нее смысл и оправдание, или бороться с ней. Белинский, центральная тут фигура, не мог по своей боевой натуре просто уйти от «действительности» в философское и эстетическое созерцание. Вопрос становился для него необыкновенно мучительным. Бакунин ввел Белинского в философию Гегеля. Из Гегеля было выведено примирение с действительностью. Гегель сказал: «все действительное разумно». Эта мысль имела у Гегеля обратную сторону, он признавал лишь разумное

* См. *Чижевский*: «Hegel in Russland».

lib.pushkinskijdom.ru

действительным. Понять по Гегелю разумность действительности можно лишь в связи с его панлогизмом. Для него не всякая эмпирическая действительность была действительностью. Русские того времени недостаточно понимали Гегеля, и это порождало недоразумение. Но не все тут было непониманием и недоразумением. Гегель все-таки решительно утверждал господство общего над частным, универсального над индивидуальным, общества над личностью. Философия Гегеля была антиперсоналистической. Гегель проводил правое и левое гегелианство, на его философию одинаково опирается консерватизм и революционный марксизм. Этой философии был свойствен необыкновенный динамизм. Белинский переживает бурный кризис, по Гегелю примиряется с «действительностью», порывает с друзьями, с Герценом и с другими, и уезжает в Петербург. Революционер по натуре, склонный к протесту и бунту, на недолгое время делается консерватором, пишет взволновавшую и возмутившую всех статью о годовщине Бородинского сражения, требует примирения с «действительностью». Он принимает гегелевскую философию тоталитарно. Он восклицает: «Слово действительность имеет для меня то же значение, что Бог». «Общество, — говорит Белинский, — всегда правее и выше частного лица». Это было сказано в его несправедливой статье о «Горе от ума». Из этого могут быть сделаны и консервативные и революционные выводы. Белинский делает консервативный вывод и пишет апологию власти. Он вдруг проникается мыслью, что право есть сила и сила есть право, он оправдывает завоевателей. Он проповедует смирение разума перед историческими силами, признает особую нравственность для завоевателей, для великих художников и пр. Действительность прекрасна, страдание — форма блаженства. Было время, когда поэзия представлялась квинтэссенцией жизни. Белинский — решительный идеалист, для него выше всего идея, идея выше живого человека. Личность должна смириться перед истиной, перед действительностью, перед универсальной идеей, действующей в мировой истории. Тема была поставлена остро и пережита со страстью. Белинский не мог долго на этом удержаться, и он разрывает с «действительностью» в Петербурге, возвращается к друзьям. После этого разрыва начинается бунт, решительный бунт против истории, против мирового процесса, против универсального духа во имя живого человека, во имя личности. У нас было два кризиса гегелианства, кризис религиозный, в лице Хомякова, и кризис морально-политический и социальный, в лице Белинского.

2

Тема о столкновении личности и истории, личности и мировой гармонии есть очень русская тема, она с особенной остротой и глубиной пережита русской мыслью. И первое место тут принадлежит бунту Белинского. Это нашло себе выражение в замечательном письме к Боткину.* Белинский говорит про себя, что он страшный человек, когда ему в голову заберется мистический абсурд. Многие русские люди могли бы сказать это про себя. После пережитого кризиса Белинский выражает свои новые мысли в форме восстания против Гегеля, восстания во имя личности, во имя живого человека. Он переходит от пантеизма к антропологизму, что аналогично более спокойному философскому процессу, происшедшему в Фейербахе. Власть универсальной идеи, универсального духа — вот главный враг. «К чорту все высшие стремления и цели, — пишет Белинский. — Я имею особенно важные причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что был верен ему, мирясь с российской действительностью... *Судьба субъекта, индивидуума, личности, важнее судеб всего мира...* Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самоуслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень развития, а спотыкнешься, — падай, чорт с тобой... Благодарю покорно, Егор Федорович (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уваженьем честь имею донести вам, что, если бы мне и удалось взлезть на верхнюю

* См. книгу П. Сакулина: «Социализм Белинского», в которой напечатано письмо к Боткину.[133]

lib.pushkinskijdom.ru

ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови... Это, кажется, мое последнее миросозерцание, с которым я и умру». «Для меня думать и чувствовать, понимать и страдать — одно и то же». «Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судьбы всего мира и здоровия китайского императора (т. е. гегелевской Algemeinheit [134])». Выраженные Белинским мысли поражают сходством с мыслями Ивана Карамазова, с его диалектикой о слезинке ребенка и мировой гармонии. Это совершенно та же проблема о конфликте частного, личного с общим, универсальным, то же возвращение билета Богу. «Субъект для него (Гегеля) не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом».[135] Огромное, основоположное значение для дальнейшей истории русского сознания имеет то, что у Белинского бунт личности против мировой истории и мировой гармонии приводит его к культу социальности. Действительность не разумна и должна быть радикально изменена во имя человека. Русский социализм первоначально имел индивидуалистическое происхождение. «Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которая возможна только при обществе, основанном на правде и доблести...[136] Я понял французскую революцию, понял и кровавую ненависть ко всему, что хотело отделиться от братства с человечеством... Я теперь в новой крайности, — это идея социализма, которая стала для меня идеей новой, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и к ней...[137] Я все более и более гражданин вселенной. Безумная жажда любви все более и более пожирает мою внутренность, тоска тяжелее и упорнее... Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума». «Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я кажется, огнем и мечом истребил бы остальную».[138] Он восклицает: «Социальность, социальность или смерть».[139] Белинский является предшественником русского коммунизма гораздо более Герцена и всех народников. Он уже утверждал большевистскую мораль.

Тема о столкновении личности и мировой гармонии достигает гениальной остроты у Достоевского. Его мучила проблема теодицеи. Как примирить Бога и миротворение, основанное на зле и страдании? Можно ли согласиться на сотворение мира, если в мире этом будет невинное страдание, невинное страдание хотя бы одного ребенка? Ив. Карамазов в разговоре с Алешей раскрывает гениальную диалектику о слезинке ребенка. И это очень напоминает тему, поставленную Белинским. Тема впервые с большой остротой выражена в «Записках из подполья». Тут чувство личности, не согласной быть штифтиком мирового механизма, частью целого, средством для целей установления мировой гармонии, доведено до безумия. Тут Достоевский высказывает гениальные мысли о том, что человек совсем не есть благоразумное существо, стремящееся к счастью, что он есть существо иррациональное, имеющее потребность в страдании, что страдание есть единственная причина возникновения сознания. Подпольный человек не согласен на мировую гармонию, на хрустальный дворец, для которого сам он был бы лишь средством. «Свое собственное, вольное и свободное хотение, — говорит подпольный человек, — свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы до сумасшествия, — вот это-то и есть та самая, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и которой все системы и теории постепенно разлетаются к черту». Подобный человек не принимает результатов прогресса, принудительной мировой гармонии, счастливого муравейника, когда миллионы будут счастливы, отказавшись от личности и свободы. Это с наибольшей силой будет развито в «Легенде о Великом Инквизиторе».* Подпольный человек восклицает: «Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того, ни с сего, среди всеобщего

* См. мою книгу: «Миросозерцание Достоевского».[140]

lib.pushkinskijdom.ru

будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в бок и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного раза ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и нам опять по своей глупой воле пожить». У самого Достоевского была двойственность. С одной стороны, он не мог примириться с миром, основанным на страдании и страдании невинном. С другой стороны, он не принимает мира, который хотел бы создать «эвклидов ум», т. е. мир без страданий, но и без борьбы. Свобода порождает страдания. Достоевский не хочет мира без свободы, не хочет и рая без свободы, он более всего возражает против принудительного счастья. Диалектика Ив. Карамазова о слезинке ребенка выражает мысли самого Достоевского. И вместе с тем для него эта диалектика атеистическая, богоборческая, которую он преодолевает своей верой в Христа. Ив. Карамазов говорит: «В окончательном результате я мира Божьего не принимаю, и хоть знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе». Мир может прийти к высшей гармонии, к всеобщему примирению, но это не искупит невинных страданий прошлого. «Не для того же я страдал, чтобы собою, злодействами и страданиями моими унавозить какую-то будущую гармонию». «От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка». Ив. Карамазов возвращает Богу свой билет на вход в мировую гармонию. Проблема страдания стоит в центре творчества Достоевского. И в этом он очень русский. Русский человек способен выносить страдание лучше западного и вместе с тем он исключительно чувствителен к страданию, он более сострадателен, чем человек западный. Русский атеизм возник по моральным мотивам, вызван невозможностью разрешить проблему теодицеи. Русским свойствен своеобразный маркионизм.[141] Творец этого мира не может быть добрым, потому что мир полон страданий, страданий невинных. Для Достоевского вопрос этот решается свободой как основой мира и Христом, т. е. принятием на себя страданий мира самим Богом. У Белинского, очень посюстороннего по натуре, эта тема привела к индивидуалистическому социализму. Вот как выражает Белинский свою социальную утопию, свою новую веру: «И настанет время, — я горячо верю этому, настанет время, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы, когда преступник, как милости и спасения, будет молить себе конца, и не будет ему казни, но жизнь останется ему в казнь, как теперь смерть; когда не будет бессмысленных форм и обрядов, не будет договоров и условий на чувства, не будет долга и обязанностей, и воля будет уступать не воле, а одной любви; когда не будет мужей и жен, а будут любовники и любовницы, и когда любовница придет к любовнику и скажет: „Я люблю другого“, любовник ответит: „Я не могу быть счастлив без тебя, я буду страдать всю жизнь, но ступай к тому, кого ты любишь“, и не примет ее жертвы, если по великодушию она захочет остаться с ним, но подобно Богу, скажет ей: хочу милости, а не жертв... Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди и по глаголу Ап. Павла, Христос даст свою власть Отцу, а Отец-Разум снова воцарится, но уже на новом небе и над новою землей».* Индивидуалистический социализм был и у Герцена, который более всего дорожил личностью, а в 70-е года у Н. Михайловского и П. Лаврова. Русская мысль подвергла сомнению оправданность мировой истории и цивилизации. Русские прогрессисты-революционеры сомневались в оправданности прогресса, сомневались в том, что грядущие результаты прогресса могут искупить страдания и несправедливости прошлого. Но один Достоевский понимал, что эта тема разрешена лишь в христианстве. Белинский не замечал, что после бунта против власти общего-универсального у Гегеля он вновь подчиняет человеческую личность общему-универсальному — социальности, господину не менее жестокому. Русским одинаково свойственны персонализм и коммунитарность. В Достоевском соединяется и то и другое. Самое восстание Достоевского против революционеров, часто очень несправедливое, происходило во имя личности и свободы.

* См. *И. Лернер*: «Белинский».[142]

lib.pushkinskijdom.ru

Он вспоминает: «Белинский верил всем существом своим,что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии». Сам Достоевский не верил в это. Гениальность его темы, порождающей все противоречия, была в том, что человек берется как бы выпавшим из миропорядка. Это и было открытием подпольности, на языке научном — сферы подсознательного.

3

В 40-е годы уже начинали писать великие русские писатели, которые принадлежат последующей эпохе. О Достоевском и Л. Толстом речь будет позже. Но творчество Гоголя принадлежит эпохе Белинского и людей 40-х годов. Гоголь принадлежит не только истории литературы, но и истории русских религиозных и религиозно-социальных исканий. Религиозная тема мучила великую русскую литературу. Тема о смысле жизни, о спасении человека, народа и всего человечества от зла и страдания преобладала над темой о творчестве культуры. Русские писатели не могли оставаться в пределах литературы, они переходили эти пределы, они искали преображения жизни. И у них являлось сомнение в оправданности культуры, в оправданности их собственного творчества. Русская литература XIX века носила учительский характер, писатели хотели быть учителями жизни, призывали к улучшению жизни. Гоголь один из самых загадочных русских писателей.* Он пережил мучительную религиозную драму и в конце концов сжег вторую часть «Мертвых душ» при обстоятельствах, остающихся загадочными. Его драму сомнений в своем творчестве на Западе напоминает драма Ботичелли, когда он пошел за Савонароллой, и драму янсениста Расина.[144] Как и многие русские люди, он искал Царства Божьего на земле. Но искания эти принимают у него извращенную форму. Гоголь один из величайших и самых совершенных русских художников. Он не реалист и не сатирик, как раньше думали. Он фантаст, изображающий не реальных людей, а элементарных злых духов, прежде всего, духа лжи, овладевшего Россией. У него даже было слабое чувство реальности, и он неспособен был отличить правду от вымысла. Трагедия Гоголя была в том, что он никогда не мог увидеть и изобразить человеческий образ, образ Божий в человеке. И это его очень мучило. У него было сильное чувство демонических и магических сил. Гоголь наиболее романтик из русских писателей, близкий к Гофману. У него совсем нет психологии, нет живых душ. О Гоголе было сказано, что он видит мир sub specie mortis.[145] Он сознавался, что у него нет любви к людям. Он был христианин, переживавший свое христианство страстно и трагически. Но он исповедовал религию страха и возмездия. В его духовном типе было что-то не русское. Поразительно, что христианский писатель Гоголь был наименее человечным из русских писателей, наименее человечным в самой человечной из литератур.** Не-христиане — Тургенев, Чехов — были более человечны, чем христианин Гоголь. Он был подавлен чувством греха, был почти средневековым человеком. Он ищет прежде всего спасения. Гоголь, в качестве романтика, сначала верил, что через искусство можно достигнуть преображения жизни. Эту веру он теряет и выражает свое разочарование по поводу «Ревизора». В нем усиливается аскетическое сознание, и он проникается аскетическим сомнением в оправданности творчества. У Гоголя было сильное чувство зла, и это чувство совсем не было исключительно связано с общественным злом, с русским политическим режимом, оно было глубже. Он склонен к публичному покаянию. Иногда у него вырывается признание, что у него нет веры. Он хочет осуществить религиозно-нравственное служение и подчинить ему свое художественное творчество. Он печатает «Избранные места из переписки с друзьями»,[147] книгу, вызвавшую бурю негодования в левом лагере. Его признают изменником освободительного движения.

* См. книгу К. Мочульского: «Духовный путь Гоголя».[143]

** Розанов терпеть не мог Гоголя за его нечеловечность и резко о нем писал.[146]

lib.pushkinskijdom.ru

То, что Гоголь проповедовал личное нравственное совершенствование и без него не видел возможности достижения лучшей общественной жизни, может привести к неверному его пониманию. Эта идея, сама по себе верная, не могла бы вызвать негодования против него. Но в действительности, подобно многим русским, он проповедовал социальное христианство. И вот это социальное христианство было ужасно. Гоголь в своем рвении религиозно-нравственного учительства предложил свою теократическую утопию, патриархальную идиллию. Он хочет преобразовать Россию посредством добродетельных генерал-губернаторов и генерал-губернаторш. Сверху донизу сохраняется авторитарный строй, сохраняется и крепостное право. Но иерархически высшие — добродетельны, иерархически низшие — покорны и послушны. Утопия Гоголя низменная и рабья. Нет духа свободы, нет горячего призыва вверх. Все проникнуто невыносимым мещанским морализмом. Белинский не понимал религиозной проблемы Гоголя, это было вне пределов его сознания. Но он не без основания пришел в состояние страшного негодования, на которое только он был способен. Он пишет знаменитое письмо Гоголю. Он поклонялся Гоголю как писателю. И вдруг великий русский писатель отказывается от всего, что было дорого и свято Белинскому. «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете!» В письме определяется отношение Белинского к христианству и Христу. «Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут? . . Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения». «Если бы действительно преисполнились истиною Христовою, а не диаволова учения — совсем не то написали бы в вашей новой книге. Вы сказали бы помещику, что так как его крестьяне — его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хотя, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно выгоднее для них, сознав себя, в глубине своей совести, в ложном положении в отношении к ним». Гоголь был раздавлен тем приемом, который встретили «Избранные места переписки с друзьями». Гоголь — одна из самых трагических фигур в истории русской литературы и мысли. Л. Толстой будет тоже проповедовать личное нравственное совершенствование, но он не построит рабьего учения об обществе, наоборот, он будет обличать ложь этого общества. И все же, несмотря на отталкивающий характер книги Гоголя, у него была идея, что Россия призвана нести братство людям. Самое искание Царства Божьего на земле было русским исканием. С Гоголя начинается религиозно-нравственный характер русской литературы, ее мессианство. В этом большое значение Гоголя, помимо его значения как художника. У русских художников будет жажда перейти от творчества художественных произведений к творчеству совершенной жизни. Тема религиозно-метафизическая и религиозно-социальная мучит всех значительных русских писателей.

Один из самых глубоких русских поэтов Тютчев в своих стихах выражает метафизически-космическую тему и он же предвидит мировую революцию. За внешним покровом космоса он видит шевелящийся хаос. Он поэт ночной души природы.

И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами —
Вот отчего нам ночь страшна! [148]

Мир этот есть «Ковер, накинутый над бездной»,[149]

И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.[150]

Самое замечательное стихотворение «О чем ты веешь, ветр ночной»,[151] кончается строками:

lib.pushkinskijdom.ru

О, бурь заснувших не буди:
Под ними хаос шевелится.

Этот же хаос Тютчев чувствует и за внешними покровами истории и предвидит катастрофы. Он не любит революцию и не хочет ее, но считает ее неизбежной. Русской литературе свойствен профетизм, которого нет в такой силе в других литературах. Тютчев чувствовал наступление «роковых минут» истории. В стихотворении, написанном по совсем другому поводу, есть изумительные строки:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.[152]

Мы сейчас такие «счастливые собеседники», но Тютчев предвидел это сто лет тому назад. Он предвидел грядущие катастрофы для России:

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты облачишься навсегда?
Ужель навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?
Все гуще мрак, все пуще горе,
Все неминуемей беда.

У Тютчева было целое обоснованное теократическое учение, которое по грандиозности напоминает теократическое учение Вл. Соловьева. У многих русских поэтов было чувство, что Россия идет к катастрофе. Еще у Лермонтова, который выражал почти славянофильскую веру в будущее России, было это чувство. У него есть страшное стихотворение:

Настанет год, России черный год —
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь;
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать,
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож.[153]

У того же Лермонтова была уже русская драма творчества — сомнение в его религиозной оправданности —

От страшной жажды песнопенья
Пускай, Творец, освобожусь, —
Когда на тесный путь спасенья
К Тебе я снова обращусь.[154]

В этих словах намечается уже религиозная драма, пережитая Гоголем, Лермонтов не был ренессансным человеком, как был Пушкин, и может быть, один лишь Пушкин, да и то не вполне. Русская литература пережила влияние романтизма, который есть явление западноевропейское. Но по-настоящему у нас не было ни романтизма, ни классицизма. У нас происходил все более и более поворот к религиозному реализму.

lib.pushkinskijdom.ru

Примечания

[1] Имеется в виду стихотворение А. С. Хомякова «России» («Тебя призвал на брань святую. . .», 1854).

[2] Изданная брошюрой в 1915 году работа «Душа России» была напечатана в книге Бердяева «Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности» (М., 1918. С. 1—29).

[3] *Федотов Г. П.* Святые Древней Руси (X—XVII ст.). Paris, 1985. С. 188—189. Бердяев использовал первое издание этой книги, вышедшее в 1931 году. Г. П. Федотов замечает, что «среди учеников преп. Иосифа мы видим много иерархов, но ни одного святого».

[4] Эту мысль высказывал Г. П. Федотов. Он писал, что обратной стороной «дара св. Кирилла и Мефодия» — перевода Священного Писания на славянский язык — был «отрыв от Греции, от классической культуры, от „словесной" культуры вообще» (Там же. С. 233).

[5] В XLI лекции «Курса русской истории» В. О. Ключевский дает такую оценку «IV периода» (по его делению) — с 1613 по 1855 год: «Государство пухло, а народ хирел» (*Ключевский В. О.* Сочинения. В 8 т. М., 1957. Т. 3. С. 12). В этой эпохе историк видит два «маяка», два ярких образа — это Петр I и Пушкин. Нетрудно заметить, здесь и далее, что Бердяеву довольно близки и общий взгляд и многие акценты Ключевского.

[6] В статье «La Russie» Герцен писал: «Русский крестьянин. . . на императорский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина» (*Герцен А. И.* Собр. соч. В 30 т. М., 1955. Т. 6. С. 199—200).

[7] Под влиянием апокалипсических ожиданий конца мира и пришествия антихриста (эти ожидания особенно обострились в канун 1669 года) значительная часть раскольников, чтобы спастись от «прелести антихристовой», прибегала к самосожжениям, принявшим в последней четверти XVII века чрезвычайные размеры (до 1690-х годов сожгли себя не менее 20 тысяч человек). К тому звал и Аввакум: «Свое спасение возлюбите и скорым путем, с женами и детьми, в царство Божие теките». Указание на этот путь многие (в частности, «глухие нетовцы») находили в духовном стихе о «жене Аллилуевой». Чтобы спасти Христа от преследователей, «жена милосердная» взяла его на руки вместо своего младенца, а последнего бросила в печь горящую, где тот не погиб, а спасся. Прямой призыв к спасению в огне заключался в стихе «Как шел старец по дорожке. . .», распространенном среди «глухих нетовцев».

[8] Хлыстовство — русская религиозно-мистическая секта, возникшая около времени появления старообрядческого раскола. Хлыстовские радения действительно имеют оргиастические черты и связаны с языческой обрядностью и с фольклорно-игровыми традициями. «Круговое», или «хороводное», радение имеет, однако, и другие источники, в частности пример пророка Давида, который плясал и играл перед Св. Ковчегом (одна из разновидностей радений так и называется — Давидово радение).

[9] Это отразилось, например в стихе о Голубиной книге.

[10] Культ матери-земли для Бердяева — коренная, существенная черта русского религиозного сознания. В 1910-е годы дело представляется ему так, что в России «мужественный вселенский логос пленен женственной национальной стихией, русской землей в ее языческой первородности» и что это привело к преобладанию «религии растворения в матери земле», частично отождествлявшейся с религией Богородицы (см.: *Бердяев Н.* Душа России. М., 1915. С. 15—16, а также С. 39). Позже он будет говорить о народной религиозности, в которой живет «особый культ Божией Матери, неприметно переходящий в культ русской земли и с ним сливающийся»; в итоге оказывается, что «из русского православия земля как религиозная категория не может быть выброшена» (см.: Современные записки. Кн. XLII. Париж, 1930. С. 329). Близость обоих культов в народном религиозном сознании отразилась во многих духовных стихах, особенно в «Стихе Богородице», в стихах «Уж как каялся молодец сырой земли. . .», «Плач земли». Живая нравственная потребность в покаянии, в искуплении вины перед Богом в русской традиции обращена к тем, с кем ощутимее связана греховная, страждущая, смертная природа человека, ищущая очищения, милости и любви. К Христу обращены упования духа, ожидания всеобщего суда и решения судеб человека и мира в целом. При этом эсхатологически отдаленный Христос в народном представлении все-таки не оторван от матери-земли. В стихе «О втором пришествии» читаем: «Сойдет к нам Небесный Царь *на мать на сыру землю*. . .». В плане исторических изменений религиозного сознания вернее говорить не об «искажении» образа Христа (и влияние иосифлянства, как и другие влияния, здесь вряд ли было «роковым»), а об отдалении его и нарастании чувства богопокинутости.

[11] См.: *Федотов Г. П.* Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. Париж, 1935.

[12] Иосиф Волоцкий (в миру Иван Санин) (1439-40—1515) — русский церковный деятель и писатель. Он энергично содействовал укреплению церкви как важнейшей опоры русской государственности, способствовал возвышению великокняжеской власти, религиозно-идеологическому обоснованию самодержавия. С его именем связан дух «обрядового исповедничества» в церковной жизни, в аскетической практике. Волоцкий был причислен вначале к местным святым (1578), а затем — к общерусским (1591).

[13] Это свойство русской религиозности очень существенно для концепции Бердяева. О корнях русского эсхатологизма в связи с настоящими

lib.pushkinskijdom.ru

суждениями Бердяева см., например: *Саха-ров В.* Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности. Тула, 1879.

[14] Нил Сорский (в миру Николай Майков) (ок. 1433—1508) — русский церковный деятель, богослов, писатель. С деятельностью Нила и его учеников русская аскетика вновь после эпохи Сергия Радонежского обращается к религиозно-философскому и этическому наследию восточной патристики, становится восприимчивей к традициям исихазма, к аскетическому опыту Афона (где Нил провел несколько лет); вместе с углублением «внутреннего делания» в ней усиливается харитативная окраска. В церковно-историческом плане это естественно привело к позиции «нестяжательства».

[15] Филофей — русский церковный деятель, писатель, публицист первой половины XVI века, монах псковского Елеазарова монастыря, автор посланий к вел. кн. Василию III, к царю Ивану IV, к Михаилу Мисюрю Мунехину. В его изложении получила наиболее отчетливое тогда оформление знаменитая идея «Москва — Третий Рим». Но эта идея высказывалась и до Филофея — в частности, митрополитом Зосимой в «Извещении о пасхалии» (1492).

[16] Бердяев цитирует (в не совсем точном переводе) послание Филофея к Мунехину против звездочетцев и латин (см.: *Малинин В.* Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901. С. 45. Приложения).

[17] См.: *Милюков П. Н.* Очерки по истории русской культуры. В 3 ч. 3-е изд. СПб., 1909, Ч. 3: Национализм и общественное мнение. Вып. 1. С. 38—46.

[18] В Воскресенской летописи под 6367 годом говорится о том, что «первый князь в Руси Рюрик от рода суща Августа, кесаря Римского», именно от брата его Пруса: «а от Пруса четвертое на десять колено Рюрик» (ПСРЛ. Т. 7. С. 267).

[19] Ряд источников («Степенная книга», «Слово монаха Филолога. . .», Воскресенская летопись и др.) рассказывает о венчании Владимира бармами императора Константина Мономаха; в некоторых указывается, что регалии были посланы самим Константином вследствие похода Владимира на Фракию и что венчание было совершено ефесским митрополитом Неофитом.

[20] Созванный для избрания нового митрополита Собор 1572 года простил и разрешил Ивана IV за его беззаконный и уже совершенный тогда четвертый брак — «ради теплого умиления и покаяния царского». Но одновременно Собор наложил на царя трехлетнюю епитимию.

[21] К. С. Аксаков говорил о том, что «Домострой» не был осуществлением и выражением народных идеалов (см.: *Аксаков К. С.* Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 161).

[22] Максим Грек (в миру Михаил Триволис) (ок. 1470—1555) — живший и работавший с 1516 года в Москве писатель и переводчик, грек по происхождению. Перед приездом в Москву он около 10 лет подвизался на Афоне, куда и хотел вернуться по окончании перевода Толковой Псалтири. Однако отпущен не был, остался на Руси; сблизился с Васснаном Патрикеевым, возглавлявшим тогда партию нестяжателей. С самим Нилом Сорским Максим близок не был (Нил умер в 1508 году), но оказался связан с его традицией, с его последователями, что вовлекло Максима в коллизии русской церковной и внутриполитической жизни, вызвало враждебное к нему отношение со стороны некоторых иерархов и книжников. Одной из причин обрушившихся на Максима кар было то обстоятельство, что, по несовершенному вначале знанию славянского языка, он, исправляя в церковных книгах одни ошибки, допустил другие. Митрополит Даниил обвинил его в порче книг и добился ссылки в Иосифо-Волоколамский монастырь; позже Максим был отправлен в Тверской Отроч монастырь.

[23] Никон (в миру Никита Минов) (1605—1681) — русский патриарх, предпринявший в 1650-х годах церковную реформу. «Грекофильство Никона не было возвращением к отеческим основам, не было даже и возрождением византинизма, — замечает прот. Г. Флоровский. — В „греческом чине" его завлекала большая торжественность, праздничность, пышность, богатство, видимое благолепие. С этой „праздничной" точки зрения он и вел обрядовую реформу» (*Флоровский Г.* Пути русского богословия. 2-е изд. Paris, 1981. С. 64). Многие исправления в церковном чине Никон осуществлял по современному печатному греческому Евхологию, новопечатная греческая книга использовалась и при исправлении книг. Прав был Никон в другом: в своем вытекающем из святоотеческого воззрения утверждении, что «священство» выше «царства». Кроме того, в обстановке никонианских реформ, возбудивших сильное движение в религиозной жизни, отчетливее обозначилась необходимость нового утверждения (а отчасти и канонического закрепления) существенных для православного сознания представлений, какова, например, идея Св. Троицы, выражаемая троеперстным крестным знамением.

[24] Здесь и в некоторых других суждениях о расколе Бердяев опирается на высказанные Г. Флоровским соображения (ср.: *Флоровский Г.* Указ. соч. С. 67 и далее).

[25] «Нетовщина» (или «спасово согласие») — старообрядческий толк беспоповщины, развившийся из убеждения, что нет спасительных тайн и не может быть общественного богослужения, поскольку благодать «улетела на небо». Последователи «глухой нетовщины» исповедуют это убеждение скрыто; не отвергая обряда внешне, они не признают в церковном крещении и венчании силы таинства. Единственное и последнее упование нетовцев — на Спаса, который сам знает, как спасти человека.

[26] Аввакум действительно считал, что «царя тово враг божий омрачил», о чем говорил в «Книге толкований» (в толковании псалмов).

[27] Бердяев приводит слова Аввакума из пятой челобитной к Алексею Михайловичу.

[28] См.: *Платонов С. Ф.* Москва и Запад в XVI—XVII веках. Л., 1925. С. 7—9.

lib.pushkinskijdom.ru

[29] Хворостинин Иван Андреевич (?—1625) — князь, политический деятель и писатель. В 1605 году при Лжедмитрии был одним из его фаворитов. Не раз обвинялся в ереси, в симпатиях к католичеству, пытался бежать в Литву, был сослан в монастырь, затем, после раскаяния, прощен. Тот исторический ряд, в котором стоит эта фигура у Бердяева, рассматривается в современной работе: *Щукин В. Г.* От Ивана Хворостинина до Петра Чаадаева // Studia Slavica Hung. 31/1—4. 1987. Académiai Kiadó, Budapest. P. 131—148.

[30] Котошихин Григорий Карпович (ок. 1630—1667) — подъячий посольского приказа, писатель. В 1664 году бежал за границу; после службы у литовского канцлера, пребывания в Силезии, Нарве был принят на шведскую службу. За убийство хозяина дома, где жил, Котошихин был казнен. По предложению шведского правительства он написал сочинение, в котором полно и точно раскрыл многие неизвестные европейцам стороны русской жизни, освещая их подчас весьма тенденциозно. В России его книга известна под названием «О России в царствование царя Алексея Михайловича» (4-е изд. СПб., 1906).

[31] Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (ок. 1605—1680) — думный дворянин, боярин, государственный и военный деятель. Он был энергичным сторонником внешнеполитической активности России (настаивал на союзе с Польшей для борьбы со Швецией за выход к Балтике) и внутренних реформ в военной, экономической, хозяйственной области, во многом предвосхищая начинания Петра I.

[32] Крижанич Юрий (ок. 1618—1683) — мыслитель, религиозный деятель, писатель; по происхождению хорват. Он настойчиво проводил идею возрождения славянства на основе единения славянских народов вокруг России, которой, по убеждению Крижанича, необходимо было вступить на путь преобразования и усиления своих общественно-государственных основ.

[33] Дмитрий Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало) (1651—1709) — русский церковный деятель и писатель. Родом из украинской шляхты; был игуменом в нескольких монастырях, затем митрополитом. В течение двадцати лет работал над созданием знаменитого свода житий, известного под названием Четьи-Минеи. Реформы Петра I Дмитрий поддерживал, но не признавал вмешательства государства в дела церкви; в конце жизни сблизился со сторонниками царевича Алексея.

[34] Бецкой Иван Иванович (1704—1795) — русский общественный деятель; его попечением создавались многие воспитательные и учебные заведения в России. Цитируемые слова Бецкой приводит в «Уставе московского воспитательного дома». Бердяев нашел их в книге А. П. Шапова «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа» (СПб., 1870).

[35] Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — русский государственный деятель, сенатор, член Государственного совета, в 1880—1905 годах обер-прокурор Синода. Он считал, что современные веяния европейской научной, общественно-политической мысли воздействуют разрушительно на русский религиозный и моральный дух, стремился усилить роль церкви в деле народного образования и просвещения.

[36] См.: *Боголюбов В. А.* Н. И. Новиков и его время. М., 1916.

[37] В 1785 году Екатерина II повелела митрополиту Платону испытать Новикова в законе божием и рассмотреть изданные им книги. Платон еще в бытность архиепископом относился довольно благосклонно к деятельности новиковского кружка, хотя не одобрял масонских умствований и мистицизма. Бердяев приводит слова из донесения митрополита Екатерине.

[38] Шварц Иван Григорьевич (умер в 1784) — профессор философии Московского университета, писатель-мистик. В Москву приехал в 1776 году, изучал русский язык и литературу. В 1779 году познакомился с Новиковым, вместе с которым организовал «Дружеское ученое общество», существовавшее на пожертвования самого Шварца, А. П. Татищева и др. Как и сам Шварц, почти все члены общества были масонами. После поездки за границу Шварц вернулся в качестве «единственного верховного предстоятеля теоретической степени Соломоновых наук в России» с правом передачи этой степени другим (прежде всего Новикову); привез он также от Вельнера «познания розенкрейцерства» и право основать орден «Злато-розового креста». Лопухин Иван Владимирович (1756—1816) — член новиковского кружка, писатель-мистик, великий мастер одной из масонских лож; написал «Нравоучительный катехизис истинных франк-масонов», ряд религиозно-дидактических сочинений. Упоминая имя Гамалеи, Бердяев здесь имел в виду Семена Ивановича Гамалею (1743—1822) — одного из главных деятелей новиковского кружка, переводчика, писателя-мистика. За свою религиозность и добросердечие он был прозван в кружке «Божьим человеком».

[39] Сковорода Григорий Саввич (1722—1794) — украинский мыслитель, странствующий просветитель, богослов и моралист.

[40] Здесь имеются в виду «новые розенкрейцеры», которые в XVIII веке входили в состав масонства, сохраняя присущий первым розенкрейцерам интерес к теософии и магии. См. также прим. 38.

[41] Вейсгаупт Адам (1748—1830) — основатель ордена иллюминатов — ордена совершенствующихся, как он это называл. Конечной целью ордена была замена положительного христианства деизмом, монархического правления — республиканским. С 1780 года орден сблизился с масонами, но вскоре подвергся преследованиям.

[42] Мартинисты — приверженцы мистико-теософской системы Сен-Мартена (см. след. примечание).

[43] Сен-Мартен Луи Клод де (1743—1803) — французский философ-мистик, теософ, бо-

lib.pushkinskijdom.ru

ровшийся против атеизма и материализма просветителей и одновременно во многом расходившийся с христианской ортодоксией. Основание для истинного богопознания Сен-Мартен видел во внутреннем мистическом опыте, путь к конечному соединению с богом — в теократии. Эти воззрения оказали сильное воздействие на русских масонов и на иллюминатов.

[44] Бёме (Бём) Якоб (1575—1624) — немецкий философ, мистик, визионер. Большую популярность в России Бёме приобрел благодаря своеобразному и часто глубокому истолкованию Священного Писания (к которому он постоянно обращается) и входящим в его сочинения молитвам. Известности его содействовали удачные переводы на русский язык, принадлежащие С. И. Гамалее, И. П. Тургеневу и др.

[45] Портедж (Пордеж) Джон (1625—1698) — английский медик, натуралист, священник, философ-мистик.

[46] Штиллинг (Юнг-Штиллинг) Иоганн Генрих (1740—1817) — немецкий мистик; в России переводился Лубяновским, Лабзиным и др. С ним встречался (у герцога баденского) Александр I. Эккартсгаузен Карл (1752—1803) — немецкий юрист, писатель, мистик. Русские переводы его сочинений очень многочисленны и пользовались большой популярностью. С ним был знаком И. В. Лопухин.

[47] Бердяев ссылается на издания: *Пыпин А. Н.* 1) Религиозные движения при Александре I. Пг., 1916. 2) Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в. Пг., 1916; *Флоровский Г.* Пути русского богословия. Париж, 1937.

[48] Крюднер Варвара Юлия (урожденная Фитингоф) (1764—1824) — религиозная проповедница; с 1818 года жила в России, с 1821 — в Петербурге, где сблизилась с А. Голицыной и кружком русских мистиков. Экзальтированный пиетизм Крюднер имел некоторое влияние на настроения Александра I, который познакомился с ней в 1815 году.

[49] Квакеры — возникшая в Англии религиозная секта; Александр I познакомился с квакерами в 1814 году в Лондоне. В 1818-м и в 1824 году несколько представителей секты приезжали в Петербург; император действительно молился вместе с ними.

[50] Лагарп Фридерик-Цезарь (1754—1838) — швейцарский военный и государственный деятель; ему были поручены научные занятия с великими князьями Александром и Константином. Лагарп сочувствовал идеям французской революции; впоследствии от занятий с великими князьями был отстранен.

[51] Об этой широко распространенной легенде см.: *Великий князь Николай Михайлович.* Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Козмича. СПб., 1907.

[52] Меттерних-Виннебург Клеменс Венцель Лотар (1773— 1859) — австрийский государственый деятель и дипломат.

[53] Фотий (в миру Петр Никитич Спасский) (1792—1838) — русский церковный деятель, архимандрит, настоятель Юрьевского монастыря; воинствующий консерватор в вопросах церковной жизни.

[54] Голицын Александр Николаевич (1773—1844) при Александре I (с которым был близок с детства) — обер-прокурор Синода, затем министр духовных дел и народного просвещения; мистик и пиетист, возглавлял «Российское библейское общество», которому также придал мистический характер. Выступавшее против него духовенство, прежде всего Фотий, добилось отставки Голицына.

[55] Лабзин Александр Федорович (1766—1825) — писатель и переводчик; рано попав под влияние И. Шварца, сделался мистиком. Издавал религиозно-нравственный журнал «Сионский вестник», получивший широкое распространение. Был в дружеских отношениях с А.Н. Голицыным; имел некоторое влияние на Александра I.

[56] Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) (1782—1867) — архиепископ, митрополит Московский, богослов, духовный писатель, оказавший немалое влияние на религиозную жизнь своей эпохи.

[57] Многие из декабристов не только были членами лож, но занимали в них значительное положение. С. Г. Волконский — основатель ложи «Трех добродетелей» (членами ее были П. И. Пестель, М. С. Лунин); поместные мастера этой ложи — С. П. Трубецкой, А. Н. Муравьев; ее обрядоначальник — С. И. Муравьев-Апостол; ритор — Н. М. Муравьев. К. Ф. Рылеев был мастером петербургской ложи «Пламенеющая звезда», состоящей в союзе «Астреи». Н. И. Тургенев принадлежал к «Ордену русских рыцарей»; его отец И. П. Тургенев, известный масон, входил в «Дружеское ученое общество».

[58] См.:*Семевский В. И.* Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909.

[59] Дестют де Траси (1754—1836) — французский политический деятель, философ, экономист.

[60] М. С. Лунин познакомился с Сен-Симоном в Париже в 1816 году.

[61] См.: *Гершензон М. О.* История молодой России. М.; Пг., 1923.

[62] Здесь: интеллектуалы (фр.).

[63] Об этом Бердяев говорит в VII главе книги (см.: *Бердяев Н. А.* Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 391—392).

[64] Бюхнер Людвиг (1824—1899) — немецкий врач, естествоиспытатель, философ вульгарно-материалистической ориентации.

[65] Голубинский Федор Александрович (1797—1854) — философ, профессор Московской духовной академии. Кудрявцев (Кудрявцев-Платонов) Виктор Дмитриевич (1828—1891) — философ и богослов, профессор Московской духовной академии. Юркевич Памфил Данилович (1826—1874) — религиозный философ, профессор Московского университета (с 1861), один из предшественников экзистенциализма и персонализма.

[66] Вольф Христиан (1679—1754) — немецкий философ лейбницианец.

lib.pushkinskijdom.ru

[67] Шад Иоганн Баптист (1758—1834) — немецкий философ. По рекомендации Гете в 1804 году приглашен в Харьковский университет, где читал лекции по философии. В его воззрениях гораздо значимее влияние Фихте, чем Шеллинга. В 1816 году по доносу профессора Дегурова был отставлен от должности и выслан из России.

[68] Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790—1853) — русский государственный деятель; в 1850—1853 годах министр народного просвещения. По его инициативе было прекращено преподавание философии светскими профессорами.

[69] См.: *Шпет Г.* Очерк развития русской философии. Пб., 1922. Ч. 1.

[70] Павлов Михаил Григорьевич (1793—1840) — философ, физик, агробиолог, профессор Московского университета. Давыдов Иван Иванович (1794—1863) — философ и филолог, профессор Московского университета, директор Главного педагогического института. Галич (Никифоров, Говоров) Александр Иванович (1783—1848) — философ и психолог, преподаватель Царскосельского лицея и Педагогического института. Велланский (Кавунник) Данило Михайлович (1774—1847) — философ, медик, профессор Петербургской медико-хирургической академии.

[71] См.: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма: Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. Т. 1. Ч. 1—2. М., 1913.

[72] Баадер Франц Ксаверий (1765—1841) — немецкий философ, богослов, врач, профессор Мюнхенского университета. Его воззрения, сложившиеся под влиянием Я. Бёме и Сен-Мартена, во многом имели теософский характер и окрашены мистицизмом. С. П. Шевырев встречался с Баадером во время заграничной поездки 1838—40 годов, много беседовал с ним, что сказалось впоследствии на его миросозерцании и нашло отражение в литературной деятельности.

[73] Члены «Общества любомудрия» (В. Ф. Одоевский, Д. В. Веневитинов, А. И. Кошелев, И. В. Киреевский, Н. М. Рожалин, Н. А. Мельгунов, В. П. Титов и др. — тогда пантеисты и шеллингианцы в философии, либералы и вольнодумцы в политике), получив известия о поражении декабристов, прекратили свои собрания, не желая навлекать на себя подозрения властей.

[74] Ламенне Фелисите Робер де (1782—1854) — французский публицист и философ, один из родоначальников христианского социализма.

[75] Готовясь выступить против врагов, Александр Невский молился в церкви Св. Софии; после же, выйдя из храма, «утер слезы, нача крепити дружину свою, глаголя: „Не в силах Бог, но в правде“».

[76] Первое философическое письмо Чаадаева было обращено к Е. Д. Пановой, сестре музыковеда, бывшего члена «Зеленой лампы» А. Д. Улыбышева. Письмо было написано по-французски, опубликовано в журнале «Телескоп» (1836, № 15) в переводе или Н. Х. Кетчера, или А. С. Норова.

[77] Строки из стихотворений Пушкина «К портрету Чаадаева» (1817—1820; вторая строка у Пушкина: «А здесь он — офицер гусарский») и «Чаадаеву» (1821).

[78] Эта характеристика дана в «Былом и думах», в XXX главе.

[79] См.: *Гершензон М.* П. Я. Чаадаев: Жизнь и мышление. Пб., 1908.

[80] Приидет Царствие Твое (лат.).

[81] Местр Жозеф де (1753—1821) — французский философ и политический деятель. Теократические идеи де Местра в связи с религиозно-философскими исканиями XVIII—XIX веков побудили Бердяева написать специальную статью на эту тему (*Бердяев Н.* Жозеф де Местр и масонство // Путь, 1926, № 5). Бональд Луи Габриель Амбруаз (1754—1840) — французский философ и публицист; сторонник абсолютизма и главенства католической церкви в духовной и общественной жизни.

[82] Бердяев цитирует «Апологию сумасшедшего» Чаадаева.

[83] Приводимые высказывания взяты из первого «Философического письма».

[84] Бердяев цитирует «Апологию сумасшедшего».

[85] Мысль высказана в «Апологии сумасшедшего».

[86] Печерин Владимир Сергеевич (1807—1885) — поэт, профессор, греческой филологии в Московском университете; с 1836 года в эмиграции, где и перешел в католичество.

[87] Двадцатишестилетний Печерин, упивавшийся тогда байронической ненавистью к «родным брегам», «в припадке этого байронизма написал (в Берлине) эти безумные строки»:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

Впоследствии он привел эти строки в своих «Замогильных записках» (1865—1875).

[88] Герцен встретился с В. С. Печериным в 1853 году в иезуитском монастыре С.-Мари Чапл. О свидании он рассказал в VI главе седьмой части «Былого и дум».

[89] Речь идет о письме к Герцену от 3 мая 1853 года. Оно было помещено в «Былом и думах» (см.: *Герцен А. И.* Собр. соч. В 30 т. 1957. Т. 11. С. 399—401).

[90] См.: *Зеньковский В. В.* Русские мыслители и Европа: Критика европейской культуры. Paris, [1926].

[91] «Былое и думы», часть четвертая, гл. XXX.

[92] Этот эпизод приведен в «Воспоминаниях о Белинском» И. С. Тургенева.

[93] «Былое и думы», часть четвертая, гл. XXX.

[94] Слова из статьи Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы», статья третья.

[95] См.: *Чижевский Д.* Гегель в России. Париж, 1939.

[96] Бердяев здесь ссылается на издание: *Колюпанов Н.* Биография Александра Иванови-

lib.pushkinskijdom.ru

ча Кошелева. В 2 т. М., 1892. Т. 2. С. 53—54, 79. См. также: *Самарин Ю. Ф.* Собр. соч. М., 1880. Т. 5. С. LX—LXXV. Ю. Ф. Самарин в 1843—44 годах под сильным влиянием гегелевской философии «вел мучительный спор с самим собою» и склонялся к мысли, что «вне философии Гегеля православная церковь существовать не может». А. С. Хомяков, способствовавший выходу Самарина из этого состояния, сам не был чужд воздействию гносеологических схем Гегеля.

[97] Шлегель Фридрих (1772—1829) — немецкий философ, писатель, литературный критик и филолог.

[98] *Аксаков К. С.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 8, 21—22.

[99] См.: *Бердяев Н.* Алексей Степанович Хомяков. М., 1912. О хомяковской философии истории и, в частности, о «Записках. . .» Бердяев говорит в V главе.

[100] В 1910-е годы Бердяев несколько иначе оценивал историкософскую концепцию Хомякова. «Самая замечательная, наиболее приближающаяся к гениальности идея Хомякова, положенная в основу его „Записок о всемирной истории", это его деление действующих в истории сил на кушитство и иранство» (Там же. С. 255).

[101] Строки из стихотворений «России» (1839) и «Раскаявшейся России» (1854).

[102] Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885) — естествоиспытатель, философ, автор книги «Россия и Европа», ставшей манифестом позднего славянофильства.

[103] Строки из стихотворения «Не говорите: „То былое. . ."» (1822).

[104] У Хомякова в стихотворении «России»: «В судах черна неправдой черной».

[105] Строфа из стихотворения «Ключ» (1835). Последняя строка у Хомякова: «Сокрыт, безвестен, но могуч».

[106] Бердяев приводит слова Киреевского из статей «В ответ А. С. Хомякову» и «Обозрение современного состояния литературы».

[107] Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — писатель, философ, публицист; автор книги «Восток, Россия и славянство», составившейся из ряда статей по культурно-историческим, политическим, религиозным вопросам.

[108] *Аксаков К. С.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 2.

[109] Мюллер Адам Генрих (1779—1829) — немецкий публицист; был близок к иенскому романтизму, считал, что в основе общественного устройства должна лежать религия и что лучшее воплощение таких форм общественности — средневековый феодально-католический строй. Гёррес Йозеф (1778—1848) — немецкий историк, философ и публицист романтической ориентации, что проявилось, например, в историко-культурном труде его «Немецкие народные книги».

[110] Беккария Чезаре (1738—1794) — итальянский юрист, просветитель; он выступал против жестоких наказаний и смертной казни.

[111] Бердяев неточно цитирует очерк И. С. Тургенева «Казнь Тропмана».

[112] У В. С. Соловьева в последней строфе стихотворения «Ex oriente lux» (1890):

О Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

[113] «Миссия русской Церкви в эпоху упадка христианства на Западе».

[114] Бердяев имеет в виду издания: *Susini Eugéne.* Lettres inédites de Franz von Baader, Tome I. Lettres. Paris, 1942; (см. также: Tomes II et III. Notes et commentaries. Vienne, 1951); *Susini E.* Franz von Baader et le romantisme mystique. Tomes II et III: La philosophie de Franz von Baader. Paris, 1942.

[115] Ф. Баадер (см. примеч. 72) полагал, что в России сохранился тот «религиозный инстинкт», который был заглушен в Европе эпохой Просвещения; как историк церкви он был убежден, что восточная церковь в большей степени, чем римская, сохранила верность христианству первых веков. Баадер предполагал при содействии хорошо знакомого ему кн. А. Н. Голицына основать в Петербурге религиозно-просветительную академию, для чего и направился в Россию. Но власти сочли Баадера агентом иезуитов и революционным агитатором, вследствие чего в Риге ему был вручен приказ выехать из России.

[116] «Что характеризует современную эпоху, так это неодолимое тяготение Запада к Востоку. Россия, которая заключает в себе западноевропейское начало в такой же мере, как и восточное, неизбежно должна в этом великом сближении сыграть роль посредницы, предотвращающей пагубные последствия столкновения. Русская Церковь, со своей стороны, должна теперь, если я не ошибаюсь, решать сходную задачу в связи с тревожным и вызывающим негодование упадком христианства на Западе; оказываясь перед застоем христианства в римской Церкви и разложением его в Церкви протестантской, она получает, по моему мнению, посредническую роль, которая более связана, чем то обыкновенно думают, с миссией страны, к коей Церковь принадлежит. Да будет мне позволено обрисовать в немногих словах этот упадок христианства на Западе и причины, по которым русская Церковь, будучи хранимой от этого упадка, тем самым способна оказать освобождающее влияние на Запад. Это влияние не будет предметом спора, оно явится следствием собственного примера и собственного учения, прочно утвержденного на религиозном познании, от чего римский католицизм также далек по своему пагубному основанию (по своему враждебному вере учению). . . Французами был избран и привился у них как основополагающий принцип разрушительный принцип революции — тот же самый, который был принят в качестве определяющего принципа философами — разрушительный принцип картезианского сомнения, оказывающийся в глубине своей ничуть не лучше, чем скептицизм. . . Я был первым и пока остаюсь едва ли не единственным, кто раскрыл это

lib.pushkinskijdom.ru

глубочайшее заблуждение новой философии; я показал, что все философы (не исключая и Лейбница) от Декарта и его преемника Спинозы, исходили из этого разрушительного и революционного принципа в том, чем поддерживалась религиозная жизнь, и в сфере политики это порождало конституционный принцип; я показал, что основательная реформа возможна лишь постольку, поскольку она будет осуществляться одновременно в двух сферах — философии и политике. Опасно заблуждаются, на мой взгляд, те государственные мужи и те правители, которые полагают, что образ мысли народов (то есть их философия) вещь безразличная и что познание без молитвы не приведет к образу правления без молитвы — к этой погибели для правящего и для управляемых. . . Провидение хранило до сего дня русскую Церковь от этого европейского движения, которого последствием было уничтожение христианства как в науке, так и в обществе; и именно потому, что она защищала старое католичество против этих двух врагов, папизма и протестантизма, что она не отказалась от опоры на разум, как то сделала римская Церковь, и не допустила, как то допустил протестантизм, могущих произойти из того злоупотреблений — она одна способна выступить посредницей, и должно это произойти, между прочим, единственно с помощью науки в России, „с помощью русских"».

[117] «восполнить пробел, который еще существует в России, как и на Западе, служа примером Западу и доказывая ему (чего еще не бывало), что истинное знание не существует без веры и что истинная вера не может существовать без знания».

[118] Здесь: духовности (лат.).

[119] Приведенные выше суждения Герцена взяты из XXV главы части четвертой «Былого и дум».

[120] Слова из «Воспоминаний о Белинском».

[121] Строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Памяти Белинского» (1853).

[122] Леру Пьер (1797—1871) — французский философ, социалист-утопист, один из основателей христианского социализма; в его воззрениях есть элементы мистицизма, что отразилось в учении о метампсихозе и др.

[123] Чешковский (Цешковский) Август (1814—1894), граф — польский философ, автор книги «Prolegomena zur Historiosophie», которую знал и высоко ценил Герцен.

[124] Бердяев цитирует «Западные арабески» из пятой части «Былого и дум».

[125] Неточная цитата из книги «С того берега». У Герцена: «Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в царство небесное — глупо, а верить в земные утопии — умно?».

[126] Речь идет о письме к французскому историку и публицисту Жюлю Мишле (1798—1874), которое было опубликовано под названием «Le peuple Russe et le socialisme» («Русский народ и социализм») в 1851 году (*Герцен А. И.* Собр. соч. В 30 т. 1956. Т. 7. С. 308).

[127] Имеется в виду письмо к В. П. Боткину от 1 марта 1841 года.

[128] Шпенглер Освальд (1880—1936) — немецкий философ, представитель «философии жизни», один из создателей современной философии культуры, автор знаменитой в свое время книги «Der Untergang des Abendlandes» (в принятом у нас неточном переводе — «Закат Европы»). Мысли Шпенглера в связи с русским пониманием культуры и цивилизации Бердяев оценивал в статье «Предсмертные мысли Фауста» (В кн.: Освальд Шпенглер и закат Европы. М., 1922).

[129] Рюккерт Генрих (1823—1875) — немецкий историк; идея культурно-исторических типов высказана им в сочинении «Lehrbuch der Weltgeschichte». О связи концепции Данилевского с идеями Рюккерта В. С. Соловьев говорил в V и VII главах второго выпуска «Национального вопроса в России».

[130] любовь к судьбе (лат.).

[131] *Бердяев Н.* Константин Леонтьев: Очерк из истории русской религиозной жизни. Париж, 1926.

[132] упразднение (нем.), «снятие» у Гегеля.

[133] См.: Социализм Белинского. Статьи и письма / Ред. и комментарии П. Н. Сакулина. М., 1925.

[134] всеобщности (нем.).

[135] Бердяев цитирует письмо Белинского к В. П. Боткину от 1 марта 1841 года.

[136] Неточная и с пропусками цитата из письма Белинского к Боткину от 27-28 июня 1841 года.

[137] Неточная цитата из письма к Боткину от 8 сентября 1841 года.

[138] Цитаты из письма к Боткину от 27-28 июня 1841 года.

[139] Слова из письма к Боткину от 8 сентября 1841 года.

[140] См.: *Бердяев Н.* Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923.

[141] Маркиониты, последователи христианского еретика II века Маркиона, полагали, что видимый мир создан демиургом из субстанции хаоса без ведома благого Бога. Демиург наделен абсолютной справедливостью, но не имеет любви и милости; в его борьбе за человека против воплощающей зло материи побеждает последняя. Спастись же и соединиться с благим Богом будет возможно лишь освободившись от материи, к чему ведет строгий аскетизм и мученичество.

[142] См.: *Лернер Н.* Белинский. Берлин; Пб.; М., 1922. Приводимые Бердяевым слова взяты из письма Белинского к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 года.

[143] См.: *Мочульский К.* Духовный путь Гоголя. Париж, 1934.

[144] Флорентийский живописец Сандро Боттичелли (1444—1510) испытал сильное влияние знаменитого итальянского аскета и проповедника Джироламо Савонаролы (1452—1498), провозглашавшего в монастыре Сан-Марко, что грядет обновление церкви и что скоро Бог поразит своим гневом Италию в ее глубокой греховности. Под воздействием этой проповеди

lib.pushkinskijdom.ru

Боттичелли пережил внутренний перелом; от возрожденческой утонченной чувственности он обратился к более сдержанной манере, а после 1500 года все реже брался за кисть. Ж. Б. Расин, воспитывавшийся в юности у янсенистов в Пор-Рояле, в годы расцвета своего литературного творчества, после представления «Федры», дал клятву перед Богом более не писать для театра, обратился к уединенной, созерцательно-мистической жизни и вернулся впоследствии к драматургии (написал две последние трагедии) исключительно с религиозной целью, как сам он это подчеркивал.

[145] под знаком смерти (лат.). Бердяев, вероятно, имеет в виду В. В. Розанова, который писал: «Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые души только увидал в ней» (*Розанов В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского: Опыт критического комментария. СПб., 1894. С. 16).

[146] Такого рода суждения Розанов высказывал в первых главах «Легенды о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» и в статье «Несколько слов о Гоголе».

[147] Книга Гоголя называется «Выбранные места из переписки с друзьями».

[148] Последние строки стихотворения «День и ночь» (1839).

[149] У Тютчева в стихотворении «Святая ночь на небосклон взошла. . .» (1848-1850): «Покров, накинутый над бездной. . .».

[150] Последние строки стихотворения «Как океан объемлет шар земной. . .» (1830).

[151] Стихотворение «О чем ты воешь, ветр ночной? . .» (1835).

[152] У Тютчева в стихотворении «Цицерон» (1830): «Блажен, кто посетил сей мир. . .».

[153] Стихотворение «Предсказание» (1830).

[154] Последние строки стихотворения «Молитва» (1829).

lib.pushkinskijdom.ru

П. М. БИЦИЛЛИ

СТАТЬИ: ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ В. А. ТУНИМАНОВА)

Петр Михайлович Бицилли (1879—1953) — выдающийся русский историк и филолог, славист, автор огромного количества работ по средневековой и новой русской и европейской истории и философии культуры. Широкую и заслуженную известность получили замечательные исследования Бицилли творчества Пушкина, Гоголя, Достоевского, Л. Н. Толстого, Чехова, Бунина («Образ совершенства», «Пушкин и Вяземский», «Проблема человека у Гоголя», «К вопросу о внутренней форме романа Достоевского», «Заметки о чеховском „Рассказе неизвестного человека“», «Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого» и др.), его культурологические работы. Правда, в СССР труды Бицилли известны больше в узком кругу специалистов-гуманитариев. К сожалению, не нашлось места видному историку, философу и литератору даже в девятом, дополнительном томе «Краткой литературной энциклопедии». Свою роль здесь, видимо, сыграло то обстоятельство, что начиная с 1920 года педагогическая и научно-литературная деятельность П. М. Бицилли протекала за границей.

Биография П. М. Бицилли не изобилует событиями. И в основном это благополучная, до предела заполненная педагогическими и научными занятиями жизнь ученого, стоящего в стороне от политических бурь века. Главные сведения о своей жизни Бицилли сообщил в «Автобиографии», машинописная копия которой хранится в его архиве (РО ИРЛИ).

Так как мы располагаем весьма скудными сведениями об ученом, есть смысл привести здесь текст «Автобиографии» целиком:

«Я, Петр Мих⟨айлович⟩ Бицилли, родился в 1879 году в Одессе. Отец из среды мелкопоместного дворянства, предки — выходцы из Албании, итальянского происхождения. Один из них выслужился в потомственные дворяне как участник в войне 1812 года. Отец мой служил секретарем в Одесском городском кредитном обществе.

Среднее образование я получил в Одесской 11-ой гимназии, высшее — в Новороссийском (Одесском) университете, на историко-филологическом факультете, на историческом отделении. Окончив университет в 1905 году, был оставлен при нем в качестве стипендиата для подготовки к магистрантскому экзамену по кафедре всеобщей истории.

В 1904 году (был временно исключен из университета за участие в студенческих волнениях на политической почве) отбыл воинскую повинность в Одесской инженерной дистанции и вышел в запас в чине унтер-офицера.

В 1910 году сдал магистрантский экзамен и был избран приват-доцентом по кафедре всеобщей истории в том же университете, а одновременно преподавателем той же дисциплины в Одесских высших женских курсах.

В 1912 году по защите в Петроградском университете диссертации на тему „Салимбене, Очерки итальянской культуры XIII века“, был избран штатным доцентом, а вскоре вслед за тем — экстраординарным профессором по кафедре всеобщей истории в Новороссийском университете.

В общественно-политической деятельности принимал лишь слабое участие, будучи поглощен преподавательской и научной деятельностью. По своим политическим убеждениям колебался между конституционно-демократическим и социал-революционным (умеренного крыла) направлениями; но накануне революции вошел в партию социалистов-революционеров.

© Туниманов В. А., вступительная статья, 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

В 1920 году эмигрировал и поселился в Сербии, где был назначен, в звании приват-доцента, преподавателем всеобщей истории в новооткрытом университете в г. Скопле (Македония).

„В 1924 году по рекомендации профессора Эрвина Д. Гримма, русского эмигранта, занимавшего кафедру новой истории Западной Европы в Софийском университете и получившего разрешение вернуться в Россию, получил приглашение заместить его. С этого времени занимаю эту кафедру в качестве профессора по контракту.

За все время пребывания в эмиграции был членом Русского Академического Союза впредь до роспуска его отделения в Болгарии после переворота 9 сентября 1944 года. Союз этот, в котором числились едва ли не все русские научные работники, пребывавшие в эмиграции, а значит, люди самых различных политических убеждений, — уже в силу одного этого был чисто профессионального, не политического характера. Вообще, в общественно-политической деятельности русской эмиграции я не принимал никакого участия благодаря условиям жизни, в которых я находился. Во-первых, в Сербии, в том городе, где я проживал до 1924 года, не было ни одного человека, разделявшего мои тогдашние убеждения. В Болгарии, когда я прибыл туда, также — уже почти никого (центрами русской интеллигенции умеренно прогрессивного крыла в зарубежье были Париж, Прага и, до гитлеровского переворота 1933 года, университетские города в Германии). Во-вторых, здесь, на Балканах мы были нацело отрезаны от России и не имели поэтому представления о том, как, в каком направлении развивалась там жизнь. По этой причине я отдался исключительно научной деятельности — в области истории, также — русского языковедения и литературоведения.

Мои работы в этих областях печатались в Ежегоднике Софийского университета, в изданиях Русского Академического Союза, в „Slavia" (Прага), в „Zeitschrift für Slavische Philologie", в „Revue des Études Slaves", в Seminarium Kondakovianum (Белград). Кроме того, я был постоянным сотрудником русских журналов, выходивших в Париже: „Звено", „Современные записки" и в начавшем выходить позже ежемесячнике „Русские записки". В этих журналах я печатал статьи, посвященные преимущественно вопросам истории русской литературы, литературоведения, а также рецензии на произведения художественной литературы, издававшиеся в зарубежье».

П. М. Бицилли, действительно, прямого участия в политической жизни русской эмиграции не принимал, держась в стороне от борьбы различных партий и групп, но, конечно, он не был так уж «нацело отрезан от России» — внимательно следил за всем, там происходящим, что косвенным образом отразилось во многих его работах. Часто Бицилли писал и о русской эмигрантской литературе, которую он знал превосходно. Особенную ценность представляют статьи и эссе Бицилли о творчестве И. Бунина, Н. Тэффи, В. Набокова (Сирина). Во всяком случае, поселившись в Болгарии, он в изоляции себя не чувствовал. Свидетельством тому большая переписка Бицилли с видными русскими писателями, философами, богословами, историками, лингвистами. В переданной дочерью ученого М. П. Бицилли и его зятем А. П. Мещерским Пушкинскому Дому части архива профессора письма И. А. Бунина (24), [1] М. А. Алданова (3), Г. Иванова (1), К. Мочульского (6), Н. Оцупа (3), Н. А. Тэффи (8), В. Ф. Ходасевича (1), Р. О. Якобсона (1), Г. В. Флоровского (1), П. Б. Струве (8), В. Вейдле (3).

В библиотеке П. М. Бицилли, часть которой хранится в Рукописном отделе ИРЛИ, много книг с дарственными посвящениями И. Бунина, А. Ремизова, Б. Зайцева, Г. Иванова, В. Ходасевича, Н. Оцупа, В. Крымова, Н. Кодрянской и др. Это было не только выражением дружеских чувств к видному ученому и блестящему литературному критику, равно доброжелательному и взыскательному. Нередко в дарственных обращениях заключалась и просьба авторов к Бицилли высказать свое мнение о присланных книгах. Характерно, в частности, посвящение Вл. Крымова на экземпляре его книги «Фенька» (Париж, 1945): «С приветом и глубоким уважением от автора... и с просьбой. Вы лучший знаток русской литературы, и Ваше мнение в высшей степени ценно, а сам я никак решить не могу — где у меня преемственность от других писателей,

lib.pushkinskijdom.ru

кого я хоть немного напоминаю? ». [2] Рецензиями Бицилли дорожили и часто их, по сути, выпрашивали.

Совершенно необходимы были эти связи и ученому. Живая связь с современным научным и литературным процессом существовала на протяжении почти всей жизни и деятельности Бицилли за границей. Не прервалась эта связь и после сентября 1944 года. Ученый продолжал активно работать: именно в 1946—1948 годах появляются его замечательные статьи о Достоевском, Гоголе, Чехове. Но общественно-культурная ситуация в Болгарии быстро и резко ухудшалась. П. М. Бицилли принужден был пойти на компромиссы с новой властью. Сохранилась рукопись (на болгарском языке) его книги «История развития социалистических идей в Европе». Более того: в статье «Заметки о некоторых особенностях развития русского литературного языка» ученый несколько раз ссылается на работу И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», которую, естественно, поспешили в 1950 году перевести на болгарский язык.

Однако эти вынужденные уступки духу времени не спасли Бицилли от гонений и идеологических проработок. Эпилог ученого, так много отдавшего сил делу развития русско-болгарских связей, печален. А. П. Мещерский, биограф и библиограф П. М. Бицилли, [3] пишет в книге «Заметки и материалы к био-библиографии русских преподавателей в высших учебных заведениях Болгарии. 1920-1944» (София, 1955/56, машинопись):

«В конце 1948 он был освобожден по истечении своего контракта из У⟨ниверсите⟩та (без пенсии). Начавшаяся за два года травля этого ученого не прекращалась. Для примера укажу только на одну злую, неумную и клеветническую статью некоего Христо Нестерова „Бележки върху българската буржоазна историография по нова и най-нова история" (помещенную в журнале «Народна просвета». Изд. на Союза работниците по просветата. София. VI, юна 1950. Кн. 10, с. 52—64).

Подобное злопыхательство не могло не отражаться болезненно на настроении П. М. Бицилли. Человек очень тонкой душевной структуры, он с трудом сохранял в той атмосфере травли, грубого равнодушия и малодушного приспособленчества веру в себя, в свою полезность, в свою необходимость.

По складу своего характера он был очень добр, мягок и отзывчив к человеческому горю, но был насмешлив и нелюдим. В последние годы он стал угрюм. К этому надо добавить, что круг его знакомых был поневоле чрезвычайно узок из-за отсутствия подходящей культурной среды.

Мне не раз приходилось слышать горькие слова из уст профессора — „травят как собаку", „ну что же — я человек за бортом"...

Чувство своей ненужности, обреченности все чаще овладевало им.

Смерть (рак легкого) он встретил удивительно спокойно: он ее ждал и, очевидно, давно желал.

Мне кажется, что никто так тонко и точно не сумел понять настроений последних лет П. М. Бицилли, как профессор С. С. Демосфенов, который писал мне из глуши болгарской провинции: „Есть какая-то удивительная простота и величие в его укоре: не всякий может так бестрепетно смотреть в глаза смерти и так упорно ее желать. Этот сухенький старичок, занимавшийся умерщвлением плоти, чтобы освободить дух от земных пут, напоминает мне древних схимников и еще более древних стоических философов, которые добровольно покидали жизнь, когда считали, что естественней умереть, чем оставаться среди живых..." (письмо от 19 сент. 1953)...

До последних часов жизни он находился в сознании, был очень спокоен, как всегда мягок и добр. Иногда шутил.

Скончался в ночь 24/25 августа 1953...

Смерть П. М. Бицилли прошла совсем незамеченной. Месяца через два был отпечатан единственный, насколько я знаю, некролог (написанный учеником его — проф. Христо Гандевым [4]) от имени Института по болгарской истории при Болгарской Академии Наук и от имени редакционной коллегии журнала „Исторически преглед" (См. : П. М. Бицилли. Некролог. — Исторически преглед. София. IX, 1953. Кн. 5, с. 560—561).

lib.pushkinskijdom.ru

Но и здесь изображение этого исключительного человека и крупного русского ученого, его трудной, одинокой и трудовой жизни нашло далеко не полное, иногда мутное отражение действительного его образа».

Со времени этих горестных замет А. П. Мещерского многое изменилось. В Болгарии издаются труды ученого, двадцать четыре года преподававшего в Софийском университете (и — что особенно поразительно — ни разу не повторившего курса лекций). Успешно работают его ученики, сохранившие благодарную память об ученом-энциклопедисте (Бицилли великолепно владел латинским и древнегреческим языками, свободно читал на семи современных языках; интересы и познания его были необыкновенно широки — от римской и средневековой истории до французской литературы XX века, которую он любил и хорошо знал). Давно настало время и в СССР издать лучшие литературоведческие и культурологические исследования Бицилли. Журнал «Русская литература», стремясь отчасти исправить все еще существующую (по инерции) несправедливость по отношению к научно-литературному наследию крупного русского филолога и критика, публикует три работы ученого, в которых гармонично сочетаются история, культурология, литературоведение, критика. Это рецензия на книгу замечательного русского историка, богослова, публициста, философа культуры Георгия Петровича Федотова (1886—1951) «Святой Филипп, митрополит московский» (Современные записки. 1928. Кн. 36. С. 539—542); [5] статьи «Трагедия русской культуры» (Современные записки. 1933. Кн. 53. С. 297—309) и «Возрождение аллегории» (Современные записки. 1936. Кн. 61. С. 191—204).

Рецензии Бицилли не просто органичная, но и очень важная часть его научно-литературного творчества. Они необыкновенно остры, лаконичны и, как правило, концептуальны, часто содержат конспективные наброски будущих исследований ученого. Менее всего был присущ Бицилли-рецензенту так называемый комплиментарный стиль. Напротив, его оценки и выводы часто резки, хотя и никогда не переходят в памфлет или литературный фельетон. Впрочем, несогласия свои Бицилли обозначал корректно, но очень ясно и твердо, опуская мелочи и частности и четко обрисовывая главное. Вот, к примеру, как Бицилли завершает свою превосходную, очень глубокую рецензию на второй том книги О. Шпенглера «Закат Европы»: «Специальная критика уже отметила в первом томе ряд несообразностей, рискованных утверждений, прямых ошибок. Немало их и во втором. Здесь не место задерживаться на них. К тому же не в них главный недостаток книги, а в несколько наивной и, думается, — с точки зрения самого же автора — анти-„культурной“ тенденции дать „окончательный“, „последний“ и „безусловно-научный“ синтез: история, которую „пишут“, есть отражение истории, которая „переживается“ — и, следовательно, меняется вместе с последней. Гоняясь за „совершенством“ синтеза, Шпенглер загромоздил свое построение множеством ненужностей, засушил свои схемы и сделал чтение своей, в общем полной интереса и иногда захватывающей, книги — подчас утомительным и попросту скучным».[6]

Рецензия на книгу Г. П. Федотова естественно перерастает в статью, ряд положений которой предвосхищают мысли и полемику с концепцией К. Д. Кавелина — С. М. Соловьева (и В. Г. Белинского) в замечательных трудах С. Б. Веселовского. [7] Это взволнованные раздумья ученого над трагическими парадоксами русской истории — старой и новой, вплоть до последних подвигов достойного преемника опричнины — ГПУ. Чрезвычайно интересна и попытка Бицилли распознать историко-философский смысл русской истории сквозь призму художественно-философских обобщений Достоевского (его «романа-мистерии»).

Культурологические статьи П. М. Бицилли многое связывает с этой маленькой, но очень весомой рецензией. Разумеется, концепция Бицилли, противополагающего понятия Цивилизация и Культура, достаточно спорна, хотя и интересна. [8] Уязвимы и некоторые конкретные суждения ученого (о художественном методе Достоевского и др.). Но полемика с мнениями Бицилли не входит в намерения автора этой заметки. Сделать это между прочим, походя, невозможно и было бы весьма легковесно. Другое дело, что подробный, аналитический разбор философии культуры Бицилли совершенно необходим

lib.pushkinskijdom.ru

во вступительной статье к избранным трудам ученого, издать которые — долг отечественной гуманитарной науки.

Надеемся, что читатель по достоинству оценит глубину мысли и энциклопедический масштаб обобщений П. М. Бицилли, охватывающий огромную сумму различных культурных явлений от средневековья до прозы В. Набокова («Отчаяние», «Camera Obscura», «Приглашение на казнь», «Ужас»), И. Бунина, А. Жида («Путешествие Уриана»), Л. Селина («Путешествие на край ночи»), философских и исторических трудов Н. Бердяева и Й. Хезинги («Осень Средневековья»), с которыми мы сегодня, к счастью, знакомы не только по слухам и разгромным рецензиям. Но дело не только в концепциях, энциклопедическом диапазоне взгляда, острых и оригинальных суждениях, симпатичных уже даже одной своей парадоксальностью. Статьи Бицилли отличают высокая научная культура, индивидуальный, блестящий литературный стиль, захватывающий, динамично развернутый сюжет (особенно в этом смысле виртуозно построена статья «Возрождение аллегории»).

И наконец, последнее. Журнал предполагает и в дальнейшем обращаться к наследию П. М. Бицилли. Планируется, в частности, опубликовать статью о библиотеке ученого, которая представляет несомненный научно-культурный интерес. Это небольшая, но тщательно отобранная и уникальная библиотека, по большей части состоящая из дарственных и очень редких книг, а также эмигрантских журналов, газет и сборников. Библиотека ученого с многочисленными маргиналиями, вкладышами, листками заметок Бицилли — набросков и конспектов его работ.

---

[1] См.: *Мещерский А.* Неизвестные письма И. Бунина // Русская литература. 1961. № 4. С. 152—159.

[2] Приведем и другой, трогательный автограф того же автора на титульном листе книги «Из кладовой писателя» (Париж, 1951): «Старому профессору от старого автора с почтительным и самым теплым дружеским приветом. Я почти ослеп, потому на машинке... Вл. Крымов».

[3] Библиографию работ Бицилли, опубликованных в эмигрантской печати, см.: Emigration russe. Index général des articles. Paris. 1988. P. 59—62.

[4] См. также: *Гандев Христо.* Петър Михайлович Бицилли // Векове. 1980. № 2. С. 61—72.

[5] Бицилли принадлежит рецензия и на книгу Г. П. Федотова «Святые древней Руси» (Современные записки. 1932. Кн. 48. С. 492—493).

[6] Русская мысль. 1922. Кн. VIII—XII. С. 228.

[7] *Веселовский С. Б.* Исследования по истории опричнины. М., 1963.

[8] Свою концепцию Бицилли развивает и в ряде других своих работ, в том числе в статье «„Цивилизация“ и „культура“» (Звено. 1927. № 205. 2 янв.).

Г. П. ФЕДОТОВ. СВЯТОЙ ФИЛИПП, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ*

Небольшая книга Федотова имеет, по моему мнению, чрезвычайное значение. Автор подверг в ней пересмотру вопрос не только о взаимоотношениях между Церковью и Государством в царствование Ивана Грозного, но и о всем содержании этого царствования. Его книга — реакция против того, что принято, по какому-то недоразумению, считать «научной» трактовкой истории, т. е. подведения исторической реальности под отвлеченные категории формальных наук, как: теория права, социология, политическая экономия. Так вместо Ивана Грозного получалась «государственная необходимость», вместо митрополита Филиппа — «боярская» (или «феодальная») «реакция»; живые, подлинные люди обращались в «представителей» или «носителей» тех или иных «начал», или «общественных слоев», или тому подобных мнимых величин, иными словами, попросту куда-то исчезали за пределы поля зрения историков. Почему в самом деле «государственное начало» требовало всех тех гнусностей, которые проделывались над

---

* YMCA-Press, Париж, 1927.

lib.pushkinskijdom.ru

запуганным и беззащитным народом (отнюдь не над одними лишь «феодалами») Басмановыми, Штаденым, Скуратовыми? Но для «науки» эти гнусности представлялись какими-то adiafora, они относились к плану, не имевшему ничего общего с «эволюцией» социально-политических отношений, и потому все равно что не существовали. Со св. Филиппом дело обстояло также весьма просто: достаточно было знать, что он принадлежал к боярскому роду, чтобы «свести» его подвижничество и его подвиг к «феодальной реакции» и тем самым лишить ее ее собственного интереса. При таком отношении к историческим реальностям они обращаются в простые «примеры», сами по себе безразличные и легко заместимые. Схема, под которую реальности таким способом подгоняются, остается тем, чем и раньше была, историю легко выразить в небольшом числе *формул*.* *Овладеть* историческим материалом значило до такой степени без остатка разнести его по «категориям», *чтобы в нем уже более не представлялось никакой нужды*, чтобы его можно было попросту *забыть*. Федотов принадлежит к петербургской школе историков, отличительной чертой которых является стремление вернуть истории ее самостоятельное значение. Он *индивидуализирует* и самого Грозного, и опричнину, и Филиппа — и *именно это* позволяет нам перейти не к «социологическим» и не к «публично-правовым», но к *историческим обобщениям*, более того: прямо-таки наталкивает на них. Наметить эти обобщения — значит дать оценку книги Федотова (анализировать ее я не стану: ее должен прочесть каждый; она, кстати сказать, написана чрезвычайно увлекательно и волнующе). Я начну с одного — единственного — пункта моего расхождения с автором. Федотов отказывается видеть в Иване IV прямого предшественника Петра, тем более — ставить их на одну доску, как это сделал недавно проф. Виппер. Не надо, рассуждает он, забывать о главном: Петр создал Империю, а Иван чуть не погубил той, которая далась ему по наследству, и во всяком случае довел свое государство до смуты. Мне кажется, что Федотов чересчур «снижает» Ивана IV. Политические *цели* у Ивана IV все же были общие с Петром. Параллель между обоими напрашивается, но только — не Иван IV от этого выигрывает, а Петр теряет. Один умертвил святого митрополита, другой надругался над самой идеей Церкви и поработил русскую Церковь «доброму офіціру», оба — сыноубийцы, оба — страшно выговорить — палачи-*любители*. И вот именно то, что два самых замечательных государственных человека старой Руси были великими грешниками и великими преступниками, приобретает значение тревожного и зловещего символа. Какая почти непрерывная цепь катастроф и злодеяний — история царствований после Петра! Военно-дворцовые перевороты 18-го века, убийство двух законных императоров Екатериной II (один из них — ее муж!), убийство ее сына с молчаливого согласия его родного сына, план убийства этого последнего и всей царской семьи, едва не осуществленный, убийство — после продолжительной травли — его внука, убийство внуков этого последнего и истребление почти без остатка царствующего дома... Здесь есть какая-то закономерность, какая-то солидарность в грехе и в каре, вызывающая в памяти миф о доме Атридов и убеждающая в реальности уже не социологических и иных «категорий», но конкретной жизненной формы, каковой является *русская государственная власть*. И это — одна сторона дела. Другая — «опричнина», в буквальном смысле этого слова (от «опричь» — «кроме», «отдельно»): самоизоляция власти, взятие собственного народа огулом под подозрение, учреждение для всей своей страны режима «чрезвычайной охраны», — положение, исключавшее возможность сколько-нибудь устойчивых отношений между властью и подвластными, разрешавшееся в вспышках гражданских войн, инициатива которых нередко исходила от самой власти. — Такою гражданской войной, поднятой самим правительством против собственных подданных, была, по удачной характеристике автора, и опричнина Ивана Грозного, избиение стрельцов, бироновщина, террор Павла I, аракчеевщина с клейнмихелевщиной, 9 января, режим ЧК и ГПУ. И нечего утешать себя аналогиями из западноевропейской истории — это значит впадать в ту ошибку обезличения истории,

* Рожков, сделавший это, был только последовательнее многих других.

lib.pushkinskijdom.ru

подмены ее реальностей «категориями», о которой я говорил. То, что *там* было *исключением*, *у нас* было *правилом*; а поэтому то, что там действовало в сторону национально-государственной консолидации, у нас привело к такому поистине страшному разъятию слагающих национально-государственное целое сил, что, когда власть в конце концов сама ужаснулась тому одиночеству, на которое она себя обрекла и стала искать опоры в «обществе» и в «народе», она приняла совершенно искренно за таковые филиал охранного отделения, каким был «Союз русского народа», и что впоследствии «народ» весьма охотно принял участие в истреблении — под знаменем... социализма и демократии! — русской социалистической и демократической интеллигенции...

Что деспотизм Грозного был кощунственнейшей деградацией идеи православного «Государства Правды» (у Федотова, кстати сказать, прекрасно прослежено, как под пером царя-публициста искажается и упрощается московская мистико-политическая идеология), видели уже современники. Однако в России нарушить «безумное молчание» общества осмелился только один человек. Правда, что позже, при Алексее Михайловиче, последовало перенесение мощей св. Филиппа, обставленное так, что оно получило характер торжественного осуждения с высоты престола той государственной системы, которую нельзя квалифицировать иначе, как «осквернение идеи православного царства» (слова автора), и имеет характер всенародного покаяния в грехе «безумного молчания». Но уже сын царя Алексея, при молчаливом попустительстве народа и самих иерархов, подверг православную церковь новым унижениям. Ритм русской истории слагается из чередования глубочайших нравственных падений и моментов раскаяния, просветления и подъема, длительного угасания идеи нации — когда «власть» и «народ» перестают быть «органами» *одного* организма, становятся внеположными, духовно глубоко чуждыми одна другой величинами, — и внезапного возрождения идеи «всей земли»; и эти смены столь резки, контрасты света и тени столь разительны, что невольно спрашиваешь себя, тот ли этот самый народ сегодня, что был вчера, и ощущаешь с глубокой внутренней достоверностью незримое участие в его жизни каких-то сверхличных, противоборствующих в течение веков на поприще его истории злых и добрых сил. Самой проникновенной философией русской истории надо поэтому счесть «роман-мистерию» Достоевского: «здесь Бог с Диаволом борются, а поле битвы — сердца людей». Некоторые страницы книги Федотова, посвященные опричнине, где он мастерски воссоздает психическую атмосферу заведенного Грозным «церковно-застеночного быта», вызывают невольно в памяти «Записки из Подполья», Исповедь Ставрогина и наиболее жуткие главы «Братьев Карамазовых»; и так как нет никаких данных для того, чтобы подозревать автора в «стилизации» своего материала «под Достоевского», тем более что он держится близко источников и притом, в упомянутых местах, как раз таких (немцы-опричники), чье бесхитростно-циничное изложение является надежной гарантией объективности, — то это сходство служит доказательством, что сущность и историко-философский смысл рассказанной автором трагедии угаданы им верно.

ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

То, что Россия отстала от Европы в своем развитии и потом должна была наспех догонять Европу, было величайшим несчастьем, поскольку дело идет о Цивилизации; поскольку же дело идет о Культуре, — это было величайшим даром судьбы: и у культуры есть свой прогресс, особого рода, — без закономерности, без прямолинейности, без необходимости осуществления сознательно поставленных целей, — состоящий в накоплении результатов духовного опыта, в обогащении запаса духовных стимулов и творческих возможностей. Именно в этом отношении Россия XIX века была в более выгодном положении, нежели Италия XV века, Испания, Франция и Англия XVI—XVII вв., Германия — второй половины XVIII-го. То же, что катастрофа, переживаемая русской цивилизацией, подвергает смертельной опасности ее культуру, для последней может быть

lib.pushkinskijdom.ru

и несчастье, но уж, конечно, не просто несчастный случай. Культура по своей природе трагична, и потому ей несвойственно протекать безмятежно, идиллически, без препон и опасностей: тогда ей грозит уже самая страшная и неодолимая опасность — быть незаметно, исподволь засосанной цивилизацией, как это и случилось последовательно с рядом европейских культур. Очутившись их наследницей, русская культура распоряжалась своими богатствами с истинно царственной свободой. В плане Культуры продукты человеческой деятельности, так сказать, изъяты из времени: они обладают вечной ценностью или лишены ее вовсе. Они общечеловечны и всемирны. Именно таковыми они стали в России — знак, что русская культура явилась «чистой» культурой, без примеси «цивилизации». История русской литературы классического периода содержит ряд примеров, подтверждающих это. Так, разрабатывая мотивы, формы, «жанры», заимствованные из западных литератур, русская совершенно не считается с их эволюцией, с их хронологией, а если считается, то лишь чисто внешним образом. Достоевский пишет романы, как будто подчиняясь моде своего времени, когда роман вытеснил почти без остатка все прочие жанры. Он заимствует, не стесняясь, что ему надо у Бальзака и у Диккенса, но все же для его творчества характерно, во-первых, то, что с точки зрения композиции и сюжетов его роман восходит к уже тогда устарелому жанру «романа ужасов», а во-вторых, что в сущности — его роман вовсе не роман, т. е. изображение эмпирической жизни, а трагедия, где действуют — вне времени и вне пространства — не эмпирические люди, а их духовные субстанции, их уже «ставшие», а не еще «становящиеся» характеры. Как для Достоевского, для Гоголя нет устарелых, обветшалых приемов и форм. С формальной стороны «Мертвые души» современны «Жиль-Блазу» или «Roman Comique» Скаррона, а «Женитьба» и «Ревизор» — итальянской комедии XVI века. Все эти, начиная с классической древности, ходячие жанры литературы «низшего стиля», отвергнутые «изящным вкусом», оказались у Достоевского и у Гоголя адекватными их видению мира, полными символического смысла. Мотив qui pro quo, выдуманный для забавы, выполнявший вульгарную функцию «головоломки», в «Ревизоре» символизирует духовную слепоту гоголевских карикатурных монад, никак не «представляющих» Космоса, — отчего и мог принять городничий «сосульку, тряпку» за «важную особу». И замечательно, как, осмысливая любой прием, использованный, казалось бы, до последней возможности, Гоголь тем самым находит новые варианты его. Так, например, испокон веков главным *действующим* лицом комедий был расторопный, находчивый «слуга» или «друг», который «устраивал счастие» любовников. Но Гоголю первому пришло в голову заставить «друга» (Кочкарев) действовать по его собственной инициативе и притом без нужды, чем он создал совершенно новый комический эффект, вернее, просто «забавное» сделал комическим.

Колоссальные размеры полученного Россией наследства и полная свобода распоряжения им, — что объясняется вовсе не отсутствием культурной традиции (потенциально русский народ принадлежал всегда к европейскому культурному кругу, будучи связан с ним единством веры, основою и источником культуры; культурная же традиция в подобных случаях усваивается сразу и полностью), но отсутствием порожденной культурою рутины, — обусловили собою необычайное, исключительное *совершенство* русской культуры. Она явилась подлинной культурой свершений, осуществлений, апогеем европейской культуры. Для того чтобы убедиться в этом, недостаточно засвидетельствовать факт все усиливающегося ее влияния: ибо каждая культура в момент своего расцвета неотразимо воздействует на другие. К тому же влияние это все еще далеко не соответствует собственной ценности русской культуры: Пушкин остается вне России неведомой величиною. Культурные факты должны быть оцениваемы сами по себе. Я остановлюсь на одном примере, особо показательном.

Культура есть творческое самораскрытие личности вовне, т. е. тем самым преодоление ее ограниченности, приобщение ее к Космосу, ко Всеединому и вместе с тем ее самоутверждение — задача, в плане земного бытия, трагическая, ибо внутренне противоречивая: лишь в пределе, т. е. в Боге, мыслимо слияние индивидуума с Целым

lib.pushkinskijdom.ru

и вместе с тем сохранение его индивидуальности — более того: окончательное и полное обретение ее. В этом — смысл таинственного изречения, что для того чтобы спасти свою душу, надо погубить ее. Чем зрелее культура, тем отчетливее выступает ее трагическая проблематика, тем неотразимее она навязывается сознанию — и тем настоятельнее потребность освободиться от угнетающей дух тревоги, путем ли мистического экстаза, или философской рефлексии, или художественного творчества, ухода в мир, в котором личность царствует, ибо она сама создала его. Но уход от трагедии — не исход из нее, не разрешение ее. Признак полной зрелости культуры, что художник не находит успокоения в своем искусстве. Он или отрекается от него, как Толстой, как Микеланджело, или избирает объектом воплощения в искусстве то, что этому искусству, всякому искусству, дает начало. Художественное произведение, мир завершенный, абсолютно гармонический, образ царства Божия, должно тогда иметь своей темой свое собственное рождение из душевного хаоса художника. Мир, где художник всемогущ, должен явиться символом его бессилия. Эту задачу, казалось бы, неразрешимую — таковы все «последние» задачи, — разрешил Бунин в недавно появившейся (Совр. зап. кн. 52) части «Жизни Арсеньева». Подобно прустовскому «герою», Арсеньев проходит, так сказать, два параллельных курса: он учится жить — прежде всего любить — и писать. Но у Пруста этот параллелизм кажущийся, так как обе линии движутся в двух разных плоскостях, у Бунина же они лежат в одной плоскости. Education Sentimentale прустовского *Я* такого рода, что мы не видим ее органической связи с его художнической аскезой. Его любовь безблагодатна, эгоистична. Напротив, Арсеньевым владеет вертеровский, руссоистский пафос: именно эта его мистическая тревога, его стремление все любовно усвоить себе, любовью ко всему приобщиться — как у Вертера, и у него любовь к Женщине и любовь к Природе *одно* чувство — обусловливает собою его idée fixe: все заметить, все записать. И нам становится понятен глубокий философский смысл его восторга, когда он делает открытие, что нос пропойцы похож на клубнику, — восторга Гете и Леонардо да Винчи, открывающих связи между формами вещей, прозревающих породившую их Перво-форму и в своей художнической интуиции обретающих освобождение, преодоление тоски, порождаемой сознанием невозможности, в плане эмпирического бытия, осуществить единение личности с Космосом, той душевной муки, которой не выдержал Вертер. Понятно и бешенство, в которое приводит Арсеньева всякое непонимание, всякая ложь, фальшь, подмена настоящего условным, имеющим одну лишь видимость — в искусстве ли или в человеческих отношениях. С гениальной чуткостью напал Бунин на форму, позволяющую выразить все это так, что каждый образ, каждая деталь равно необходимы как в художественном плане, так и в отвлеченном, т. е. так, что все имеет символический смысл и нет ни единого символа, который бы граничил с аллегорией, — форму воспоминаний. При этом Бунин не увлекается «поисками утраченного времени», не реконструирует прошлого и не разрешает вопросов психологии воспоминания: он вспоминает так, как мы вспоминаем на самом деле, импрессионистически. Разрозненные, случайные, один по отношению к другому, объекты восприятия в памяти, так сказать, развоплощаются, и элементы их сочетаются в новые, творимые памятью образы, объединяясь общим эмоциональным тоном и как бы возникая из самой дымки воспоминаний, являющейся в данном случае художественной идеей, тем колоритом, тем неопределенным «пятном» на холсте, из которого, согласно требованию Леонардо да Винчи, должны возникать отдельные детали картины.

* * *

У каждого народа, наряду с великими писателями и одновременно с ними, имеются и невеликие — средние и малые. Но у каждого народа, обладающего классической литературой, существует известный уровень литературной грамотности, ниже которого не спускается ни один из пишущих — уже просто потому, что в противном случае он не нашел бы ни издателя, ни читателя. В России такого уровня не было и нет. В том же самом слое образованных людей обращаются, наряду с произведениями русских классиков,

lib.pushkinskijdom.ru

творения Брешко-Брешковского, кн. Бебутовой, г-жи Лаппо-Данилевской. Когда читаем у Бебутовой, как «барон Оскар любовался Лелей, а она *откровенно* восхищалась окружавшей ее природой», как у одного из героев «ледяное *выражение лица* сменилось глубоким *страданием*», как героиня «горячими как *пламя* руками обнимала свои колени»; когда дочитываешь до такого признания: «я *эстет*; я добиваюсь не только страсти, но и *чувства*» (роман «Улыбки Счастья»), — не веришь себе, переживаешь нечто, подобное, вероятно, тому, что переживает человек, присутствующий при совершении чуда. В романе г-жи Лаппо-Данилевской «Поруганный» (в скобках пояснение: le conspué) герой (это, кстати сказать, человек «равнодушный к *запятнанным* брюкам») дает «волю страстям, *опустошившим* все *плоды* его упорной борьбы с самим собою»; а однажды у него «пробудилась *подозрительная* (по смыслу выходит, что это значит вызванная подозрением) тревога». Героиня романа являет собою настоящее чудо природы, ибо у нее «*над* алой и пухлой *верхней губой* темнел пушок, блестели ровные влажные *зубы*». Великолепен там принадлежащий героине «желтый халат, особенно *ярко всколыхнувший* в нем (любовнике) рой дорогих, любимых *переживаний*». В том же романе есть еще несколько мест, особо показательных: «Ты что же *недовольна видеть* меня?», «*Жизненная* ярмарка». «От *неожиданности встретить* его она вспыхнула». «В *сознательности* дурных поступков (вм. *сознании*)... заложено страдание». Это — не просто безграмотное сочетание несочетаемых по смыслу слов. Это — архаизмы, пережитки характернейших черт литературной речи допушкинского и даже докарамзинского периода.

Это подводит нас к еще одной особенности русского литературного развития. У каждого народа, обладающего классической литературой, имеется *общий язык*, язык, на котором говорят сколько-нибудь образованные люди, на котором пишутся и печатаются книги. Наряду с этим языком существует «argots», говоры; в домашнем языке могут попадаться провинциализмы, архаизмы, все же невозможно себе представить, чтобы, например, во Франции сейчас вышла в печати книга, написанная языком Рабле, или в Германии — языком Ганса Сакса. А в России еще до революции перепечатывалась «История о храбром Рыцаре Францыле Венциане и о прекрасной Королеве Ренцывене»,* попавшая в Россию из Польши в XVIII веке, и притом без каких бы то ни было изменений. В виде образчика приведу объяснение Францыля с Ренцывеною:

«Время для них было столь коротко, что они в восхитительных своих разговорах не могли примечать течение оного. Ренцывена жаловалась Францылю на его прежнюю суровость и томностию своих взоров изображала ему свое чувствование радости о получении его сердца. Она изъясняла ему... сколь чувствительно ей было его беспристрастие (=холодность)... Все сие она кончила восхищением своим, бросаясь в объятие к Францылю. Они не могли насытиться нежнейшими поцелуями. Францыль старался извиниться в прежних своих поступках должностию (=долгом) своего геройского сердца и законами рыцарства»... и т. д.

К нашему общему языку, языку Пушкина, этот язык относится так же, как язык Рабле к общему французскому. Обычное представление, что книги этого рода читал только «мужик», добывавший их на «базаре» вместо «Белинского и Гоголя», лишь отчасти соответствует действительности. Книги, писанные таким же точно языком, что и «Францыль Венциан», языком, бывшим *общим* для Державина и его современников, в изобилии хранились в библиотеках дворянских усадеб, читались дворянами, от них переходили к их дворовым — и их языковое влияние перебивало собою влияние образцов нового, послекарамзинского языка. Немало архаизмов, каких нет уже у Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, можно указать в языке Гоголя, Толстого, Тургенева, Достоевского, причем у каждого из них *свои* архаизмы, поддержанные, очевидно, семейной или областной языковой традицией.** В бытовой же, разговорной речи

* Я имею под руками издание Сытина, 1915 года.

** В западноевропейской литературе можно указать, если не ошибаюсь, только одну параллель этому: чуть заметные провинциализмы у коренного нормандца Флобера.

lib.pushkinskijdom.ru

образцовых русских людей того же времени, насколько можно судить по памятникам домашней письменности — дневникам, письмам, эти архаизмы попадались гораздо чаще. «Мой отец, — вспоминает И. А. Бунин, — обычно говорил прекрасным русским языком, простым и правильным. Но иногда вдруг начинал говорить в таком роде: Я в тот вечер был монтирован, играл отчаянно. . . Мы с ним встречались на охоте. Он сам рекомендовал себя в мое знакомство» (Записи, Посл. Нов. 10 июля, 32). В заметках, писанных в 80-х годах прошлого века известным историком Малороссии А. М. Лазаревским, я нашел: «Гамалея *образовался* (=развился, сложился, — общеупотреб. в XVIII ст.) *в кавалера индустрии*» (Укр. археогр. сборник, II, 65). Архаизмы менее яркие, но все же могущие быть датированными XVIII веком,встречаются и по сей день в речи пожилых людей. Так язык отразил своими особенностями особенности культуры того общественного слоя, который явился лоном классической русской литературы.

Социологическое строение этого лона определило собою характер зачатой в нем литературы, т. е., поскольку литература была главным проявлением культуры, характер этой последней. Вообще говоря, для России в период ее культурного расцвета характерно то, что носители ее культуры не образовывали «общества», что эта культура не имела никакого «центра», никакой «инстанции» — в отличие от западноевропейской, формировавшейся в «Академиях», «салонах», при «дворах». Екатерининский «Эрмитаж», «Арзамас», шишковская «Беседа» — все это были эфемериды, и влияние их было ничтожно. Рассеянная по своим «гнездам», в редких случаях объединявшаяся в малочисленных замкнутых «кружках», русская интеллигенция в течение очень долгого времени была лишена возможности живого, непосредственного обмена мыслями. Известна роль, сыгранная в Европе в качестве культурного фактора, *разговором*. Значение «разговора» сознавалось и в России. Писать так, «как мы между собою говорим», было требованием, выдвинутым уже Тредиаковским. Современникам казалось, что Карамзин выполнил это задание. Но язык «высшего общества», который Карамзин хотел положить в основу общего языка, не мог получить в России безраздельного господства, ибо для этого не было налицо необходимых условий: не было ни авторитета «общества», ни авторитета критики, на «общество» опиравшейся и из «общества» исходившей. Люди XVIII века пытались насадить такую критику в России. Но после Карамзина и Шишкова *филологическая* критика в России исчезла без следа. Равным образом потерпела крушение попытка Белинского и Надеждина создать *философско-эстетическую* критику. За малыми исключениями (Аполлон Григорьев, Страхов, К. Леонтьев) русская критика после Белинского и до периода символизма была «общественно-политической» — и ни на классическую литературу, ни на язык не оказала никакого влияния.

* * *

Одним из важных фактов истории литературы является смена литературных «родов» или «жанров». Никакой «эволюции жанров», как представляли себе дело недавно, нет и быть не может, как не может быть эволюции столов, стульев, кроватей; но смена «жанров» служит показателем эволюции культуры. На первый взгляд может показаться, что русское развитие в этом отношении воспроизводит западноевропейское или совпадает с последним. Однако я уже отметил выше одну существенную особенность истории русской литературы — живучесть в ней жанров, в европейских литературах или просто забытых, или ставших достоянием литературы низшего порядка. Как общий факт это объясняется в значительной степени теми же условиями, которые способствовали сохранению языковых архаизмов. Но этим вопрос еще не исчерпывается. Обращение русских писателей к тем или иным устарелым жанрам не было случайностью. С культурно-исторической точки зрения весьма существенно то, что в России особенно привился *один* литературный род — автобиографический роман, а также близко стоящий к нему роман в письмах типа «Любовь Элизы и Армана, иль Переписка двух семей», которым развлекала себя героиня «Графа Нулина». Автобиографический роман, роман-«испо-

lib.pushkinskijdom.ru

ведь», культивировавшийся в Европе со времен Боккаччо, царивший вместе со своей разновидностью, романом-перепискою (оба «жанра», как известно, нередко комбинировались), в XVIII веке (Ричардсон, Руссо, Гете), в XIX веке в Европе постепенно выходит из моды. Форма его просто не соответствует содержанию нового романа, романа «социального», «городского». В русской же классической литературе, по преимуществу «деревенской», «домашней», «интимной», он продолжает жить и развиваться. Собственно говоря, в России этот роман генетически связуется едва ли не в бóльшей степени, чем с западноевропейскими прототипами, с широко распространенной русской мемуаристикой XVIII—XIX веков, в свою очередь сильно зависевшей от автобиографического романа (целый ряд русских мемуаров XVIII века — начала XIX — «романизованные» автобиографии, восходящие к «Жиль-Блазу», «Кавалеру Фобласу», «Вертеру», «Новой Элоизе», но также, конечно, и к «Исповеди» Руссо), и с другими, столь же распространенными видами домашней письменности: *дневником* и *перепиской*, — единственным возможным в русских условиях заместителем «разговора». Чрезвычайная распространенность в России «домашней письменности» — сам по себе первостепенной важности культурно-исторический факт, как нельзя лучше характеризующий строение русской культуры XVIII и первых двух третей XIX века. Этой письменностью и были поддержаны здесь формы интимного романа, романа «переживаний», наконец, просто романа, облеченного в форму автобиографии. В «Капитанской дочке» с необыкновенной тонкостью воспроизведен и тон автобиографии XVIII века, со свойственным ей сочетанием юмора, «чувствительности», простодушия, и ее композиция. В «Герое нашего времени» немало элементов подлинного дневника русского интеллигента лермонтовской эпохи. Позже эти же формы разрабатывают Толстой, Тургенев, Достоевский, Чехов, Горький, Бунин. Ко всем известным классическим образцам русского романа-исповеди, дневника, переписки надо еще присоединить несправедливо позабытые, вернее, злостно выключенные русскою критикой из литературы произведения К. Леонтьева: «Исповедь мужа» — роман-дневник, и, в особенности, «Подлипки» — роман в форме воспоминаний.

* * *

Всякая культура есть совокупность индивидуальных творческих усилий. В плане культуры возможно устремление к общим целям, большее или меньшее подчинение общим приемам, сообразование с общими образцами, но невозможны распределение функций, разделение труда; возможно взаимодействие, но немыслимо сотрудничество. Каждый продукт культуры — individuum, столь же единственный и неповторимый, как и его создатель. Это не исключает возможности творческих совпадений, а потому сходства между продуктами культуры, возникшими совершенно независимо один от другого. Это редчайший случай. Гораздо чаще сходство есть результат влияния — и в таком случае нередко очень трудно разграничить творческое усвоение и подражание, т. е. деятельность, к сфере культуры уже не относящуюся. При этом, конечно, один и тот же продукт человеческой деятельности может быть плодом вместе и творчества и ремесленной работы — и так чаще всего и бывает. Другими словами, форма почти никогда не бывает вполне адекватна своей идее. Все дело в градациях, в степени, в какой в акте создания чего-либо наличествуют тот и другой элементы. С этой точки зрения важно установить, что, как общее правило, около великих гениев, создателей культуры, группируются *школы*; другими словами, что творения этих гениев вызывают подражания высокого качества, такие, которые, будучи подражательными, все же обладают и своей культурной ценностью, подчас весьма значительной. Более того: бывает, что в определенный момент и в определенной среде величайшие творческие гении сами образуют одну «школу», друг у друга учась, друг на друга воздействуя, или проходя совместно одну и ту же подготовку, так что, познакомившись с одним из них, уже более или менее возможно узнать в других его современников. Но то, что Пушкин был современником Гоголя, Некрасов современником Тютчева, Толстой современником Достоевского, просто как-то не укладывается

lib.pushkinskijdom.ru

в сознании, кажется какой-то бессмыслицей. Они существуют вне «исторического» времени. Чистые *монады*, они, естественно, и одиноки. Никто из них не имеет заслуживающей внимания школы. Иные современники Пушкина писали «под Пушкина», — как Подолинский, Туманский; но они и в свое время никому не были нужны. Нудная рубленая проза «гражданских поэтов» не имеет ничего общего с могучей лирикой Некрасова. Что касается прозаиков, то нужно ли напоминать, что отношение к Гоголю, Толстому, Достоевскому, Тургеневу, Чехову со стороны критики и «беллетристов» было основано на сплошном недоразумении? Что ни Скабичевские, ни Боборыкины не видели в их творениях второго плана, главного плана, даже не догадывались, что вообще такой план может существовать? Но и друг другу классики русской литературы были чужды. С историко-литературной точки зрения важно, что искусству словесного живописания Тургенев учился у Гоголя, и не менее важно, что немало элементов своего искусства Гоголь заимствовал у микроскопического Нарежного. Но с культурно-философской точки зрения имеет глубокий символический смысл нечто совсем другое: что жизнь не свела Пушкина с Лермонтовым, Толстого с Достоевским и развела Толстого, Достоевского и Некрасова с Тургеневым. Великие русские писатели «не знали» друг о друге, как не знает «одна истина о другой», как «не знает» Пифагорова теорема о постулате Эвклида. С точки зрения исторической эмпирии остается и посейчас в силе сказанное сто лет тому назад Белинским: у нас есть великие писатели, но нет литературы. С философской же точки зрения это просто бессмысленно. Математические истины «не знают» одна другую, но все они принадлежат математике и не могут существовать вне математики, а значит, одна без другой. В классической русской литературе нашли свое самое острое, самое углубленное выражение все стороны проблематики Духа — у каждого писателя какая-либо одна, — и потому все они взаимно друг друга восполняют и тем самым уясняют. В историко-литературном плане Блок, считавший своим авторитетом Брюсова, а на самом деле учившийся поэтическому искусству у авторов «цыганских романсов», объясним и без Пушкина. Но в Царстве Духа, в мире чистых идей, Блок *требует* Пушкина и Пушкин Блока. В этом царстве нет времени, и в этом плане русская литература не имеет хронологии. На демонизме Лермонтова еще есть какой-то гусарский налет — щегольства, бравады. Надо проникнуться ужасом Достоевского перед идеей абсолютной свободы человека, отвергшего Бога и ставшего для себя Богом, чтобы затем молиться вместе с Лермонтовым. Образом и подобием этого царства служит «полифонический» роман-трагедия Достоевского, где звучат отдельные, друг от друга не зависящие, друг на друга не сводимые и вместе с тем друг без друга не мыслимые голоса. Столь полное осуществление на земле чистой Культуры — величайшее чудо и величайшая редкость. В этом отношении с русской литературой могут быть сопоставлены разве только русская же и немецкая музыка и греческая философия.

Я употребил сейчас слово *чудо* в обыденном значении — того, что редко или почти никогда не случается. Но с «человеческой — слишком человеческой» точки зрения всякая культура и сама по себе есть чудо. Чудо — свободное, не объяснимое никакими «законами подражания», не сводимое ни на какие зримые, осязаемые «факторы» самораскрытие объективного Духа в ряде феноменов, единственных, неповторимых, абсолютно незаместимых и вместе с тем образующих стройную систему, в которой все необходимо и нет ничего лишнего — как в художественном произведении. Чудо культуры — *ее собственный смысл*, тогда как средний «цивилизованный» человек ценит в Культуре единственно ее значение для Цивилизации, т. е. *общего уровня*, общих навыков поведения, общих представлений и соответствующей им системы общезначимых символов. Поэтому «цивилизованный» человек сплавляет Толстого и Достоевского в Толстовского и меряет Тригорина-Чехова Тургеневым (. . .хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева), просто не понимая того, что в мире Культуры все феномены несоизмеримы. Сводя культуру к Цивилизации, он воспринимает трагедию культуры как некую ненормальность и не видит метафизической необходимости в ее катастрофическом исходе. Он счел бы «нормальным», если бы Эдип, узнавши, что сделали с ним боги,

lib.pushkinskijdom.ru

развелся по обоюдному соглашению с Иокастой и, простившись со своими добрыми подданными, удалился на жительство в пределы какого-нибудь нейтрального государства, проводя остаток дней в занятии садоводством и в писании мемуаров. Ему и в голову не приходит, что в таком случае Эдип оказался бы всего-навсего поручиком Пироговым.

Исключительная, беспримерная свобода развития русской культуры, ее кажущаяся, внешняя неустроенность, неупорядоченность, наряду с ее предельным совершенством, — все это отнюдь не показатель каких-то неизменных свойств «русской души» (или «âme slave»): культура и *есть* творимая, становящаяся национальная душа; особенности же ее определяются социологическим строением нации. Для историка культуры только это имеет значение. С точки же зрения философии культуры важно другое. В том, что русская культура, в силу особых свойств строения русского общества, была «чистой» культурою; что Россия оказалась из всех стран европейского — христианского — культурного круга единственной, где культура лишь в малой степени затронула собою цивилизацию и потому не переродилась в цивилизацию; что поэтому она гибнет трагически вместо того, чтобы исподволь угасать в артериосклерозе; что тем самым она облагородила исход европейской культуры и что ее гибель служит залогом мирового Возрождения, немыслимого без великих потрясений, без мучительного осознания трагедии становящегося Духа, — историческая миссия России.

ВОЗРОЖДЕНИЕ АЛЛЕГОРИИ

По поводу моей статьи «Заметки о Толстом» (Совр. зап. LX) И. А. Бунин писал мне, что он никогда не читал толстовского «Дьявола» и был поражен сходством параллельных мест в этом рассказе и в «Митиной любви», которые я там привел. Свидетельство И. А. Бунина исключительно важно и ценно. Оно убеждает в том, что общность «родимых пятен» не всегда является признаком прямой зависимости одного художника от другого. Значит ли это, что от метода исследования таких «пятен» нужно отказаться? Конечно, нет. Это значило бы отказаться от всяких попыток восстановления генезиса художественных произведений, — как и всех проявлений человеческой деятельности, — т. е. от истории вообще. Ведь вся работа историка сводится, в сущности, к этому, ибо, в отличие от естествоиспытателя, историк, подобно судебному следователю, лишен единственной возможности выяснить что-либо наверняка: возможности экспериментирования. Факт, удостоверенный И. А. Буниным, свидетельствует о другом: о реальности гегелевского «объективного духа». Легко понять, что это только расширяет возможности применения метода исследования «родимых пятен» и что значение этого метода далеко не ограничивается тем, что, пользуясь им, мы в состоянии делать более или менее основательные догадки относительно источников того или другого художественного произведения. Обнаружение таких источников представляет само по себе лишь узкоспециальный интерес. Важно же это постольку, поскольку приближает нас к пониманию творческого замысла художника.* Безразлично, каково происхождение одинаковых «родимых пятен» у двух — или нескольких — художников: говорят ли они о, так сказать, «физическом родстве» или являются результатом совпадения, — их наличие обусловлено какой-то общностью духовного опыта. Сопоставляемые так художники как бы взаимно освещают друг друга, содействуют тому, чтобы мы могли уловить у каждого из них то «необщее выражение лица», о котором говорит Баратынский, увидеть, какие именно черты составляют это своеобразие их облика.

Сказанного достаточно, чтобы понять цель эксперимента, который я сейчас предложу сделать читателю, — не над авторами, конечно, о которых будет идти речь, ибо это невозможно, а над самим собою. Вот описание некоего «похода», во время которого кто-

* См. об этом правильные соображения в книге А. Бема «У истоков творчества Достоевского». 1936. Предисловие.

lib.pushkinskijdom.ru

то, изменив начальнику, отпустил многих настоящих солдат и заменил их оловянными. Начинается атака. . . Оловянные солдатики не трогаются с места, — «и так как на лицах их. . . черты были нанесены лишь в виде абриса и притом в большом беспорядке, то издали казалось, что солдатики иронически улыбаются». Но дальше произошло что-то совсем необыкновенное. Постепенно, на глазах у всех, солдатики (оловянные) начали наливаться кровью. Глаза их, доселе неподвижные, вдруг стали вращаться и выражать гнев; усы, нарисованные вкривь и вкось, встали на свои места и начали шевелиться; губы, представлявшие тонкую розовую черту, которая от бывших дождей почти уже смылась, оттопырились и изъявили намерение нечто произнести. Появились ноздри, о которых прежде и в помине не было, и начали раздуваться и свидетельствовать о нетерпении.

Другой эпизод оттуда же (зашифровываю в дальнейшем имена, чтобы не навести читателя на след). Х., любитель покушать, соблазнился головой У.; он все принюхивается к ней, как к чему-то съедобному . . . наконец, очутившись однажды с У. глаз на глаз, решился. — Кусочек! — стонал он перед У., зорко следя за выражением глаз облюбованной им жертвы. При первом же звуке столь определенно формулированной просьбы У. дрогнул. Положение его сразу обрисовалось с той бесповоротной ясностью, при которой всякие соглашения становятся бесполезными. Он робко взглянул на своего обидчика и, встретив его полный решимости взор, вдруг впал в состояние беспредельной тоски. Тем не менее он все-таки сделал слабую попытку дать отпор. Завязалась борьба, но Х. вошел уже в ярость и не помнил себя. Глаза его сверкали, брюхо сладостно ныло. Он задыхался, стонал, называл У. душкой, милкой. . . лизал его, нюхал и т. д. Наконец, с неслыханным остервенением бросился Х. на свою жертву, отрезал ножом ломоть головы и немедленно проглотил. За первым ломтем последовал другой, потом третий, до тех пор пока не осталось ни крохи. Тогда У. вдруг вскочил и стал обтирать лапками те места своего тела, которые Х. полил уксусом. Потом он закружился на одном месте и вдруг всем корпусом грохнулся на пол. Оказалось, что голова у него была фаршированная.

Из другого произведения того же автора: некий бедный молодой человек попадает в лапы двух жуликов. Они зовут его с собою в ресторан, обещая угостить его. Напоивши его, скрываются, похитив его верхнюю одежду и, конечно, не заплатив по счету. У него денег на это нет. Вызывают полицию, ведут его в участок. «Набольший» обращается к нему с укоризненной речью: «Речь его была проста и безыскусственна, как сама истина, а между тем не лишена и некоторой соли, и с этой стороны походила на вымысел, так что представляла собою один величественный синтез, соединение истины и басни, простоты и украшенного блестками поэзии вымысла. — Ах, молодой человек, молодой человек! — говорил набольший: — ты подумай, что ты сделал! Ты вникни в свой поступок, да не по поверхности скользи, а сойди в самую глубину своей совести! Ах, молодой человек, молодой человек!»

Я предлагаю читателю здесь остановиться и, не заглядывая дальше, спросить себя: откуда эти отрывки? Что они собою напоминают? Я уверен, что каждый ответит: это — из каких-то рассказов Сирина; из каких-то вариантов «Приглашения на казнь». На самом деле это Салтыков. Первые два отрывка из «Истории одного города», последний из «Запутанного дела». Следовало бы привести этот эпизод целиком — как попадается Иван Самойлыч, как его ведут, как по дороге его задирают прохожие («Что, видно, ваша милость прогуливаться изволите? . . Ги-ги-ги! — отозвался известный Ив. Самойлычу голос девушки, жившей своими трудами. — Наше вам почтение! — подхватил близ стоявший белокурый студент. . .»), как его не то привели, не то продолжают вести («действительность» все время перемежается с бредом); сходство с соответствующими эпизодами «Приглашения на казнь» поражает.

Еще один, обратный, эксперимент, который могли бы проделать надо мною самим. Если бы мне, до того как я прочел «Приглашение на казнь», прочли отрывок оттуда, где идет речь о том, как стали загнивать от сырости книги городской библиотеки, помещающейся на барже, и как поэтому пришлось *отвести реку*, я бы подумал, что это какое-то забытое мною место из «Истории одного города».

lib.pushkinskijdom.ru

Гениальный, но неудобочитаемый Салтыков теперь почти всеми забыт. Вот, должно быть, отчего, когда пишут о Сирине, вспоминают, как его, так сказать, предка, Гоголя, Салтыкова же — никогда. Близость Сирина к Гоголю бесспорна. Остановлюсь опять-таки на мелочах, на «родимых пятнышках»: «. . .При них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником». Откуда это? На первый взгляд как будто из Сирина. На самом деле из «Портрета». По такой схеме построены у Гоголя не раз перечни «вещей».* Весьма вероятно, что Сирин заимствовал ее у Гоголя. Так в «Отчаянии» составляет герой «опись» «своего душевного имущества»: «У меня была глупая, но симпатичная. . . жена, славная квартирка, прекрасное пищеварение и синий автомобиль». «. . .Однообразные . . .вечно *прибранные* и, так сказать, *застегнутые* лица чиновников. . .» («Портрет»). Ср. описание наружности Родрига Ивановича в «Приглашении на казнь».

Но Гоголь несравненно осторожнее, сдержаннее, «классичнее» в пользовании приемами «романтической иронии». В разработке гоголевских стилистических схем, основанных на намеренном неразличении «живого» и «мертвого», имеющих целью подчеркнуть бездушность «одушевленного», делимость «неделимого», индивида, Салтыков и Сирин идут дальше его: «Когда Иван Самойлыч явился в столовую, вся компания была уж налицо. *Впереди всех торчали* черные как смоль *усы* дорогого именинника; тут же, в виде неизбежного приложения, подвернулась и сухощавая и прямая, как палка, фигурка Шарлотты Готлибовны; по сторонам стояли. . .» и т. д. Этот отрывок из «Запутанного дела» удивительно похож по своему тону на описание посещения Цинцинната его родственниками. Если после «Приглашения на казнь» и «Истории одного города» перечесть Гоголя, то его «мертвые души» начинают казаться живыми. Дело не только в том, что Ковалев приходит в отчаяние, потерявши нос, тогда как глуповские градоначальники преспокойно живут, один с органчиком в голове, которую он на ночь снимает с себя, другой — с фаршированной головою; или что гоголевские герои всегда сохраняют свое тождество, тогда как Родриг Иванович то и дело скидывается Родионом; главное — в словесных внушениях, какими читателю передается видение мира у Гоголя, у Салтыкова и у Сирина. Гоголь не сказал бы, что градоначальник стал «потирать *лапками*» свою голову, как сказал Салтыков (см. выше) и как *мог* бы сказать Сирин (аналогичных словосочетаний у Сирина сколько угодно). Далее, речи Гоголя совершенно чужда та, характерная для Салтыкова и Сирина, смесь «ученого», холодно торжественного или приподнятого слога с «тривиальностями», которая усугубляет мертвенную жуткость и гротескную уродливость салтыковских и сиринских образов; в его речи меньше элементов вышучивания, издевательства, пародирования, чем в речи двух последних.

Все до сих пор сделанные сближения относятся к области стилистики; они свидетельствуют об общности настроения, «тона», «колорита» у Салтыкова и у Сирина. Это еще вряд ли «родимые пятна». Но вот одно место из «Господ Головлевых», какое могло бы быть отнесено к этой категории. Умирает брат Иудушки, Павел. Мать представляет себе, как явится Иудушка на похороны, как он будет притворяться, что скорбит, как примется за проверку наследства. «И как живой звенел в ее ушах. . . голос Иудушки, обращенный к ней: А помните, маменька, у брата *золотенькие запоночки* были. . . хорошенькие такие, еще он их по праздникам надевал. . . И куда только эти запоночки девались — ума приложить не могу!» А в «Приглашении на казнь» адвокат Цинцинната, только что приговоренного к смерти, вбегает в его камеру, расстроенный, взволнованный: оказывается, он — потерял *запонку*! Что это? Совпадение? Бессознательная реминисценция? Не решаюсь сказать.

Я не ожидал, что набреду на все эти «сиринские» черточки у Салтыкова тогда, когда, после «Приглашения на казнь», перечитал «Отчаяние» и вдруг вспомнил одно место из «Господ Головлевых», — почти единственное, что осталось в памяти от давно читанного Салтыкова: как Иудушка, дойдя до последней степени духовного падения, отдается

* В «Носе» доктор «имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую здоровую докторшу». . .

lib.pushkinskijdom.ru

«запою праздномыслия», «умственному распутству»: «Запершись в кабинете ... он изнывал над фантастической работой: строил всевозможные, несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены, *в которых первая случайно взбредшая на ум личность являлась действующим лицом*». Вспомнилось это место мне тогда, когда я понял, что Феликс, «двойник» Германа, не что иное, как такая — не реально встреченная (Ардальон прав — в *реальном* мире «двойников» не бывает),* а именно «случайно взбредшая на ум личность» — и это дало мне ключ к пониманию не только «Отчаяния», но и всего творчества Сирина, так что то, что до сих пор казалось мне у него виртуозничаньем, щеголяньем словесным мастерством, или, в лучшем случае, нерасчетливым расходованием творческих сил, — все это представилось мне строго обусловленным общим замыслом, художественно оправданным и необходимым.

Если отнестись к «Отчаянию» как к обыкновенному роману, англ. — fiction, т. е. пусть вымышленная, но все же действительность, то его можно толковать по-разному. Все одинаково «реально»: Герман действительно встречает Феликса, похожего на него самого, действительно не догадывается, вопреки очевидности, что его жена живет с Ардальоном, и замышляет преступление, чтобы окончательно обеспечить свое «счастье». Или: Герман знает об измене жены, но не хочет самому себе сознаться в этом и решается на убийство Феликса в надежде, что этим как-нибудь восстановит «семейный уют». Или, наконец, в отчаянии от измены жены, он создает в своем воображении Феликса и все, что следует. Если так, то это плохой роман, ибо житейские отношения не могут быть сведены к схеме неопределенного уравнения, сколь бы ни были они сложны и сколь бы ни изобиловали внутренними противоречиями. Однако все это имеет силу лишь при том условии, что Герман — подлинный человек. А что если он — «Иудушка»? Иудушка — нравственный *идиот*, в буквальном значении этого слова («идиот» — человек существующий духовно «сам по себе», вне «среды», в пустом пространстве, т. е. *не человек*). Его характеристика — та «гносеологическая гнусность», «непроницаемость», за которую Цинцинната приговаривают к смерти. Для такого человека — не-человека — нет разницы между реальными людьми и порождениями его фантазии. Все они — и он сам — помещены для него в той плоскости, в какой законы логики жизни уже не действуют. Никто лучше Салтыкова не охарактеризовал этого состояния сознания: «Существование (Иудушки) получило такую полноту и независимость, что ему ничего не оставалось желать. Весь мир был у его ног... *Каждый простейший мотив он мог варьировать бесконечно*, за каждый мог приниматься сызнова, разрабатывая всякий раз на новый манер». Это потому, что идиот-Иудушка не подозревает о том, что, пусть и бессознательно, лежит в основе сознания всякого настоящего человека: о *необратимости* жизненного потока и *единственности* каждого мгновения, результата тех «сцеплений», о которых говорил Толстой, результата *необходимого*, *неизбежного*, сколь бы сами эти «сцепления» ни были, с житейской, обыденной точки зрения, случайны, и, значит, обладающего своим *смыслом*.

Та лже-жизнь в пустом, призрачном мире, какою живут Иудушка и Герман, имеет, подобно подлинной жизни, свои, особые законы, какую-то свою дурацкую, дикую, нам не понятную логику. Не случайно, начавши перечитывать Салтыкова с того места, которое можно считать, так сказать, отправным пунктом духовного пути Иудушки, я сразу напал на следы, словно оставленные каким-то сиринским персонажем. Нет необходимости утверждать, что Сирин находится под влиянием Салтыкова. *Одного* «родимого пятна» (запонки) еще недостаточно для этого. Совпадения в данном случае могут быть обусловлены одинаково глубоким проникновением обоих авторов в сущность этой лже-жизни и ее лже-логики.

* Ср. разговор Голядкина с слугою Петрушкой в «Двойнике»: «...добрые люди... без фальши живут, и по двое никогда не бывают...» Связь рассказа Достоевского с «Носом» слишком известна (см. Бем, назв. работа). *Нос* в преломлении Достоевского становится двойником своего обладателя. Сирин, вслед за Достоевским, разрабатывает в том же направлении гоголевскую тему.

lib.pushkinskijdom.ru

Это можно подкрепить еще одним наблюдением. Есть у Салтыкова произведение, по смыслу, казалось бы, ничего общего не имеющее с вещами Сирина: «Дневник провинциала в Петербурге». Вначале это что-то вроде настоящего дневника, конечно, в салтыковском духе, т. е. сбивающегося постоянно на сатиру в стиле Свифта, где карикатура сплошь да рядом намеренно доводится до неправдоподобия. «Провинциал» становится жертвою какой-то мистификации, сбивающей его с толку. Реальный мир превращается для него в призрачный: «Теперь, после двух сыгранных со мною фарсов, я не могу сесть, чтобы не подумать: а ну, как этот стул вдруг подломится подо мной! Я не могу ступить по половице, чтоб меня не смущала мысль: а что, если эта половица совсем не половица, а только подобие ее? . . Есмь я или не есмь? В номерах я живу или не в номерах? Стены окружают меня или некоторое подобие стен? . .» (До чего этот тон напоминает сиринский!). Следует описание одной такой мистификации: «международный статистический конгресс», оказавшийся совещанием политических заговорщиков. Они попались, и их судят. Судья (который «*разыгрывал* презуса») обращается к подсудимым: «Господа! Вы обвиняетесь в весьма тяжком преступлении, и только вполне чистосердечное раскаяние может облегчить вашу участь. Наши обязанности относительно вас очень неприятны, но нас подкрепляет чувство долга — и мы останемся верны ему. . . Тем не менее мы очень сознаем, что ваше положение не из приятных, и потому постараемся по возможности облегчить его. Покуда вы не осуждены законом — вы наши гости, messieurs! («Судоговорение» происходит в Hôtel du Nord. — *П. Б.*). . . Теперь господин производитель дел отведет вас. . . в особенную комнату и велит подать вам по стакану чаю. . .» Затем идет допрос и новое заседание: «. . .двери отворились и нас пригласили в залу, где уже был накрыт стол на сорок кувертов, по числу судей и обвиненных. — Ну-с, господа, сказал лже-презус: мы исполнили свой долг, вы — свой. Но мы не забываем, что вы такие же люди, как и мы. Скажу более: вы наши гости, и мы обязаны позаботиться, чтобы вам было не совсем скучно. Теперь, за куском сочного ростбифа и за стаканом доброго вина, мы можем вполне беззаботно предаться беседе о тех самых проектах, за которые вы находитесь под судом. Человек! ужинать! и вдоволь шампанского!» Надо ли напоминать о разговорах Цинциннata с мосье Пьером, о «чествовании» его «отцами города» накануне казни? В «Дневнике провинциала» есть немало других мест, которые не в сюжетном отношении, но по тону удивительно схожи с различными эпизодами «Приглашения на казнь». Этот-то *тон*, отражающий общую Салтыкову и Сирину интуицию, бредовое состояние сознания их персонажей («Дневник» постепенно превращается в настоящий бред), и кажется той «темой» — в широком значении этого слова, — из которой выросли их произведения.

Всякое подлинно художественное произведение зачинается и слагается в душе художника более или менее бессознательно, — и знаменитое предисловие Эдгара По к «Ворону», надо думать, не что иное, как реконструкция сознанием, уже post factum, бессознательного творческого процесса. Но, разумеется, мыслим и другой путь: можно начать с рефлексии о своей интуиции и затем, путем последовательного рассуждения, построить систему символов, в которых всего осязательнее будет воплощена идея увиденного сознанием мира. Создавшееся так произведение будет художественно недостаточным, лишенным элементов того, благодаря чему создание настоящего искусства сперва покоряет нас себе, а затем уже осмысливается, «расшифровывается», в нашем сознании, и все же: *схемы* символов, возникших таким способом, будут совпадать с теми, какие истинным художником были *увидены*.

Доказательством может послужить сопоставление написанного Сириным с «Путешествием вглубь ночи» Селина. Селин — писатель большого ума, но совершенно лишенный способности, которой Сирин одарен в такой мере, — создавать, посредством словесных внушений, иллюзию действительности. Уже это одно говорит против предположения о возможном влиянии «Путешествия» на последние вещи Сирина. К тому же первая из них, «Camera Obscura», вышла в свет одновременно с «Путешествием» (1932). А в ней — не меньше совпадений с «Путешествием», чем в «Отчаянии» и в «Приглашении на казнь».

lib.pushkinskijdom.ru

Исходная точка здесь та же самая: некий особый — страшный — духовный опыт, озарение, открывающее — Ничто! «Все в эти моменты, — говорит «герой» Селина, — усугубляет вашу омерзительную тоску, заставляет вас, немощного, видеть вещи, людей, будущее такими, каковы они на самом деле, т. е. *как скелеты* (нечто подобное в одном из «Стихотворений в прозе» Тургенева), как ничто; и однако эти *ничто* приходится любить, ценить, представлять их себе одушевленными, как если бы они на самом деле существовали» (Ср. «Ужас» Сирина, напечатанный в «Совр. зап.» уже в 1926 г., маленький рассказ, который пришлось бы процитировать целиком). Такой духовный опыт обращает в ничто самого субъекта его. Может ли Бардамю Селина, или Цинциннат, быть сыном, иметь мать? И что такое *мать* в этом их мире? «Если бы, — говорит Бардамю, — я лежал на плахе, моя мать стала бы меня бранить за то, что я позабыл надеть шейный платок». Ср. прощание Цецилии Ц. с Цинциннатом: все ее внимание обращено на беспорядок в его камере. Исчезновение мира из поля сознания, самоизоляция, распад личности — таковы взаимообусловленные моменты этого духовного опыта. Отсюда — само собою возникающее появление «Двойника». Читал ли Селин Достоевского? У него «двойник», в отличие от голядкинского и германовского, не является в точном смысле «двойником». Леон Робинзон, попадающийся Бардамю впервые на войне, ничуть не похож на последнего. Его «двойничество» сводится к тому, что на всех этапах своего «путешествия» Бардамю находит его и что сколь Бардамю ни тяготится им, отделаться от него он не в силах. Робинзон вместе и отталкивает и притягивает его к себе. Чем? Зачем? Это не объяснено, да и не могло бы быть объяснено. Ни Бардамю Робинзону, ни Робинзон ему не нужны. Ничего общего между ними нет. И тем не менее всякий раз когда Робинзон разлучается с Бардамю, последний поджидает его, разыскивает его, и обратно. «Двойничество» Бардамю-Робинзона подчеркнуто тем, что у них заводится общая любовница — как раз тогда, когда Робинзон временно слепнет, — разительное совпадение с «Camera Obscura», где мотив утраты зрения развивается с такой символической углубленностью. Маделона, брошенная Робинзоном, убивает его. Бардамю провожает его тело до могилы. Это — последний этап его собственного «путешествия»; он достигнул «края ночи». Смерть Робинзона означает для него окончание его, Бардамю, земного странствования. Не потому, чтобы он любил Робинзона — этого не было, — а потому, что у его «двойника» была все же какая-то цель в жизни, пусть и самая жалкая, презренная — «устроиться», путем убийства старухи Анруйль (впрочем, добившись своего, Робинзон, без всяких видимых оснований, отказывается от пользования тем, что он получил); Робинзон был, так сказать, посредствующим звеном между ничего не желающим и не могущим желать Бардамю и жизнью. Робинзон — что-то вроде Германа из «Отчаяния»; Бардамю — Цинциннат, вечный затворник, для которого жизнь сводится к ненужной и бессмысленной отсрочке смерти. Когда Макбет узнает, что его жена умерла, он говорит: «пусть бы она умерла позже — тогда наступил бы срок для такого слова. *Завтра, завтра, завтра,* ползет тихим шагом, день за днем, до последнего слова начертанной судьбами поры. . . Жизнь не более как скитающаяся тень. . .сказка, рассказанная идиотом. . .и не значащая ничего». Конец «Приглашения на казнь» вызывает недоумение читателя: был ли или нет лишен жизни Цинциннат? Как будто бы нет. Но тогда, зачем было появляться у эшафота трем Паркам? Не злоупотребляет ли здесь Сирин своим искусством заинтриговать, подчас просто дурачить читателя? На самом деле здесь гениальнейшее осмысление приема «загвоздки», после которого полагается продолжение «в следующем номере», заключающее в себе решение заданной читателю загадки, — между тем как здесь «загвоздкой» все оканчивается. Суть в том, что на вопрос ответа быть не может, ибо и самого вопроса поставить нельзя. Смерть — конец *жизни*; а можно ли назвать жизнью то состояние, в котором пребывает Цинциннат? Отрубили ли ему голову или нет — не все ли равно? Настоящая жизнь есть движение, устремление к какой-то цели, к самообнаружению в общении — и в борьбе — с реальными людьми. Смерть — ее *завершение.* Жизнь — тезис. Смерть — антитеза, после которой человеческое сознание ждет какого-то синтеза, вневременного, окончательного осуществления смысла прожитой жизни. Но если в жизни

lib.pushkinskijdom.ru

ничто не утверждается, если она не выставляет никакой *тезы*, то как возможна *анти-теза* и как возможен синтез? Единственное, что суждено Цинциннату после «казни», это — идти туда, где его ждут «лица подобные ему». Это — то «бессмертие», которого страшится герой «Отчаяния», не имеющее конца продолжение того же самого, что было здесь, в этой «жизни»: «. . .Представьте себе, — говорит Герман, — что вот вы умерли и вот очнулись в раю, где с улыбками вас встречают дорогие покойники. Так вот, скажите на милость, какая у вас гарантия, что эти покойники подлинные, что это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь мелкий бес — мистификатор, изображающий, играющий вашу матушку? . .»

Сколь бы ни различествовали между собою художественные направления, вкусы, приемы, стили, всегда для искусства существовал один непреложный закон, закон *ритма*, т. е. самой жизни. Чередование света и тени, andante и allegro, сильных и слабых слогов, созвучий и диссонансов и т. д. — все это лишь выражение чередования напряжения и отдыха, радости и скорби, и, наконец, жизни и смерти. В литературе повествовательной закон ритма осуществляется прежде всего в чередовании эпизодов — веселых и печальных, комических, или идиллических, и трагических, мелких и значительных, — Филдинг, Стендаль, Диккенс, Толстой достигли в этом величайшего мастерства. Повествование о жизни должно воспроизводить ее движение. У Сирина — ни следа этого, и потому первое впечатление от чтения его вещей — впечатление *аритмичности*, т. е. художественного несовершенства, беззакония.

Есть, однако, произведения, какие только по их внешней форме относятся к повествовательной литературе. «Мертвые души», романы Достоевского по их внутренней форме относятся к драме, а не к роману. В этой области закон ритма осуществляется, в первую голову, в противопоставлении образов, характеров, а не непременно в чередовании большего или меньшего напряжения в их борьбе. У Достоевского, например, напряженность всегда доведена до максимума. У Сирина нет и этого, потому что у него нет характеров. Всякий его персонаж — everyman старинной английской мистерии: любой человек, по-своему им увиденный. Каждый из них слеп и глух, абсолютно «непроницаем», карикатура лейбницевской «не имеющей окон» монады. Отношения между ними состоят из чисто механических притяжений и отталкиваний. Но эти существа хотят жить, им то и дело словно вспоминаются какие-то возможности чувствовать по-человечески, иметь друг с другом общение, и эти их усилия прозреть, пробудиться, неизбежно обреченные на провал, — самое страшное. Этой-то ритмике изображаемой Сириным жизни — это слово должно быть взято в условном значении, за неимением другого — соответствует тон его повествования: все время кажется, что вот-вот мы услышим человеческую речь, но едва лишь зазвучат ее нотки, как эта речь вновь соскальзывает в пародию.

Художественное совершенство служит несомненным доказательством, что произведение выражает вполне *идею*, возникшую в сознании художника. Что идея, владеющая сознанием художника, обусловлена его индивидуальностью, это ясно само собою и, в сущности, это — тавтология. Однако из этого не следует, что творческий замысел художника не что иное, как «сублимация» какого-то его «комплекса», что создаваемые им образы имеют значение автобиографических свидетельств. Пусть Гоголь и утверждал, что Хлестаков и Чичиков — это он сам; на это лучше просто не обращать внимания: ведь это могло у него быть результатом самовнушения, мнительности, а проверить, был ли он прав или нет, говоря это, мы не в состоянии. И если Гете говорил, что нет преступления, на которое он не чувствовал бы себя способным, то этим он, конечно, хотел выразить свою способность всеохватывающего понимания. Духовный опыт Гоголя, Салтыкова, Сирина должен расцениваться как такой, в котором им открылся известный аспект не их именно личности, а человека вообще, жизни вообще. Тема человеческой «непроницаемости» — вечная тема. То же, что в наше время она подверглась разработке с такой беспримерной художественной последовательностью и что на этом пути — мы видели это — два писателя, столь различные между собою и по характеру и по размерам творческого дара,

lib.pushkinskijdom.ru

как Сирин и Селин, оказались шагающими рядом, доказывает, что тема эта — тема самой нашей эпохи, эпохи еще не изжитого, доведенного до крайности, разлагающего личность индивидуализма и вместе обезличивающего, бесчеловечного, бездушного коллективизма. У остающихся «au-dessus de la mêlée» *уже нет*, у вовлеченных в «mêlée» *еще нет* никаких объективно значимых регулятивов, нет *религии* — в широком смысле этого слова. Одни верят в то, во что им внушено верить, другие — сознательно отрекаются от какой бы то ни было веры именно потому, что она — *общая* вера. «Я не могу, не хочу в Бога верить, — восклицает герой «Отчаяния», — еще и потому, что сказка о нем — не моя, чужая, всеобщая сказка, — она пропитана неблаговонными *испарениями* миллионов людских душ, *повертевшихся в мире и лопнувших*» (замечу кстати, что и к этому месту есть, отдаленная впрочем, параллель в «Господах Головлевых»: «Таких людей довольно на свете и все они живут особняком. . . лопаясь под конец, *как лопаются дождевые пузыри*»).

Некоторые видят в «Приглашении на казнь» своего рода утопию наизнанку вроде уэллсовской, образ будущего, окончательно изуродованного всяческими «достижениями» мира. Это, разумеется, ошибка. В такой утопии Цинциннат отправился бы на казнь не в коляске, а в автомобиле или на аэроплане. Это утопия в буквальном смысле слова, и вместе *ухрония*. Это мир вообще, как Цинциннат — человек вообще, everyman. Сирин искуснейшим образом сплетает бытовые несуразности, для того чтобы подчеркнуть это, подобно A. Gide'у в его «Voyage d'Urien». Носители вечных «человеческих» качеств, тех, которые относятся к «нечеловеческому» в человеческой природе, его «человеки вообще», подобно героям Гоголя и Салтыкова, а также и носителям сверхчеловеческих качеств Достоевского, никогда и нигде, ни в какую эпоху не могут быть реальными, конкретными людьми. Это воплощения «идей», аллегорические фигуры. В «Voyage au bout de la nuit», где все, что могло бы создать иллюзию действительности, сведено до минимума, где люди обрисованы грубо схематически, аллегоричность целого выступает с полной очевидностью. Аллегорию принято считать «ложным видом» искусства. Но тогда и «Божественную комедию» пришлось бы отнести к «псевдоискусству». Если произведение искусства оставляет целостное впечатление — это иной раз дается не без труда: приходится отрешаться от привычных требований, предъявляемых к «роману», картине и т. д., — оно художественно оправданно. Таковы произведения Сирина. И все же они — аллегоричны, а не символистичны. Символистическое искусство не «иносказательно»: символ — адекватное выражение смысла. Если попробовать пересказать «своими словами» какое-нибудь стихотворение Блока или Анненского, от них ничего не останется. А «Приглашение на казнь», «Отчаяние» пересказать можно — Селин ведь и сделал это, сам о том не подозревая, — и нужно.

Возрождение, казалось бы, давно обветшавшего и забытого «жанра» аллегорического искусства характерно для нашего времени. Условие этого искусства — некоторая отрешенность от жизни. «Иносказание» связано с отношением к жизни как к своего рода «инобытию». Аллегорическое искусство процветало в эпоху кризиса Средневековья, когда старая культура отмирала, а новая еще не пробилась на свет. В наши дни возобновляются старые художественные мотивы аллегорических повествований (мотив «странствования» души — Voyage au bout de la nuit, Voyage d'Urien); и при чтении Сирина то и дело вспоминаются образы, излюбленные художниками исходящего Средневековья, апокалипсические всадники, пляшущий скелет. Тон, стиль — тот же самый, сочетание смешного и ужасного, «гротеск». «Новым средневековьем» назвал нашу эпоху Бердяев, имея в виду присущие ей тенденции к восстановлению органического строя общества. Но история движется диалектически, через ряд вечно возникающих противоречий; новое возникает в результате распада старого — и с этой точки зрения столь же применимо к нашей эпохе название «осень средневековья», как зовет один историк * полосу, прожитую Европой в XIV—XV веках.

---

* J. Huizinga, Herbst des Mittelalters.

lib.pushkinskijdom.ru

О. В. ТВОРОГОВ

РЮРИКОВИЧИ

Наше общество тревожится не напрасно. Все чаще и чаще звучат обоснованные сетования на то, что мы крайне плохо знаем историю своего народа и своей страны, особенно события и людей давно минувших эпох. Пушкинские слова о славе предков, не уважать которую «есть постыдное равнодушие»,[1] и сейчас звучат для нас как актуальный, но, увы, не исполненный пока завет. Спросим себя: много ли имен исторических деятелей допетровской Руси вспомнится нам, если мы, конечно, не занимаемся профессионально русской историей? Бодро проследуем по аллее героев, назовем Александра Невского и Дмитрия Донского. Любители «Слова о полку Игореве» прибавят имена героев этого произведения. Вспомним Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Всеволода Большое Гнездо и Ивана Калиту (последних, впрочем, не потому ли, что со школьной скамьи запомнились их замысловатые прозвища?), вождей народных восстаний — Ивана Болотникова и Степана Разина. Назовем Ивана Грозного и Бориса Годунова. А дальше? Вспоминая Василия I или Ивана III, не ограничимся ли мы одним именем — без конкретных деяний, без окружения, да и даты жизни не всегда припомнятся точно.

Словом, настойчивые призывы о безлимитной подписке на Карамзина, Ключевского, Соловьева совершенно оправданны и понятны, хотя в жажде прочитать выдающихся историков есть и доля наивности и неосведомленности. Действительно, Карамзин, как бы высоко ни чтили мы его подвижнический труд, устарел, и не только по концепции, но и по кругу приводимых фактов и использованных источников. Соловьева чрезвычайно трудно читать неспециалисту. И в то же время в этих просьбах странным образом обойдены наши современники. Разве не интересно и не полезно всем интересующимся отечественной историей (речь идет, разумеется, не о специалистах) прочесть обращенные к ним книги И. Б. Грекова и Ф. Ф. Шахмагонова, А. А. Зимина, В. В. Каргалова, Б. А. Рыбакова, Р. Г. Скрынникова?[2] Но беда в том, что эти книги труднодоступны, несмотря на значительные тиражи и даже переиздания. Велик ли тираж в 100 или даже 200 тысяч на страну с двухсотмиллионным славянским населением?[3] Книги этих авторов моментально исчезают с прилавков, и мало кто из любителей истории может похвастаться, что имеет полный комплект их на полке домашней библиотеки. Стоит учесть и то, что книги эти все же не охватывают всего периода древнерусской истории. Что же касается обобщающих трудов по отечественной истории, то политическая история Древней Руси изложена в них, к сожалению, недостаточно подробно.[4]

Именно эти соображения и побудили меня предложить редакции литературоведческого журнала эту статью. Навести справки о генеалогии Рюриковичей (а без этого трудно порой проследить канву исторических событий) для непрофессионала может быть затруднительно. В Советской исторической энциклопедии такие сведения отсутствуют, не у всякого под рукой и четвертый том репринтного издания «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина с таблицами, составленными П. М. Строевым.[5] Генеалогические таблицы есть в первых двух томах «Истории СССР с древнейших времен», но они остаются «глухими», так как в тексте вы не найдете сведений о большинстве отраженных в таблице лиц. Вот почему мы решились представить филологам — читателям журнала этот вспомогательный материал для ориентации в отечественной истории. Сопровождая генеалогические схемы биографическими справками о наиболее

© Творогов О. В., 1990 г.

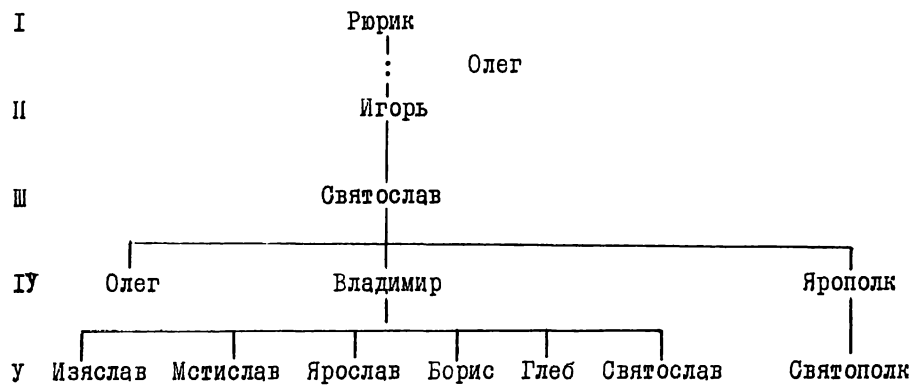
lib.pushkinskijdom.ru

известных деятелях русской истории, мы пытаемся помочь увидеть за именами конкретные лица с их характерами и деяниями. Справочный аппарат статьи соотносит упоминаемые в таблицах имена с древнерусскими литературными памятниками и историческими источниками, им посвященными или о них рассказывающими.

Итак, читателю предлагаются десять генеалогических таблиц, по которым он сможет наглядно представить историю династии Рюриковичей от ее легендарного основателя Рюрика до царя Федора Ивановича. Таблицы, разумеется, включают лишь имена наиболее известных нам исторических деятелей. Римские цифры слева означают принятые в историографии «колена» династии.

Таблица 1

ОТ РЮРИКА ДО ЯРОСЛАВА МУДРОГО



IX и X века — наиболее сложный для изучения период в истории Древней Руси. Летописцы, работавшие через 100—150 лет после событий, опирались в основном на устные предания и легенды, в лучшем случае на отдельные записи, если таковые существовали. Систематически летописание стало вестись, вероятно, не ранее середины XI века. Поэтому столько неясных вопросов оставляют легенда о призвании в 862 году варяга Рюрика, так странно затянувшееся на 33 года регентство князя Олега при малолетнем (!) Игоре; безусловно исторической легендсй является утверждение, что родоначальник киевских князей X века Игорь — сын Рюрика. И в то же время благодаря художественной образности основного источника сведений о истории Руси в X—начале XII века — «Повести временных лет» — именно первые русские князья стали хрестоматийно известными персонажами.[6] Поэтому наши справки о них весьма лаконичны.

ОЛЕГ (ум. в 912 году). После того как Олег, отправившись в 882 году из Новгорода, овладел Смоленском, а затем и Киевом, убив местного князя Аскольда (по летописи — Аскольда и Дира), под его властью оказалась вся Русская земля, вытянутая сравнительно неширокой полосой вдоль речных путей, ведущих из Ладоги в Черное море. Олег расширил свои владения на востоке, покорив северян и радимичей, живших в бассейнах Десны и Сожа. Он совершил два успешных похода на Константинополь. О причинах смерти его и даже о месте захоронения уже в древности бытовали различные легенды.

ИГОРЬ (ум. в 945 году). Примечательно, что летописец ничего не знает о княжении Игоря на протяжении почти четверти века. Упоминает он лишь два похода на Константинополь (в 941 и 944 годах). Второй поход привел к заключению выгодного для Руси договора с Византией. В 945 году Игорь был убит древлянами. Трудно отделить факты от

lib.pushkinskijdom.ru

вымысла в поэтическом рассказе «Повести временных лет» о том, как вдова Игоря Ольга мстила древлянам за смерть мужа. Дважды (в 946 и 955 годах) Ольга посетила Константинополь, где была с почетом принята императором Константином Багрянородным; во время второй поездки Ольга крестилась и получила христианское имя Елена.[7] Умерла княгиня в 969 году.

СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ (ум. в 972 году). Отважный воитель, по словам летописца открыто бросавший вызов врагам: «Иду на вы!», Святослав совершил ряд успешных походов. Он освободил вятичей, живших в бассейне Оки, от дани хазарам, разгромил волжских болгар и могущественный Хазарский каганат, успешно воевал в Болгарии и Византии. Возвращавшийся из похода Святослав был убит печенежским князем, вероятно предупрежденным византийцами.

ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ (ум. в 1015 году). Христианское имя князя — Василий. Далее имена, данные князьям при крещении (если они нам известны), приводятся в скобках. Сын Святослава от его ключницы Малуши. Отроком был отправлен княжить в Новгород в сопровождении своего дяди — воеводы Добрыни. Хитростью расправился со своим братом Ярополком (до того убившим третьего брата — Олега) и взял в жены его вдову. Владимир совершил ряд успешных походов, расширил пределы Руси на юго-западе, основал и построил ряд городов-крепостей на границе с враждебной степью. Оказав военную помощь византийскому императору Василию II, получил в жены его сестру Анну. В 988 году (по мнению О. М. Рапова, в 990 году) [8] Владимир провозгласил христианство государственной религией. Это способствовало повышению международного престижа Руси и привело к перевороту в культурной жизни страны: возникает литература, получает распространение каменное церковное зодчество, русские книжники знакомятся с достижениями византийской и болгарской духовной культуры. Владимир был причислен к лику святых.

ЯРОСЛАВ (Георгий) ВЛАДИМИРОВИЧ МУДРЫЙ (ум. в 1054 году). Был женат на Ингигерде, дочери шведского короля Олафа. После смерти Владимира вспыхнули междоусобные распри. Согласно официальной летописной версии, Святополк Ярополчич убил своих братьев Бориса, Глеба и Святослава. Между ним и Ярославом началась борьба за киевский стол. Святополк, разбитый в битве, бежал, а Ярослав в 1019 году стал киевским князем. После смерти брата Мстислава Ярослав становится единовластным князем в Южной Руси. В Полоцке княжит его брат Изяслав. О возросшем авторитете Русского государства говорит хотя бы тот факт, что три дочери Ярослава стали королевами: Анна — французской, Елизавета — норвежской, а затем датской, Анастасия — венгерской. Укрепляется влияние русской церкви, возникают первые монастыри и среди них знаменитый Киево-Печерский монастырь, сыгравший большую роль в становлении русской книжности и летописания.[9] Время Ярослава — это время бурного расцвета книжности и литературы: осуществляются многочисленные переводы с греческого, русский митрополит Иларион создает свое знаменитое «Слово о Законе и Благодати».[10]

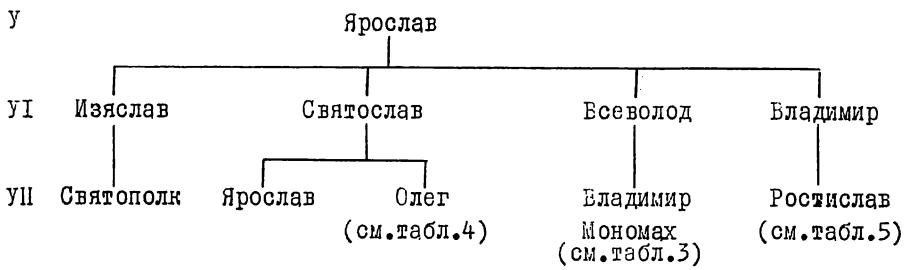
Время сыновей и внуков Ярослава — это время дальнейшего укрепления Русского государства, но одновременно и время начала феодальной раздробленности, так как Ярослав перед своей смертью разделил государство между сыновьями, оговорив главенство великого князя киевского, которым должен был становиться старший в роде. С середины XI века Русь сталкивается с кочевниками-половцами, занявшими причерноморские степи. Борьба с половецкой опасностью станет важнейшим фактором политической жизни. Во второй половине XI века возникает летописание, творят Нестор, Феодосий Печерский и другие русские писатели.[11]

ИЗЯСЛАВ (Дмитрий) ЯРОСЛАВИЧ (1025—1078 годы). Второй после рано умершего (в 1052 году) Владимира сын Ярослава. Был женат на Гертруде, дочери польского короля Мешко II. Был великим князем киевским с 1054 по 1068 год, когда восставшие киевляне изгнали его и посадили на престол его двоюродного племянника — Всеслава Брячиславича (внука Изяслава Владимировича). В 1069 году Изяслав вернул

lib.pushkinskijdom.ru

Таблица 2

ОТ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ДО ВЛАДИМИРА МОНОМАХА



себе Киев с помощью племянника своей жены — польского короля Болеслава II. Однако в 1073 году был снова изгнан из столицы своими братьями Святославом и Всеволодом. После смерти Святослава, в 1077 году, Изяслав возвращается на великое княжение. В 1078 году убит в битве на Нежатиной ниве.

СВЯТОСЛАВ (Николай) ЯРОСЛАВИЧ (1027—1076 годы). Третий сын Ярослава. Был женат на Оде, дочери Леопольда, графа Штаденского. Княжил в Чернигове, а в 1073 году отнял у Изяслава киевский стол, который держал до своей смерти, происшедшей после хирургической операции. С его именем связан знаменитый «Изборник» 1073 года.[12]

ВСЕВОЛОД (Андрей) ЯРОСЛАВИЧ (1030—1093 годы). Был женат на дочери византийского императора Константина Мономаха (Марии?). Княжил в Переяславле Русском (ныне Переяслав-Хмельницкий) и Чернигове. Ему принадлежала также окраинная Ростово-Суздальская земля. С 1078 года и до смерти был великим князем киевским. По свидетельству сына, Владимира Мономаха, Всеволод владел пятью языками.

СВЯТОПОЛК (Михаил) ИЗЯСЛАВИЧ (1050 ? — 1113 годы). Сын Изяслава Ярославича. Был женат на половецкой княжне, а затем на византийской принцессе из рода Комнинов. Княжил в Новгороде с 1078 по 1088 год, затем в Турове. С 1093 по 1113 год был великим князем киевским. В 1097 году запятнал себя соучастием в кровавой расправе с князем Васильком Теребовльским.[13] В 1103 году вместе с Владимиром Мономахом организовал поход русских князей на половцев, принесший победу.

ВЛАДИМИР (Василий) ВСЕВОЛОДОВИЧ МОНОМАХ (1053—1125 годы). Сын Всеволода от «царицы грекини», откуда и прозвище князя — Мономах. Владимир был одним из наиболее активных, авторитетных и политически умудренных русских князей, настойчиво боровшимся за прекращение княжеских междоусобиц и соблюдение установленного порядка княжеского землевладения. Был инициатором победоносных походов на половцев. В молодые годы Владимир, вероятно, княжил в Ростове, затем в Смоленске и Чернигове, а с 1094 года в Переяславле Русском. В 1113 году был приглашен киевским боярством на великое княжение, на котором оставался до своей смерти. О начитанности и литературном таланте князя свидетельствуют его сочинения.[14]

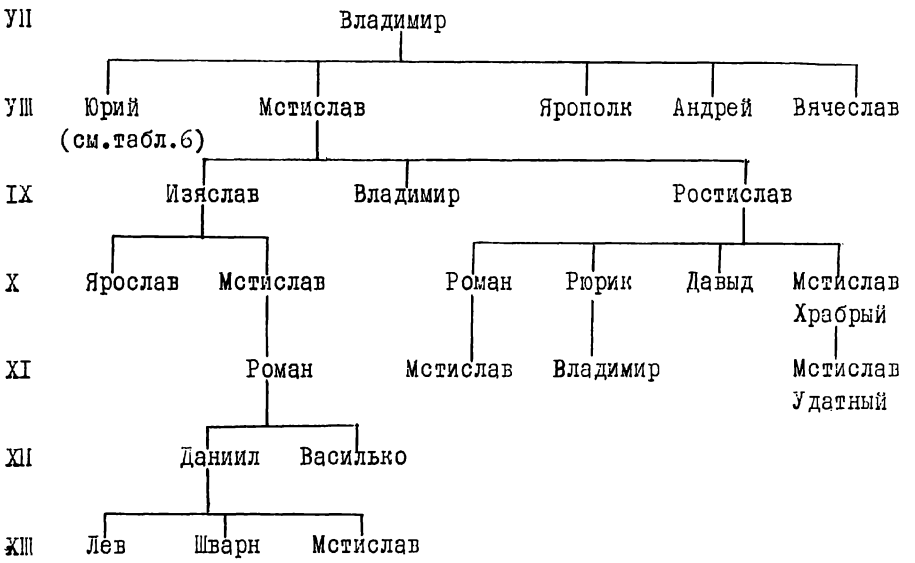
ОЛЕГ (Михаил) СВЯТОСЛАВИЧ (ум. в 1115 году). Был женат на знатной гречанке Феофано Музалон, а затем на половецкой княжне. В 1078 году находился в Чернигове у Всеволода Ярославича, откуда бежал в Тмуторокань и, пригласив с собой половцев, напал на Всеволода. В битве на Нежатиной ниве Олег потерпел поражение и снова бежал в Тмуторокань. Год спустя он был схвачен и отправлен в ссылку в Константинополь. Впоследствии жил на о. Родос. В 1083 году Олег возвратился из Византии, захватил Тмуторокань, а в 1094 году вновь с половецкой помощью подступил к стенам Чернигова. Изгнав из Чернигова Владимира Мономаха, он сел там, упорно отказываясь явиться в Киев на княжеский съезд для решения споров. В 1096 году Олег убил сына Мономаха

lib.pushkinskijdom.ru

Изяслава, захватившего принадлежавший Олегу Муром, но в Ростовской земле, куда направился затем Олег, он был разбит в битве на Колокше сыном Владимира Мономаха Мстиславом. О заносчивом и воинственном Олеге вспоминает и автор «Слова о полку Игореве»: «Тогда, при Олзѣ Гориславличи сѣяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждьбожа внука; в княжих крамолах вѣци человѣкомь скратишась».

Таблица 3

ПОТОМСТВО ВЛАДИМИРА МОНОМАХА В XII–XIII ВЕКАХ



У Владимира Мономаха было восемь сыновей (помимо указанных в таблице еще Изяслав, Роман и Святослав). В течение всего XII и первой половины XIII века сыновья и внуки Мономаха активно участвовали в феодальных распрях, соперничая с потомками Олега Святославича в борьбе за великокняжеский киевский стол. Достаточно сказать, что после смерти Мономаха только за XII век на нем сменилось 16 князей, из которых трое всходили на него дважды. Среди них были и потомки Мономаха: его сыновья — Мстислав, Юрий, Ярополк и Вячеслав, сыновья Мстислава — Изяслав, Ростислав и Владимир, сыновья Ростислава — Роман и Рюрик, сыновья Юрия Долгорукого — Глеб и Михаил.

МСТИСЛАВ (Феодор-Гаральд) ВЛАДИМИРОВИЧ — МСТИСЛАВ ВЕЛИКИЙ (1076?—1132 годы). Был женат на Христине, дочери шведского короля. С 1088 по 1093 и с 1095 по 1117 год княжил в Новгороде. Как полагают, с его именем связана третья редакция «Повести временных лет».[15] После княжения в Белгороде (в Киевской земле) Мстислав по завещанию отца стал великим князем киевским.

ИЗЯСЛАВ (Пантелеймон) МСТИСЛАВИЧ (1096—1154 годы). Сын Мстислава Владимировича. Был женат на немецкой принцессе, а затем на грузинской царевне Русудан. Княжил в Курске, Полоцке, Переяславле Русском, Турове, Владимире Волынском. В августе 1146 года был приглашен киевлянами на великокняжеский стол и оставался на нем до своей смерти, хотя дважды у него оспаривал Киев Юрий Долгорукий.

РОСТИСЛАВ (Михаил) МСТИСЛАВИЧ (ум. в 1167 году). Сын Мстислава Владимировича. Княжил по большей части в Смоленске. В 1154 году, а затем с 1159 по 1167 год был великим князем киевским.

lib.pushkinskijdom.ru

МСТИСЛАВ (Феодор) ИЗЯСЛАВИЧ (ум. в 1170 году). Сын Изяслава Мстиславича. Был женат на Агнессе, дочери польского короля Болеслава III Кривоустого. Княжил в Переяславле Русском, Луцке, Владимире Волынском. В 1167—1169 годах был великим князем киевским, организовал победоносный поход нескольких южнорусских князей на половцев. Изгнанный из Киева Андреем Боголюбским, ушел княжить во Владимир Волынский.

РЮРИК (Василий) РОСТИСЛАВИЧ (ум. в 1212 году). Сын Ростислава Мстиславича. Княжил в Торческе, Новгороде и других городах. В 1173 году занял великокняжеский стол, но был согнан оттуда Андреем Боголюбским. Вновь овладел Киевом в 1181 году, сражаясь с соперниками (см. табл. 4) — Святославом Всеволодичем, его братом Ярославом и Игорем Святославичем (героем «Слова»), поддержанными половецкими отрядами во главе с Кончаком. Несмотря на одержанную победу, Рюрик согласился на дуумвират: Святослав стал киевским князем, а Рюрик владел городами Киевской земли — Белгородом, Овручем и Вышгородом. После смерти Святослава в 1194 году Рюрик стал великим князем киевским, в 1202 году был изгнан своим зятем Романом Мстиславичем, но вернул себе город, подвергнув его страшному разгрому. В 1204 году во время похода на половцев князья рассорились вновь, и Роман постриг Рюрика в монахи. После гибели Романа в 1205 году Рюрик сбросил рясу и вновь взошел на киевский стол. Несколько раз ему приходилось отбиваться от Всеволода Чермного (сына Святослава Всеволодича), претендовавшего на великое княжение. Уступив ему, Рюрик в 1210 году ушел в Чернигов, где и умер в 1212 (или в 1215) году.

ДАВЫД (Глеб) РОСТИСЛАВИЧ (ум. в 1197 году). Княжил в разных городах, но дольше всего в Смоленске (с 1180 года). Это он, придя на помощь своему брату Рюрику в 1185 году, после поражения Игоря отказался идти на выручку Переяславлю, осажденному половцами, сказав: «Мы пришли к Киеву, если бы была там сеча — сражались бы, но зачем нам другой битвы искать, не можем — устали уже».

РОМАН (Борис) МСТИСЛАВИЧ (ум. в 1205 году). Сын Мстислава Изяславича. Был женат на дочери Рюрика Ростиславича. Один из наиболее могучих и авторитетных князей своего времени. С 1170 года Роман княжил во Владимире Волынском, а в 1199 году ему удалось присоединить к Волыни и Галицкую землю. Галицко-Волынская Русь превратилась в крупнейшее княжество, соперничавшее с самим Киевом. Вмешавшись в борьбу претендентов на имперский престол — Филиппа Швабского и Оттона IV, — Роман был убит в битве у Завихоста, на берегу Вислы. Летописец пишет, что Роман «устремлялся на врагов как лев, сердит был как рысь, храбр был как тур».

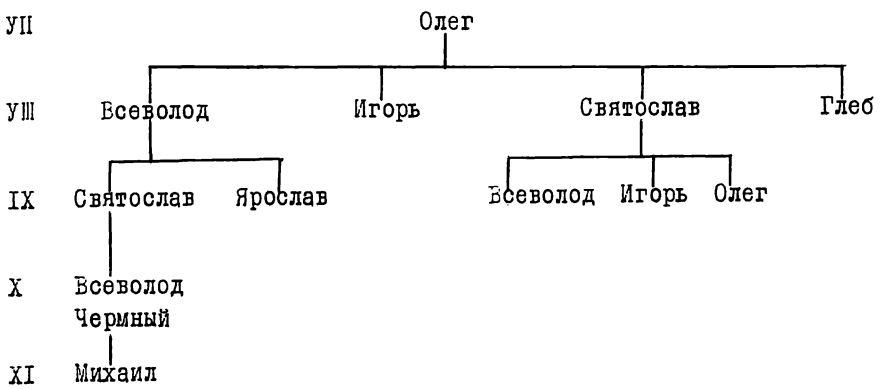
ДАНИИЛ (Иоанн) РОМАНОВИЧ (1201—1264 годы). Даниил, сын Романа, не уступал отцу в могуществе и авторитете. Женат он был на дочери Мстислава Удатного. Детство и юность Даниила были тяжелыми: осиротев четырехлетним ребенком, он вместе с матерью Анной (Агнессой) был изгнан из Галича, а затем и из Владимира и нашел убежище в Польше. В 1211 году десятилетнего Даниила пригласили на галицкий стол, но вскоре ему снова пришлось уехать на чужбину. В 1221 году Даниил становится волынским князем. В 1223 году юный Даниил участвовал в битве на Калке, был ранен, но даже не заметил раны в пылу боя, как утверждает летописец. В 1230 году Даниил становится также князем галицким, но уже через два года Галич отнимают у него венгры. Опираясь на поддержку простых горожан, Даниил возвращает себе стол, но снова вытеснен из Галицкой земли. Лишь в 1238 году ему удается объединить ее с Волынью. Перед самым нашествием Батыя Даниил приобрел и Киев, в котором посадил своего наместника Дмитра. При нем город был взят и разорен монголо-татарами. Сам Даниил уехал в Польшу и возвратился лишь после ухода ордынцев. До смерти он оставался князем Галицко-Волынской земли, достигшей в эти годы большого политического авторитета. Даниилу наследовали сыновья: Льву он передал Галич и Перемышль, Шварну — Холм, Белз и Червень, Мстиславу — Луцк. После смерти Шварна его владения отошли к Льву Даниловичу.[16]

lib.pushkinskijdom.ru

МСТИСЛАВ (Феодор) МСТИСЛАВИЧ УДАТНЫЙ (ум. в 1228 году). Сын Мстислава Ростиславича Храброго. Княжил в Треполе, Торческе, Торопце. В 1210 году предложил себя в князья новгородцам, у которых княжил прежде его отец. В 1215 году намеревался уйти с новгородского княжения, заявив, что у него есть дела («орудье») на юге, но в феврале 1216 года, в обстановке начавшихся в Новгороде смут, возвратился в город. Он возглавлял новгородские полки в битве на реке Липице в 1216 году. Перед битвой с Ярославом Всеволодичем Суздальским Мстислав и его брат Владимир обратились к новгородцам с призывом: «Забудем, братья, дома, жен и детей, а кто как хочет, так и умрет — кто хочет пешим, кто хочет на коне». Спешившись, новгородцы ринулись в битву, окончившуюся полным поражением суздальцев. В 1219 году Мстислав уходит на юг, захватывает Галич и княжит там до 1227 года. Он участвовал в битве на Калке. Уступив в 1227 году Галич венгерскому королю, Мстислав уходит княжить в Торческ.

Таблица 4

ПОТОМСТВО ОЛЕГА СВЯТОСЛАВИЧА



Ольговичи были главными соперниками Мономашичей в борьбе за великое княжение киевское. При этом союзниками Ольговичей нередко оказывался Юрий Владимирович Долгорукий, а затем и Всеволод Большое Гнездо. История Ольговичей в XII и XIII веках отражена в Киевской летописи (в составе летописи Ипатьевской), в частности в повествовании о походе Игоря Святославича на половцев.[17]

ВСЕВОЛОД (Кирилл) ОЛЬГОВИЧ (ум. в 1146 году). С 1127 по 1139 год был черниговским князем, а затем одновременно и великим князем киевским. Разболевшись и чувствуя приближение смерти, он взял с горожан клятву, что его стол перейдет к брату Игорю.

ИГОРЬ (Георгий?) ОЛЬГОВИЧ (ум. в 1147 году). В 40-х годах он безуспешно воевал с братом Всеволодом, добиваясь Чернигова или Новгорода-Северского. В конце концов князь был вынужден примириться с владением городами Юрьевом, Городцом и Рогачевом. Но в 1146 году по воле того же Всеволода стал киевским князем. Правил Игорь всего 13 дней. Он не выполнил требование киевлян об отстранении тиунов (управителей) Всеволода — Ратши и Тудора, и тогда они призвали на киевский стол Изяслава Мстиславича. В битве под стенами Киева Игорь потерпел поражение, четыре дня скрывался где-то в болотах, но был отыскан и заключен в темницу. Через некоторое время Изяслав разрешил ему постричься в монахи. Но и это не спасло князя-чернеца от расправы: киевляне выволокли его из церкви, пытаясь убить. Брату Изяслава, княжичу Владимиру, удалось отнять Игоря у разъяренной толпы и довести до двора своей матери.

lib.pushkinskijdom.ru

Но киевляне выломали ворота, вырвали Игоря из рук защитников, убили, а труп, привязав к ноге веревку, выволокли со двора и бросили на торговой площади.[18]

СВЯТОСЛАВ (Николай) ОЛЬГОВИЧ (ум. в 1164 году). Брат Всеволода и Игоря. Женат был дважды: сначала на дочери половецкого хана, а затем на новгородке, от брака с которой имел сыновей Олега, Игоря и Всеволода. Некоторое время с перерывами княжил в Новгороде, затем владел небольшими городками в Северской земле. В 1146 году ему принадлежали Курск, Новгород-Северский и Карачев. Позднее Святослав расширил свои владения до Мозыря. С середины 50-х годов княжил в Чернигове, где и умер.

СВЯТОСЛАВ (Михаил) ВСЕВОЛОДИЧ (после 1116—1194 годы). Сын Всеволода Ольговича. Княжил в Турове, Владимире Волынском. С 1157 года он получил Новгород-Северский, а в 1164 году захватил Чернигов. После борьбы за Киев с Мономашичами, в которой он и союзный ему Игорь Святославич потерпели поражение, Святослав все же приобрел великокняжеский стол, однако города Киевской земли перешли к Рюрику Ростиславичу. Великим князем киевским Святослав оставался до смерти в 1194 году. Был организатором успешного похода на половцев как раз накануне злосчастного Игорева похода. «Слово о полку Игореве» правомерно говорит о его «серебряной седине» — Святославу было в те годы около семидесяти.

ЯРОСЛАВ (Прокопий) ВСЕВОЛОДИЧ (1139—1198 годы). Брат Святослава. Около 1177 года стал черниговским князем и оставался им до смерти.

ОЛЕГ СВЯТОСЛАВИЧ (ум. в 1180 году). Сын Святослава Ольговича. Владел различными городами в Черниговской земле, соперничая со своим двоюродным братом Святославом Всеволодичем. В последние годы жизни был князем Новгорода-Северского.

ИГОРЬ (Георгий) СВЯТОСЛАВИЧ (1151—1202 годы). Брат Олега. Был женат на дочери галицкого князя Ярослава Владимировича. С 1180 года был новгород-северским князем, а после смерти Ярослава Всеволодича, по данным некоторых источников, князем черниговским. Хорошо известен благодаря «Слову о полку Игореве». Судьба его сыновей Романа, Ростислава и Святослава была трагичной: в 1211 году их повесили в Галиче мятежные бояре. Владимир Игоревич также княжил в Галиче, откуда был изгнан Даниилом Романовичем.

ВСЕВОЛОД СВЯТОСЛАВИЧ ЧЕРМНЫЙ (ум. в 1212? году). Был князем в Чернигове, в 1206, 1207 и в последующие годы захватывал Киев, но всякий раз терял его. Умер князем черниговским.

МИХАИЛ ВСЕВОЛОДИЧ (1179—1246 годы). Сын Всеволода Чермного. Был женат на дочери Романа Мстиславича Галицкого. С 1206 года княжил в Переяславле Русском, а с 1223 года — в Чернигове и Новгороде. В 1235 году захватил Галич. В 1238 году во время монголо-татарского нашествия бежал в Венгрию, а затем в Польшу. Вернулся на Русь в 1241 году. В 1246 году из Чернигова отправился в Орду, к Батыю. За отказ исполнить татарский ритуал был убит. Причислен русской церковью к лику святых.[19]

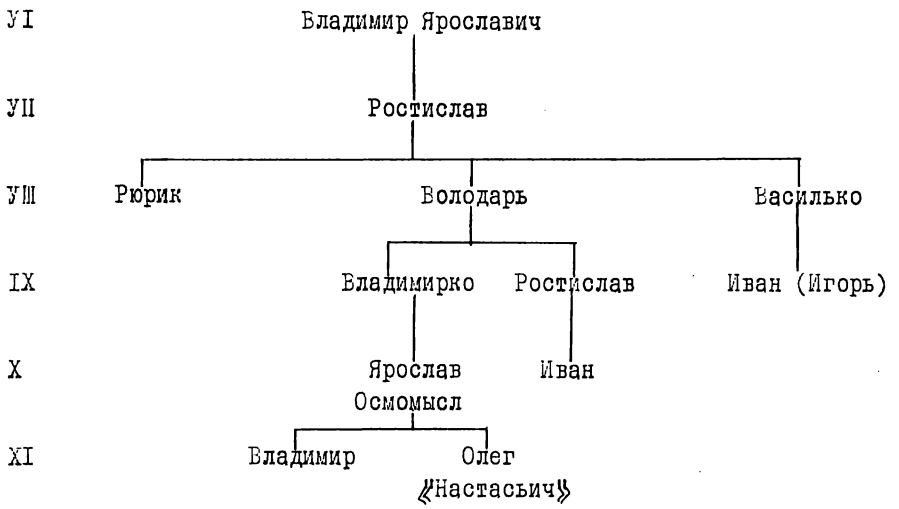
Едва ли стоило вспоминать о боковой ветви Рюриковичей (см. табл. 5), если бы не несколько колоритных лиц, к ней принадлежащих. Например, все мало-мальски знакомые с древнерусской литературой помнят драматический рассказ «Повести временных лет» под 1097 годом об ослеплении Василька Ростиславича Теребовльского киевским князем Святополком Изяславичем и волынским князем Давыдом Игоревичем. Заслуживают упоминания и еще три князя той же ветви — потомки Володаря, брата несчастного Василька.

ВЛАДИМИРКО ВОЛОДАРЕВИЧ (ум. в 1153 году). Княжил в Звенигороде и Белзе, после смерти брата Ростислава (в 1128 году) присоединил к своим владениям Перемышль, а после смерти в 1141 году Ивана Васильковича также и Галицкую волость. Он сделал Галич своей столицей. С этого времени началось возвышение Галицкого княжества. Владимирко отличался крайней беспринципностью. Когда он, потерпев поражение от киевского князя Изяслава Мстиславича, укрылся в Перемышле, то обратился к венгерскому королю с просьбой о заступничестве, сообщив, что он, якобы тяжело раненный, находится при смерти. Притворяясь изнемогающим от ран,

lib.pushkinskijdom.ru

Таблица 5

ПОТОМКИ ВЛАДИМИРА ЯРОСЛАВИЧА



Владимирко поцеловал венгерскую святыню — крест святого Стефана — и пообещал вернуть киевскому князю захваченные им города. Когда же опасность миновала, Владимирко не только отказался от своих слов, но и с издевкой вспомнил о некоем «крестьце мале» поручившихся за него венгров. Киевский посол Петр Бориславич (его Б. А. Рыбаков считает вероятным автором «Слова о полку Игореве») [20] был с оскорблениями прогнан с княжеского двора. Но в тот же день, возвращаясь из церкви в свои палаты, Владимирко почувствовал на том месте, где незадолго перед тем поносил киевского посла, словно бы удар в плечо. Князь упал, его унесли в горницу, и в тот же вечер он умер.

ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (ум. в 1187 году). Сын Владимирко. «Слово о полку Игореве» называет его «Осмомысл». Был женат на Ольге, дочери Юрия Долгорукого. Став после смерти отца галицким князем, Ярослав продолжал укреплять свой удел. Однако пышная характеристика, данная ему автором «Слова», все же сильно преувеличивает силу и влиятельность князя: владения его не простирались до Дуная,[21] он не мог с легкостью «отворять Киеву врата», хотя и вмешивался в борьбу за киевский престол. В своем собственном уделе Ярослав был зависим от могущественного боярства: бояре сожгли его любовницу Настасью и принудили к примирению с брошенной им и бежавшей из княжества Ольгой. Однако, умирая, князь все же отдал Галич не сыну Ольги Владимиру, а сыну Настасьи — Олегу.

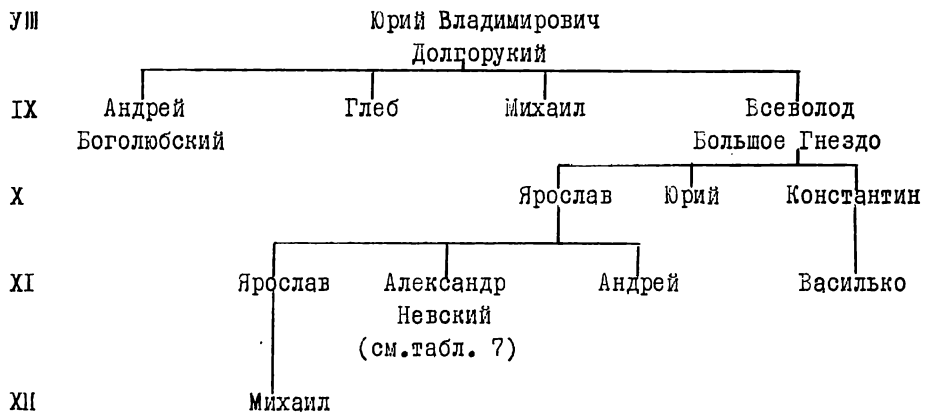
ВЛАДИМИР ЯРОСЛАВИЧ (ум. в 1199 году). Сын Ярослава, прототип князя Владимира Галицкого в опере А. П. Бородина «Князь Игорь». Владимир рассорился с отцом и был изгнан им из княжества. Куда ни обращался он, ища пристанища, — во Владимир Волынский к Роману, в Дорогобуж к Ингварю Ярославичу, в Туров, в Смоленск, даже в далекий Суздаль, к Всеволоду Большое Гнездо, — все ему отказывали «из страха перед отцем его». Наконец над ним сжалился Игорь Святославич, женатый на его сестре, дал ему приют, а два года спустя примирил с отцом. После смерти Ярослава галицкие бояре, изгнав Олега, пригласили на княжение Владимира, но он был «любезнив питию многому», не советовался с мужами, женился на попадье, отняв ее у мужа. . . Все

lib.pushkinskijdom.ru

это привело к тому, что бояре прогнали его прочь. Его судьба и в дальнейшем была нелегкой: он бежал в Венгрию, там оказался в темнице, бежал, спустившись с башни на связанных друг с другом полосах материи изрезанного им шатра. Затем Владимир добыл себе все же галичский стол и княжил там до смерти.

Таблица 6

ОТ ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО ДО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО



С начала XIII века политический и духовный центр Руси все более смещается в прежде глухую Залесскую землю — в Ростово-Суздальское (затем Владимиро-Суздальское) княжество. Там издавна сидели потомки Мономаха, а затем его сына Юрия. Северо-восточной Руси привелось испить горькую чашу страданий в годы Батыева нашествия. Оно принесло неисчислимые человеческие жертвы, в огне пожарищ обратились в прах и пепел древнейшие города — Рязань, Ростов, Владимир, Суздаль, Ярославль, а также города молодые, такие, как Москва, Кострома, Юрьев, Дмитров. В 1237 году пала Рязань, где княжили потомки Ярослава Святославича — брата Олега Святославича (см. табл. 2).[22] А на следующий год в битве на р. Сить объединенным русским полкам монголо-татары нанесут страшное поражение, полягут в битве и многие князья.[23]

В Южной Руси иные княжеские династии прервались, другие продолжали свое существование уже в рамках иного государственного образования — Великого княжества Литовского. Поэтому мы сосредоточимся теперь на потомках Юрия Долгорукого и Всеволода Большое Гнездо.

ЮРИЙ (Георгий) ВЛАДИМИРОВИЧ ДОЛГОРУКИЙ (1090?—1157 годы). Сын Владимира Мономаха. Еще ребенком (около 1093 года) он был отправлен с братом Мстиславом княжить в Ростов. С 1117 года стал княжить единолично. С 1149 года Юрий включается в борьбу за великокняжеский киевский стол. Ему удалось овладеть им в 1155 году. Но два года спустя князь умирает: он внезапно заболел после пира у киевского боярина Петрилы и спустя пять дней скончался. Именно при Юрии Ростово-Суздальская земля из непрезентабельной окраины превратилась в авторитетное и сильное княжество. В 1147 году Юрий принимает Святослава Ольговича (отца героя «Слова») в своем селе Москве. Это ее первое упоминание.

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ БОГОЛЮБСКИЙ (ок. 1112—1174 годы). Был женат на дочери боярина Кучки Улите, а затем на неизвестной, как полагают, «уроженке либо половецких степей, либо Северного Кавказа».[24] Сначала владел городами возле Киева, но

lib.pushkinskijdom.ru

с 1154 года, вопреки воле отца, Юрия Долгорукого, живет в Ростовской земле, преимущественно в селе Боголюбово под Владимиром, который он делает своей столицей. Князем Ростово-Суздальского княжества он стал в 1157 году. В 1169 году Андрей возглавил коалицию князей, взявших штурмом древнюю столицу Киев и подвергших ее страшному разгрому. В 1174 году Андрей был смертельно ранен в своей опочивальне заговорщиками.[25] Именно Андрей отдал все свои помыслы укреплению Владимиро-Суздальской земли. Киев не интересовал его так, как князей-предшественников, он заботился лишь о том, чтобы киевский стол занимал его политический сторонник или ставленник. Сын Андрея Юрий был женат на грузинской царице Тамар.

ВСЕВОЛОД (Дмитрий) ЮРЬЕВИЧ БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО (1154—1212 годы). Был женат на осетинке Марии, затем на дочери Василька, князя витебского. При нем Владимиро-Суздальская Русь превратилась в одно из самых крупных и сильных государственных образований не только на Руси, но и в Европе. Совершал победоносные походы на волжских болгар.

ЯРОСЛАВ (Феодор) ВСЕВОЛОДИЧ (1190—1246 годы). Княжил в различных городах и уделах: в Переяславле Русском, Рязани, Новгороде, откуда был вскоре изгнан. Тогда Ярослав приказал не допускать подвоза хлеба из Суздальщины. В Новгороде начался голод. Приглашенный новгородцами князь Мстислав Удатный в 1216 году нанес Ярославу и союзным с ним братьям — Юрию и Святославу — сокрушительное поражение на р. Липице.[26] Впоследствии Ярослав вновь княжил в Новгороде (с перерывами). После гибели в битве на Сити Юрия Всеволодича Ярослав стал великим князем владимирским. В 1246 году он был приглашен к монгольскому хану в Каракорум и там отравлен.

ЮРИЙ (Георгий) ВСЕВОЛОДИЧ (1188—1238 годы). С 1212 по 1216 год и с 1218 года до гибели в битве на р. Сить был великим князем владимирским.

КОНСТАНТИН ВСЕВОЛОДИЧ (1185—1218 годы). Старший сын Всеволода Большое Гнездо. После Липицкой битвы 1216 года и до смерти был великим князем владимирским.

ЯРОСЛАВ (Афанасий) ЯРОСЛАВИЧ (ум. в 1273 году). Сын Ярослава Всеволодича. Один из немногих Рюриковичей, потомков Всеволода Большое Гнездо, уцелевших после Батыева нашествия. Ярослав княжил в Суздале, Твери, Новгороде. С 1263 года стал великим князем владимирским. Умер в Орде в 1273 году. От его сына Михаила Ярославича пошла династия тверских князей.

АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ НЕВСКИЙ (1220—1263 годы). Был женат на дочери полоцкого князя Брячислава Александре. С конца 20-х годов княжил, с перерывами, в Новгороде. В 1240 году Александр одержал победу над шведами, высадившимися на южном берегу Невы, у впадения в нее Ижоры. Шведское войско возглавлял королевский военачальник (Ульф Фаси?); имя Биргера упоминается в источниках ошибочно: он стал ярлом (военачальником) лишь в 1248 году. Шведская экспедиция преследовала, видимо, далеко идущие цели, поэтому разгром ее Александром положил конец шведской экспансии. В 1242 году на льду Чудского озера Александр одержал победу над войском Ордена меченосцев, остановив территориальные притязания немецких рыцарей на псковские и новгородские земли. Дальнейшая жизнь князя была многотрудной, и противоречивыми были его поступки: он познал честь великого княжения и унижение снисходительного благожелательства монгольских ханов; четырежды ездил он в Орду и даже в далекий (в северо-восточной Монголии!) Каракорум. В 1246 году княжение было отдано его брату Андрею, а Александру дарован разоренный Батыем Киев, которому князь предпочел свой Новгород. С поездкой Александра в Орду в 1252 году странным образом совпало нашествие ордынского полководца Неврюя, в результате которого Андрей Ярославич бежит из страны, а на великокняжеский стол всходит Александр. Ведя примиренческую политику в отношениях с Ордой, Александр сурово подавляет антиордынские выступления в Новгороде. Предполагают, что во время своей последней, четвертой поездки в Орду Александр смог «отмолить» русских от участия в монгольских завоевательных походах. Умер он на обратном пути из Орды в Городце

lib.pushkinskijdom.ru

(город на Волге, выше по течению Нижнего Новгорода), так и не добравшись до стольного Владимира, в возрасте 43 лет. Александр Невский был причислен к лику святых.[27]

АНДРЕЙ ЯРОСЛАВИЧ (ум. в 1264 году). Брат и соперник Александра. Занимал антиордынскую позицию. В 1249 году получил ярлык на великое княжение. Во время нашествия Неврюя в 1252 году бежит в Швецию, заявив, что лучше покинуть страну, чем служить ордынским ханам. После смерти Александра Андрей становится великим князем владимирским. От Андрея Ярославича происходят князья Шуйские, игравшие значительную роль в политической жизни России с начала XVI века. Князь Василий Иванович Шуйский был последним русским царем из династии Рюриковичей.

ВАСИЛЬКО КОНСТАНТИНОВИЧ (1208—1238 годы). Двоюродный брат Александра Невского. Был женат на Марии, дочери Михаила Всеволодича Черниговского. После смерти отца (в 1218 году) княжил в Ростове. Во время битвы на Сити был ранен и попал в плен. Его отвели в ставку хана и предложили стать ордынским вассалом. По утверждению летописца, Василько не только отверг предложение, но и стал всячески корить завоевателей. Князь был убит, тело его брошено в лесу, затем случайно обнаружено, и Василько был с почестями похоронен в Ростове. Некрологическая запись, составленная, как думают, по настоянию вдовы, сообщает, что князь был «лицом красив, очами светел и грозен, храбр безмерно на охоте, сердцем отходчив, к боярам ласков».[28]

Мы рассмотрели историю династии Рюриковичей на протяжении IX—XIII веков. В дальнейшем политическая власть на Руси сосредоточится исключительно в руках потомков Всеволода Большое Гнездо. Борьба за главенствующую роль будет идти либо между московскими и тверскими князьями (т. е. между потомками Ярослава Ярославича и Александра Ярославича Невского), либо между представителями разных ветвей потомков Дмитрия Донского.

Продолжение следует

[1] *Пушкин.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 55.

[2] Для широкого читателя несомненно представят интерес следующие книги: *Греков И. Б., Шахмагонов Ф. Ф.* Мир истории: Русские земли в XIII—XIV веках. 2-е изд. М., 1988; *Дегтярев А. Я., Дубов И. В.* От Калки до Угры. Л., 1986; *Зимин А. А.* 1) Россия на пороге нового времени: (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972; 2) Россия на рубеже XV—XVI столетий: Очерки социально-политической истории. М., 1982; *Зимин А. А., Хорошкевич А. Л.* Россия времени Ивана Грозного. М., 1982; *Каргалов В. В.* Конец Ордынского ига. 2-е изд. М., 1984; *Рыбаков Б. А.* 1) Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв.: Киевская Русь и исторические судьбы восточных славян. М., 1982; 2) Мир истории: Начальные века русской истории. М., 1987; *Скрынников Р. Г.* 1) Борис Годунов. М., 1978; 2) Иван Грозный. М., 1975; 3) Россия в начале XVII в.: «Смута». М., 1988; 4) Россия накануне «смутного времени». 2-е изд. Л., 1985; 5) «Смута» в России в начале XVII в.: Иван Болотников. Л., 1988 и др.

[3] Приведем для сравнения тиражи произведений художественной литературы. Так, только в 1988 году роман Ш. Бронте «Джен Эйр» был издан общим тиражом 1 900 000 экземпляров, романы Э. Золя «Жерминаль» и «Западня» — тиражом 1 060 000 экземпляров, роман Ю. Семенова «Экспансия-1» — тиражом 3 600 000 экземпляров, стихи В. Высоцкого — тиражом 1 325 000 экземпляров и т. д. См.: 100 лучших книг 1988 года // Книжное обозрение. 1989. № 32. С. 4.

[4] Краткая история СССР: Ч. I. 2-е изд., перераб. Л., 1972; История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1966. Т. 1—2.

[5] *Карамзин Н. М.* История государства Российского: Кн. 4; Ключ, или Алфавитный указатель, составленный П. М. Строевым; Сопроводительные статьи. М., 1988.

[6] Повесть временных лет издавалась неоднократно. Лучшим изданием остается кн.: Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Ч. 1—2. (Серия «Литературные памятники»). См. также ее текст (с сокращениями) в кн.: Повести Древней Руси XI—XII веков. Л., 1983 (далее: Повести) и в кн.: Памятники литературы Древней Руси: XI — начало XII века. М., 1978 (далее: ПЛДР). В последнем издании, к сожалению, древнерусский текст содержит много опечаток.

[7] См.: *Литаврин Г. Г.* К вопросу об обстоятельствах, месте и времени крещения княгини Ольги // Древнейшие государства на территории СССР: 1985 год. М., 1986. С. 49—57.

[8] См.: Введение христианства на Руси. М., 1987. С. 105—107.

[9] История возникновения монастыря изложена в Киево-Печерском патерике. Текст его

lib.pushkinskijdom.ru

с переводом см.: ПЛДР: XII век. М., 1980. С. 412—623; Повести. С. 427—523 (с сокращениями).

[10] «Слово» имеет в основном научные издания. Последнее из них в кн.: *Молдован А. М.* «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Киев, 1984. С сокращениями текст издан в кн.: Красноречие Древней Руси: (XI—XVII вв.) / Сост. Т. В. Чертворицкая. М., 1987. С. 42—57.

[11] Отсылаем к первым двум томам серии «Памятники литературы Древней Руси», а также к книге «Красноречие Древней Руси».

[12] Не так давно осуществлено фототипическое переиздание Изборника: Изборник Святослава 1073 г. Ч. I—II. М., 1983.

[13] Рассказ об этом событии содержится в «Повести временных лет» под 1097 годом.

[14] Сочинения Владимира Мономаха издавались неоднократно. См.: ПЛДР: XI — начало XII века. С. 392—413; Повесть временных лет. М.; Л., 1950. С. 153—167.

[15] См.: *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947.

[16] История Галицко-Волынской Руси в XIII веке изложена в так называемой Галицко-Волынской летописи. Текст ее с переводом и комментариями см. в кн.: ПЛДР: XIII век. М., 1981. С. 236—425, 564—602.

[17] Повести о походе Игоря издавались в последние годы неоднократно. См.: ПЛДР: XII век. С. 345—371; Повести. С. 354—375; Слово о полку Игореве. Л., 1985. С. 415—422. (Библиотека поэта, большая серия).

[18] Рассказ о гибели Игоря Ольговича см.: Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1962. С. 347—354.

[19] См.: Сказание об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора // ПЛДР: XIII век. С. 228—235.

[20] *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972. С. 277 и далее.

[21] *Котляр Н. Ф.* Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси IX—XIII вв. Киев, 1985. С. 98—100, 111, 112, 116, 117.

[22] Взятие Батыем Рязани отражено в цикле произведений о Николе Зарайском, и в частности в «Повести о разорении Рязани Батыем». Ее издания см. в кн.: ПЛДР: XIII век. С. 184—199; Воинские повести Древней Руси. Л., 1985. С. 96—115; Изборник (Сб. произв. литературы Древней Руси). М., 1969. С. 344—361.

[23] Летописные повести о монголо-татарском нашествии опубликованы: ПЛДР: XIII век. С. 132—175; Воинские повести Древней Руси. С. 45—95; За землю Русскую!: Памятники литературы Древней Руси XI—XV веков. М., 1981 и в др. изданиях.

[24] *Лимонов Ю. А.* Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 1987. С. 95.

[25] См.: Повесть об убиении Андрея Боголюбского // ПЛДР: XII век. С. 325—337. Тот же текст издан в кн.: Повести. С. 328—335.

[26] Текст повести о битве на Липице см.: ПЛДР: XIII век. С. 114—127.

[27] Житие Александра Невского см. в кн.: ПЛДР: XIII век. С. 426—439; Воинские повести Древней Руси. С. 120—135; За землю Русскую! С. 198—219.

[28] ПЛДР: XIII век. С. 145.

lib.pushkinskijdom.ru

Е. М. Юхименко

НОВЫЕ ДАННЫЕ К БИОГРАФИИ СЕМЕНА ДЕНИСОВА

Заточение Семена Денисова в новгородской тюрьме в 1713—1717 годах явилось не только вехой на жизненном пути выдающегося старообрядческого писателя, но и важным эпизодом в истории Выговской пустыни.[1] Среди более 20 литературных памятников, связанных с этим событием,[2] вновь открытому посланию Леонтия Федосеева на Выг принадлежит особое место. Это единственное свидетельство очевидца, рисующее живые образы всех действующих лиц происходящей драмы, передающее полифонию их голосов и тем самым помогающее глубже понять духовное родство выговцев и их любовь к пустыни как к единому отечеству.

Автор этого послания, Леонтий Федосеев Попов, выходец из Толвуйского села, довольно хорошо известен в истории Выга.[3] Придя в общежительство в последние годы XVII века, он делил с братией все трудности первых десятилетий существования пустыни. Способность и любовь к грамоте, трудолюбие, знание церковной службы и, вероятно, личные качества выдвинули Леонтия в ряд близких сподвижников братьев Денисовых. Особый «союз христианской любви» связывал его с Семеном. Леонтий Федосеев участвовал в собирании выговской библиотеки, покупал и переписывал книги, состязался с новолюбителями, проповедовал старообрядческое вероучение и собирал милостыню для обители в Новгороде, Москве, Пскове (даже во время псковской чумы 1721—1722 годов). Когда Семен Денисов сидел в новгородской тюрьме, Леонтий был связующим звеном между узником, настоятелем пустыни Андреем Денисовым и всем братством.[4] Он близко к сердцу принимал «темничные печали» Семена; как замечал Алексей Иродионов, «яковы седины во узникову главу влепишася, не чернее тех и в Леонтиеве браде власы извишася».[5] На Выг Леонтий вернулся лишь с освобождением Семена, однако через некоторое время уехал в Новгород, затем в Москву. Андрей Денисов доверял ему решение важных догматических вопросов.[6] Умер Леонтий Федосеев в Москве 5 августа 1736 года, завещав все свое имущество, в том числе книги и иконы, Выговской пустыни.

До настоящего времени Леонтий Федосеев не был известен нам как писатель (ни Григорий Яковлев, ни Павел Любопытный, ни В. Г. Дружинин не упоминают его в своих обзорах выговской письменности), однако имеется свидетельство Ивана Филиппова о том, что Леонтий «к дому (на Выг. — *Е. Ю.*) всякое известие на писмах часто и пространно подаваше».[7] Одним из таких писем и является вновь обнаруженное послание Леонтия Федосеева на Выг от 25 авгу-

---

[1] *Понырко Н. В.* Проблема «культурной оседлости» на примере одного эпизода из истории Выговской поморской пустыни // Исследования по древней и новой литературе. 80-летию академика Д. С. Лихачева посвящается. Л., 1987. С. 297—303.

[2] *Дружинин В. Г.* Писания русских старообрядцев. СПб., 1912. С. 101—102. № 47—50; С. 103. № 52; С. 148. № 57; С. 152—157. № 88—96; С. 159. № 108. Еще 6 посланий Семена Денисова из заточения указаны в статье: *Юхименко Е. М.* Вновь открытые послания Семена Денисова Даниилу Матвееву // ТОДРЛ. Т. 44 (в печати). К этому циклу относятся также 2 произведения Андрея Денисова, не вошедшие в указатель В. Г. Дружинина: 1) Послание на Выг — пространная приписка на послании Семена («Жалостию побеждающиися, насладитеся духовною божественною сладостию. . .») // ГБЛ. Ф. 98 (собр. Е. Е. Егорова). № 1992. Л. 281, об. — 282, об.; Ф. 579 (собр. Братства св. Петра). № 17. Л. 31, об.—32, об.; Ф. 17 (собр. Е. В. Барсова). № 734. Л. 335, об.—336, об.; 2) Письмо к Г. Г. С—чу от 1 августа 1716 года с просьбой помочь вызволить из заточения Семена во имя «общаго нашего сродства» (черновой автограф) // ГБЛ. Ф. 17. № 417.2.

[3] *Филиппов И.* История Выговской пустыни. СПб., 1862. С. 112, 136, 141, 150, 266—271. Ценные биографические сведения о Леонтии Федосееве содержатся в посвященном ему похвальном слове Алексея Иродионова (в указателе В. Г. Дружинина не отмечено) «Гремит повсюду слава сладкоглаголиваго Филона. . .» // БАН. Друж. 167(203). Л. 350—361 (скоропись Василия Данилова; без конца).

[4] Письмо к выговцам от 4 марта 1714 года Семен Денисов заключает словами: «Яже о мне известит сладчайший мой Л⟨еонтий⟩ Ф⟨едосееви⟩ч» (ГБЛ. Ф. 98. № 1992. Л. 155).

[5] БАН. Друж. 167(203). Л. 358.

[6] Известно письмо к нему Андрея Денисова (около 1730 года) по поводу участия выговцев в поисках старообрядческого архиерея. См.: *Дружинин В. Г.* Указ. соч. С. 108. № 70.

[7] *Филиппов И.* Указ. соч. С. 268.

© Юхименко Е. М., 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

ста 1714 года о заключении Семена Денисова. Это послание, переписанное рукою Даниила Викулина, находится в авторском выговском сборнике 10—30-х годов XVIII века,[8] который также содержит почерка Василия Данилова и Трифона Петрова (?) и включает в основном слова и послания (в том числе связанные с заключением Семена) Андрея Денисова и комплекс посланий самого Семена из новгородской тюрьмы.

Послание Леонтия Федосеева уточняет ряд фактов, относящихся к заточению Семена Денисова. В послании названа дата, когда по указу от 8 марта 1714 года архиерей Иов со своим узником выехал в Петербург, — 22 марта 1714 года. В Новгород архиерейский обоз, покинув столицу 25 мая того же года, возвратился 1 июня. Как явствует из послания, Андрей Денисов остался в Петербурге, продолжая хлопоты за брата. Весьма ценно свидетельство Леонтия о том, что высказанное Семеном в послании к Иову желание ознакомиться с доводами новолюбителей на свободе, а не в темнице, для чего предлагалось отпустить его «на крепкия поруки»,[9] подкреплялось стараниями «милостивотворца» Михаила Ивановича Сердекова освободить узника, поручившись за него. Видимо, этому же человеку позднее подобным образом удалось вызволить из заключения Ивана Филиппова, также сидевшего в новгородской тюрьме несколько месяцев в конце 10-х годов XVIII века.[10] Заслуживает внимания и переданное Леонтием сообщение самого Семена о своем общении с приходившим в темницу «старцем греком» — Иоанникием Лихудом.

Следует отметить, что, несмотря на значительное количество памятников, связанных с событиями 1713—1717 годов, о самом «юзничестве» Семена мы знаем лишь в общих чертах.[11] А вот Леонтий Федосеев, находившийся здесь же, в Новгороде, и, как видно из его послания, имевший постоянное общение с заключенным, сообщал на Выг бытовые подробности темничного жития. Вероятно, именно его посланиями создавался у выговцев образ Семена — «страдальца и узника Христа ради».

Произведение Леонтия Федосеева существенно корректирует наши представления о круге памятников, связанных с заточением Семена. Кроме известных в настоящее время писаний сюда входили также многочисленные письма Леонтия Федосеева к Семену Денисову в новгородскую тюрьму («и аз к нему в недели овогда 2-ж⟨ды⟩, овогда 3-ж⟨ды⟩, овогда же 1-ж⟨ды⟩ писемком всякое ведение подаваю и увещание. . .»);[12] письма Семена к Леонтию («и он ко мне восписует. . .»),[13] которые последний цитировал в своих посланиях на Выг. Все эти произведения относятся к лету 1714 года, когда Семен был заключен в Орлову темницу, что не подтверждает предположения П. С. Смирнова о том, что в этот период «сноситься с Семеном Денисовым. . . стало гораздо труднее».[14] Видимо, следует полагать, что все послания Семена попадали прежде всего в руки его брата («саморучная написания юзнича отсылаю в Питер ко Андрею Д⟨ионисьеви⟩чю»).[15] Это подтверждает и рукописная традиция двух посланий Семена и Андрея на Выг, все известные списки которых содержат помету, разделяющую оба произведения: «Зде Андрей подписует юзниково послание. На другой странице сице».[16]

Послание Леонтия Федосеева отразило одну весьма примечательную черту выговцев — соседствующий со стремлением обособиться, уйти от мира интерес к событиям государственной жизни. Находившиеся в поездках выговцы стремились по мере возможности удовлетворить эту любознательность пустынножителей.[17] Поэтому и свое послание Леонтий завершает описанием торжеств в Новгороде по случаю Гангутского сражения.

Публикуемое ниже послание Леонтия Федосеева на Выг, таким образом, представляет несомненный интерес в двух аспектах: как неизвестное до настоящего времени произведение ранней выговской литературы и как памятник, содержащий новые сведения к биографии Семена Денисова и истории Выговской пустыни 10-х годов XVIII века.

Леоньтиево

От Новагорода в братство

Во обители свят⟨аго⟩ Богоявления господа бога и Спаса нашего Исус Христа общежительствующим: первее настоятельствующим братства якоже иночествующим отцем Пафнотию

[8] ГБЛ. Ф. 98. № 1992. Л. 271, об.—274, об.

[9] ГИМ. Хлуд. 100 Д. Л. 259, об., 260.

[10] Описание жизни. . . Иоанна Филипповича // ГБЛ. Ф. 17. № 734. Л. 279, 281, об.

[11] Небогата фактами и написанная на основе тех же памятников глава в «Истории Выговской пустыни»; совсем не отражен здесь период заключения Семена после возвращения из Петербурга. См.: *Филиппов И.* Указ. соч. С. 144—150.

[12] ГБЛ. Ф. 98. № 1992. Л. 272, об.

[13] Там же.

[14] *Смирнов П. С.* Выговская беспоповщинская пустынь в первое время ее существования // Христианское чтение. 1910. Май—июнь. С. 669.

[15] ГБЛ. Ф. 98. № 1992. Л. 273.

[16] Там же. Л. 281, об.; Ф. 579. № 17. Л. 31, об.; Ф. 17. № 734. Л. 335, об.

[17] См., например, два письма поверенного выговцев в Петербурге Алексея Киселева: одно — от 29 мая 1761 года о большом пожаре в Петербурге 26 мая (ГБЛ. Ф. 17. № 388. Л. 168—168, об.), другое — от 28 декабря 1761 года с описанием воцарения Петра III (Там же. Л. 167—167, об.). В «Писаниях русских старообрядцев» В. Г. Дружинина эти письма не указаны.

lib.pushkinskijdom.ru

с прочими, тако и верховнейшим сего, боголюбезнейшему обуреваемых напастми отишию Даниилу Викуличю и благоревнейшему молитвенными воскрилении отцу и господинови моему Петру Прокопьевичю, и церковнаго богодухновеннаго сладкопения ликовственником Трифону П⟨етровичю⟩, И⟨саакию⟩ Е⟨вфимовичю⟩, А⟨фанасию⟩ Л⟨еонтиевичю⟩, доброгласну певцу и изуграфу честному, и другому изуграфу господинови Ивану ⟨Матвеевичю⟩ и прочим всем кононархом и псалмочетцем малым и превозрастным, таже и других святотрудных служении первенствующим, благодателеви моему Марку Ф⟨ефиловичю⟩, и престаршему, яко отцеви моему, Павлу Л⟨аврентиевичю⟩, Кириллу и Иванну Е⟨мельяновичам⟩, и благотруднейшему Иякову Ф⟨едоровичю⟩, и в Каргополи со всеми братолюбцы боголюбезнейшему Луце Ф⟨едоровичю⟩, и всему святому братству, о Христе радоватися.

Извествую вы сим писмом о страдалце божия истины, о нашем же вседражайшем и всечестнейшем уде о С⟨имеоне⟩ Д⟨ионисьевиче⟩, о превезении его указом из Новагор⟨ода⟩ в велик⟨ий⟩ понед⟨ельник⟩ в Питербурх и тамо его пребывание и пред царским величеством бытие, и прочая, и прочая, яже о нем бывшая тамо, и оттуду паки волею божиею возвращение в Новъгород, всяко вам уже известно грамотками А⟨ндрея⟩ Д⟨ионисьевича⟩. О настоящем его житии и месте селения от мене вам сице.

Июня в 1-й день от Питера в Новъгород юзника привезоша паки, и седе в хлебни три дни, таже в тюрму преселиша и в глаголемую Орлову, обаче в ней прохладнее хлебни летом седети. Караулят его трое: двое от дворянских детей с приставом. Писа ми в первых днех юзник из Орловы, яко «зело прискорбно ми есть разлучение ваше; темница и о Христе юзы ножныя милостию божиею и благодатию ея не опечаляют мя, благодарю благодателя бога. Старец грек, учитель, чтомый архиереом, приходя ко мне, глаголаше: „Не печалуй, не прибудет ти ни едино досадително, яко от царского вел⟨ичества⟩ ни перстом вредити приказано". Тако до ныне ненасилуем ни единем от злых юзник есть, разве темничных печалей». И аз к нему в недели овогда 2-ж⟨ды⟩, овогда 3-ж⟨ды⟩, овогда же 1-ж⟨ды⟩ писемком всякое ведение подаваю и увещание, еже не стужати в терпении и правде Христове. И он ко мне восписует, яко радуюся, рече, слышанием вашим и вседражайшия ти руки посланиица, яко самого тя, с собою имею. «О всесладчайший друже, доношай свету моему единоутробному братцу А⟨ндрею⟩ Д⟨ионисьевичю⟩ люб⟨езное⟩ от мене целование и всему святейшему братству челоземное поклонение. О, колики труды и печали приложих свету братцу и святому братству», и проч⟨ая⟩ подобная сим присно приемлю от него грамотками, и молит мя грамоточками сестру С⟨оломонию⟩ Д⟨ионисьевну⟩ увещавати, дабы не излишествовала, рече, «о мне печальми, есть бо ми в силу благодатию бога вседержителя нанесеное искушение». Точию вся молит молити господа бога и пречистую его Богоматерь и вся святая, яко да подастся ему терпение, вся нанесения в терпении благодарне окончати. Саморучная написания юзнича отсылаю в Питер ко Андрею Д⟨ионисьеви⟩чю.

Стужаем юзник от вметаемых к нему во Орлову сосед и прощения просит, яко и не хотя, рече, в празднословие с ними восхищаюся, и малое правилце мое презирается ⟨от⟩ вметаемыя к нему соседи, си есть старцы, протопопы, диякони и прочии причетницы церков⟨ныя⟩. За пиянство и за многая бесчиния их архиерей во Орлову их вметает, такожде и дьяков своих и подячих.

Пребогатый яко заступлением, тако и милостию к юзнику Михаил Иванович Сердеков, якоже от дне изимания Симеонова и до отвезения в Питер упросив у архиерея, еже ему свободно ходити к юзнику и пищею удоволяти й. Тако и по возвращении от Питера, паки получи от архиерея волю, свободно посещает юзника и робяток посылает к нему с пищею. Они, дети, чрез град и торг на блюдах пищу и в кувшинцах квас, яко к некоему ⟨от⟩ славных града преносяще, доносят во Орлову. А другии кто от граждан не точию пищею миловати й или во Орлову приити смеет, но ниже слова явленным гласом беседовати при архиерейских дерзнет.

Михайл же И⟨ванович⟩ Сердеков и ныне у архиерея проси юзника на поруку и уразуме в нем, яко он без царского величества не может ни свободити, ни озлобити, ни сущая в Питере кая высокая власть не дерзнет собою избавити юзника, зане в ведении царского величества юзник. А какова челобитна у Андрея Д⟨ионисьеви⟩ча уготовлена к царскому величеству; слышах, яко и к вам он посла список с нея.

В месяце июле морским флотом державнейшему преславна победа на шветов морскии флот даровася; на водах еще таково одоление никогда же явися. О той баталии писмо за рукою царского величества в Новегороде на день Успения пресвят⟨ыя⟩ Богородицы в соборе на амбоне архидияконом чтеся, и архиерею во оном писме от державнейшаго лица речения от радости вметаема: «Господи мой, господи мой, архиер⟨ей⟩ Иов, аще и мерна победа, но зане на мори никогда такова преславна содеяся».

При сем вся вы, отцы и братию, молю, помолитеся ко всемилостивому богу, да спасет мя грешнаго от плотских и душевных напастей и от враг видимых и невидимых. Леонтий Федосиев, с Новагорода, августа в нощь ко 25-му дню, земно челом бью.

lib.pushkinskijdom.ru

Г. Н. Моисеева

ИЗ ИСТОРИИ АРХИВА М. В. ЛОМОНОСОВА

4(15) апреля 1765 года скончался М. В. Ломоносов. Советник Академической канцелярии И. И. Тауберт в письме в Москву Г.-Ф. Миллеру от 8 апреля 1765 года, на пятый день после смерти Ломоносова (в день его похорон), сообщал: «Г⟨осподин⟩ статский советник Ломоносов переменил здешнюю временную жизнь на вечную в прошедший понедельник около 5 часов пополудни, после нового припадка своей прежней болезни, который у него сделался от простуды. За два дня до своей кончины он причащался и испустил дух во время совершения над ним обряда соборования, после прощания, в полном разуме, как со своею женою и дочерью, так и с прочими присутствующими. Сегодня рано он был погребен в Невском монастыре, при огромном стечении народа. На другой день после его смерти граф Орлов велел приложить печати к его архиву (museum). Без сомнения, в нем должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки».[1]

Письмо И. И. Тауберта было опубликовано академиком П. П. Пекарским к столетию со дня смерти Ломоносова в 1865 году.

А что же было известно ближайшим современникам?

О судьбе архива М. В. Ломоносова в печати впервые было сообщено в 1772 году в «Опыте исторического словаря о российских писателях», который «из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий собрал Николай Новиков»: «Библиотека его (М. В. Ломоносова. — *Г. М.*) и манускрипты по смерти его куплены его сиятельством графом Григорьем Григорьевичем Орловым».[2]

В трехтомном собрании сочинений Ломоносова, изданном в 1778 году в Москве под редакцией профессора философии и словесных наук, ректора Славяно-греко-латинской академии Дамаскина (Димитрия Семенова-Руднева), была перепечатана краткая биография из «Опыта исторического словаря о российских писателях».[3] В первом томе академического издания сочинений Ломоносова 1784—1787 годов, в составленной М. И. Веревкиным вступительной статье «Жизнь покойного Михайла Васильевича Ломоносова» сказано: «Все оставшиеся после Ломоносова бумаги выпросил светлейший князь Григорий Григорьевич Орлов у вдовы его себе, велел собрать Григорию Васильевичу Козицкому и запереть в особом покое своего дома».[4]

Так в 70-х—начале 80-х годов XVIII века была создана официальная версия судьбы архива и библиотеки Ломоносова. Читатель должен был испытывать благодарность к фавориту Екатерины II Г. Г. Орлову, который при участии статс-секретаря императрицы Г. В. Козицкого в «особом покое своего дома» создал своего рода музей Ломоносова.

Но эта версия не очень хорошо согласовывалась с тем, что было известно в Академии наук о судьбе рукописей Ломоносова.

В конце 1764—начале 1765 года в академической Типографии находилось несколько работ Ломоносова, в числе которых были сделанные им зарисовки северных сияний. В 1764 году Ломоносов предложил в академической Канцелярии выгравировать их на меди. 13 января 1766 года конференц-секретарь Я. Штелин писал в академическую Канцелярию о том, что «доски уже гридорованы и издержанные на них деньги продажею с барышем возвращены будут, если к оным припечатается сочиненное на российском языке покойным г⟨осподином⟩ статским советником Ломоносовым описание и изъяснение досок с латинским переводом и приложением гридорованных рисунков, что академическая Конференция на себя примет, как скоро она только получит российский подлинник от вдовы покойного г⟨осподина⟩ статского советника или от его сиятельства г⟨осподина⟩ генерал-фельдцейхмейстера, графа Григорья Григорьевича Орлова, у которого теперь находятся ломоносовские манускрипты».[5] Я. Штелин был удивлен, что в ответ на его сообщение академическая Канцелярия прислала указ, «чтобы один из академических членов сочинил описание к рисункам, наблюденным единственно покойным г⟨осподином⟩ Ломоносовым и им нарисованным северным сияниям». Я. Штелин писал, что этот указ «почитает академическая Конференция за шутку, ибо то совсем невозможно».[6]

Очевидно, рукописи Ломоносова, опечатанные на второй день после его смерти

---

[1] *Пекарский П. П.* Дополнительные известия для биографии Ломоносова. СПб., 1865. С. 88.

[2] *Новиков Н. И.* Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772. С. 130. (Факсимильное воспроизведение: М., 1987).

[3] *Андреева Г. А.* Издания собраний сочинений М. В. Ломоносова в XVIII—XX вв. // Книга: Исследования и материалы. М., 1960. Т. 3. С. 209.

[4] Полное собрание сочинений Михайла Васильевича Ломоносова, с приобщением жизни сочинителя и с прибавлением многих его нигде еще не напечатанных тетрадей. СПб., 1784. Ч. 1. С. XVIII.

[5] *Пекарский П. П.* История имп. Академии наук в Петербурге. СПб., 1873. Т. II. С. 861.

[6] Там же.

© Моисеева Г. Н., 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

и взятые Г. Г. Орловым, не были доступны Академии наук даже для продолжения печатания сочинений ее покойного члена.

Подобная же ситуация повторилась и при запросе Сухопутного шляхетного корпуса о возвращении взятых в 1764 году Ломоносовым «собранных из губерний и провинций географических известий» для составления нового «Российского атласа».[7] Посланный выяснить местонахождение этих «известий» студент Илья Аврамов не смог добиться никакого результата.

В 1759 году Ломоносовым были созданы на русском и латинском языках «Таблицы колебаний центроскопического маятника, наблюдавшихся в Петербурге». Часть записей была им опубликована во втором «Присовокуплении» к его «Рассуждению о большей точности морского пути». В 1763 году в академической Типографии было начато печатание полного текста «Таблиц», предназначавшихся в качестве приложения к его сочинению «О переменах тягости по земному глобусу». К апрелю 1765 года таблицы были напечатаны, о чем сохранился рапорт директора Типографии А. Е. Лыкова, в котором в академическую Канцелярию сообщено, что «к продолжению... таблиц манускриптов ничего в типографии не имеется».[8] Студент Илья Аврамов 18 апреля 1865 года написал в Канцелярию записку: «В бытность мою при покойном статском советнике господине Ломоносове... приводил в порядок центрические обсервации, чиненные чрез шесть лет, коих таблицы уже и в печать отданы».[9]

Состоявшееся 26 мая 1766 года Академическое собрание вынесло решение: «...ответить Канцелярии, что этими таблицами почти нельзя пользоваться, если не снабдить их каким-нибудь введением или предисловием; так как академики помнят, что покойный Ломоносов написал его — ведь он показывал его некоторым, — то следует попросить его сиятельство графа Орлова, владельца рукописей Ломоносова, чтобы он взял на себя заботу передать его Академии».[10]

Однако рукопись Ломоносова не была возвращена в Академию наук, и в 1787 году эти «Таблицы» упоминаются в «Реестре книгам дефектным», которые определялись «для продажи на вес».[11]

В полном собрании сочинений М. В. Ломоносова «Таблицы колебаний центроскопического маятника» впервые напечатаны по единственному сохранившемуся в Библиотеке Академии наук СССР типографскому оттиску.[12]

Архив Ломоносова, находившийся по официальным сведениям у Г. Г. Орлова и приведенный в порядок секретарем императрицы Г. В. Козицким, был практически недоступен ни в первые годы после смерти великого русского ученого, ни в начале 80-х годов XVIII века, когда Академия наук под руководством нового директора Е. Р. Дашковой приступила к подготовке издания полного собрания его сочинений. 17 марта 1783 года в «Санктпетербургских ведомостях» было напечатано объявление: «Здешняя императорская Академия наук, почитая себя обязанною воздавать по мере сил своих достодолжную честь своим сочленам, трудившимся в науках к пользе и славе России, предпринимает издать на хорошей бумаге и наилучшими литерами самое полное собрание сочинений покойного господина Ломоносова».[13] С целью публикации неизвестных ранее и ненапечатанных произведений Ломоносова Академия наук стремилась получить у «всех любителей российского слова, приятелей и свойственников сего славного мужа... достоверные известия о жизни сего славного сочинителя, письма и другие могущие у них находиться его сочинения».[14]

Первоначально полное собрание сочинений Ломоносова было задумано напечатать «в четырех частях», но уже в 1785 году Академия наук объявила, что издание будет состоять «из шести частей» (с учетом «к отысканным... присовокупить и латинские»). Редактором первой части был назначен известный литературный деятель О. П. Козодавлев, а подготовка последующих частей поручена была профессорам И. И. Лепехину, С. Я. Румовскому, Н. Я. Озерецковскому. На адъюнкта М. Е. Головина (племянника М. В. Ломоносова, сына его сестры Марии) была возложена «типографическая часть», т. е. корректура.[15]

На обращение Академии наук с просьбой сообщить «достоверные известия о жизни сего славного сочинителя (М. В. Ломоносова. — *Г. М.*), письма и другие могущие у них находиться его сочинения» откликнулся академик Я. Я. Штелин, который передал составителю биографии Ломоносова писателю М. И. Веревкину свои рукописные материалы, записи рассказов (так называемых «анекдотов») и бесед с великим русским ученым. Ценные сведения были сообщены ректором Славяно-греко-латинской академии Дамаскиным (Димитрием Семеновым-Рудневым), директором Петербургской Академии наук и президентом Российской Академии Е. Р. Дашковой, племянницей М. И. Воронцова, и куратором Московского университета И. И. Мелиссино.[16] В первой части полного собрания сочинений М. В. Ломоносова

---

[7] *Шамрай Д. Д.* Заметки о поисках утраченного архива М. В. Ломоносова // ГПБ. Ф. 1105. № 219. Л. 41.

[8] *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1955. Т. 4. С. 813.

[9] Там же. С. 813—814.

[10] Там же. С. 814.

[11] Там же. С. 815.

[12] Там же. С. 808.

[13] Санктпетербургские ведомости. 1783. 17 марта. № 22.

[14] Там же.

[15] *Андреева Г. А.* Указ. соч. С. 210—211.

[16] *Бабкин Д. С.* Биографии Ломоносова, составленные его современниками // Ломоносов: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1946. Т. 2. С. 21—22.

lib.pushkinskijdom.ru

были впервые опубликованы стихотворения, посвященные И. И. Шувалову, и письма к нему.[17]

Обращает на себя внимание то, что в числе людей, «сообщивших» в Академию наук материалы, относящиеся к Ломоносову, в связи с подготовкой полного собрания его сочинений, ни в какой связи не упоминается имя «главного покровителя», создавшего якобы своего рода музей, где хранились «манускрипты» и библиотека великого русского ученого, — Г. Г. Орлова.

С сентября 1773 по 5 марта 1774 года в Петербурге находился Д. Дидро. Он проявлял большой интерес к творчеству русских писателей, особенно выделяя Ломоносова — поэта и ученого.[18] Г. Г. Орлов устроил торжественный прием петербургских литераторов и Дидро. Но о хранилище рукописей Ломоносова речь не заходила, как свидетельствуют записки Д. Дидро и П. А. Вяземского.

В течение последних лет Г. Г. Орлов в связи с «нервной болезнью» жил в своем московском дворце под опекою братьев. Отношения братьев Орловых, по свидетельству современников, отличались необыкновенной дружбой.[19] Их объединяли общие интересы и заботы о родовом престиже. Г. Г. Орлов умер в апреле 1783 года и был похоронен в фамильной усыпальнице в селе Отрада.

Как и все братья Орловы, Владимир Григорьевич Орлов, назначенный Екатериною II директором Петербургской Академии наук (1766—1774), имел связи с учеными, которые поддерживались и после переезда его в Москву в 1775 году. Не может быть сомнения в том, что и ему и его братьям было хорошо известно о подготавливаемом Академией наук полном собрании сочинений Ломоносова. Если поверить сведениям, опубликованным в печати, о том, что Г. Г. Орлов был владельцем рукописного наследия Ломоносова, то как объяснить, что из семейного клана Орловых в первом полном собрании сочинений Ломоносова не появилось ни одной строки? Почему, поместив «манускрипты» великого русского ученого «в особом покое своего дома», ни Г. Г. Орлов, ни его братья не откликнулись на призыв Петербургской Академии наук?

Из семейства Орловых двое из братьев прожили долгую жизнь — В. Г. Орлов (1743—1831) и А. Г. Орлов (1737—1808), но в печати не появилось ни одной рукописи М. В. Ломоносова. Даже первое письмо Ломоносова к Г. Г. Орлову от 25 июля 1762 года оказалось в конце XVIII—начале XIX века в Берлинской королевской библиотеке, в собрании Radowitz (№ 8078), — впервые было неточно воспроизведено в 1808 году в журнале «Русский вестник»,[20] позднее по подлиннику напечатано И. А. Шляпкиным.[21] А последнее письмо Ломоносова Г. Г. Орлову, датированное исследователями в широком диапазоне времени: 10 октября 1764 года—март 1765 года, напечатано по черновику, переписанному писцом, с собственноручными поправками Ломоносова.[22] Черновик сохранился в составе одного из двух так называемых «Портфелей Ломоносова» (ААН. Ф. 20. Оп. 1. № 2. Л. 324—326).

Доверие к печатному известию, переданному в биографиях Ломоносова в «Словаре русских писателей» Н. И. Новикова (1772) и в первой части «Полного собрания сочинений Михайла Васильевича Ломоносова» (1784), побудило исследователей начать поиски архива Ломоносова по линии родственников Г. Г. Орлова (у которого официального прямого потомства не было).

Наиболее четко эта концепция была сформулирована Л. Б. Модзалевским в статье, предваряющей подготовленное им полное научное описание рукописей Ломоносова. Л. Б. Модзалевский пишет: «После смерти Ломоносова все его бумаги были сперва опечатаны гр. Г. Г. Орловым, по повелению Екатерины II, а затем перешли в его длительное обладание. . . опечатание бумаг и кабинета Ломоносова вызывалось, очевидно, политическими соображениями».[23] По мнению Л. Б. Модзалевского, после смерти Г. Г. Орлова в 1783 году, когда дочери Ломоносова Елены Михайловны Константиновой (умершей в 1772 году) уже не было в живых, часть бумаг была передана ее мужу А. А. Константинову.[24]

Что касается так называемого «Свиньинского сборника» сочинений Ломоносова (включающего его труды в области естественных наук), то Л. Б. Модзалевский полностью доверяет сведениям, сообщенным П. П. Свиньиным, о покупке его в 1828 году у потомков сестры Ломоносова, проживавших в Архангельской губернии.[25]

---

[17] Полное собрание сочинений Михайла Васильевича Ломоносова, с приобщением жизни сочинителя и с прибавлением многих его нигде еще не напечатанных творений. СПб., 1784. Ч. 1. С. 311—312, 315—318.

[18] *Алексеев М. П.* Д. Дидро и русские писатели его времени // XVIII век. М.; Л., 1958. Вып. 3. С. 416—431.

[19] *Голомбиевский А.* Князь Григорий Григорьевич Орлов (1734—1783) // Русский архив. 1904. Кн. 5. С. 374.

[20] Русский вестник. 1808. Ч. II. № 6. С. 320—324. См. также: *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. 1957. Т. 10. С. 865—866.

[21] *Шляпкин И. А.* Берлинские материалы для истории новой русской литературы: Письма В. А. Жуковского и М. В. Ломоносова // Русская старина. 1895. Т. 83. № 4. С. 224.

[22] *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 878.

[23] *Модзалевский Л. Б.* От составителя // Рукописи Ломоносова в Академии наук СССР: Научное описание / Сост. Л. Б. Модзалевский. С предисл. Б. Н. Меншуткина. Под ред. Г. А. Князева. Л.; М., 1937. С. 9—10.

[24] Там же. С. 10—11.

[25] Там же. С. 11—12.

lib.pushkinskijdom.ru

В изучении истории архива Ломоносова значительное место занимает статья С. Н. Чернова «Литературное наследство М. В. Ломоносова».[26] Отталкиваясь от сообщения Я. Штелина (вошедшего, как известно, во все биографии Ломоносова, написанные в XVIII веке) о том, что «гр. Гр. Гр. Орлов, первый после императрицы человек в государстве, организовал особое хранилище рукописей Ломоносова»,[27] С. Н. Чернов пишет: «. . .всматриваясь в известие Штелина, испытываешь недоверие к его рассказу об Орлове и проявленном им уважении к Ломоносову. Дело в том, что на этом известии Штелина и кончаются все наши сведения об устроенном Орловым хранилище ломоносовских рукописей. В этом смысле чрезвычайно показательно, что его никто и никогда не описал ни в прозе, ни в стихах ни из русских, ни из иностранных гостей и прихлебателей Орлова; нет даже сведений, чтобы его кто-нибудь видел, хотя немало людей перебывало во «дворце» и дворцах Орлова во дни его величия и славы. Почему же Орлов в скрытом виде и тайно оказывал Ломоносову знаки своего уважения — в комнате, в которую он никого и никогда не пускал?» [28]

На поставленный вопрос С. Н. Чернов ответил в форме научного предположения: «По-видимому, дело обстояло так: тотчас после смерти Ломоносова его кабинет был опечатан по распоряжению самого гр⟨афа⟩ Орлова. . . тогда же перед правительством стала дилемма в определении судьбы ломоносовских бумаг: можно было — так поступали раньше — либо назначить для разбора ломоносовских бумаг комиссию смешанного состава из представителей правительства и Академии, либо под тем или другим благовидным предлогом самому правительству взять себе все бумаги Ломоносова. Последнее и было сделано под личиною красивых поз и жестов гр⟨афа⟩ Орлова: он взял себе как меценат («выпросил») все ломоносовские бумаги, — по словам Новикова, за плату, купив вместе с библиотекою Ломоносова; по его распоряжению их разобрал хорошо знавший академические дела и обстоятельства Гр⟨игорий⟩ Козицкий и сделал недоступными в особом хранилище семейного характера. Неясно, почему правительство избрало именно такой путь. Но можно думать, что оно стало на него, предварительно познакомившись с ломоносовскими бумагами, в которых личное так сильно переплеталось с актуальными политическими вопросами живой современности и в которых было очень много такого, что в XVIII веке считалось государственной тайной и разглашение чего подводилось под государственное преступление. . .» [29]

Судьбы архива Ломоносова коснулся в своей небольшой, но очень ценной наблюдениями работе Д. Д. Шамрай.[30] Он обратил внимание на то, что Ф. А. Эмин, автор многочисленных любовных романов, никогда не занимавшийся русской историей, в 1768—1769 годах неожиданно издал три тома «Российской истории». Печатание рукописи этой «Российской истории» шло за счет кабинета, т. е. производилось по распоряжению Екатерины II и оплачивалось в громадной сумме. Д. Д. Шамрай отметил, что Ф. А. Эмин в «Российской истории» указывает: «. . .господин Ломоносов отворил мне путь к поправлению своей истории, к дополнению и продолжению оныя».[31] Отсюда следует вывод Д. Д. Шамрая: «Из этих слов Эмина можно заключить, что в распоряжении Эмина находились неизданные рукописи Ломоносова. Каким образом они попали в руки Эмина, нам неизвестно. Однако можно предположить, что рукопись Ломоносова была передана Эмину из опечатанного, по распоряжению Екатерины II, архива покойного писателя».[32]

Д. Д. Шамрай замечает, что на титульном листе изданной после смерти Ломоносова «Древней российской истории» «конечный 1054 год исторического изложения (кончины Ярослава I) не означает конца рукописи Ломоносова: последняя 140-я страница печатного текста заканчивается словами „конец второй части", а в нижнем правом углу ее находится кустода „часть", т. е. это означало, что далее будет идти третья часть».[33]

К сказанному Д. Д. Шамраем можно добавить следующее: 28 февраля 1763 года Ломоносов подал такую записку: «В Канцелярию Академии наук сообщается при сем для напечатания первый том „Российской истории", состоящий из двух частей, содержащий в себе российские деяния от самой древности даже до кончины великого князя Ярослава Первого, то есть до первого главного разделения самодержавства российского. Следуют еще две части сего ж тома, первая до Батыева нашествия, то есть до порабощения российского татарами, вторая до великого князя московского Ивана Васильевича, когда Россия вовсе освободилась от татарского насильства. Сию книгу не намерен я печатать, как она начата, с примечаниями и сокращениями на поле, но токмо с одними цитациями авторов, а примечания присовокуплю назаде».[34]

Еще А. Будилович, впервые опубликовавший эту «Записку» Ломоносова, недоуменно спраши-

---

[26] *Чернов С. Н.* Литературное наследство М. В. Ломоносова // Лит. наследство. 1933. Т. 9—10. С. 327—339.

[27] Там же. С. 328.

[28] Там же.

[29] Там же. С. 329.

[30] *Шамрай Д. Д.* Ф. Эмин и судьба рукописного наследия М. В. Ломоносова // XVIII век. Вып. 3. С. 471—473.

[31] Там же. С. 471.

[32] Там же. С. 472.

[33] Там же. С. 472—473.

[34] *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. 1955. Т. 9. С. 408—409.

lib.pushkinskijdom.ru

вал: «Этих примечаний нет в издании 1766 г. Где же они?» [35]

В «Российской истории» Ф. А. Эмина использованы и текст и примечания Ломоносова, совпадающие с его маргиналиями и пометами на многочисленных древнерусских рукописях.[36] Три тома «Российской истории» Ф. А. Эмина хронологически полностью соответствуют «двум частям» первого тома (от древности до смерти Ярослава Мудрого в 1054 году) и двум частям этого же первого тома, кончающегося, как сказано в «Записке» Ломоносова, описанием правления великого князя Ивана III. В угоду недругам Ломоносова Ф. А. Эмин неоднократно в добавочных примечаниях пытался умалить значение труда Ломоносова, посвященного истории России. Но, как уже отметил Д. Д. Шамрай, это лишний раз доказывает использование им труда своего великого предшественника.

В статье «Материалы о Ломоносове в архиве Штелина» [37] А. И. Андреев установил чрезвычайно интересный факт, почерпнутый им из анализа рукописного сочинения Я. Я. Штелина на французском языке, озаглавленного «Abrégé de histoire anecdote de l'Academie impériale des sciences à St. Petersburg. Ja. Stehlin. 1767».[38] Говоря о преобразованиях, произведенных в Петербургской Академии наук в 1766 году, — смещении И. И. Тауберта, замене Канцелярии Комиссией и назначении директором В. Г. Орлова, — Я. Я. Штелин сообщает о предпосылках этих событий. В «Abrégé» рассказано следующее: «Одной из главных причин, которая побудила ея величество (Екатерину II. — *Г. М.*) принять такое решение, кажется, явилась обстоятельная записка о печальном состоянии Академии и о громадных злоупотреблениях г⟨осподина⟩ Тауберта в управлении 12-ю департаментами Академии, которыми он едва ли был способен управлять надлежащим образом. Эта записка была найдена в бумагах, оставшихся от Ломоносова после его смерти. Этот труд, который его автор составил для представления ея величеству, был получен при дворе и подтвердил те предположения, которые с некоторого времени существовали по вопросу о плохом управлении Академией».[39]

«Abrégé» было написано в марте 1767 года, т. е. через два года после смерти Ломоносова и через год после преобразований, произведенных в управлении Петербургской Академией наук. Я. Я. Штелин, академик, бывший советник Канцелярии (вместе с Ломоносовым и Тауберто), находившийся в достаточно близких отношениях с русским ученым и хорошо осведомленный о событиях, происходивших при дворе, сделал очень важное сообщение.

«Запиской» Я. Я. Штелин называет рукопись Ломоносова, озаглавленную «Краткая история о поведении академической Канцелярии в рассуждении ученых людей и дел с начала сего корпуса до нынешнего времени».[40] Она состоит из четырех глав и 71 параграфа; общий объем ее превышает два печатных листа. В «Краткой истории о поведении академической Канцелярии» раскрыта история Петербургской Академии наук с ее основания в 1725 году и до июля—августа 1764 года, т. е. почти за сорок лет, около тридцати из которых (с 1736 года) Ломоносов был тесно связан с этим учреждением и испытал на себе гонения И.-Д. Шумахера и позднее его зятя И. И. Тауберта. Ломоносов подробно говорит о системе управления в академической Канцелярии, о хищениях Тауберта, о демонстративно презрительном отношении его к русским ученым и постоянном их стравливании между собой.[41]

«Краткая история о поведении академической Канцелярии» тесно связана с наброском плана беседы Ломоносова с Екатериною II.[42] Ломоносов надеялся «1. Видеть г⟨осударыню⟩. 2. Показывать свои труды». Пункт 9 содержит трагические строки: «За то терплю, что стараюсь защитить труды П⟨етра⟩ В⟨еликого⟩, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство pro aris etc.».[43]

4 марта 1765 года Ломоносов последний раз присутствовал в Адмиралтейской коллегии, где была окончательно утверждена его «Примерная инструкция морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на Восток северным Сибирским океаном».[44] После этого дня он заболел и через месяц, 4 апреля 1765 года, скончался.

Известие Я. Я. Штелина о том, что Екатерина II ознакомилась с запиской Ломоносова, свидетельствующей «о громадных злоупотреблениях г⟨осподина⟩ Тауберта», и что «эта записка была найдена в бумагах, оставшихся от Ломоносова после его смерти», не оставляет и тени сомнения в том, что все рукописи великого русского ученого оказались в распоряжении императрицы, которая их внимательно прочитала и сдела-

---

[35] *Будилович А. С.* Ломоносов как писатель: Сборник материалов для рассмотрения авторской деятельности Ломоносова. СПб., 1871. С. 77.

[36] *Моисеева Г. Н.* М. В. Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971. С. 217—220.

[37] *Андреев А. И.* Материалы о Ломоносове в архиве Штелина // Ломоносов: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1960. Т. 4. С. 314—320.

[38] ААН. Разр. IV. Оп. 6. № 91.

[39] *Андреев А. И.* Указ. соч. С. 319—320; см. также: ААН. Разр. IV. Оп. 6. № 91. Л. 36—36, об.

[40] *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 267—316.

[41] Там же. С. 695—699.

[42] Там же. С. 357.

[43] Там же.

[44] Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. М.; Л., 1961. С. 418.

lib.pushkinskijdom.ru

ла ряд серьезных выводов. Не имеет оснований предположение, высказанное в комментарии к публикации «Краткой истории о поведении академической Канцелярии», что «кроме сохранившегося в архиве Ломоносова чернового текста записки существовал, вероятно, и другой, беловой ее текст, может быть, несколько отличный от первого, тот, который читался при дворе».[45] В «Abrégé» Я. Я. Штелина совершенно точно сказано, что «эта записка была найдена в бумагах, оставшихся от Ломоносова после его смерти». Картина достаточно ясная и не требующая каких-либо предположений о существовании «белового ее текста», переданного кем-то Екатерине II.

Сообщение И. И. Тауберта в письме Г.-Ф. Миллеру (8 апреля 1765 года) о том, что сразу же после смерти М. В. Ломоносова «граф Орлов велел приложить печати к его архиву (museum). Без сомнения, в нем должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки»,[46] свидетельства С. Н. Чернова, Д. Д. Шамрая и А. И. Андреева, основанные на глубоком изучении материалов, связанных с историей архива Ломоносова, заставляют еще раз обратиться к этой запутанной истории и поднимают ряд вопросов: весь ли архив великого русского ученого и поэта нам известен? Какими путями и когда два «Портфеля Ломоносова» оказались у потомков его единственной дочери Елены Михайловны, в замужестве Константиновой? Где письма русских и зарубежных корреспондентов Ломоносова?

Дальнейшее исследование истории архива М. В. Ломоносова, возможно, позволит дать ответ на эти вопросы.

[45] *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 697.

[46] *Пекарский П. П.* Дополнительные известия для биографии Ломоносова. С. 88.

О. Н. Трубецкая

ОТРЫВКИ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

(ПУБЛИКАЦИЯ И. С. ЧИСТОВОЙ)

В самом конце лета 1827 года в Москве на тихой зеленой Поварской, застроенной невысокими особнячками, в доме прапорщицы Е. А. Костомаровой поселилась приехавшая из Тархан пензенская помещица Е. А. Арсеньева с внуком Мишелем. Тринадцатилетний мальчик, получивший начальное домашнее образование, теперь готовился к поступлению в Московский Благородный университетский пансион.

Ставшие с этого времени москвичами, Елизавета Алексеевна и юный Миша Лермонтов естественно вошли в круг старых дворянских семейств, составлявших, по выражению П. А. Вяземского, «образованную, умственною и нравственною жизнью жившую Москву».[1] Этой старой «не фамусовской», но сохранившей патриархальный быт Москвой с ее неизменной приветливой «домашностью» и был воспитан Лермонтов. Здесь формировался его ум и развивался вкус, здесь получала удовлетворение тяга начинающего поэта к искусству, здесь поощрялись и его собственные занятия литературой, живописью, музыкой. В семье дальних родственников П. А. и Е. П. Мещериновых, принимавших ближайшее участие в художественном образовании одаренного мальчика, Лермонтов имел возможность познакомиться с замечательным собранием книг, в том числе литературных новинок, и коллекцией картин; в доме вдовы брата бабушки генерал-майора Д. А. Столыпина, Е. А. Столыпиной, превосходной музыкантши, он наслаждался игрой хозяйки на фортепьяно; у Верещагиных (родственниц со стороны Е. А. Арсеньевой — Елизаветы Аркадьевны и ее дочери Сашеньки) живо интересовались лермонтовскими стихами и рисунками, с удовольствием предоставляя юному поэту и рисовальщику страницы домашних альбомов.

По соседству с Поварской в утопавшем в пышной зелени сада сером деревянном доме с мезонином и гипсовыми сфинксами на крыльце жила еще одна старинная московская семья, с которой Лермонтов виделся ежедневно; это были Лопухины — А. Н. Лопухин (1779—1833) и его дети — дочери Мария (1802—1877), Елизавета (1809—1879), Варвара (1815—1851) и сын Алексей (1813—1872). «Они были с нами как родные», — вспоминал троюродный брат Лермонтова А. П. Шан-Гирей (1819—1883), который с 1828 года жил в Москве в доме Е. А. Арсеньевой.[2] Когда спустя два года после переезда в Москву Е. А. Арсеньева решила переменить квартиру и переехала на Малую Молчановку в дом купчихи Ф. И. Черновой, она, вероятно, оценивая достоинства нового жилища, приняла во внимание и бо́льшую его близость к усадьбе друзей Лопухиных.

[1] *Вяземский П. А.* [Письмо к издателю] // Хроника недавней старины: из архива кн. Оболенского-Нелединского-Мелецкого. СПб., 1876. С. 301.

[2] См.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 36.

© Чистова И. С., вступительная статья, примечания, 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

В московском окружении Лермонтова молодым Лопухиным, по их значению в жизни поэта, должно быть отведено, пожалуй, одно из первых мест. Алексей Лопухин, почти ровесник Лермонтова, с отроческих лет стал его задушевным другом; привязанность к нему Лермонтов сохранит до последних своих дней. Имя Лопухина означало для переехавшего в холодную северную столицу поэта возвращение к счастливой московской юности; потому так бесконечно обрадовал Лермонтова, например, приезд Алексея в Петербург в 1834 году. «...Я едва не сошел с ума от радости, — признавался Лермонтов, — я поймал себя на том, что разговаривал сам с собою, смеялся...».[3] Лопухин, разумеется, уступал своему ярко одаренному сверстнику и в образованности, и в силе и оригинальности ума; однако Лермонтов очень любил Алексея Лопухина, видел в нем доброго и милого товарища, их объединяла прочная душевная связь, простые и искренние дружеские отношения, в которых так нуждался и которые так ценил Лермонтов.

Спустя более чем десять лет после первого знакомства с Лопухиным Лермонтов, будучи на Кавказе, в действующем отряде в Чечне, мечтал о новой встрече с любимым своим другом в его уютном старом доме на Большой Молчановке; представлял себе, как будет рассказывать ему о своих ратных делах, находя в «милом Алеше», как и в былые времена, внимательного и отзывчивого собеседника: «Может быть, когда-нибудь, я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем. Варвара Александровна [4] будет зевать за пяльцами и, наконец, уснет от моего рассказа, а тебя вызовет в другую комнату управитель, и я останусь один и буду доканчивать свою историю твоему сыну...» [5] (IV, 423).

В своих воспоминаниях о московском прошлом Лермонтов неизменно обращался к дорогому ему образу сестры Алексея — М. А. Лопухиной. Эту женщину, по словам А. П. Шан-Гирея, замечательную по умственным и душевным качествам, поэт называл «наперсницей» своих юношеских мечтаний (IV, 394).

М. А. Лопухина была на двенадцать лет старше Лермонтова, и ее отношение к поэту носило характер дружеской, чуткой заботливости. Чрезвычайно начитанная, умная, увлекающаяся искусством, она была и тонким ценителем поэзии в том числе лермонтовских стихов. В письма Лопухиной из Петербурга Лермонтов нередко включает тексты своих новых сочинений: мнение адресата ему по-прежнему важно. И дело здесь не только в том, что М. А. Лопухина обладала безошибочным художественным вкусом; гораздо существеннее следующее: Лопухина была человеком внутренне чрезвычайно близким Лермонтову, способным понять его мятущуюся душу, она умела своей добротой, мягкостью, лаской снять мучительные приступы мрачной тоски, которые порою овладевали впечатлительным юношей, вернуть его самому себе: «...возле вас я вновь мог бы обрести самого себя таким, каким я был когда-то, — доверчивым, полным любви и преданности...» (IV, 388).

М. А. Лопухина принадлежала к тому весьма немногочисленному кругу людей, с которыми Лермонтов был вполне откровенен. Ему, жестко отделявшему себя от окружавших неодолимым барьером, было необходимо чистосердечное доверительное общение с духовно близким человеком, который готов был разделить его мысли и чувства, его радости и страдания. Покинув Москву, Лермонтов испытывал постоянную потребность писать М. А. Лопухиной: «...получив ваше письмо, я не могу удержаться, чтобы не отвечать тотчас же, как будто я с вами беседую» (IV, 376). Лермонтов убежден: его писем ждут, они найдут отклик; в ответ он услышит те слова поддержки, которые помогут ему выстоять в борьбе с собой и миром. «Теперь ваши письма мне нужнее, чем когда-либо, — писал Лермонтов осенью 1832 года, готовясь поступать в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, — в моем будущем заточении они доставят мне величайшее наслаждение; они одни могут связать мое прошлое и мое будущее... возьмите на себя это скучное, но милосердное дело — и вы помешаете погибнуть человеческой жизни» (IV, 376).

Письма Лермонтова к Лопухиной — документ чрезвычайной важности. Написанные с абсолютной искренностью («Вам одной я могу сказать все, что думаю, и хорошее, и дурное; я уже доказал это моей исповедью», IV, 376), они в какой-то мере заменяют утраченный дневник поэта, позволяя представить себе историю души автора «Думы» и «Героя нашего времени» и тем самым приблизиться к постижению подлинного Лермонтова — человека и художника. В строках писем поэта к М. А. Лопухиной мы узнаем мотивы и образы хорошо знакомых нам стихотворений Лермонтова, и потому на письма эти, по справедливому замечанию Б. М. Эйхенбаума, следует «смотреть как на заготовки к будущим вещам или как на отзвуки прежних».[6]

До нас, к сожалению, дошли далеко не все письма Лермонтова к М. А. Лопухиной. Возможно, какие-то были уничтожены адресатом, поскольку касались некоторых семейных тайн, связанных с именем младшей Лопухиной — Вареньки.

Варенька Лопухина — предмет нежной и целомудренной любви Лермонтова. Именно ей, скромной московской барышне, внушившей

---

[3] *Лермонтов М. Ю.* Собр. соч.: В 4 т. Л., 1981. Т. IV. С. 388. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

[4] В. А. Лопухина (урожд. Оболенская; 1819—1873), жена А. А. Лопухина.

[5] Речь идет о старшем сыне Лопухина Александре (1839—1895).

[6] *Эйхенбаум Б. М.* Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1961. С. 69.

lib.pushkinskijdom.ru

поэту подлинное и серьезное чувство, мы обязаны радостью приобщения к высокому поэтическому искусству: стихи, посвященные Лопухиной, принадлежат к лучшим образцам русской любовной лирики.

О Лермонтове и Лопухиной написано много. Этот сюжет рассматривается и в публикуемых ниже воспоминаниях. Их автор — Ольга Николаевна Трубецкая (1867—нач. 1950-х годов),[7] внучка Алексея Александровича Лопухина. Ее мать, Софья Алексеевна Лопухина (1841—1901), дочь Алексея Александровича и Варвары Александровны Лопухиных, была замужем за князем Николаем Петровичем Трубецким (1828—1900). В семье было несколько человек детей, в том числе широко известные впоследствии Сергей Николаевич (1862—1905) и Евгений Николаевич (1863—1920)[8] Трубецкие, русские религиозные философы, последователи Владимира Соловьева, в течение многих лет дружески с ним общавшиеся. Ольга Николаевна, художница-любительница, никогда не была замужем (с детства она страдала хромотой), посвятила себя родственникам, принимая ближайшее участие в судьбе братьев, сестер, их детей и внуков. Она хранила в памяти историю нескольких поколений своей большой, чрезвычайно разветвленной семьи и в какой-то момент, желая, чтобы история эта дошла до потомков, решила записать все, что она помнила, что знала со слов матери и из рассказов многочисленной родни. Так возникла книга воспоминаний:[9] в настоящий момент рукописью располагают внук Сергея Николаевича Трубецкого Владимир Владимирович Трубецкой, который живет в Москве, и вдова его двоюродного брата, тоже москвича, писателя С. М. Голицына, Т. В. Григорьева.

С их любезного разрешения и публикуются настоящие воспоминания, представляющие собой очень небольшую часть рукописи, отдельные отрывки, посвященные семье Лопухиных. Герои публикуемых воспоминаний — Лермонтов, его друзья Лопухины и их потомки. В предлагаемом тексте что-то читателю, вероятно, уже известно из существующей литературы о Лермонтове; однако одно дело — знать факты сами по себе, другое — увидеть их в особом освещении, в том историко-бытовом контексте, который может приблизить нас к истинному их пониманию. Такой контекст и составляют, как известно, записки, дневники, эпистолярий современников; воспоминания О. Н. Трубецкой позволяют увидеть какие-то эпизоды лермонтовской биографии глазами близких поэту Лопухиных, и потому воспоминания эти не могут не привлечь внимания биографов Лермонтова. «Для точнейшего, по возможности, изучения события или лица нужно то и другое оставить во времени и в среде, в которые то событие совершилось, или то лице жило и действовало», — писал П. А. Вяземский.[10] О. Н. Трубецкая, подробно останавливаясь на семейных событиях лермонтовского времени, ведет нас дальше; мы узнаем о будущем той семьи, которую так «уютно» описал Лермонтов в приведенном выше письме к А. А. Лопухину, о счастливой и долгой жизни «дедушки» и «бабушки» Лопухиных, о «дяде Саше», том самом, которому Лермонтов посвятил стихотворение «Ребенка милого рожденье» (1839), и можем сравнить, насколько соответствовал жизненный путь Александра Лопухина тем пожеланиям, которые заключены в лермонтовском послании. Мы встречаемся с М. А. Лопухиной — теперь уже «тетей Машей — старушкой», как и прежде ласковой и приветливой, до глубокой старости сохранившей интерес и любовь к искусству и литературе. Мы знаем о печальной участи рано скончавшейся В. А. Лопухиной, адресата стихотворения «К Л. —» (публикуемые мемуары подтверждают такое предположение), — О. Н. Трубецкая расскажет нам о том, как сложилась дальнейшая судьба ее мужа Н. Ф. Бахметева и их старшей дочери Ольги, к которой, возможно, обращено еще одно лермонтовское стихотворение — «Ребенку» (1840).

Страницы семейной хроники О. Н. Трубецкой содержат живые, многоцветные, яркие картины минувших времен, той далекой действительности, которую мы, как правило, воспринимаем лишь в виде застывшего свода определенных исторических фактов. Отнесемся же к этим запискам с тем вниманием и уважением, которых они по справедливости заслуживают.

ЛОПУХИНЫ.

СЕМЬЯ ДЕДУШКИ АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА И ВАРВАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЛОПУХИНЫХ

В своих воспоминаниях брат Гриша говорит,[11] что Лопухины принадлежали к среднему помещичьему дворянству, состоя, однако, в близкой родственной связи со знатью по Оболенским (бабушка Варвара Александровна, рожд. Оболенская).[12] Эта оценка, мне кажется,

---

[7] О. Н. Трубецкая эмигрировала во Францию в конце 1920-х годов. Умерла в Париже.

[8] Он известен и как мемуарист. См.: *Трубецкой Е.* Из прошлого. М., 1917.

[9] О. Н. Трубецкой принадлежит еще одна книга воспоминаний, посвященная ее брату С. Н. Трубецкому; издана в Нью-Йорке в 1953 году.

[10] Хроника недавней старины. С. 318.

[11] Речь идет о неопубликованных воспоминаниях Г. Н. Трубецкого «Облики прошлого».

[12] Варвара Александровна Лопухина была дочерью князя Александра Петровича Оболенского (1780—1855) и Аграфены Юрьевны Оболенской (урожд. Нелединской-Мелецкой; 1788—1828). А. П. Оболенский, участник войны 1812 года, с 1816 года находился в отставке, проживал в Калужской губернии, в 1825—1831 годах — калужский губернатор. В конце

lib.pushkinskijdom.ru

несправедлива. Не говоря уже о древности происхождения (Лопухины ведут род от Редеди), в русской истории Московского периода фамилия Лопухиных встречается среди стольников и бояр царского двора.[13] Петр Великий женился на Евдокии Федоровне Лопухиной, что еще выдвинуло их, как царских родственников, на самые верхи дворянской знати.

По состоянию, а не по рождению Лопухины наших времен могут быть отнесены к среднему помещичьему дворянству, но в таком случае и семья Оболенских, к которой принадлежала бабушка Варвара Александровна, тоже не отличалась богатством и может быть одинаково отнесена к среднему помещичьему уровню. Из «Записок» Е. А. Хвостовой (рожд. Сушковой),[14] мы видим, что в 30-х годах прошлого столетия отец нашего деда Лопухина слыл богачом, а наш дедушка — завидным женихом. Лермонтов изводил Екатерину Александровну Сушкову, что она гоняется за Лопухиным из-за его состояния, зная, что у него будет 5000 душ.[15] На что Е. А. возражала, что когда она познакомилась с Алексеем Александровичем, то не знала вовсе, богат он или беден, и уж много позднее узнала, как его отец благородно поступил со своей сестрой, по неотступной просьбе своего сына, уступив ей половину своего имения, — а такие примеры редки!.. По родословной Иконникова,[16] у Николая Никитовича Лопухина значится только единственный сын Александр, у которого никаких сестер не было. Здесь Е. А., очевидно, спутала: подобными ошибками кишат ее воспоминания. Не отец дедушки, а он сам, как увидим дальше, «благородно» поступил со своими сестрами при разделе наследства.

Александр Николаевич Лопухин служил в Кавалергардском полку, в 1820 г. был выбран уездным дворянским предводителем в Вязьме, и, кроме родового имения «Успенское» Вяземского уезда, имел еще земли в Нижнем Новгороде, Клину, Твери, Старице и Вышнем Волочке. За ним числилось при этом 2494 крепостных души. Епифанское имение «Волково» было дано в приданое его жене Екатерине Петровне Верещагиной с 232 душами. (Все это по Тульским записям 1818 года.) В 1833 году он скончался, и семья его состояла в это время из сына Алексея и трех дочерей: Марии (1802—1877), Елизаветы (1809—1879) и Варвары (1815—1851).[17]

Дедушка очень любил своих сестер и, конечно, не обидел при получении наследства.[18] Кроме вышеупомянутых имений, состояние увеличилось еще имением «Ухлово»,[19] Рязанской губернии, представлявшим большую ценность: то было большое торговое село (в 3-х тысячах душ) с базарной площадью, дававшей верный и значительный доход за сдачу мест. За дедушкой осталось «Ухлово», «Успенское» и дом в Москве на Большой Молчановке с флигелем, надворными постройками и садом, который существовал еще до 1925 года, окруженный небоскребами, и принадлежал Н. А. Хомякову (бывшему председателю Государственной думы). Тете Лизе (кн. Елизавете Александровне Трубецкой) досталось тоже родовое лопухинское имение в Тверской губернии, граничившее со Старицким уездом, «Новое», которое до 1897 года оставалось в ее семье. Остальные имения, очевидно, отошли к сестрам Варваре Александровне (Бахметьевой) и Марии Александровне (Лопухиной), которая, если не ошибаюсь, получила нижегородское имение. Во всяком случае, если нельзя сказать, чтоб у дедушки было огромное состояние, все же оно было неплохое.

1831 года Оболенский был назначен сенатором и почетным опекуном в Москву; жил там до своей кончины. Известно, что Лермонтов посетил Оболенского в первой половине января 1838 года.

[13] . . .Согласно Родословной кн. Долгорукова, Илларион Дмитриевич и Авраам Никитич находились думными дворянами при царе Алексее Михайловиче. Сын последнего Илларион-Федор, отец царицы, пожалован в бояре, также и все четыре брата его. Лопухины владели населенными имениями в 1659 году. (Прим. автора).

[14] *Сушкова Е.* Записки. 1812—1841. Л., 1928.

[15] Когда она отказала Лопухину, он толковал ей, «как она необдуманно поступила, как она была бы облита бриллиантами, окутана шалями, окружена роскошью». В 1833 году она писала: «Я узнала, что отец Лопухина умер и он отправился в деревню и занимается приведением в порядок огромного состояния». (Прим. автора; в нем использованы материалы записок Сушковой).

[16] *Иконников Н. Ф.* Дворянство России. Париж, 1933—1966.

[17] По родословной Иконникова у Александра Николаевича Лопухина 9 человек детей: причем 3 сына старше дедушки Алексея Александровича (1. Николай, р. в 1801 году, в 1823-м значится лейтенантом. 2. Петр, р. в 1802 году. 3. Дмитрий, р. в 1811 году; затем у него еще были две дочери: Елена и Анна (р. в 1816 году); все они, по-видимому, умерли до 1833 года. В своих воспоминаниях Шан-Гирей пишет (См. в приложении к «Запискам Е. А. Хвостовой»): «В соседстве с нами (в начале 30-х годов на Молчановке. — *О. Т.*) жило семейство Лопухиных: старик отец, три дочери девицы и сын (Мария, Варвара, Елизавета и брат их Алексей)». (Прим. автора).

[18] Отцу дедушки было 54 года, когда он скончался. Старость — относительная. По закону им причиталась лишь 1/14 часть состояния. (Прим. автора).

[19] Было ли «Ухлово» благоприобретенное имение или полученное от кого-нибудь по наследству, нам неизвестно, но вместе с этим имением у отца дедушки было действительно 5000 душ. (Прим. автора).

lib.pushkinskijdom.ru

В записках Е. А. Хвостовой (рожд. Сушковой) выступает симпатичный образ дедушки Алексея Александровича Лопухина, в то время еще весьма юного. В бытность свою в Москве в 1830 году Екатерина Александровна Сушкова гостила у своей тетки Прасковьи Васильевны Сушковой, которая жила на Молчановке, и здесь она свела знакомство с Сашенькой Верещагиной, двоюродной сестрой нашего деда, которая вместе со своей матерью жила в доме Лопухиных. Последних в то время не было в Москве, ибо о них не поминается в «Записках». У Верещагиных Е. А. постоянно встречала «кузена» Сашеньки, по ее словам, «неуклюжего косолапого мальчика лет шестнадцати или семнадцати с красными, но умными и выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой».[20] Юноша этот был не кто иной, как поэт Лермонтов, который в то время учился в Московском Университетском пансионе, что ему не мешало каждый вечер быть кавалером Сашеньки и ее приятельницы на гуляниях и вечерах.

По смерти матери трехлетний Лермонтов остался на руках своей бабушки Арсеньевой (рожд. Столыпиной), с которой жил в 30-х годах на Малой Молчановке, наискосок от дома Лопухиных, с которыми они считались в каком-то родстве.[21]

Дедушка Алексей Александрович был ровесник Лермонтова и считал его своим лучшим другом, что, как увидим, не помешало Лермонтову поступить с ним весьма коварно, чтоб не сказать хуже. В 1830 году Лермонтов является героем воспоминаний Е. А. Сушковой. Он влюблен в нее, пишет ей стихи, а она не принимает его всерьез, третирует, как мальчишку, и тешится тем, что это до крайности обижает и сердит молодого поэта, стихи которого она все же очень ценит, а также и ум его и общество: без него ей скучно. Знакомство ее с дедушкой Алексеем Александровичем произошло лишь в 1833 году, когда М. Лермонтов был в Петербурге в Школе гвардейских подпрапорщиков. Е. А. Сушкова приехала в Москву в мае на свадьбу одной из своих кузин. Здесь на балу ей представили кавалера, фамилию которого она не расслышала, но танцевала с ним мазурку и осталась им очень довольна, чувствуя, что произвела впечатление: ей понравилось в нем его наивное удивление перед ней и «проблески чувства». Дня три спустя он явился к Сушковым с визитом и тут она узнала, что он Лопухин и двоюродный брат ее приятельницы Сашеньки, которой еще не было в Москве, но от которой она раньше много лестного о нем слышала. Молодые люди сразу сошлись. Лопухин пробыл у них целый день и с тех пор стал бывать ежедневно. . .

Когда Сашенька Верещагина вернулась в Москву, она, по-видимому, не слишком была обрадована увлечением своего «кузена», и Е. А. Сушкова стала замечать, что она попросту ревнует и совсем некстати стала рассказывать Лопухину, как Лермонтов влюблен в ее приятельницу, как ревнует, воспевает, бесится на ее равнодушие, и декламировала ему стихи, посвященные Е. А. Лопухин, по словам последней, как бы не вслушивался в эти рассказы, посвистывал себе французские куплеты и отмалчивался, а иногда просто уходил к себе. Сашенька же замечала, что он волнуется, сердится, ревнует и влюблен, и не упускала случая заводить о том разговоры с Катенькой, которая старалась уверить ее, что чувствует к нему только дружбу. . .

Не так дело обстояло с самим А. А. Лопухиным. В течение 1833 года скончался его отец и ему пришлось отправиться в деревню для приведения в порядок «огромного состояния» (по словам Е. А.). Вернувшись в Москву, он, через Сашеньку В., решился наведаться у ее приятельницы, примет ли она его сватовство, причем просил до свидания с ним ничего о том не говорить своим родным. А тем временем Сашенька, по-видимому, списалась с Лермонтовым, прося его расстроить это сватовство, за что Лермонтов взялся с великим рвением. Он прикинулся влюбленным в Е. А. как никогда и безумно ее ревнующим к Лопухину. Наговаривал ей на него, смеясь над его экспансивной доверчивостью и глупостью, а когда приехал Лопухин, наговаривал ему на нее, стараясь всячески подорвать к ней доверие и уличить в неискренности и лжи. Наконец, он стал стращать Е. А., что вызовет Лопухина на дуэль, и так агрессивно за ней ухаживал, что совершенно вскружил ей голову и она поверила, что любит только Лермонтова, и покорилась его требованию порвать с Лопухиным. . .

С Лопухиным было кончено, и он уехал из Петербурга. . . Лермонтову только того и нужно было, и он сразу прекратил свое ухаживание и, чтобы скорее избавиться от Катеньки, написал ей анонимное письмо от лица благородной девушки, будто им обольщенной и обесчещенной, которая предостерегает другую несчастную от обаяния бездны, в которую сама была ввержена. . .

Нам, внукам нашей милой бабушки Варвары Александровны Лопухиной, не приходится жалеть об столь некрасивой для Лермонтова страничке из его биографии, которая положила

---

[20] *Сушкова Е.* Записки. С. 108.

[21] . . .«Сашенька» — А. М. Верещагина, впоследствии баронесса Хюгель, жена вюртембергского дипломата. В Меньшове у нас висели их портреты, которые я перевезла в Москву, чтобы их спасти. Барон Хюгель, в типичном коричневом костюме 30-х—40-х годов, на вид чопорный немец, каким и рисовался по рассказам тети Лидии. (Прим. автора). Родство Е. А. Арсеньевой с Лопухиными было очень отдаленным — через Елизавету Аркадьевну Верещагину, свояченицу брата Е. А. Арсеньевой Д. А. Столыпина. Имение «Меньшово» Подмосковной губернии Подольского уезда получила в приданое мать мемуаристки С. А. Лопухина.

lib.pushkinskijdom.ru

конец роману дедушки с Е. А. Сушковой.[22] Впоследствии, уже после своего замужества с Хвостовым, вспоминая эти печальные для нее переживания, она писала, что, если б Лермонтов не вмешался тогда и она стала бы женой А. А. Лопухина, ее личная жизнь была бы, конечно, счастливее, чем сложилась потом. В своем дневнике от 1833 года больше даже, чем в воспоминаниях, записанных позднее, она чуть ли не на каждой странице расточает ему похвалы за его чуткость, такт, сердечность. Но серьезного чувства к нему у нее не было, ее забавляло и ей льстило его чувство к ней, которое он не скрывал, и оно ни для кого не могло быть тайной. Был у Лопухиных в доме слуга, негритенок: Ахилл, он был горячо привязан к дедушке, объяснялся на ломаном французском языке и часто неожиданно вступал в разговор «en enfant terrible», приводя дедушку в замешательство. Так, однажды он обратился к Е. А. в его присутствии: «Знаете, барышня, мой барин, по-видимому, очень вас любит: он часто мне говорит об вас!» (В альбоме Сашеньки Верещагиной сохранился портрет этого негритенка, сделанный Лермонтовым).[23] В 1833 году дедушке было всего 20 лет, но, очевидно, ему нелегко далось его первое разочарование. Женился он на бабушке Варваре Александровне (Оболенской) в 1838 году, когда ему было уже 25 лет, а ей всего 18. К сожалению, нам ничего неизвестно о том, где и как произошло их знакомство. В то время молодежь встречалась не только на балах, но на гуляниях в Нескучном саду, и в парке, и на минеральных водах, бывших тогда в моде. . .

* * *

Ранние воспоминания мамá все связаны с Молчановкой (близ Арбата), где стоял принадлежавший дедушке Лопухину уютный серый дом с мезонином, со сфинксами на подъезде, большим двором и садом. Подъезд был со двора, и рядом стоял флигель, где много лет проживала со своей семьей княгиня Елизавета Александровна Трубецкая,[24] сестра дедушки Лопухина.[25] Некрасивая, взбалмошная, глухая, она очень строго обращалась со своими детьми, которых била нещадно.

На дворе, кроме конюшен и кладовых, были большие дома, забитые дворней, где, по воспоминаниям мамá, кроме многочисленной прислуги, ютились и родственники их и приезжавшие из деревень крестьяне с продовольственными обозами. . .

По рассказам мамá и тетей, характер дедушки Лопухина очень изменился вследствие материальных забот, нахлынувших на него с падением крепостного права.[26] По-видимому, и раньше уже дела шли неважно. Мамá и тети часто вспоминали, как их плохо одевали и до чего они изнашивали платья. Они носили по тогдашней моде широкую юбку и лиф с длинным мысом спереди, около мыса материя скорее всего изнашивалась, ее подворачивали и подворачивали до тех пор, пока, наконец, вместо мыса не торчала палочка вроде карандаша. У меня в Москве был прелестный дагерротип мамá в таком платье: ей на нем лет 12—13. . .

Помню тоже рассказы о том, что за несколько лет до свадьбы мамá Лопухины проводили лето на даче в Кунцеве, ибо

---

[22] Сестра Е. А. Сушковой Е. А. Ладыженская объясняла неблаговидную роль Верещагиной и Лермонтова в истории несостоявшегося брака Сушковой с Лопухиным желанием родственников предостеречь чрезвычайно молодого еще человека от поспешной женитьбы на легкомысленной кокетке (см.: *Сушкова Е.* Записки. С. 338). Следует учесть при этом, что в начале знакомства Лермонтова с Сушковой «кокетство m-lle С.» заставило поэта, по его собственному признанию, жестоко страдать. «Итак, вы видите, — писал Лермонтов А. Верещагиной в Москву весной 1835 года, — я хорошо отомстил. . .» (IV, 394).

[23] См.: *Сушкова Е.* Записки. С. 266. В живописном наследии Лермонтова есть акварельный портрет Ахилла (Ашиля). Он принадлежал, вероятно, В. А. Лопухиной и в числе других памятных документов был передан ею в 1839 году на сохранение А. М. Верещагиной. Последняя вклеила акварель на страницы своего альбома. Летом 1832 года в письме к московской приятельнице С. А. Бахметевой Лермонтов просил ее передать поклон «Ашилю арапу». Лермонтов же записал следующие «стихи» Ахилла на смерть Пушкина (сохранились в составе альбома Верещагиной, США):

Стояля в шистом поле
Как ударил из пистолетрум
Не слишал как гром загремил.
всю маладсов офисерум
упаля на колен, палакал слозом,
Не боле по нем, кроме по нея.

(*Андроников И.* Лермонтов. Исследования и находки. 4-е изд. М., 1977. С. 246)

[24] О Е. А. Трубецкой Лермонтов упоминает в письме к М. А. Лопухиной от 4 августа 1833 года: «Вы говорите, что князь Т. и ваша сестра, его супруга, очень довольны друг другом; я не вполне этому верю, потому что, кажется, знаю характер обоих: и ваша сестра не очень-то склонна к покорности, да, по-видимому, и князь тоже не агнец!» (IV, 383).

[25] Муж Е. А. Лопухиной, князь Николай Николаевич Трубецкой, принадлежит к старшей, 1-й линии рода Трубецких. Наша семья — ко 2-й линии, и они ближе к нам сродни через Лопухиных. Мать Николая Николаевича рожденная княгиня Мещерская. (Откуда их родство с Татищевыми.) У Елизаветы Александровны было 11 человек детей. . . (Прим. автора).

[26] Ср.: *Трубецкой Е.* Из прошлого. С. 16.

lib.pushkinskijdom.ru

Меньшовский дом сильно нуждался в ремонте, а денег на это не было.

Дедушке пришлось искать себе службу. Он получил место заведующего Синодальной конторой в Москве, и вся семья Лопухиных переехала с Молчановки на Никольскую в старинный зеленый дом около «Славянского базара», в котором мама́ провела свои последние девичьи дни.

Но, разумеется, с падением крепостного права (19 февраля 1861 года) на дедушку должны были разом нахлынуть новые тяжкие заботы. Притом свадьба мама́ как раз совпала с этим переломом. Раньше не так много требовалось денег на жизнь. Все продовольствие семьи и дворни получалось и доставлялось обозами из деревни. Дом был свой, прислуга крепостная. Можно себе представить, как людям не очень богатым и непрактичным трудно было перевести такое натуральное домашнее хозяйство на денежное и даровой труд сменить наемным.

Дедушка и бабушка не скоро решились распустить свою дворню, состоявшую из старых преданных слуг. Их связывала взаимная привязанность. В то время не было еще столько богаделен, чтобы вместить всех престарелых, и старики большею частью доживали «на покое» у своих прежних господ.

В официантской на Молчановке их всегда было несколько человек. Помню одного маленького сгорбленного старичка в коричневом казакине с блестящими пуговицами, который вязал там чулок на спицах. Мама́ подводила нас с ним здороваться. Бритое лицо его было все в мелких морщинках, голова сильно тряслась, особенно когда он радостно целовал нам руки. Отношение к прислуге было простое и дружелюбное...

Отношения дедушки и бабушки друг к другу были всегда исключительно нежные и ласковые. В письмах тети Лиди к мама́ после ее свадьбы попадаются такие строки: «Глядя на ваше молодое счастье, наши старички влюблены друг в друга более, чем когда-либо». А в другом месте: «Наши старички воркуют как голубки». (Старость, надо сказать, была относительная — в 1861 году дедушке было 48 лет, а бабушке 42 года.) Дедушка звал бабушку «душенька моя», а бабушка в письмах к нему неизменно называет его «ангел мой». Поэтому, говоря про бабушку, мой отец в письмах к мама́ называет ее «душенька Лопухина». (А бабушка называла моего отца «князенька» или просто — «Трубецкой», так звали его и остальные члены семьи)...

О бабушке Лопухиной осталось у меня еще воспоминание об одном большом сюрпризе, который она для нас устроила. Чувствуя, что она скоро умрет, ей хотелось оставить в нас по себе память, и, выведав от нас, девочек, какую куклу каждая из нас мечтала бы получить, она, с помощью тетей, собрала и устроила для них целое приданое, самым тщательным и красивым образом сшитое и исполненное. Тоне для большой куклы-девочки заказали настоящую железную кровать со стеганым тюфяком. Лизе для младенца — железную белую люльку с пологом и матрасиком, за сеткой. Настоящие маленькие сундучки, окованные в клетку жестью, где помещалось все приданое и платья, пальто, шубки. Для Лизы были сшиты три сарафана — голубой, розовый и синий, с кокошниками, как у тогдашних кормилиц, которые к ней удивительно шли. Для моего мальчика — Коли, о котором я всегда мечтала, была заказана особая деревянная кроватка с точеными перильцами. Жаль мне было немножко, что сундучок у меня был не настоящий, как у сестер, а картонный, но зато шубка стеганая с серыми мерлушками у воротника и такая же шапка привели меня в восторг, и у меня еще был прочный комодик для белья, какого у сестер не было!.. Все было обдумано до мелочей и с такой любовью — и носовые платочки с метками, каких у кукол обыкновенно не бывает, и так это все было красиво и тщательно исполнено, что мы просто не помнили себя от радости и цель бабушки была вполне достигнута. Приданое этих кукол прослужило нам все наше детство, и обмундировку моего мальчика Коли я передала впоследствии сестре Марине.

Насколько помню, приурочен был этот сюрприз для нас к именинам бабушки, 4-го декабря, так как мне помнится при этом и вкусный шоколад с пирогом и масса народа. Куклы для нас были выставлены в зале, а бабушка сидела у себя в комнате, и мы ходили туда ее благодарить. Она была слабенькая, больная и не могла видеть, как в зале тети все хорошо устроили. Дедушки при этом я совсем не помню. Может быть, он особенно плохо себя чувствовал и лежал... Ведь 9-го декабря он внезапно скончался.[27]

ТЕТИ ЛОПУХИНЫ. СЕСТРЫ ДЕДУШКИ ЛОПУХИНА.

У дедушки Алексея Александровича Лопухина, кроме сестры Елизаветы Александровны Трубецкой, были еще две сестры: Варенька (Варвара Александровна Бахметьева) и Маша (Мария Александровна Лопухина), которая почти всю жизнь прожила с дедушкой и его семьей. Вареньку долго и глубоко любил поэт Лермонтов, который был с ней в многолетней переписке. Любила ли она его, никто из племянниц об этом ничего верного не знал, но казалось, что, как пушкинская Татьяна, «она

[27] Ср. характеристику семейства Лопухиных в воспоминаниях Е. Трубецкого: «Это была... стародворянская типическая семья... была... душевная теплота, простота, естественность, жизнерадостность и та очаровательная стародворянская уютность жизни, которая нашла себе гениальное изображение в семействе Ростовых толстовского романа... Они в своих внучатах души не чаяли и баловали, как могли» (*Трубецкой Е.* Из прошлого. С. 15).

lib.pushkinskijdom.ru

была другому отдана и век была ему верна». Перед своей кончиной М. А. Лопухина сожгла всю, хранившуюся у ней, переписку сестры, которую свято прятала, оберегая от нескромного любопытства биографов Лермонтова. По преданию, Варенька не была красива: на щеке у нее была большая родинка, которой ее дразнили в детстве: «Варенька родинка, Варенька уродинка», но уродливого в ней ничего не было. С портрета, оставшегося у меня в Москве, глядят большие, кроткие, темные глаза, и весь облик ее обвеян тихой грустью.[28] В свое время, по-видимому, Лермонтов бывал в Меньшове, и однажды мы там нашли книгу с его надписью «Лермонтов», которую сестра Варя взяла себе в качестве фамильной принадлежности. Согласно преданию семьи Лопухиных, Лермонтов приветствовал рождение дяди Саши Лопухина [29] следующими стихами:

Ребенка милого рожденье
Приветствует мой запоздалый стих.
Да будет с ним благословенье
Всех ангелов небесных и земных!
Да будет он отца достоин,
Как мать его, прекрасен и любим;
Да будет дух его спокоен
И в правде тверд, как Божий херувим.
Пускай не знает он до срока
Ни мук любви, ни славы жадных дум;
Пускай глядит он без упрека
На ложный блеск и ложный мира шум;
Пускай не ищет он причины
Чужим страстям и радостям своим,
И выйдет он из светской тины
Душою бел и сердцем невредим!

А. П. Шан-Гирей, близкий родственник, сверстник и приятель Лермонтова, в своих воспоминаниях припоминает исключительную роль в жизни и творчестве Лермонтова В. А. Лопухиной. Цитирую с его слов: «Будучи студентом, Лермонтов был страстно влюблен... в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку. Ей было лет 15—16: мы же были дети и сильно дразнили ее. У нее на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: „У Вареньки родинка, Варенька уродинка“, но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. — Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения, но оно не могло набросить (и не набросило) мрачной тени на его существование, напротив: в начале своем оно возбудило взаимность, впоследствии, в Петербурге, в Гвардейской школе, временно заглушено было новою обстановкой и шумной жизнью юнкеров тогдашней школы, по вступлении в свет — новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины...» [30]

...Приведем здесь стихи Лермонтова, посвященные В. Лопухиной, в несколько иной редакции, чем в собрании его сочинений:

У ног других не забывал
Я взор твоих очей,
Любя других, я лишь страдал
Любовью прежних дней.
Так грусть — мой мрачный властелин —
Все будит старину,
И я твержу всегда один
«Люблю тебя, люблю...»,
И не узнает шумный свет,
Кто нежно так любим,
Как я страдал и сколько лет
Минувшим я гоним.
И где б ни вздумал я искать
Под небом тишину,
Все сердце будет мне шептать:
«Люблю ее одну».[31]

...Прадедушка Лопухин был решительно против замужества дочери Вареньки с Лермонтовым, но судьба бедной Вареньки решилась уже после его смерти, и случайно. В 1835 году на московских балах стал появляться Николай Федорович Бахметьев.[32] Ему было 37 лет, когда он надумал жениться и стал ездить в свет, чтобы высмотреть себе невесту. Выбор его колебался между несколькими приглянувшимися ему девицами, и он молился, чтобы Господь указал ему, на ком остановить выбор. В этих мыслях он приехал на бал в Дворянское собрание и подымался по лестнице, когда, желая его обогнать, Варенька Лопухина зацепила свой бальный шарф за пуговицу его фрака.

---

[28] Об этом портрете в настоящее время сведений нет.

[29] Речь идет о старшем сыне Алексея Лопухина.

[30] См.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. С. 36.

[31] Стихи в этой редакции помещены в «Записках» Сушковой и отнесены мемуаристкой к числу произведений, посвященных ей. По предположению Ю. Г. Оксмана, «Сашенька Верещагина сознательно мистифицировала Е. А., прислав ей стихи, посвященные в действительности В. А. Лопухиной» (*Сушкова Е.* Записки. С. 128).

[32] Рассказывали, что в молодости он очень болел и однажды заснул летаргическим сном. Над ним служили панихиды. Одна старушка подошла приложиться к иконке, которая была на его руке, когда он вдруг схватил будто бы ее за нос, отчего старушка чуть не померла, а он восстал и выздоровел, но долго после лечился и страдал слабостью ног. (Прим. автора).

lib.pushkinskijdom.ru

Пришлось остановиться и долго распутывать бахрому, опутавшую пуговицу со всех сторон... Николай Федорович усмотрел в этом несомненное указание свыше — «перст», и посватался;[33] человек он был с большим состоянием и безупречной репутации. Не знаю, кто повлиял на бедную Вареньку, но предложение Бахметьева было принято...[34]

Тетя Варвара Александровна Бахметьева[35] умерла,[36] когда моей матери было еще 10 лет, а дядюшку Николая Федоровича Бахметьева мы часто видели в детстве. Он вообще очень льнул к семье Лопухиных, очень любил мамá, и нас любил баловать, особенно же свою крестницу, сестру Лину, рождение и именины которой никогда не забывал и привозил чудные подарки. Помню, как однажды, как раз в год рождения Лины, Сережа затеял устроить какую-то лотерею, на которую все мы должны были сработать сами выигрыши. Дядюшка Бахметьев сказал, что примет участие в постановке выигрышей, и прислал нам дивный пирог — большой фонтан из желтого леденца, в струях которого запуталась птичка с распростертыми крылышками, а бассейн внизу и пьедестал были искусно выделаны из марципана. Понятно, в каком восторге мы были и как любовались на это художественное произведение. Но лотерея почему-то не состоялась, фонтан стал запыливаться, и мамá решилась разбить его и поделить между нами, причем оказалось, что он далеко не был так вкусен, как красив.

У дядюшки Бахметьева было несколько человек детей, но в живых осталась единственная дочь Ольга, которая вышла замуж за Базилевского... У нее был единственный сын Петя, который жил и воспитывался у своего дедушки Бахметьева. Мать им мало интересовалась и редко появлялась в Москве, утверждая, что здоровье ее не переносит северного климата. Отец ее обожал и верил всем ее причудам.

Н. Ф. Бахметьев дожил до глубокой старости. Внук его женился вскоре по окончании университетского курса, и старик жил в полном одиночестве. Тетя Маша и тетя Лидя жалели его и много с ним нянчились... Когда он болел, что случалось нередко, тети поочередно ночевали и дежурили у него, чтоб следить за его уходом и чтобы он не чувствовал себя заброшенным и одиноким. Когда он был здоров, то требовал, чтобы племянницы раз в неделю, по средам, непременно у него обедали. У него было хорошее состояние и прекрасный повар, и он любил вкусно покушать и угощать. Когда мои старшие сестры Тоня и Лиза в 1881—84 годах выезжали в Москву, они, так же как и братья, Сережа и Женя, тоже были обязаны бывать на этих обедах, причем Сережа, чтобы спасти себя и сестер от скуки, всегда так шалил, что тети были в трансах, чтобы дядюшка не заметил и не обиделся; но он ничего не замечал.

Когда дядюшка скончался (родился в 1798 году 3-го марта, умер в 1884 году[37]), он оставил сестре Лине 5000 рублей (как своей крестнице), которые ко времени ее совершеннолетия так возросли, что дали ей возможность совершить чудное путешествие с сестрой Варей в Константинополь и Италию. Столько же он оставил и Коле Лопухину, тоже своему крестнику, а бедным тетям, на руках которых он скончался, почему-то ничего не оставил, кроме большого количества всякой посуды, которую они перевезли в Меньшово и она там существовала и до наших дней.

Тетю Машу — старушку я хорошо помню; мне было лет семь, когда ей было уже далеко за 70 лет (родилась в 1802-м, умерла 9-го октября 1877 года). В памяти моей сохранился благообразный образ всегда ласковой, приветливой и милой старушки в чепце с белыми тюлевыми рюшами или кружевами, завязанном под подбородком большим белым, лиловым или черным бантом, смотря по цвету юбки, поверх которой

---

[33] Версию об этом сватовстве сообщила мне моя троюродная сестра гр. Ю. Берг фон Орин (дочь Е. Н. Эк, рожд. Трубецкой, дочь тети Лизы, рожд. Лопухиной), которая слышала это от своей тети Ольги Базилевской, дочери Николая Федоровича Бахметьева. (Прим. автора).

[34] Этот отрывок опубликован С. В. Чекалиным (см.: *Чекалин С. В.* Наедине с тобою брат... [Ставрополь], 1984. С. 47).

[35] В. А. Бахметьева, рожд. Лопухина, родилась в 1815 году, умерла 9 августа 1851 года, похоронена в Донском монастыре в церкви во имя пресвятой Богородицы. (Прим. автора).

[36] М. А. Лопухина в июле—августе 1851 года жила у Бахметевых, ухаживая за тяжелобольной сестрой. Сохранились ее письма к приятельнице С. С. Перре (они опубликованы только частично), где М. А. Лопухина рассказывает о последних днях Варвары Александровны. Приведу одно из писем, написанное 8 августа, за день до смерти В. А. Лопухиной: «...все, что я могу сказать, это то, что врачи не скрывают очень тревожного состояния здоровья моей сестры. Болезнь очень тяжела и может образоваться, как я того боюсь, рак в нижней части живота. Они говорят, что этой болезни пока нет, но что имеется сильная угроза. Начиная в особенности с последнего четверга, я провела неделю очень бурную, очень утомительную, так как прошлая ночь — первая, что я легла и могла спать. Предыдущие дни на ногах день и ночь. Теперь моя сестра находится в состоянии очень большой слабости, она не может поднять головы. И я всегда боюсь, что она умрет во время одного из тех приступов конвульсий, которые с ней случаются» (см.: *Пахомов Н.* Подруга юных дней. Варенька Лопухина. М., 1975).

[37] 3-го марта 1884 года 86-ти лет умер и погребен в Москве в Донском монастыре. Там же под одной плитой и крестом могилы тети Маши и тети Лидии. В Московском Некрополе — только о тете Маше. (Прим. автора).

lib.pushkinskijdom.ru

она неизменно носила длинный черный бархатный или суконный кафтан, густо расшитый черным гарусным шнуром, а летом уютный, легкий канаусовый.

Тетя Маша была умная, культурная, много на своем веку путешествовала и читала: любила общество и до глубокой старости дружила с сестрами Ховриными и Александрой Николаевной Бахметьевой,[38] про которую Б. Н. Чичерин говорит в своих воспоминаниях, что до конца жизни она старалась поддержать в своем салоне давно угасший в Москве светоч умственных интересов.[39]

После кончины дедушки и бабушки Лопухиных тети всегда лето и осень проводили у нас в Ахтырке,[40] и с ними две горничные, две типичные старушки. Старшая, Елизавета Васильевна, держала себя барыней и очень была высокого мнения о своем уме, а кроткая, скромная Пелагея Яковлевна стояла перед ней, как перед своей госпожой, исполняя за нее всю черную работу, ставила ей самовар, убирала за ней и благоговела и восхищалась, как она «у меня» с господами говорить умеет, «а я вот, дура, совсем говорить с ними не умею». Елизавета Васильевна особенно любила рассказывать, как она со своей Марией Александровной «почитай — всю Европу объездила и чего-чего не видала. В Риме это бывало: М. А. посылают меня туда и сюда, все хотели мне показать, чем сами любовались. Ну, конечно, я молода тоже была, все ездила — да, по правде-то сказать, интересного я в ихних камнях ничего для себя не находила... Ведь господа как на все смотрят... С воображением... Ну, а как у меня на камни никогда воображения не было, то М. А. бывало даже на меня сердятся, да потом уже оставили возить, все равно, говорят, ты ничего этого не понимаешь. Ну, не ученая, — конечно. Да господа тоже того не понимают, что наше дело — особая совсем статья. Вот недавно тоже, М. А. посылают меня к фотографу: „Снимись, да снимись!" Ну, хорошо, я пошла. И что же вы думаете, фотограф меня станет, как вас, снимать? Ну, и посадил это, конечно. А потом, как стал надвигать на меня машину свою, да сам за нее спрятался, да закричит как: „Смотрите сюда... смотрите!.." А я как взглянула — чувствую, что он всю морду мою туда тянет! ворочать стало! Тут уж я не дура — вскочила да говорю ему: „Да что же это ты, болван эдакий! думаешь, я все стерпеть могу и так с собой поступать позволю! Нет, не на такую напал!" Повернулась, плюнула и ушла... С господами они, конечно, так не сделают никогда, оттого вы и смеетесь — не верите!»

Мама́ рассказывала про тетю Машу, что она чуть ли не 30 лет объявила, что она: qu' elle á coiffé comme S-te Catherine,[41] надела на себя чепец и решила, что замуж никогда не выйдет, и вдруг влюбилась, когда ей было уже под 50 лет, в И. Н. Новикова.[42] Все и племянники и племянницы уважали и любили тетю Машу, и мама́ вспоминала, как она за нее страдала, когда появлялся Новиков, которого она всегда хотела заполучить для интересного разговора, он от нее увиливал, т. к. очевидно, предпочитал беседу и веселый flirt с ними. Видно, вспышка позднего чувства была очень яркая и для всех очевидная, ибо мама́ всегда говорила, что, глядя

---

[38] Речь идет о московском салоне М. Д. Ховриной (1801—1877), жены Н. В. Ховрина. По свидетельству П. В. Анненкова, «М. Д. Ховрина имела славу женщины большого света, охотно отворявшей двери своей гостиной для замечательных людей времени...» (П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов. СПб., 1892. Т. 1. С. 69). С Ховриными были дружны Белинский, Тургенев, Станкевич. Говоря о «сестрах Ховриных и А. Н. Бахметевой», мемуаристка не совсем точна. Сестры Ховрины — это дочери Н. В. и М. Д. Ховриных: А. Н. Ховрина (1823—1901; в замужестве Бахметева) и Л. Н. Ховрина (1826—1899). Сестры М. Д. Ховриной были известны под фамилиями своих мужей: А. Д. Шеншина и В. Д. Озерова. Близкими друзьями Лопухиных были М. Д. Ховрина и ее дочери — Александра и Лидия. М. А. Лопухина и М. Д. Ховрина скончались почти одновременно; см. письмо М. А. Лопухиной-младшей к Н. Н. Новикову, директору земской московской учительской школы: «Марья Дмитриевна была больна уже три года, но с августа она была уже очень плоха... Тетя Маша с большой грустью следила за ходом болезни своей последней приятельницы. За неделю до своей кончины тетя Маша была у нее и застала ее такой слабой, что была очень расстроена этим посещением. Л. Н. Ховрина не была на похоронах тети Маши, потому что мать ее была уже очень плоха, но на 9 день она приехала в Донской монастырь помолиться с нами и говорила, что матери ее лучше и что она воспользовалась этим, чтобы приехать в монастырь, что накануне М. Д. спрашивала о тете Маше, но что ей не решились сказать об ее кончине. Вернувшись из монастыря, Л. Н. уже не застала свою мать в живых» (Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее: ГПБ). Ф. 523. № 737. Л. 45, об. — 46).

[39] См.: *Чичерин Б. Н.* Воспоминания. Москва сороковых годов. [М.], 1929. С. 110.

[40] Ахтырка — подмосковное имение Трубецких. По воспоминаниям Е. Трубецкого, это была «одна из самых дивных подмосковных старинного типа... величественная барская усадьба Empire, один из архитектурных chef d'oeuvres начала XIX столетия» (*Трубецкой Е.* Из прошлого. С. 5).

[41] Coiffer sainte Catherine — состариться в девках.

[42] Речь идет о брате Н. Н. Новикова (см. выше).

lib.pushkinskijdom.ru

на нее, она себе сказала, что ни за что не останется старой девой.

После кончины дедушки и бабушки Лопухиных тетя Маша — старушка осталась жить с тетей Машей, тетей Лидией и дядей Сережей; они поселились во флигеле Молчановского дома, где раньше жили Трубецкие. Сохранилась прелестная фотография, рисующая уют их совместной жизни; они обыкновенно так и сидели вокруг стола в гостиной: тетя-старушка за пасьянсом, рядом дядя Сережа — общий центр жизни и любимец всех, следящий за пасьянсом, тетя Маша — молодая за работой и тетя Лидя за книгой. Она тоже хорошо читала вслух, но, когда появлялись романы Толстого или Достоевского, книга переходила в руки дяди Сережи, который мастерски читал. Понятно, это не всякий день бывало, ибо в бытность свою в университете он много выезжал, но он сам очень любил после обеда эти совместные чтения и, в свою очередь, очень любил общество сестер и тетю Машу. Группа снята в последнюю зиму перед войной, на которую он был призван, а по возвращении он уже не застал тети Маши — она скончалась в октябре 1877 года.[43] Для детей это было большое горе, ибо она до конца не утратила своего горячего отзывчивого нрава и только под конец стала несколько глохнуть. Сыздавна она приобрела привычку вслух беседовать с воображаемым собеседником и иногда так этим увлекалась, что не замечала присутствия окружающих. Однажды в Ахтырке, в воскресный день, я забралась к папá в кабинет на большой диван и уютно примостилась в углу, уткнувшись в любимую книгу. Вошла тетя Маша — старушка и, что-то бормоча, уселась в кресло и начала раскладывать пасьянс на столе рядом. Вдруг она отодвинулась и с необыкновенным выражением обратилась к соседнему креслу: — Vous pouvez vous figurez mon étonnement, — сказала она, откидываясь на спинку кресла: il avait l'air de ne pas comprendre l'effet qu'il produisait...[44] Я в ужасе замерла, слушая ее и глядя на пустое кресло... Мне так стало жутко и страшно, что я мгновенно скользнула на пол, быстро на четвереньках добралась до двери, там вскочила и давай Бог ноги!

БРАТЬЯ МОЕЙ МАТЕРИ. ДЯДЯ САША

Старшим в семье, как уже упомянуто, был дядя Саша (Александр Алексеевич). Он совершенно необычным образом и случайно попал в Пажеский корпус.

Однажды, в середине 40-х годов, в Москву приезжал Государь Николай Павлович. Генерал-губернатор князь Щербатов[45] задумал устроить в его честь большой праздник с аллегорическими живыми картинами, где фигурировало много детей. Дядя Саша 6—7 лет был очень красивый ребенок и был привлечен к участию в картинах. Государь остался так доволен удачным зрелищем, что по его окончании всех мальчиков, участников, поздравил «пажами», повелев зачислить их в Пажеский корпус.

По складу семьи и характеров дедушки и бабушки, думаю, что им очень было трудно расстаться со своим возлюбленным первенцем, но уклониться от такой чести и царской милости по тем временам и думать было нечего, и пришлось в свое время отправить мальчика в Петербург, что, конечно, не могло не иметь огромного влияния на всю последующую жизнь их сына. На праздники и каникулы он приезжал домой, и не было границ баловству родителей и старших сестер, которые его обожали и восхищались его умом и красотою.

* * *

Дядя Саша (Александр Алексеевич Лопухин) женился вскоре после свадьбы моей матери на Елизавете Дмитриевне Голохвастовой, и, можно сказать, неудачно для себя женился.[46]

---

[43] М. А. Лопухина-младшая так писала об этом Н. Н. Новикову: «Для нас с Лидей это несчастие было так же неожиданно, как и для других, потому что болезнь тети Маши была так коротка, что мы еще не успели встревожиться довольно сильно, как все было кончено. К тому же доктор... не видел ничего опасного в ее состоянии и говорил, что если бы он не знал, что ей 75 лет, а что в эти годы все может быть тревожно, то он счел бы ее болезнь совершенным пустяком... Братья Саша и Борис, Эмилия с мужем и Самарины тотчас же приехали к нам, так что мы не были одни в это тяжелое для нас время» (ГПБ. Ф. 523. № 737. Л. 41, об.). Обращение к поздней истории семейства Лопухиных, хронологически уже весьма отдаленной от Лермонтова, тем не менее имеет определенный смысл, поскольку проясняет какие-то моменты московской биографии поэта. Становится понятным, например, что знакомство Лермонтова с Самариным, его сближение со славянофилами произошло скорее всего на основе старых семейных связей. Лопухины и Самарины — это тесный круг старых московских семейств с очевидно славянофильской ориентацией. Тяжело переживали Лопухины смерть Ю. Ф. Самарина: «Теперь мы все, конечно, под тяжелым впечатлением смерти Ю. Ф. Самарина, который скончался так грустно и неожиданно для всех один, в больнице» (Там же. Л. 15).

[44] Вы можете вообразить мое удивление... он как будто не понимал, какое он производит впечатление... (франц.).

[45] Князь А. Г. Щербатов (1776—1848), генерал от инфантерии, член Государственного совета (с 1839 года), был назначен московским генерал-губернатором после смерти Д. В. Голицына (1771—1844). Фактически на этом посту Щербатов находился с апреля 1843 года (Д. В. Голицын весной 1843 года уехал лечиться за границу).

[46] А. А. Лопухин родился 13 февраля 1839 года, умер 27 января 1895 года; Е. Д. Лопу-

lib.pushkinskijdom.ru

Трудно себе представить, как мог он сойтись со столь неподходившей к нему женщиной. Блестяще умный, красивый, веселый и добродушный, он всюду был душой общества и пользовался большим успехом. Тетя Лиза была некрасива и безо всякого женского шарма: умная, но тяжеловесная и нудная, с трудным характером. Отец ее, Дмитрий Павлович Голохвастов, был человек неглупый, честный, но страшный формалист и педант;[47] в конце 40-х годов он был попечителем Московского учебного округа, и Борис Николаевич Чичерин забавно вспоминает о его чопорности и накрахмаленном величии.[48] После смерти его Елизавета Дмитриевна, раньше еще лишившаяся матери, жила со своими братьями Дмитрием и Павлом Голохвастовыми, которые в 60-х годах принимали широкое участие в московской общественной жизни в качестве городских и земских деятелей, причем Дмитрий Голохвастов пользовался репутацией блестящего и талантливого оратора. Александр Алексеевич Лопухин дружил с братьями Голохвастовыми и часто у них бывал. Сестра их Елизавета Дмитриевна была уже не первой молодости, когда познакомилась с дядей Сашей и страстно в него влюбилась. Тети уверяли, что братья ее ловили дядю Сашу и заставили его жениться на их сестре, которую весьма желали пристроить. Дядя Саша был мягкосердечный и слабовольный человек. По-видимому, он сначала был тронут страстностью Е. Д. и сам увлекся. Но с первых же дней их совместной жизни началась такая безумная ревность с ее стороны, что сразу стало ясно, что этот брак добром не кончится.

Молодые поселились на Молчановке в одноэтажном особняке дома Топорова, почти против церкви Симеона Столпника (где он и стоял еще до последнего времени). Тетя Лиза скоро забеременела. Положение свое она несла с трудом: сильно подурнела, плохо себя чувствовала, чудила вовсю и ни на шаг от себя не отпускала мужа — до такой степени, что садилась у окна (дело было весной) и требовала, чтобы он гулял под окнами так, чтобы она не теряла его из виду. Молодые люди, проезжавшие мимо к Лопухиным, видели это зрелище и с хохотом о том рассказывали тетям... Понятно, такой режим скоро надоел дяде Саше, и сцены следовали за сценами. Притом доставалось не только мужу, но и «свекру», «свекрови» и «золовкам». Голос у Е. Д. был резкий и неприятный, и говорила она на каком-то уснащенно чисто русском языке, с особым свойственным ей выговором, подчеркивавшим шипящие и свистящие звуки, например: «Я устала, как Сосидорова коза». Мы потешались в молодости такими выражениями и прозвали ее «Сосидорова коза».

Но как-никак в течение семи первых лет у дяди Саши родилось 5 сыновей (Алеша, Митя, Боря, Вика, Юша), бремя воспитания которых всецело легло на Елизавету Дмитриевну.[49]

По окончании Пажеского корпуса дядя Саша, довольно необычно для пажа, избрал судебную карьеру, в которой и преуспевал. В 1876—78 годах он... был прокурором в Петербурге, но семья его жила в Орле, где тетя Лиза и осталась до конца жизни.

После смерти своего отца дядя Саша получил Молчановский дом (который продал впоследствии Н. В. Хомякову), родовое имение «Успенское» (Смоленской губернии), откуда его сыновья вывезли все семейные лопухинские портреты, и в том числе портрет Евдокии Федоровны Лопухиной и Петра Великого. Кроме этого, у тети Лизы было еще два дома в Орле (в одном из которых она сама жила) и дача при небольшом имении под Орлом. Со всем этим доходы были небольшие, и она с трудом выкручивалась, чтобы содержать семью.

хина родилась 29 января 1842 года, умерла 18 марта 1909 года.

[47] То же см. у С. М. Соловьева: «Это был человек знающий, умный, честный и любивший честность в других, но ум этого человека отличался особенным складом, именно удивительною форменностью... в разговоре своем он хлопотал только об одном, чтобы мысли являлись в законной форме и чтобы эта форменность как можно яснее обнаружилась» (*Соловьев С. М.* Избранные труды. Записки. [М.], 1893. С. 254).

[48] *Чичерин Б. Н.* Воспоминания. С. 80. Д. Н. Голохвастов (1796—1849), помощник попечителя Московского учебного округа с 1831 года, был назначен попечителем в 1847 году, после ухода в отставку графа С. Г. Строганова. Был крайне непопулярен.

[49] Следует заметить, что Е. Д. Голохвастова не ограничивала свою жизнь кругом домашних дел; она, например, живо интересовалась литературой. С особенным вниманием Е. Д. Голохвастова-Лопухина относилась к Лермонтову, автору стихотворного обращения к сыну А. А. Лопухина Александру, ставшему впоследствии ее мужем. Как следует из письма М. А. Лопухиной-старшей к Н. Н. Новикову, Елизавета Дмитриевна была знакома с рукописями поэта: «Спешу уведомить Вас, Николай Николаевич, что я третьего дня получила присланную мне рукопись, которую на днях возвращу Елизавете Дмитриевне. Мне кажется, вы напрасно сетуете на нее за то, что она потребовала возвращения этой рукописи, которая дана вам для прочтения, какие же могла она делать при этом условия, они известны: возвратить рукопись по прочтении ее. Могла ли она дарить вам вещь, вовсе не принадлежащую ей; рукопись принадлежит господину Шангирею, родственнику и приятелю покойного Лермонтова, и теперь будет возвращена по принадлежности» (ГПБ. Ф. 523. № 737. Л. 1). О какой рукописи идет речь, неясно. В фонде Голохвастовых (Центральный государственный архив древних актов) хранится копия стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» (озаглавлена «На смерть А. С. Пушкина»).

lib.pushkinskijdom.ru

Характер у тети Лизы был очень тяжелый. В гимназические, да и в студенческие годы сыновьям ее часто «влетало» от нее, и в те годы мягкая натура ее старшего сына Алеши очень страдала от ее жесткого языка и «пиления». Алеша обожал отца, а она, зная это, его чувств не щадила... Менее других доставалось Мите, который сам был Голохвастов с головы до пят и унаследовал от матери ее своеобразный русский язык, и Вике, который был ее любимцем по сходству с отцом. Кажется, и он ее любил больше других сыновей.

Живя в Петербурге без семьи, дядя Саша фактически уже тогда разъехался окончательно с семьей, но это была самая блестящая пора его жизни. О нем заговорили в судебном мире. Он был умен и обладал даром слова, причем пленял женские сердца своей красотой: он с 20 лет имел совершенно белую голову, черные брови и бороду с проседью, что очень к нему шло. Письма тети Лидии из Петербурга, когда она с тетей Машей жила у него, были полны рассказами об его успехах. Но — увы! успех его был эфемерный, ибо он сам в то время сильно влюбился и решился на рискованный шаг, который сломил его карьеру. Он использовал свою командировку в Константинополь, чтобы там, с разрешения греческой иерархии, жениться, не получив развода от тети Лизы, на предмете своей страсти... Семья не захотела признать этот брак, а в глазах русского правительства он оказался двоеженцем, благодаря чему карьера его была безвозвратно сломана. Ему пришлось подать в отставку и вступить в корпорацию присяжных поверенных...

Дядя Саша умер... в Ницце 27 января 1895 года. Подробностей об его кончине я совсем не помню.

Ж. Зельдхейи-Деак (Венгрия)

«СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ» И. С. ТУРГЕНЕВА. К ПРОБЛЕМЕ ЖАНРА

Создавая свой оригинальный поэтический цикл, Тургенев вводил в русскую литературу жанр, родоначальником которого был А. Бертран и который получил дальнейшее развитие у Ш. Бодлера. Знал ли Тургенев Бертрана, неизвестно, но это не исключено, если иметь в виду огромную эрудицию русского писателя. Возможно ли сближение их произведений? Н. Р. Левина, Н. И. Балашов и Анна Ло Гатто Мавер сравнивают «Гаспара из тьмы» А. Бертрана со «Стихотворениями в прозе» Тургенева.[1] Итальянская исследовательница, в частности, убедительно пишет о том, что оба цикла сближаются своими романтическими чертами, которые, однако, у Бертрана проявляются в чистом виде, в то время как у Тургенева завуалированы. В той же статье можно отметить и ряд других сопоставлений, дающих толчок более развернутому анализу проблемы. Но есть здесь и некоторые спорные утверждения: например, о том, что оба цикла можно рассматривать скорее как поэзию, чем как прозу (пусть даже особого типа). Другое спорное суждение касается эмоционального содержания циклов: речь идет о том, что Тургенева и Бертрана роднит печальная мечтательность, отличающая их обоих от Бодлера, грусть которого часто переходит в гнев, иронию и сарказм.[2] Отделение циклов Тургенева и Бертрана от искусства прозы снимает вопрос об их особой художественной природе. Вызывает некоторые сомнения и попытка резкого противопоставления прозаических стихотворений Тургенева и Бодлера. У Тургенева, правда, нет черного юмора, присущего некоторым стихотворениям в прозе Бодлера, но им написана целая группа сатирических миниатюр, роль которых в составе цикла очень существенна.

Иными словами, основания для сближения стихотворений в прозе Тургенева и Бодлера нисколько не менее серьезны, чем основания для параллели Тургенев—Бертран. Можно даже сказать, что они более серьезны. Бертран стремился соблюдать строгую форму — его стихотворения в первых четырех книгах «Гаспара» почти все состоят из шести абзацев, с разными типами повторений, в то время как Бодлер и Тургенев — каждый по-своему — обращаются с формой более свободно. Бертран во многих стихотворениях применяет различные методы архаизации (пользуется эпиграфами из старинных текстов, соответствующими лексическими средствами и т. д.). Такого стремления к архаизации мы не обнаруживаем ни у Бодлера, ни у Тургенева. В тех стихотворениях в прозе, в которых изображается внешний мир, они оба обращаются к современности: Бодлер, как на это указывает заглавие цикла «Хандра Парижа», — к жизни современного большого города, Тургенев — к жизни рус-

[1] См.: *Левина Н. Р.* «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева и произведения этого жанра Алоизия Бертрана и Шарля Бодлера // XXII Герценовские чтения. Филологические науки. [Л., 1969]. С. 117—119; *Балашов Н. И.* Бертран и рождение стихотворения в прозе // Бертран Алоизиюс. Гаспар из тьмы. М., 1981. С. 274—275; *Lo Gatto Maver Anna.* Quelques hypothèses sur les modèles français des «Poémes en prose» // Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran. № 7. Tourguéniev et l'Europe. Actes du Congrès du centenaire 1883—1983. Paris, 1983. P. 52—58.

[2] *Lo Gatto Maver Anna.* Op. cit. P. 55.

© Зельдхейи-Деак Ж., 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

ской деревни и к прямому или косвенному изображению исторических событий («Дрозд II», «Памяти Ю. П. Вревской», «Порог», «Чернорабочий и белоручка»). В отличие от Бертрана Бодлер и Тургенев почти одинаково часто выражают свои мысли в форме аллегории. Отметим также еще одно отличие: у Бодлера и Тургенева больше, чем у Бертрана, лирических элементов.

В рамках небольшой статьи трудно было бы рассмотреть все черты, сближающие Бодлера и Тургенева. Подчеркну лишь, что их немало. Замечу также, что есть и немаловажные различия. Стихотворения в прозе обоих авторов проникнуты трагическим мировосприятием. Однако у Тургенева оно носит гораздо более подчеркнутый «космический», философский характер. Бодлер страдает прежде всего от несовершенства окружающего грубого и страшного мира. Можно заметить и другие сходства-различия подобного же рода. Оба посвящают немало строк передаче чувства одиночества, но Бодлер ненавидит общество людей, бежит от него, в то время как Тургеневу это чувство причиняет страдания. Для Бодлера прибежищем от страшного мира служат также сны и наркотические галлюцинации. У Тургенева трагическому контрасту между вечностью природы и мимолетным человеческим существованием противостоят воспоминания молодости, красота, искусство, любовь, вера в будущее России.

То, что Тургенев знал стихотворения в прозе Бодлера, несомненно;[3] среди разных доказательств стоит особо упомянуть о том, что Тургенев определяет вводимый им в русскую литературу жанр как «стихотворения без рифм и размера».[4] Это совпадает с аналогичным определением Бодлера. Заметим также, что в кратком обращении «К читателю» Тургенев высказывает мысль, близкую к бодлеровскому введению в «Маленьких стихотворениях в прозе».[5] Вспомним далее, что оба поддерживали дружеские отношения с Флобером. Наконец, учтем, что у обоих был один издатель — Этцель. Да и трудно себе представить, чтобы интенсивно участвовавший во французской литературной жизни Тургенев не знал о жанровом новаторстве Бодлера, столь близком к его собственным стремлениям.

В общем, совершенно правы те исследователи, которые считают, что сопоставление цикла Тургенева и его французских предшественников может быть плодотворным главным образом в жанровом отношении — с целью выяснения как общих, так и отличающихся друг от друга жанровых и стилистических особенностей.

Задача публикуемой статьи — показать на одном характерном примере главные черты жанра. Но прежде всего необходимо отметить ряд трудностей и спорных моментов, связанных с определением и интерпретацией наиболее важных из этих черт.[6]

Некоторые русские современники Тургенева относили его непривычные для них миниатюры скорее к поэзии, чем к прозе,[7] позднее такие крупные ученые, как Л. Гроссман, Г. Шенгели, Н. Энгельгардт, пытались выявить в них присутствие стихотворных размеров.[8] Но сам Тургенев несомненно считал свои маленькие произведения прозой. Об этом свидетельствует прежде всего его стремление удалить из текста остаточные случайные рифмы и стихотворные размеры.[9] Заметим, что Бертран и Бодлер также считали свои миниатюры прозой — и, соответственно, в вариантах старались отчетливее обозначить признаки прозы.[10]

---

[3] Сомнения были высказаны неоднократно в разные периоды изучения «Стихотворений в прозе» Тургенева, в том числе в упомянутой выше интересной работе Н. Р. Левиной.

[4] На полях черновика «Сон-I» Тургенев указал именно этот жанровый признак. См.: Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. М.; Л., 1967. Т. XIII. С. 610.

[5] См.: *Baudelaire Ch.* Petits poèmes en prose. Paris, 1969. P. 7. Ср.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. Т. XIII. С. 143.

[6] Об особенностях жанра стихотворений в прозе кроме вышеуказанных работ см.: *Пумпянский Л. В.* Тургенев и Флобер // Тургенев И. С. Соч. М.; Л., 1930. Т. X. С. 18; *Богданович Н.* Покушај једне књижевне паралеле. Песме у прози И. Тургенева и Ш. Бодлера // Летопис Матице српске. 1955. Св. 6. С. 562—574; *Schaarschuh F. J.* Das Problem der Gattung «Prosagedicht» in Turgenevs «Стихотворения в прозе» // Zeitschrift für Slawistik. 1965. Bd. X. H. 4. S. 504—506; *Алексеев М. П.* Введение к «Стихотворениям в прозе» (XIII, 630—632); *Иссова Л. Н.* Истоки жанра «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева // Вопросы литературы и фольклора. Воронеж, 1969. С. 7—8; *Павлов Борис.* Тургеневите «Стихотворения в прозе» и «Малки поэми в проза» на Шарл Бодлер // Литературна мисъл. София. 1983. Т. 27. № 9. С. 25—31; *Пестерев В. А.* Жанр стихотворения в прозе в творчестве Тургенева и Ш. Бодлера // Роль русской классики в развитии и взаимообогащении литературных жанров. Орджоникидзе. 1986. С. 119—129; *Шаталов С. Е.* «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева. Арзамас, 1961; *Озеров Л. А.* «Стихотворения в прозе» Тургенева // Мастерство русских классиков. М., 1969.

[7] См., например: Голос. 1882. № 330. 8(20) дек.; *Невзоров Н.* И. С. Тургенев и его последние произведения: «Стихотворения в прозе» и «Клара Милич». Казань. 1883.

[8] *Гроссман Л. П.* Последняя поэма Тургенева // Венок Тургеневу. Одесса, 1918. С. 57—90; *Шенгели Г.* О ритмике тургеневской прозы // Шенгели Г. Трактат о русском стихе. 2-е изд. Пг., 1923. С. 178—181; *Энгельгардт Н. А.* Мелодика тургеневской прозы // Творческий путь Тургенева. Сб. под ред. Н. Л. Бродского. Пг., 1923. С. 9—63.

[9] *Алексеев М. П.* Введение к «Стихотворениям в прозе» // Тургенев И. С. Соч.: В 12 т. М., 1982. Т. 10. С. 451.

[10] *Nies Fritz.* Poesie in prosaischer Welt. Untersuchungen zum Prosagedicht bei A.

lib.pushkinskijdom.ru

В. Брюсов в своих записях отмечает: «Не помню, кто сравнил „стихотворения в прозе" с гермафродитом. Во всяком случае, это одна из несноснейших форм литературы. Большею частью, это — проза, которой придана некоторая ритмичность, т. е. которая скрашена чисто внешним приемом. Говоря так, я имею в виду не принципы, а существующие образцы. Подлинные „стихотворения в прозе" (такие, какими они должны были бы быть) есть у Бодлера, Эдгара По, Маллармэ. „Стихотворения в прозе" Тургенева — безусловно проза, но художественная и прекрасная».[11] Ю. Тынянов также определяет стихотворение в прозе как прозаический жанр: «. . .„стихотворение в прозе" всегда обнажает сущность прозы, „роман в стихах" — сущность стиха».[12] Следуя традициям Брюсова и Тынянова, большинство современных советских исследователей считает этот жанр прозаическим.

Такой вывод справедлив, но сам по себе еще недостаточен. Стихотворение в прозе не является просто маленьким рассказом, хотя часть миниатюр Бодлера (например, «Героическая смерть», «Веревка») или стихотворение в прозе Тургенева «Повесить его!» к маленькому рассказу приближается. На явном преувеличении основана уже упомянутая интересная работа В. А. Пестерева, в которой утверждается, что стихотворения в прозе Бодлера и Тургенева близки к новелле и что главная особенность этого жанра у них — событийный элемент. Такие элементы, конечно, есть у обоих писателей, но эти два цикла в целом вовсе не характеризуются новеллистичностью. Я больше согласна с А. А. Земляковской и с румынским исследователем Альбертом Ковачем, считающими, что стихотворения в прозе — лиро-эпический жанр.[13] В то же время интересующий нас жанр не какое-то механическое сочетание стихотворения и прозы, как это следует из определения А. Квятковского, по которому стихотворение в прозе — «произведение поэтическое по содержанию и прозаическое по форме».[14] Больше оснований согласиться с тем, что стихотворение в прозе является совершенно особым жанром,[15] в котором характерные черты прозы и поэзии сочетаются гораздо более органично и сложно, чем это кажется А. Квятковскому.

Стихотворения в прозе, как правило, проникнуты лиризмом, «я» поэта присутствует в текстах всех трех сравниваемых авторов, но не в одинаковой мере. Наиболее сдержан в этом отношении Бертран. В его миниатюрах писательское «я» выступает открыто в основном только в последней (шестой) книге. В цикле Бодлера поэт присутствует везде, наблюдает все, рассказывает обо всем, о событиях и людях, так же, как о собственной душе. Тургенев зачастую прямо передает собственные чувства, воспоминания (поэтому некоторые исследователи, например А. Земляковская, считают его стихотворения в прозе лирическим дневником писателя).[16]

Однако понятие «лиризм» характеризует лишь одну из граней жанровой природы стихотворений в прозе. Было бы все-таки неверно определять этот необычный жанр как «лирику в прозе», как предлагает Л. Тимофеев.[17] Нельзя говорить и о бессюжетности стихотворений в прозе. У Бертрана, напротив, наблюдается подчеркнутая сюжетность многих миниатюр его цикла («Охота», «Маркиз д'Арока», «Энрикес» и т. д.). У Тургенева тоже есть эпические сюжетные элементы, которые, впрочем, играют в большинстве случаев подчиненную роль. Они обычно выполняют разные служебные функции, например способствуют формированию иносказательного смысла («Старуха», «Насекомое», «Встреча» и т. д.). В других случаях они служат основой прямых — как в притчах — выводов («Дурак», «Щи»). Очень важную роль играет личное отношение писателя к описываемым событиям: от их изложения он переходит к обобщенным выводам о человеческой жизни вообще или о ее ценностях («Дрозд I», «Воробей»). С другой стороны, стихотворения в прозе более, чем традиционная проза, склонны к поэтическим метафорам, аллегориям, символам. В то же время в них часто встречаются элементы, свойственные и другим разновидностям ритмической прозы,[18] например синтаксические повторы, параллелизмы, образующие в некоторых случаях рефрены, кольцевую компо-

---

Bertrand und Baudelaire. Heidelberg, 1964. S. 107—108.

[11] *Брюсов В.* Miscellanea. Замечания, мысли об искусстве, о литературе, о критиках, о самом себе // Брюсов В. Избр. соч.: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 544.

[12] *Тынянов Ю. Н.* Проблемы стихотворного языка. М., 1965. С. 66.

[13] *Земляковская А. А.* Жанрово-видовое своеобразие «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева // По законам жанра. Вып. 2. Тамбов, 1976. С. 6—7. Ср.: *Ковач А.* Жанр «стихотворения в прозе» в русской литературе конца XIX—начала XX в. // Romanoslavica. 1979. XIX. С. 265.

[14] *Квятковский А.* Поэтический словарь. М., 1966. С. 287.

[15] *Bernard S.* Le poème en prose de Baudelaire jusqu'à nos jours. Paris, 1959. P. 434.

[16] *Земляковская А. А.* «Стихотворения в прозе» как лирический дневник последних лет И. С. Тургенева // Сборник материалов второй научной сессии вузов Центрально-Черноземной зоны. Литературоведение. Воронеж, 1967. С. 19—28.

[17] См., например: *Тимофеев Л.* «Стихотворения в прозе» // Лит. энциклопедия. М., 1939. Т. 11. С. 77—78.

[18] *Жирмунский В. М.* О ритмической прозе // Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975. С. 569—587.

lib.pushkinskijdom.ru

зицию, анафоры (такие композиционные приемы нередко применяют все три упомянутых автора). Кроме того, мелодичность текста подчас создается звуковой организацией (аллитерациями и прочими созвучиями), но не рифмами. Такими средствами пользуется не только поэзия, но и проза.

Вопрос о ритмике стихотворений в прозе Тургенева является до сих пор спорным. Большинство литературоведов объясняет ритмичность этих миниатюр только вышеперечисленными особенностями, мобилизующими внутренние возможности прозы. Но А. М. Пешковский еще в 1928 году выдвинул гипотезу об относительной организованности числа ударений в так называемых «фонетических предложениях» и «интонационных целых».[19] Эту мысль продолжает в наши дни Н. И. Балашов, подтверждающий правильность наблюдений Пешковского анализом французских автопереводов некоторых стихотворений Тургенева, размышляющий о близости тургеневских стихотворений в прозе к акцентному стиху, однако не отождествляющий эти два понятия.[20] Знакомство с вариантами создает впечатление, что писатель в некоторых случаях сознательно добивался относительного урегулирования ударений в тексте. Решение этого спорного вопроса выходит за рамки моей статьи.

Попробуем выделить наиболее бесспорные жанровые признаки стихотворений в прозе, те, которые придают качественное своеобразие всем остальным. Одним из таких свойств жанра является миниатюрность формы, краткость текста. Стремление к этому характеризует и Бертрана, и Бодлера, и Тургенева, хотя в разной мере. Естественное условие краткости — тщательный выбор наиболее метких, наиболее выразительных в данном контексте слов. Поэтому все три писателя (как это видно из черновых и прочих вариантов) очень много работают над текстом. И главное, что ими руководит, — стремление к его безусловной художественной завершенности. Интересно в этом отношении, как Бодлер и Тургенев протестуют против изменения их текста редактором.

Другая важная особенность стихотворений в прозе заключается в том, что они являются ощутимо и принципиально самостоятельными, замкнутыми в себе произведениями. На мой взгляд, особенно важно подчеркивать это качество, потому что даже некоторые авторитетные ученые считают отдельные части произведений традиционной прозы стихотворениями в прозе. Например, размышления князя Андрея при виде одинокого старого дуба в «Войне и мире» кажутся Б. Эйхенбауму уже прямо лирической вставкой, «стихотворением в прозе».[21] А. Жовтис как пример стихотворения в прозе приводит начало «Страшной мести» Гоголя.[22] Сигрид Мак Лафлин считает, что некоторые эпизоды «Призраков» и «Довольно», строки о молодости в «Первой любви», мысли Елены в конце «Накануне», эпилог «Отцов и детей», пролог «Вешних вод» тоже могут рассматриваться как стихотворения в прозе и т. д.[23] Отдельное, т. е. именно самостоятельное, стихотворение в прозе имеет другое звучание, вызывает другие ассоциации, чем фрагмент из более крупного произведения иного жанра. В то же время стихотворение в прозе — хотя есть признаки родства между ним и свободным стихом — нельзя отождествлять с верлибром и, между прочим, потому, что последний предполагает деление на стиховые строки, а стихотворение в прозе — на абзацы, и это прозаическое деление придает ему свое звучание, свой характер.

Жанрообразующее значение указанных признаков обнаруживается, как мне представляется, при изучении работы Тургенева над одним и тем же текстом. Постараемся выбрать достаточно показательный пример, такой, который наглядно выявит общие закономерности и представит их в наиболее отчетливом виде. Подходящими для нашей цели могут служить стихотворение в прозе «Встреча» и фрагмент из повести «Клара Милич» (сон героя повести Аратова), который представляет собой переработанный текст «Встречи». Это единственная миниатюра Тургенева, которой он сам придал две различные формы. Перед нами самостоятельное, законченное целое и текст, ставший частью другого, собственно прозаического целого. Попробуем их сравнить.

«Встреча (Сон)» под заглавием «Сон 1-ый» была набросана на том же листе, что и конец рассказа «Сон» (1876). Включенная впоследствии в беловой автограф под № 3, она получила название «Женщина», потом переправленное на «Встреча (Сон)». Стихотворение это должно было открывать задуманный Тургеневым цикл под названием «Сны», куда оно и было внесено первым по счету. Рядом с заглавием стихотворения в беловом автографе Тургенев

---

[19] *Пешковский А. М.* Ритмика «стихотворений в прозе» Тургенева // Русская речь. Л., 1928. С. 69—83. Пешковский называет «тактом» сочетание слогов, объединенных одним ударным слогом (С. 69), «фонетическим предложением» — сочетание тактов, объединенных одним фразным ударением (С. 70), а «интонационным целым» — сочетание фонетических предложений в абзаце (С. 71).

[20] *Балашов Н. И.* 1) Ритмический принцип «Стихотворений в прозе» Тургенева и творческая индивидуальность писателя // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1979. Т. 38. № 6. С. 530—542; 2) Стиль ритмической прозы Тургенева в свете автопереводов // IX Международный съезд славистов. Славянские литературы. М., 1983. С. 133—153.

[21] *Эйхенбаум Б.* Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 182.

[22] *Жовтис А.* Границы свободного стиха // Вопросы литературы. 1966. № 5. С. 122.

[23] *Mc Laughlin Sigrid.* Schopenhauer in Russland. Zur literarischen Rezeption bei Turgenev // Opera Slavica Neue Folge. Bd. 3. Wiesbaden, 1984. S. 147.

lib.pushkinskijdom.ru

пометил: «Употр⟨ебить⟩ в повесть». И действительно, в повести «Клара Милич (После смерти)» текст был пересказан с довольно значительными стилистическими изменениями.

Повествование в стихотворении ведется — как и во многих других текстах того же цикла — от первого лица. А так как в повести «Клара Милич» Тургенев пользуется авторским рассказом, то, естественно, и сон Аратова рассказывается от третьего лица.

Сопоставим примеры из двух текстов, используя эти сопоставления для характеристики основных преобразований, превращающих текст прозаического стихотворения в собственно прозаический повествовательный текст. Начнем с нескольких фраз, в обоих случаях «задающих тон» всей стилистике текста. В каждом случае я выделяю курсивом текст самостоятельного стихотворения в прозе.

«Мне снилось: я шел по широкой голой степи, усеянной крупными угловатыми камнями, под черным, низким небом».

В повести: «Ему снилось: Он шел по голой степи, усеянной камнями, под низким небом».

Сразу бросается в глаза, что в этом предложении в повести сняты четыре прилагательных, нагнетающих определенное образное впечатление (широкой, крупными, угловатыми, черным); в двух случаях из двух прилагательных остается одно, причем исчезают оба эпитета, образно характеризующие вид камней. Такого же рода значимые сокращения будут повторяться во всем тексте.

Следующее предложение в самостоятельном стихотворении дано с красной строки, в повести же им продолжается первый абзац.

«Между камнями вилась тропинка. . . Я шел по ней, не зная сам куда и зачем. . .»

В повести вместо многоточий в первом случае — точка с запятой, во втором — точка. Вследствие этих изменений фразы производят впечатление большей завершенности. Вторая процитированная фраза из стихотворения в повести звучит так: «. . .он пошел по ней». Совершенный вид глагола, умолчание о чувствах Аратова и упомянутое изменение знаков препинания придают тексту характер простого и категоричного утверждения, резко ослабляя лирическую окраску.

«Я начал вглядываться: облачко стало женщиной, стройной и высокой, в белом платье, с узким светлым поясом вокруг стана».

В повести: «Он вглядывается; облачко стало женщиной в белом платье с светлым поясом вокруг стана».

В собственно прозаическом тексте повествование ведется в настоящем времени, что придает изображаемой ситуации объективно драматичный характер. Опять пропускаются эпитеты, на этот раз определяющие внешность женщины. Вместо обеспечивающего некоторую паузу двоеточия после «вглядывается» в тексте повести появляется точка с запятой, которая делит текст на части, в меньшей мере передающие процесс субъективного восприятия, чем это было в стихотворении.

А вот два примера из последующей части текста. Они не менее показательны.

«Женщина остановилась перед ним. . . и я подбежал, дрожа от радости и ожидания, не без страха». После этого следовал еще один абзац, которого нет в повести: *«Я ничего не промолвил. . . Но она тихо обернулась ко мне».* Затем опять новый абзац: *«И я все-таки не увидал ее глаз. Они были закрыты».*

В повести: «Женщина остановилась. Аратов подбежал к ней. Она к нему обернулась — но он все-таки не увидал ее глаз. . . они были закрыты». Здесь пропускаются слова, говорящие о чувствах Аратова, вследствие чего первая процитированная фраза разделяется в повести на два коротких отрывистых предложения. Нет уже здесь и наречия *«тихо»* и слов *«Я ничего не промолвил. . .»*. Текст повести становится по сравнению со стихотворением каким-то голым. Последующие два предложения стихотворения, наоборот, оказываются более короткими; это, может быть, связано с тем, что они завершают маленький абзац, в то время как в повести этой композиционной границы нет. Вместо *«И я все-таки»* в повести «но он все-таки». В сне Аратова это не только не начало нового абзаца, но даже не начало нового предложения. Замена *И* на «но» усиливает противопоставление и в то же время приводит к снятию анафоры, образованной в стихотворении началом указанной строчки и дальнейшими словами *«И вот я уже лежу»*.

Следующий пример требует несколько более подробной характеристики.

«Она вся словно окаменела; всем телом своим, каждой чертою лица своего эта женщина походила на мраморную статую».

От этого длинного мелодичного предложения в повести остается лишь короткое утверждение: «Она походила на статую», из музыки предложения сохраняется только инструментовка на «а», ввиду краткости фразы гораздо менее ощутимая, чем в стихотворении. Интересно, что черновой автограф стихотворения сильно напоминает текст повести: окончательному тексту *«всем телом своим, каждой чертою лица своего эта женщина походила»* предшествовало в черновом автографе: *«она вся походила»*. Работая над текстом, Тургенев создал более поэтический, ритмичный вариант, а для повести отчасти восстановил текст чернового автографа.

Еще один пример того же рода демонстрирует нюансы уже знакомой нам тенденции.

«Я хотел броситься за нею, но я не мог пошевельнуться, не мог разжать сложенных рук — и только глядел ей вслед, с тоской несказанной».

В повести фраза сильно изменена: «Аратов хочет тоже подняться. . . но ни пошевельнуться, ни разжать рук он не может и только с отчаяньем глядит ей вслед». *«Я хотел броситься за нею»* гораздо более динамично и экспрессивно, чем «хочет. . . подняться». В сне Аратова исчезает определение к слову «руки», исчезает повторение слов *«не мог»* с двумя инфинитивами, придававшие фразе ритмический характер. Вместо предложения из двух частей

lib.pushkinskijdom.ru

(после тире), разделенных запятой, — предложение, продолженное без паузы; вместо инверсии более прозаический прямой порядок слов; вместо «*с тоской несказанной*» — просто «с отчаяньем». Снимается эпитет, к тому же исчезает инструментовка на «с» («*с* тоской несказанной»). Зато в этом предложении один из редких примеров появления многоточия там, где его не было в стихотворении.

И наконец, следует отметить трансформацию финала. По совершенно понятной причине исчезает последнее предложение стихотворения: «*А я остался неподвижен и нем на могильной моей плите*». Дело в том, что вместо этого заключительного предложения Тургенев добавляет десять строк, описывающих возвращение незнакомой женщины, которая оказывается Кларой, и ее диалог с героем: она зовет Аратова с собой на тот свет. Таким образом новая концовка, прерванная фразой «Аратов проснулся», связывает сон Аратова с дальнейшим действием повести. В общем, вставленное в повесть, отдельное стихотворение подчиняется сюжетному движению «Клары Милич». Хотя подзаголовок «Встречи»—«Сон», однако в своей первоначальной форме сюжет меньше похож на реальный сон, чем в том случае, когда все это становится фрагментом истории Аратова: в его сне предметы имеют менее определенные черты, чем в стихотворении, а конкретные контуры статуи сменяются более призрачным, бестелесным образом Клары. Интересно, что играющий в дальнейшем важную роль в галлюцинациях Аратова венок из роз впервые появляется во «Встрече», и Тургенев уже оттуда переносит этот мотив в «Клару Милич».

* * *

Приведенные примеры позволяют убедиться в том, что между самостоятельным стихотворением в прозе «Встреча» и использованной в повести собственно прозаической измененной формой того же текста очень большая разница. Прежде всего сон Аратова является намного менее «живописным»: таков результат исчезновения целого ряда наречий и прилагательных, в том числе цветовых. Перед читателем уже не условный сон автора или лирического героя, а факт сознания героя повести, образ которого писатель объективизирует, подчеркивая дистанцию между собой и Аратовым. Ослабление «живописности» и особой роли экспрессивного поэтического слова сопровождается увеличением значения действия. Более краткие предложения повести выражают и большую объективную драматичность (подобный эффект создается, например, и в повести «Сон», в которой наиболее напряженные моменты передаются краткими предложениями или отрывистыми фразами, разделенными точками с запятой на несколько самостоятельных частей).[24] Впечатлению напряженности, тревоги способствует чередование настоящего и прошедшего времени, начинающееся с того момента, когда Аратов видит женщину-облачко.[25] Это дает возможность косвенной передачи настроений героя, в то время как непосредственное описание его мыслей и внутренних состояний в тексте сна, как мы видели, снимается.

Значительным образом меняется звучание первоначального текста внутри повести. При этом действуют разные факторы: во-первых, краткие, отрывистые фразы повести гораздо менее ритмичны, чем длинные предложения стихотворения с частыми повторениями, синтаксическими параллелями. Во-вторых, разница между абзацами повести и стихотворения, на которую я указала по ходу сопоставления, тоже существенно меняет ритмику текста.[26] А. М. Пешковский рассматривает абзац как самую крупную ритмическую единицу прозы и указывает на то, что в прозаических стихотворениях Тургенева предельная величина абзацев (по терминологии Пешковского — «интонационных целых») «гораздо меньше, чем, например, у Л. Толстого, у Достоевского или у самого Тургенева в других произведениях».[27] Разумеется, это не чисто «графический» вопрос: как свободный стих звучал бы совсем по-другому, если бы не делился на строки,[28] так и само присутствие, длина и, конечно, ритмическая организация абзацев играют значительную роль в звучании стихотворения. Тенденция изменения абзацев в сне Аратова по сравнению с «Встречей» — увеличение по объему. Тем самым звучание сна приближается к традиционной прозе. Как видим, включение текста стихотворения в прозе в произведение другого жанра предполагает стилистическое его преобразование. Так наглядно подтверждается решающая роль самостоятельности и завершенности как жанрообразующих качеств стихотворения в прозе.

Точное выяснение этих жанрообразующих качеств существенно не только для понимания тургеневского цикла, но и для изучения всей последующей истории жанра стихотворений в прозе, жанра, сыгравшего значительную роль в становлении малых форм символической прозы

---

[24] См.: *Зельдхейи-Деак Ж.* «Сон» Тургенева: К проблеме поэтики «таинственных» повестей // Studia Slavica. XXVIII. Budapest. 1982. С. 279—298.

[25] На такую же роль чередования глагольных времен в «Старухе» указывает Н. Р. Левина (Ритмическое своеобразие жанра стихотворений в прозе // Русская литература и общественно-политическая борьба XVII—XIX веков. Л., 1971. С. 231).

[26] В стихотворении «Встреча» 18 абзацев, в сне Аратова только 8, не считая добавленной концовки.

[27] *Пешковский А. М.* Указ. соч. С. 79.

[28] См.: *Жирмунский В. М.* Композиция лирических стихотворений. Пб., 1921. С. 87—95; *Bernard S.* Op. cit. P. 413—414; *Жовтис А.* Указ. соч. С. 107.

lib.pushkinskijdom.ru

и — шире — в процессе лиризации прозы, который развертывается еще в 1870—1880-е годы и получает затем мощное продолжение на рубеже XIX и XX веков. Только установление жанрообразующих особенностей стихотворения в прозе позволит выявить, описать и объяснить некоторые важные линии этого процесса.

В публикуемой статье трудно было бы охватить всю сумму фактов, представляющих интерес с данной точки зрения. Укажу лишь на те из них, изучение которых может оказаться наиболее плодотворным.

Предлагаемая характеристика жанрообразующих свойств стихотворения в прозе может оказаться полезной, скажем, для решения спорного вопроса о жанровой природе ряда лирических миниатюр Горького, иногда именуемых стихотворениями в прозе.[29] Думаю, что эта характеристика может также помочь прояснению характера и направления жанровых поисков, предпринятых в области «малой прозы» И. Анненским, Ф. Сологубом, В. Брюсовым. Предметом внимания исследователей должен, в частности, стать вопрос об отношении к жанру стихотворения в прозе таких сочинений, как «Отдаленные дни» Брюсова, «Мысли-силы» и «Сентиментальные воспоминания» Анненского, «Дрова» Сологуба и др. Чрезвычайно интересной задачей историков литературы явилось бы выяснение жанровой специфики ряда полузабытых произведений, во множестве публиковавшихся в альманахах символистов. Многие из них так или иначе тяготели к жанру. стихотворений в прозе. Назову для примера миниатюры А. Ремизова «Молитва» или «Последний час», цикл лирических миниатюр А. Куренского в альманахе «Гриф», маленький цикл Е. Лундберга в альманахе «Белые ночи», «Мимолетное» В. Розанова, «Лирические отрывки в прозе» А. Белого и др.[30]

Напомню и о том, что с жанровой традицией стихотворений в прозе иногда сближают миниатюры И. Бунина, большинство которых создано в 1930—1940-е годы, а также некоторые произведения М. Пришвина и др.[31]

Описание и объяснение процесса жанрового развития требует прежде всего установления его границ, требует четкого исходного представления о жанровой специфике. Думается, что предложенные в публикуемой статье наблюдения и соображения могут послужить решению этой задачи.

---

[29] Это делает, например, А. Ковач в упоминавшейся выше статье (С. 272—280), и далеко не всегда обоснованно. Трудно, в частности, согласиться с его утверждением о том, что «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике» являются стихотворениями в прозе: ведь обе «Песни» — метрические.

[30] См.: Гриф. М., 1905. С. 39—40, 41—42, 147—148; Белые ночи. СПб., 1907. С. 166—171; Северные цветы. СПб., 1903. С. 151—153.

[31] См.: *Иссова Л. Н.* Жанр стихотворения в прозе у И. С. Тургенева и И. А. Бунина // Известия Воронежского гос. пед. ин-та. Т. 72. 1968. С. 70—78; *Левина Н. Р.* Стихотворения в прозе И. С. Тургенева. Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. филол. наук. Л., 1970. С. 15.

Мишель Никё (Франция)

ПОЭМА С. ЕСЕНИНА «ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» В СВЕТЕ АГГЕЛИЗМА

«До сих пор поэма „Черный человек" остается во многом загадочной», — писал В. Г. Базанов,[1] имея в виду не столько споры вокруг датировки поэмы,[2] сколько вопрос о прототипах «черного человека» в окружении Есенина. В. Базанов исключает из числа недругов Есенина Н. Клюева, которого А. Марченко считала «вторым (после В. Шершеневича. — *М. Н.*), а может быть и первым» черным человеком в жизни Есенина.[3] Но сам он толкует поэму как «продуманный ответ» «тем, кто порочил его (Есенина. —

---

[1] *Базанов Вас.* Сергей Есенин и крестьянская Россия. Л., 1982. С. 284.

[2] По всей вероятности, поэма возникла во время зарубежной поездки Есенина 1922—1923 годов. Есенин правил поэму 12—13 ноября 1925 года. См.: *Бельская Л. Л.* К истории создания поэмы С. Есенина «Черный человек» // Русская литература. Алма-Ата, 1973. Вып. 4. С. 60—70. С. Кошечкин в статье «Прескверный гость» (Вопросы литературы. 1985. № 9. С. 109—120), перепечатанной в сборнике «В мире Есенина» (М., 1986) под названием «Прозрение и мужество», оспорил точку зрения А. С. Субботина, который придерживается более поздней датировки (*Субботин А. С.* О поэзии и поэтике. Свердловск, 1979). Но в сущности выводы А. С. Субботина касаются только окончательного варианта: «Некоторые строфы, метафоры и сюжетные ситуации окончательного варианта поэмы. . . возникли не ранее зимы 1924—1925 года, скорее всего — в Батуми» (*Субботин А. С.* Указ. соч. С. 186).

[3] *Базанов Вас.* Указ. соч. С. 285 (см. также его статью «О Сергее Есенине: (Заметки)» — Русская литература, 1974. № 4. С. 29); *Марченко А.* Поэтический мир Есенина. М., 1972. С. 201.

lib.pushkinskijdom.ru

М. Н.) нравственный облик и искажал его поэзию» (как Крученых): [4] «„Черный человек" — не вымышленный образ и тем более не двойник поэта».[5]

Но если Есенин действительно направил свою поэму против конкретного внешнего «врага» (или врагов), почему он не обнародовал ее при жизни? Ведь против своих «врагов»-напостовцев он написал в 1923 году статью (а не поэму) «Россияне».[6] К тому же такой подход к поэме делает ее конъюнктурной, злободневной, оторванной от душевного склада поэта, который еще в 1914 году писал М. П. Бальзамовой: «Я выдохся, изолгался и, можно даже с успехом говорить, похоронил или продал свою душу черту, — и все за талант».[7]

Поиски литературных прототипов более оправданны. Их было найдено множество, как из русских произведений («Повесть о Горе-Злочастии», «Моцарт и Сальери» Пушкина, «Портрет» Гоголя, «Братья Карамазовы» Достоевского, «Черный монах» Чехова, «Двойник» Блока и т. д.), так и из иностранных («Декабрьская ночь» Мюссе, «Ворон» Э. По и др.). Можно было бы сюда прибавить и «черного человечка», встреченного Фомой Гордеевым в одной гостинице и оказавшегося бывшим школьным товарищем. Но все это — внешние сходства или реминисценции, мало объясняющие суть есенинского «черного человека», которую надо искать прежде всего в самом творчестве Есенина.

Приведя стихи Есенина «Но коль черти в душе гнездились — Значит, ангелы жили в ней» (I, 210), С. Кошечкин пишет: «Так вот: в „Черном человеке" запечатлен, образно говоря, бунт ангелов против чертей, представлена попытка изгнать нечисть из души».[8] Для обозначения этой «нечисти», этих «чертей» есть как раз у Есенина специальный термин — *аггелизм*, — до сих пор обойденный есениноведами.[9] Термин «аггелизм» появился у Есенина в 1918 году не без влияния С. Клычкова, который остро ощущал, особенно с войны 1914 года, наличие разрушительных сил в мире и в человеке: «Одно время сблизился с Сергеем Клычковым, поэтом очень близким мне по духу. Тогда я писал „Ключи Марии" и собирался вместе с ним объявить себя приверженцем нового течения „Аггелизм", не „ангелизм", а через два *г*».[10]

Слово *аггел*, как *ангел*, восходит к греческому *аггелос*, но употребляется в противопоставлении слову *ангел*: *аггелы* — это «падшие ангелы», соратники дьявола. Это слово встречается в церковнославянском переводе Библии [11] и в духовных стихах.[12] Оба эти источника хорошо знал Есенин (V, 225). В церковнославянских текстах титло отличало «хороших» ангелов от плохих («аггелов»): аѓглъ (или аѝглъ) — аггелъ (ангелъ).[13] Можно найти и у русских писателей употребление слова *аггел* с данным отрицательным значением.[14]

Таким образом, аггелизм обозначает, по всей вероятности, те «мрачные силы» (I, 225), которые, выражаясь метафорами из «Ключей Марии» (метафоры гностического характера), мешают человеку «выйти из сферы лунного влияния» (V, 188) и «просунуться» «в пространство от луны до солнца» (V, 187), чтобы через «иаковскую лестницу орнамента слова, мысли и образа» (V, 190), т. е. «ангелические образы» (V, 184, 202), «озлатонивить мрак» (II, 45), осуществить «примирения» человека «с собой и миром» (V, 175) и «брак с небом» (V, 179).

Если С. Клычков очень рано испытал разлад между мечтой и действительностью [15] и в его романах проблема зла является центральной, то Есенин ощутил силы тоски и раздвоения

---

[4] *Базанов Вас.* Указ. соч. С. 291.

[5] Там же. С. 289.

[6] Статья до сих пор целиком не опубликована. См.: *Белоусов В.* Сергей Есенин: Литературная хроника. М., 1970. Ч. 2. С. 281—282.

[7] *Есенин С.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1980. Т. 6. С. 53. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

[8] *Кошечкин С.* Прозрение и мужество // В мире Есенина. М., 1986. С. 385.

[9] См. нашу статью «Sergej Klyčkov et Sergej Esenin entre le symbolisme et l' „aggelisme"» (Cahiers du Monde russe et soviétique. 1973. XVIII (1—2). P. 33—60).

[10] *Розанов И.* Есенин о себе и других. М., 1926. С. 17.

[11] «Михаилъ и аѓгли его брань сотвориша со зміемъ, и змій брася, и аггели его» (Апокалипсис, XII, 7). В русском переводе: «Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них».

[12] *Безсоновъ П.* Калики перехожие. Сборникъ стиховъ и исследование. М., 1863. Вып. 5. С. 129, 142, 201, 216; М., 1864. Вып. 6. С. 75, 77, 81.

[13] Словарь И. И. Срезневского. Стлб. 22. «Словарь русского языка XI—XVII вв.» (М., 1975. Вып. 1) не отмечает эту разницу, между тем как «Книга глаголаема буквы», изданная И. В. Ягичем в «Рассуждениях южнославянской и русской старины о церковнославянском языке» (Берлин, 1896), предписывала переписчикам употребить титло для всех божественных и святых имен, а писать без покрытия («складом») «всяко имя отпавшее»: «ангелы лукавые», «лжеапостолы», «дух лукавый», «злочестивые цари и князи и епископы» и т. п. (С. 454). Ссылкой на этот источника я обязан французскому ученому В. Водову.

[14] См., например, в письме Пушкина П. А. Вяземскому от 4 ноября 1823 года, у Н. Ф. Федорова («Вопрос о братстве или родстве. . .», прим. 20), Чехова («Винт»), Булгакова («Белая гвардия», гл. 19).

[15] «Жизнь черна. Что было бы, если б не было песни, поэзии?» (письмо С. Клычкова Б. Садовскому от 2 июня 1912 года. — ЦГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 69. Л. 3). См. также письмо Клычкова П. А. Журову от 1 января 1917 года (Русская литература. 1971. № 2. С. 154).

lib.pushkinskijdom.ru

(«надеваю на себя маску веселия» — V, 11) с того момента, как поселился в Москве в 1912 году. По его письмам Г. А. Панфилову и М. П. Бальзамовой можно проследить, как при столкновении с реальностью его раннее толстовство терпит крушение: «Разбиты сладостные грезы» (VI, 42). Поэтическое творчество Есенина во многом порождено чувством «потерянного рая», оно есть отчаянная попытка воскресить этот рай, воплощенный в образе родного края (II, 37), как и сама Инония. Как «блудный сын», поэт стремится в «отчий дом», или «отчий рай» (II, 49), через революцию, Москву кабацкую («Чтоб подумать хоть миг об ином» — I, 194) и в конце концов через смерть, которая «обещает встречу впереди» (IV, 211).

Превращение «дорогого», «светлого», «чудесного гостя» (I, 144; II, 46, 47; V, 202) в «скверного гостя» (II, 72), «прескверного гостя» («Черный человек» — III, 169), «железного гостя» (I, 161), который обозначает «умерщвление личности как живого» (VI, 100), замена ангелов в душе чертями (I, 210) — это и есть аггелизм. Отражение «пророка» в «синих затонах» озер Инонии (II, 58) — знак того, что «пространство будет побеждено» (V, 182), — уступает место отражению черного «монаха» [16] в зеркале. «Черный человек» — объективация, воплощение аггелизма; он не конкретный враг или «шантажист»,[17] не просто двойник поэта, не только «проекция внутренних переживаний» или «жестокой совести»,[18] он — образ всей той «темной силы» (I, 206), которая приковывает к старой колее шар земной (II, 65), «телегу земли» (V, 189) и в ней всех «алчущих света» (V, 189) и «царства солнца» внутри себя (V, 187): «Мне другое синеет, Другое в тумане мне чудится» (III, 238).

Современники Есенина отметили, что душа поэта была «полем брани света с тьмой».[19] А. Воронский говорит о «борьбе двух душ»: «Два человека вели в нем тяжкую, глухую и постоянную тяжбу: юноша с кроткими глазами, более синими, чем небо... — и городской гуляка, забияка, скандалист и озорник...»[20] Поэма «Черный человек», как и многие другие стихотворения, свидетельствует о том, что Есенин осознавал свою «черную гибель» (I, 183), свое раздвоение («Оторвал я тень свою от тела», — писал он еще в 1916 году — IV, 125) и противоборствовал этому. В этом смысле «Черный человек» — «поэма прозрения и мужества».[21] Но Есенин проиграл эту борьбу. Максимализм, который он так ярко проявлял в «Инонии» (слияние исторического и эсхатологического времени, уничтожение пространства), обречен на неудачу: одним махом (ударом тростью) не рассеять личное и мировое, вековое зло; одно лишь отражение, видимость «черного человека» разбита, а не сущность его: «Я один... И разбитое зеркало» (III, 170). К тому же акт разбивания зеркала имеет зловещее значение, если вспомнить традиционную (у многих народов) связь души с зеркалом: он означает утрату человеческой цельности, предзнаменует смерть. Думая уничтожить двойника, наваждение, герой убивает самого себя.[22] С такой точки зрения правка поэмы перед смертью не является случайной.

Идею аггелизма как литературного направления Есенин скоро бросил:[23] имажинизм был более верным тактическим путем к славе. Но сам аггелизм в мире Есенина не исчез. Этим термином Есенин сумел определить одну из глубочайших и сложнейших ипостасей своего личного мира и общего мироздания, которая приведет его к гибели после мужественного поединка в поэме «Черный человек».

---

[16] «Монах» — деревенское прозвище молодого Есенина и анаграмма Номаха — образа, содержащего автобиографические элементы (см.: *Мекш Э. Б.* Сюжетно-жанровые искания Есенина 1921—1925 гг. // Сюжет и художественная система. Даугавпилс, 1983. С. 100—111).

[17] *Базанов Вас.* Указ. соч. С. 282.

[18] *Крученых А.* Черная тайна Есенина. М., 1926. С. 18.

[19] Слова Гоголя, приведенные А. Марченко (*Марченко А.* Указ. соч. С. 190).

[20] *Воронский А. К.* Об отошедшем // Искусство видеть мир: Портреты; Статьи. М., 1987. С. 192.

[21] *Кошечкин С.* Указ. соч. С. 385.

[22] Сравнивая «Черного человека» Есенина и «Осень» А. Белого, Л. Н. Малюкова пишет: «Направляя удар против страшных видений, они (Есенин и Белый. — *М. Н.*) убили самих себя» (*Малюкова Л. Н.* Поэма С. Есенина «Черный человек» и стихотворение А. Белого «Осень» // Проблемы советской поэзии. Челябинск, 1974. Вып. 2. С. 107).

Отто Ранк в своем исследовании о двойничестве («Der Doppelgänger», 1914) приводит обширный литературный материал по теме двойника и толкует «убийство двойника» как своего рода самоубийство: «Убийство двойника, которое так часто встречается (в художественных произведениях. — *М. Н.*) и через которое герой хочет оградить себя от преследований своего собственного „я", есть не что иное, как самоубийство, совершенное в безболезненном виде смерти другого „я". Этот акт дает его автору неосознанную иллюзию, что он оторвался от злого и предосудительного „я", и эта иллюзия, кстати, является, по всей видимости, условием любого самоубийства» (гл. 7; перевод с французского). С этой точки зрения было бы интересно проследить тему зеркала (и разбитого зеркала) и двойничества в романе Арагона «Гибель всерьез» (1965), где голубые глаза героя превращаются в черные и где разбитое зеркало означает распад личности и сумасшествие.

[23] *Розанов И.* Указ. соч. С. 17; Памяти Есенина. М., 1926. С. 40.

lib.pushkinskijdom.ru

Раскрытие смысла слова «аггелизм» бросает свет не только на поэму «Черный человек», но и на все творчество Есенина, выявляя ту «темную силу», которая борется со всем светлым и «голубым» в поэте и в мире.

ПИСЬМА А. М. РЕМИЗОВА К В. В. ПЕРЕМИЛОВСКОМУ

(ПОДГОТОВКА ТЕКСТА Т. С. ЦАРЬКОВОЙ, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ А. М. ГРАЧЕВОЙ)

В жизни и творчестве одного из крупнейших русских писателей XX века А. М. Ремизова во многом неизученным остается период 20-х—начала 40-х годов, когда находящийся в расцвете творческих сил литератор оказался в эмиграции и продолжал писать, постоянно ощущая тоску по Родине и свою духовную связь с ней. Существенный материал для исследования литературных интересов писателя и его быта дают письма Ремизова к В. В. Перемиловскому с 1927 по 1949 год. Предлагаемая ниже научная публикация переписки А. М. Ремизова периода эмиграции является одной из первых в советском литературоведении.[1]

Владимир Владимирович Перемиловский (1880—?) родился в г. Вильно в семье разъездного чиновника Управления перевозки почт по железной дороге, коллежского асессора В. М. Перемиловского. Его детство прошло в г. Вержболово Сувалкской губ. Царства Польского, что способствовало блестящему знанию польского языка и последующему интересу к западно-славянским литературам. После смерти отца в 1895 году Перемиловский вместе с матерью переехал в Петербург и в 1899 году поступил на физико-математический факультет Петербургского университета.[2] В 1901 году он перевелся на романо-германское отделение историко-филологического факультета. Единственным источником существования семьи была пенсия за отца, и материальное положение Перемиловского было тяжелым. В его личном студенческом деле имеется целый ряд просьб о денежном пособии. В 1907 году Перемиловский перешел на славяно-русское отделение, сосредоточившись на изучении древнерусской и польской литератур. Особое внимание он уделял курсам профессора И. А. Шляпкина, под руководством которого написал кандидатское сочинение «К вопросу о ближайшей родине русской редакции апокрифа „Сон богородицы“».[3]

1905—1907 годы были поворотными в жизни Перемиловского. Студент-словесник начал заниматься литературной работой: много переводил польских авторов (Ст. Жеромского, Я. Леманьского и др.),[4] рецензировал новые произведения польских писателей в журналах «Весы», «Мир искусства», «Вопросы жизни», «Наша жизнь», газете «Донская речь». Особое внимание он уделял пропаганде творчества Ст. Пшибышевского.

В это время Перемиловский сблизился с кругом петербургских символистов, стал посетителем петербургских салонов, в частности, «Башни» Вяч. Иванова. Вероятно, именно тогда и произошло его знакомство с Ремизовым, возникшее на почве взаимного интереса к древнерусским памятникам, наличия общего знакомого — известного медиевиста И. А. Шляпкина, а также присущей обоим увлеченности творчеством Пшибышевского. Весной 1907 года Перемиловский перенес катаральное воспаление легких и для поправки здоровья должен был уехать за границу — совершить путешествие по югу Франции, Италии и Испании. Очевидно, в этот период он находился в очень тесных дружеских отношениях с Ремизовым, так как почти ежедневно писал ему подробные отчеты о своих заграничных впечатлениях, посылал засушенные цветы, интересовался жизнью общих знакомых и литературной работой писателя. Так, в письме от 23/10 мая 1907 года из Ментоны Перемиловский спрашивал: «А что же Морщинка? [5] Лимонарь [6] как выйдет, Алексей Михайлович, сразу посылайте, — жду его, жду!» [7] После возвращения в Петербург Перемиловский вторично заболел воспалением легких, пропустил семестр, а в

---

[1] См.: А. М. Ремизов: Письма к В. И. Малышеву / Публикация С. С. Гречишкина и А. М. Панченко // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 203—215.

[2] Дело Императорского СПб университета студента Владимира Владимировича Перемиловского // ЦГИАЛ. Ф. 14. Ед. хр. 36966. 50 л.

[3] ИРЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Ед. хр. 534. 64 л.

[4] См.: Польская художественная литература XVI—начала XX вв. в русской и советской печати. Библиографический указатель. Т. 1—2. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łodź. 1982, 1986 (по указателю).

[5] *Ремизов А.* Морщинка. Сказка. СПб., 1907. 16 с.

[6] *Ремизов А.* Лимонарь. СПб., 1907. 136 с.

[7] ГПБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 4. об.

© Грачева А. М., вступительная статья, примечания, 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

дальнейшем вновь не посещал лекций, зарабатывая средства для платы за учебу, и в результате окончил университет лишь в 1910 году. После неудачной попытки получить место учителя в средних учебных заведениях Петербургского, а затем Оренбургского учебных округов, Перемиловский нашел педагогическую работу в Риге. В его отношениях с Ремизовым в конце 1900-х годов наступило охлаждение, причины которого выяснить не удалось. Об этом свидетельствует единственное после массы писем 1907 года письмо Перемиловского Ремизову от 15 марта 1912 года, резко отличающееся по тону от прежних восторженно-дружеских посланий: «Многоуважаемый Алексей Михайлович! Несколько уж раз я собирался обратиться к Вам с сегодняшней просьбой, но в решительную минуту сомнение и прямо отрицательная уверенность заставляли отложить перо, — а через некоторое время начинало казаться, что *это* Вы могли бы исполнить, не считаясь с личным, бывшим между нами, а просто как писатель, автор — читателю. Нынче на короткий срок судьба привела меня в Петербург, и моя навязчивая мысль, как видите, овладела мной окончательно — именно я думаю, и никак не могу решить окончательно, отрицательно — неужели я *не могу* получить — если есть экземпляры, те две сказки, которые Вы собирались печатать после „Табака“ [8]? Мое послание ⟨нрзб.⟩ меня, я сознаю это, но м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩ Вы взглянете на него другими глазами? Я Вас прошу, только не оставляйте письмо без ответа, — пусть хоть одним „нет“, но известите!» [9] Ответ Ремизова не сохранился, но их знакомство было продолжено. Уже в эти годы Ремизов обращался к Перемиловскому за литературной помощью при работе с текстами на иностранных языках, недостаточно известных ему самому. Так, в записке Вяч. Иванову, относящейся ко времени между 1917 и 1920-м годом, Ремизов писал: «...я исчерпанный, кроме того, засидевшийся над переводом... Ко мне придет сегодня Вл. Вл. Перемиловский, хотели кое-какие трудности тарабарского (тюрингского) диалекта выяснить». [10]

Новый период дружеских отношений Ремизова и Перемиловского начался в конце 20-х годов, когда оба они были эмигрантами: Ремизов жил в Париже; Перемиловский был преподавателем латинского языка русской гимназии в г. Моравска Тшебова, а позднее — профессором Министерства информации в Праге. Возможно, что переписку начал Перемиловский, поскольку первое сохранившееся письмо Ремизова носит характер ответного. Теперь писатель с благодарностью принял слова дружеского участия и предложение технической помощи в литературной работе, очевидно, сделанное Перемиловским. Основные темы писем Ремизова: неустроенность быта, тяжелые условия литературной деятельности писателя-эмигранта, творческая работа над новыми книгами. В письмах отражены перипетии квартирного «странствования» Ремизовых по Парижу. Приводимые датировки времени проживания на каждой квартире и объяснения причин переездов будут полезны при изучении последних автобиографических произведений Ремизова. Письма проникнуты постоянной заботой о добывании средств к существованию, так как Ремизова постепенно перестают печатать. Одним из таких средств были его ежегодные литературные вечера, на которых он читал собственные произведения и отрывки из книг близких по духу писателей-классиков. Программы таких вечеров составлялись самим Ремизовым и являются не только свидетельством его литературных привязанностей, но и своеобразным видом творчества. Одна такая программа была послана Перемиловскому.

Другим источником существования стало для Ремизова рисовальное искусство. Цвет и линия, наравне со словом, являлись в его поэтике составляющими единого художественного образа. Зачастую писатель сначала прорисовывал свое произведение, облекая затем пластические образы в языковую ткань. Своеобразный талант Ремизова-графика ценили многие художники, в том числе такие мастера авангарда, как П. Пикассо, Н. Гончарова, М. Ларионов. Ю. Анненков писал в своих воспоминаниях, что «Ремизов несомненно мог бы рисовать, как Серов, как Репин, или как Малявин. Но их музы его не вдохновляли... Ремизов создавал полу-детские, полу-заумные графические фантасмагории, удивлявшие меня игрушечностью при глубоком графическом мастерстве. Он рисовал замечательно и диковинно... Не знаю, собирал ли кто-нибудь ремизовскую графику? Если нет, то это очень печально для истории русского искусства». [11] С конца 20-х годов Ремизов создал целый ансамбль рукописных иллюстрированных альбомов, в которых текст органично сочетался с оригинальной графикой. Их общее число за период с 1931 по 1949 год достигло четырехсот. По свидетельству друга писателя — Н. В. Резниковой, «рисунки и надписи Ремизова представляли собой чудо тончайшей графики. А. М. составлял из этих рисунков альбомы, или иллюстрировавшие его произведения, сказки, или на тему каких-нибудь событий или литературных произведений, или портреты знакомых лиц или писателей. Эти альбомы А. М. делал на продажу. Друзья Ремизовых обходили по адресам состоятельных людей или просто лиц, желавших помочь нуждающемуся писателю... Продажа альбомов помогала иног-

[8] *Ремизов А.* Что есть табак. Гоносиева повесть. СПб., 1908. 35 с.

[9] ГПБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 17—17, об.

[10] ГБЛ. Ф. 109. Карт. 33. Ед. хр. 54. Л. 28.

[11] *Анненков Ю.* Дневник моих встреч. Т. 1. New York, 1966. С. 228.

lib.pushkinskijdom.ru

да Ремизовым прожить в самые трудные моменты».[12]

Эти рисунки неоднократно выставлялись,[13] и в письмах к Перемиловскому содержатся подробные сведения о двух таких выставках. Первая из них — выставка рисунков русских писателей, организованная в конце 1933 года в Праге художником Н. В. Зарецким.[14] На ней были представлены рисунки Блока, Гумилева, Волошина, Маяковского, А. Толстого и многих других.[15] Ремизов предложил для экспозиции около 1000 своих графических работ и альбомов, среди которых такие, как «Сны Тургенева», «Видения Гоголя», «Из Достоевского», «Из Лескова», «Посолонь», «Взвихренная Русь».[16] Один из представленных в Праге альбомов, названный «Рисунки писателей», хранится в Литературном музее ИРЛИ и позволяет представить художественную специфику ремизовского синтеза изобразительного и словесного искусств. Альбом предваряет своеобразное вступление, как бы вводящее в его художественное пространство: «В этом альбоме рисунки писателей: некоторые пришлось выявить — всё ведь это на клочках и обрывышках, — только Осоргина не пришлось трогать. Для всех рисунков я нарисовал рамку и оклад. Петр Петрович Сувчинский — самый веселый из всех, кого привела судьба встретить здесь, и рисунок его не без игры: „церковь на доходном фундаменте". а как Петр Петрович котлеты делает, повару не угнаться! и большой знаток старопения быть бы ему регентом синодального хора. Михаил Андреевич Осоргин — автопортрет — самый мрачный до отчаяния. Николай Николаевич Никитин — серапион — ученик Замятина, в молодости назывался в бытность свою в Берлине „маленький Пильняк". Может быть, в своих делах он и большой Лука, но я не видал в нем никакого лукавства: с каким уважением он говорил о Замятине; и не побоялся, а это такая редкость, громко — публично — заявить о своем отношении ко мне. Рисунок его — медицинский: „ларингит" — рука крепкая, но что-то есть не от рисовальщика, а от чертежника. Алексей Николаевич Толстой — даровитейший из писателей. Нарисовал своих предков: от распутинского мужика до барина: три картинки. Иван Сергеевич Соколов-Микитов — великий молчальник. безусловно способный, и если бы не лень, рисовал бы. Таких я встретил здесь еще двух — Очередина и Резникова. Вениамин Валерианович Корсак-Завадский — „египетский" самый мрачный и рисунок его черный бесприветный. Иван Андреевич Болдырев-Шкотт (1903—1933) — хороший чертежник, умел рисовать и рисовал, но рисовального будущего у него не могло быть: его съел бы шаблон. Про себя скажу: с детства у меня страсть рисовать и не знаю, что больше мне по душе: рисовать, читать или писать».[17] Альбом состоит из рисунков современников Ремизова, но рисунков, поданных в ремизовской «редакции». Писатель подверг каждый рисунок своей графической «правке», и они стали, таким образом, одновременно, и произведениями самого Ремизова. Этот альбом — проявление того же художественного метода «пересказа» чужого «текста» (в данном случае — изобразительного источника), который писатель неоднократно использовал при создании своих прозаических произведений. Альбом «Рисунки писателей» упоминается в письме Ремизова Перемиловскому от 8 августа 1934 года.

Перемиловский помогал писателю перевозить его работы из Праги во Францию. На некоторое время он имел в своем распоряжении все альбомы Ремизова и с разрешения автора экспонировал их в г. Моравска Тшебова. Как впоследствии писал Ремизов в статье «Рисунки писателей»: «Организатор выставки в Моравской Тшебове преподаватель гимназии В. В. Перемиловский отнесся с большим пониманием к моей рукописно-рисовальной работе. Картинок было до тысячи — „тюк-пуд", и надо было этот пуд распределить, устроить и показать. . . В учительскую — самую большую комнату в гимназии — снесли все классные доски (6), поставили их в линию с небольшими интервалами и закрыли девятью черными одеялами, — так получился экран. Два огромных стола должны были принять альбомы, которые не уместятся на экране. Из женского барака нанесли все, какие там были, горшки с цветами и зеленью. Сверху экрана спускался золоченый шнурок соб-

---

[12] *Резникова Н. В.* Огненная память. Berkeley, 1980. С. 74.

[13] См., например, каталог одной из последних выставок: Images of Aleksei Remizov. Drawings and Handwritten and Illustrated Albums from the Thomas R. Whithey Collection. Essay and catalogue of the Exhibition by Greta Nachtailer Slobin. Amherst college. 1985. 140 p.

[14] См. объявление о выставке: Числа (Париж). 1933. № 9. С. 197. Выставка имела рукописный каталог (опубл. в кн.: *Zaretzky V. N.* Russische Dichter als Maler und Zeichner. Herausgegeben und ergänzt von D. Tschižewskij. Verlag Ansel Bongers. Recklinghausen, 1960.

[15] *Василий Куковников [Ремизов А.].* Выставка рисунков писателей (Письмо из Праги) // Последние новости (Париж). 1933. № 4665. 30 дек. С. 3.

[16] *Вас. Куковников [Ремизов А.].* Рукописи и рисунки А. Ремизова // Числа. 1933. № 9. С. 191—194.

[17] ЛМ ИРЛИ. Ед. хр. 86698. Л. 5. Приведенный текст относится к 1933 году. В 1935 году в состав альбома включены еще рисунки В. А. Мамченко и П. П. Потемкина и сделано дополнение к тексту вступления: «Виктор Андреевич Мамченко — самый странный из „молодых"; и Петр Петрович Потемкин, известный за стих: папироска моя не курится» (Л. 5).

lib.pushkinskijdom.ru

ственной позолоты, на высоте глаз шнурок обхватывал альбом петлей и спускался, оттягиваемый кистью рябины. На экране были таким образом подвешены „Взвихренная Русь", „Посолонь", „Сказки". В пролетах между досками экрана были подвешены отдельные листы — портреты Гумилева и В. В. Перемиловского, четыре письма скорописью и грамоты. Параллельно экрану на широком лакированном столе были разложены все остальные альбомы, крепленые, чтобы их не возили по всему столу и не трепали: от одного края к другому было протянуто двенадцать шнуров, которые петлей обхватывали по два альбома — один для этой стороны, другой для той. За два дня выставки посетителей перебывало семьдесят; лупами очень пользовались. . .» [18] Источником столь подробного описания является письмо Перемиловского (см. публикуемое ниже письмо Ремизова № 39).

Наконец, наиболее существенное место в письмах отведено литературной работе над книгами «Оля», «Три серпа» и «Учитель музыки».[19] Перемиловский помогал Ремизову вычитывать опечатки в отдельно публиковавшихся главах, из этих печатных текстов писатель затем составлял единый текст книги. Особенно ценно в письмах Ремизова все, что относится к его работе над текстом автобиографической книги о своей жизни 1924—1939 годов. Целиком это произведение («Учитель музыки») было издано посмертно, в 1983 году. В послесловии публикатор — Антонелла д'Амелия отмечает, что «Ремизов никогда не писал свои книги последовательно, главу за главой, но составлял их как мозаику из отдельных, уже готовых рассказов, сказок и очерков, написанных в разное время. . . Так и *Учитель музыки* был составлен в начале 1949 года, хотя некоторые главы повести были обдуманы, написаны и частично опубликованы в 30—40-е годы в многочисленных эмигрантских журналах и газетах. Только в окончательной редакции своей хроники Ремизов соединяет эти разнородные материалы в единое автобиографическое повествование».[20] Письма Ремизова к Перемиловскому позволяют скорректировать это суждение исследовательницы. В письме от 8 марта 1934 года Ремизов обязуется прислать «самые точные указания. . . пяти частей „Учителя музыки"». Сохранившийся в корпусе писем план книги свидетельствует о том, что Ремизов исполнил свое обещание в конце 1934 года, так как самая последняя по времени публикация главы из этого плана — «Слепая» (Последние новости (Париж). 1934. № 4888. 11 авг.). Сравнение плана с окончательным составом книги показывает, что к этому времени замысел книги и ее состав в целом уже полностью сложились. Таким образом, нельзя утверждать, что «единое автобиографическое повествование» сформировалось только в 1949 году. Тогда была завершена окончательная редакция книги, а ее ранняя редакция на основании писем к Перемиловскому может быть датирована концом 1934 года.[21]

Публикуемые 50 писем А. М. Ремизова хранятся в Славянской библиотеке в Праге, шифр писем — ТА-7, шифр программы вечера и грамоты Перемиловского — ТА-8. В текстах сохранена авторская пунктуация, ошибки и описки в иностранных словах исправлены там, где они поддавались расшифровке. Кроме того, в библиотеке находится фотография А. М. Ремизова с дарственной надписью: «Владимиру Владимировичу Перемиловскому выцветшую и очень плохую карточку снятую этим летом в Париже Алексеем Ремизовым
MCMXXVII 11 XI
Столкнись я с вами на улице — через двадцать лет! — вы меня не узнали б. А. Ремизов» (Шифр ТА-36).

Выражаем глубокую благодарность директору Славянской библиотеки Иржи Вацеку и заведующей отделом редкой книги Зденке Чиновой за предоставленную возможность ознакомиться с этими материалами.

[18] Статья Ремизова «Рисунки писателей» вошла в его кн. «Мерлог», которая опубликована Антонеллой д'Амелия в кн.: Минувшее: Исторический альманах. Париж, 1987. № 3. С. 207.

[19] *Ремизов А.* 1) Три серпа. Париж, 1927. Т. 1—2. 160 и 160 с.; 2) Оля. Париж, 1927. 352 с.; 3) Учитель музыки. Париж, 1983. 576 с.

[20] *Ремизов А.* Учитель музыки. С. 555.

[21] Ср. высказывание Ремизова о своей жизни перед войной: «. . .пользуюсь всякой минутой, пишу, и у меня готовы две книги — „Голова львова" (IV и V-ая часть Оли) и „Учитель музыки", эмигрантская идиллия или на бессрочной каторге, а издать никто не берет, да до сих пор не изданы» (*Ремизов А.* Мышкина дудочка. Париж, 1953. С. 137).

lib.pushkinskijdom.ru

1

14.II.27
Paris.
A. Remizov
120 bis Av. Mozart
5 villa Flore
Paris XVI[e]

Дорогой Владимир Владимирович

очень виноват перед Вами за свое молчание. Много бед обрушилось. Погнали с квартиры.[1] А новую найти не легко. Потом всякие хвори: то я, то Серафима Павловна. И много всего задумано и времени не хватает. Мы живем по русски, т. е. продолжаем жизнь 1921 г⟨ода⟩, есть уже сноровка и все-таки хозяйство берет утренние часы. Такая судьба. Я не жалуюсь (Если и сердишься за разбитую тарелку, то на себя — на свою руку, которая не ловко повернулась).

Посылаю Вам стр⟨аницы⟩ 197—204. Вынул из чужой книги. Переписывать не хочется. Бога ради, верните *заказн⟨ой⟩ бандеролью*.

За перевод буду вам очень благодарен.

Карточек вам буду спрашивать. У нас есть Гумилев[2] в группе. Я попрошу его переснять и вам пришлю.

Подождите немного.

Хочу спросить вас: если вы следите за чешск⟨ими⟩ газетами, { по чешски / и по немецки } если вам встретится перевод из меня, заметьте № и название. Я никак не могу добиться, чтобы меня извещали. Я иногда случайно узнаю, что напечатано напр⟨имер⟩ в Prager Presse,[3] а по чешски, если и скажут, то не знай где и когда.

Владимир Владимирович, это стоит больше 50 č. крон. Крона ниже франка, а франк ниже марки — а ведь ехать через Германию, а во Франции самое дорогое — ж⟨елезные⟩ дороги. Кроме того, один я не могу ехать. Это значит, все вдвое. И зимою холода боюсь. Только летом, если бы удалось выхлопотать поездку в Карловы вары,[4] но на это плохая надежда.

Отчет получил. И прочитал. Осталось вкусовое впечатление. Так бы хотел пожить, как дети у вас.

Серафима Павловна Вам кланяется.

А. Ремизов.

[1] По свидетельству Н. В. Резниковой: «в конце 20-х годов Ремизовы стали думать о перемене квартиры: квартира на авеню Мозар стоила слишком дорого. Было очень жалко расставаться с прежней обстановкой и сложившимся бытом» (*Резникова Н. В.* Огненная память. С. 91).

[2] Гумилев Николай Степанович (1886—1921) — поэт, знакомый Ремизова с конца 1900-х годов. См. воспоминания Ремизова о Гумилеве в его кн.: АХРУ. Повесть петербургская. Берлин; Пб.; М., 1922. С. 39—40.

[3] В газете «Prager Presse» (Прага, 1920—1938) публиковались переводы сказок и легенд Ремизова в середине-конце 20-х годов. См.: Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov. Établie par Hélène Sinany. Paris, 1978. P. 244.

[4] Ремизовы ездили в Прагу и Карловы Вары в 1924 году.

lib.pushkinskijdom.ru

2

15.7.27
Paris
Алексей Ремизов
120 bis Av. Mozart
5 villa Flore
Paris XVI[e]

Дорогой Владимир Владимирович
Пришлите вашу фотограф⟨ическую⟩ карточку, хоть маленькую. Носите ли вы черные очки? Все ваши письма хранятся в рукописном отделении Акад⟨емии⟩ Наук тут только одно: как вы ездили в Ментону и во Франции каждый день встречали Луначарского. Как жаль, что вы не в Париже! и как хорошо, что вы занимаетесь латынью. Слышал, что возобновляются «Дни».[1] Если вам вздумается ч⟨то-⟩н⟨и⟩б⟨удь⟩ напечатать и пошлете в редакцию, сошлитесь на меня. А я увижу к⟨ого-⟩н⟨и⟩б⟨удь⟩ и скажу о вас. И в «Воле России» [2] можно устроить, только там очень все медленно. Если Вам что нужно, напишите Сергею Порфирьевичу Постникову [3]

Volja Rossii
Uhelný trh. 1
Praha I

Напишите мне о ваших литературных затеях подробнее и, что печатаете, присылайте. Как бы я хотел послать Вам мою «Взвихр⟨енную⟩ Русь» [4] и не могу сейчас. Но она есть у моего переводчика

Lad⟨islav⟩ Ryšavý [5]
(Ладислав Антонович)
учитель

Rájec
v Brna

Живем тут 3 года. 2 года — в Берлине с сентября 1921 г⟨ода⟩.[6] Живы только Промыслом Божьим.[7]

А так — сами понимаете — никуда
и ни для чего
и никому

Серафима Павловна читает в Сорбонне славяно-русскую палеографию это единственная зацепка.
Пишите — пишите — пишите!
Серафима Павловна кланяется вам.

А. Ремизов

[1] «Дни» — ежедневная газета (1922—1933), редактор А. Ф. Керенский. Первоначально выходила в Берлине, возобновлена в Париже 9 октября 1927 года (с № 1201).

[2] «Воля России» — общественно-политический, экономический и литературный журнал (Прага, 1920—1921); с 1922 по 1932 год — еженедельная газета. Редакторы: В. Лебедев, М. Слоним, Е. Сталинский, В. Сухомлин. С 1922 по 1931 год в «Воле России» было опубликовано 81 произведение Ремизова, в том числе пересказы легенд и сказок, статьи, отрывки из книг «Взвихренная Русь» и «Учитель музыки».

[3] Постников Сергей Порфирьевич (1883—?) — в 1910-е годы член редакции журнала «Заветы». Эсер. В 20-е годы член редакции газеты «Воля России».

[4] *Ремизов А.* Взвихренная Русь. Париж, 1927. 530 с. «В годы жизни на авеню Мозар А. М. писал одну из своих самых значительных книг — *Взвихренную Русь*, хронику революционных дней, начатую еще до отъезда за границу» (*Резникова Н. В.* Огненная память. С. 78).

[5] Рышавы Ладислав — переводчик русской литературы на чешский язык. Перевел «Пруд», «Пятую язву», «Часы», «Неуёмный бубен», «Крестовые сестры», «Лимонарь» Ремизова. См. письма Рышавы Ремизову (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 218).

[6] Ремизовы жили в Берлине с сентября 1921 года по ноябрь 1923 года.

lib.pushkinskijdom.ru

[7] См. письмо Ремизова Д. А. Лутохину от 10 декабря 1923 года: «Жизнь тут жестокая. С голоду можно поколеть, и незаметно... Живем пока чудесным образом» (ИРЛИ. Ф. 592. Ед. хр. 222. Л. 4). Ср. также воспоминания Ремизова о жизни в Париже в конце 20—30-х годов: «Жили мы чудом Божиим: Серафима Павловна за свой курс по палеографии в Школе восточных языков получала очень мало, а я за свое неверное — напечатают или не напечатают? — и того меньше» (*Ремизов А.* Мышкина дудочка. Париж, 1953. С. 137). С. П. Ремизова-Довгелло читала курс по славяно-русской палеографии в 1924—1939-м годах в École nationale des langues orientales vivantes.

3

26.7.27
Paris

Дорогой Владимир Владимирович

Спасибо: карточку вклеил в альбом.

Свою вам пришлю: меня снимали в июле несколько раз: я совсем как китаец — так меня тут все и считают.[1]

Программу Бес⟨овского⟩ Дейс⟨тва⟩ [2] и книгу получил спасибо.

А интересно было бы взглянуть «пр⟨ение⟩ Ж⟨ивота⟩ с⟨о⟩ С⟨мертью⟩» с преддверием.[3]

Я думаю, здесь можно как угодно «окружать». Попробуйте поставить зимой.

(на чешс⟨кий⟩ перевела Надежда Филаретовна Мельникова-Papouškova) [4]

Но ей не удалось поставить и неиздано

Если затеете поставить, напишите ей

Smichov
Svandova č. 15

Если бы сейчас были тут, я сказал бы вам: «В⟨ладимир⟩ В⟨ладимирович⟩, садитесь сюда — и давайте переведем некоторые латинские тексты и вот эти греческие, а потом чай пить».

Серафима Павловна кланяется вам

А. Ремизов

[1] Ремизов неоднократно отмечал сходство своей внешности с наружностью китайца. В книге его воспоминаний «Подстриженными глазами» (Париж, 1951) в главе «Китай» раскрыто специфическое восприятие писателем понятия «Китай» как характеристики своего внешнего и внутреннего своеобразия. Ср. также в книге Ремизова «Учитель музыки» (Париж, 1983) отношение окружающих к ее главному герою Корнетову (alter ego автора): «А тот повар в колпаке с любопытством следит за Корнетовым — за китайским поваром, искренне веруя, что Корнетов китаец» (С. 48).

[2] «Бесовское действо» (1906) — пьеса Ремизова. Впервые была поставлена 4 декабря 1907 года в Петербурге, в театре В. Ф. Коммиссаржевской (режиссер Ф. Ф. Коммиссаржевский).

[3] Имеется в виду пролог пьесы Ремизова — вольная переработка древнерусского памятника «Прение Живота со Смертью».

[4] Мельникова-Папоушкова Надежда Филаретовна (1891—?) — переводчица русской литературы на чешский язык, один из постоянных критиков газеты «Воля России». В ее переводах опубликованы сборники: Антология русской поэзии XX столетия (В 2-х т. Прага, 1920); Новая русская поэзия (Прага, 1927) — и др.

4

Б. д.

Дорогой Владимир Владимирович

Спасибо за книгу и за стихи.

Если вы так милостивы, я вам пришлю латинский текст, переведите.[1] Мне сейчас для одной темы приходится много читать по немец⟨ки⟩ и по франц⟨узски⟩. И не могу поспеть. Буду вам очень благодарен за латинс⟨кий⟩ перевод. Текст простой.

Я дал вам адрес переводчицы. Это на тот случай, если бы Прение было поставлено, она приехала бы посмотреть.

lib.pushkinskijdom.ru

Если будете ездить по соседям,
познакомьтесь с Ладиславом Антоновичем Рышавым
Lad⟨islav⟩ Ryšavy
Rájec nad Svitavou

поклон от Серафимы Павловны

А. Ремизов

[1] Ремизов имеет в виду латинский текст, положенный им в основу своего пересказа «Чудо о Василии» (впервые: Воля России. 1927. № 11/12. С. 14—31). См. прим. 1 к п. 6.

5

19.12.27
Paris

Дорогой Владимир Владимирович

Не писал Вам: все это время в суете: в поисках. На этой квартире останемся и январь. Сейчас глухое время, а с 15 янв⟨аря⟩ квартирный сезон. Если у Вас все готовое, пришлите латинск⟨ий⟩ текст. Буду Вам очень благодарен. И за китайские сказки спасибо. При случае пришлите.

Поклон от Серафимы Павловны.

А. Ремизов.

Вспоминал вас при известии о смерти Пшебышевского [1] и все связанное с теми годами.

[1] Пшибышевский Станислав (7.V.1868—23.XI.1927) — польский писатель-модернист. Оказал сильное влияние на стиль ранних произведений Ремизова 900-х годов. В 1903—1904 годах Ремизов служил заведующим репертуаром в «Товариществе новой драмы», руководимом В. Э. Мейерхольдом, и ориентировал репертуар театра на пьесы новых драматургов, в том числе Пшибышевского. В сезоне 1904—1905 года «Товариществом новой драмы» была поставлена пьеса Пшибышевского «Снег» (см.: *Пшибышевский С.* Снег. Драма в 4-х актах. Перевод А. Ремизова и С. Ремизовой. М., 1903). Об отношении Перемиловского к Пшибышевскому см. в его письме к А. С. Яковлеву от 25 января 1909 года: «Не мне, первому познакомившему русскую читающую публику с Пшибышевским, не мне, что-то около шести раз в разных изданиях писавшему восторженные дифирамбы Пшибышевскому, не мне, поклоннику его таланта, перечитавшему его произведения (все) по-немецки (Пшибышевский начал писать по-немецки и только недавно стал творить на польском) и по-польски, не мне, наконец, поклоннику личности Пшибышевского, с которым познакомился я в бытность его в Питере — не мне, повторяю, восставать против него и всех близких ему, в том числе, конечно, и Уайльда и Метерлинка» (ЦГАЛИ. Ф. 2118. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 3). См. также рецензии Перемиловского на книги Пшибышевского: «Дети Сатаны» (М., 1906) в журнале «Весы» (1906. № 6. С. 71—72) и «De Profundis и др.» (М., 1905) — там же (№ 7. С. 59—60).

6

18.1.28
Paris

Дорогой Владимир Владимирович

Спасибо за перевод.
Thauma de Basilio dolorose cente [1] я написал и напечатано в Вол⟨е⟩ Рос⟨сии⟩ кн⟨ига⟩ XI—XII.[2]
Когда будете посылать рукописи в П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ [3] или в «Дни» надписывайте: «в случае не подходит переслать А. Ремизову». А то они *уничтожают*. Жалко, что так вышло с вашей статьей о Пшебышевском. Если будут какие *краткие* рецензии, посылайте для Дней к Мих⟨аилу⟩ Андр⟨еевичу⟩ Осоргину [4]

lib.pushkinskijdom.ru

Mr. M. Ossorguine
3 Rue de l'Abbé de l'Epée
Paris V

Поклон от Серафимы Павловны.

А. Ремизов

[1] Чудо о Василии многострадальном (лат.).
[2] См. прим. 1 к п. 4.
[3] «Последние новости» — ежедневная газета (Париж, 1920—1940). В 1920—1921 годах — ее редактором был М. Л. Гольдштейн. С марта 1921 года выходила под редакцией П. Н. Милюкова. С 1921 по 1940 год в ней появились 128 публикаций произведений Ремизова (сказки, статьи, легенды из цикла «Московские любимые легенды», главы из книги «Учитель музыки»). Писатель вспоминал: «В „Последних Новостях" меня печатали „из милости". . . Я никогда не был уверен в своем, примут или вернут: „не подходит"» (*Ремизов А. М.* Мышкина дудочка. С. 133). Об отношении редакции «Последних новостей» к Ремизову см. также в воспоминаниях Андрея Седых «Далекие, близкие» (New York, 1962): Ремизов, «завернувшись в самые живописные свои кацавейки, отправлялся в редакцию „Последних новостей" получить гонорар или узнать, — почему не печатают. Печатали его мало. Милюков не любил литературные чудачества Ремизова, а коммерческий директор Н. К. Волков пользовался этим и за напечатанное размечал пониженный гонорар, не по тарифу беллетристики» (С. 106).
[4] Осоргин М. (Ильин Михаил Андреевич) (1878—1942) — журналист, писатель, библиофил, заведующий литературным отделом газеты «Дни». См. также письмо Перемиловского Осоргину от 25 апреля 1932 года (ЦГАЛИ. Ф. 1464. Оп. 3. Ед. хр. 65).

7

1.6.28
Paris

Дорогой Владимир Владимирович

до сих пор не переменили квартиру: и есть да «отступных» и вознаграждений столько требуют, не собрать столько. Из YMCA [1] вам пошлют книгу «ꙁвѣ⟨ꙁда⟩ надꙁв⟨ѣꙁдная⟩» [2] есть опечатки и есть ошибки: исправ⟨ить⟩ 66 11 снизу стрегущиеся (*-ся* зачеркнуто Ремизовым. — *Т. Ц.*) муку

27 4 снизу честнейшую (исправлено Ремизовым на *честнейшая.* — *Т. Ц.*)
Поклон от Серафимы Павловны.

А. Ремизов

[1] YMCA-Press — издательство при Христианском Союзе Молодых Людей, с конца 20-х годов публикует литературу русской эмиграции.
[2] *Ремизов А.* Звезда надзвездная. Stella Maria Maris. Париж, 1928. 78 с. Ремизов говорил о ее характере: «Книга „Звезда надзвездная" (страда мира). В этой книге собраны и выражены образы и чувства „отреченных книг", какие занимали русский народ в веках». (*Кодрянская Н.* Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 116).

8

14.6.28
Paris

Дорогой Владимир Владимирович

Отдельный листок с надписью для ꙁ⟨вѣзды⟩ н⟨ад⟩ ꙁ⟨вѣздной⟩ я вам пришлю. Спрашивал у С⟨ерафимы⟩ П⟨авловны⟩: сколько стоит летом у моря? Говорит, что ровно вдвое, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ 30 frs. в день за человека, это min⟨imum⟩.

lib.pushkinskijdom.ru

Стало быть, можно только на кратчайший срок, как мы делаем, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ на две недели. Кагпас — это изумительное место в Бретани.[1] Дорога только стоит много. Еще вам напишу.

[1] С 1924 по 1939 год Ремизовы летом отдыхали на море в Бретани. Об этом см. в книге «Учитель музыки»: «За десять лет у кого из русских, живущих за границей, не оказалось такого уголка на чужой земле, который стал бы своим — к которому тянет, несмотря ни на что, как только к тому, что полюбил... Для меня таким уголком на чужой земле стал Океан, и я его чувствую, как свое, не почему, т. е. люблю» (С. 305).

9

$\frac{13}{14}$ VII 28
Paris

Дорогой Владимир Владимирович [1]

Жду Вас и вашего сына [2] 14-го (суббота) в 9 ч⟨асов⟩ вечера.

Вы не получили моего письма, я вложил конверт, как послать «pneu»,[3] чтобы зря не мучиться по жаре, но вижу, что Вы не получили.

У меня хранится для Вас открытка, получ⟨енная⟩ 11 VII.[4]

Хорошо, что не переслал Вам

Кланяется Серафима Павловна
2 é⟨tage⟩ à gauche [5]

трамв⟨ай⟩ № 25

(Подпись — криптоним. — *Т. Ц.*)

[1] Письмо написано на бланке с печатным французским текстом приглашения 25 апреля на литературный вечер Ремизова.

[2] Сын Перемиловского — Владимир Владимирович Перемиловский.

[3] Сокращ. от pneumatique (фр.) — письмо по пневматической городской почте в Париже («пневматичка»).

[4] К этому письму приложена открытка, адресованная Ремизову для Перемиловского, подпись автора неразборчива. На ней помета рукой Ремизова: «Получено вечером 11 VII MCMXXVIII Paris. ОБЕЗВЕЛВОПАЛ (последнее слово и подпись-криптоним написаны глаголицей. — *Т. Ц.*)», — и его рисунок: золотая голова оленя.

[5] второй этаж налево (фр.)

10

16.7.28
Paris

Дорогой Владимир Владимирович [1]

Посылаю Вам временную грамоту:[2]

вы теперь как митрофорный поп старейший и полпред Моравии (имеете право на ношение хвоста)

Кланяюсь (Подпись — криптоним. — *Т. Ц.*)

[Текст грамоты Перемиловского]

[Рисунок]
1 обез. лион
обезьянья марка
100 червонц⟨ев⟩

lib.pushkinskijdom.ru

Дана сия обезьянья грамота за собственнохвостным подписанием царя обезьяньего Асыки старейшему кавалеру Владимиру Владимировичу Перемиловскому в знак назначения его полпредом Моравии обезвелволпала

ключарь обез⟨ьяний⟩	С. Осипов [3]
полпред всей Евразии	П. П. Сувчинский [4]
полпред Варшавский	С. Ю. Кулаковский [5]
полпред Люблянский	Мирко Претнар [6]
полпред Кельтский	В. Диксон [7]
кав⟨алер⟩ обезьяньего зн⟨ака⟩	кн⟨язь⟩ Андрей Оболенский [8]
старейший кав⟨алер⟩	Н. В. Чаретский [9]

[Рисунок печати]

Paris
MCMXXVIII 14 VII
Opičí veliká a volnā rada
g.F.H.A.
Das große und Freie Affenstift
Le grand et libre chapitre de l'Ordre des Singes.[10]

Скрѣпилъ и деньги «Латынью» получил канцелярист обезвелволпала

cancellarius А. Ремизов

[1] Письмо написано на таком же бланке, что и предыдущее.

[2] Ремизов выслал Перемиловскому грамоту о его членстве в Обезьяньей Великой и Вольной Палате. Об истории Обезвелволпала см.: *Ремизов А.*: 1) АХРУ. С. 49—51; 2) Кукха. Розановы письма. Берлин, 1923. С. 38—48. О позднем характере Обезвелволпала Ремизов писал: «Что я могу подарить людям? Прежде была надежда: книгу; но теперь. . . Именины, рожденье, Пасха, Рождество или юбилей, или свадьба, или кто мне добро сделал, и хочется как-то выразить человеку — со всякими завитками я писал „обезьяньи грамоты": жалованье обезьяньего царя о возведении в кавалеры обезьяньего знака. . . И что я заметил, мои грамоты принимались с добрым чувством. . . Игра в обезьяньего царя — театр без грима и масок» (*Ремизов А.* Встречи. Париж. 1981. С. 188).

[3] Осипов Сергей Яковлевич — сотрудник петербургского издательства «Сирин», знакомый Ремизова с 1910-х годов. В библиотеке ИРЛИ хранятся 15 книг Ремизова с дарственными надписями Осипову, датированными концом 20-х годов. См., например, надпись на книге Ремизова «Оля»: «Сергею Яковлевичу Осипову за зеленую русальную неделю. 4.6.27 Paris. Алексей Ремизов» (ИРЛИ, $\frac{1941К}{89}$).

[4] Сувчинский Петр Петрович (1892—1983) — музыковед, один из руководителей группы «Движение Евразия», с которой Ремизов сблизился в 1925 году, соредактор журнала «Версты». Ремизов писал о нем: «С первого глаза в Берлине мне понравился П. П., с ним хорошо разговаривать о знаменном распеве. . . Он был душою *Верст* и меня никогда не гнал» (запись Ремизова цит. в кн.: *Резникова Н. В.* Огненная память. С. 83). Изображен в книгах «Мышкина дудочка» и «Учитель музыки» под прозвищем Пытко-Пытковский.

[5] Кулаковский Сергей Юлианович (1892—?) — историк литературы, сотрудник журналов «Новь», «Центральная Европа» и др. Его книги: «Современные польские поэты в очерках С. Кулаковского и в переводах М. Хороманского» (Берлин, 1929), «Ян Кохановский. 1520—1930» (Берлин, 1930) и др.

[6] Претнар Мирко — словенский поэт, в конце 20-х годов публиковал стихи и литературные рецензии в газете «Люблянски звон», корреспондент Ремизова. См. упоминание о нем в книге «Учитель музыки»: «Корнетов. . . курил окурочный табак. . . этим. . . табаком угощал Корнетов доверчивых курильщиков, похваливая, как самый настоящий турецкий, присылаемый ему из Люблян словенским поэтом Миркой Претнаром» (С. 143).

[7] Диксон Владимир Васильевич (1900—1929) — поэт, автор сборников стихов «Ступени» (1925), «Листья» (1927), книги «Стихи и проза» (1930), вышедшей с предисловием Ремизова. Организовал издательство «Вол» и издал на свои средства книгу Ремизова «Оля» (Париж, 1927).

[8] Оболенский Андрей Владимирович — См., например, воспоминания Резниковой: «Я и моя сестра привели нашего друга, кн. Андрея Владимировича Оболенского. Он понравился Ремизовым и стал часто приходить к ним. . . Он до конца оставался другом Ремизовых» (*Резникова Н. В.* Огненная память. С. 85).

[9] Чаретский Н. В. — литератор, парижский знакомый Ремизова. Рисунки Чаретского были представлены на Пражской выставке рисунков писателей 1933 года.

lib.pushkinskijdom.ru

[10] Обезьянья великая и вольная палата (чешск.), Великая и свободная обезьянья палата (нем.), Великий и свободный глава Обезьяньей Палаты (фр.).

11

3.VIII.28
Paris

Дорогой Владимир Владимирович

Не отвечал Вам: писал, не отрываясь с тех пор, как вы были у нас. Устал очень. Мы еще никуда не уезжали.

У меня нет 8 тома Соб⟨рания⟩ соч⟨инений⟩ [1] где Бесов⟨ское⟩ действо, трагедия о Иуде [2] и Действо о Егории Храбром [3]

и едва ли этот том можно достать.

Не посылаю Вам для переводов: не хочется вас сейчас загружать латынью. Отдыхайте: вам ведь скоро опять за работу.

Надпись на книге з⟨везда⟩ надзв⟨ездная⟩ возстановлю, нашел пергаменту

Сейчас мне осталось исполнить три обещания — написать, хотя бы вчерне.

Кланяюсь Володе:[4] будете проездом и вечером я ему при нем грамоту напишу печать готова и асычья подпись [5] есть.

Поклон от Серафимы Павловны.

[1] *Ремизов А.* Сочинения. Т. 8. Русальные действа. СПб., 1912. 306 с.
[2] Пьеса Ремизова «Трагедия о Иуде, принце Искариотском» (1909).
[3] Пьеса Ремизова «Действо о Георгии Храбром» (1912).
[4] Имеется в виду сын Перемиловского.
[5] Впервые «царь обезьяний, Обезьян Великий — Валах-Тантарарах-Тарандаруфа Асыка Первый», раздающий ордена — «обезьяньи знаки» — появился как эпизодический персонаж в «Трагедии о Иуде». Имя царя взято Ремизовым из книги С. М. Соловьева «История России с древнейших времен» (Кн. 3. Т. 5). Асыка — вогульский князь XV века, разбитый войсками Ивана III в 1483 году. Об «асычьей подписи» см., например, воспоминания А. Седых: «Есть у меня великолепный диплом... введение... в кавалеры обезьяньего знака 1-ой степени с каштановым цветком. И на грамоте расписался собственноручно царь обезьяний Асыка, а скрепил канцелярист Обезвелволпала Алексей Ремизов» (С. 105). См. также: *Гречишкин С. С.* Царь Асыка в «Обезьяньей Великой и Вольной палате» Ремизова // Studia Slavica. T. XXVI. 1980. № 1—2.

12

16.VIII.28
Paris

Дорогой Владимир Владимирович

Посылаю Вам на Lakanal в то самое время, когда вы будете выезжать из Бурбуля, мы сядем в вагон — из Парижа. Судьба.

А этот комар пристал и не хочется мне его трогать.

[Рисунок комара]

Верю, что еще увидимся.

Оба вам кланяемся и Володе.

Пока пишите на Paris, 12 ⟨нрзб.⟩ Av. Mozart, 5 villa Flora Paris XVI[e]

А. Ремизов

lib.pushkinskijdom.ru

13

10 X 28

Дорогой Владимир Владимирович

С 1-го ноября новый наш адрес:[1]

A. Remizov
11 Bd de Port-Royal
Paris V^e^

Начинаю сборы. Очень много забот, как устроить все.
Кланяюсь Володе.
Поклон от Серафимы Павловны.

А. Ремизов.

[1] «В ноябре 1928 г. Ремизовы сняли немеблированную квартиру в Латинском квартале, на бульваре Пор-Руаяль, на пятом этаже, купив на выплату немного мебели. Внизу дома был расположен кинематограф». (*Резникова Н. В.* Огненная память. С. 91). Эта квартира описана Ремизовым в главе «Узлы и Закруты» («Подстриженными глазами») и в главе «Счастливые слоны» («Учитель музыки»).

14

10 XII 28
Paris

Дорогой Владимир Владимирович

Если вы кончили перевод, пришлите!
Надо и книгу отдать в переплет, а главное в начале января я должен закончить: в феврале 3 года будет, как сижу над St. Nicolas.[1]
Кланяюсь Володе.

А. Ремизов.

[1] *Ремизов А.* Образ Святого Николая Чудотворца. Алатырь-камень русской веры. Париж, 1931. 91 с. Первые отрывки из этой книги были напечатаны в 1926 году (Версты. № 1. С. 37—51).

15

12 I 29
Paris

Дорогой Владимир Владимирович

Большое вам спасибо за переводы.
Получил и сейчас занимаюсь ими. В Прагу не попали, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ не выдали денег. Боюсь, что теперь почти безнадежно в виду всяких сокращений в выдаче русским.
Оба кланяемся вам. Елизавете Александровне [1] и Володе.

(Подпись-криптоним и рисунок: шаржированный сфинкс. — *Т. Ц.*)

[1] Жена В. В. Перемиловского.

lib.pushkinskijdom.ru

16

3.II.29
Paris

Дорогой Владимир Владимирович

Спасибо за открытку.
Сегодня отпустил письмо Вам от Серафимы Павловны.[1] Оба думали, и мое чувство: иначе невозможно, надо как-то начать и можно достигнуть. Надо только на первое время деньги. Жду: «опечатки» в «По карнизам».[2]

Кланяюсь всем вашим

А. Ремизов.

[1] Под шифром ТА-9 в Славянской библиотеке имеются 2 письма С. П. Ремизовой-Довгелло Перемиловским. В письме от 2 февраля 1929 года она пишет о возможности сыну Перемиловских приехать в Париж учиться на медицинском факультете и вспоминает о житейских трудностях, о своих мытарствах: «Когда мы приехали сюда, Боже, чего мы натерпелись!! Вспомнить страшно. А вот выжили!!» (Л. 2, об.).

[2] *Ремизов А.* По карнизам. Повесть. Белград, 1929. 130 с. См. надпись Ремизова на книге, подаренной С. П. Ремизовой-Довгелло: «В этой книге итог нашей жизни на ав. Мозар, проникнутой надеждой на чудо. Ведь книга эта исповедь, только какое отчаяние, голос не проницает стены человеческого сердца: какими же еще словами и как (каким складом) — или стерлись все слова? И не надо ждать отклика: ни ,,мир ти!'' Ни ,,пошел к чорту!'' В другой форме наша мозаровская жизнь не могла выразиться» (*Кодрянская Н. В.* Алексей Ремизов. С. 181).

17

15.2.29
Paris

Дорогой Владимир Владимирович

Спасибо за Вашу статью, за указание опечаток. На ваше письмо будет вам *подробный ответ*. Серафима Павловна была больна, теперь поправляется.

Конечно, в Париже — где и учиться!

Всем вашим поклон

А. Ремизов

18

18.2.29
Paris
A. Remizof
11 Bd. Port Royal
Paris XIII

Дорогой Владимир Владимирович

На этих днях через банк из Парижа Вы получите тысячу крон (чешских). Эти деньги посылает Серафима Павловна. (По ее поручению это делает ея ученица — француженка; пишу на случай, если отправитель окажется лицо вам неизвестное, хотя было сговорено, что exp⟨éditeur⟩ [1] будет обозначена С⟨ерафима⟩ П⟨авловна⟩.
Как получите эти деньги (1.000 kř) *известите меня.*
А деньги эти сохраните.
У меня один проэкт, о котором вам напишу немедленно. Если же не осуществится, буду просить вас прислать мне эти деньги обратно *заказным денежным письмом почтой* * *а не*

lib.pushkinskijdom.ru

через банк. (Получение через банк здесь для русского большая канитель, а заказн⟨ое⟩ денеж⟨ное⟩ письмо принесут на дом).
Если же все осуществится, что думаю, то возможно, что мы с вами увидимся.
Буду очень благодарен за присылку опечаток в «Трех серпах».[2]

Кланяюсь всем вашим

А. Ремизов.

* или почтовым переводом во франках за вычетом ваших расходов по пересылке

[1] отправитель (фр.)
[2] *Ремизов А.* Три серпа. Париж, 1927. Т. 1—2. 160 и 160 с.

19

20.II.29

Дорогой Владимир Владимирович

Только вчера, оказывается, высланы были вам деньги (1.000 kř). А за эти дни выяснилось, что пока насчет Карлсбада нечего и думать.[1] И мне приходится просить вас прислать эти деньги мне назад. Простите за эту канитель. Если вы получите ровно 1.000 kř. можно их переслать чешскими деньгами *заказным денежным письмом* или «mandat-post international» [2] во французской валюте на мое имя.

A. Remizof
11 Bd Port-Royal
Paris XIII

И напишите мне, сколько стоила вам пересылка, я сейчас же вам вышлю.
Очень прошу, *только не через банк.*

Кланяюсь всем вашим

А. Ремизов.

[1] Ремизовы были в Карлсбаде в 1924 году. 23 июня 1924 года Ремизов писал Д. А. Лутохину: «Ляцкий обещает устроить на месяц в Карлсбаде» (ИРЛИ. Ф. 592. Ед. хр. 222. Л. 11). См. также очерк Ремизова «К Еленину скоку» (Звено (Париж). 1924. 13 окт. № 82). Эта поездка отражена и в книге «Учитель музыки» (С. 255—264).
[2] международный почтовый перевод (фр.)

20

27.2.29

Дорогой Владимир Владимирович

Спасибо: все получил.
Очень мне стыдно, что тормошил вас с почтой.
Спасибо за указание опечаток.
Сейчас готовлю 2 том в «ТАИРЪ», а в YMCA будут даны [без] всяких ученых разъяснений.[1]
Днями и ночами читаю по истории Византии.
Кланяюсь всем вашим.

А. Ремизов.

[1] Два тома книги Ремизова «Три серпа» были выпущены только издательством «ТАИР». См. прим. 2. к п. 18.

lib.pushkinskijdom.ru

21

30.V.29
Paris

Дорогой Владимир Владимирович

Не сердитесь, что не отвечал вам. Сейчас отрываюсь — самая страда до 1 июля — надо все закончить, что задумано.
Не знаю, будет ли мне счастье: вновь просмотрел «Посолонь»: сделаю 2 книги (небольшие) со вступлениями и объяснениями. Называю:
волшебная Россия
— посолонь [1] —
Эти книги могут пригодиться русским научиться русскому и почувствовать Россию — нашу родину.
Если примут, это будет рождественский подарок. Если бы вы знали, как трудно мне все такие дела делать — ведь наперечет, кто меня знал и знает так, как вы, и поверил бы. Все одержимы: ищут русского, а я не могу добиться устроить мою русскую книгу!

У меня затеяно много.
Оба кланяемся вам и Елизавете Александровне и Володе

А. Ремизов.

[1] Книга «Посолонь» имела 3 издания, представляющие 3 редакции этого сборника: I) *Ремизов А.* Посолонь. М., 1907. 82 с. (Состояло из разд.: 1) Весна красна 2) Лето красное 3) Осень темная 4) Зима лютая); II) *Ремизов А.* Сочинения. Т. 6. Сказки. СПб., 1911. 274 с. (К первым 4-м разделам был добавлен раздел «К Морю-Океану»); III) *Ремизов А.* Посолонь. Волшебная Россия. Париж, 1930. 234 с. (Это изд. является переработкой 2-го изд.). См. также оценку этой книги Ремизовым в воспоминаниях Резниковой: «Среди всего им написанного А. М. выделял и любил именно эту книгу, отводя ей особенное место. „Я не романист, — говорил он, — я песельник и *Посолонь* — это моя книга"» (*Резникова Н. В.* Огненная память. С. 36).

[Письмо 21 написано на печатной программе:] [1]

Пятый вечер чтения
А. М. Ремизова
19 апреля 1929
Первое отделение

1. Буйволовы Рога.[2] Рассказ из «парижских легенд» повести «Глаголица».
2. Находка. Русская сказка.[3]
   Мотив сказки общий с бретонской сказкой: древний — кельтский
3. Лютые звери — Летавица — Лужанки. Из поэмы «Они самые». (Карандашная помета Ремизова: «Из „Посолони"»).

В поэме представлена русская мифология, как она в веках сложилась и донесена русским народом в песнях, играх и сказках. Автор идет по русской земле и встречает не «мертвые души», а живых духов земли, воздуха и воды: все эти духи живут на русской земле, говорят по-русски и как-то входят в русскую долю, чаруя и крася закатом, сумерками и зорями.

Второе отделение

1. Из «Жития» Аввакума (1672 г.).[4] Четыре отрывка: 1) Автобиографические сведения и пророческое видение кораблей на Волге; 2) Путь в ссылку в Сибирь и в Даурию 3) О чудесной курочке 4) Суд.

lib.pushkinskijdom.ru

Протопоп Аввакум (1621—1682) — вождь и учитель староверцев. Жизнь страстотерпца — ссылка в Сибири, сидение на цепи по тюрьмам, и 15 лет в земле в срубе и, наконец, по указу царя Федора Алексеевича казнь: «за великия на царский дом хулы сжечь Аввакума и его товарищей» — сожжен 1 апреля 1682 г. в Пустозерске. Человек величайшей воли и веры и в жизни и в слове: в «Житии» (автобиографии) и в «Посланиях к царю Алексею Михайловичу» рядом с книжным церковно-славянским языком установленных образцов литературной речи звучит природный русский язык. Мусоргский в «Хованщине» вдохновился словом Аввакума, но при всем подобии музыкального воплощения сила и дух слова Аввакума превышают музыку. В русской литературе этот памятник XVII века единственный и непревзойденный, от которого идет весь подлинный «русский» стиль.

2. Из «Рима» Гоголя. Париж 30-х годов. И главу из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

3. Из «Соборян» Лескова. Из дневника Туберозова: 25 апреля 1837 г.[5]

4. Сказка о рыбаке и рыбке Пушкина (1833).[6]

Salle «Lutétia»,[7] 43, boulevard Raspail

[1] Изложение программы вечера см.: Москва (Чикаго). 1929. № 9. С. 24.

[2] «Буйволовы рога» — 1 гл. II ч. кн. Ремизова «Учитель музыки». Два раздела этой гл. («Китайский повар» и «Complet») опубликованы под заглавием «Буйволовы рога. Парижская легенда» в газете «Последние новости» (1929. № 2958. 28 апр.).

[3] См. кн.: Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым. Берлин-Петроград-Москва. 1923. 347 с.

[4] Ремизов считал Аввакума своим литературным учителем, неоднократно выступал с публичным чтением отрывков из «Жития». См. воспоминания Ремизова о том, что на юбилейном вечере Л. Шестова он «читал весь вечер — три часа без перерыва — „Житие протопопа Аввакума им самим написанное", самую жизнерадостную книгу — путь к вольной смерти... А как написано!.. Ведь его „вяканье" — „русский природный лад"» (*Ремизов А.* Встречи. С. 110). Ремизов сделал рукописную копию «Жития» и опубликовал в журнале «Версты» (1926. № 1. С. 1—73).

[5] См. запись в дневнике Ремизова от 8 февраля 1957 года: «Поэзия в русской прозе: Лесков, Слепцов, Левитов. „Соборяне" Лескова (1872)... — сколько поэзии в описании природы и погоды» (*Кодрянская Н. В.* Алексей Ремизов. С. 310).

[6] Ремизов неоднократно читал эту сказку Пушкина на литературных вечерах. См. свидетельство Резниковой: «В Берлине в 1922—23 гг. мы часто встречались с Ремизовыми на литературных собраниях... Там в первый раз я услышала публичное чтение Ремизова. Он читал „Золотую рыбку", и, читая, завораживал публику. В его чтении ни один звук не пропадал: слова окрашивались и оживали» (*Резникова Н. В.* Огненная память. С. 67). См. также воспоминания А. Седых «Далекие-близкие» (С. 115) о чтении Ремизовым этой сказки на вечере у Буниных.

[7] Большой зал гостиницы «Лютеция» часто арендовался союзами русских писателей и журналистов для благотворительных «писательских балов» и литературных вечеров (см.: *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. С. 197).

22

6.7.29
Paris
A. Remizof
11 Bd Port-Royal
Paris XIII

Дорогой Владимир Владимирович

Вот видите, как дела делаются в здешнем болоте. Тотчас по получении от вас заметки, я отправил ее заказ⟨ным⟩ письмом Игорю Платоновичу Демидову,[1] (Редактору Пос⟨ледних⟩ Нов⟨остей⟩) и написал ему. (Осоргина не было в Париже). Выждав неделю, еще раз написал, прося рукопись. Ответа не получил.

lib.pushkinskijdom.ru

Если у вас сохраняется копия, пришлите мне. Попытаюсь дать в газете «Россия и славянство».[2] Из «П⟨оследних⟩ Н⟨овостей⟩» думаю, что рукописи не получить.

Как-то трудно все-таки привыкнуть.

Кланяюсь всем вашим

поклоны от Серафимы Павловны

А. Ремизов

[1] Демидов Игорь Платонович (1873—1946) — журналист, редактор газеты «Последние новости». О его отношении к Ремизову см. запись в дневнике писателя от 19 июня 1957 года: «Гонорар в „П. Н." за мои рассказы из „Учителя музыки" — по самому низкому расчету. . . сказал мне Демидов: „Ваши рассказы не для читателей нашей газеты; печатать мы часто не можем". А о прибавке ни слова. Всякий мой приход в „П. Н." встречался досадным „опять"» (*Кодрянская Н. В.* Алексей Ремизов. С. 321).

[2] «Россия и славянство» — еженедельная газета при ближайшем участии П. Б. Струве. Ред. комитет: К. И. Зайцев, Л. Львов, С. С. Ольденбург, Г. Струве, Н. А. Цуриков (Париж, 1928—1933).

23

24.7.29
Paris

Дорогой Владимир Владимирович

Спасибо за деньги: 47.10 frs получил. За этот месяц эти деньги единственные (веду точную запись для фининспектора).

Посылаю вам картинку из И⟨ллюстрированной⟩ Р⟨оссии⟩ № 30 Paris 20.VII.29 ваша гимназия.[1]

Где-то вы нынче лето летуете?

а на мои запросы из «П⟨оследних⟩ Н⟨овостей⟩» ответа не последовало.

Оба кланяемся всем вашим

А. Ремизов.

[1] «Иллюстрированная Россия» — двухнедельный литературный иллюстрированный журнал. Редактор М. П. Миронов, с № 323 редактор — А. И. Куприн. (Париж, 1924—1939. № 1 — 1245). В № 30 на с. 17 фотография хора русской гимназии в Моравской Тшебове.

24

25.10.30
B s/s
A. Remizof
3bis Av. Jean Baptiste
Clément
Boulogne s/Seine
(Seine)

Дорогой Владимир Владимирович

Наконец-то я получил от вас письмо.

А насчет Володи, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, это и лучше: будет постарше и оглядится в Праге, не будет так заразно: ведь уж очень тут, и слова не подберу, для такого молодого. Ну, а на будущий год видно будет. Оба мы думали, и думаем какую бы такую зацепку, чтобы и Елизавету Александровну, и Вас перетащить в Париж. Не писал Вам, очень было трудно. Где же это видано, чтобы уезжая, не оставить своего адреса (Ведь это совсем не по-моему). А вот пришлось. Хотя я и

lib.pushkinskijdom.ru

главной почте, и в XIII арродисмант [1] подал заявление своевременно. Только по горячке (большие были неприятности со старой квартирой) очутились мы здесь под Парижем.[2] Парижск⟨ие⟩ легенды прибавляю, только их редко печатают. Последняя: «Съеденное сердце».[3] А еще легенда печатается «Забытый юбилей».[4] Боюсь, что больше не напечатают.

Кланяемся оба вам и Елизавете Александровне

А. Ремизов.

Глазам очень тяжело. Вчера читал в Народ⟨ном⟩ Университ⟨ете⟩ из Жития Протопоп⟨а⟩ Аввакума.[5] И свет был очень плохой, напрягался и сегодня, и вчера ночь ломит.

[1] arrondissement (фр.) — округ.

[2] В августе 1930 года Ремизовы переехали на новую квартиру из-за инцидента с консьержкой. Описание причин переезда и новой квартиры см. в кн. Ремизова «Учитель музыки» на с. 125—160. См. также: *Резникова Н. В.* Огненная память. С. 92.

[3] «*Съеденное сердце*» — 3 разд. III гл. 2 ч. кн. «Учитель музыки». Впервые: Последние новости. 1930. № 3371. 15 июня.

[4] «*Забытый юбилей*» — 4 разд. III гл. 2 ч. кн. «Учитель музыки». Впервые: Последние новости. 1930. № 3564. 25 декабря.

[5] См. прим. 4 к п. 21.

25

14.12.30
B s/s

Дорогой Владимир Владимирович

Посылаю вам две книги В. Диксона (†17.12.1929).[1] Взгляните на портрет, может, вспомните. Он был у нас, когда вы были летом. Я ему рассказывал о Вас.
Есть хорошие стихи. Посмотрите.
Обратите внимание на описание обстановки. Это совсем по-новому.
За карточку о Вашем торжестве спасибо.

Оба кланяемся Елизавете Александровне, Вам и Володе.

А. Ремизов.

[1] «В 1924 году на авеню Мозар появился начинающий писатель Владимир Васильевич Диксон. Он занял большое место в жизни Ремизовых тех лет. Года через два Диксон уехал в Америку и там женился. По возвращении из Америки в 1929 году он заболел аппендицитом и скончался от эмболии. Ремизовы очень горевали о нем» (*Резникова Н. В.* Огненная память. С. 85). См. также прим. 7 к п. 10.

26

14.VII.31
B s/s
A. Remizof
3bis Av. J. B. Clément
Boulogne s/Seine

Дорогой Владимир Владимирович

Не писал Вам 1000 лет. Не поблагодарил вас: получил все опечатки. Жизнь была спутанная. Да и сейчас только передышка. Поиски квартиры. Пришлось отложить до сентября. Очень все дорого. На ваш вопрос: когда послать — где напечатать? — думаю, и не знаю, что сказать. Знаю, что везде как-то через «своих» устраивают. Но я нигде не свой.[1] Иногда проникаю в «Посл⟨едние⟩ Новости» и в «Совр⟨еменные⟩ Записки».[2]

lib.pushkinskijdom.ru

(Не считаю «Числа»:[3] вышел № 5, а выйдет ли 6, сомневаюсь. А «Воля Росс⟨ии⟩» не поместит и там свое — сровское[4]).
Сейчас такое положение: чтобы издать книгу, надо внести деньги, иначе никакая фирма не соглашается, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ дать 6—10.000 frs. За очень редким исключением так и издаются книги. У нас нет денег и я перехожу в первобытное состояние, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ в 1921 год. В Петербурге мы издавали свои книги в единственном экземпляре (к великому удовольствию библиофилов). Книга стоила 5.000 руб⟨лей⟩, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ 1 фунт хлеба.
И я затеял издавать книги, как в 1921, в единственном экземпляре.[5] Продать тут трудно. Но все равно, чтобы как-то заявить о своем существовании. Выпускаю «Памяти Блока», к⟨отор⟩ому память 7 августа — 10 летие смерти.
Alexei Remizov. La Russie en tourmente.
I A la mémoire d' Alexandre Blok.
47 dessins en blanc et noire et en couleur pour
illustrer le poème «Les douze». Textes russe,
français et allemand.
Les éditions «TCHISLA» * Paris, 1931
Exemplaire unique[6]
Вот как дела идут, вы можете себе представить.
Оба кланяемся Елизавете Александровне, вам и Володе

А. Ремизов

* «Числа» потому, что осенью выставку устраивают «рисунки французских и русских писателей».[7]

[1] Постоянное подчеркивание литературной отчужденности, непризнанности было одной из черт писательского облика-маски, создаваемого Ремизовым в течение всей жизни. См.: *Резникова Н. В.* Огненная память. С. 138; Антонелла д'Амелия «„Автобиографическое пространство" Алексея Михайловича Ремизова» (*Ремизов А. М.* Учитель музыки. С. IV).

[2] «Современные записки» — ежемесячный литературный и общественно-политический журнал. Редколлегия: Н. Авксентьев, И. Бунаков, М. Вишняк, А. Гуковский, В. Руднев (Париж, 1920—1940. № 1—70). М. В. Вишняк вспоминал о жалобах писателей на недостаточную возможность публиковаться в журнале: «К „Современным Записками" предъявили свои претензии не только „молодые" авторы, но и „старые". Достаточно назвать Мережковских и Бальмонта. . . Ремизова, Шмелева, Шестова и др.» (*Вишняк М. В.* «Современные записки»: Воспоминания редактора // Indiana University Publications Slavic and East European Series. Bloomington, 1957. С. 112).

[3] «Числа» — журнал беллетристики и критики. Редакторы И. де Манциарли и Н. Оцуп, с № 5 — Н. Оцуп. (Париж, 1930—1934. № 1—10).

[4] т. е. эсэровское.

[5] Ср. текст дарственной надписи Ремизова Н. В. Резниковой на кн. «Образ Николая Чудотворца» от 21 марта 1954 года: «С 1931 по 1949 моих книг вы не найдете. С этого года начало моей альбомной кропотни. Рукописными альбомами я продолжал свое ремесло — 18 лет. Каждый альбом, а я им счет потерял — 400? — мечта о книге» (*Резникова Н. В.* Огненная память. С. 93).

[6] *Ремизов Алексей.* Взвихренная Русь. 1⟨·⟩ Памяти Александра Блока. 47 черно-белых и цветных рисунков — иллюстраций к поэме «Двенадцать». Тексты русский, французский и немецкий. Издание «Числа». Париж, 1931. Единственный экземпляр (фр.).

[7] Рисунки Ремизова экспонировались (декабрь 1932—январь 1933) на выставке «Exposition d'oeuvres des écrivains — peintres français et russes» в галерее «L'époque» вместе с рисунками В. Гюго, А. Франса, Ш. Бодлера, Ж. Кокто и др. См. статью Ремизова «Рисунки писателей» (Временник общества друзей русской книги. Париж, 1938. Вып. 4. С. 25—30); см. также: Числа. 1932. Кн. 6. С. 254 (объявление о выставке).

lib.pushkinskijdom.ru

27

28.III.32
B. s/s
A. Remisof
3bis Av. J. B. Clément
Boulogne s/Seine
(Seine)

Дорогой Владимир Владимирович

Два письма ваши получил. Отвечаю кратко. Очень сейчас много забот. Захворала Серафима Павловна — третья неделя.
(простудилась)
надо готовиться к вечеру
и к выставке в Праге (рисунки рус⟨ских⟩ и чешск⟨их⟩
писателей)
и куда-то переезжать (срок у нас 15 апреля)
На первое письмо: все это — эта борьба с денационализацией [1] — один разговор.
На второе напишу вам после вечера (8 апр⟨еля⟩) [2] подробно. Есть кое-что у Лескова [3] и у Пришвина.

Кланяюсь Елизавете Александровне.
От Осоргина ничего не получил.

А. Ремизов.

Поклоны обоим вам от Серафимы Павловны.

[1] В кругах эмиграции обсуждался вопрос о растворении русских в иноязычной среде и утрате ими национальной самобытности.
[2] См. письмо Ремизова А. М. Лазареву от 4 апреля 1932 года: «Посылаю билет на мой вечер... Буду читать из „Страшной мести" или из „Мертвых душ". Много я думаю о Гоголе. И когда-нибудь расскажу о нем. А пока только чтением могу показать» (ЦГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 35. Л. 3).
[3] См. письмо от 9 января 1933 года.

28

18.IX.32

Дорогой Владимир Владимирович

Если бы вздумали поехать в Прагу, первому написал бы Вам. Мое молчание — беда: дважды делали операцию левого глаза, а потом целый месяц лежал — воспаление мочевого пузыря.

И адрес наш все тот же

3 bis Av. J. B. Clément
Boulogne S/Seine (Seine)

Сейчас все прошло, только очень ослаб. Оба кланяемся Елизавете Александровне и Вам и Володе.

А. Ремизов.

lib.pushkinskijdom.ru

29

9.1.1933
3 bis Av. J. B. Clément
Boulogne S/Seine
(Seine)

Дорогой Владимир Владимирович

Письмо и ответ и список опечаток получил. Спасибо. В «П〈оследних〉 Н〈овостях〉» печатают их ближайших знакомых, и среди знакомых — очередь, которая нарушается, если ходить в редакцию и приставать.

Издать книгу нет никакой надежды. Я начал рукописные иллюстрированные альбомы: сделал 20 №№-ов и все лежит у меня.[1]

О птицах.

Кричал, подражая перепелу: «быть — убить
драть — драть
быть — убить
брать — драть» [2] Лесков «На ножах» (1870—1871)

гу-гу-гу-у-ой-іой-іой — далеко за лодкой простонал — «Некуда» овражный пугач [3] (1865)

у оврага, откуда пугач, сидя над черной разселиной, приветствовал лодку криком: { шуты-шуты [4] — «Некуда» (1865)

Но Вы не упоминаете больше о Париже: я все думаю, что Вы приедете. Когда откроется выставка рисунков в Праге, Вам будет послано приглашение (от Никол〈ая〉 Вас〈ильевича〉 Зарецкого).[5]

Если Вам нельзя, напишите Володе прийти посмотреть. Есть там Ваш портрет.

Оба кланяемся Елизавете Александровне, Вам и Володе.

А. Ремизов.

[1] В книге «Встречи» Ремизов писал: «Последние годы 1931—1949, когда у меня не осталось никакой надежды увидеть мои подготовленные к печати книги, а в русских периодических изданиях оказалось, что для меня ,,нет листа''. . . я решил использовать свою каллиграфию: я стал делать рукописные иллюстрированные альбомы — в единственном экземпляре. И за восемнадцать лет работы: четыреста тридцать альбомов ,,так или иначе'' разошлись» (С. 225). См. список названий 157 альбомов в ст.: [*Б. п.*] Русские иллюстрированные альбомы / Новь. 1935. № 8. С. 200—202.

[2] *Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 36 тт. 3-е изд. СПб, 1903. Т. 26. С. 73.

[3] Неточная цитата из кн.: *Лесков Н. С.* Указ. соч. Т. 9. Кн. 1. С. 72.

[4] Неточная цитата из кн.: *Лесков Н. С.* Указ. соч. Т. 9. Кн. 1. С. 69—70.

[5] Зарецкий Николай Васильевич (1876—1959) — художник, директор Народного музея в Праге, друг Ремизова. В конце 1933 года устроил выставку рисунков русских писателей в Праге в большом зале Народного музея, где было представлено около 1000 рисунков Ремизова. См. запись в дневнике Ремизова от 25 декабря 1956 года: «А художник Н. В. Зарецкий — я так и не понял, что толкнуло его ко мне — мое было так противоположно его искусству. . . Через Зарецкого я попал в берлинский ,,Der Sturm'' — к Вальдену (Бруни, Пуни, Зарецкий, Вальден, Пикассо)» (*Кодрянская Н. В.* Алексей Ремизов. С. 98). Об их взаимоотношениях см. вступит. статью к публикации отрывков писем Ремизова к Зарецкому: *Морковин Вадим.* Приспешники царя Асыки // Československá rusistika. Roč. XIV. Číslo 4. 1969. Červenec. С. 178—186.

30

8.VII.1933

Дорогой Владимир Владимирович

15-го VII должны «чистить» квартиру. Где будем, ничего не знаю — сейчас только одно: ухитриться выехать со старой, из которой выгнали.[1]

Сговорился с консьержкой: письма она будет сохранять и перешлет, куда укажем.

Издать книгу нет никакой надежды: подготовил 1 кн〈игу〉 Учителя музыки,[2] IV часть «Оли».[3]

lib.pushkinskijdom.ru

Мои рукописные издания почти без движения. Я послал экз⟨емпляры⟩ Н. В. Зарецкому для выставки. Прилагаю заметку из «Чисел» № 9.[4] Оба кланяемся Елизавете Александровне, Вам и Володе.

А. Ремизов.

[В письмо вложена записка Ремизова:]
вон и *сорока* была у него на крыше и кричит: «Савка, скинь кафтан» Ник⟨олай⟩ Лесков: Некрещеный поп [5]

[1] См. рассказ Ремизова в записи Кодрянской: «С булонской квартиры нас выгнали, а выехать мы не могли: надо было уплатить налог. Денег не было... И началось лето без квартиры, со случайными пристанищами. К кому я только не обращался, прося денег! Кое-как с чемоданами удалось перебраться на океан, так прожили лето в долг и к первому октября вернулись, но не в Булонь, а в Пàриж. Нашлась квартира на улице Буало» (*Кодрянская Н. В.* Алексей Ремизов. С. 63).

[2] Первая часть книги «Учитель музыки» опубликована в журнале «Воля России» (1931. № 1/2, С. 3—43).

[3] В окончательном варианте книги «Оля» IV ч. под заглавием «В розовом блеске» опубликована в Нью-Йорке в 1952 году. Ремизов имеет в виду первоначальную IV ч. книги под заглавием «Голова львова».

[4] *Василий Куковников* [*А. Ремизов*]. Рукописи и рисунки А. Ремизова // Числа. 1933. № 9.

[5] Неточная цитата из рассказа Лескова «Некрещеный поп» (1877) (*Лесков Н. С.* Полн. собр. соч.: В 36 т. Изд. 3-е. Т. 22. СПб., 1903. С. 44).

31

24.X.1933

Дорогой Владимир Владимирович [1]

Только что переехали на новую квартиру. Наш адрес:

A. Remisoff [2]
7 Rue Boileau
Paris XVI [3]

Кланяюсь Елизавете Александровне и Володе.

А. Ремизов

[1] Над текстом рисунок Ремизова — волк и луна.

[2] Слева от адреса рисунок Ремизова — птенец с человеческой головой перед гнездом.

[3] Ремизовы переехали на улицу Буало (дом 7) 15 октября 1933 года. Эта квартира описана в гл. III «Трактирные обои» 6 ч. книги «Учитель музыки»: «Квартира блестящая — трактирные обои — на дверях зеленая наклейка: „висит зеленое и поет", не надо и консьержку беспокоить» (С. 407).

32

16.XI.1933
3 bis Av. J. B. Clément
Boulogne S/Seine

Дорогой Владимир Владимирович

Когда кончится выставка, я вам *пошлю Ваш портрет.*
Но когда откроется выставка, не знаю: в Праге все больны.
Напишите Николаю Васильевичу Зарецкому

N. N. Zaměskij
Прага XIX
Podbabská ul. čis⟨lo⟩ 892
Atelier III

lib.pushkinskijdom.ru

Я ему писал о вас и еще написал о вашем проекте.
Не все рисунки, но к Посолони, я думаю, очень пригодились бы.
ведь это «Волшебная Россия».
С театральным проэктом обратитесь, ссылаясь на меня, к Мстиславу Валериановичу Добужинскому [1]

m. Dobujinsky
Kestučio, 24
Kaunas Lietuva

Напишите ему, что выставка из Бесов⟨ского⟩ действа, что были на 1-ом представлении Б⟨есовского⟩ Д⟨ейства⟩,[2] расскажите ваш проэкт. В Варшаву напишите ученику и ближайшему помощнику Ф. Ф. Зелинского,[3] ссылаясь на меня,

Сергею Юлиановичу
Кулаковскому [4]
W Pan Profes⟨sor⟩ Dr. S. Kulākovsky
ul. Szopena, 16 m. 5
Warszawa

В Риге у меня есть знакомый рижский писатель Виктор Иванович Эглит,[5] но он против влияния русских. М⟨ожет?⟩ б⟨ыть?⟩ Кулаковский помог бы наладить дело в Латвии, у него большие связи.
В Эстонию напишите, ссылаясь на меня Юрию Павловичу Иваску [6] (молодой ученый и писатель). М⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩ он что-нибудь придумает и поможет вам

J. Ivask
Tartu, Kastani, 47
Est⟨onia⟩

У него связи с Дерптом,[7] и, кажется с Финляндией. Попытайте счастье.
О Сербии — там есть знакомые — но *никогда не ответят на письма.*
Если что-нибудь придет в голову, напишу вам.
Оба кланяемся Вам и Елизавете Александровне.
В моем архиве, о котором Вы читали в Пос⟨ледних⟩ Нов⟨остях⟩ (11.II.1933 № 4343) [8] XXI том писем [9] (последние 3 тома не подсчитаны — очень у меня голова болела последний год в России) а в I—XVIII — 1627 писем и есть среди них Ваши.[10]

Алексей Ремизов

[1] Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957) — художник, друг Ремизова, иллюстратор его книг и автор декораций к 1-ой постановке «Бесовского действа». Его воспоминания о Ремизове в кн.: *Добужинский М. В.* Воспоминания. М., 1987. С. 276—278. См. свидетельство Кодрянской об их последних встречах на ул. Буало: «Добужинский, большой, подтянутый, сидел в кукушкиной на горбатом, продырявленном диване напротив Алекс⟨ея⟩ Мих⟨айловича⟩ и бесстрастно читал свои воспоминания о Петербурге. Алекс⟨ей⟩ Мих⟨айлович⟩ курил и внимательно слушал» (*Кодрянская Н. В.* Алексей Ремизов. С. 49).

[2] См. воспоминания Ремизова в книге «Встречи»: «На Варварин день 1908 г. на театре В. Ф. Коммиссаржевской играли мы „Бесовское действо". . . М. В. Добужинский — его первые декорации — встречен восторженно, а я под дождь свистков слышу сквозь неистово хлопают: „Балаган!" „Бесовское действо" было вызовом — наперекор погоне за утонченностью петербургских эстетов» (С. 15—16).

[3] Зелинский Фаддей Францевич (1859—1944) — филолог-классик, профессор Санкт-Петербургского, а затем Варшавского университетов, член Польской Академии наук.

[4] О С. Ю. Кулаковском см. прим. 5 к п. 10.

[5] Эглит (Эглитс) Виктор (1877—1945) — латышский писатель-символист, переводчик произведений русских модернистов на латышский язык. Для его творчества 20—30-х годов характерно усиление национальных литературных традиций. В 1910-е годы Ремизов помогал Эглиту в пропаганде латышской литературы в России. См. письма Эглита Ремизову 1914 года (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 303. 4 лл.).

lib.pushkinskijdom.ru

[6] Иваск Юрий Павлович (1907—1986) — поэт, критик, литературовед, профессор. Участник Таллиннского «Цеха поэтов», сотрудник журналов «Современные записки», «Числа», «Новь» и др. После II мировой войны переехал в США, где занимался преподаванием русской литературы.

[7] Иваск окончил юридический факультет Юрьевского (Дерптского) университета.

[8] В заметке «Архивы А. М. Ремизова и З. Н. Гиппиус» (Последние новости. 1933. № 4343. 11 февр. С. 2) изложен текст интервью сотрудника ГПБ Горбачева журналисту «Красной газеты» (1933. 5 февр.) о разборке архива Ремизова, «оставленного в библиотеке в 1919 г. Философовым. Эта часть архива охватывает 1902—1912 годы (другая часть архива — 1912—1922 годы находится в Пушкинском Доме). В документах Ремизова найдены интересные письма М. Горького, А. Блока, много писем Брюсова, Бальмонта, Мережковского, Гиппиус, Леонида Андреева и др. представителей русской литературы начала XX века» (С. 2).

[9] Под «томами писем» Ремизов подразумевал альбомы, в которые он вклеивал полученные письма и другие материалы, располагая их, в основном, в хронологическом порядке (по годам). В настоящее время большинство альбомов, хранящихся в ГПБ, размонтировано на отдельные единицы хранения, объединяющие все письма определенного адресанта Ремизова.

[10] ГПБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 169.

33

Exp⟨éditeur⟩
A. Remizov,
7 Rue Boileau, Paris XVI
8.III.1934

Дорогой Владимир Владимирович!

Не писал вам: два месяца готовился читать о «Иване Федорове» [1] — собрание не состоялось.

Теперь готовлюсь к своему вечеру 24 марта.

После вечера я пришлю вам самые точные указания IV части «Оли» [2] и пяти частей «Учителя музыки».[3]

Кланяюсь Елизавете Александровне

А. Ремизов.

[План книги]

Учитель музыки

Книга 1

На воздушном океане

Часть первая

Гл. I. Тысяча съеденных котлет
1) Личность
2) Самое страшное
3) Нойда

Гл. II Оказион
1) Чортова рюмка
2) Автомобиль
3) Погасили

Гл. III. На птичьих правах
1) Диковинка
2) Волчий век
3) Современный маньяк
4) Басаркуны

Часть вторая

Гл. I Буйволовы рога
1) Китайский повар
2) Complet
3) Ночь

Гл. II. Счастливые слоны
1) Греческий огонь
2) Ветчина с горчицей
3) Эмблема счастья

Гл. III. Железные сапоги
1) Попугаева болезнь
2) Съеденное сердце
3) Забытый юбилей
4) Черные сказки

lib.pushkinskijdom.ru

Часть третья

Гл. I. Индустриальная подкова
1) Züt
2) Три желания
3) Дело в шляпе
Гл. II Завал
1) Тло
2) Аэрг
3) Ералаш
4) Простокваша
Гл. III Юнер

Часть четвертая

Гл. I Камертон
1) Крах гиппопотама
2) Интегралы
3) Километры
4) Факультативы
Гл. II На крайний камень
1) Идиллия
2) Кэмперг
3) Пуант-дю-Ра
Гл. III Прессинг
1) Пустяки
2) Письмо Ф. М. Достоевскому
3) Над могилой
4) Полет на луну
5) Воровской самоучитель
6) Свидетельство о бедности
7) Шиш еловый

Часть пятая

1) Куафер
2) Ы
3) Слепая
Чинг-чонг

[1] Рассказ Ремизова «Книгописец и штанба. Памяти первопечатника Ивана Федорова» (впервые: Последние новости. 1934. № 4833. 7 июня). То же опубликовано в кн. Ремизова «Пляшущий демон» (Париж, 1949. С. 82—90). В кн. «Подстриженными глазами» Ремизов писал о значении личности Ивана Федорова для формирования своего мироощущения (С. 130).
[2] См. письмо от 9 июля 1934 года.
[3] См. приводимый здесь же план книги «Учитель музыки».

34

24.VI.1934
7 Rue Boileau,
Paris XVI

Дорогой Владимир Владимирович

Все указания № число год напечатанного в П⟨оследних⟩ Н⟨овостях⟩ пришлю вам.
1 часть «Уч⟨ителя⟩ музыки» почти закончена — ненапечатанной лежит «Слепая».[1]
Начиная с «Узлов» — 2 часть: Узлы, Закруты, Книгописец и Штанба.
Конец 1-ой части: «Трактирные обои» (они появились с пропуском «предсмертных» писем по-французски)
Только бы мне закончить все дела: устроить введение к Гоголю (по случаю 125 лет рождения) [2]
приготовить картинки к беспроигрышной лотерее
и докончить чтение книг — надо отдавать в библиотеку (на лето закрывается)
С утра и до поздней ночи сижу.
Если бы достать мне мои альбомы, дело бы упростилось. И вот горе: Н. В. Зарецкий не может мне выслать: у него нет денег на пересылку.[3] Я получил от него несколько альбомов *заказ⟨ной⟩ бандеролью*. Другого способа нет.

lib.pushkinskijdom.ru

Надо подписывать: *manuscrits pour l'impression*[4]
Это самый дешевый тариф, как imprimé.[5]
Посылать по железн⟨ой⟩ дороге в Париж — самая отправка дешевая, но получение на таможне дорогое.
А посылать manuscrit[6] заказн⟨ой⟩ бандеролью можно не больше *250 грамм.*
Стало быть, надо посылать по выбору:
В первую очередь мне надо { альбом Congé, рисун⟨ки⟩ 1933 г. с эпиграфом из Платона о «любви» — 38 рис⟨унков⟩. (раскрашенных)[7] и Тургенев
и рукописный альбом № 24 Заяц, медвежья нянька.
Потом «Шарлотенбургский альбом» (13 рис⟨унков⟩) и Берлинский (20 р⟨исунков⟩).
Сообразите, как это возможно, известите меня. Очень буду благодарен. И сейчас же отвечу.
Николаю Васильевичу Зарецкому пишу.
Кланяюсь Елизавете Александровне и Володе.

А. Ремизов.

[В письмо вложена доверенность:]

Доверяю получить все мои альбомы с рисунками
Владимиру Владимировичу Перемиловскому
Елизавете Александровне Перемиловской
Владимиру Владимировичу Перемиловскому
Алексей Ремизов.
24.VI.1934
A. Remisof
7 Rue Boileau
Paris XVI

[1] О публикации гл. «Слепая», «Узлы», «Закруты», «Книгописец и штанба», «Трактирные обои» см. приложение к п. 45 от 7 ноября 1934 года.
[2] Вероятно, Ремизов имеет в виду свою статью «Серебряная песня» о мироощущении Гоголя (Иллюстрированная жизнь. 1934. № 2. 22 марта). Все статьи о Гоголе опубликованы в кн. Ремизова «Огонь вещей» (Париж, 1954).
[3] См. письмо С. П. Ремизовой-Довгелло от 23 июня 1934 года (ТА-9), где она просит Перемиловского помочь получить рисунки Ремизова, на пересылку которых у Зарецкого нет денег: «И скажу вам так: рисунки помимо душевного волнения, что важно, нужны здесь и материально: 1) мы делаем беспроигрышную лотерею, и туда входят рисунки (конечно, не цикл, как Тургенев, Достоевский и т. д.) и это тормозит лотерею, а она больше чем нужна — Ал⟨ексей⟩ Мих⟨айлович⟩ сильно переутомлен, ему надо хоть как-нибудь отдохнуть и питаться лучше, а денег у нас совсем нет, у А⟨лексея⟩ М⟨ихайловича⟩ лежат 4 книги ненапечатанные, и негде печатать» (Л. 1, об.).
[4] рукописи для публикации (фр.).
[5] печатное (фр.)
[6] рукопись (фр.)
[7] слово «раскрашенных» зачеркнуто, затем восстановлено.

35

1.VII.1934
7 Rue Boileau
Paris XVI

Дорогой Владимир Владимирович

Очень обрадовали меня вашим согласием прислать мне альбомы от Зарецкого.

lib.pushkinskijdom.ru

Н. В. Зарецкий получил мое письмо, где я писал о вашем согласии. Не знаю, не лучше ли сделать так, чтобы Зарецкий вам послал все мои картинки, а вы бы заплатили за пересылку *по получении*.

Н⟨иколай⟩ В⟨асильевич⟩ не может держать денег, соблазнится какой-нибудь редкой книгой и пропали деньги! Так у него случается при получении, а потом надует⟨?⟩.

Из альбомов, нужных мне экстренно:

1) Цветной (с эпиграфом из Платона о любви) 21 рис⟨унок⟩
2) Тулумбас — 16 рис⟨унков⟩
3) Берлинский — 20 рис⟨унков⟩
4) Шарлотенбургск⟨ий⟩ — 13 рис⟨унков⟩
5) Учитель музыки — 34 рис⟨унка⟩
6) Бику — 38
7) Albern — 16
8) Тургенев

Поклон от нас вам и Елизавете Александровне.

А. Ремизов.

Посылать надо заказн⟨ой⟩ бандеролью с надписью:

Recommandé
manuscrits pour l'impression [1]

(это расценивается как imprimé,* печатное)
объясните, что я писатель, если спросят,
и что это рисунки мои —
были на выставке, возвращаются для печати.

* есть такой параграф в почт⟨овом⟩ уставе
Посылать можно не более 200 грамм.

[1] заказное, рукописи для публикации (фр.)

36

9.VII.1934
7 Rue Boileau,
Paris XVI

Дорогой Владимир Владимирович

Вы совершенно правы: *2 кило*, а не 200 гр⟨амм⟩.

От Н. В. Зарецкого альбомов не получил. Лучше не посылать ему денег, пусть он все пришлет вам наложенным платежом, так будет вернее. Сейчас мне запрещено писать и читать временно: болят глаза, я подклеиваю и разбираюсь в рукописях.

Выписываю вам напечатанные из IVч. Оли

Голова львова
рассказы из «Оли» (IV ч⟨асть⟩) [1]

1) Как улетали птицы
2) Супирчик
} 4210 1.X.1932

3) Букет
4) Святой
5) Издали
6) Закрыла окна
} П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ 4225 16.X.1932

7) И все так
8) Три пламенных старца
} П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ № 4267 27.XI.1932

lib.pushkinskijdom.ru

9) Не считается П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ № 4372 12.III.1933
10) Некуда деваться П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ № 4337 5.II.1933
11) Не дождалась П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ № 4484 2.VII.1933
12) Наперекор П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ № 4498 16.VII.1933
13) Без предмета * Русский инвалид 1934 № 67, 68
14) На память Русский инвалид 1933 ** № 55
15) Серебряный полумесяц П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ №4533 20.VIII.1933
16) Без указки П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ № 4561, 4562 17.IX. 18.IX.1933
17) Слепая любовь П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ № 4687 21.I.1934
18) Земля и море П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ № 4533 20.VIII.1933
19) С горбом П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ № 4516 22.X.1933
20) Живое и мертвое П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ № 4652 17.XII.1933
21) Из вечного П⟨оследние⟩ Н⟨овости⟩ № 4701, 4708 4/II 11/II 1934

* В Р⟨усском⟩ Инв⟨алиде⟩ — полная редакция без пропусков наз⟨ывается⟩ «Стихи»
сокращенно напеч⟨атано⟩ в П⟨оследних⟩ Н⟨овостях⟩ № 3929 25/XII 1931

** В Рус⟨ском⟩ Инв⟨алиде⟩ — полная редакция наз⟨ывается⟩ «Прилипа» сокращ⟨енная⟩ в П⟨оследних⟩ Н⟨овостях⟩ № 3819 6.IX.1931.
В П⟨оследних⟩ Н⟨овостях⟩ бывают сокращения; а одно время надо было другие имена называть — не хотели печатать из «Оли».
До 1933 года гонорары 1 фр⟨анк⟩ за строчку
С 1933 — 90 с⟨ан⟩т⟨имов⟩
С 1934 оплачивается до 300 строчек, остальное бесплатно.
Еще напишу вам о сокращениях, боюсь, из-за глаз (воспаление слизистой оболочки).
Поклон от Серафимы Павловны.

А. Ремизов.

Постараюсь достать вам «Рус⟨ский⟩ Инвалид» [2] изд⟨аваемый⟩ в Париже без гонорара.
(иначе какой же это был бы «Инвалид»!)

[1] Очевидно, в письме дан первоначальный план IV ч. повести «Оля». Указанные № 15 и № 16 опубликованы под заглавием «Оля», в № 19 описка Ремизова — надо: № 4596.
[2] «Русский Инвалид» — ежемесячная военно-научная и литературная газета (Париж, 1925—1929. № 1—5; 22 февраля 1930 — 5 мая 1940. № 1—159). Редактор Н. Н. Баратов. Ремизов опубликовал в ней 12 рассказов и сказок в 1929—1940 годах.

37

12.VII.1934

Дорогой Владимир Владимирович

Сегодня получил от Зарецкого:

1) Тургенева
2) Шарлотенбургский
3) Congé
4) Цветной
5) Берлинский
6) Рукописный № 24

} 11,50 krun — Извещаю что

хотелось бы получить
1) Тулумбас

lib.pushkinskijdom.ru

2) Albern
3) Berl⟨iner⟩ Nachtreise⟨?⟩
4) Раскрашенный с эпиграф⟨ом⟩ Платона о «любви»
Большое вам спасибо

А. Ремизов.

Поклон от Серафимы Павловны.

38

20.VII.1934

Дорогой Владимир Владимирович

Да, конечно, если находите возможным, устройте выставку.[1] Если бы нашлись охотники что-нибудь купить, и это было бы хорошо. В моей беспроигрышной лотерее, картинка идет за 10 frs.

Поклон от Серафимы Павловны.

А. Ремизов.

Спасибо вам.

[1] См. свидетельство Ремизова в статье «Рисунки писателей»: «Развой и цвет моей рисовальной каллиграфии... в Моравской Тшебове у Перемиловского была представлена она всех цветов, как Чичиковский шарф, а закорючек — подпишет московский подъячий Федор Грешищев» (Временник общества друзей русской книги. Вып. 4. 1938. С. 29).

39

8.III.1934
7 Rue Boileau
Paris XVI

Дорогой Владимир Владимирович

Очень Вам благодарен и всем, кто принимал участие в устройстве выставки. Если удался фотогр⟨афический⟩ снимок, пришлите мне 2 экз⟨empляра⟩. Попробую где-нибудь здесь напечатать. Прислал ли Вам Н. В. Зарецкий рисунки Очередина,[1] Андрея Белого,[2] А. Толстого,[3] Сувчинского,[4] Соколова-Микитова,[5] Болдырева (Шкотта)?[6] (Эти рисунки были от меня).[7]

Поклон от Серафимы Павловны.

А. Ремизов.

[1] Очередин Борис — литератор, знакомый Ремизова. Автор стихотворений (опубл.: Сборник Союза поэтов. Париж, 1929. № 1) и прозы («Санька и соседи» // Сборник Союза молодых поэтов и писателей. Париж, 1931. № 5; «Повесть» // Ковчег. Париж, 1942. № 1 и др.).

[2] Андрей Белый (Бугаев Борис Николаевич) (1880—1934) — поэт, прозаик, друг Ремизова. См. его характеристику в книге Ремизова «Встречи»: «Гениальный, единственный, весь растерзанный: между антропософией, Заратустрой и Гоголем. Синие дремучие глаза» (С. 134). См. запись Ремизова 1952 года: «В рисовании Андрея Белого было что-то от игры... В этом душа рисунков Андрея Белого. Но было и другое: страсть иллюстрировать — изображать мысль; но при неуменье и эти иллюстрации, в которых всегда преднамеренность и отчетность, превращались в фантастические узоры, ничего не объясняющие» (Цит. по: *Кодрянская Н. В.* Алексей Ремизов. С. 122).

[3] Толстой Алексей Николаевич (1882—1945) — прозаик, драматург. См. его характеристику в письме Ремизова Кодрянской от 8 ноября 1957 года: «Дурковатый, одаренный огромным талантом Толстой мог изобразить и Прекрасную Даму. И не понадобилось. Он жрал, пил, гоготал — счастливый человек» (*Кодрянская Н. В.* Алексей Ремизов. С. 327).

lib.pushkinskijdom.ru

[4] См. прим. 4 к п. 10.

[5] Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892—1975) — писатель-прозаик. Знакомый Ремизова с 1910-х годов. В 1917 году жил у Ремизовых на Таврической ул., в 1918 году они гостили у него в дер. Кислово. Встречались в начале 20-х годов в Берлине. Сведения о смерти Ремизова даны в письме Соколова-Микитова Н. В. Барской от 23 января 1958 года (Творчество И. С. Соколова-Микитова. Л., 1983. С. 220—221).

[6] Шкотт Иван Андреевич (псевд.: Иван Болдырев) (1903—1933) — писатель, автор повести «Мальчики и девочки» (1929). «А. М. считал его умным и талантливым, ему нравился его упорный характер — ,,англичанин''» (*Резникова Н. В.* Огненная память. С. 85). Его памяти Ремизов посвятил статью «Над могилой Болдырева-Шкотта. 1903—1933» (вошло как глава в книги «Учитель музыки» (С. 301—304) и «Встречи» (С. 272—275)).

[7] См. альбом Ремизова «Рисунки писателей» (ЛМ ИРЛИ. № 86698). На л. 1 запись Ремизова: «Эти рисунки писателей были на выставке в Праге и получили одобрение от самого князя обезьяньего и рыцаря пламенного меча кавалера обезьяньего знака пушкиниста Николая Васильевича Зарецкого в декабре 1933 г.».

40

Exp⟨éditeur⟩
A. Remisof,
7 Rue Boileau,
Paris XVI

Дорогой Владимир Владимирович

Извещаю тотчас по получении пакета NB.
Chance de la faim, Ohr, Ornebire, K⟩, Рус. VI,
О 3^{x} купцах, Hagiogr. Nikol., Рыцарск⟨ие⟩
Miroir⟨?⟩ de Basile и грамоты ⟨нрзб.⟩ [1]

Подали сегодня вечером — пятница 10-го. Утром получил Ваше подробное описание. *Всем участникам выставки напишу непременно.* Сегодня вечером виделся с редакт⟨ором⟩ «Русского Очага».[2] Он предложил дать отзыв о выставке и напечатать 2 фотогр⟨афии⟩: участников и где рисунки.

Руководясь Вашим письмом, я напишу. *Известите, как Вас титуловать?* Отчет будет за моей подписью.

Напишите, сколько я вам должен?

Немного погодя, пришлите следующий пакет.

За все я очень благодарен.

Кланяемся оба Елизавете Александровне и Вам.

А. Ремизов.

[1] Ремизовские сокращения иностранных и русских названий альбомов поддаются лишь частичной расшифровке, потому публикуются без перевода. Список названий альбомов Ремизова см.: [*Б. п.*] Русские иллюстрированные альбомы // Новь (Ревель). 1935. № 8. С. 200—202.

[2] В «Библиографии русской зарубежной литературы. 1918—1968» (Сост. Л. А. Фостер. Т. 1—2. Бостон, 1970) журнал «Русский очаг» не указан. Отзыв Ремизова о выставке Перемиловского «Рисунки писателей» опубликован в кн.: Минувшее. Париж, 1987. № 3. С. 207.

lib.pushkinskijdom.ru

41

Exp⟨éditeur⟩ A. Remizoff
7 Rue Boileau
Paris XVI
16.VIII.1934

Дорогой Владимир Владимирович

Сейчас получил № I (Посол⟨онь⟩ III, ⟨нрзб.⟩, ⟨нрзб.⟩, Учитель музы⟨ки⟩ Berlin. Mah., Бику По карнизам)
№ II (Посол⟨онь⟩ I и II, ⟨нрзб.⟩, ⟨нрзб.⟩, тябень)
Спасибо.
Сейчас же можно послать по получении этой открытки, все дошло аккуратно. В *воскресенье* должен отдать рукописи и 2 фотограф⟨ии⟩ для воспроизведения (группу) и (стол и первая половина экрана). Журнал «Русский очаг» выйдет в сентябре.
Оба кланяемся Елизавете Александровне и Вам

А. Ремизов.

Еще раз спасибо.

42

19.VIII.1934

Дорогой Владимир Владимирович

Посылаю марки за I, II и III пакеты.
Написал отчет о выставке, но не так, как бы хотелось, пришлось остановиться: озноб и температура 38°.
Кланяюсь всем вашим.

А. Ремизов.

43

Париж,
le 22/VIII 1934

Дорогой Владимир Владимирович

Вчера получил три пакета (прилагаю марки).
Спасибо Вам большое.
Прилагаю листки с благодарностью. Бандеролью послал вам Тургенева — сны [1] и для Володи картинку из книги «Les sommes et les demons».[2] Другие карточки дал я Унковскому [3] для помещения в «Зарубежье» [4] Харбин.
Оба кланяемся Елизавете Алексаидровне, Вам и Володе.

Алексей Ремизов.

После воскресенья оправлюсь, очень слаб.

[1] Имеется в виду статья Ремизова «Тургенев — сновидец». Опубликована на фр. яз. в журнале «Hippocrate» (Paris, 1933. № 3). Позднее вошла в книгу «Огонь вещей» (Париж, 1954).
[2] Сны и демоны (фр.)
[3] Унковский Владимир Николаевич (1888—1964) — журналист, беллетрист, автор романов «Наши дни», «Перелом» (1934), сотрудник журналов «Звено», «Числа», «Рубеж» и др., знаком с Ремизовым с 1911 года, всегда высоко ценил его творчество. См. письмо Унковского Ремизову 1915 года: «Народные сказки: „Докука и балагурье" — ценный вклад в историю русской литерату-

lib.pushkinskijdom.ru

ры... Считаю ,,Пятую язву'' и ,,Крестовые сестры'' самыми лучшими Вашими произведениями — выдающимися, удивительно выпуклыми; яркими по быту» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 273. Л. 1, об. — 2). Под прозвищем «африканский доктор» изображен в книгах Ремизова «Учитель музыки» и «Мышкина дудочка». См. также: *Унковский В.* А. М. Ремизову — 80 лет // Возрождение. 1957. № LXIV. С. 52—57.

[4] Ошибка Ремизова. Имеется в виду журнал «Рубеж» — еженедельный литературно-художественный журнал. Редактор М. Рокотов. Харбин, 1927—1945.

44

7 Rue Boileau
Paris XVI
14.IX.1934

Дорогой Владимир Владимирович

Спешу ответить Вам, все исполнено, о чем пишите. Со мной беда, пишу лежа — нога болит: растяжение вен. Писал Hippocrat'y,[1] который взялся отослать вам бандероль, он известил меня, что не тотчас выслал. Как подымусь, пойду в редакцию Hippocrat'a и справлюсь.

Оба кланяемся Елизавете Александровне и Володе

А. Ремизов.

«Слепая» ⟨нрзб.⟩ [2] очень сокращена, хочу напечатать и полностью, если удастся.

[1] «Hippocrate». Revue d'humanisme mêdical. Paris, 1933—1939. См. также прим. 1 к п. 43.
[2] См. прим. 1 к п. 34.

45

Paris, le 7.XI.1934

Дорогой Владимир Владимирович

Спасибо за «беседу о рус⟨ской⟩ лит⟨ературе⟩».[1] Буду показывать и спрашивать. Непременно пошлите редактору временника Об⟨щества⟩ Др⟨узей⟩ Рус⟨ской⟩ Кн⟨иги⟩ Якову Борисовичу Полонскому [2]
monsieur le secrétaire général
de la Société des amis du livre russe
Jacques B. Polonsky
2 Rue Claude Lorraine
Paris XVI [3]
Все ждал, что мне дадут много экземпляров «Рус⟨ского⟩ Очага» (на № 3 он прекратился), но по здешнему обычаю, и на письмо не ответили. Я посылаю Вам 1 экз⟨емпляр⟩ (1 оставляю себе и еще 1 — Полонскому).
Посылаю Вам I и II часть «Учителя музыки».
Порядок IV части Оли: «Голова львова», я вам выписал [4] так, как было бы в книге. (В «П⟨оследних⟩ Н⟨овостях⟩» печаталось непоследовательно).
Измените №№. После № 4 (Святой) следует № 5 Баррикадный (ненапечатан) [5] и, стало быть, № 6 будет «Издали».

а всего 22 рассказа
Печатанное в П⟨оследних⟩ Н⟨овостях⟩ из Уч⟨ителя⟩ муз⟨ыки⟩ тоже не последовательно.[6]
Собираюсь сделать указание I книги У⟨чителя⟩ м⟨узыки⟩.

lib.pushkinskijdom.ru

Узлы, Закруты, Книгописец — это из II книги.
I-ая оканчивается «Слѣпой».
II книга делится на 2 части
- I часть Узлы, Закруты, Книгописец и (дальше пишу)
- II часть Трактирные обои, Эмпермеабль, (imperméable) [7]
- На каторге,[8] Смертник [9]

Книгописец III часть не напечатана лежит в редакции П⟨оследних⟩ Н⟨овостей⟩.

А. Ремизов.

С ногой легче сейчас.

Поклон от Серафимы Павловны.

беспроигрышная лотерея идет плохо.

[На обороте этого письма]

12.XI.1934

Очень интересовались Вашей книгой. Я же советую непосредственно обращаться к Вам. Так, по-моему, вернее.

Только сегодня выйду и приготовленное — бандероль — попрошу послать вам.

А⟨лексей⟩ Р⟨емизов⟩

[Приложение к письму № 45]

Слепая	4881, 4888	4 и 11 VIII 1934
Трактирн⟨ые⟩ обои —	4756	1 IV 1934
Узлы —	4660	25 XII 1933
Закруты	4673	7/I 1934
Книгопис⟨ец⟩ и штанба	4833, 4840	15 VI, 24 VI 1934
На воздушн⟨ом⟩ океане	3917	13 XII 1931
Ы	4784	29 IV 1934
Куафферз	4582, 4583	8 X, 9 X 1933
На крайн⟨ий⟩ камень Кэмперз	4148	31 VIII 1932
Воровской самоучитель	4477	25 VI 1933
Пустяки	4386	26/III 1933
Соломон и Сфинкс	3679	19 IV 1931
Письмо Достоевскому	4407	16 IV 1933
Забытый юбилей	3564	25 XII (1930. — *Т. Ц.*)
Чупыжник	3987	21 II 1932
Савинков	4008	13/III 1932
Аэр	4057	1/V 1932
Съеденное сердце	3496	18 X 1930
Ералаш	3763	12 VII 1931
Тло	3798	16 VIII 1931
Памяти Блока	3788	6 VIII 1931 Диксона
	3196	22 XII 1929 ⟨Над могилой Болдырева-⟩ Шкотта
	4453	1 VI 1933

Распродажа книг Ремизова (какого месяца года?) 1932 декабрь

[1] *Перемиловский В.* Беседы о русской литературе. Вып. 1. Пушкин. Прага-Харбин, 1934.

[2] Полонский Яков Борисович (1892—?) — литературовед, специалист по литературе пушкинской поры. Один из учредителей «Общества друзей русской книги» в Париже и один из редакторов журнала «Временник общества друзей русской книги» (Париж, 1925—1938. Кн. 1—4).

[3] Господину генеральному секретарю Общества друзей русской книги Якову Б. Полонскому — 2, ул. Клода Лоррена, Париж, XVI округ (фр.)

lib.pushkinskijdom.ru

[4] См. письмо от 9 июля 1934 года.
[5] Опубл.: Последние новости. 1935. № 5148. 28 апр. См. приложение к данному письму.
[6] См. приложение к данному письму.
[7] Непромокаемый (фр.). Рассказ «Эмпермеабль» опубл.: Последние новости. 1934. № 5024. 25 дек.
[8] Опубл.: Последние новости. 1935. № 5043. 13 янв.
[9] Рассказ под таким заглавием опубликован не был.

46

8/IX 1935
A. Remisoff,
7 Rue Boileau
Paris XVI

Дорогой Владимир Владимирович

В Париже образовали Комитет.[1] Хотели сделать издание Пушкина. Предлагаю программу: перечень тех произведений, которые войдут в собрание.
Буду вам очень благодарен, рассмотрите и дайте Ваше заключение:
1. Что находите нужным добавить
2. Или что следовало бы исключить
и наконец как вы представляете издание (На такие вопросы я получу ответы от Н. В. Зарецкого

Его адрес: ulice Narodni Obrany
čis⟨lo⟩ 26, byt 36

Он советует напр⟨имер⟩ дать к изданию рисунки). Я о вас рассказывал Мих⟨аилу⟩ Мих⟨айловичу⟩ Федорову,[2] ему я и передам Ваш отзыв.
Показывал и ваши два выпуска «Беседы».[3]
Хорошо бы послать вам для отзыва
Секретарю Временника Друз⟨ей⟩ Рус⟨ской⟩ Книги Я. Б. Полонскому ваши Беседы. Секретарь Пушк⟨инского⟩ Комитета Лозинский,[4] он же и председатель Общ⟨ества?⟩ врем⟨енника⟩ Друз⟨ей⟩ Рус⟨ской⟩ Книги, а у Полонского сосредоточена вся техн⟨ическая⟩ сторона издания. Сейчас подготовляют 4 выпуск.[5] Вчера о вас рассказывал Полонскому.

monsieur le sécrétaire général de la
Sociéte des amis du livre russe
Jacques B. Polonski
2 Rue Claude Lorraine
Paris XVI

Иорданского непременно пригласим.
Кланяемся оба Елизавете Александровне вам и Володе

А. Ремизов.

Пришлю Вам каталог (письменный) моих рукописных работ.

[1] «Для организации чествования памяти А. С. Пушкина в столетнюю годовщину его трагической смерти в Париже образовался Пушкинский Комитет, в президиум которого были избраны: В. А. Маклаков (председатель), И. А. Бунин, П. Н. Милюков, М. М. Федоров (товарищ председателя) и Г. Л. Лозинский» (Иллюстрированная Россия. Numèro spècial. А. С. Пушкин и его эпоха. Paris, 1937. С. 136).
[2] Федоров Михаил Михайлович (1858 — ?) — общественный деятель, в эмиграции занимался преподавательской работой (см.: *Демидов И.* М. М. Федоров // Последние новости. 1933. № 4427. 6 мая. С. 2).
[3] *Перемиловский В.* Беседы о русской литературе. Вып. 1 и 2. Прага-Харбин, 1934.
[4] Лозинский Григорий Леонидович (1889—1942) — литературовед, специалист по романским литературам, перевел книгу Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1 изд.: М.;

lib.pushkinskijdom.ru

Л., «Academia», 1932). В эмиграции читал лекции по старофранцузскому языку на русских курсах при Сорбонне, был педагогом парижской русской гимназии. Специалист по русской классической литературе, один из редакторов «Временника друзей русской книги».

[5] Временник общества друзей русской книги. Вып. 4. Париж, 1938. 295 с. Большинство материалов выпуска посвящено Пушкину. На с. 25—30 помещена статья Ремизова «Рисунки писателей», где главным достоинством рисунков Пушкина названа «их непосредственность. Ведь только непосредственность — ненамеренность передает мгновения в беспрерывном, всплеск жизни в ограниченном окостенелом событии» (С. 30).

47

7 VII 1936
A. Remizov
7 Rue Boileau
Paris XVI

Дорогой Владимир Владимирович

С радостью поехали бы в Прагу,[1] только эта поездка не представляется мне легко осуществимой. Один я не могу ехать. Если бы поехали, то вместе с Серафимой Павловной. Само собой проезд Серафимы Павловны в условия не входит.

Надо знать:

1) Когда?

2) Что я должен делать?

Я не пушкинист. О Гоголе я мог бы прочитать и из Гоголя много. А о Пушкине что я могу сказать, кроме того, что и всякий скажет. Читаю я о Золотой Рыбке.[2] Пытался читать себе прозу, не звучит. Да и понятно: Проза Пушкина — это итог XVIII в⟨ека⟩, холодная, сухая, без вдохновения. И не в ней Пушкин.

3) В январе 1937 г⟨ода⟩ надо платить за карт-дедантите [3] и нансеновский сбор,[4] надо и заграничный паспорт (тоже какой-то сбор).

А денег — ничего.

Прежде меня печатали в П⟨оследних⟩ Н⟨овостях⟩ — раз шесть-семь в год, а теперь — если следите, замечаете, как это часто.

С закрытием «Возрождения»,[5] прибавляются сотрудники (Зайцев,[6] Шмелев,[7] Тэффи,[8] Коровин [9]) и им тоже надо место.

4) С весны хожу с глазом: правый (перерождение хрусталика) запрещено рисовать и завитки делать

и на 205 альбоме остановился.

Напишите ваши соображения. Оба кланяемся Елизавете Александровне, Вам и Володе

А. Ремизов.

О выставке не написал во время. Все альбомы в другом виде. И осталось не так много. Пересылать громоздко. И дорого обошлось бы.

[1] Вероятно, предполагаемый приезд Ремизова в Прагу был связан с празднованием там Пушкинского юбилея. В архиве Е. Ляцкого в Праге сохранился рукописный текст статьи Ремизова «Дар Пушкина» (см.: Книжное обозрение. 1989. № 6. С. 7), которая была опубликована в газете «Последние новости» (1937. № 5801. 10 февр.).

[2] См. оценку Ремизовым своей манеры чтения: «От моего актерства — мое чтение. Но „чтение" не „игра". Профессиональные актеры при своих дарованиях голосовых и мимических читать не могут, не в состоянии отказаться от игры, а „игра" нарушает ритм — от произведения ничего не остается... Я видел в Москве в Зоологическом саду „Золотую рыбку": что это было! — старуха визжала, старик охал, рыбка сюсюкала... и от Пушкинского величаво-могучего, предопределенного, но человечески-разумного „жил старик со своею старухой у самого синего моря" ничего не осталось» (*Ремизов А. М.* Пляшущий демон. Париж, 1949. С. 56).

[3] Carte d'identitè (фр.) — удостоверение личности.

[4] Норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен после 1 мировой войны был верховным комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных и являлся одним из организаторов материальной помощи русским эмигрантам.

lib.pushkinskijdom.ru

[5] «Возрождение» — газета (Париж). Редактор П. Б. Струве (1925—1927), редактор Ю. Ф. Семенов (1927—1940). До 1936 года выходила как ежедневная, с 1936 года — как еженедельная.

[6] Зайцев Борис Константинович (1881—1972) — прозаик. В эмиграции автор книги воспоминаний «Москва» и «Далекое» (1939), автобиографической тетралогии «Путешествие Глеба» (1937), художественных биографий Тургенева, Жуковского, Чехова и др. В Париже был дружен с Ремизовым, после смерти которого вспоминал об их встречах: «Ремизов природно был чудодей, все в нем изначально искривлено, фантастично и перепутано, непролазные дебри... Вообще же был существо особое, но таким создан и неповторим» (*Зайцев Б.* Дни. О Ремизове // Русская мысль (Париж). 1968. № 2668. 4 янв. С. 5).

[7] Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950) — прозаик. В эмиграции им написаны романы «Солнце мертвых» (1923), «На пеньках» (1925), «Лето господне» (1933) и др. Встречи с ним отражены Ремизовым в рассказе «Центурион» (впервые: Новое русское слово. 1952. № 14771. 5 окт.), вошедшем в книгу «Мышкина дудочка» (С. 151—158). Ремизов не скрывал неприемлемость для себя многих черт личности Шмелева, но ценил его, как писателя, по слогу идущего «от „Питерщика" Писемского и сцен Горбунова, есть и от Лескова, но без лесковского лукавого ущемления» (С. 153).

[8] Тэффи (Бучинская Надежда Александровна) (1872—1952) — писательница-юмористка. В эмиграции автор рассказов из быта русских эмигрантов (сборников рассказов «Тихая заводь» (1921), «Вечерний день» (1924), «Ведьма» (1936) и др.).

[9] Коровин Константин Алексеевич (1861—1939) — художник, декоратор. В газете «Возрождение» (1939) опубликованы его воспоминания о Ф. Шаляпине.

48

31 III 1937
7 Rue Boileau
Paris XVI

Дорогой Владимир Владимирович

Сейчас, как получил письмо Ваше, обратился к Григорию Леонид⟨овичу⟩ Лозинскому (читает в Сорбонне старофранц⟨узский⟩).
Он обещал мне текст «Dit des trois moines (?)»,[1] но предупредил, что это не так просто. Вот я и жду от него указаний. Раньше не написал вам из-за болезни: только только поднялся, но сидеть мне дома вечерами придется долго. И Серафима Павловна, и я кланяемся Елизавете Александровне, Вам и Володе.

А. Ремизов.

[1] Сказание о трех монахах (старофр.).

49

3 VIII 1947
A. Remizoff
7 Rue Boileau
Paris XVI

Дорогой Владимир Владимирович [1]

Вы меня очень тронули вашей памятью, вашей заботой. И ведь это не в первый раз. Помните, как вы устраивали выставку моих рисунков, храню фотографии.
Я почти ослеп. За оккупацию надорвался, приходилось читать ночи — чуть лампочка, почти ощупью без света.[2] Отрываясь, я еще рисую, но по-другому — у меня оглазилась рука.[3] С 1931 года меня не издают по-русски, а в России, когда попаду в отдел «классиков», а это будет, д⟨олжно⟩ б⟨ыть⟩ после моей смерти.

Посылаю по-французски.
Всегда вас вспоминали, всегда вас помню.

Алексей Ремизов.[4]

lib.pushkinskijdom.ru

[1] Это и следующее письма — на бумаге с траурной каймой. После смерти жены в 1943 году Ремизов «отвечая на каждое письмо или посылку. . . писал нам короткие записки на бумаге с черной каймой» (*Резникова Н. В.* Огненная память. С. 20).

[2] В предисловии к книге «Встречи», датируемом «1945—1948», Ремизов писал: «Хочу собрать в этой книге завитушки моей последней памяти на моей вечерней заре, которая вот-вот погаснет, как мои глаза (на правый почти ничего не вижу, а левый — 15 диоптрий)» (С. 7). Ср. письмо Ремизова 1947 года Андрею Седых: «В оккупацию совсем потерял глаза, а с белой палкой далеко не уйдешь. Это очень затрудняет все мои дела. . . едва разбираю написанное. . . О издании моих книг пока не может быть и речи: очень мудрено мое, а по иному писать не могу» (Цит. по: *Седых Андрей.* Далекие, близкие. С. 112—113).

[3] Ср. письмо Ремизова А. Ф. Рязановской от 15 июля 1949 года: «А сейчас я рисую — МОЯ ГЛАЗАТАЯ РУКА, рисуя не вижу». (Russian Literature Triquarterly. N 19. Remizov — II. Michigan, 1986. P. 291).

[4] Под текстом глаголическая подпись-криптоним.

50

9/XI 1947
A. Remizoff
7 Rue Boileau
Paris XVI

Дорогой Владимир Владимирович

Как это досадно, до сих пор до вас не дошли мои книги, но почему-то думаю, не пропадут.

Глаза плохо: поле зрения — мыши
острота — мотылька [1]

Но голос звучит. И если изменяет дыхание, то оттого, что волнуюсь, неуверенность в строчке: рябит.

Весной для государственного архива (Club d'Essai) [2] наговаривал пластинку: читал свое — из снов. Но из архива диски на публику не выпускают.

Другая затея: не архивная, а на люди.

Я наговорил два диска: 1) Золотую рыбку Пушкина [3]
(пришлось сократить: из крестьянок прямо в царицы)
8 минут
2) Полет из Вия [4]
(с небольшими сокращениями, ничего не поделаешь: диск на 8 минут).

Эти диски поступили в продажу по 500 frs. Цена высокая, но иначе не возможно: чтение да еще по-русски. (С каждого диска я получаю 150 frs., пока еще ничего не получал)

Выписывать надо:

«TECHNISONOR»	Alexei Remizov
60 Rue François 1er	1) Poisson d'or de Pouchkine
Paris VIII	2) La scene du vol de vii de Gogol [5]

Не знаю, сколько стоит пересылка.

Хозяин этого учреждения monsieur Sergent

Письма надо написать на Sergent или просто «Technisonor»

диски готовы и сейчас же будут посланы.

Я думаю, это было бы полезно для изучающих русский язык и для русских. Я читаю, передавая ритм, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ самую душу произведения.[6]

Актеры умеют играть, но ритм для них не существует.

Через месяца 2 я еще наговорю, но надо, чтобы эти диски прошли.

Дорогой Владимир Владимирович, если что-нибудь можно сделать в Праге, буду вам очень благодарен.

lib.pushkinskijdom.ru

Выступать на вечерах я не могу, единственное, что осталось: диски⟨?⟩. Если вы встречаете Легата (он меня знает), поговорите с ним, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩ полезно было бы и для Италии. Но, конечно, надо показать ему, как звучит мое.

А. Ремизов.[7]

[1] Ср. письмо Ремизова И. М. Левину от 6 сентября 1950 года: «Я почти ослеп и мера и число мне недоступны, осталась музыка» (ГЛМ. Ф. 156. РОФ 8821. Л. 1).

[2] См. письмо Ремизова 9 июля 1947 года Н. Кодрянской: «Club d'Essai — не частное, а государственное учреждение. Пластинка назначается в библиотеку голосов „избранных" современников. Из русских только мой голос. . .» (*Кодрянская Н.* Ремизов в своих письмах. Париж, 1977. С. 47). Ср. письмо Ремизова Е. М. Островской от 7 ноября 1947 года: «4-го во вторник читал: два диска. Через полтора месяца буду и еще, а пока я недоволен своим чтением. В Club d'Essai были репетиции, а здесь не приноровившись: в глазах зарябило и вышли остановки, а от волнения дыхание оборвалось. Надо набрать 10 — кто бы купил. Только дорого 400 fr. диск. Пушкин. Золотая рыбка. Гоголь. Полет из Вия. . . Голоса моего я не узнаю. Выходит резко — „зверски"» (ГЛМ. Ф. 159. РОФ 8423/4. Л. 1). Ср. также письмо Ремизова А. Ф. Рязановской от 15 июля 1949 года: «Три года назад я наговаривал и Рыбку и сон из Вия „полет". Очень дорого стоит. Из „Вия" вышло, а Рыбкой я не доволен: торопят: чтения 20 минут, а надо уместить в 15-ь». (Russian Literary Triquarterly. № 19. Remizov — II. Michigan, 1986. P. 291).

[3] В книге «Подстриженными глазами» Ремизов вспоминал, что еще в детстве читал эту сказку вслух, подчеркивая ее ритм (С. 242). О дальнейших чтениях см. прим. 6 к п. 21.

[4] Повесть Гоголя «Вий» (1833) имела особое значение в ремизовском восприятии художественного мировоззрения Гоголя. Толкованию эпизода «полета» специально посвящены глава «Случай из „Вия"» в книге «Учитель музыки», заметки «С пьяных глаз» и «Сверкающая красота» в книге «Огонь вещей» (Париж, 1954). Этот отрывок из повести Гоголя Ремизов неоднократно исполнял на публичных чтениях. См. его письмо Кодрянской от 8 июня 1950 года о вечерах, предшествующих празднованию столетия Гоголя: «Я читал „лунный полет", сон философа Хомы Брута из Вия. . . Этот „лунный полет" пример искусства прозы. Панночка-Луна-Астарта проникает голубым лучом через плетеные стены в хлеве; она появляется вдруг в образе старухи, ловит и блеском очаровывает свою жертву» (*Кодрянская Н. В.* Алексей Ремизов. С. 227).

[5] Алексей Ремизов 1) Золотая рыбка Пушкина 2) Сцена полета Вия Гоголя (фр.).

[6] Чтение Ремизова ценилось многими современниками. Ф. Степун, например, писал: «Алексей Михайлович большой актер и прекраснейший чтец» (*Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк, 1956. Т. 1. С. 301).

[7] Под текстом глаголическая подпись-криптоним.

ПИСЬМО РОМЕНА РОЛЛАНА И. С. РЕМЕЗОВУ

(ПУБЛИКАЦИЯ Д. В. БАЗАНОВОЙ)

Воспроизводимое ниже письмо Р. Роллана к Илларион Семеновичу Ремезову (ИРЛИ. Ф. 626. Ед. хр. 153) составляет ничтожную долю в громадном эпистолярном наследии писателя. Оно относится к 1930 году[1] и лишний раз свидетельствует о сложности восприятия французским гуманистом послереволюционной России. «Медленная и трудная эволюция»[2] приводит его к признанию коммунизма; в конце 20-х годов Роллан-публицист все более откровенно становится официальным защитником СССР. Вместе с тем он сохраняет вполне определенный взгляд на «революционное» насилие. В нем Роллан видит реальную, имеющую исторические аналоги, опасность: «В отношении большевизма я взглядов не менял. Носитель высоких идей или, скорее, выразитель великого дела (ибо идейная область никогда не была его сильной стороной), большевизм погубил их своим узким сектантством, нелепой непримиримостью и культом насилия. . . Я не признаю ни за каким меньшинством, ни за каким отдельным человеком право принуждать целый народ, пусть и в благих целях, жестокими методами», — пишет он в 1927 году.[3] Примеры полного несоответствия «жестоких методов» «великому делу» были, безусловно, известны Роллану. Он пользовался самыми разнообразными источниками: официальными сообщениями московских газет и радио о процессах и расстрелах, рассказами гостей из Советской России и побывавших там французов, перепиской с деятелями русской эмиграции. Но не менее очевидной представляется ему и угроза капиталистической интервенции, «крестового похода» против СССР (идея эта широко распространялась в то время Москвой среди лояльной к Советам западной интеллигенции).[4]

Участие Роллана в споре о революционном насилии часто оказывается прямо или косвенно

© Базанова Д. В., вступительная заметка, примечания, 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

связанным с Горьким.[5] Несколько эпизодов наиболее известны: в 1922 году Роллан поддерживает протест Горького против суда над правыми эсерами в Москве,[6] а в 1928 году обращается к Горькому в связи с «Письмом русских писателей», анонимным воззванием, опубликованным в русских европейских газетах под названием «Писателям мира».[7] Особое место занимают многочисленные обращения Роллана к Горькому с вопросами об арестованных в России ученых, писателях, общественных деятелях.

В начале 1930 года Роллан оказывается в довольно сложной ситуации: в России массовые аресты могут коснуться его знакомых, а привычное в этом случае обращение к Горькому затруднено. «Горький не подавал больше признаков жизни, хотя я и попытался возобновить разговор. Он на меня сердит. Мне говорили, что он крайне обидчив, вспыльчив, с дурным характером (но способен к самым благородным проявлениям). Досадно будет остаться в ссоре. Вдвойне досадно. Потому что я люблю его, в сущности. И потому, что он мне необходим. У меня тоже есть, в Москве, друзья, которые могут со дня на день оказаться под угрозой. И Горький единственный способен успешно выступить посредником в срочном случае».[8] Размолвка между писателями произошла отчасти из-за постоянных вопросов Роллана о судьбе арестованных, что еще более затрудняло возможные обращения с просьбами о помощи. И именно в это сложное время в поле зрения Роллана появляется Илларион Ремезов.

Илларион Семенович Ремезов (1881(1884?) — 1960; из литературных псевдонимов наиболее известны Валериан Невольник и И. Каприйский) дебютировал в 1900-х годах как корреспондент нижневолжских газет, затем опубликовал несколько рассказов. Во время первой русской революции ненадолго арестован, после чего, в 1908 году, уезжает в Швейцарию, где издает журнал «La Petite Revue» (впоследствии «La Revue Romande»).[9] В 1911 году во Франции знакомится с Горьким, приезжает на Капри.[10] В 1920 году как представитель швейцарского Красного Креста Ремезов путешествует по России, навещает в Полтаве Короленко, участвует во II конгрессе Коминтерна в Москве.[11] Вернувшись в Швейцарию, занимает крайнюю просоветскую позицию. В 1923 году становится директором Славянской типографии в Женеве. Печатает несколько брошюр о Советской России. В 30—50-е годы в швейцарских социалистических газетах «Travail», «Droit du peuple», «Voix ouvrière», «Родина» публикует статьи в поддержку СССР и воспоминания о А. В. Луначарском, А. Барбюсе, М. Горьком, М. М. Литвинове. Кроме того, Ремезов был автором двух учебников: «Нового букваря для взрослых» (1924) и «Русского учебника для французов. Новая орфография» (1929). Последняя книжка, написанная вместе со старым социалистом Густавом Броше, предлагала не только новое правописание, но и новые понятия типа «комсомол», «колхоз», «партком», «гепеу», вследствие чего была весьма холодно принята швейцарской общественностью. В 1958 году Ремезов возвращается на родину.

Деятельность Ремезова в эмиграции, особенно в 30-е годы, сопровождалась определенного рода слухами, основанными, в частности, на его близости Коминтерну. Ни Горький, ни Роллан не испытывали к Ремезову особого доверия, хотя изредка пользовались чрезвычайно усердно предлагаемыми им посредническими услугами. Довольно резкий отзыв Горького в письме Роллану от 30 января 1933 года окончательно определил отношение к добровольному посреднику: «Ремезов был у меня дважды, но уже после первого визита я понял, что он — лжет и никакого отношения к Вам не может иметь. Это совершенно бездарный, тусклый и малограмотный человечек. Но он считает себя крупным деятелем».[12]

Впервые Ремезов обращается к Роллану в январе 1930 года, заручившись предварительно рекомендацией швейцарского психолога и общественного деятеля Огюста Фореля. В своем первом письме Ремезов сообщает о предстоящей поездке к Горькому в Италию и просит о встрече, надеясь предложить посредничество.[13] Роллан не торопится с ответом и лишь 19 февраля сухо отклоняет визит.[14] Ремезов не отступает, время от времени напоминает о себе, посылает Роллану свои учебники и вырезки из советских газет. Роллан отвечает, иногда весьма подробно, но от сообщения каких-либо сведений для Горького воздерживается. Так продолжается до осени 1930 года. Тем временем в СССР набирает ход кампания против «специалистов-вредителей». Тема вредительства и особой склонности к нему интеллигенции становится одной из самых распространенных. По свидетельству Р. Медведева, в 1929—31 годах в качестве «буржуазных специалистов» арестовываются крупнейшие ученые и инженеры Н. И. Ладыженский, А. Ф. Величко, А. Г. Лорх, П. П. Лазарев, С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, Н. П. Лихачев, С. В. Бахрушин, С. И. Тхоржевский, В. В. Виноградов, В. В. Таланов, Б. Е. Райков, А. А. Мейер, В. В. Бахтин, И. М. Гревс, М. М. Бахтин и многие другие.[15] Осенью 1930 года Роллан узнаёт и об арестах, коснувшихся его знакомых. Ввиду новых и спешных обстоятельств он решает, наконец, принять предложение Ремезова и 21 октября обращается к нему со следующим письмом:

Villeneuve (Vaud) villa Olga
21 octobre 1930

Cher bon berger des abeilles, merci affectueusement à vous et à votre petit troupeau, pour le don délicieux! Il m'a parfumé la bouche et le coeur. Braves petites ouvrières de l'U.R.S.S. de Richelien!.. Et qu'est-ce que vous en êtes? Le dictateur, ou le Roi-parfum? Un Roi qui a beaucoup de petites reines!..

Je vous envie d'aller voir Gorki à Sorrento. (Je ne puis circuler en Italie). Portez-lui mes chaudes

lib.pushkinskijdom.ru

amitiés. Ne le verrai-je jamais en ma vie? Dites-lui que je l'aime bien et qu'il ne m'en veuille pas de certaines discussions! Je sais bien que nous souffrons des mêmes choses, et que les mêmes nous sont chères. Notre rôle, à tous deux, n'est point facile. . .

A vous je dirai, *dans l'intimité*, que je suis douloureusement tourmenté de ce qui se passe, ces semaines-ci, en U.R.S.S. Quel vent sauvage souffle dans les esprits? Quelle bourrasque de soupçons furieux et de démence? Les arrestations et les condamnations qui se succèdent, de grands intellectuels, médecins connus, bactériologues, me donnent gravement à penser. On a publié, dans des journaux émanant des autorités officielles de Moscou, de soi-disant confessions des 48 récemment fusillés. Elles me font encore plus douter de la justice des arrêts que si l'on n'avait rien dit. Car il est (psychologiquement) impossible d'admettre que les condamnés aient pu faire d'aussi monstrueux et invraisemblables aveux. De deux choses l'une, ou ces aveux ont été, de toutes pièces, inventés; ou ils ont été arrachés par la torture (et en ce cas affreux, quelle valeure peuvent-ils avoir?).

J'ai d'autant plus de motifs d'être inquiet sur le déséquilibre de l'opinion surexcitée en U.R.S.S. que parmi les nouveaux arrêtés je compte des amis de quinze années, des savants désintéressés, dont je connais avec certitude l'absolue integrité et le dévouement à leur grande tâche médicale et scientifique, des hommes étrangers à toute intrigue politique, et qui ont refusé les situations les plus brillantes à l'étranger, pour partager les épreuves de leurs concitoyens et les aider. Il est effrayant de penser que sur de tels hommes la menace est actuellement suspendue, sans qu'on puisse contrôler des débats. Notez que je crois à la sincérité passionnée de ceux qui mènent ces massives accusations! Il leur faut défendre la grande oeuvre, le grand rêve. Et ils le voient, de partout, menacé. Mais l'esprit s'affole, dans cet état de perpétuelle suspicion, et il finit par voir partout des ennemis. Pourvu, pourvu qu'ils n'aillent pas, dans ce délire, frapper leurs meilleurs amis, les serviteurs irremplaçables de leur cause!

Dans tous les cas, ce système de mise-au-secret, de chambres secrètes d'accusation, de débats à huis-clos, dont on n'apprend, qu'après l'exécution de l'arrêt, ce qu'il plaît aux accusateurs de faire savoir, — sont inadmissibles pour la conscience d'aujourd'hui, et ruineux pour l'autorité même de ceux qui les emploient.

Je vous pris instamment de garder *pour vous seul* ce que j'écris. (Vous pourrez seulement en dire un mot *confidentiel* à Gorki). Il ne faut pas que qui que ce soit puisse s'en servir, dans un objet politique, contre l'U.R.S.S. Ces hommes là-bas sont aux prises avec des combats si gigantesques que je conçois trop leur surtention d'esprit et leurs erreurs. Je tâche actuellement d'agir auprès des autorités soviétiques en faveur des amis menacés; et la moindre indiscrétion pourrait faire un tort funeste à ceux que je veux sauver.

Bien cordialement à vous

Romain Rolland

Вильнев (Во) вилла Ольга
21 октября 1930

Дорогой добрый пчелиный пастырь, нежно благодарю Вас и Ваше маленькое стадо за восхитительный дар! [16] Он наполнил ароматом мои уста и сердце. Славные советские малышки-работницы из Ришельена! . .[17] А кто Вы им? Повелитель или же царь ароматов? Царь со множеством маленьких цариц! . .

Завидую Вам, Вы побываете у Горького в Сорренто. (Я не могу путешествовать по Италии). Передайте ему мой горячий привет. Неужели я его никогда в жизни не увижу? [18] Скажите ему, что я его люблю и пусть не сердится на меня из-за некоторых разногласий! Знаю, что мы страдаем из-за одного и того же, одно и то же нам дорого. И наша общая роль вовсе не проста. . .

Вам я скажу *дружески откровенно*, что мучительно страдаю от происходящего в СССР в последние недели. Что за дикий ветер гуляет в умах? Что за шквал бешеных подозрений и безумия? Аресты и приговоры известной интеллигенции, знаменитым врачам, бактериологам следуют чредой и самым серьезным образом заставляют меня задуматься. В газетах, выражающих мнение правящих московских кругов, опубликованы так называемые признания 48 недавно расстрелянных.[19] Они заставляют меня еще более сомневаться в справедливости приговоров, чем если бы признаний не было вовсе. Ибо (психологически) невозможно допустить, что осужденные могли сделать столь чудовищные и невероятные признания.[20] Одно из двух: или эти признания были целиком вымышлены, или вырваны пытками (а в этом ужасном случае какое значение они могут иметь?).

У меня тем больше поводов волноваться из-за колебаний чрезмерно возбужденного общественного мнения в СССР, что среди вновь арестованных — мои друзья пятнадцатилетней давности, бескорыстные ученые, в абсолютной честности и преданности которых великому медицинскому и научному делу я твердо уверен, люди, чуждые всякой политической интриги, которые отказались от самого блестящего положения за границей, чтобы помочь согражданам и разделить испытания, выпавшие на их долю.[21] Страшно подумать, что такие люди находятся сейчас под угрозой и что вовсе нельзя контролировать ни обвинение, ни защиту. Отметьте, что я верю в страстную искренность тех, кто предъявляет эти массовые обвинения! Им необходимо защищать великое дело — великую мечту. А они видят эту мечту повсюду под угрозой. Но разум теряется в этой постоянной подозрительности и в конечном счете начинает видеть кругом врагов. Только бы, лишь бы не дошли они в безумии до уничтожения лучших друзей, незаменимых служителей их общего дела.

В любом случае, эта система одиночных заключений, тайных камер для вынесения приговора, судебных заседаний при закрытых

lib.pushkinskijdom.ru

дверях, о которых узнают только после исполнения приговора, да и лишь то, что угодно огласить самим обвинителям, — неприемлема сегодняшней совестью и губительна для самой власти тех, кто эту систему применяет.

Настоятельно прошу Вас сохранить *в секрете* то, о чем я пишу. (Можете *тайно* сказать об этом одно слово Горькому).[22] Не нужно, чтобы кто бы то ни было мог воспользоваться этим в политических целях, против СССР. Люди там ведут столь гигантские бои, что я слишком хорошо понимаю их душевное перенапряжение и их ошибки. Я теперь стараюсь заступиться за друзей, находящихся под угрозой; и малейшая несдержанность могла бы погубить тех, кого я хочу спасти.

Сердечно к Вам расположенный

Ромен Роллан

В начале ноября Ремезов гостит в Сорренто, откуда и сообщает Роллану: «Ваши строки и чувства к Горьк⟨ому⟩ глубоко тронули его... На другой день Горьк⟨ий⟩ читал свое письмо к Вам».[23] Ответ, упоминаемый Ремезовым, — это, очевидно, письмо Роллану от 2 ноября 1930 года, где Горький «пишет, что ознакомился с подлинными документами процесса вредителей — организаторов пищевого голода. Отмечает, что вредители, работающие в расчете на интервенцию, связаны с белой эмиграцией. Призывает Роллана не утрачивать „веры в дело Ленина"».[24]

Вернувшись от Горького в Швейцарию, Ремезов еще раз выступает в роли посредника между ним и Ролланом и вновь это оказывается связанным с «делом сорока восьми». Горький просит Ремезова в письме от 16 декабря 1930 года: «Прилагаю мое обращение к „Гуманистам", мне хотелось бы познакомить с ним Р. Роллана, — дайте кому-нибудь перевести — по возможности точно и пошлите ему».[25]

Таким образом, статья «Гуманистам» стала еще одним ответом на заданные Ролланом вопросы: «Я совершенно уверен, что в числе прав человека нет права на преступление, а особенно на преступление против трудового народа. Неописуемая гнусность действий сорока восьми мне хорошо известна... Организаторы пищевого голода, возбудив справедливый гнев трудового народа, против которого они составили свой подлый заговор, были казнены по единодушному требованию рабочих. Я считаю эту казнь вполне законной. Это — суд народа, который, живя и работая в тяжелых условиях, отказывая себе во всем и не щадя своих сил, мужественно и успешно стремится создать трудовое государство, свободное от хищников и паразитов, а также и от людей, гуманизм которых, в сущности, служит прикрытием хищничеству и паразитизму... В массе рабочих Союза Советов действуют предатели, изменники, шпионы бывших „хозяев страны", — хозяев, которые хотели бы восстановить свои владельческие права, — вполне естественно, что рабоче-крестьянская власть бьет своих врагов как вошь».[26]

Несмотря на то, что Ремезов всякий раз старательно исполнял порученное, настороженное отношение к нему Роллана усугубилось. Спустя некоторое время по возвращении «добровольного посредника» из Италии Роллан писал: «Я не знаю достаточно Ремезова, чтобы доверять ему что-либо из моих мыслей; и Вам предлагаю поступать подобным же образом. Кто бы он ни был, может, и честный человек. Но ведь никогда не знаешь! Мне не нравятся эти поездки в Сорренто и обратно. Он поспешил передать Горькому то, что я писал ему; и это чуть было не вызвало недоразумения. Впредь буду писать Ремезову только банальности. Если нужно будет сказать что-либо Горькому, обращусь прямо к нему».[27] И на самом деле, переписка Ремезова с Ролланом, продолжавшаяся по крайней мере до середины 30-х годов, со стороны последнего стала носить исключительно деловой и сдержанный характер.

---

[1] По мнению некоторых исследователей, это было время очевидной нравственной переориентации Роллана: «нравится это или нет, нужно констатировать, что он — вернейший друг СССР начиная примерно с 1930 года» (*Robichez Jacques*. Romain Rolland. Paris, 1961. P. 94).

[2] Ibid. P. 95.

[3] Цит. по: *Pérus Jean*. Romain Rolland et Maxime Gorki. Paris, 1968. P. 213.

[4] В письме к Т. Катаяме от 15 декабря 1928 года Роллан так оценивает свидетельства побывавших в СССР французских писателей: «Вильдрак только что вернулся из России. Мне кажется, что он очень хорошо все увидел, гораздо глубже, чем Дюамель и Дюртен. Он привез уверенность в том, что несмотря на все заблуждения и ошибки, нужно любой ценой поддержать Россию против заговора правительств» (Парижский Архив Ромена Роллана. Материалы этого архива любезно предоставлены проф. В. Е. Балахоновым). Подобным же образом в 1930 году Роллан ответил на анкету газеты «Юманите» «Каким будет ваше поведение в случае агрессии против Советского Союза?».

[5] О параллельном изменении взглядов двух писателей в 20-е годы см.: *Мотылева Т. Л.* Искренность непосредственных впечатлений. Вступительная статья к Московскому дневнику Р. Роллана // Вопросы литературы. 1989. № 3. С. 193—194.

[6] О процессе над правыми эсерами см.: *Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О.* Русский Берлин. 1921—1923. По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском институте. Paris, 1983. С. 339—404.

[7] См.: *Берберова Н.* Курсив мой // Вопросы литературы. 1988. № 10. С. 256—261; Письма В. Ходасевича к Н. Берберовой // Минувшее. Исторический альманах. Paris, 1988. № 5. С. 246—247.

[8] Письмо к Ж. Менилю от 16 марта 1930 года (Парижский Архив Ромена Роллана).

lib.pushkinskijdom.ru

[9] ИРЛИ. Ф. 377 (архив С. А. Венгерова). И. С. Ремезов. Автобиография; Русская книга. Берлин, 1921. № 4. С. 22.

[10] *Remezov H.* Maxime Gorki. Souvenirs personnels // Travail. 1936. 29 juin. № 149.

[11] ИРЛИ. Ф. 626 (архив И. С. Ремезова). Ед. хр. 35.

[12] *Горький А. М.* Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1956. Т. 30. С. 284.

[13] ИРЛИ. Ф. 626. Ед. хр. 68.

[14] Там же. Ед. хр. 153.

[15] *Медведев Рой.* О Сталине и сталинизме // Знамя. 1989. № 2. С. 187.

[16] В Ришельене, близ Женевы, Ремезов держал пасеку.

[17] Т. е. пчелы.

[18] Роллан встретился с Горьким 29 июня 1935 года в Москве. См.: Московский дневник Р. Роллана // Вопросы литературы. 1989. № 3. С. 225.

[19] В начале сентября прошли многочисленные аресты среди интеллигенции, в частности, было сообщено об аресте известных литераторов и ученых: Н. Д. Кондратьева, В. Г. Громана, А. В. Чаянова, Н. Н. Суханова, Л. К. Рамзина, В. А. Базарова (Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1930. 3 сент. № 243). В конце сентября — сообщение о том, что раскрыта «контрреволюционная вредительская и шпионская организация в снабжении населения важнейшими продуктами питания (мясо, рыба, консервы, овощи), имевшая целью создать в стране голод и вызвать недовольство среди широких масс и этим содействовать свержению диктатуры пролетариата» («дело сорока восьми») (Известия. 1930. 22 сент. № 262). Идейными вдохновителями и руководителями «организации», кроме профессора А. В. Рязанцева, были объявлены Н. Д. Кондратьев, А. Д. Дояренко и А. В. Чаянов, позже ставшие жертвами дела «Трудовой партии», и В. Г. Громан — жертва дела столь же мифического «Союзного бюро» ЦК РСДРП (меньшевиков). Сообщение о раскрытии заговора «организаторов пищевого голода» сопровождалось в прессе многочисленными требованиями немедленного расстрела. На заводах и фабриках прошли митинги. Тон и характер газетных публикаций могли дать Роллану повод писать о «шквале бешеных подозрений и безумия». На заводе им. Фрунзе «митинг приветствует ОГПУ — верного стража диктатуры пролетариата и постановляет в ответ на вредительство отработать полдня в фонд дирижабля имени ОГПУ» (Известия. 1930. 23 сент. № 263). Газеты наполнились фельетонами в духе времени, вроде «Они не были вегетарианцами» Г. Рыклина: «И всего профессора Каратыгина, со всеми его убеждениями, со всем аппаратом мышления, с его геморроем и сединами, купила английская фирма за две тысячи пятьсот целковых... Хороший крестьянин-хлебороб не знает пощады к сусликам. А ведь суслики куда симпатичнее этих людей. Уже хотя бы потому, что в среде сусликов нет Рязанцевых и Каратыгиных» (Там же). Показания главных обвиняемых были опубликованы 22 сентября одновременно с сообщением о раскрытии заговора. Сообщение о расстреле сорока восьми («от коллегии ОГПУ», подписано председателем ОГПУ В. Р. Менжинским) появилось в центральных газетах («Правде» и «Известиях») 25 сентября 1930 года. Казнь вызвала широкий протест европейской общественности, в частности немецкой «Лиги защиты прав человека».

[20] Так, например, один из обвиняемых (зав. консервным отделом Союзмяса) признался во вредительском намерении готовить консервы из неудобоваримых продуктов, как то́ уральских ворон и белок: «...на Урале еще ворон да белок непочатый край, накормим товарищей» (Правда. 1930. 25 сент. № 266).

[21] Осенью 1930 года был арестован Оскар Оскарович Гартох, в то время — профессор, сотрудник Института экспериментальной медицины в Ленинграде, давний (как и его сестра Эльза) корреспондент Роллана. Настоящее письмо частично дублирует письмо Роллана Горькому от 22 октября 1930 года с просьбой узнать о судьбе доктора Гартоха. Заступничество Горького, очевидно, произвело впечатление, и Гартох был выпущен. См.: Московский дневник Р. Роллана // Вопросы литературы. 1989. № 4. С. 250.

[22] В оригинале эта фраза вписана над строкой.

[23] ИРЛИ. Ф. 626. Ед. хр. 68.

[24] Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Вып. IV. 1930—1936. М., 1960. С. 62.

[25] ИРЛИ. Ф. 626. Ед. хр. 68. Статья «Гуманистам» опубликована Ремезовым по-французски в одном из двух изданных им «Бюллетеней общества культурной и научной связи между Швейцарией и СССР» (Bulletin de la Société pour les Relations Intellectuelles et Scientifiques entre la Suisse et l'URSS. 1931. Mars. № 1).

[26] *Горький А. М.* Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1953. Т. 25. С. 235—239.

[27] Письмо Ш. Бодуэну от 31 января 1931 года (Парижский Архив Ромена Роллана).

lib.pushkinskijdom.ru

Ю. В. Стенник, А. И. Николаев

ЖАНР «ДИАЛОГА В ЦАРСТВЕ МЕРТВЫХ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА*

На фоне некоторого ослабления интереса зарубежной славистики к русской классике дореволюционного времени отрадно отметить появление в итальянской печати труда, посвященного изучению русской литературы XVIII века, — монографии Николетты Марчиалис «Харон и Екатерина. Диалоги мертвых в русской литературе XVIII века» (Рим, 1989).

Предмет исследования Н. Марчиалис довольно специфичен — восходящий к далеким временам античности жанр «диалога в царстве мертвых». При всей относительной ограниченности того места, какое этот жанр занимал в нашей отечественной культуре, определенные традиции его в литературе русского классицизма все же сложились. Диалог как один из видов сатирической прозы культивировался на страницах периодических изданий 1750—1770-х годов, а в конце века пережил кратковременный расцвет в сфере памфлетной подцензурной публицистики.

Н. Марчиалис провела значительную разыскательскую работу, выявив тексты более двухсот диалогов, переводных и оригинальных, как опубликованных, так и сохранившихся в рукописном виде. Ею были просмотрены почти все основные периодические издания, выходившие в России на протяжении XVIII века, а также обследованы каталоги крупнейших архивохранилищ Москвы и Ленинграда. Помещенное в конце монографии «Приложение» дает почти исчерпывающий хронологический список всех появившихся на русском языке «диалогов мертвых», охватывающий столетний период — от 1720-х годов до 1823 года. Важность проделанной Н. Марчиалис работы трудно переоценить. На сегодняшний день это единственный максимально полный перечень текстов, дающий представление о распространении данного жанра в русской литературе за указанный период.

Правда, кое-какие пробелы в этом списке все же есть. Так, в перечне отсутствует переведенный М. В. Ломоносовым и помещенный им в «Риторике» «Разговор Лукианов между Александром Великим и Ганнибалом, где говорят Сципион, генерал Римской, и Миной, которого Эллинские идолослужители почитали адским судьею» (*Ломоносов М. В.* Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится Риторика... СПб., 1748. С. 279—284). В список не включены также переводы двух диалогов Фенелона, опубликованных на страницах журнала «Смесь»: «Разговор Демокрита с Гераклитом» и «Разговор философа пиронической секты с его соседом» (Смесь. СПб., 1769. С. 265—269, 273—277. См. также: XVIII век: Сб. 16: Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1989. С. 100. Атрибуция принадлежит В. Д. Раку).

Проведенные Н. Марчиалис архивные и текстологические разыскания послужили хорошей основой для последующего углубленного историко-литературного изучения самих диалогов. В сочетании с раскрытием общей культурной атмосферы эпохи Н. Марчиалис анализирует обстоятельства, сопутствовавшие появлению в начале XVIII века первых образцов жанра «диалога мертвых» в России, дальнейшее распространение и основные фазы эволюции жанра на протяжении столетия, осмысление функциональной специфики диалога у разных авторов и, наконец, прослеживает судьбы жанра в литературе первой трети XIX века. При этом постоянно фиксируются нити преемственности, связывающие русский «диалог в царстве мертвых» с теми традициями, которые сформировались в разработке этого жанра в европейских литературах, опиравшихся в свою очередь на опыт античности. Это прослеживание различных стадий включенности русского «диалога» в общеевропейский историко-культурный контекст составляет, пожалуй, один из наиболее ценных и плодотворных аспектов предпринятого Николеттой Марчиалис анализа.

Четырем главам книги предпослано очень важное историографическое введение. В нем Николетта Марчиалис излагает свое понимание специфики «диалога в царстве мертвых», опираясь на весь опыт в изучении данного жанра, какой был накоплен в европейском литературоведении. Демонстрируя завидную эрудицию, исследовательница справедливо выделяет капитальный труд «Lukian — Studien» (Plauen, 1895), принадлежащий Иоханнесу Ренчу, чья основополагающая роль в установлении традиции систематического изучения наследия Лукиана и его восприятия в немецкой и французской литературах XVII—XVIII веков общеизвестна. Н. Марчиалис особо останавливается на осмыслении И. Ренчем функциональных

**Marcialis Nicoletta.* Caronte e Caterina. Dialoghi dei morti nella leteratura russa del XVIII secolo. Roma: Bulzoni Editore, 1989. 307 p.

© Стенник Ю. В., Николаев А. И., 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

возможностей жанра «диалога в царстве мертвых» в пределах этих литератур, классифицируя разновидности его по содержательным признакам. Следуя Ренчу, она выделяет несколько групп диалога, отмеченных определенным проблемно-тематическим единством: сатирическое направление, служившее целям литературной полемики; памфлетно-публицистическое и дидактико-морализирующее направления, затрагивавшие проблемы политики, истории, воспитания, морали.

Детально оценивает Н. Марчиалис и другое капитальное исследование интересующего нас жанра — диссертацию французского филолога И. Эгильсрюда «Диалог мертвых во французской, немецкой и английской литературах» (*Egilsrud I.* Le dialogue des morts dans les littératures française, allemande et anglaise: (1644—1789). Paris, 1934). И. Эгильсрюд сосредоточивал внимание на проблеме эстетики жанра, намечая некую структурную типовую модель «диалога в царстве мертвых», каким он откристаллизовался еще в творчестве Лукиана. Эта модель становилась своеобразной мерой совершенства и выдержанности канона жанра у европейских авторов нового времени. Особый раздел своей книги французский исследователь посвятил анализу традиций «диалога мертвых» в английской литературе, в частности творчеству Дж. Литтельтона, чье влияние по-своему сказалось не только в Германии, но и в России. Указываются во «Введении» и работы других европейских ученых: Н. Кавча, К. Зандера, Л. Шенка.

Проделанный Николеттой Марчиалис обзор свидетельствует, что для европейских литературоведов, обращавшихся к изучению жанра «диалога в царстве мертвых», факт наличия этого явления в истории русской литературы оставался по существу неизвестным. Стремление расширить представления о масштабах распространенности этого жанра, включив в общеевропейский литературный контекст достигнутое русскими авторами, и составляет основную цель рецензируемой монографии (С. 24).

Но прежде чем обращаться непосредственно к анализу историко-литературного материала, исследовательница посвящает несколько страниц уяснению концепции диалога, предложенной в работах М. М. Бахтина. Речь идет о природе лукиановского «диалога в царстве мертвых» как источника европейских модификаций этого жанра нового времени и его отношении к традиции жанра сократовского диалога. Следует отдать должное итальянской исследовательнице: она свободна от бездумного преклонения перед идеями М. М. Бахтина, тактично избегает абсолютизации отдельных положений его концепции и их профанации. И в то же время ею верно уловлено главное в концепции Бахтина, касающееся раскрытия специфики лукиановского «диалога мертвых» и «мениппеи» по сравнению с раблезианским истолкованием традиции сатурналий (С. 36). Диалоги Лукиана и родственная данному жанру «мениппова сатира» действительно явились результатом разложения сократовского диалога и слияния его с жанром комедии. Отсутствие амбивалентности мировосприятия, некая однонаправленность и открыто заявляемая тенденциозность, наконец, риторичность «диалога в царстве мертвых» у Лукиана — все это перейдет позднее в диалоги нового времени (Буало, Фонтенель, Фенелон). Русские авторы «диалогов мертвых» XVIII века явятся по существу продолжателями именно этой европейской традиции. Но первыми посредниками в приобщении нашей литературы к новому для нее жанру стали немецкие авторы, в частности Д. Фассман.

Роль творчества Д. Фассмана и его подражателей в пробуждении интереса к жанру «диалога в царстве мертвых» в России 1720—1740-х годов рассматривается Н. Марчиалис в первой главе книги. Весьма плодовитый и популярный в свое время писатель, Фассман, следуя традиции диалогов Фонтенеля, превратил этот жанр, как пишет Н. Марчиалис, в вид исторической прозы, рассчитанной на вкусы бюргеров. В ряде его диалогов затрагивались события недавней Северной войны, и они не прошли мимо внимания русских переводчиков тех лет. Таковы, например, «Разговор в царстве умерших между Карлусом XII Королем шведским и Фридрихом Четвертым герцогом Галштино-Готторнским и Паткулем» (1720) или «Разговор в царстве мертвых между Паткулем и Герцем» (1722). Сохранилось несколько рукописных вариантов переводов этих диалогов, что свидетельствует о значительном интересе к ним в России, хотя до опубликования этих переводов дело не дошло.

Любопытны факты о том, как реагировали правительственные круги на отдельные сочинения Д. Фассмана (С. 56—58). Так, например, публикация его диалога № 83 между Петром Великим и Большим тираном Иваном Васильевичем II [1] вызвала резкое недовольство русского двора, и в Франкфуртском издании 1725 года страницы с этим диалогом в экземплярах, попавших в Россию, были изъяты. Также вызвал недовольство и рассказ о неблагородном происхождении Екатерины I. Впрочем, как показывает Н. Марчиалис, откликом на него было появление на русском языке анонимного рукописного «Разговора между трех приятелей, сошедшихся в одном городке, а именно Менандра, Галандра и Варемунда», где содержалась резкая отповедь Фассману, прямо объявленному «пасквилянтом». Так формировались традиции будущей русской политической публицистики, использовавшей структурные возможности жанра «диалога в царстве мертвых». В русле этой традиции итальянская исследовательница справедливо рассматривает относящийся к 1740-м годам диалог «Разговоры, бывшие между двух российских солдат», приписываемый А. И. Кузьминым перу А. И. Соймонова, а также приходящееся на 1790 год сочинение П. Д. Цицианова «Беседа трех российских солдат в Царстве мертвых, служивших в трех разных войнах против турок, т. е. при Фельдмаршале графе Минихе, во вторую при графе

lib.pushkinskijdom.ru

Румянцеве-Задунайском и при князе Потемкине-Таврическом, писанное в исходе декабря месяца в Яссах». Наконец, под прямым воздействием диалогов Д. Фассмана, считает Н. Марчиалис, было создано известное сочинение историка первой половины XVIII века П. Н. Крекшина «Краткое описание славных и достопамятных дел императора Петра Великого. . .», которое неоднократно издавалось в XVIII веке и распространялось в списках.

К сожалению, рассматривая вопрос о пробуждении в России первой половины XVIII века интереса к новому для нее жанру, итальянская исследовательница ни словом не обмолвилась о той роли, какую в популяризации лукиановского «диалога в царстве мертвых» и вообще творчества Лукиана у нас сыграл М. В. Ломоносов. Выше я уже указал на помещение в «Риторике» Ломоносова в 1748 году переведенного им 12-го разговора Лукиана «Александр, Аннибал, Минос и Сципион». Перевод был приведен в качестве примера возможной разновидности диалогических форм такого риторического жанра, как хрия. В том же разделе Ломоносов неоднократно ссылается на Лукиана как на создателя образцовых форм «ненатурального», или «смешанного», разговора, указывая на известный диалог Лукиана «Сновидение, или Петух».[2] В главе «О расположении описаний» Ломоносов, рассуждая об описательном мастерстве, также опирается на авторитет Лукиана, приводя цитату из его диалога «Корабль, или Пожелания».[3]

Следующий этап роста популярности в России «диалога в царстве мертвых» Н. Марчиалис закономерно связывает с активизацией журнальных периодических изданий. Именно на страницах журналов «Ежемесячные сочинения» (1755—1756), «Трудолюбивая пчела» (1759) и «Праздное время в пользу употребленное» (1759—1760) начинают регулярно появляться переводы диалогов Лукиана. Становятся доступны для русского читателя и достижения в этом жанре французских авторов XVII—XVIII веков Фонтенеля и Фенелона.

Пионером в освоении европейских традиций жанра Н. Марчиалис справедливо называет А. П. Сумарокова, чей «Разговор в царстве мертвых между Александром Великим и Геростратом» (1755) стал первым опытом подражания Фонтенелю. Итальянская исследовательница отмечает относительную незначительность общего числа «диалогов в царстве мертвых» Фонтенеля, переведенных на русский язык. Она объясняет это особой изысканностью стиля Фонтенелевых диалогов, недостаточно соответствовавшего языковым нормам русской прозаической сатиры и порой ассоциировавшегося в русских условиях с жаргоном петиметров. Н. Марчиалис раскрывает также роль А. П. Сумарокова в создании первых оригинальных русских образцов «диалога в царстве мертвых», подробно охарактеризовав четыре собственных диалога этого автора, опубликованных им в журнале «Трудолюбивая пчела» (С. 105—114). Опыт Сумарокова, как показывает исследовательница, несомненно сказался на творчестве его учеников и последователей, обращавшихся к жанру диалога, М. Хераскова и В. Приклонского, выступивших в журнале «Полезное увеселение» (1760). На страницах этого журнала впервые появляется и перевод диалога Фенелона «Разговор между Ромулом и Ремом в царстве мертвых» (перевел с французского Е. Орлов).

Значительное место во второй главе Н. Марчиалис уделяет рассмотрению вопросов, связанных с определением авторства и трактовкой одного из популярнейших в XVIII веке и остающегося до сих пор загадочным сочинения «Жизнь господина N, которая служит введением в историю его в царстве мертвых». Это памфлетное антираскольническое сочинение неоднократно публиковалось в XVIII веке и приписывалось разным авторам. Последняя по времени работа В. П. Степанова, на которую ссылается Н. Марчиалис, добавила новые штрихи к установлению возможного автора, выдвинув кандидатуру М. Д. Чулкова. Присоединившись к этой точке зрения, но не настаивая на окончательности решения (С. 132), итальянская исследовательница в процессе анализа четырех «разговоров мертвых», опубликованных в журнале «И то и сие» (1769) и принадлежавших самому Чулкову, показывает явную близость их стиля и манеры автора анонимного памфлета.

Очень ценными следует считать разыскания Н. Марчиалис (С. 141—149), касающиеся окончательного установления авторства диалога, часто включавшегося в отдельные издания Вольтера под названием «Диалог, переведенный с английского. Перикл, Грек и Русский» («Dialogue traduit de l'Anglois. Péricle, un Grec modern, un Russe»). Перевод этого диалога был опубликован В. Г. Рубаном на страницах его журнала «Трудолюбивый муравей» (1771) под названием «Разговор в царстве мертвых. Перикл, Грек и Россиянин». Итальянская исследовательница напоминает о диссертации Альфреда Хантера, представленной в Сорбонну еще в 1925 году, в которой с несомненностью доказывалось, что автором диалога был Ж. Б. Сюар, сочинивший его в 1764 году. Свидетельство А. Хантера она дополняет еще несколькими аргументами, окончательно проясняя вопрос об этом диалоге, вошедшем в сознание русских читателей как сочинение Вольтера. По ходу разысканий Н. Марчиалис показывает актуальность создания этого произведения и его перевода на русский язык в свете политических событий, происходивших в Европе тех лет.

Следующая, третья глава монографии «Парнас. Элизиум. Храм Славы» посвящена рассмотрению группы оригинальных «диалогов в царстве мертвых», которые оказывались отражением соперничества различных литературных группировок в 1780—1790-е годы. Фигуры Ломоносова, Сумарокова, Княжнина выступают персонажами этих новых «диалогов в царстве мертвых», по-своему освещая величие традиций литературы классицизма, корифеями

lib.pushkinskijdom.ru

которой они в свое время были. Вслед за рассмотрением стихотворного «Разговора в царстве мертвых Ломоносова и Сумарокова» (1787), впервые появившегося в печати как сочинение А. Дружерукова, но принадлежавшего перу Ф. Г. Карина (С. 155—157), Н. Марчиалис вновь и не без успеха обращается к источниковедческому анализу. В контексте разысканий В. П. Степанова, опубликовавшего в 1978 году анонимную сатиру «Обед Мидасов» [4] и установившего, что авторство ее принадлежало А. И. Арсеньеву, Н. Марчиалис выдвигает не лишенное основания предположение о принадлежности этому автору и анонимного «Диалога между Ломоносовым и Княжниным» (С. 162—166). Как непререкаемый судья выступает Ломоносов также в сочинении С. С. Боброва, воспроизводящем структуру «диалога в царстве мертвых», — «Происшествие в царстве теней, или Судьбина русского языка» (1805). Эта сатира, направленная против карамзинистов, в частности против П. И. Макарова, не была опубликована, но есть серьезные основания считать, как это делает Н. Марчиалис, что данное произведение могло стимулировать появление талантливой сатиры К. Н. Батюшкова «Видение на брегах Леты» (1809), тоже являвшейся своеобразным стихотворным вариантом «диалога в царстве мертвых».

Заключительную часть третьей главы составляет анализ довольно большой группы диалогов, тематически связанных с осмыслением политической ситуации, создавшейся в Европе в результате Великой французской революции. Н. Марчиалис справедливо подмечает необычайно благоприятную обстановку для расцвета этого жанра, сложившуюся на рубеже двух столетий, когда внезапная смерть (естественная и насильственная) ряда монархов ведущих европейских держав, а также целой плеяды государственных и общественных деятелей России обусловливала авторское «искушение заставить их встретиться в модном месте, каковым было царство мертвых» (С. 187). В этой обстановке закономерным оказывается и возрождение интереса к личности Петра I, фигурирующего в целом ряде диалогов, созданных и переведенных в 1790-е годы, включая и неоднократное переиздание упоминавшегося выше сочинения П. Н. Крекшина.

Диалоги, появлявшиеся в этот период, носили по преимуществу памфлетно-публицистический характер. В них не только давалась оценка событий, потрясших Европу, но и содержалось объяснение причин революции, причем последнее, как показывает Н. Марчиалис, не всегда устраивало русскую цензуру. Пример тому — история с публикацией переводного «Разговора в царстве мертвых нещастного Людовика XVI с императором Леопольдом II и Густавом III, королем шведским» (М., 1793). Попытка приписать авторство этого диалога И. Водопьянову, которую в свое время предпринял М. М. Штранге, не представляется убедительной, и здесь мы разделяем позицию Н. Марчиалис.

Несколько слов хотелось бы сказать о той оценке, какую итальянская исследовательница дает, пожалуй, наиболее интересному сочинению тех лет в этом жанре, а именно памфлету «Тень Екатерины в Елисейских полях», изданному на французском языке в 1797 году и неоднократно переводившемуся на русский. Н. Марчиалис подвергает скрупулезной проверке аргументацию историка В. А. Бильбасова, высказавшего в 1896 году мнение о принадлежности этого сочинения одному из французских эмигрантов в Германии. На основании сопоставления двух переводов памфлета, относящихся соответственно к 1797 и 1807 годам, Н. Марчиалис отводит доводы Бильбасова, оставляя вопрос об авторе сочинения открытым (С. 197—198). В то же время, хотя в иностранном происхождении автора трудно сомневаться (помимо аргументов Н. Марчиалис можно привести и еще ряд неопровержимых доводов),[5] можно допустить, что к созданию этого сочинения были причастны лица, хорошо знавшие обстоятельства жизни русского двора и образ мыслей русской императрицы. Например, поразительно совпадают отдельные рассуждения Екатерины в памфлете с идеями, которые она высказывала в ходе многолетней переписки с бароном Ф. М. Гриммом. И все же следует целиком согласиться с заключением Н. Марчиалис относительно открытости проблемы на сегодняшний день.

Заключительная глава монографии посвящена роли жанра «диалога в царстве мертвых» в творчестве М. Н. Муравьева, бывшего воспитателем великих князей Александра и Константина. В данном случае, как верно отмечает Н. Марчиалис, Муравьев выступал продолжателем традиций Фенелона, одного из идеологов концепции просвещенного абсолютизма. Наставлять развлекая, воспитывать будущих монархов на примерах отечественной и всемирной истории, пробуждая в них любовь к добродетели, — таковы были установки диалогов Муравьева, не имевших ничего общего ни с сатирой, ни с памфлетной публицистикой. Произведения М. Н. Муравьева в этом жанре увидели свет уже после смерти автора; какого-либо влияния на литературный процесс они не оказали.

Заключение монографии содержит своеобразное продолжение историографического обзора, предпринятого во «Введении», но теперь уже обращенного к работам последних десятилетий. На основании этих работ и предпринятого в монографии анализа Н. Марчиалис формулирует свою окончательную оценку природы жанра «диалога в царстве мертвых». Дело в том, что в трудах отдельных литературоведов наметилась тенденция к отрицанию «диалога в царстве мертвых» как самостоятельной жанровой единицы. Попытки приравнивания его к различным формам диалогической сатиры или же включения, на основании только общности тематики, в обширный ряд литературных явлений, напоминающих лукиановский диалог (письма из загробного мира, схождения живых в ад и визиты мертвецов на землю), Н. Марчиалис фиксирует в статьях А. И. Кузьмина (см.:

lib.pushkinskijdom.ru

Историко-филологические исследования: Сб. статей. М., 1967. С. 290—295; XVIII век: Сб. 10. Л., 1975. С. 87—91), а также в статье Б. Бойса «Новости из ада. Сатирические связи с подземным миром в английской литературе XVII и XVIII веков» (*Boyce B.* News from Hell. Satiric communication with the Nether World in English writing of the XVII and the XVIII centuries // Pubbl. of the Modern language associations of America. 58. 1943. P. 402—437). В своей статье Б. Бойс полемизировал с идеями Эгильсрюда. Но, как справедливо замечает Николетта Марчиалис, предлагаемое расширение границ жанра привело бы к отказу от значительной части диалогических текстов, генетически связанных с традицией лукиановского диалога, хотя и не всегда прикрепленных к аду. В конце «Заключения» обстоятельно рассматривается самая последняя крупная работа о жанре «диалога мертвых», принадлежащая польской исследовательнице З. Синко, — «Просветители на Елисейских полях. Разговоры в царстве мертвых: Восприятие — Оригинальное творчество» (*Sinko Z.* Oswieceni wsrod pol Elizejskich. Rozmowy zmarlych: Recepcia — Tworczosc oryginalna. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdansk, 1976). При всей избирательности привлекаемого материала книга З. Синко противостоит отмеченной тенденции.

Признавая разнообразие функционально-тематических ипостасей жанра «диалога мертвых» в разных литературах, Н. Марчиалис справедливо отстаивает право видеть в этом явлении вполне определенную жанровую форму, ибо жанр этот имеет свою, восходящую корнями к традициям лукиановской сатиры, структурную специфику. В русской литературе XVIII века этот жанр тоже оставил свой след, и монография Николетты Марчиалис воссоздает достаточно полную картину бытования его на нашей отечественной почве. И в этом несомненная ценность ее книги.

---

[1] Немецким автором была допущена ошибка, ибо речь идет несомненно об Иване IV (Грозном). На с. 56 Н. Марчиалис дает соответствующую справку.

[2] *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 7. С. 332.

[3] Там же. С. 352—353.

[4] Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома: 1976. Л., 1978. С. 131—146.

[5] Подробнее об этом и других вопросах, связанных с трактовкой памфлета, см.: *Стенник Ю. В.* Тема Великой французской революции в памфлетной публицистике 1790-х годов // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1989. № 6. С. 528—535.

Ю. Д. Левин

АНГЛИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА ГЕРЦЕНА *

Среди английских славистов широкой известностью пользуется профессор Ноттингемского университета Моника Партридж, основным направлением научного творчества которой в последние десятилетия было изучение А. И. Герцена. Посвященные Герцену исследования М. Партридж неоднократно публиковались в советской печати.[1] В 1982 году М. Партридж возглавляла состоявшийся в Англии при участии советских ученых международный симпозиум на тему «Александр Герцен и европейская культура», организованный Международной ассоциацией по изучению и распространению славянских культур при поддержке ЮНЕСКО, и затем издала сборник материалов симпозиума, содержащий 18 докладов на английском и русском языках.[2] Попутно отметим, что заслуги М. Партридж в развитии славяноведения были особо отмечены в нашей стране: в 1983 году Киевский гос. университет им. Т. Г. Шевченко присвоил ей звание почетного доктора филологических наук.

В 1984 году М. Партридж выпустила в серии ЮНЕСКО «Выдающиеся деятели славянской культуры» монографию «Александр Герцен. 1812—1870»,[3] которая, на наш взгляд, является наиболее значительным трудом, имеющим целью распространение на Западе сведений о жизни и деятельности великого русского писателя и революционера. В первом же абзаце предисловия явно ощущается пафос автора, стремящегося вызвать интерес читателя к своему герою и одновременно дать возможность составить о нем общее представление. Приводим перевод этого абзаца.

«Александр Иванович Герцен был одним из наиболее энергичных и талантливых людей

---

* *Partridge Monica.* Alexander Herzen: Collected Studies. Nottingham: Astra Press, 1988. VIII. 157 p.

© Левин Ю. Д., 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

России девятнадцатого века. Его независимые взгляды на человека, на историю и на будущее человечества горячо воспринимались при его жизни как внутри, так и за рубежами его родной страны. Родившись в Москве спустя несколько недель после вторжения Наполеона в Россию, он умер в Париже незадолго до установления Коммуны. После 1847 г. он оказался изгнанником в Европе и жил в Лондоне в течение тринадцати лет. В круг своих друзей он привлекал выдающихся людей и блестящие умы почти из всех европейских стран. Хотя после 1847 г. он жил только за границей, влияние его личности в России вплоть до середины 1860-х гг. было огромным, особенно среди молодежи; он воодушевлял ее энергией и чувством долга, неведомым его собственному поколению» и т. д.[4]

Книга невелика по объему, всего около 7 авторских листов (русский перевод имел бы несколько больший объем), и на этом ограниченном пространстве автору удалось представить достаточно полно весьма сложную и многоплановую жизнедеятельность Герцена. Книгу отличает поразительная плотность текста, в ней нет буквально ни одного лишнего слова: каждое слово несет информацию; и в то же время авторская речь достаточно свободна и естественна, и это в известной мере скрывает от читателя большой труд, которого потребовало создание книги.

Тщательно прослеживается жизненный путь Герцена начиная с рождения и детских лет. Описываются его скитания, добровольные и вынужденные вследствие неоднократных ссылок и изгнаний, сперва в России, а затем за ее рубежами. Представлена его семейная жизнь с ее конфликтами и драматическими событиями, судьбы его жены и детей (тех немногих, которые не умерли в раннем детстве), отношения с друзьями и близкими и т. д. Психологически тонко и чутко характеризует М. Партридж душевное состояние Герцена в разные периоды его жизни. Ограничимся одним примером, относящимся к 1852 году, в мае которого Герцен потерял жену.

«Вполне определенно представлял он себе истинное свое положение: необходимость без чьего-либо содействия воспитывать детей, оставшихся без матери в чужой стране без постоянного местожительства, граждан города, никогда ими не виденного, изгнанников с отцом из страны, которую он хотел, чтобы они полюбили. Его добрый живой характер не утратил обаяния, а его ум — живой привлекательности, и многие друзья — итальянцы, немцы, французы, швейцарцы, англичане, русские, австрийцы — предлагали ему тогда свою помощь. Но мало кто догадывался об ужасающем одиночестве, которое он испытывал, но был слишком горд, чтобы показать его».[5]

Но, конечно, не на личной жизни Герцена сосредоточено основное внимание М. Партридж. Главное в ее книге — рассмотрение многостороннего творчества писателя-беллетриста, публициста и философа и характеристика его революционной деятельности. Вполне закономерно эти творчество и деятельность Герцена показаны на широком историческом фоне социальной и политической жизни России и Западной Европы. При этом, говоря об исторических событиях в России (например, о декабрьском восстании 1825 года), М. Партридж излагает их более обстоятельно, принимая во внимание степень осведомленности западных читателей.

Сама М. Партридж оценивает свою книгу весьма скромно, указывая в заключении: «Предшествующие страницы наметили только контур его (Герцена. — *Ю. Л.*) трудов и достижений, непрерывную извилистую линию, разделяющую различно окрашенные части целого».[6] Нам же представляется, что созданный ею очерк является в известной степени образцовым: краткость, информативность и популярность делают его доступным и полезным для широкого круга читателей. Поэтому русский перевод его, полагаем, весьма желателен.

Создавая книгу, М. Партридж опиралась как на свои исследования, так и на международную герцениану, включающую труды советских ученых (в приложенной библиографии упоминаются работы З. П. Базилевой, Я. Е. Эльсберга, Л. Я. Гинзбург, Н. Я. Эйдельмана, а также «Летопись жизни и творчества А. И. Герцена»). Сборник же, которому в основном посвящена настоящая рецензия, объединяет двенадцать собственных исследований ученой, публиковавшихся в английских, советских и других европейских изданиях после успешной защиты ею в 1952 году докторской диссертации на тему «Александр Герцен: Его жизнь в России». Он содержит не все посвященные Герцену работы автора. Произведенный ею отбор имел целью избежать повторений, дублирования материалов, включенных в разные ее статьи. Так, например, здесь отсутствует статья «Александр Герцен и английская периодическая печать», публиковавшаяся в «Вопросах литературы» (1959, № 4), поскольку значительная часть материалов этой статьи вошла в помещенную в сборник статью «Александр Герцен и английская печать» («Alexander Herzen and the English Press»), хотя в целом содержание этих двух статей далеко не совпадает, и т. п. Отличительной особенностью всех посвященных Герцену статей М. Партридж является новизна содержащихся в них сведений, публикация ранее неизвестных материалов, обоснование новых точек зрения, которые возникли в результате последовательных тщательных исследований, включающих архивные разыскания. Конечная цель автора — «расчленить факты и вымыслы, отделить миф и вымысел от знания, подкрепленного конкретным фактом, чтобы понять и оценить жизнь и деятельность этого дальновидного прародителя в царское

lib.pushkinskijdom.ru

время „гласности"[7] как революционного оружия» (P. VII).

Следует особо отметить, что исследовательская работа М. Партридж осуществлялась в тесном контакте с советскими специалистами-герценоведами, которым она выражает благодарность в предисловии к сборнику.

Первая статья сборника, публиковавшаяся еще в 1957 году, «Молодой Герцен: Дополнение к русскому периоду биографии Александра Герцена» («Young Herzen: A Contribution to the Russian Period of the Biography of Alexander Herzen». P. 1—16) была связана с докторской диссертацией М. Партридж. Здесь исследуются документальные материалы до 1847 года, письма Герцена, дневники, которые он вел во время ссылок в Пермь, Вятку, Владимир, Новгород, и его публичные выступления тех лет, и все это сопоставляется с тем, как данный период представлен в «Былом и думах», в которых многие исследователи видят достоверную биографию писателя. При этом выясняется, что молодой Герцен еще не был сознательным противником деспотизма и царизма, каким он изобразил себя, описывая эти годы в «Былом и думах». Его отношения с вятским губернатором Тюфяевым и владимирским губернатором Курутой были далеко не враждебными (с Тюфяевым он, правда, поссорился незадолго до отъезда из Вятки), и тяготился он тогда главным образом провинциальной отсталостью и замкнутостью, а не политическим режимом в стране, и т. д. Поэтому, считает М. Партридж, «Былое и думы», написанные уже сложившимся революционным мыслителем, художником, который свободно распоряжался своим материалом, преследуя определенные пропагандистские цели, не могут служить документальным свидетельством при составлении биографии юного Герцена.

Во второй статье «Александр Герцен и английская печать» («Alexander Herzen and the English Press». P. 17—32) рассматриваются отношения Герцена с современной ему английской периодикой, публикация его произведений (а также и Огарева) в английской печати и отклики на его деятельность в английских газетах и журналах. Это первое в серии исследований М. Партридж, посвященных взаимосвязям Герцена с английской общественной жизнью. Она так и пишет: «Несомненно, долг англичан перед советской наукой — заполнить пробелы в наших знаниях об отношениях Герцена с англичанами» (P. 17). Как выясняется, особый интерес к Герцену проявляли радикальные издания. Такими были еженедельник Дж. Г. Льюиса «The Leader» и журнал чартиста В. Линтона «The English Republic», где он опубликовал статьи о русском крепостничестве и о перспективах социалистического будущего своей страны. Орган философских радикалов «The Westminster Review» в статье «Русско-европейская путаница» («The Russo-European Embroilment») в значительной мере опирался на герценовское «О развитии революционных идей в России», опубликованное в 1853 году в Лондоне по-французски. Вообще число английских изданий, обследованных М. Партридж в связи со своей темой, по-видимому, исчерпывающее. Здесь и либеральный «The Athenaeum», и религиозное «The British Quarterly Review», и старейший орган вигов «The Edinburgh Review», и радикальные «The Fortnightly Review», и «National Review», и др. Из консервативных торийских изданий отклики обнаружены в «John Bull», «Colburn's New Monthly Magazine» и «The Literary Gazette». Во всех этих изданиях с соответствующих позиций давались оценки литературной и общественной деятельности Герцена. Смерть его была отмечена обширным некрологом в наиболее распространенной из английских газет «The Times». Все собранные сведения дают М. Партридж основание заключить: «Если Герцен был совершенно посторонним зрителем англичан, они не были совершенно посторонними зрителями Герцена» (P. 30).

Статья «Александр Герцен и Джозеф Коуэн-младший, член парламента: Неопубликованные материалы» («Alexander Herzen and the Younger Joseph Cowen, M. P.: Some Unpublished Material». P. 33—44) содержит важные сведения, проливающие свет на отношения Герцена с английскими революционерами. Джозеф Коуэн-младший (1829—1900), сын английского магната-судовладельца и радикального политического деятеля, со студенческих лет примкнул к революционному рабочему движению и активно боролся за предоставление в Англии права убежища политическим эмигрантам. Особенно близко он был связан с польской эмиграцией. Герцен познакомился с Коуэном в середине 1850-х годов. На основании материалов, сохранившихся в архиве Коуэна, М. Партридж устанавливает характер их общения. Выясняется, что Коуэн, используя суда своего отца, переправлял издания Герцена в Польшу и Россию. В архиве Коуэна сохранилась брошюра английского перевода статьи Герцена «Русский народ и социализм», опубликованная Линтоном при поддержке Коуэна в 1855 году. В том же архиве М. Партридж обнаружила и включила в статью три письма Герцена к Коуэну, связанные с приглашениями на организованные Коуэном политические митинги.[8] Анализируя тайную переписку Коуэна с поляками, М. Партридж выявляет косвенные сведения о помощи, оказанной Коуэном Герцену через третьих лиц. Наконец, приводятся высказывания Коуэна после смерти Герцена, которого он назвал «одним из самых обаятельных людей, соединившим немецкую философию, политические убеждения республиканской Франции и практический здравый смысл англичанина с природным русским характером» (P. 43). В то же время, отмечая полное отсутствие упоминаний имени Коуэна в «Былом и думах», М. Партридж объясняет это опасением Герцена, что такие ссылки могли бы скомпрометировать Коуэна в глазах английских властей.

Отношениям с немецким революционером посвящена краткая заметка «Герцен и Карл

lib.pushkinskijdom.ru

Шурц» («Herzen and Carl Schurz». P. 45—51). Карл Шурц (1829—1906), участник революции 1848 года, вынужден был эмигрировать в Швейцарию и Англию, а затем переехал в Соединенные Штаты Америки, где принял участие в борьбе за освобождение негров. Точное время его знакомства с Герценом не установлено. Известно только, что в 1855-м и 1856 годах они уже были знакомы и общались во время приездов Шурца в Европу. М. Партридж обнаружила в Библиотеке Конгресса в США письмо Герцена к Шурцу, которое опубликовала, охарактеризовав отразившиеся в письме отношения двух революционных деятелей, а также затронутые там политические события Европы и Америки.[9]

Две следующие статьи имеют более широкий охват; в них автор поставила своей целью показать Герцена на широком литературном и общественном фоне. Первая из них, «Революция и русская литература XIX века» («Revolution and 19th Century Russian Literature». P. 53—68), представляет собою вступительную лекцию, прочитанную в Ноттингемском университете в 1968 году. Открывая ее, М. Партридж наметила предмет и хронологические границы: «В декабре 1825 г. политическое восстание в Санкт-Петербурге, имевшее целью свергнуть царское самодержавие, провалилось; в 1917 г. другое восстание в Санкт-Петербурге (так!), имевшее целью свергнуть самодержавную монархию, победило и переросло в большевистскую революцию. Между этими двумя событиями русская литература развивалась таким образом, что именно она обеспечила превращение революционного поражения в начале века в победу в его конце. Литература стала мощным политическим оружием. В этом процессе была образована первая национальная школа русской литературы, и в ней сформировались писатели-художники, которым было суждено впервые в истории своей страны вести вперед мировую литературу, а не следовать за нею» (P. 53).

В лекции прослеживаются сменяющаяся обстановка и события в истории русской литературы начиная с воцарения Николая I: давление Николая на Пушкина, цензурный террор и вмешательство жандармерии, система образования, утверждающая православие, самодержавие и народность, возникновение московских кружков и борьба с ними, закрытие журнала И. В. Киреевского «Европеец», письмо П. Я. Чаадаева и т. д. вплоть до деятельности Белинского, направленной на создание «натуральной школы». Рассматривая в этой связи художественное творчество Герцена, М. Партридж считает, что, если бы оно продолжилось, то Герцен достиг бы уровня Толстого, Тургенева, Достоевского — основателей великого европейского романа. Но художественная литература не может прямо вести к социальной революции. Нужна другая литература, которую и создал Герцен в эмиграции. Согласно утверждению М. Партридж, именно эта деятельность Герцена способствовала освобождению крестьян, а после его смерти влияние его идей ощущалось вплоть до «большевистской революции» и творчества Горького, создавшего литературное направление социалистического реализма.[10]

Другая обобщающая статья — «Изменение концепции действительности у Герцена и ее отражение в его художественных произведениях» («Herzen's Changing Concept of Reality and Its Reflection in His Literary Works». P. 69—89). Статья эта основана на тщательном анализе всего художественного творчества, начиная с ранних юношеских опытов, относящихся еще к студенческим годам и сохранившихся лишь частично, вплоть до «Доктора Крупова». При этом литературная эволюция писателя рассматривается на фоне биографических событий с привлечением его эпистолярного наследия, благодаря чему выявляется взаимосвязь литературы и жизни. В результате создается убедительное представление о сложном и многостороннем пути Герцена-художника от ранних подражаний Шиллеру, романтических творений, ориентированных на западные образцы, к самостоятельному зрелому реализму, основанному на собственном познании жизни и пронизанному социальной критикой. При этом М. Партридж повторяет свое важное для ее концепции заключение: «Безошибочность его развития между 1842-м и 1847 гг. указывает на то, что, если бы он сосредоточился на чисто литературной работе, он мог бы соперничать с величайшими писателями 19 века» (P. 87).

К наиболее важным материалам сборника принадлежит статья «Александр Герцен: Последний период» («Alexander Herzen: His Last Phase». P. 91—108), которая посвящена пересмотру ранее распространенных взглядов на политическую позицию Герцена в 1860-е годы. С этой точки зрения тщательно исследуются события его общественной жизни: отношение к польскому восстанию 1863 года и упадок популярности «Колокола»; переезд Герцена в Швейцарию и знакомство с новой русской эмиграцией; отрицательная его реакция на покушение Каракозова и протест против терроризма, приведший к разрыву с молодой эмиграцией; прекращение «Колокола» и попытки публикации своих произведений в России (серия заметок «Скуки ради» под псевдонимом «И. Нионский» в газете «Неделя» в 1868—1869 годах); интерес к международному рабочему движению и организации I Интернационала, противостоявший панславизму Бакунина, и т. д. Итоговый вывод статьи представляется нам весьма существенным: «В Бакунине Россия произвела революционера, который безуспешно оспаривал у Карла Маркса руководство международным прогрессивным движением. В Герцене она произвела революционера, который оспаривал безуспешно у Бакунина руководство русским революционным движением и чья позиция мыслителя была значительно ближе к позиции Маркса» (P. 106).

В сравнительно небольшой статье «Александр Герцен и освободительные движения южных славян во второй половине девятнадцатого века: Некоторые наблюдения

lib.pushkinskijdom.ru

и замечания» («Alexander Herzen and the South Slav Liberation Movements of the Second Half of the Nineteenth Century: Some Observations and Comments». P. 109—118) М. Партридж, откликаясь на вышедшие в 70-е годы работы советских исследователей о связях русских революционеров с южными славянами,[11] суммирует известные ей сведения о соответствующих связях Герцена и ставит вопросы, требующие дальнейших разысканий в этой области с привлечением материалов из югославских архивов. Таков, например, вопрос об отношениях с Герценом сербского демократа Живоина Жуёвича, который в 1860-е годы по своим взглядам был ближе к нему, чем к Чернышевскому и молодому поколению русских революционеров, сторонников террора и конспирации. Особого внимания, считает М. Партридж, заслуживают связи Герцена со словенцами. До сих пор отмечалась зависимость от «Колокола» словенского издания «Zvon», где само название было переводом заглавия герценовской газеты. Но М. Партридж считает, что такая зависимость еще больше проявилась в люблянской газете «Naprej», издававшейся в 1863 году Франом Левстиком. Среди поднятых вопросов, подлежащих исследованию, весьма важен вопрос о значении южных славянских стран для получения Герценом информации из России и пересылки туда своих изданий. В статье М. Партридж не только поставлены конкретные вопросы, но и содержится призыв к постановке новых, в частности касающихся контактов Герцена в Хорватии, Боснии и Герцеговине и т. д., и тем самым стимулируется дальнейшая исследовательская работа в этой важной области герценоведения.

Несколько обособленное положение занимает в сборнике статья «Критик-активист и некоторые русские активисты» («The Activist Critic and Some Russian Activists». P. 119—125), поскольку она в основном посвящена известному критику и историку литературы Георгу Брандесу (1842—1927) и его русским связям, которые, как справедливо указывает М. Партридж, ранее не исследовались. Брандес не был знаком с Герценом лично и в своих странствиях по Центральной Европе в 1868-м и в 1870 году с ним не встречался. Не упоминался Герцен и в лекциях, прочитанных Брандесом в 1887 году в Москве и в Петербурге, в одной из которых говорилось о значении русских романистов в Европе. Но в своей книге «Русские впечатления» (1888) Брандес отзывался о Герцене с восхищением, говоря, что среди русских людей века его духовный мир имеет такое же значение, как 1848 год — среди годов века. Значение Брандеса для русской культуры, определяет М. Партридж, было двояким: Западу он представил русскую реалистическую школу, а России — западную литературу, главным образом Золя и натурализм. Выясняя связи Брандеса с русскими революционными деятелями — В. И. Засулич, С. М. Степняком-Кравчинским, П. А. Кропоткиным, М. Партридж особое внимание уделяет М. К. Цебриковой, страстной поклоннице и последовательнице Герцена.

Статья «Александр Герцен: Его дело и значение в европейском контексте» («Alexander Herzen: His Work and Significance in the European Context». P. 127—132), при всей своей краткости, занимает центральное положение в сборнике, в ней буквально в тезисной форме М. Партридж подводит своего рода итог собственных герценоведческих трудов. Во время ссылок в России, считает она, Герцен в своем духовном развитии пришел к заключениям, которые, будучи приложены к литературному творчеству, способствовали созданию «натуральной школы», положившей начало русскому классическому реализму. Оказавшись же вне России, он приложил свою концепцию реализма к непосредственной революционной деятельности. Развитию этой мысли, подкреплению ее историко-биографическими фактами и посвящена статья, заключительный абзац которой нам представляется целесообразным процитировать. М. Партридж пишет: «Возможно, несмотря на ограниченность объема, мне удалось развить с известной убедительностью мою мысль, что в Европе Герцен сделал для русского революционного движения то же, что Толстой, Тургенев и Достоевский сделали для русской литературы. Он внес в него реализм — не просто реализм, как его толкуют в общем смысле, а реализм как понятие, приложимое к русской литературе. Его революционное творчество возникло на основе оригинальных и весьма проницательных наблюдений над современным обществом, на его интеллектуальном проникновении в скрытый смысл того, что он видел, на новом понимании глубоких умственных потребностей, как коллективных, так и индивидуальных, людей, образующих это общество, понимании, вызывающем сочувствие к тем, кто унижен, и гнев против тех, кто их унизил, на поисках и открытиях новых методов и жанров, на страстном желании улучшить удел простого русского народа и на убеждении, что практическое и, в сущности, единственное назначение творческого слова — добиться этого улучшения. Он был историческим реалистом» (P. 131).

Статья «Герцен и бельгийцы: Последний период» («Herzen and the Belgians: His Last Phase». P. 133—143) в сущности шире своего заглавия. Во-первых, рассматриваемые здесь отношения Герцена с Бельгией и бельгийцами отнюдь не ограничиваются последним периодом его жизни. В статье говорится, в частности, о попытках Герцена организовать Вольную русскую типографию в Бельгии еще в 1850-е годы и о противодействиях, оказанных бельгийскими властями. Во-вторых, здесь рассматриваются связи Герцена не только с бельгийскими, но и другими европейскими революционными деятелями, а выявление комплекса этих связей необходимо автору для утверждения основной своей мысли, что в конце жизни Герцен ясно осознавал значение международного рабочего движения. Попутно отметим, что в этой статье, возможно, больше, чем в других, проявился присущий М. Партридж в ее герценоведческих исследованиях учет международной герценианы.

lib.pushkinskijdom.ru

При сравнительно небольшом объеме здесь привлекаются работы английских, советских, польских, немецких и американских исследователей.

Заключает сборник статья «Александр Герцен и Англия» («Alexander Herzen and England». P. 145—157), представляющая собою вариант статьи, ранее опубликованной автором в томе «Литературного наследства» «Герцен и Запад»,[12] вариант, приспособленный к восприятию англоязычного читателя с учетом, во избежание дублирования, других статей, помещенных в сборнике (в частности, «Александр Герцен и английская печать»). Благодаря многолетним тщательным разысканиям, М. Партридж удалось выявить множество англичан, с которыми Герцен был связан во время своего пребывания в их стране. Связи эти носили самый различный характер: от простого, иногда поверхностного знакомства до сотрудничества, участия в английских изданиях, выступлениях на митингах, получения помощи для своей издательской и пропагандистской деятельности и т. д. Выясняется, что Герцен был связан с так называемой «Политической биржей», клубом на Флит-стрит в Лондоне, где собирались сторонники прогрессивных движений разных национальностей. Завершая статью, М. Партридж так резюмирует ее содержание: «Вопреки распространенному мнению, очевидно, что Герцен общался с поразительно большим числом и широким кругом англичан, даже если и не знал их близко. Большей частью это были выдающиеся деятели английского прогрессивного движения... Это были недавние чартисты, как Вильям Ашерст и В. Дж. Линтон, свободомыслящие активисты, как Брэдлаф и Олсоп, или парламентские политические радикалы, как Стэнфилд, Мильнер-Гибсон, Дилк и Коуэн. Кроме того, он ценил и уважал таких людей, как Карлейль, Пирсон и Эмилия Рив, хорошо осведомленных о его стране и разбиравшихся в ее проблемах. И он охотно пользовался гостеприимством, которое некоторые английские семьи оказывали ему и его семейству у себя дома. Но чувством и умом он сохранял глубоко критическое отношение к общей буржуазной атмосфере викторианской Англии, с которой он не мог и не хотел примириться» (P. 156—157).

Завершая рецензию, считаем нужным сказать, что сборник статей М. Партридж представляет несомненный интерес для исследователей в области сравнительного литературоведения, особенно международных связей русской литературы, а для специалистов-герценоведов знакомство со сборником совершенно необходимо.

---

[1] *Партридж М.* 1) Александр Герцен и английская периодическая печать // Вопросы литературы. 1959. № 4. С. 141—146; 2) Александр Герцен и его английские связи // Проблемы изучения Герцена. М., 1963. С. 348—369; 3) Герцен и Карл Шурц. Неизвестное письмо Герцена // Прометей. М., 1967. Т. 3. С. 241—249; 4) Александр Герцен и Англия // Лит. наследство. 1965. Т. 96: Герцен и Запад. С. 47—57. В том же томе «Литературного наследства» М. Партридж опубликовала письмо Герцена к Луизе Галер (С. 668) и письма к Герцену Джозефа Коуэна, Томаса Карлейля и Луи Блана (С. 57—61, 349).

[2] Alexander Herzen and European Culture: Proceedings of an International Symposium. Nottingham and London, 6—12th September 1982 / Ed. M. Partridge. Nottingham, 1985. См.: *Видуэцкая И.* 1) Герцен и европейская культура // Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур. Информационный бюллетень. М., июль—декабрь 1986. Вып. 15. С. 64—67; 2) Александр Герцен и европейская культура // Реферативный журнал. 1986. Сер. 7: Литературоведение. № 5. С. 174—177.

[3] *Partridge M.* Alexander Herzen. 1812—1870. Paris, 1984. (Prominent figures of Slav Culture). См.: *Птушкина И.* Очерк о жизни и деятельности А. Герцена // Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур. Информационный бюллетень. М., январь—июнь, 1986. Вып. 14. С. 58—60.

[4] *Partridge M.* Alexander Herzen. 1812—1870. P. 9.

[5] Ibid. P. 82.

[6] Ibid. P. 139.

[7] Это слово приведено по-русски.

[8] Эти письма от 24 ноября 1855 года, 27 и 28 ноября 1861 года М. Партридж своевременно предоставила с комментариями для академического собрания сочинений Герцена (см.: *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1953—1966. Т. 25. С. 316—317; Т. 27. С. 193—200).

[9] Это письмо от 9 апреля 1857 года опубликовано факсимильно с русским переводом в альманахе «Прометей» (см. выше, прим. 1); в академическое собрание сочинений Герцена оно не вошло.

[10] Отметим частные неточности в статье. «Борис Годунов» Пушкина был создан не после свидания с Николаем I в 1826 году (P. 54), а еще до возвращения из ссылки. Пушкин погиб не в 38 лет (P. 55), а в 37. Полное собрание сочинений Белинского (1953—1959) вышло не в 30-ти томах (P. 67. Note 12), а в 13-ти.

[11] *Гросул В. Я.* Российские революционеры в юго-восточной Европе. Кишинев, 1973; *Карасев В. Г.* Сербский демократ Живоин Жуевич. М., 1974.

[12] См. выше. прим. 1.

lib.pushkinskijdom.ru

Б. Ф. Егоров

КНИГА ОБ ЭСТЕТИКЕ РУССКИХ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ*

Книга, названная «Эстетика как кошмар», конечно, самим заглавием задает некоторый иронический ореол, фон, окружающий содержание. Этот легкий иронический подтекст будет заметен иногда и далее, в разделах, посвященных эстетикам и критикам, чуждым автору. Но в целом книга совершенно серьезная, это обстоятельное исследование об эстетических и литературно-критических баталиях в русской общественной жизни шестидесятых годов прошлого века. Конфронтация, непримиримая борьба партий, групп и лиц тоже получила свое воплощение в структуре заглавия и в его содержании, разъясняемом следующими далее двумя эпиграфами к книге, взятыми из статьи А. А. Фета «О стихотворениях Ф. Тютчева» (1859) и из статьи Д. И. Писарева «Реалисты» (1864).

Первый эпиграф: «...вопросы о правах гражданства поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении, о современности в данную эпоху и т. п. считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался».

Второй: «Читатель подумает вероятно, что эстетика — мой кошмар, и читатель в этом случае не ошибется».

Здесь оба критика стоят на противоположных позициях: для одного увод искусства, эстетики в гражданскую сферу — сплошной кошмар, для другого сама эстетика — кошмарная область, тормоз общественного прогресса. А в целом получается, что кошмары становятся явью, дикие крайности мнений бушуют на страницах периодических изданий, борьба не затихает в течение многих лет... Эстетические кошмары сливаются с социально-политическими. Таким образом, с самых первых страниц книги автор вводит нас в мир диалектических противоречий и парадоксов, которыми была полна эпоха шестидесятых годов.

Чарльз Мозер, автор книг «Антинигилизм в русском романе 1860-х гг.» и «Писемский: провинциальный реалист»,[1] хорошо знает материал, хорошо ориентируется в нем и в целом, по моему мнению, дает исторически верную картину и трактовку эстетической борьбы шестидесятых годов (справедливо расширяя астрономическую декаду, включая в нее и вторую половину пятидесятых годов, начало эпохи надежд и реформ).

Очень важно, что к анализу автор привлекает не только знаменитостей, но и мало известных или даже совсем неизвестных критиков и эстетиков изучаемого периода — Н. Соловьева, Е. Эдельсона, Е. Зарина, Н. Ахшарумова; широко использует эстетический трактат Прудона, переведенный на русский язык в 1865 году. Книга Мозера насыщена также ссылками на художественную литературу; произведения Достоевского, Тургенева, Писемского, Л. Толстого, А. Толстого, Гончарова используются в каждом разделе, если не на каждой странице, и это очень существенно, так как и эстетические споры отражались на страницах романов и стихотворений, и сами художественные произведения становились мощными стимуляторами эстетических и общественных идей. Как верно подчеркнул автор, русские шестидесятые годы были бы совсем не те, если бы не появились романы «Отцы и дети» и «Что делать?» (см. с. 261).

Чарльз Мозер хорошо знает и исследовательскую литературу, дореволюционную русскую, советскую, а также довольно обширный круг зарубежных трудов; некоторые из последних мало известны или совсем не известны в нашей стране.[2] Если автор не соглашается с кем-либо из своих предшественников, он вежливо оспаривает их мнения, четко противопоставляя свою позицию. Например, он не согласился со мною в определении антиисторической нормативности критиков-шестидесятников как принадлежащей к романтическому методу,[3] так как, считает Мозер, такое понятие следует скорее связывать с неоклассицизмом, чем с романтизмом (с. 116). Хотя я употреблял термин «романтический» не в историко-литературном, а в типологическом смысле (в основе его — принцип долженствования, «как должно быть», а не изучение реальности), но, возможно, для снятия путаницы лучше бы, в самом деле, применить термин «классицизм», где долженствование входит в метод значительно более прозрачно и полно, чем при романтизме.

Сам Чарльз Мозер очень хорошо мыслит типологически, очень четко показывает границы групповой солидарности эстетиков и критиков изучаемого периода, а также динамику их развития (например, демонстрируя путь русской радикальной критики от Белинского к Чернышевскому и Добролюбову и затем к деятелям после 1861 года), при этом подчеркивая не только контрасты, но и типологическое сходство, например между Писаревым и Антоновичем (см. с. 36).

С другой стороны, совершенно не скрывая некоторых непримиримых противоположностей в системах воззрений «эстетов» и радикалов, автор книги справедливо утверждает, что «разделительная линия между ними часто была размыта» (с. 85). А с третьей стороны, Мозер хорошо выявляет кардинальные различия в понимании «правды искусства» у Писарева по сравнению с трактовками Чернышевского и Добролюбова (см. с. 187) и тем самым

---

* *Moser Charles A.* Esthetics as Nightmare: Russian Literary Theory: 1855—1870. Princeton: Princeton University Press, 1989. XXIV. 288 p.

© Егоров Б. Ф., 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

обнаруживает соединительный мостик, пусть и шаткий, между позициями Писарева и Ап. Григорьева. Вообще, раздел «Искусство и правда» (с. 179—187) — один из лучших в книге; здесь не только тонко рассмотрены разные аспекты в понимании шестидесятниками термина «правда» (главным образом, в ипостасях «истины» и «справедливости»), но и как бы намечены перспективы дальнейших более сложных трактовок «правды» в последующих десятилетиях русской эстетической и критической мысли.

Из радикальной когорты литературных критиков Мозеру ближе всего, кажется, Писарев, а из «эстетов» — Н. Соловьев, Эдельсон и А. Толстой. Процитировав отрывок из письма Толстого Б. Маркевичу от 13 декабря 1868 года (в переводе с французского: «Не моя вина, если из того, что я писал ради любви к искусству, явствует, что деспотизм никуда не годится. Тем хуже для деспотизма» [4]), Мозер заключает: «Здесь разъяснен главный вопрос. Художник не может считать первостепенными интеллектуальные проблемы: он преуспеет в этом лишь тогда, когда он прежде всего ищет художественную истину» (с. 94). Не менее близок автору книги Н. Соловьев, позиция которого хорошо резюмируется на с. 51: «Его главное положение, излагаемое в его первой статье „Теория безобразия", — то, что этические концепции должны связываться с эстетическим чувством скорее, чем интеллектуальный расчет (как думали радикалы) или религиозное откровение (как утверждали традиционалисты)».

Типологическая расстановка сил, к сожалению, иногда приводит Чарльза Мозера к некоторому жесткому схематизму, например к зачислению Ап. Григорьева в лагерь эстетических критиков (см. с. 223). Вот уж кто далек от эстетизма! Или такой пример: Мозер без всякой дифференциации видит в советских ученых единый лагерь поклоняющихся Чернышевскому и Добролюбову и уделяющих меньше внимания Писареву: якобы если быть последовательным и учесть, что «знаменитое уничтожение (в подлиннике еще сильнее сказано: excoriation, сдирание кожи. — *Б. Е.*) Писаревым всех произведений Пушкина было логическим развитием взгляда Чернышевского на искусство», то советские ученые должны были бы выбрать или Пушкина, или Чернышевского, а они поклоняются обоим (Предисловие. С. XVIII). Такая «братская могила», конечно, весьма далека от реального положения в советском литературоведении, где ведутся многолетние споры между «писаревцами» и — как сказать правильно? — «чернышевцами», что ли.

Уважение Мозера к блистательному Писареву почему-то не перенеслось на другого замечательного критика радикального лагеря шестидесятников — М. Е. Салтыкова-Щедрина. Автор книги явно недооценил его. Это заметно и по количеству использованных материалов, и по прямым характеристикам вроде следующей: «...некоторые радикальные критики порочили искусство прошлого и, подобно Салтыкову, требовали, чтобы литература была как можно более сиюминутной. По их мнению, искусству прошлого нечего сказать современности» (с. 226—227). Это можно отнести к Варфоломею Зайцеву, но никак не к Салтыкову-Щедрину. Достаточно посмотреть, как оценивал он творчество Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Кольцова, чтобы увидеть, насколько неверно такое представление, не говоря уже о мастерском использовании Щедриным целой галереи типов классической художественной литературы, которых он органично погружал в современность, показывал их непреходящее значение.

И еще о схематизме. Книга Мозера построена, так сказать, по теоретическому принципу. Первая глава посвящена общему очерку критических групп, она называется «Диспутанты и их журналы», а остальные три выделены по тематическим признакам: «Искусство и рациональность», «Искусство и мораль», «Искусство и действительность». Это дает возможность автору подробно показать контрастность и противоречивость различных точек зрения по определенному вопросу, создать свежие и творчески весьма содержательные разделы вроде частей третьей главы под названием «Искусство и правда» (с. 179—187) и «Искусство и нравственное добро» (с. 187—205); в последнем разделе уместно подключена к анализу категория времени: устремленность радикальных критиков в будущее истолковывается как предпочтение того времени, которое не противоречит их идеалам и их интерпретациям фактов (с. 203). Однако подобное построение книги очень затрудняет восприятие индивидуальных человеческих и творческих обликов отдельных эстетиков и критиков: их высказывания мозаично рассыпаны по многим разделам и соединить их в целостную картину очень непросто.

Приходится лишь удивляться, как при этом Чарльзу Мозеру все же удалось охарактеризовать главные черты ведущих критиков эпохи и показать основные этапы развития эстетической мысли, например раскрыть принципиальное значение 1865 года, когда в России появились два основополагающих произведения времени: второе издание диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» и эстетический трактат Прудона, названный в русском переводе «Искусство, его основания и общественное назначение» (см. с. 61—64). Но в целом теоретический, типологический принцип построения книги, конечно, обедняет личностные аспекты, размывает индивидуальные отличия и оттенки.

lib.pushkinskijdom.ru

Для рецензионной полноты отмечу еще частные ошибки в книге.

«Добролюбов прибыл в столицу в 1856 г.» (с. 26). Нет, в 1853 году.

«Аполлон Григорьев... был освобожден из долговой тюрьмы благодаря доброму делу анонимной благодетельницы» (с. 48). Нет, достаточно известной писательницы, генеральши А. И. Бибиковой.

«К этому времени (к 1867 году. — *Б. Е.*) „Отечественные записки" стали прочно радикальными» (с. 67). Точнее все же — с 1868 года.

Ф. Решетников вырос не в Пензе (с. 161), а в Перми.

Конечно, на объемистую книгу это ничтожное количество, к тому же мелких, огрехов.

Чарльз Мозер хорошо знает русский язык, хорошо чувствует даже оттенки слов, что видно хотя бы по упомянутому выше анализу разных значений в русской печати понятия «правда». Или, нельзя не отметить, автор интересно трактует склонность русских радикалов принижать роль искусства, усматривая возможное давление на них «дериватного» понятия «искусственный», фактически противоположного понятию «художественный» (см. с. 122—123). Но в отдельных случаях трактовка русских терминов, их перевод на английский вызывает сомнение. Например, на с. 108 в цитате из Н. Шелгунова «субъективность» переводится как «subjectivism». Но ведь это совсем другое понятие; наверное, точнее было бы сказать «subjectivity».

Другой пример — с знаменитым григорьевским понятием «веяние». Мозер переводит его — правда, с некоторым колебанием: «...может быть, лучше всего его перевести» — словом «trend» (с. 126), т. е. «тенденция», «склонность». Но здесь пропадает та воздушность, «фоновость», деликатность, которую Григорьев включал в это понятие в противовес традиционному «влиянию». Может быть, стоило бы вернуться к термину, уже использованному в англоязычных переводах «веяния», — drift, т. е. стремление потока, течение.

В целом же книга Чарльза Мозера заслуживает самой положительной оценки. Автор не просто привлек, наряду с известными, новые имена, новые материалы, но и свежо, необычно подошел к их истолкованию. Не могу не привести в заключение еще один пример. Многие поколения русских людей изучали мысли шестидесятников о превосходстве жизни над идеологией и искусством, о приоритете действительности и вторичности идеалов и художественных произведений, но обычно не замечали разрушения этой вертикальной схемы с помощью других принципов тех же шестидесятников, а Мозер именно сравнил эти различные принципы, показав их парадоксальную противоположность, когда, скажем, Добролюбов утверждал, что действительность нуждается в усовершенствовании, в «приподымании» до уровня разумных требований (см. с. 229—230). А ведь такое «разумное» насилие над действительностью было характерно не только для шестидесятников, но и для всех последующих поколений радикалов и экстремистов, вплоть до наших дней. В этом отношении многие страницы рецензируемой книги весьма актуальны, по-хорошему злободневны, помогают осмыслить и некоторые современные кошмары и парадоксы...

---

[1] *Moser Charles A.* 1) Antinihilism in the Russian Novel of the 1860's. The Hague, 1964; 2) Pisemsky: A Provincial Realist. Cambridge, Mass., 1969.

[2] Например, следующие книги: *Olkhovsky Yuri.* Vladimir Stasov and Russian National Culture. Ann Arbor, 1983; *Gustafson R.* The Imagination of Spring: The Poetry of Afanasy Fet. New Haven; London, 1966; *Durkin Andrej.* Sergei Aksakov and Russian Pastoral. New Brunswick, 1983; Western Philosophical Systems in Russian Literature. Los Angeles, 1979.

[3] См.: *Егоров Б. Ф.* Очерки по истории русской литературной критики середины XIX века. Л., 1973. С. 82—83.

[4] *Толстой А. К.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 246.

Б. В. Аверин

ИССЛЕДОВАНИЕ М. П. ГРОМОВА О ЧЕХОВЕ*

Художественные произведения Чехова, по подсчетам автора «Книги о Чехове», населяют 8,5 тысяч персонажей. Что дает эта арифметика и ведет ли она к высшей математике? Оказывается, например, что детей в произведениях Чехова — 287. Единственной общей их чертой является возраст, в остальном же они совершенно разные, и в описании их, пишет автор, «учтены, кажется, все сколько-нибудь суще-

---

* *Громов Михаил.* Книга о Чехове. М.: Современник, 1989. 384 с.

© Аверин Б. В., 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

ственные варианты психологии — национальной, наследственно-семейной, глубоко индивидуальной или — в меру возраста — навязанной воспитанием или так или иначе внушенной» (с. 239).

И. Г. Ямпольский говорит, что он плохо понимает, что такое эстетика вообще, но понимает как предмет эстетику Шекспира или Достоевского. Из приведенной цитаты М. П. Громова можно сделать вывод, вероятно не чуждый всему исследованию: Чехов не берет на себя гордой уверенности объяснять, что такое детство и дети вообще, предупреждая всех прошлых, настоящих и будущих авторов «Писем к ученому соседу»: прежде чем обобщать, вглядитесь в многообразие жизни, часто это гораздо труднее, чем теоретизировать. Кстати, по поводу самого известного афоризма автора этого письма («Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда») М. П. Громов остроумно пишет: «Чехов дал нечто большее, чем афоризм, установив точную меру невежества, абсолютный интеллектуальный нуль, ниже которого ничего уже нет — ни логики в мыслях, ни смысла в словах» (с. 102). И если, продолжает исследователь, эту группу персонажей рассматривать как завязку «большого сюжета» чеховского повествования, как его многовариантный исток, то судьба 199 чиновников, 457 крестьян, 264 священнослужителей и монахов, 220 мещан, 164 актеров и так далее показывает, что далеко не каждый характер находит для себя приемлемую форму, умещается в ней без остатка, что и создает основной конфликт в произведениях Чехова. Это еще, конечно, не высшая математика, но уже, несомненно, алгебра. Здесь можно сказать, что душа человеческая вообще не может уместиться ни в какую самую совершенную форму.

Но основной персонаж книги все-таки Чехов — человек и писатель. И начало книги хорошо связано с ее концом, где утверждается, что Чехов как человек нашел ту форму, в которую заковал низшие, исторические стихии своего характера — «татарщину, крепостничество, рабскую кровь и мещанскую плоть», победив их «чувством свободы, трудом и талантом» (с. 368). «Можно лишь удивляться, — пишет по этому поводу в начале исследования М. П. Громов, — как рано привык Чехов к одиночеству, к строгому, почти иноческому распорядку, которым окружил и ограничил себя, к терпеливому и сосредоточенному труду, к мысли о том, что нужно писать помногу, не давая себе ни малейшей поблажки, — писать и писать, пока не сломаются пальцы» (с. 47).

В начале же книги М. П. Громов приводит малоизвестный факт из биографии Чехова, справедливо выделяя для него хотя и самую короткую, но отдельную главку исследования — «Наш потомственный дворянин». Указом Николая II в 1899 году Чехову был пожалован орден Святого Станислава 3-ей степени. Чехов, конечно, не лишен был того, что называется, например, писательским честолюбием. Пушкинская премия взволновала его, и о присуждении ее он часто писал в своих письмах. Но о факте награждения его орденом нет упоминаний ни в письмах, ни в официальных бумагах. Высочайший указ Чехов как бы не принял, оставил без внимания, и М. П. Громов хорошо это комментирует: «Да и странно было бы, если бы принял: он раздарил своим персонажам столько императорских знаков отличия, столько „сверкающих золотом и эмалью" Владимиров, Станиславов и Анн, что вообразить себя самого, Чехова, со Станиславом на шее — разве это возможно?». И столь же хорошо, не без учета современности обобщает исследователь этот факт биографии Чехова: «Линия его жизни — это сдержанное, суровое, полное внутренней иронии сопротивление той властной официальщине, которая, суля и величая, обязывает нужного ей человека и в конце концов опутывает его по рукам и ногам» (с. 23).

Анализ биографии Чехова, предпринятый М. П. Громовым, будет близок многим читателям как по мыслям, так и благодаря тому, что выражены они хорошим русским, иногда образным языком, начисто лишенным всякого наукообразия. Но здесь мы изначально единомышленники, как люди, объединенные традиционным уважением к Чехову-человеку.

Все гораздо сложнее, когда разговор начинается о творчестве писателя. Здесь и у читателей, и у литературоведов гораздо меньше предпосылок для общих точек зрения, а мотивов для несогласия всегда больше. Мой подход к изучению творчества Чехова — другой, и меня интересуют несколько иные проблемы. Достоинство всякого исследователя заключается в том, насколько, вопреки естественному стремлению не соглашаться, автор заставляет меня думать так, как он, корректирует мои уже сложившиеся и сопротивляющиеся воздействию извне представления.

Центральное место в книге занимает исследование самой неуловимой для анализа, самой сложной и загадочной повести Чехова — «Степь». М. П. Громов удачно раскрывает внутреннюю полемичность повести по отношению к тем произведениям, которые печатались в это время в «толстых» журналах. Это, например, злободневные произведения с «идеей» — роман Г. А. Мачтета «Блудный сын», «Босоножка» И. А. Салова, повесть Д. Н. Мамина-Сибиряка «Нужно поощрять искусство». На фоне таких «проблемных», остросюжетных произведений «Степь» производила почти вызывающее впечатление своей «безыдейностью».

Олицетворение и символ, по справедливому мнению М. П. Громова, составляют художественную основу повести, и необходимы они Чехову для того, «чтобы пробудить у читателя память о детстве, сохраняющем интуитивную приверженность к изначальной образности и древнейшей художественной правде» (с. 183). Просыпающаяся степь, поющие травы, фантастические великаны, возникающие в сознании Егорушки,— это древние пласты восприятий, «знаки древности, родины и судьбы», а не лирические отступления, о которых умела и лю-

lib.pushkinskijdom.ru

била говорить критика. «В повести так мало действия, что и ,,отступать''-то, собственно, некуда», — слегка и уместно иронизирует М. П. Громов.

Чехов возвращал литературе чувство истории, но не «микроисторизм», в котором угадывалась современность, связанная с прозаическим общим планом повествования о шерсти, деньгах, постоялом дворе, миллионере Варламове, а «макроисторизм» (по терминологии Д. Е. Максимова), обращенный в глубину исторической памяти и сохраняющийся в детском восприятии мира. «Неверно думать, — пишет исследователь, — что герою ,,Степи'' нечего вспоминать, поскольку у него еще нет своего собственного, так сказать, личного прошлого. В детстве сказка важнее правды, былина вернее были, воображаемое и олицетворяемое достовернее реальности — поэтому подлинно историческое прошлое есть только у него» (с. 199). Упростив сюжет, считает М. П. Громов, Чехов освободил слово, его символику и поэзию, его историческую содержательность — «память».

Анализ «Степи» — это уже почти сотворчество. Здесь найдены такие слова, которые заставляют заново почувствовать поэзию чеховской повести и убеждают, что автор стоит на единственно верном пути. А если раньше читатели и исследователи шли другими дорогами, то это были только ответвляющиеся тропинки.

Помимо этой большой и несомненной удачи — анализа «Степи», в книге много мыслей, наблюдений и замечаний, уточняющих и корректирующих наши представления о таком знакомом и, кажется, общеизвестном Чехове. Сколько слов, внешне справедливых, но скучных и плоских, было сказано о том, что Чехов нечто «разоблачал» и что-то «обличал». Продолжая эту тему, М. П. Громов мягче и тоньше напишет, что Чехов изображал не «отсталую Россию», а отсталое в России, не «плохой русский город», а плохое в русском городе, не «дурных людей», а дурное в людях. А если и «разоблачал» что-то в них, «то прежде всего способность и готовность их быть ,,маленькими''» (с. 244).

Столь же точны и справедливы замечания о сущности «смеха Чехова»: «Смех не совмещался с жизнью в футляре, он противостоял властному тону указов и циркуляров, проповедей и газетных статей. Смеясь, Чехов пародировал, низводил до ничтожества тот фарисейский пафос, тот невыносимо серьезный стиль и тон, каким с подчиненными говорила власть» (с. 245). В этих формулировках снова чувствуется хорошая и оправданная злободневность, еще раз подтверждающая тот печальный факт, что Чехов по-прежнему современен.

Гораздо сдержаннее я бы сказал о важной для автора части исследования, посвященной Чехову и Достоевскому. Сама проблема поставлена интересно, но конкретное ее решение не всегда рождает согласие. М. П. Громов считает, что для Достоевского «реализм есть прозрение внутренних противоречий жизни, двойственного конфликта между ,,первой'' (естественной) и ,,второй'' (воспитанной) натурами отдельного человека и всей нации в ее историческом бытии» (с. 250). Что значит естественная природа человека? Его биологическая сущность, не испорченная обществом и цивилизацией? Если так, то это не Достоевский. Для Достоевского природа человека — это его божественное начало. И найти Человека в человеке означало для него найти Христа в человеке. «Фантастический реализм» позволил Достоевскому предпринять такой поиск. Чехов же показывает, что мир абсурден, но этой абсурдности никто не чувствует, принимая его как естественный и реальный. Если эти простые положения не уточнить, то при всей остроумности сопоставлений они не дадут желаемого результата.

Герой Чехова, в отличие от героя Достоевского, утверждает автор, «не ,,человек идеи'', а человек, у которого нет идеи; есть сознание, что она нужна, что без нее невозможно» (с. 255—256). Идея есть даже у сторожа Никиты из «Палаты № 6» — идея «порядка». Тем более она есть у героя «Скучной истории» Николая Степановича: «Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя». Но эта идея не спасает его ни от одинокой старости, ни от смерти, и ему нечего сказать своей любимой приемной дочери, которая тоже одинока и несчастна, несмотря на свою некогда глубокую и искреннюю веру в театр, искусство.

В финале «Преступления и наказания» Достоевский изображает некое всеобщее заболевание, «моровую язву», охватившую человечество, которую частично можно определить как избыточную идеологичность. Чехов хорошо знает эту болезнь, точно ее диагностирует и назначает средства для лечения. М. П. Громов несколько раз цитирует следующие слова Чехова: «Я не верю человеческой речи. Словами можно доказать и опровергнуть все, что угодно, и скоро будут уметь доказывать, что дважды два — пять». Более того, Чехов показывал в своих произведениях, как даже самая высокая идея становится причиной зла и жестокости. И этот «безыдейный» писатель, не будучи состоятельным человеком, построил три (!) образцовые школы, произвел перепись населения Сахалина, бесплатно лечил людей. Анализ М. П. Громова, как сочетались слова и дела у Чехова, хорошо удается автору в заключительной главе книги, посвященной изучению писем Чехова.

В этой части исследования, как и в главе о первой пьесе и о дебюте Чехова, особенно заметно, что М. П. Громов не только теоретик, но издатель и комментатор. В «Книге о Чехове» читатель найдет много раскрытых цитат и параллелей, почувствует дотошное знание русской журналистики, узнает о малоизвестных и совсем неизвестных фактах. Пользуясь таким неизвестным фактом, М. П. Громов в конце книги создает свой образ человека в футляре, или

lib.pushkinskijdom.ru

избыточно идеологического человека. В 1944—1951 годах готовилось Полное собрание сочинений Чехова в 20-ти томах. На машинописной копии письма Чехова к Бунину сохранилась резолюция редактора: «Не включать как бессодержательное». Это решение М. П. Громов остроумно называет «иррациональным». Рационально же оно объясняется так: в те годы имя Бунина употреблять не разрешалось.

Книгу М. П. Громова читатель и исследователь поставит на полку рядом с работами Скафтымова, Бялого, Чудакова, Катаева, не имеющими ничего общего с сочинениями Ермилова и Бердникова.

lib.pushkinskijdom.ru

ХРОНИКА

ТРЕТЬИ АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ОДЕССЕ

10—12 октября 1989 года в Одессе состоялись очередные Алексеевские чтения — научная сессия, посвященная памяти выдающегося советского литературоведа, академика М. П. Алексеева. Прошедшие чтения стали продолжением традиции, сложившейся в Одессе — городе, где ученый жил и трудился с 1920 по 1927 год; предыдущие Алексеевские чтения проходили здесь в 1983 и 1986 годах.

Сессия работала в Одесском Доме ученых и была организована Пушкинской научной комиссией и Секцией книги Дома ученых. Программа включала целый ряд докладов, посвященных проблемам пушкиноведения и истории русской литературы пушкинской поры, вопросам русско-зарубежных литературных связей; отдельные сообщения носили книговедческий и научно-биографический характер.

С докладом «К проблеме ,,архаистов'' и ,,новаторов'' в истории русской литературы XIX века» выступил доктор филол. наук С. А. Фомичев (Ленинград). В докладе было показано, что формула «от классицизма — через романтизм — к реализму», принятая для описания русского литературного процесса XVIII—XIX веков, является некорректной уже потому, что «узаконивает» разрыв новой русской литературы с семивековой, мощной и развитой древнерусской литературой, не позволяет замечать вполне очевидных явлений, в которых эта связь осуществлялась. Никто сейчас не сомневается в том, что на заре становления новой русской литературы освежающее воздействие имел стиль барокко, разрушавший стереотипы средневекового художественного сознания, но в то же время удерживавший, хотя и в преображенном виде, достижения культуры предшествовавшей эпохи. Барочные явления и традиции в русской литературе оставались существенными для практики русских писателей XVIII—начала XIX века, взаимодействуя с классицизмом и подготавливая романтизм и реализм. В начале XIX века в русской литературе стиль барокко начинает вымещаться стилем рококо. Борьба «архаистов» и «новаторов», выявленная Ю. Н. Тыняновым, и была, по сути дела, столкновением старого стиля (прежде всего барокко, а не классицизма) и нового стиля (рококо).

В докладе канд. филол. наук Ю. В. Шатина (Новосибирск) «Художественная логика стихотворения А. С. Пушкина ,,Цветок''» шла речь о специфической трансформации мотива цветка на могиле возлюбленной в названном произведении. По мысли докладчика, подобная трансформация была связана с существенным изменением жанра элегии во второй половине 1820-х годов. Элегия становилась менее эмблематичной, ее основной смысл заключался не в некотором предшествовавшем значении ситуации, но главным образом в конкретной художественной логике, которая определяет развитие лирической ситуации только в данном контексте.

В докладе канд. филол. наук В. В. Петрушковой (Душанбе) была предпринята попытка уточнить место и роль критической деятельности Пушкина в становлении русской профессиональной критики. Пушкинская критика с точки зрения способов переосмысления литературных явлений, формы и жанровой структуры представляет собой богатейший спектр всевозможных вариантов, однако при всей своей обусловленности и сращенности с традиционными формами писательской критики XVIII—начала XIX века она является пограничным явлением, в котором происходит качественный сдвиг к профессиональной критике, к специфическим понятийно-логическим способам оценки произведений.

Канд. филос. наук И. Я. Матковская (Одесса) прочитала доклад «Отражение философско-этических проблем освободительного движения в ,,Капитанской дочке''». На материале сопоставления «Капитанской дочки» и «Джона Теннера» проанализировано пушкинское восприятие крестьянского, народного мира в связи с критической переработкой поэтом концепции «естественного человека». В этом контексте сделана попытка рассмотреть, как в ходе осмысления опыта движения дворянских революционеров сформировалась традиция реалистически трезвой оценки возможностей российского крестьянства в прогрессивных преобразованиях, традиция критического отношения к тому идейно-психологическому комплексу, из которого позднее разовьются популистские иллюзии в освободительном движении.

Несколько докладов были посвящены вопросам воздействия пушкинской традиции на писателей XX века. В докладе «Мотивы ,,Пиковой дамы'' в романе Андрея Белого ,,Петербург''» канд. филол. наук С. П. Ильев (Одесса) доказал, что в романе Андрея Белого мотивы «Пиковой дамы» ведут происхождение из двух источников — повести Пушкина и опе-

© Соколянский М. Г., 1990 г.
lib.pushkinskijdom.ru

ры П. И. и М. И. Чайковских. Эти мотивы, не являясь пародией на классические произведения, использованы Белым как парафразы нескольких ступеней для характеристики действующих лиц романа. О пушкинских мотивах в «Комаровских набросках» А. А. Ахматовой говорила Л. Л. Сауленко (Одесса). «„Диалог" с Пушкиным в современной русской поэзии» — тема доклада доктора филол. наук, профессора Л. Л. Бельской (Алма-Ата), рассмотревшей один из аспектов «диалога» современных поэтов Давида Самойлова и Арсения Тарковского с Пушкиным — использование пушкинских строк в качестве эпиграфов.

Среди докладов, посвященных вопросам русско-зарубежных литературных связей, три были объединены проблемой «Шекспир и русская культура», фундаментальное исследование которой было начато под руководством М. П. Алексеева. В докладе доктора филол. наук Ю. Д. Левина (Ленинград) «Шекспир и русские крылатые слова» было сообщено, что наибольшее число русских крылатых слов, пришедших из переводов произведений иноязычных авторов, относится к пьесам Шекспира (преимущественно к трагедиям, среди которых в этом отношении особенно выделяется «Гамлет»). В своем бытовании крылатые слова обыкновенно эволюционируют от философских обобщений к расхожим повседневным выражениям, что можно показать на примере эволюции в русском литературном обиходе фразы Гамлета: «На небе и земле имеется больше вещей, Горацио, чем снилось вашей философии».

Доктор филол. наук, профессор Г. В. Краснов (Коломна) выделил в «Каменном госте» А. С. Пушкина мотив, связанный с именем Геркулеса, которое отчасти становится в пьесах Шекспира нарицательным («Гамлет», «Антоний и Клеопатра», «Кориолан» и др.). По мысли докладчика, Пушкин сливает мотив Геркулеса с легендарной статуей Командора, известной в фабуле о Дон Жуане (сцена III «Каменного гостя»). Заключительная сцена «маленькой трагедии» символизирует право «геркулесовой» силы, трагическую концовку двух героев.

В докладе доктора филол. наук, профессора М. Г. Соколянского (Одесса) «Русский „Макбет" или историческая хроника? (Еще раз о жанре «Бориса Годунова»)» был предложен новый взгляд на проблему жанровой специфики пушкинской драмы. Так, нуждается в уточнении общепризнанное положение о значении шекспировской традиции для создания «Бориса Годунова». На основании строгой дифференциации жанров трагедии и исторической хроники в шекспировском наследии и изучения поэтики драмы Пушкина докладчик пришел к заключению, что создатель «Бориса Годунова» ориентировался на исторические хроники Шекспира, и жанровая дефиниция «трагедия» к пушкинскому произведению неприложима.

Доклад доктора филол. наук, профессора Н. К. Орловской (Тбилиси) «Россия и Кавказ в романе Ричарда Генри Севейджа» был посвящен роману Севейджа «Ухаживание принца Шамиля. История русско-турецкой войны». Анализ использованных в нем исторических данных приводит к выводу, что английский автор имел достаточно сведений о событиях войны 1877—1878 годов. Но сюжет произведения больше связан с вольно истолкованными событиями Кавказской войны, с историей Шамиля и его семьи. В композиции романа можно проследить некоторое влияние литературы неоромантизма.

С докладом «Парадигма и головоломки в фантастике» выступила доктор филол. наук, профессор Т. А. Чернышева (Иркутск). На материале русской и зарубежных литератур рассматривались явления, связанные с кризисом современной фантастики, выражающимся в резком сокращении числа новых конструктивных идей, в характерном изменении структуры фантастических произведений последних десятилетий (использование детективных принципов организации сюжета, имитация головоломок и пр.). Сделана попытка объяснить быстрый износ «фантастической парадигмы» ее несамостоятельностью и ориентацией фантастики на высшие слои культуры — науку.

В докладе канд. филол. наук В. Н. Абросимовой (Москва) говорилось о некоторых зарубежных трактовках легенды об А. И. Полежаеве. А. Дюма-отец (1858 год), Ч. Тернер (1882 год), Э. Кобе (1896 год), М. Здзеховски (1897 год), Т. Манн (1918 год) и другие более и менее известные авторы — все в той или иной степени способствовали включению творчества Полежаева в европейский литературный процесс XIX века. Доктор филол. наук, профессор Б. А. Гиленсон (Орехово-Зуево) в докладе, основанном на многочисленных, впервые вводимых в оборот фактах советско-американских литературных связей, показал, какое воздействие оказал сталинизм на творчество ряда американских писателей радикального направления (Т. Драйзера, Э. Уилсона, М. Каули, У. Френка и др.) в пору так называемых «красных тридцатых».

Книговедческая проблематика была представлена на чтениях сообщениями канд. техн. наук А. М. Рушайло (Москва) «Об одном прижизненном издании А. С. Пушкина» и педагога И. Л. Попелюхера (Одесса) «Сюжет, не вошедший в книгу М. П. Алексеева „Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг. . .»" (Стихи А. С. Пушкина в Заксенхаузене)». Доклад «Семейная традиция Алексеевых», посвященный биографии деда М. П. Алексеева, ученого-химика П. П. Алексеева, сделал писатель-краевед Г. Д. Зленко (Одесса).

На заключительном заседании зав. отделом пушкиноведения ИРЛИ АН СССР С. А. Фомичев проинформировал собравшихся о готовящихся изданиях сочинений Пушкина и научной литературы о творчестве поэта. Были подведены итоги Чтений. Следующие Алексеевские чтения в Одессе решено провести в 1992 году.

М. Г. Соколянский

lib.pushkinskijdom.ru

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

Актом воздаяния А. Платонову от задолжавшей науки назвал доктор филол. наук Н. Н. Скатов конференцию, проводившуюся в Пушкинском Доме 9—10 октября 1989 года по случаю 90-летия со дня рождения выдающегося художника. Остановившись на некоторых драматических страницах судьбы платоновского наследия, директор Института русской литературы предложил открывать Платонова как великое явление русской культуры через его неповторимый язык.

Выступления на конференции сгруппировались вокруг нескольких наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов платоноведения: мировоззренческие основы творчества писателя, тот контекст русского общественного сознания, в котором оно формировалось; творческий метод писателя, его стиль и своеобразный поэтический строй; развитие Платоновым классических традиций, а также особенности взаимодействия его творчества с творчеством некоторых современников — М. Шолохова, М. Зощенко, М. Горького; литературная биография писателя, ее уточнение и обобщение; первоочередные задачи по освоению его рукописного наследия.

В докладе доктора филол. наук Н. А. Грозновой (Ленинград) «Социально-философская концепция А. Платонова» говорилось о том, что современное литературоведение следит лишь за отдельными звеньями философской концепции писателя, не имея возможности воспринять совокупность всех ее частей, так как не располагает пока необходимыми биографическими и текстологическими материалами. Оспаривая тенденцию видеть в Платонове «доморощенного философа», Н. А. Грознова обратила внимание на глубокую разработку Платоновым концепции народа как центральной в его творчестве. По мнению докладчицы, особенно тщательно должен быть исследован вопрос о научных основах миросозерцания А. Платонова — от этого зависит уяснение своеобразия эстетики Платонова-художника. На основе сопоставительного анализа философских воззрений писателя и идей Циолковского, Федорова, Вернадского докладчица сделала вывод о том, что ирреальные, экзистенциалистские, на первый взгляд, некоторые черты платоновского художественного письма свидетельствуют не об отступлении Платонова от реализма, а, наоборот, о том, что Платонов воссоздал истинные реалии вселенского бытия; в творчестве художника шло обогащение именно реалистического метода.

О философской многомерности А. Платонова говорилось в докладе доктора филос. наук А. А. Королькова (Ленинград). Существуют попытки истолкования художника и как стихийного экзистенциалиста, и как философа абсурда, и как поборника философии Н. Федорова, и даже как атеиста, тяготеющего к христианству. Однако докладчик призвал исходить из того, что А. Платонов — прежде всего художник, развивший традицию философичности русской литературы, где неразделимы слово и идея, понятие и образ; художник, изобразивший человечество на пути к новой мифологии.

В докладе студентки Н. Ю. Шпицак (Псков) «К вопросу о творческом методе А. Платонова» на основе текстологического анализа страниц романа «Чевенгур» было высказано предположение о том, что Платонов периода «Чевенгура» и «Котлована» пользовался сюрреалистическим методом, с помощью которого он получал возможность наиболее полного и адекватного художественного самовыражения.

В докладе доктора филол. наук Л. П. Егоровой (Ставрополь) «Идеалы социализма в идейно-художественных исканиях А.. Платонова» была предпринята попытка показать, какое отражение нашли основные противоречия эпохи в повести «Котлован» и как воплотились в этой повести авторские идеалы социализма. В докладе подчеркивалось, что философия в художественном мире Платонова не исключает социального, хотя и находится с ним в несколько иных соотношениях, чем в других произведениях советской философской прозы. По мнению Л. П. Егоровой, искажение текущей критикой взглядов Платонова на социализм, обилие взаимоисключающих точек зрения проистекают из невнимания к художественному тексту как к целому, из игнорирования особенностей художественного видения Платонова.

Доктор филол. наук А. И. Павловский (Ленинград) посвятил свой доклад также рассмотрению повести «Котлован», жанр которой он определил как философскую притчу. Платонов, по мнению докладчика, выступил целеустремленным разрушителем мифологического массового сознания, насаждавшегося сверху в целях формирования рабской психологии. Писатель подвергает современное ему массовое сознание саркастическому анализу на всех его уровнях — от той почти невидимой точки, что в расхожих лозунгах обычно именовалась великой целью или же сияющей вершиной коммунизма, до той преисподней, где должен быть подготовлен и заложен фундамент будущего ослепительного счастья, т. е. до Котлована, коллективной могилы. Интересны замечания А. И. Павловского о том, что мифология первой и второй пятилеток вся соткана из клише на тему Котлована и Фундамента. Тему тирании и гибели демократии в условиях фальсифицированного социализма докладчик назвал главнейшей темой и проблемой всей повести. Гротескная повесть Платонова оказывается строго реалистичной. Она не антиутопия, ее гротескность и «неправдоподобность» отражают гротескность и неправдоподобность самой жизни, подвергшейся зловещей трансформации.

В докладе канд. филол. наук В. В. Перхина (Куйбышев) «Тайнопись Андрея Платонова (по

© Колесникова Е. И., 1990 г.

lib.pushkinskijdom.ru

литературным статьям 30-х годов)» был произведен анализ тех особых стилистических средств, с помощью которых Платонову удавалось поведать о трагических судьбах своего народа (несмотря на то что художественные произведения писателя были в это время запрещены к печати). В статьях 1939—1940 годов Платонов донес до читателя многое из того, о чем можно было бы узнать, прочитав «Котлован», будь он напечатан. Для этого он использовал различные приемы тайнописи, в том числе классический способ: на европейском материале говорить о русских проблемах (статьи о прозе В. Василевской). Платонов показывал дефицит гуманизма в советском обществе 30-х годов в статье «Анна Ахматова» и др. Тайнопись А. Платонова коренилась в национальной традиции и одновременно была явлением уникальным: она несла читателям «ассоциативную правду» о своем времени.

В докладе доктора филол. наук В. В. Тимофеевой (Ленинград) «Из наблюдений над стилем Платонова» отмечалось, что язык и стиль произведений Платонова органически связаны с революционной эпохой, с происходившими в ту пору процессами преобразования общественного сознания, с большими сдвигами в самом развитии и бытовании русского языка, а потому изучать своеобразие его художественной речи необходимо в этом историческом контексте. «Странноязычный» Платонов (С. Залыгин) великолепно использовал неустоявшийся, взвихренный язык своего времени для раскрытия глубинного строя мышления человека из народа в переломную историческую эпоху и именно на этой основе смог выйти к крупнейшим философским проблемам, далеко обогнавшим свое время. Необычайно интересны в этом плане языковые характеристики платоновских героев (особенно в романе «Чевенгур»). Раскрыть художественную «нацеленность», продуманную включенность в осуществление авторского замысла тех или иных языковых средств и приемов — важная задача исследователей художественного наследия Платонова.

Соотношению нравственной идеи и мифологического мышления у Платонова был посвящен доклад канд. филол. наук И. И. Плехановой (Иркутск) «Нравственная идея в творчестве А. Платонова (развитие национальной традиции)». В выступлении ставился вопрос о зависимости нравственной идеи от строя мышления, в данном случае мышления мифологического. А. Платонов исследовал в «Чевенгуре» феномен революционного чувства и революционной воли без революционной мысли. Герои романа подчиняют свою жизнь и жизнь многих идее братства, но мифологическое мышление, абсолютизируя противоречия, лишено здесь идеи развития, чуждо сомнения, уповает на чутье и чувство как знание окончательной истины. Писатель осуществил не только критику мифологического сознания в его отчуждении от конкретной социальной истины, но он понимал его мироощущенческую силу, его способность воспринимать мир как очеловеченный бессмертный космос — и это представало у Платонова как духовный образ подлинно социалистического сознания.

В докладе «Актуальные вопросы научной биографии Андрея Платонова» канд. филол. наук Н. В. Корниенко (Москва) остановилась на первоочередных проблемах реконструкции литературной биографии Платонова 30-х годов. В установившуюся исследовательскую концепцию литературной жизни Платонова 1931—1932 годов — времени публичного отречения писателя от написанного им как «ошибочного» — принципиально иной смысл вносят обнаруженные Н. В. Корниенко записи Платонова, сделанные им в августе 1931 года во время поездки на Среднюю Волгу, в которых был дан не просто глубинный социально-экономический анализ положения русской деревни, но и протягивалась нить к основным вопросам «Котлована», «Впрок», «Ювенильного моря». С другой стороны, новые пласты содержания произведений открываются при изучении источников текста. Так, в одном из вариантов статьи Платонова «Образ будущего человека» содержится указание на использование писателем в восточной повести «Джан» заметок известного русского дипломата XIX века Н. Н. Муравьева о Хиве и Туркмении. Появляется возможность конкретизировать и один из ключевых мотивов творчества Платонова 20—30-х годов — «мотив забытых книг». Привлечение в качестве источника уникального для русской культуры журнала «Русский архив», в котором публиковались заметки Н. Муравьева о Востоке и к которому Платонов, очевидно, обращался неоднократно, поможет также углубить постижение проблемы национальной традиции в творчестве писателя. Далее Н. В. Корниенко подчеркнула, что составление хроники литературной жизни Платонова является одной из первоочередных задач платоноведения. Большой материал для нее дает реальное комментирование стенограмм обсуждения творчества Платонова 30-х годов в Союзе писателей, раскодирование знаков литературных событий этого периода в черновиках писателя, что будет способствовать и уточнению времени работы над текстом. Докладчица остановилась на анализе черновиков пьесы А. Платонова «14 красных избушек», показав, как в содержании этого произведения отразились кризисные моменты литературной ситуации 1931 года, поиски Платоновым своей позиции и новых форм диалога с читателем.

К проблемам научной биографии А. Платонова был обращен также доклад аспиранта С. И. Рвачева (Воронеж) «Окружение молодого Платонова и круг его чтения (1918—1925 годы)». Основной упор докладчик сделал на воронежском периоде жизни писателя: обрисовал круг его знакомств, творческих и личных; охарактеризовал читательские пристрастия художника; поведал о нынешних проблемах воронежского Комитета по исследованию творчества А. Платонова, который осуществляет большую работу по пропаганде творчества своего земляка.

lib.pushkinskijdom.ru

В докладе «Ранний Платонов. Об изучении эстетических взглядов писателя» канд. филол. наук В. В. Базанов (Ленинград) подчеркнул, что начальные страницы творчества любого писателя вызывают особо пристальный интерес, ибо они являются ценнейшим документальным материалом, который дает наглядное представление об особенностях формирования гражданских представлений, социально-нравственных интересов, эстетических вкусов. Самое раннее творчество Платонова отчетливо перекликается и с «Чевенгуром», и с другими произведениями зрелого писателя. «Чевенгур» легко понять и объяснить, истолковывая его как некую сатиру на революцию, но очень трудно понять и объяснить роман, исходя из авторских суждений, содержащихся, например, в письмах к Горькому. Это делает очевидной необходимость нового обращения к самому раннему творчеству Платонова. Основным же препятствием на пути реализации этой задачи, по мнению докладчика, является разбросанность ранних произведений писателя, которые необходимо собрать воедино, снабдив научным комментарием.

Доктор филол. наук В. В. Агеносов (Москва) в докладе «Идейно-художественное своеобразие романа-мифа А. Платонова „Чевенгур"» отстаивал мысль, что «Чевенгур» нельзя рассматривать ни как антиутопию, ни как пародию. Уже в первой части романа писатель создал модель нового мироустройства, синтезирующую в себе народный лубок о счастливой жизни, библейскую идею сотворения мира и излюбленные идеи Платонова о братстве, преодолении смерти, самоценности человеческой жизни. Дальнейшее развитие сюжета — проверка этой модели, чем и объясняется введение в роман пересекающихся сюжетных линий второй—третьей частей, героев-идеологов и их дублеров-практиков, усиление символики. К финалу антиномия между творчески активным началом и уважением к жизни, выдвинутая в первой части романа, оказалась неразрешенной тайной. Это придает роману трагичность, но не безысходность. Финал романа говорит не о «дурной бесконечности», а лишь о завершении очередного круга спирали. Платоновский «конец света» не эсхатологическое понятие, а народно-мифологическое представление о «новом свете», грядущем бессмертии.

Канд. филол. наук Ю. К. Руденко (Ленинград) в докладе «К вопросу о своеобразии платоновского сказа» остановился на проблеме сказового характера стиля писателя. Теоретическая недостаточность ее научной разработки определила внимание докладчика к самому понятию «сказ». Обратившись к истории вопроса, исчерпывающейся в сущности работами 20-х годов, он оспорил широко известное определение сказа Б. М. Эйхенбаумом («форма повествовательной прозы, которая в своей лексике, синтаксисе и подборе интонаций обнаруживает установку на устную речь рассказчика»). Данные признаки, как показал докладчик, являются в принципе необязательными для сказа, а определение Б. М. Эйхенбаума описывает лишь конкретную форму сказа. Всегда же и по существу вне зависимости от форм проявления сказ есть прежде всего художественная — и притом всегда индивидуально-авторская — языковая система, самоконституирующаяся как особый конструктивный вариант литературного языка в целом, не совпадающий с общепринятой нормой и замещающий ее в творчестве писателя. Применительно к творчеству А. Платонова докладчик обосновал необходимость интерпретации отдельных отмеченных исследователями особенностей его стиля как целостного сказового языка, иной нормы, которая выражает, с предельной точностью и лаконичной ясностью, оценочно-эмоциональную, философско-мировоззренческую активность мысли.

Основная идея доклада аспиранта В. С. Колотаева (Ставрополь) заключалась в том, что художественные образы и структурообразующие элементы в романе «Чевенгур» имеют фольклорные корни. В рамках сюжета романа, по мнению В. С. Колотаева, существуют два плана повествования, находящиеся в оппозиционных отношениях: логическая концепция первого плана подчиняет своим законам реально-бытовые действия, логика второго плана поддерживает внутреннюю, более сложную динамику событий, развивающихся по законам волшебной сказки. Обострение оппозиции «реальность—сказочность» возникает при рассмотрении поступков персонажей только в реально-бытовой плоскости. Но оппозиция ослабевает и эти же действия обретают внутреннюю закономерность при обращении к логической модели волшебной сказки. Свои рассуждения докладчик проиллюстрировал на примере поведения Александра Дванова. Однако рассмотрение двух планов повествования может лишь приблизить к пониманию смыслового содержания романа, ибо сказочной символикой нельзя объяснить всей противоречивости заключительных частей романа.

К постоянным образам-символам А. Платонова обратилась в своем докладе канд. филол. наук Н. М. Малыгина (Якутск): герой — «спаситель человечества»; женщина — «душа мира», воплощение идеала красоты и жизнетворчества; дом-«сад» — «уютный дом для человечества»; «обнаженное сердце»; дорога — «странствие» — путь к прозрению; музыка — «мотив будущего» и т. д. Роль образов-символов у Платонова определяется тем, что все произведения писателя составляют единый контекст, внутри которого образы-символы образуют сквозные сюжеты. Это создает своеобразную концентрированность и зашифрованность платоновской прозы.

Особый поворот рассмотрение платоновской поэтики получило в докладе канд. филол. наук И. А. Спиридоновой (Петрозаводск) «Портрет в художественном мире А. Платонова». Платонов — художник и философ — понимал человеческую жизнь в целом как трагедию. Поэтому он сосредоточил свои усилия на поиске путей ее духовного преодоления. Платоновская

lib.pushkinskijdom.ru

художественно-философская концепция эволюционировала с течением времени. Интересно в связи с этим посмотреть, как изменялся герой писателя и его портретная характеристика. На протяжении всего творчества Платонов воссоздает не столько внешний, сколько внутренний облик человека («тоскующее тело», «тревожная голова», «чтущее лицо», «уныло-предвидящие глаза»). В душевном складе (а значит, и в портрете) героев ранних фантастических произведений Платонова определяющее значение имеет, например, «разбухшая голова» («Маркун»). В борьбе человека с несовершенством мира делается ставка на «сатану сознания», ради мощи которого убивается «теплокровное божественное сердце» («Потомки солнца»). В произведениях конца 20-х—начала 30-х годов запечатлено «усомнение» автора и героев в разуме как единственном и достаточном основании для переделки жизни. В портретных характеристиках этого периода появляются сравнения, в которых акцентируется природно-чувственное начало человека. Начиная с повести «Джан» ведущей характеристикой персонажей становится «теплокровное божественное сердце», соответственно в портрете появляется «открытое лицо», «добрые глаза» и т. д. В произведениях писателя («Фро», военные рассказы) все отчетливее, художественно убедительнее звучит мысль, что нет у человека другого способа сделать «душу полной», как принять «к себе друг друга» («Одушевленные люди»). Подвиг любви и есть единственная возможность преодоления трагедии жизни.

По мнению канд. филол. наук Т. М. Вахитовой (Ленинград), выступившей с докладом «Стилистические особенности „Котлована"», своеобразие Платонова состоит в том, что философско-мировоззренческие антиномии не преодолеваются художником, не «снимаются», а имеют равноправное существование; поэтому многие из его произведений могут быть прочитаны в разном ключе, могут иметь альтернативные интерпретации. Это относится прежде всего к «Котловану». Среду этой повести формируют три стилистические линии. Одна из них связана с агитационно-идеологическим бюрократизмом («марш великого похода», «исполнение мероприятия», «районная надстройка»). Другая определяется философско-этической лексикой («томящаяся душа», «время жизни», «покой», «истина», «существование» и др.). Третья формируется бытовой речью. Чтобы понять платоновскую стилистику как уникальное явление, мы обязаны заново перечувствовать и осмыслить философию платоновского языка как первоосновы его художественного мира.

В докладе аспиранта ЛГУ И. А. Савкина «Метафизика смерти у Андрея Платонова» речь шла о том, что напряженный интерес писателя к жизни парадоксально продолжается его интересом к тайне смерти. Эта тесная связь понятий «жизнь» и «смерть» у Платонова обнаруживается, в частности, в языке его персонажей. Узнать, кто говорит, можно далеко не всегда, субъект речи обычно анонимен, отсылает нас к инстанциям архаического сознания. В мире, который утверждается посредством этого языка, смерть есть не просто продолжение жизни, это ее изнанка, ее внутренняя граница и сокровенный секрет. Смысл слов колеблется, привычные понятия предстают в неожиданном ракурсе. Например, между живыми и мертвыми в философско-образной системе художника находятся «покойники» — переходное, промежуточное образование. Чевенгур не только средоточие коммунизма, но и населен «покойниками», или правильными душами, которые, образовав совет социального человечества, облюбовали для своих заседаний городское кладбище.

В докладе «Ранняя утопия А. Платонова» канд. филол. наук Л. П. Григорьева (Ленинград) обратила внимание на такой характерный принцип платоновского творчества, как раннее проявление самоиронии, истоки которой, по мнению докладчицы, коренятся в интуитивном недоверии художника к собственному утопизму. Уже в первых опытах художественных реконструкций своих теорий писатель демонстрирует их уязвимость. Создавая фантастическую модель разума в ранних произведениях, Платонов в то же время подвергает сомнению его абсолютизацию как путь к совершенствованию мира. Утопия писателя внутренне разрушается, будучи подорванной авторским подспудным сопротивлением. Это свидетельствует о том, что поиск Платоновым гармонического равновесия «общего» и «индивидуального» начался значительно раньше 1926 года, который многие исследователи склонны считать переломным в творчестве Платонова, якобы только к этому времени освободившегося из «плена схемы». Докладчица продемонстрировала признаки авторского критического пафоса в повествовательной структуре.

Канд. филол. наук Т. А. Никонова (Воронеж) рассмотрела в своем докладе фантастическое в прозе А. Платонова 20-х годов как художественный прием. Создание фантастических машин, покорение пространств и природы интересуют писателя лишь до известной степени. В центре его внимания — инженер-созидатель, дерзнувший при помощи своего изобретения все человечество сделать счастливым потребителем достигнутых результатов. Но для этого необходимо трансформировать энергию сердца в энергию сознания, мысли. Процесс этот губителен прежде всего для самого творца, ибо ни один из героев-инженеров в ранних произведениях Платонова не смог жить для ближнего, не сумел любить его. Рассказ о результатах научных поисков не становится целью платоновского повествования. Главной оказывается задача психологическая — ниспровержение героя, решившего думать за человечество. Фантастическое становится частью более важной нравственно-философской проблемы. Прощанием Платонова с типом героя-одиночки, горделиво противопоставляющим себя общей жизни, ста-

lib.pushkinskijdom.ru

новится повесть «Епифанские шлюзы», в которой реальный исторический факт строительства Ивановского канала превращается в фантастический, химерный проект, реализации которого сопротивляются не только люди, но и природа.

В докладе В. Ю. Вьюгина (Ленинград) «Становление героя в романе А. Платонова „Чевенгур". Структура образа» была проанализирована та часть произведения, которая стала своеобразным прологом к нему и получила название «Происхождение мастера». Автор доклада останавливается на проблеме постоянных мотивов в творчестве писателя. В «Чевенгуре», по его мнению, в центре системы, на пересечении всех главных мотивов находится образ Дванова. Душа Дванова готова к восприятию мира, в этом смысле она «пуста». Таков герой «Путешествия с открытым сердцем», или «Путешествия с *пустым* сердцем», как сообщает пометка на полях черновой рукописи «Чевенгура». В прологе он проходит все стадии взросления, далее начнется самостоятельная жизнь.

Следующие два доклада были посвящены таким важным для Платонова темам, как любовь, семья, детство. Р. А. Семенов (Кострома) в докладе «Понятие о любви и образ семьянина в трактовке А. Платонова» на примере рассказа «Офицер и крестьянин» проследил связь художественной идеи Платонова об «общей жизненной участи» с повестью Гоголя «Старосветские помещики», понятой Платоновым однозначно, в отличие от предыдущей и современной ему критики, трактовавшей дуалистически эту повесть.

В докладе доктора филол. наук В. В. Бузник (Ленинград) «Драма возвращения с войны (о рассказе А. Платонова «Семья Иванова»)» говорилось о том, что сегодня открываются новые возможности углубленного прочтения этого произведения, как, впрочем, и всего творчества писателя. В свете современных нравственно-эстетических приоритетов, основанных на общечеловеческих ценностях, становится видно нераспознанное критикой 40-х годов принципиальное новаторство этого лучшего из послевоенных творений А. Платонова. По мнению докладчицы, писатель фактически явился первооткрывателем трагической темы, темы невосполнимых духовных утрат советского народа, связанных с военным лихолетьем. Преклонение перед мужеством героев не помешало писателю-гуманисту помнить о страданиях тех, кто оказался не в силах противостоять жестокости войны, сломился под ее невыносимым бременем. Таковы прежде всего женщины, дети, а также воссозданный в рассказе образ разоренной семьи, по убеждению Платонова, «одно из самых опасных для народа последствий войны».

Доклад канд. филол. наук С. А. Кибальника (Ленинград) «Пушкин в литературно-эстетических исканиях Андрея Платонова» стоит в ряду выступлений, раскрывающих взаимоотношения Платонова с классическими традициями, а также с творчеством современных ему писателей. С. А. Кибальник предпринял попытку установить значение пушкинского ориентира для собственного творческого пути Платонова. На примере повести «Епифанские шлюзы» (1927) было показано, что многие провидческие творения Платонова отмечены «родимой печатью Пушкина». В то же время в критических статьях Платонова о поэте наряду с глубоким осмыслением некоторых сторон мировосприятия Пушкина присутствуют и вульгарно-социологические тенденции, еще более явственно проявившиеся позднее в пьесе «Ученик Лицея» (1951). Эти тенденции отчасти связывались в докладе с воздействием на писателя горьковских истолкований Пушкина, в частности в соответствующей главе его «Истории литературы» (1936). Особенно неплодотворным для творческого развития Платонова, по мнению С. А. Кибальника, явилось стремление писателя усвоить идею необходимости равнения на «духовно-здорового» пушкинского человека, противопоставленного героям Гоголя, Щедрина и Достоевского. В этом стремлении докладчик увидел отказ Платонова от самого себя, от собственных художественных открытий конца 1920-х—первой половины 1930-х годов, не прошедший бесследно для последующего творчества писателя.

В своем сообщении «Платонов и классические традиции русской литературы» канд. филол. наук Н. П. Генералова (Ленинград) остановилась на рассмотрении культурного генезиса творчества писателя, оригинально претворившего идеи и образы русской литературы — от Пушкина до позднего Льва Толстого. Особое внимание было уделено характерному для русской мысли приданию литературе специфических общественных функций. Были также выявлены связи между творческими поисками И. С. Тургенева на переломе 50—60-х годов XIX века и проблемой идеала в творчестве Платонова на рубеже 20—30-х годов XX века.

Канд. филол. наук А. И. Михайлов (Ленинград) в докладе «Крестьянская тема в творчестве Платонова» остановился на произведениях писателя, посвященных изображению крестьянской трагедии периода коллективизации. Обращаясь к рассказу «Государственный житель», повестям «Впрок», «Котлован», а также роману «Чевенгур», А. И. Михайлов сопоставил их с другими литературными явлениями конца 20-х—начала 30-х годов, в частности с творчеством новокрестьянских поэтов. Сближая «Котлован» и «Чевенгур» с романом А. Ганина «Завтра», докладчик проследил эволюцию крестьянской мечты о счастливом будущем от утопии к антиутопии. Характеризуя изображаемую в произведениях Платонова эпоху коллективизации, А. И. Михайлов ввел в научный оборот не публиковавшийся ранее материал, в том числе записи из дневников Р. Акульшина.

Аспирантка А. Т. Сатарова (Москва) в докладе «Философская проза А. Платонова и М. Зощенко» на материале произведений 20—30-х годов попыталась доказать типологическое сходство Платонова и Зощенко в выборе героев (новый человек новой эпохи), в исследо-

lib.pushkinskijdom.ru

вании ими различных типов сознания, а главное, в общей теме всего творчества обоих писателей — теме разума.

В докладе канд. филол. наук А. М. Минаковой (Москва) «„Котлован" А. Платонова и „Поднятая целина" М. Шолохова (к теории литературного процесса)» анализировались теоретические и историко-литературные проблемы типологических схождений и расхождений эпики Шолохова и философской прозы Платонова. Анализ проводился на уровне эстетических отношений произведений с действительностью, на уровне миросозерцания художников, видения ими мира «изнутри» народного сознания, типы которого воссозданы в «Котловане» и «Поднятой целине».

Выступая во время дискуссии, доктор филол. наук Н. И. Желтова (Волгоград) заметила, что круг сопоставлений Платонова с писателями-современниками необходимо расширить за счет рассмотрения темы «Платонов и Горький», которая должна включить в себя исследование нравственно-психологической и политической мотивации творчества писателей 20—30-х годов, что в свою очередь может стать ключом к раскрытию эстетических исканий Шолохова, Булгакова, Леонова и др.

В докладе доктора филол. наук В. А. Шошина (Ленинград) были рассмотрены письма к А. Платонову, хранящиеся в рукописном отделе ИРЛИ. Письма к Платонову Б. Зыкова, Л. Гумилевского, К. Некрасова, П. Трошкина, В. Перцова, В. Бокова помогают глубже и всестороннее понять его как человека, как творческую личность. Мы видим, что именно ему интересно: есть место шутке, но нет места склоке, сплетне. Высокий нравственный потенциал творчества Платонова — не заданность, а естественное проявление подлинной сущности писателя.

В докладе канд. филол. наук Е. И. Колесниковой (Ленинград) был дан обзор рукописного наследия А. Платонова в фондах ИРЛИ. В докладе были представлены и прокомментированы неопубликованные материалы: ранняя статья «Победим ли засуху?», очерк «Наука, техника, мастерство», рассказ «Умственный хутор», вошедший впоследствии в повесть «Впрок» с некоторыми изменениями. Рукописный фрагмент «Одни на свете» атрибутирован докладчицей как начало повести «Котлован». Своеобразие психологического портрета у Платонова было рассмотрено на примере текстов, еще неизвестных платоноведам: «Долгота жизни», «Предисловие», «Черноногая девчонка», «Человеколюбие». В докладе был дан краткий анализ интереснейших материалов к повести «Джан», до сих пор не введенных в научный оборот. Е. И. Колесниковой были высказаны предположения по поводу датировки некоторых рукописей, а также атрибутирован ряд материалов среди обозначенных как «Наброски к неустановленным произведениям»: «Житейское дело», «Житель родного города», «Размышления офицера». Затем с краткими пояснениями были приведены два платоновских письма 1933 года, адресованных М. Казакову, редактору журнала «Литературный современник». В заключение было сказано о том, что неотложной задачей является текстологическое исследование произведений Платонова.

Во время дискуссии были обсуждены некоторые спорные вопросы, уточнены методологические аспекты освоения платоновского наследия. Канд. филол. наук Г. В. Филиппов (Ленинград) суммировал итоги конференции, которая, по его мнению, объективно отразила достижения современного платоноведения.

Е. И. Колесникова

ИСПРАВЛЕНИЯ

В первом номере «Русской литературы» за 1990 год на стр. 250, левый столбец, строки 10—11 сверху

Напечатано	*Следует читать*
тексте XVIII столетия, например о Я. А. Галинском, едва ли не единственное за последние	тексте XVIII столетия, например о Я. А. Галинковском, едва ли не единственное за последние

на стр. 160, правый столбец, строка 22 снизу

Напечатано	*Следует читать*
Рижской железной дороге для оживления тор-	Рижской главной дороге для оживления тор-

lib.pushkinskijdom.ru

Акаткин В. М. Дорога и память. О Твардовском. Воронеж: Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1989. 190 [2] с.

Акимов В. М. Ответственность перед правдой. Проблемы социальной справедливости и соврем. лит. процесс. Л.: Лениздат, 1988. 60 [1] с.

Актуальные проблемы библиографирования литературы для детей и юношества. [Науч. ред. Е. Ф. Рыбина]. М.: МГИК, 1988. 120 с.

Александров В. П. Сквозь призму детства. О сов. многонац. лит-ре 70—80-х гг. для дошкольников и мл. школьников. М.: Детская лит-ра, 1988. 173 [1] с.

Амирханян М. Д. Русская художественная литература и геноцид армян. Ереван: Айастан, 1988. 266 [3] с.

Аникин А. Е. Ахматова и Анненский. Заметки к теме. [Вып. 3]. Новосибирск: Б. и., 1989. 49 с.

Афанасьев В. В. Свободной музы приношенье. Лит. портреты, статьи. М.: Современник, 1988. 442 [2] с.

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Пер. с фр. [Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова]. М.: Прогресс, 1989.

Бегак Б. А. Правда сказки. [Беседы о сказках русских сов. писателей]. М.: Детская лит-ра, 1989. 126 [2] с.

Белецкий А. И. В мастерской художника слова. [Сборник. Сост., авт. вступ. ст. и коммент. А. Б. Есин]. М.: Высшая школа, 1989. 158 [2] с.

Белков В. С. Неодинокая звезда. (Заметки о поэзии Н. Рубцова). М.: Молодая гвардия, 1989. 43 [2] с.

Андрей Белый: Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации. [Сборник. Сост. С. Лесневский, А. Михайлов]. М.: Сов. писатель, 1988. 830 с.

Бестужев-Лада И. В. Открывая Высоцкого... М.: Знание, 1988. 63 [1] с.

Бондаренко В. Г. Позиция: Кн. крит ки. М.: Молодая гвардия, 1989. 108 [2] с.

Борзунов С. М. Михаил Алексеев. Личность, творчество, размышления. М.: Современник, 1988. 299 [2] с.

М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. [Сб. статей. Сост. А. А. Нинов]. М.: СТД РСФСР, 1988. 492 [1] с.

В мире фантастики. Сб. лит.-критич. ст. и очерков. М.: Молодая гвардия. 1989. 236 [3] с.

Вакуленко В. Я. Завтрашние заботы. Очерки. Статьи. Заметки. Фрунзе: Адабият, 1989. 158 [2] с.

Вахитова Т. В. Повествование в рассказах В. Астафьева «Царь-рыба». М.: Высшая школа, 1988. 68 [3] с.

Взаимодействие метода, стиля и жанра в советской литературе. Сб. науч. тр. [Редколлегия: Н. Л. Лейдерман (отв. ред.) и др.]. Свердловск: Свердловский ГПИ, 1988. 141 [2] с.

Вильмонт Н. Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. М.: Сов. писатель, 1989. 222 [1] с.

Вишневская И. Л. Действующие лица. Заметки о путях драматургии. М.: Сов. писатель, 1989. 311 [2] с.

Влади М. Владимир, или Прерванный полет. [О В. Высоцком. Пер. с фр. М. Влади, Ю. Абдуловой]. М.: Прогресс, 1989. 174 [1] с.

Воспоминания об Анатолии Аграновском. [Сост. Г. Ф. Аграновская]. М.: Сов. писатель, 1988. 347 с.

Воспоминания о Леониде Мартынове. Сборник. [Сост. Г. А. Сухова-Мартынова, В. Г. Утков]. М.: Сов. писатель, 1989. 314 [3] с.

Вспоминая Владимира Высоцкого. [Сборник. Сост. и автор предисл. А. Сафонов]. М.: Сов. Россия, 1989. 380 с.

Гайдар Т. А. Голиков Аркадий из Арзамаса: Документы. Воспоминания. Размышления. М.: Политиздат, 1988. 316 [2] с.

Гайлит Г. А. Полет пчелы, сон и пробуждение. Критич. статьи. Рига: Лиесма, 1988. 204 [2] с.

Глушков Н. И. Социалистический реализм как художественная система (Модификация метода в течениях). [Отв. ред. Т. О. Осипова]. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского ун-та, 1988. 127 [1] с.

Горн В. Ф. По которой речке плыть... [Лит.-критич. ст.]. Барнаул: Алтайское книжное изд-во, 1988. 142 [2] с.

Горшенин А. В. Чем живем... [Лит.-критич. статьи]. Новосибирск: Книжное изд-во, 1989. 141 [2] с.

М. Горький-художник и современность. [Материалы конф. 22-е Горьковские чтения-88. Обществ. редколлегия: Н. К. Кузьмичев (отв. ред.) и др.]. Горький: Волго-Вятское книжное изд-во, 1988. 175 [1] с.

Гранин Д. А. О наболевшем. [Сборник]. Л.: Сов. писатель, 1988. 95 [1] с.

Гусев В. И. Неожиданность очевидного. Дневник современного литератора. М.: Сов. писатель, 1988. 382 [1] с.

Дедков И. А. Обновленное зрение. [Сб. ст.]. М.: Искусство, 1988. 315 [3] с.

Дементьев В. В. Кавказская тетрадь. [О К. Кулиеве, Р. Гамзатове, А. Кешокове]. М.: Современник, 1989. 430 [1] с.

Дементьев В. В. Личность поэта. По страницам русской советской поэзии 1917—1987 гг. М.: Худож. лит-ра, 1989. 301 [2] с.

lib.pushkinskijdom.ru

Деркач Д. Б. Современный историко-революционный роман (Проблемы поэтики). Киев: Наук. думка, 1989. 189 [2] с. (АН УССР, Ин-т лит-ры им. Т. Г. Шевченко).

Джафаров М. Д. Литературные раздумья. [Сборник. Науч. ред. и автор предисл. Я. Караев]. Баку: Язычы, 1988. 382 [1] с.

Драйзер Т. Жизнь, искусство и Америка. Ст., интервью, письма; Драйзер смотрит на Россию. Пер. с англ. [Предисл. Ю. Палиевской, коммент. В. Толмачева]. М.: Радуга, 1988. 412 [1] с.

Дунаевская И. К. Этико-эстетическая концепция человека и природы в творчестве А. Грина. Рига: Зинатне, 1988. 166 [2] с.

Жанрово-стилевые искания и литературный процесс. [Темат. сб. науч. тр. Редколлегия: Х. А. Абидаев (отв. ред.) и др.]. Алма-Ата: КазПИ, 1988. 87 [2] с.

Живая жизнь: Штрихи к биографии В. Высоцкого. [Сборник]. М.: Московский рабочий, 1988. 316 [9] с.

Жизнь Есенина. Рассказывают современники. [Сост., авт. вступ. ст. и примеч. С. П. Кошечкин]. М.: Правда, 1988. 605 [2] с. (Лит. воспоминания).

Жизнь и творчество Агнии Барто. [Сборник. Сост. И. П. Мотяшов]. М.: Детская лит-ра, 1989. 336 с.

Завриев М. А.-А. В поисках художественного метода. Критич. статьи. Грозный: Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1988. 66 [1] с.

Залыгин С. П. В пределах искусства. Размышления. Факты. М.: Сов. писатель, 1988. 446 с.

Залюбовская М. Е. Мы все — удивительны. [О 1-м Междунар. фестивале детского фольклорного творчества в Артеке]. Киев: Молодь, 1989. 188 [2] с.

Затонский Д. В. Художественные ориентиры XX века. М.: Сов. писатель, 1988. 413 [2] с.

Иванова Н. Б. Освобождение от страха. [Сб. статей]. М.: Правда, 1989. 46 [2] с.

Каверин В. А., Новиков В. И. Новое зрение: Кн. о Ю. Тынянове. [Вступ. ст. А. Туркова]. М.: Книга, 1988. 382 [1] с.

Кайда Л. Г. Эффективность публицистического текста. Под ред. Я. Н. Засурского. М.: Изд-во МГУ, 1989. 182 [1] с.

Каменев С. М. Любовь к истории питая. Портрет писателя В. Пикуля. М.: Молодая гвардия, 1989. 109 [1] с.

Карлагин Н. В. Какой земле принадлежим... Лит.-критич. очерк. [О творчестве сиб. поэта В. Баянова]. Кемерово: Книжное изд-во, 1989. 68 [2] с.

Карлова Т. С. К. Чуковский — журналист и литературный критик. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1988. 144 с.

Коваленко С. А. Художественный мир советской поэмы. Возможности жанра. Отв. ред. Г. И. Ломидзе. М.: Наука, 1989. 270 [2] с. (Ин-т мировой лит-ры).

Колов С. П. Лица современников. Заметки публициста. [О соврем. лит-ре]. М.: Молодая гвардия, 1989. 93 [1] с.

Кругликов В. А. Образ «человека культуры». [Отв. ред. Б. Т. Григорьян]. М.: Наука, 1988. 150 [2] с.

Крутикова Л. В. Дом в Верколе: Докум. повесть [о Ф. Абрамове]. Л.: Сов. писатель, 1988. 372 [4] с.

Юрий Крымов в воспоминаниях, письмах, документах. [Сборник. Сост., вступ. ст. и примеч. Н. И. Дикушиной]. М.: Сов. писатель, 1988. 396 [1] с.

Крюкова А. М. Алексей Николаевич Толстой. М.: Московский рабочий, 1989. 139 [3] с.

Лавров В. В. Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции (1920—1953). Роман-хроника. М.: Молодая гвардия, 1989. 382 [2] с.

Лазарев А. И. Рабочий фольклор Урала. Об основных этапах становления и развития нового типа худож. мышления народа. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1988. 279 с.

Ланщиков А. П. Ищу собеседника. О прозе 70—80-х гг. М.: Сов. писатель, 1988. 366 [2] с.

Ленинградская панорама. Лит.-критич. сб. [Сост. А. Арьев, Л. Емельянов]. Л.: Сов. писатель, 1988. 534 [1] с.

Луговской В. А. Ответственность перед эпохой. Лит.-критич. ст. и выступления. [Сост., вступ. ст. С. Коваленко]. М.: Сов. Россия, 1988. 142 [2] с. (Писатели о творчестве).

Методология анализа литературного процесса. [Сб. статей. Отв. ред. Ю. Б. Борев]. М.: Наука, 1989. 236 [1] с. (Ин-т мировой лит-ры).

Милявский Б. Л. Необходимость искусства, или Следствие по делу Владимира В. [Ст., рец., очерки]. Душанбе: Адиб, 1988. 223 с.

Мкртчян Л. М. Щепотка соли на армянской земле. [Сборник. О Ч. Айтматове]. Ереван: Советакан грох, 1988. 117 [2] с.

Модификации художественных форм в историко-литературном процессе. Сб. науч. тр. [Редколлегия: Г. К. Щенников (отв. ред.) и др.]. Свердловск: УрГУ, 1988. 140 [2] с.

Молодые о молодых. Сб. лит.-критич. статей молодых критиков. М.: Молодая гвардия, 1988. 316 [1] с.

Монологи и диалоги. В творч. мастерской сов. писателей. По страницам журн. «Вопросы лит-ры». [Сб. В 2-х т. Сост. А. М. Кузнецов и др.]. М.: Известия, 1988. Т. 1.: 1962—1974.—542 [1] с. Т. 2.: 1975—1986 — 542 [1] с.

Найман А. Г. Рассказы о Анне Ахматовой. Из кн. «Конец первой половины XX века». М.: Худож. лит-ра, 1989. 300 [2] с.

lib.pushkinskijdom.ru

Осипов А. Н. Миры на ладонях. Фантастика в творчестве писателей-сибиряков. Красноярск: Книжное изд-во, 1988. 164 [2] с.

Панкеев И. А. Кипеть отвагой гражданина. (О чувстве социал. ответственности лирич. героя). М.: Знание, 1989. 61 [3] с.

Панкеев И. А. Сергей Орлов. Судьба и творчество. М.: Сов. Россия, 1988. 158 [1] с. (Писатели Сов. России).

Панюков В. В. А. И. Белецкий как теоретик литературы. Киев: Наук. думка, 1989. 221 [2] с.

Позиция: Лит. полемика. Опыт критич. ежегодника. [Сост. В. Г. Бондаренко]. М.: Сов. Россия, 1988. 506 [2] с.

Пошатаева А. В. Литературы народов Севера. (Истоки. Становление. Развитие). Отв. ред. А. И. Алиева. М.: Наука, 1988. 167 [2] с. (Ин-т мировой лит-ры).

Поэтика писателя и литературный процесс. [Сб. ст. Редколлегия: Т. В. Захарова (отв. ред.) и др.]. Тюмень, ТГУ, 1988. 139 [2] с.

Проблемы взаимодействия метода, стиля и жанра в литературе. Тезисы докладов зональной научной конференции 15—18 марта 1989 г. [Ч. 2. Русская лит-ра XX века. Советская лит-ра. Отв. ред. Н. Л. Лейдерман]. Свердловск: Свердловский ГПИ, 1989. 124 [1] с.

Пюрвеев В. Д. Октябрь и калмыцкая литература. Эволюция идейн. содержания и жанровых форм лит-ры 20—30-х гг. Элиста: Калмыцкое книжное изд-во, 1988. 190 [1] с.

Рассадин С. Б. Предположения о поэзии. Из опыта читателя стихов. М.: Сов. писатель, 1988. 333 [2] с.

Романова Р. М. Александр Твардовский. Страницы жизни и творчества. Кн. для учащихся ст. классов средней школы. М.: Просвещение, 1989. 158 [2] с.

Русско-зарубежные литературные связи. Сб. науч. трудов. [Редколлегия: А. С. Фиксин (отв. ред.) и др.]. Фрунзе: КГУ, 1988. 82 с.

Сайфуллаев А. В единстве и родстве (К проблеме нац. и интернац. в литературах Средней Азии). Душанбе: Адиб, 1989. 335 [1] с.

Сатретдинова Р. С. Инонациональный характер в русской советской прозе. Отв. ред. Ш. Гандымов. Ашхабад: Ылым, 1989. 106 [2] с.

Семенова С. Г. Преодоление трагедии: «Вечные вопросы» в лит-ре. М.: Сов. писатель, 1989. 439 [1] с.

Сидоров Е. Ю. Теченье стихотворных дней. Статьи. Портреты. Диалоги. М.: Сов. писатель, 1988. 283 [2] с.

Славецкий В. И. Письма с продолжением: Статьи, портреты, полемика. Воронеж, Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1989. 170 [2] с.

Советская литература. [Учеб. пособие для зарубеж. преподавателей рус. яз. и лит-ры. Ю. Д. Анпикин и др.]. М.: Рус. яз., 1988. 116 [2] с.

Степанов В. А. В поисках героя. Образы и характеры трилогии А. Н. Толстого «Хождение по мукам». Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1989. 158 [2] с.

Стиль автора и стиль перевода. [Учеб. пособие для спец. «Иностр. яз. и лит-ра». М. А. Новикова, О. Н. Лебедь, М. Ю. Лукинова и др.]. Киев: УМКВО, 1988. 81 [2] с.

Стюфляева М. И. Человек в публицистике (Методы и приемы изображения и исследования). Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1989. 143 [2] с.

Творческая индивидуальность писателя и взаимодействие литератур. [Сб. науч. тр. Редколлегия: К. Ш. Кереева-Канафиева (науч. ред.) и др.]. Алма-Ата: КазГУ, 1988. 96 с.

Творчество Александра Твардовского. Исс[illegible]ования и материалы. Под ред. П. С. Выходцева, Н. А. Грозновой. Л.: Наука, 1989. 38[illegible]2] с. (Ин-т русской лит-ры).

Традиции и тенденции развития литературной критики Сибири. [Сб. науч. тр. Отв. ред. Л. П. Якимова]. Новосибирск: Наука, 1989. 240 [2] с.

Черносвитов Е. В. Пройти по краю: В. Шукшин: мысли о жизни, смерти и бессмертии. М.: Современник, 1989. 235 [2] с.

Черных С. С. Под небом Алтая. [Кн. 1. Статьи]. Алма-Ата: Жазушы, 1988. 282 [2] с.

Чернявский А. Г. Есть у памяти начало. [Очерки]. Хабаровск: Книжное изд-во, 1988. 158 [2] с.

Чуковская Л. К. Памяти детства. Воспоминания о К. Чуковском. М.: Московский рабочий, 1989. 220 [1] с.

Чупринин С. И. Критика — это критики. Проблемы и портреты. М.: Сов. писатель, 1988. 313 [2] с.

Шагалов А. А. Василь Быков. Повести о войне. М.: Худож. лит-ра, 1989. 301 [1] с.

Шагалов А. А. Олег Куваев. Жизнь, книги, мечты. [Вступ. ст. В. В. Смирнова]. Магадан: Книжное изд-во, 1989. 190 [2] с. (Писатели Сов. России).

Шкловский Е. А. Лицом к человеку: (Проза-1988). М.: Знание, 1989. 63 [1] с.

Шкляр В. И. Энергия мысли и искусство слова. Киев: Выща школа, 1988. 197 [2] с.

Щербаков К. А. С желанием истины. Об одном поколении в искусстве. М.: Сов. писатель, 1988. 398 [2] с.

Я с Россиею слился... Слово об А. Люкине. [Сборник. Сост. В. Осипов, В. Шамшурин]. Горький: Волго-Вятское книжное изд-во, 1989. 286 [1] с.

lib.pushkinskijdom.ru

Библиотека В. А. Жуковского в Томске. [В 3-х ч. Ч. 3. Ред. Ф. З. Канунова, А. С. Янушкевич, Н. Е. Разумова и др.]. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1988. 576 [1] с.

Розенфельд Б. М. Сергей Есенин и музыка. Справочник. [Вступ. ст. Г. Ворониной]. М.: Сов. композитор, 1988. 88 [1] с.

Русские писатели 1800—1917: Биогр. словарь. [Т. 1. А—Г. Гл. ред. П. А. Николаев]. М.: Сов. энциклопедия, 1989. 671 [1] с.

Словарь русских писателей XVIII века. [В 3-х вып. Вып. 1. А—И. Редколлегия: А. М. Панченко (отв. ред.) и др.]. Л.: Наука, 1988. 356 [1] с. (Ин-т русской лит-ры).

Смирнов С. Р. Советская драматургия (1955—1985). [Учеб. пособие. Библиогр. указатель]. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1988. 171 [1] с.

Советские писатели. Автобиографии. [Сборник. Т. 5. Сост. С. П. Козлов]. М.: Худож. лит-ра, 1988. 526 [1] с.

Технический редактор Г. А. Смирнова
Корректоры В. В. Крайнева, Э. Г. Рабинович, А. Х. Салтанаева, Г. А. Самаковская

Сдано в набор 7.02.90. Подписано к печати 15.06.90. М-19162. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Фотонабор. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 21.45 Усл. кр.-отт. 21.90 Уч.-изд. л. 29.28. Тираж 14131. Тип. зак. 101 Цена 1 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука», Ленинградское отделение
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская линия, 1
Редакция журн. Русская литература, тел. 218-16-01

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука», 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

lib.pushkinskijdom.ru